

Wagner

Литературное наследие Юрия Германа обширно — за четыре десятилетия своей жизни в искусстве он создал романы, повести, рассказы, пьесы, сценарии. Обозревая пройденный писателем путь, видишь, как много сделано им подлинно значительного в советской литературе. «Наши знакомые», «Лапшин» и «Алексей Жмакин», «Рассказы о Дзержинском», «Россия молодая», роман-трилогия «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все» — это вехи не только творческого пути писателя, но и развития нашей прозы.

«Только с годами мы оценим истинный писательский масштаб Юрия Германа, — справедливо заметил Д. Данин. — Многим и часто он представлялся то бытописателем, то романтиком. Или талантливейшим беллетристом. Между тем он был проповедником. И все его творчество было притчей о человеке, страстно ищущем справедливости — социальной и всякой иной. Он был из тех реальных гуманистов, что пекутся не только о судьбах всего человечества, но и о доле каждого человека в отдельности — в отдельности и малости его[1]».

Здесь дана характеристика зрелого, «позднего» Германа, его произведений последних лет. Не сразу сложился знакомый читателям облик художника-публициста. Но на всех этапах своего пути писатель проявлял живой интерес к современнику — к человеку, которому приходится, решать самые трудные проблемы сегодняшнего бытия. Думается, именно это живое ощущение времени и его подлинного героя является мерилom писательского масштаба Германа. * * *

«Четырех лет от роду я попал на войну[2]. Отец был офицером, мать пошла за ним сестрой милосердия. В артиллерийском дивизионе — среди солдат, пушек, коней — прошло мое детство. И в полевом госпитале — у матери. В знаменитой переправе через реку Сбруч мы двое — я и отцов жеребец „Голубок“ — чудом остались живы. Впоследствии отца выбрали командиром этого же дивизиона, и стал он красным военспецом, его пушки били по петлюровцам и галичанам, по белополякам и бандитам...» — рассказал писатель о необычных обстоятельствах детских лет своей жизни.

Отрочество же протекало в обстановке очень обыденной: после гражданской войны отец служил фининспектором в небольших городах — Курске, Обояни, Льгове, Дмитриеве. В школьные годы началось увлечение Германа литературой. Он принес свои стихи в газету «Курская правда», но на этом его поэтическая деятельность закончилась. Редактор решительно забраковал «поэзу», в которой рифмовались слова «ковер» и «шпор», посоветовав писать для начала очерки и репортажи. «Лучшая пора жизни — юность и молодость — прошла в Курске. Тут я начал писать, тут начал печататься, здесь жестко и требовательно учили меня писать „покороче“, „как надобно в газете“, чему я и по сей час, к сожалению, не выучился толком. Однако же всегда добром вспоминаю „Курскую правду“, которая первой преподала мне уроки журналистики»[3].

Несколько рассказов Герман напечатал в льговской газете «Ленинский путь». Но главные интересы в это время были отданы театру (выступал на «выходных» ролях, суфлировал) и работе в комсомольской ячейке, в молодежных клубах. Руководил театральной самодеятельностью. «Даже сочинял пьески (с репертуаром было туго) и эти пьески ставил.

Были они, так сказать, из нашей собственной жизни»[4].

На материале жизни комсомольской ячейки был написан и первый роман 17-летнего автора — «Рафаэль из парикмахерской». Вышел он в издательстве «Молодая гвардия» через несколько лет, в 1931 году. К этому времени был уже написан второй роман — «Вступление». Он вышел в свет в том же году, хорошо был встречен критикой, имел успех у читателей.

Значительным событием, во многом определившим весь дальнейший путь Германа, оказалась его встреча с Горьким. Алексей Максимович, прочитав «Вступление», заметил, что автор обещает многое, но увидел и опасности, подстерегавшие его. В мае 1932 года, в беседе с турецкими писателями («Правда», 6 мая 1932), говоря о явлениях «исключительного характера» в молодой советской литературе, Горький привел в качестве примера «Вступление»: «... 19-летний малый написал роман, героем которого взял инженера-химика, немца. Начало романа происходит в Шанхае, затем, он перебрасывает своего героя в среду ударников Советского Союза, в атмосферу энтузиазма. И, несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. Если автор в дальнейшем не свихнет шею, из него может выработаться крупный писатель».

Герман жил с 1929 года в Ленинграде, работал на Металлическом заводе, некоторое время учился в техникуме сценических искусств. В становлении молодого литератора немалую роль сыграл журнал «Юный пролетарий» — в 1930 году там были напечатаны его рассказы «Шкура» и «Сиваш», отрывок из романа «Рафаэль из парикмахерской». По заданию журнала Герман на бумажной фабрике имени Горького собирал материал для очерков о рабочих. Из встреч с иностранными специалистами на фабрике, из наблюдений за жизнью рабочего коллектива и возник замысел романа «Вступление», которым Герман вошел в большую литературу.

Одобрительные слова Горького («добрые, но осторожные», по выражению Германа) были напутствием для начинающего писателя. Вскоре состоялось личное знакомство. Впоследствии Герман вспоминал, как подробно вникал Алексей Максимович во все обстоятельства его жизни и работы. Высоко оценив «Вступление» в публичном высказывании, Горький и беседе с автором подверг роман «разгрому», критиковал языковые неточности, «болтовню», общие места... Но речь шла не только о профессиональной культуре писателя. Горького занимала дальнейшая судьба молодого литератора. Надо «знать, о чем пишешь». — внушал он, выговаривая автору «Вступления» за изображение «заграничной жизни», реально ему не знакомой, воспринятой из вторых рук. Однако и то, что «знаешь», не так просто ввести в литературу — не случайно Горький особенно строго критиковал третью часть романа «Вступление», действие которой протекает на бумажной фабрике. Здесь, казалось бы, Герман был в своей стихии: он работал в редакции газеты «Голос бумажника». И производственные проблемы, о которых идет речь в третьей части, и фигуры рабочих, инженеров — все было автору доподлинно знакомо, взято им вроде бы из самой действительности. Но Горький раскритиковал написанное: «Зачем насовали цифр без всякого толку? Зачем эти — выполнения, перевыполнения в беллетристике?.. Нужны не цифры, а то, на чем они держатся, та грандиозная ломка старого, которая дозволила произрасти росткам нового мира... Мне не ваша выдуманная цифра нужна, а художественно описанный процесс сознательного отношения к труду, мне тот человек нужен, на которого большевики рассчитывают, создавая свои титанические планы на будущее...»

Высказывания Горького свидетельствуют, насколько глубоко он вникал в специфические проблемы, стоявшие перед Германом-писателем, как точно уловил характер его дарования. Бесед было немало. После выхода повести «Бедный Генрих» (1934) Горький вновь сурово судил написанное. Герман извлек уроки — отказался от изображения «заграничной жизни», конфликтов, вычитанных из газет, из чужих очерков и романов. Он обратился к своим современникам в романе «Наши знакомые». Новым был не жизненный материал — быту молодежи, работе комсомола посвящен и первый роман Германа, и немало страниц третьей

части «Вступления». В начальных попытках поднять пласты самой значительной для того времени темы, сказывалась не только неопытность молодого автора — мешали ему и бытовавшие в ту пору представления о связи человека с породившей его средой. В ранних произведениях Германа свет и тени распределялись упрощенно; социальное положение, связь с определенной средой как бы автоматически формировали характер героя (механизм этот особенно подробно исследован в повести «Бедный Генрих», в которой рассказана история сына миллионера, безуспешно пытавшегося порвать со своим классом).

Слова Горького об отношении к труду заставили задуматься, натолкнули на новые представления о сложных процессах, происходивших в сознании современников. Стало очевидным, что эти явления не объяснить только принадлежностью людей к определенному классу, слою общества — многое зависит от самого человека, от его взглядов на жизнь, от его отношения к тому, что происходит в стране, в мире.

На размышления об этом наталкивала и современная литература: «Гидроцентраль» М.Шагинян, «Соть» Л.Леонова, «Большой конвейер» Я.Ильина, «Время, вперед!» В.Катаева, «Люди из захолустья» А.Малышкина, «День второй» И.Эренбурга... Писатели занимались исследованием меняющейся психологии человека, фиксировали рождение творческого отношения к труду и формирование у вчерашнего индивидуалиста чувства коллективной ответственности за общее дело.

«Наши знакомые» появились в этом ряду книг, запечатлевших переломную эпоху в истории страны. Опубликованный в 1932 году отрывок «Старики», напечатанные в 1934-м начальные главы «Наших знакомых» открыли читателю интересных людей. Повар Вишняков, начальник строительства Сидоров, комсомолец Сема Щупак — фигуры колоритные, живые. Но в окончательном варианте, сложившемся после ряда переработок, героям первоначальных очерков — строителям жилмассива — отведена роль не главная. Неожиданно для многих читателей (и для критики) в роли героини повествования выступила обыкновенная женщина, попавшая волею обстоятельств в мещанскую среду.

На фоне произведений, посвященных производству, строительству, жизни трудового коллектива, появление романа-судьбы, романа «семейного», бытового казалось явлением необычным. Некоторым критикам представлялось, что автор исказил свой удачный первоначальный замысел. Один из них прямо писал, что роман «неожиданно» перестроился, что «среди всех наших знакомых на первый план вышла наименее значительная и привлекательная фигура и заслонила собою всех»[5].

А между тем сложившийся в процессе работы замысел в том и состоял, чтобы не показывать «значительную» фигуру, а проследить, как значительные люди рождаются. И для того чтобы процесс этот был раскрыт в своей всеобщности, чтобы показать его массовый характер, нужна была героиня обыкновенная, с обыденной, ничем не примечательной судьбой.

Впрочем, от природы Антонина Старосельская одарена богато. Начальные главы романа, в которых действует Тоня-девочка, рисуют существо, полное жизни, талантливое. Критика верно подметила, что многое в этом образе напоминает Наташу Ростову из «Войны и мира» [6]

Оказавшись на пороге жизни предоставленной самой себе, Антонина храбро пытается справиться с трудностями, найти работу. Однако не все зависит от нее самой.

Очень точно живописует Герман в первых главах романа быт эпохи нэпа. Тоня на своем опыте постигает, что такое безработица; но видит она и рекламы ресторанов, и роскошные витрины магазинов. В ее мечтах о «красивой» жизни не менее ярко, чем в сценах на бирже труда, вырисовываются приметы этого сложного периода истории страны. И то, что Антонина оказывается связанной со Скворцовым, а затем с Пал Палычем, что на долгие годы она

отгорожена от трудностей и радостей живой жизни, не случайно — по замыслу автора в этой исковерканной судьбе также проявляются противоречия времени.

История того, как мещанская стихия затягивает Антонину, описана очень подробно. Но одновременно автор раскрывает течение другого процесса — бездуховность растительного существования все более тяготит героиню, рождая недовольство собой; у нее нет настоящего дела — работы, которая захватила бы ее и дала ощущение ответственности за что-то важное, нужное не ей одной, Она завидует Жене, Сидорову, другим строителям жилмассива, она тянется к людям, живущим, интересами большого общего дела. Их поддержка помогает ей найти себя.

Легко заметить, что Герман-романист на всех этапах своего пути считал нужным вести с читателем разговор, прямо называя тему произведения. Вот почему ему были нужны эпиграфы — к роману, к той или иной его части, иногда к отдельной главе.

К «Нашим знакомым» взят эпиграф из стихотворения А.Блока «И вновь — порывы юных лет...» В этих строфах речь идет о несбыточности «детской» мечты о счастье, об утверждении «связи с миром», обретении себя в творчестве. Антонина мечтает о счастье, но оно приходит лишь тогда, когда ей удастся обрести «связь с миром», найти свое дело в жизни.

Критика после появления романа упрекала автора в том, что крушение иллюзий Антонины и ее погружение в мир мелких мещанских интересов показаны ярче, чем история ее новой жизни в коллективе строителей жилмассива. Это верно. Силу повествования составляли подробности обыденной жизни, мастером изображения которых показал себя Герман в этом романе. Детали эти достоверней раскрывают первую половину пути Антонины. На то были свои причины: не все в новой жизни героини достаточно ясно виделось самому Герману. Но следует иметь в виду и своеобразие замысла: раскрыть в истории Антонины внутреннюю потребность своего современника обрести «связь с миром». Неспособность, нежелание этой «мещанки» удовлетвориться своим бездеятельным, лишенным духовных интересов существованием показаны как знамение времени, как процесс, захвативший в годы первых пятилеток миллионы «наших знакомых». Центральная тема литературы этих лет получила новое звучание. Перестройке сознания крестьянства или интеллигенции было посвящено, как известно, много произведений. «Наши знакомые» показали, что процесс носит характер более широкий, затрагивает все слои современного общества. Это определило существенное значение романа в развитии советской прозы.

К тому времени, как в 1936 году были опубликованы последние главы романа, в жизни писателя произошло немало событий, оказавших влияние на его творчество. В 1933 году Вс. Мейерхольд осуществил в своем театре инсценировку романа «Вступление». Мейерхольд, по его собственному признанию, трактовал социальные конфликты Германии того времени, развернутые в первых частях «Вступления», как трагедию. Антифашистское звучание спектакля было настолько ярко выражено, что на премьере работники германского посольства сочли нужным покинуть театр — демонстративно выразить свой протест.

О месяцах общения и работы с Мейерхольдом Герман впоследствии вспоминал, как о счастье, подаренном судьбой молодому писателю. Пьесу, по утверждению Германа, Мейерхольд «выдумал сам» — он рассказывал и показывал профессионально неопытному автору, что именно в ней должно быть. Это была школа, значение которой Герман по-настоящему осознал позднее.

Еще одна значительная для писательской судьбы Германа встреча состоялась в 1934 году. Это было знакомство с Иваном Васильевичем Бодуновым, работавшим в то время начальником седьмой бригады ленинградского уголовного розыска. Герман пришел туда, как он считал, ненадолго — собрать материал, написать очерк. О том, как он прижился в седьмой

бригаде на много лет, как захватила его трудная и благородная работа «сыщиков», Герман рассказал в документальной повести «Наш друг Иван Бодунов». Она появилась в 1964 году — в пору подведения итогов. Автор документальной повести рассказал об особой роли, которую сыграл в его жизни И.В.Бодунов, «старший товарищ, мудрый и спокойный друг, много испытавший, много повидавший», — человек, который «не свернет с дороги совести, правды и порядочности, ни в чем, ни в самой малой житейской мере не пойдет на компромисс, не говоря уже, разумеется, о выполнении долга коммуниста».

Бодунов послужил прототипом Лапшина в повести, созданной Германом через несколько лет после первого посещения писателем седьмой бригады. Но примечательно, что уже в «Наших знакомых» один из героев романа — чекист. Автор отвел ему немаловажную роль: это один из тех, кто выводит Антонину на новую жизненную дорогу. Не поспешил писатель и на характеристики: Альтус — человек долга, мужественный, целеустремленный... Но живого образа создать тогда Герману не удалось. Это было очень заметно, о бледности образа говорила критика[7]. Но, как выяснилось далее, появление Альтуса в романе не было для писателя случайным эпизодом; неудача не обескуражила его. Вскоре после завершения работы над «Нашими знакомыми» Герман на встрече с читателями рассказал, что пишет роман об Альтусе. В начале 1937 года он в творческом отчете сообщил о работе над романом о чекистах — «Диктатура»: «Роман начинается накануне империалистической войны и заканчивается в наши дни».

Задача, которую поставил перед собой писатель, была ему еще не по силам. Почему же взялся он за эту тему? Тут сошлось многое — и сложность исторического момента, и увлечение личностью Бодунова, и совет, данный в свое время Горьким: «Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу...» Это неожиданное тогда для Германа предложение в контексте состоявшегося в 1934 году разговора вовсе не было случайным. «...Мне все больше и больше хочется, — говорил Алексей Максимович, — чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти хорошие люди формируются». Именно в этой связи возникла в беседе тема Дзержинского. Совет пришелся впору — потому что был дан не наугад, а с учетом своеобразного таланта писателя.

Рассказы Германа о Дзержинском публиковались в журналах с 1938 года. Это были, как советовал Горький, рассказы для детей. Но работа затянулась на много лет, и направление ее менялось. Герман все глубже вникал в материал, по-новому его для себя открывал, осмысливал. Появился новый вариант книги о Дзержинском, рассчитанный на юношество.

«Рассказы о Дзержинском» были написаны в ту пору, когда в литературе для детей и юношества книги историко-биографического жанра заняли заметное место. Напомним хотя бы некоторые из них: «Рассказы о Ленине» А. Кононова, книги Е. Куйбышевой о Валерьяне Куйбышеве, А. Голубевой о С. М. Кирове. Интерес к биографии поколения, совершившего революцию, возник закономерно.

Но тема Дзержинского для Германа была не просто очередным этапом работы. Это явилось школой, может быть, самой важной из всех пройденных до того времени писателем: он проследил формирование характера, для него нового.

В романе о жизни Антонины Старосельской связь между человеком и обстоятельствами его жизни устанавливалась не столь прямолинейно, как в первых книгах писателя: героиня оказалась способной перейти из одной социальной среды в другую, но роль ее в этом процессе была пассивной, судьбой Антонины, по существу, распоряжались силы времени — сначала периода нэпа, затем эпохи первых пятилеток. В общем плане такая схема верна, с той только существенной поправкой, что человек сам выбирает свой путь в лабиринте дорог времени.

Иной тип взаимосвязи между героем и средой Герман открыл для себя, собирая материалы о Дзержинском. Писатель работал с дотошностью и упорством ученого. Он исследовал факты биографии Дзержинского, уясняя истоки его действий, поступков, изучал окружение героя, штудировал его высказывания, дневники, письма. Так Герман-художник нашел героя нового склада: человека, у которого убеждения не расходятся с делом, — героя, который сознательно делает свой жизненный выбор, понимает значение и меру принятой на себя ответственности.

Встреча с реально существовавшим героем, способным противостоять власти обстоятельств, участвующим в революционном преобразовании мира, оказалась решающей для Германа-художника. Она помогла глубже понять современника, увидеть истоки его характера, его активной жизненной позиции.

Писателю открылась «связь времен», в личности Дзержинского он нашел ответы на многие сложные и волновавшие его вопросы современности. Вез этого экскурса в прошлое едва ли мог быть создан образ Лапшина.

Две повести — «Лапшин» и «Алексей Жмакин», появившиеся в 1937–1938 годах, принадлежат к лучшим страницам прозы Германа.

Лапшин — следователь уголовного розыска, бывший чекист. В повести Германа предстал один из тех героев, которых критика именует положительными, — человек, твердо избравший свою позицию в жизни, умеющий видеть в своей работе частицу большого дела народа. Создав «Лапшина», Герман одержал победу, значимую для всей советской литературы — в сознание читателя вошел герой, в котором ничего не было от схемы — предстал характер, поступки героя диктовались живыми человеческими побуждениями. Подробно раскрыт его духовный мир, глубоко личное отношение к тому, что принято считать «общим», — к своим убеждениям, делу. Не очень-то удачно устроивший свою личную жизнь, Лапшин показан по-настоящему счастливым человеком — ощущение счастья дает ему работа. Трудная, опасная, «черная» работа, налагающая огромную ответственность — приходится решать судьбы людей. Об этой ответственности, о гуманистических принципах советского права Лапшин помнит всегда и учит не забывать об этом своих сотрудников.

В истории Алексея Жмакина Герман раскрыл все грани мастерства Лапшина — психолога и воспитателя. Его и Жмакина связывают сложные отношения. Художественное их исследование направляет движение сюжета «Двух повестей». Сбежавший из заключения Жмакин боится Лапшина — «начальник» отправит его в тюрьму — и в то же время внутренне тянется к нему. Это чувство возникает не случайно — Лапшин, который непременно «посадит» Жмакина, озабочен судьбой этого свихнувшегося парня, много размышляет над тем, как вырвать его из воровской среды, как перестроить его психологию и вернуть к нормальной жизни.

Если прототипом Лапшина был Бодунов, то и в основу истории Жмакина положена судьба реального человека. Герман неоднократно рассказывал о Жарове (фамилия вымышленная), удивительно изобретательном воре, долго безнаказанно совершавшем крупные кражи. Бодунов поймал его, но на этом свою миссию не счел законченной. Он вник во все обстоятельства жизни Жарова, выяснил, как тот стал преступником, и, поняв, что обязан ему помочь, не пожалел ни душевных сил, ни времени. И был вознагражден сполна. Бодунов помог вернуться к жизни человеку очень незаурядному — когда Герман познакомился с Жаровым, тот был уже заместителем директора на одном из крупнейших ленинградских заводов.

Примечательно, что Герман, создавая повесть, отказался от «исключительного» героя, с которым его познакомила жизнь. Своего Жмакина он сделал сильным человеком, но все необычное, что присутствовало в биографии Жарова, снял (за что, кстати, прототип, прочитав

повесть, обиделся). Автору важно было рассказать историю не исключительную, а типичную, показать вора, «которого переделала Советская власть»[8].

В 1950 году на основе «Двух повестей» Герман создал роман «Один год» (позднее совместно с Б. Рестом была написана пьеса «Один год»; история Жмакина использована и в сценарии картины «Верьте мне, люди!»). Здесь значительно больше действующих лиц, чем в повестях, шире развернута картина борьбы разных лиц за судьбу Жмакина. Автор глубже показал деятельность Лапшина, которому нередко приходилось в Управлении милиции вести бой с работниками равнодушными, а то и преступными... Это, по существу, новое произведение, хорошо принятое читателями.

Но, признавая несомненные достоинства романа, следует заметить, что в нем нет той художественной завершенности, которая отличает повести «Лапшин» и «Жмакин». «Две повести» написаны, как говорится, на едином дыхании, в них нет ничего лишнего. За внешним движением сюжета, за поступками и речами действующих лиц ощущалось нечто большее, чем было прямо высказано автором. Герман продемонстрировал мастерское владение подтекстом. Картина обретала глубину, характеры — многозначность. К сожалению, многие ситуации, перенесенные из повестей в роман, при переделке утратили эту объемность изображения.

Критика давно заметила, что, наряду с работниками уголовного розыска и чекистами, главенствующее место в созданиях Германа заняли медики. На прямой вопрос о характере такого совмещения интересов писатель ответил: «Это только внешний контраст. На деле хирурги и работники уголовного розыска близки друг другу. Они всегда занимаются какими-то человеческими бедствиями, всегда борются за человека. И не случайно, что медицинской темой я занялся во время войны...»[9]

Ответ верен по существу, но интерес писателя к образу врача, к проблемам науки возник еще в довоенные годы — об этом свидетельствуют пьеса «Сын народа» (1939) и сценарий «Доктор Калюжный». Несомненно, Герман понимал тогда, что новый герой «не давался» ему в руки и художественно значительного решения новая тема пока не нашла. А она волновала писателя — тему предлагала жизнь, к проблеме соотношения научного призвания и гражданского долга начинала подступать литература (напомним, к примеру, произведения Л. Рахманова, В. Каверина).

И здесь пригодился урок, полученный в ходе работы над книгой о Дзержинском. Опыт этот подсказал Герману, что художественно не освоенное явление полезно исследовать, углубившись в его предысторию. Писатель совершил второе путешествие в прошлое — в 1941 году были опубликованы его «Рассказы о Пирогове».

Место ученого в обществе, его представление о своем научном и гражданском долге — эта тема, облегченно, «бесконфликтно» решенная на современном материале в пьесе и сценарии о Кузьме Калюжном, разработана в рассказах о Пирогове с глубоким проникновением не только в характер, творчество великого русского хирурга, но и в общественную суть стоявших перед ним жизненных проблем. В рассказе «Буцефал» Герман сталкивает Пирогова с Лоссиевским, начальником военно-сухопутного госпиталя; в рассказе «Капли Иноземцева» он сводит героя с Иноземцевым, товарищем его студенческих лет. Эти столь разные люди олицетворяют социальный климат мира, в котором приходится жить и творить Пирогову. В человеческих характерах, в сложном переплетении отношений героев, в подробностях их быта писатель сумел уловить проявление больших общественных конфликтов эпохи. Таким образом, новое путешествие в прошлое также оказалось успешным по непосредственному художественному результату. Оно было важным и по «отдаленным последствиям» — в качестве творческого урока. Но работу над задуманными произведениями прервала война.

В рядах Советской Армии Герман находился с ноября 1941 года по ноябрь 1945-го. Он провел эти годы на Карельском фронте и на Северном флоте, был специальным военным корреспондентом ТАСС и Совинформбюро, работал в Политуправлении Северного флота. В газете «Краснофлотец» печатал очерки и рассказы («О счастье», «С приветом, Подугакин», «Страх» и др.), писал очерки под именем «старшины 2-й статьи Корнеева» — они имели большой успех у фронтового читателя.

Из произведений, созданных в годы войны, назовем повести «Далеко на Севере», «Студеное море», «Аттестат». Это — начальный этап освоения нового жизненного материала.

Впечатлениями военных лет был подсказан и замысел исторической эпопеи. Роман «Россия молодая» вышел первым изданием в 1952 году, а события, с которых началась его творческая история, относятся к 1943 году. Тогда, на Северном флоте, Германа вызвал к себе вице-адмирал А. А. Николаев и дал ему «боевое задание»: рассказать морякам о прошлом русского флота на Севере. Для выполнения задания вице-адмирал приказал поехать в Архангельск, поработать в библиотеке, в архиве. И на прощание дал хороший совет — поговорить с прославленными ледовыми капитанами, «с Ворониным, с Котцовым Иваном Федоровичем. Это — удивительные люди. На таких, конечно, русский флот держится. Они вам правильно подскажут, о чем

именно людям интересно знать»[10]. Советом писатель воспользовался и полной мере, встретился с И. Ф. Котцовым и с другими потомственными капитанами. С историческими документами довелось познакомиться еще до работы в архиве: у Котцова дома на стене висела «Жалованная грамота», данная царем Иваном Васильевичем «лодейному кормщику Ивашке Котцову» на право плавать «вверх в Немцы и вниз в Русь». Так Герман узнал о «династиях» капитанов («Царь Ивашка» давал такие грамоты кормщикам только в пятом колене — пояснил Котцов), так познакомился с моряками-современниками, для которых прошлое Северного флота было не отвлеченным и далеким понятием, а живой историей их рода.

Задание вице-адмирала Николаева было выполнено: в газете «Краснофлотец» появились две полосы, посвященные истории Северного флота, а в 1943 году написана пьеса «Белое море», поставленная В. Плучеком во флотском театре.

Такова предыстория романа «Россия молодая», но к созданию эпопеи о времени Петра писатель приступил значительно позднее. В первые послевоенные годы его творческим воображением завладел герой-медик — в 1949 году появились в печати первые главы повести «Подполковник медицинской службы». Лишь с начала 50-х годов Герман обратился к материалу столь его захватившей «старины поморской».

Глубокие внутренние побуждения влекли Германа к созданию исторической эпопеи. Живую связь истории с современностью он как художник открыл для себя давно — когда в поисках ответов на волновавшие его вопросы обращался к образу Дзержинского или Пирогова. Писателя снова тянуло совершить путешествие в прошлое, по задаче на этот раз была иная. Не история должна была помочь в осмыслении явлений современности — образы сегодняшних людей, дела героев Великой Отечественной войны позволили осветить картину давно канувшей в историю эпохи, населить ее фигурами, осязаемо живыми.

Над решением этой задачи писатель работал в общей сложности восемь лет. Впервые имя — Ванька Рябов — Герман услышал в 1943 году от И. Ф. Котцова, которому о Рябове «бабинька пела». Тогда же, в Архангельске, познакомившись с историческими сочинениями и архивными материалами, писатель узнал о роли кормщика Ивана Рябова в истории Северного флота, в событиях Северной войны. В архиве писателя сохранились материалы, дающие представление о том, как тщательно им велось исследование исторических фактов, изучение колорита эпохи. Подробнейшая библиография по истории России, истории русского

флота, сведения о материальной и духовной культуре эпохи: «Изба», «Одежда, лошади, драгоценные камни, костюмы», «Подблюдные песни», «Поморские приметы» и др.

На первых порах перегруженность историческими сведениями мешала работе, ранний вариант романа сам автор признал неудавшимся. Стало ясно, что нужно многое писать заново, что ключ к художественному воссозданию картины исторического прошлого надо искать в современности — в своеобразных характерах поморов, в укладе их быта, в колоритном языке, сохранившем опыт многих поколений. По сравнению со сведениями, почерпнутыми из подробных исторических источников, невнятная фраза Котцова о том, что ему «бабинька пела», может показаться малозначительной. Но для художника она была неценима — он понял, что прошлое вошло в духовный мир современника, сохранилось в песнях, преданиях народа. Так писатель ощутил живое дыхание истории.

В главном герое романа Иване Рябове соединились лучшие черты народного характера: талант и трудолюбие, самоотверженность в защите Родины от врага и готовность к подвигу. Особенностью созданного Германом образа являются «непоклонство» Рябова, его свободолюбие. «Помор — человек особенный, — сказал некогда Герману Котцов. — Он крепостного права не испытал, его рабством не развратили. Обрати внимание: помор — человек гордый, свободолюбивый...»[11]. Справедливость этих слов не раз открывалась Герману в дни войны. Сделанное им впоследствии признание, хотя и звучит парадоксально, но верно указывает главное направление, в котором велась работа над исторической эпопеей: «Много лет миновало после Великой Отечественной войны. Но и по сей день я убежден, что настоящие авторы моей „России молодой“ — это друзья мои — военные моряки. Им принадлежит и идея книги. И их — дорогих моих современников — я описывал» [12].

Это была та точка зрения на события прошлого, которая позволила Герману внести новые краски в картину Петровской эпохи. Как известно, он не первым в советской прозе обратился к этому периоду русской истории — у него были блестящие предшественники, соревнование с которыми казалось делом необычайно трудным. Герман избежал дублирования творческих задач, решенных до него, сумел найти новый ракурс видения исторических событий. В центре его эпопеи — люди из народа, их ратный и трудовой подвиг в борьбе против иноземных захватчиков.

Одновременно с работой над исторической темой шел процесс осмысления событий войны и послевоенных лет. С конца 40-х годов в творчестве Германа начинается этап глубокого интереса к современному герою особого склада — человеку, решающему вопросы своей жизни и работы с позиции очень высокой, способному мыслить в масштабах общества, государства, человечества. Эти произведения отличает и открыто публицистическая позиция автора, его стремление высказать прямо отношение к изображаемому.

Герой повести «Подполковник медицинской службы» — врач Левин, начальник госпиталя на Северном флоте. Работа, быт медиков на фронте подробно изображены Германом. Но испытание, перед которым автор ставит героя, не связано с войной: Левин узнает, что неизлечимо болен. О том, как решает он один из самых трудных, «вечных» для человека вопросов, и написана повесть.

Неизбежность близкой смерти заставляет человека задуматься о смысле существования, о том, правильно ли прожита жизнь. В классической русской литературе эта тема связана с переоценкой ценностей — вспомним «Смерть Ивана Ильича» Толстого, где на пороге смерти герой обретает новое зрение и начинает понимать, насколько мелко все, что представлялось ему значительным. «По всей вероятности, я всю жизнь останусь замороженным Львом Толстым, и без „Смерти Ивана Ильича“ вряд ли обратился бы к теме человеческой жизни и смерти, хотя война, конечно, неминуемо наталкивала нас, писателей, на мысли о „бренности“»[13]. Это высказывание Юрия Германа можно дополнить рядом других, где он

говорит о значении традиций Толстого для современного писателя. Обратившись к «толстовской» теме, Герман решил ее в ином плане, в новом ключе; но отчетливо видно стремление следовать Толстому в подробнейшем анализе внутреннего мира героя. Все переходы сложных чувств подполковника Левина на разных этапах его трагедии исследованы писателем. Подводя итоги прожитого, герой на своих последних рубежах приходит не к переоценке всего, во что верил, а к утверждению идей, составлявших смысл его жизни.

Повесть «Подполковник медицинской службы» по жизненному материалу, положенному в ее основу, связана с произведением военных лет «Далеко на Севере». Но от своего первого эскиза повесть отличается не только сложностью проблематики, но и характером фона, на котором развивается действие. В набросках военных лет быт госпиталя, отношения работающих в нем людей были выписаны почти идиллически; в повести о жизни и смерти доктора Левина фон конфликтен, многие герои противостоят друг другу. Напомним историю отношений Левина с доктором Барканом. Хороший врач, Баркан страдает пороком, по мнению Левина, для медика непростительным, — он равнодушен, не способен глубоко проникнуться интересами другого человека, понять все нужды больных. Возникает в повести фигура Шеремета, подхалима и карьериста, считающего свою врачебную деятельность трамплином для восхождения «вверх». Свое отношение к Шеремету высказывают многие герои повести. Но наиболее сурово судит его автор.

Голос публициста слышится во многих произведениях Германа, созданных в середине 50-х годов, — и в пьесе «За тюремной стеной», где новое обращение к биографии Дзержинского было подсказано размышлениями над проблемами, связанными с нравственным содержанием деятельности руководителя народных масс; и в сценарии (написан совместно с режиссером И. Е. Хейфицем) фильма «Дело Румянцева», где на материале жизни рабочего коллектива поставлены важные вопросы о нормах морали, сформированных нашим обществом.

Миссию искусства, долг писателя Герман видел прежде всего в активной защите нравственных принципов советского народа. Он настойчиво призывал художников вмешиваться в жизнь, создавать литературу, тревожащую человека. Требования эти предъявлялись в первую очередь самому себе. В последние годы жизни писателя в его высказываниях, в его произведениях все более заметно проявлялось то свойство, которое дало основание Д. Данину утверждать, что Герман «был проповедником», что творчества его «было притчей о человеке, страстно ищущем справедливости».

С большой силой художественного обобщения и глубиной социального анализа новые темы разрабатываются во второй половине 50-х годов, когда началась работа над романом о жизни врача Владимира Устименко. В 1957 году была опубликована первая часть будущей трилогии — «Дело, которому ты служишь».

Действие первой части трилогии протекает в предвоенные годы в небольшом городе Унчанске[14]. Здесь проходят отрочество и юность Устименко. Становление этого сложного и в то же время удивительно цельного характера совершается на глазах у читателя. Время направляет движение, формирование характера, но не менее важно и влияние среды — недаром тетке Аглае приходит на ум слово «эстафета», когда она узнает о гибели Володиного отца: «Сын ломового возчика с Харьковщины, украинец, летчик Афанасий Устименко, не мог погибнуть за свободу испанского народа так, чтобы все это не имело продолжения».

Эпоха и среда формируют человека; новое в подходе к герою проявляется в том, что процесс этот писатель ныне раскрывает во всей его сложности. Рядом с Владимиром Устименко входит в жизнь Женька Степанов. И если в первом романе трилогии жизненная философия приспособленца Женьки во многом объясняется влиянием матери — меццанки новой формации, то по мере развития действия эпопеи Евгений Степанов все яснее

вырисовывается как человек, сам отвечающий за выбранную в жизни позицию. Социальная глубина отличает художественное исследование характера Устименко. Это — личность, опирающаяся на богатый опыт не только своего поколения, но и всего советского народа, его революционной истории. Понятие среды в этом произведении Германа значительно шире границ семьи или круга знакомых. И особенности характера человека предстают по как следствие индивидуальных только качеств; характер — производное ложной борьбы общественных сил и тенденций, в которой позицию каждому приходится выбирать самому.

Выбор Устименко сделан с ясным пониманием своей ответственности перед другими людьми, перед обществом, перед собственной совестью. Так рождается та одержимость «делом», которая отличает героя трилогии на протяжении всего его жизненного пути.

Особенно подробно прослежена в первом романе эпопеи история становления врача. Раздумьями о медицине, о полном драматизма развитии этой науки наполнены многие страницы. Беседы, которые ведут с Володией Полуниным или Богословским[15], не воспринимаются как отступление от основной линии действия. Они нужны для развития главной темы романа — Устименко осваивает не только знания, он проникается пониманием «человеческого» значения врачебной профессии. Служение «делу» требует не только полной отдачи сил; оно учит гуманизму активному, способности бороться, не идти на компромиссы.

Герман создает не схему героя, а живой человеческий образ, характер, в котором не все достоинства и недостатки могут быть сбалансированы. Мы видим, как часто бескомпромиссность Володи оборачивается излишней категоричностью суждений о людях и их поступках, как иногда определенность представлений (вполне уместная, когда, скажем, речь идет о приспособленце Женьке Степанове) приводит к ограниченности, если надо понять явление сложное. Душевная глухота сказывается иногда в отношении Володи к Варе. В сфере чувств «простенькая» Варя талантливей, душевно щедрей Володи.

Во второй части трилогии («Дорогой мой человек») Устименко проходит трудную школу войны. Ему довелось повидать много людского горя, встретить людей самоотверженных, стать свидетелем подвига. Но наблюдал он и человеческую низость, подлость — иногда в самых неожиданных обличьях. Главная наука и состояла в том, что менялись многие привычные представления, юношеские его «четкие» оценки людей порой приходилось пересматривать — выяснялось, что человек способен принимать решения, выводящие его на новые жизненные рубежи.

Ранение в руку приносит герою самое тяжелое испытание; казалось — рухнет дело жизни. Каждый, кто знаком с выступлениями Германа, знает, что история хирурга, раненного в руки и нашедшего в себе силы преодолеть недуг, вернуться к хирургии, не выдумана автором романа «Дорогой мой человек». Это история Бориса Григорьевича Стучинского[16]. Но не он один послужил прототипом образа Устименко. Герман много раз называл людей, которые помогли ему увидеть своего героя, — врачей Арьева, Стучинского, Клюсса.

Германа занимает движение характера: действие трилогии начинается в конце 30-х годов, а третья ее часть рисует деятельность доктора Устименко в годы послевоенного строительства. То, что он строит жизнеописание главного героя, роман-биографию, роман-судьбу, Герман подчеркивает переходами от одной части к другой — финальная сцена романа «Дорогой мой человек» становится началом повествования в романе «Я отвечаю за все».

Трилогия вмещает в себя все больше героев, в ней возникают все новые и новые сюжетные линии. Следует иметь в виду, что создавалась она на протяжении многих лет (почти пятнадцати, по свидетельству Германа). За это время герой прошел большой путь — около тридцати лет отделяют профессора Устименко, которого мы видим в эпилоге трилогии, от девятиклассника, появившегося на ее первых страницах. Закономерно, что на протяжении

целой жизни герой действует в разных обстоятельствах, встречается с новыми людьми, показан во все более сложной системе взаимоотношений с другими персонажами.

Естественно, что за долгие годы работы над огромным полотном о жизни наших современников многое по-новому осмыслил сам автор. Направление, в котором шла работа над произведением, связано с обогащением и уточнением его замысла: в рассказ о жизни доктора Устименко все более широко входит проблематика социального, нравственного характера. Роман-судьба становится полотном, повествующим о биографии поколения.

Последняя часть трилогии — самая большая по объему; по насыщенности событиями, действующими лицами, по разветвленности сюжета она заметно выделяется среди остальных. Отличает ее и тревожный колорит изображенной в романе жизни. Действие происходит снова в Унчанске, куда после войны приезжает на работу Устименко. Жизнь города показана в восприятии постаревшего, прошедшего через тяжкие испытания человека. И в довоенном Унчанске Устименко сталкивался с людьми, которых считал подлецами. Он мог открыто презирать профессора Жовтяка, Женьку Степанова... В третьей части персонажи такого рода играют роль зловещую: их возможности влиять на судьбу честных людей достаточно велики.

Обратившись к трудному послевоенному периоду, Герман сумел показать события в верной исторической перспективе. Он не сглаживает сложных проблем, которые вставали перед многими его героями. Жертвой необоснованного обвинения становится коммунистка Аглая. Ее муж Родион Степанов в поисках справедливости обивает пороги разных учреждений; плетутся интриги против Устименко и Богословского... Показывая горькие для героев дни, писатель не впадает в односторонность, не теряет ориентира, позволяющего увидеть магистральный путь движения истории. Он не скрывает зла, творимого Свирельниковым, Горбанюк, Ожогиным, но люди эти показаны как чужеродное явление в окружающей их среде — явление, которое будет отторгнуто обществом, построенным на принципах коммунистической нравственности. О том, как была восстановлена справедливость, как восторжествовала законность, читатель узнает из эпилога. Но и в романе, где борьба разных сил времени показана отнюдь ее облегченно, исход этого противоборства по существу предопределен. Герман создает галерею образов людей, в деятельности которых находят воплощение жизнеспособные силы эпохи. Перед читателем проходят судьбы Штуба и Гнетова, работников органов безопасности. Наследники традиций Дзержинского, верные солдаты партии, люди эти противостоят свирельниковым. И не только они. Писатель показывает врачей, ученых, работников обкома — людей несхожих судеб, но объединенных движением к общей цели. Все вместе — своим трудом и жизненными принципами — они утверждают незыблемость основ нашего общества.

Трилогия Германа — явление, характерное для литературы 50—80-х годов. Здесь постановка сложных проблем сочетается со способностью осмыслить их с партийных позиций и с потребностью исследовать прошлое в перспективе пути, пройденного народом.

Тесная связь с современной литературой определяет и художественные искания писателя. Напомним, что многие литературные жанры, получившие ныне широкое развитие, пробивали себе дорогу в 50—80-х годах. Именно тогда заметно увеличился в литературе удельный вес лирической, «исповедальной» прозы, путевого очерка, очерка-размышления. Герману казалось, что эта тенденция чревата потерями для литературы. Не однажды в статьях и выступлениях он высказывал беспокойство по поводу того, что многие сейчас пишут «про ничего»: «В чрезвычайном ходу нынче ищущие себя молодые люди, которые нанимаются в геологические партии, дабы обрести свое социальное я». Со свойственной ему решительностью в выводах Герман утверждал, что с этими «ищущими себя героями читателю, прежде всего скучно»[17]. Здесь писатель выступает не против «поисков себя» — его беспокоит оторванность героев многих произведений от насущных вопросов жизни, его тревожит позиция автора. «Талант многих бесспорно талантливых людей уходит в песок, в шелуху многозначительных слов, намеков, философствований, за которыми нет ни мысли, ни

любви, ни бережности к человеку, нет активного притяжения или неприятия окружающего мира, нет борьбы и нет страсти»[18]. Художника — равнодушного наблюдателя жизни Герман не приемлет. «Больше всего люблю читать книги, из которых ясно, за что писатель и против чего...»

Здесь отстаиваются и свое понимание задач литературы, и собственные творческие принципы. На протяжении всего писательского пути Герман обращался к существенным вопросам современности, открыто высказывался, «за что» он и «против чего». Позиция его становилась все более наступательной. Защищал он, когда настойчиво напоминал о наследии классической литературы, и свою приверженность к «традиционным» литературным формам.

Но «традиционная» проза Германа была современной в лучшем значении этого понятия. Ее публицистический характер, смелая постановка писателем существенных проблем народной жизни были знаменем времени. Основные тенденции развития искусства писатель улавливал чутко — особенно те, которые были ему внутренне близки. Напомним, как много внимания в своих романах он уделял «делу» человека, его профессиональным интересам. Новый этап решения этой главной темы писателя отразился в трилогии. Здесь профессиональной деятельности героев отдано в повествовании центральное место. Это было связано с системой эстетических воззрений писателя. С сарказмом рассказал Герман в одном из своих выступлений, как ему довелось «прочитать повесть из жизни печи, в которой обжигают некую глину... Из-за этой печи разводятся, страдают, мучаются, на этой печи и вблизи нее зарождаются и развиваются, а также и, разумеется, благополучно, завершаются конфликты между героями».

Производственные, технологические процессы не являются, по мысли писателя, предметом искусства. Но без глубокого проникновения в мир интересов человека, в проблемы, связанные с делом его жизни, современное искусство существовать не может. Герман неоднократно критиковал деятелей кино за «приблизительное видение того, о чем сочинен фильм». В статье «Дело, которому мы служим...», говоря о вреде «приблизительного изображения деятельности персонажа» («этот будет у нас физик, этот химик, этот медик...»), писатель спрашивал: «Что из этого образуется? И зачем тогда профессия?» Герман подчеркивал, что без дела, «которое и есть смысл его существования», в герое не выразишь человеческого. Здесь, помимо размышлений общего характера, подытожен опыт работы над трилогией.

В повествовании о судьбе врача Владимира Устименко ярко проявились особенности художественной палитры Германа. Чувство времени, умение воссоздать конкретные обстоятельства жизни героя, показать в поведении человека, в строе его мыслей особенности того или иного периода истории страны блистательно продемонстрированы в трилогии. Стоит вспомнить деда Мефодия — и за этой колоритной фигурой видятся целые пласты действительности, определенный жизненный уклад. В маленьком эпизоде, когда взбалмошная Варя раскрашивает себе ноги «под ажурные чулки», оживает перед нами быт послевоенных лет.

Как отмечалось, в романе сильнее зазвучал голос публициста. Это углубило бытовые картины и характеристики, придало им обобщающий смысл. Интересно подчеркнуть, что, выступая против наметившегося в 60-х годах «личностного» характера литературы — против стремления многих писателей не только пристальней всмотреться в героя, но и поглубже заглянуть в собственную душу, — Герман в своей художественной практике, идя другим путем, двигался по существу в ту же сторону. В его открыто публицистической позиции выявлялось стремление высказаться самому, выразить свое отношение к событиям и людям. Как ни парадоксально, это была другая ипостась «исповедальной» прозы. Так внешне, казалось бы, далекие друг от друга художественные явления сопрягались в общем процессе движения литературы.

Внимание писателя к свойствам личности героя, способность исследовать характер в его сложном единстве, умение показать, что в «деле» не только реализуются интеллектуальные возможности человека, но и выражается его общественная позиция, выявляя свойства его личности — это сделало трилогию заметным явлением современной литературы и позволило Герману внести свою лепту в решение темы, обретающей ныне все большее значение. Речь идет о деятельности человека науки, об ответственности ученого перед обществом. С начала 60-х годов в литературе наметились поиски нового подхода к этой теме (напомним хотя бы о романах Д. Гранина) — на первый план выдвинулось исследование нравственной позиции ученого. Герман, которого эта тема занимала и волновала давно, в трилогии рассматривает деятельность ученого в ее нравственном и социальном аспектах. Оригинальность решения темы определяется тем, что многие герои трилогии сознательно отказываются от пути в науку, исходя из интересов практической деятельности; но те же интересы в конце концов приводят их к необходимости научного поиска.

В многоплановом произведении тема ответственности человека «за все» выкристаллизовалась в качестве главной, когда писатель работал над последним романом. Известно, что название «Я отвечаю за все» родилось не сразу (был обещан роман «И вечный бой») — оно было найдено, когда тема ответственности, поставленная вначале как проблема призвания, обрела более широкий смысл. В последней части трилогии писатель рассматривает вопросы о характере и мере ответственности человека за выбранную позицию в самых разных аспектах. Рисуя разноликих людей, исследуя их сложные судьбы, Герман подводит читателя к выводу о личной ответственности человека за происходящее с ним, вокруг него, в мире. В этом смысле название, которое так долго искал писатель, очень точно выражает тему произведения. Здесь значителен каждый член формулы: «Я отвечаю за все». Но при всей важности составляющих ее частей

Я выделено как бы курсивом. Так писатель выразил найденное им за долгие годы раздумий и творческих исканий.* * *

Над последним романом трилогии Герман работал, зная, что тяжело, неизлечимо болен. Он понимал, что пришла пора подводить итоги. Быть может, поэтому сильнее ощущал потребность в прямом обращении к читателю. Часто этот пафос публициста помогает автору высветлить то или иное явление. Но иногда слишком пристрастное отношение к персонажу мешает художническому видению писателя. В качестве примера можно назвать Веру Вересову. Во второй части трилогии Вересова, оказавшаяся в трудные дни возле Устименко, выписана достоверно — кистью художника. В последнем романе эпопеи слишком заметно прорываются чувства автора к персонажу, и это ведет к потерям — живописец берет в руки перо фельетониста. В очень сложном образе доктора Цветкова тоже заметны смещения, совершившиеся при переходе от второго романа трилогии к ее последней части. Да и в картине жизни Унчанска, изображенной в третьем романе, иногда сгущены краски — когда слишком явно проявляются чувства, владеющие автором. Так, в истории Штуба звучат порой мелодраматические ноты. А черты «злодеев», столь щедро приданные Горбанюк и Палию, в известной мере мешают трезвой социальной оценке явления.

Но Герману важно было высказаться. Он обращался к читателю не только на страницах романа. В статьях последних лет, докладах, выступлениях он стремился как можно полнее выразить свой символ веры, определить свои взгляды на жизнь, на искусство, на задачи художника. И в публицистике иной раз сказывались издержки слишком эмоционального отношения к предмету разговора. Скажем, в воспоминаниях о Мейерхольде Герману удалось воссоздать живой образ выдающегося режиссера. Но когда писатель оставляет своего героя и обращается к читателю в качестве публициста, он не может сдержать напора бушевающих его чувств. Подчеркивая новаторское значение Мейерхольда в истории советского театра, призывая написать о нем правдивую, «честную и чистую» книгу (эти книги, кстати сказать, в 60—70-х годах были изданы), Герман высказывается с таким волнением, с такой экспрессией, что читателю, мало с ним знакомому, это может показаться излишней аффектацией...

Немало мыслей, вложенных автором в уста героев трилогии, мы находим в статьях и выступлениях Германа: в ответе «за все» чувствовал себя и писатель. Особенно много размышлял он в это время о «центральном характере» эпохи (термин заимствован у Тургенева), о типе человека, который должен быть главным героем искусства. Статьи «Центральный характер», «Дело, которому мы служим» и посвящены раздумьям о том, чего ждет от художника читатель и зритель. Герман считает особенно важной активную позицию героя, его способность защитить, отстаивать свои убеждения: «Советский человек мне лично интересен не в состоянии покоя, а в состоянии движения, подразумевающего борьбу». Характерно, что обращение к проблеме «центрального характера» времени писатель аргументирует ссылками на реальных людей (Долецкого, Баирова[19]), на их пути в жизни и науке.

Проблемам искусства посвящены многие выступления Германа. Круг интересующих его тем был очень широк. Отметим характерную особенность — Герман обычно обосновывает свои утверждения, исходя из интересов читателя. В качестве примера напомним его высказывания о значении сюжета. Герман не уставал доказывать, что без сюжета литература не может выполнить своего назначения. «Все великие — от солнца нашего Пушкина — и Гоголь, и титан Лев Толстой, и Чехов, и Бальзак, и Стендаль — знали, что для того, чтобы книга была прочтена и чтобы идеи ее проникали в душу и мозг читателя, — она непременно должна быть интересной».

«Чтобы книга была прочтена...» Здесь Герман, ссылаясь на «великих», выразил нечто особенно для себя важное.

Создавая роман или повесть, он отводил построению сюжета первостепенную роль, добиваясь того, чтобы произведение заинтересовало не только поставленными проблемами, но и увлекло читателя, заставляя следить за перипетиями сюжета, а заодно — за делами и судьбами героев. Стремление к сюжетности повествования не было данью беллетристике, как полагали некоторые критики; это сознательная установка на завоевание аудитории, желание вести борьбу за определенные жизненные принципы, за «центрального» героя времени, обращаясь к широчайшему кругу читателей. О «подлинно демократических особенностях» дарования Юрия Германа справедливо писал критик Л. Левин[20]. Герман имеет поистине массового читателя. В его архиве сохранилось огромное количество писем, которые заметно отличаются от обычных читательских откликов: если идет речь о героях книг писателя, то разговор ведется словно бы о живых людях — одних ненавидят, в других видят пример, которому хотят следовать. Но большинство писем — исповеди: люди разных профессий, разного возраста рассказывают о себе, спрашивают, как перестроить свою жизнь. Писатель не только отвечал советом, но помогал делом, активно вмешивался в человеческую судьбу.

Равнодушия к людям Герман не простил бы себе, как вообще не прощал сторонней позиции никому. Ашхен Оганян признается в предсмертном своем письме Владимиру Устименко: «Я ненавижу спокойных и не верю им. Если они спокойны, значит их не касается, значит им дела нет, значит они случайно затесались в нашу жизнь и ничего у них не кровоточит». Многие сказано в этом письме-завещании. По существу это — завещание самого Германа. С силой, которую придало художнику реальное ощущение близкого конца, он выразил на этих страницах последнего романа трилогии то, что считал для себя самым важным, что хотел оставить своим читателям.

Размышлениям о смысле жизни посвящено немало страниц прозы Германа. Писателя волновала эта вечная тема искусства. Понятия «жизнь» «работа» неразделимы и для его героев и для самого Германа. «...Если ты нужен обществу до последнего дыхания, — вот это и есть жизнь...» — сказал Юрий Павлович, когда его в последний раз записывали для радио.

Это сказано было о себе. Герман работал, зная, что ему не отпущено времени для

осуществления его замыслов. 17 января 1967 года он скончался.

Жизнь человека и жизнь художника исчисляются, как известно, сроками разными. Остаются произведения, сложный диалог писателя с читателем продолжается. По-прежнему читатели — старые и множество новых — обращаются к прозе Германа. Они ищут в его книгах ответа на вопрос, как жить. Писателю, способному подсказать решение такой непростой и насущной для каждого задачи, суждена в литературе долгая жизнь. Р.Файнберг

Наши знакомые

Роман в трех частях

...И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило.
Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь,
И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать! А.Блок

Пролог

Ночью семнадцатого января тысяча девятьсот двадцать пятого года в припадке грудной жабы умирал отец Антонины, Никодим Петрович Старосельский, бухгалтер-ревизор акционерного общества «Экспортжирсбыт».

Припадок начался, едва Никодим Петрович заснул, — в полночь. Антонина сбегала за стариком врачом Дорном, привычно и ловко приготовила горчичники, согрела воду, накапала капель в ликерную щербатую рюмочку и села на низенький стул возле кровати.

Непривычно громко гроыхали старые стенные часы.

Отец молчал и широко открытыми, испуганными глазами смотрел прямо перед собою на вышитую золотыми тюльпанами, изъеденную молью портьеру. Порою он весь вздрагивал, еще более пугался, силился что-то произнести, но не мог. Дыхание у него срывалось, губы и подбородок синели. Уже перед приходом Дорна Никодим Петрович заставил Антонину нагнуться к самому своему лицу, прикоснулся виском к ее мокрой от слез щеке, замахал сердито рукой и словно бы успокоился.

— Легче, пап? — шепотом спросила Антонина.

Никодим Петрович устало закрыл измученные глаза.

Под утро розовый и седенький Дорн осторожно, как хрупкую, стеклянную вещь, опустил руку Никодима Петровича на одеяло, поправил свое черепаховое пенсне и взглянул на часы.

Было двадцать минут пятого.

— Остановите, Тоня, маятник! — велел доктор.

Часы перестали громыхать.

Антонина вернулась к изножию кровати и, не понимая происшедшего, внимательно, но уже со страхом взглядела в отца. Тяжелый блеск стекленеющих белков из-под полуопущенных век поразил ее.

— Скончался, — тихо сказал Дорн.

Она все еще не понимала.

— Никодим Петрович умер! — внятно и строго произнес врач. — Слышите, барышня?

— Ага! — растерянно ответила она.

Дорн писал у ломберного столика.

Антонина еще посмотрела на отца, на его странно неподвижную, остывающую улыбку, на его гладкий лоб, на сухие, желтые руки, еще раз увидела стеклянный блеск глаз — и все поняла, но не поверила и во второй раз подошла к кровати.

— Папа, — позвала она тем голосом, которым будила его, когда он спал после обеда, — папа, папа...

Дорн кашлянул и заскрипел стулом.

Она вскрикнула тонким и слабым голосом, потом, прижав руки к груди, пошла в соседнюю комнату, но не дошла, все сразу забыла, закружилась по спальне и упала возле серого мраморного умывальника.

Опустившись возле нее на корточки, старик Дорн дал ей понюхать спирту, расстегнул тугой воротник ее старенького шерстяного платья, бережно спрятал пенсне в футляр и крупными шагами заходил по комнате.

Когда Антонина пришла в себя, Дорн отвел ее, дрожащую, в маленькую кухню, затворил дверь из спальни и принялся хозяйничать короткопалыми красными руками.

В сияющей изразцами кухоньке доктор согрел чай, достал из буфета все съедобное, что там было, накрыл на стол и велел Антонине выпить брому. Она покорно проглотила солоноватое лекарство и молча, вопрошающим взглядом посмотрела на Дорна.

— Ну что? — спросил доктор. — Вот чаю попейте, вам согреться нужно. И поешьте.

— Не хочется...

— А вы через не хочется.

Антонина взяла с тарелки тминную сушку и захрустела ею, но вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она закрыла лицо ладонями и громко, горько разрыдалась...

— Я их покупала, — говорила она, захлебываясь слезами, — он велел... он сказал: найди сушек моих и купи, он их очень любит, эти сушки, он их каждый день ест, и, если я позабуду, он сердится, и вот он теперь...

В семь часов утра Дорн поднялся. Повязав шарфом шею и сняв с вешалки шубу, он, покашливая, сказал, чтобы Антонина постучала кому-нибудь из соседей, а то ведь ей одной, наверно, тяжело.

— Тут все чужие, — потупясь, ответила Антонина, — мы ведь с Охты.

— Ну а родные?

— Родных у нас с папой нет.

— Совсем нет?

— Совсем. Тетя Даша два года как умерла. От тифа. А Григория разбойники убили.

— Разбойники, — машинально повторил Дорн и, внезапно раздражившись, спросил: — Позвольте, ну, знакомые есть у вас? У нашего отца знакомые были? Знакомые?

— Да, — ответила Антонина, — у папы есть один — Савелий Егорович, он к папе в шахматы приходит играть... Сослуживец...

— Ну?

— Я только не знаю, где он живет... Подруги у меня есть, — Антонина зашпешила, точно испугавшись, что Дорн уйдет, не дослушав, — Аня Сысоева, не знаете? У нее отец тоже доктор, как вы, но только зубной, — не знаете?

— Не знаю, — улыбнулся Дорн.

— И Рая Зверева, и Валя Чапурная... И ребята тоже, Саша Как-звать, то есть это мы его так про себя называем — Как-звать, потому что у него такая поговорка, на самом деле его фамилия Зеликман... Так они ко мне придут, обязательно придут...

Дорн молча размотал вязаный шарф, повесил на вешалку шубу и налил себе чаю.

Вдвоем, друг против друга, они сидели в кухне. Дорн шумно мешал ложечкой в стакане, отхлебывая чай, передвигая посуду на столе, грыз сушки, курил...

Порой было слышно, как ледяная крупа скрежещет по замерзшим стеклам окон.

Антонина внимательно смотрела на усталое лицо врача, согревала дыханием все время зябнувшие руки и старалась не плакать: ей казалось, что, если она заплачет, Дорн сейчас же наденет шубу и уйдет.

Отставив стакан и закулив толстую папиросу, Дорн разгладил согнутым пальцем усы, встал, прошелся по кухне из угла в угол, почесал стриженную ежиком голову и вдруг, остановившись

сзади Антонины, положил на ее плечи лоснящиеся красные руки.

— Ну, — спросил Дорн, — что же мы будем делать, девочка?

Она молчала. Ей было слышно, как у него в жилетном кармане тикают часы. Считая пульс, Дорн всегда смотрел на циферблат своих золотых часов и едва заметно шевелил губами.

Вдруг она вспомнила сад или парк — что-то большое, с чугунными скамьями и белыми статуями. Белые статуи смотрят перед собою глазами без зрачков и неудобно держат руки. Ветер едва слышно шелестит кронами деревьев. Она, Тоня, ест ватрушку. Белые крошки творога падают ей на колени, на вышитый петухами фартучек, на голые ноги — выше чулок и ниже штанишек. Она ест и старается, чтобы творог не попал за чулки...

И еще что-то...

А как она чистила селедку отцу вчера...

Сдерживая дрожь губ, она повернула бледное лицо к Дорну и взглянула на него снизу вверх. Он смотрел перед собой, в стену, усталыми, красными глазами.

— Я всегда думаю, — заговорил он и опять заходил по кухне, — я всегда думаю, что, в сущности, может быть, мне и не следует вмешиваться во все эти дела, но что поделаешь, не могу не вмешиваться. Знаю, знаю, — он вдруг замахал руками, — знаю, сейчас не время... Нет, извините, время. Именно сейчас, деточка, и время. Отвлечетесь. Подумаете. Поволнуетесь. И не на ту тему поволнуетесь, — он кивнул головой на дверь спальни, — а на другую, на живую. О себе поразмышляете, о своем будущем, потому что у вас несомненно это будущее есть. Вы ведь учитесь?

— Да, — тихо ответила Антонина.

— В каком классе?

— В шестой группе.

— Мало. Вам бы, в сущности, школу пора и кончить.

— Я поздно поступила, — виновато сказала Антонина. — Мы все поздно начали учиться — и я, и подружки мои. Голод был, революция...

— Ну, некоторым эти обстоятельства учиться несколько же помешали, — произнес Дорн, — и даже, знаете ли, наоборот...

Антонина промолчала, не понимая, о чем он говорит.

— Впрочем, судьбы человеческие складываются по-разному, — опять непонятно сказал Дорн и осведомился: — Пишете-то хоть грамотно?

— Нет, так себе, — растерявшись, ответила Тоня. — Папа иногда со мною занимается, но больше по арифметике...

— Значит, арифметику знаете? Простые, десятичные...

— Немного знаю. Папа говорит...

— Ничего папа больше не говорит, — с грустной досадой перебил Дорн. — И шить небось не умеете, и на текстильную фабрику вас не определишь. Удивительное дело, — раздражаясь, громко заговорил доктор. — Поразительное дело — это образование вообще, в рассуждении общего развития, с «прохождением» «Онегина», в котором вы, ребяташки, ни черта не

понимаете. А пробки починить, а пуговицу пришить, а щи сварить...

Он махнул рукой.

Антонина молчала, губы у нее дрожали.

Дорн вздохнул, сел, вытянул короткие ноги в ярко начищенных, залатанных штиблетах, налил себе остывшего чая, но пить не стал — забыл.

— Что ж мне с вами делать? — спросил он усталым голосом. — В «Экспортжирсбыте» вам помогут? Это ведь частное, в общем, предприятие, типа концессии? Кто там во главе?

— Господин Бройтигам, — ответила Антонина.

— Как это так — «господин» — при советской власти?

— Папа говорит, что он иностранный подданный и запрещает называть себя товарищем. Еще его можно называть Отто Вильгельмович. Но там у них есть Гофман — секретарь профсоюза, папа очень его всегда хвалит.

— Тоже — «господин»?

— Нет, он наш, папа говорит — партиец. Его Бройтигам терпеть не может, но принужден с ним считаться, — повторила Антонина фразу отца.

— Принужден, принужден, — насупился Дорн, — а вам жить надо. Что ж? Вещи продавать? — Прищурившись, он оглядел кухню: — Надолго ли хватит? Я бы, видите, мог вас устроить — у меня пациент один есть, славный малый, управляющий делами, так к нему под начало, но писать надобно без ошибок. Мастерская одна есть, тоже, слава богу, государственная, но шить вы не умеете. И еще пациент есть — милейшей души старик, вот с эдакой бородой, — Дорн ребром ладони провел по жилету, — у него работа точная, арифметика нужна...

Антонина испуганно смотрела на Дорна.

Он поднялся и опять заходил по кухне из угла в угол.

А она плохо понимала, что случилось в ее жизни. Отец давно болел и часто говорил о смерти, но ни он сам, ни Антонина не знали толком, что она такое — вот эта смерть. А теперь смерть была здесь — за плотно притворенной дверью, пришла сюда, все изменила, перепутала, перевернула.

— Что же она такое — эта смерть? — почти шепотом спросила Антонина.

— Смерть? — Дорн невесело усмехнулся. — Можем ли мы знать, что такое смерть, когда мы толком не знаем, что такое жизнь. Странная штука смерть, девочка. И самое в ней странное, что всякая смерть забывается людьми, будто она суждена только покойникам, а не живущим. Впрочем, шут его разберет. Бессмертие тоже невеселая штука. Нам, смертным, все мило, потому что проходимо, если же бы вдруг отыскался секрет бессмертия, все сделалось бы постоянным и, следовательно, несносным...

Дорн говорил долго, курил, отхлебывал чай. Но Антонина не слушала его. Впрочем, слушала, но совершенно не понимала.

Ужасен холод вечеров... А.Блок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Похороны

Сначала ей все казалось, что ноги отекли, что надобно походить, и тогда все пройдет, но ничего не проходило, — наоборот, с каждой минутой ногам было все хуже и хуже...

Спрятавшись за буфет, она разулась, сняла с левой ноги чулок и недоуменно потерла ладонью колено. В ту же секунду ей пришлось сесть — правая нога точно подломилась.

Она села, растерянная и подавленная, но сейчас же вцепилась пальцами в стенку буфета и, стиснув зубы, попыталась подняться. Ей удалось это, но, как только она встала, ноги снова подломились, и она, слабо охнув, опять села.

В комнате, в кухне, в передней — везде было холодно и шумно, всюду сновали чужие люди, везде пахло остывшим кадильным дымом, еловыми ветвями, снегом.

Дверь на лестницу стояла открытой.

На площадке к стене была прислонена дубовая крышка гроба.

Немолодой священник разговаривал в передней с Савелием Егоровичем. Савелий Егорович озабоченно потирал лысину ладонью и, слушая священника, учтиво помаргивал, но, несмотря на учтивость, никак не хотел согласиться со священником и, хмурясь, бормотал одну и ту же фразу:

— Да поймите, отец Николай, это физически невозможно.

«Физически, — думала Антонина, — как так физически?» Ей вдруг представилась физика Цингера, по которой она училась, и слова «в твердом», «жидком» и «газообразном», но, к чему относились эти слова, она не могла вспомнить. Пытаясь встать в третий раз, она подумала, что встать ей «физически невозможно», и тихонько заплакала.

На какой-то промежуток времени о ней все забыли и вспомнили только перед самым выносом. Она сидела в углу, за буфетом, жалкая, заплаканная, без одной туфли. Толстая безбровая женщина с муфтой, сослуживица покойного Никодима Петровича, всплеснула руками и, вскрикнув: «Вот она где, Тонечка!», тотчас же вытащила из своей муфты склянку с валерьяновыми каплями.

— Мне этого не надо, — сказала Антонина, — у меня ноги почему-то подламываются.

— Как подламываются? — испугалась женщина с муфтой. — Вы, вероятно, ушиблись?..

— Может быть, и ушиблась, — ответила Антонина, — только я не могу встать.

— Да вы попробуйте.

Подшли Савелий Егорович, священник и какой-то горбатенький человек, желтолицый,

туповатый, в белом грязном балахоне с большими пуговицами и с кнутом в руке.

— Ну как так не можете! — ворчливо сказал Савелий Егорович. — Ведь не сломаны у вас ноги... Обопритесь-ка на меня... Или погодите, я вас за талию возьму...

Пока Антонина пыталась встать, какой-то только что вошедший, сизый от холода старик говорил женщине с муфтой, что это «бывает нередко — это, видите ли, нервный шок».

— Ах, господи, Савелий Егорович, — не слушая старика, волновалась женщина с муфтой, — ведь никакого толку не будет, если она даже и встанет, держась за вас, — ведь ему надо до самого Смоленского идти...

— Не могу, — простионала Антонина, — пустите, Савелий Егорович.

Ей было стыдно, что все эти взрослые и совсем чужие люди, как маленькую, ставят ее на ноги. Кроме того, ей казалось, что священник, который все время молчал, не верит ей, думая, будто она притворяется.

— Не могу, — повторила она, сидя на стуле, — не идет ни правая, ни левая.

— Порекомендую нанять извозчика, — сказал сизый старик, — барышня поедет, это единственный выход из положения...

Толстая женщина с муфтой натянула ей на ноги короткие валенки, замотала шею и грудь шарфом, чтобы не прохватил мороз, надела шубу, повязала платком голову.

Савелий Егорович, путаясь в полах своей черной шубы, бегал по квартире, разыскивая молоток. Потом он очень долго бухал молотком, сбивая заевший крюк с двери, и бесстыдно громким голосом кричал старику, что он так и знал — эти «птицы» не явились.

— Мороз, мороз! — кричал Савелий Егорович. — Двадцать девять градусов — где уж им!

Сизый старик таращил глаза, кашлял и плевался в угол за плитой.

К выносу собралось довольно много народу — сотрудников покойного Никодима Петровича, но выносить гроб никто не вызвался. Кассир Поцелуйко сказал, что у него грыжа, весовщик главного склада боялся покойников, другие отводили глаза в сторону. Священник не мог — по сану, дьячок тоже, у старика болело плечо. «Да мне вообще, знаете ли, вредно, — сказал он, кашляя, — увольте, голубчик».

Оставался один Савелий Егорович, да еще маленький человек в грязном балахоне.

Из кухни Антонина слышала, как шушукались у гроба Савелий Егорович и толстая женщина. То, что происходило там, у гроба, было так нехорошо и стыдно, что Антонина вся с ног до головы дрожала, сидя в кухне, «Ну что они там торгуются, — с тоской и болью думала она, — как они могут, бессовестные...»

Наконец Савелий Егорович вышел в кухню, открыл дверцу буфета, налил себе, сизому старику и человеку в грязном балахоне по рюмке водки, выпил, махнул рукой и побежал вниз по лестнице.

Через несколько минут он явился с братом дворника, большим, толстым, мутноглазым мужиком, и с молодым парнем в форме торгового флота. Брат дворника сразу же заспорил с человеком в балахоне — как выносить, а моряк сел на край стула, вытащил из бушлата папироску и необычайно лихим движением зажег спичку о подошву своего щегольского ботинка. Он курил и, щурясь, наглыми светлыми глазами разглядывал кухню. Когда взгляд его остановился на Антонине, он неторопливо снял форменную свою фуражку, пригладил

ладонью рыжеватые волосы и, кивнув головой на дверь спальни, спросил:

— Болезнь — или так?

— У него жаба была, — тихо ответила Антонина, — сердечная болезнь.

Когда гроб вынесли и поставили на дроги, моряк и толстая женщина пришли за Антониной. Она сидела все в том же углу, ее большие черные глаза были полны слез, она всхлипывала и говорила срывающимся голосом:

— Я думала, вы забудете... Я... я не могу. Я думала, вы без меня...

— У нее ноги, — пояснила женщина, — у нее что-то с ногами, не может ходить.

— Что же ее — нести? — недовольно спросил моряк.

— Не надо, мне только помочь надо, — заторопилась Антонина, — только с лестницы...

Сдвинув фуражку чуть на затылок, моряк подsunул одну руку под колени Антонины, другой обнял ее за талию и понес. От него вдруг густо пахло спиртом...

Отто Вильгельмович Бройтигам на похороны не явился — он не совсем хорошо себя чувствовал, как выразился про него секретарь-стенографист акционерного общества «Экспортжирсбыт», лупоглазый парень с женским именем — Фрида. Фрида привез на извозчике небольшой венок из железных, крашенных в зеленое листьев, очень тяжелый.

— Сукин сын, буржуйская морда! — выразился про Бройтигама Савелий Егорович. — Надо было заводиться с попом! Из-за него церковным обрядом хороним, а он и носу не показал. Свинья. Товарищ Гофман, естественно, не приехал, он принципиально не мог пойти, как активный безбожник...

Другие сотрудники покойного Старосельского промолчали: Фрида доносил Бройтигаму все, что слышал, а безработным никому не хотелось оставаться. Да и вообще все устали, продрогли, измучились, всем хотелось по домам. «Мертвое мертвым, живое живым», как выразился кассир Поцелуйко.

В пять часов пополудни гроб с телом Никодима Петровича опустили в могилу. Первую горсть мерзлой земли бросила Антонина. Она не могла стоять, и церковный сторож принес ей табуретку из своей сторожки. За Антониной бросил земли Савелий Егорович, потом женщина с муфтой, потом, кряхтя, наклонился сизый старик. Могильщики взялись за тяжелые заступы. Один из них ломом разбивал уже успевшую замерзнуть землю. Мерзлые комья с грохотом сыпались на крышку гроба.

Темнело.

После похорон к извозничьим санкам, в которых сидела Антонина, подошел уже пьяненький Савелий Егорович и отдал ей оставшиеся после всех расходов деньги.

— Ничего, Тоня, не горюй, — сказал он, — все устроится. Я к тебе татарина приведу — знаешь халат; придется кое-что продать. Вот. Ну, поезжай. Там все прибрано, я распорядился, и дворничиха придет к тебе ночевать...

Антонина смотрела на багрового от водки и от мороза Савелия Егоровича и ничего не понимала. Все крутилось перед ней: кладбищенские ворота, синяя спина извозчика, снег, фонари.

Наконец санки тронулись.

Только возле самого дома она заметила, что рядом с ней сидел тот светлоглазый моряк. Видимо, он очень продрог в своем тонком бушлате, потому что весь съежился и совсем не двигался.

— Замерзли? — спросила Антонина, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Есть маленько! — сипло ответил он. — Но бывает хуже.

— Вы что, в нашем доме живете?

— Да. Временно отдал якорь. Дружочек один ситный у меня тут корни пустил. — И осведомился: — Разрешите у вас маленько обогреться?

— Пожалуйста! — вяло пригласила Антонина.

Квартира была чисто прибрана, топилась печь, но легкий и печальный запах еловых ветвей еще плавал в воздухе, и Антонине сразу вспомнился Никодим Петрович, такой, каким он лежал на столе, — торжественный, в твердом, очень высоком воротничке, в застегнутом кителе и с руками, покорно и вежливо сложенными на груди.

Она опустилась на диванчик не раздевшись — в шубе и платке. Красивая дворничиха Татьяна лениво разбивала кочергой головни в печке. Моряк снял бушлат, пригладил маленькими руками рыжеватые волосы, закурил и сел верхом на стуле недалеко от печки...

Когда Антонина уснула, моряк и дворничиха вышли в кухню.

— Сообрази, — попросил он, не глядя на дворничиху, — озяб я...

Пока она ходила, он сидел, не двигаясь с места, обхватив голову ладонями и глядя в одну точку прищуренными светлыми глазами. При виде водки он оживился, заметно повеселел и налил себе и дворничихе по полстакана, но выпил, не дожидаясь ее, и, стукнув стаканом по столу, сказал:

— За нее.

— За кого? — недружелюбно спросила дворничиха.

— За девочку, — пояснил моряк и кивнул головой на закрытую дверь комнаты, — за нее.

Татьяна молча, исподлобья, посмотрела на моряка, подняла свой стакан до уровня глаз и, нахмутив широкие темные брови, глухо и быстро сказала:

— За то, чтобы ты, Леня Скворцов, сукин сын, подох под забором...

— От, — тихо засмеялся он и покрутил головой, — от это сказала так сказала. Абсент пила?
— вдруг спросил он.

— Чего?

— Абсент — наливка такая, с полынью.

— Нет, не пила. Наливки пила, — добавила она, — настойку розовую пила — сладкая...

— «Сладкая», — передразнил Скворцов и руками разломал огурец, — «сладкая»! — Помолчав, он вскинул на уже охмелевшую дворничиху ставшие злыми глаза и заговорил, точно бранясь:

— Девчоночки там — приоденутся, ну никогда не подумаешь, какое у них основное занятие:

чулочки, костюмчик, шляпочка, зонтик, туфельки лаковые, причесочка «бубикопф» — последний крик моды, и без всяких лишних слов, а очень просто и корректно. «С вас, господин моряк, за мою к вам симпатию такая-то сумма в кронах, марках, шиллингах или пезетах. Заходите еще, дорогой пупсик. Ты, руссише, зеер гут!» — Он вдруг коротко хохотнул и добавил: — Означает — хороши мы! Уж будьте покойнички — не подкачаем за свои деньги, долго нас помнить будут зарубежные дамочки. И ох, Татьяна, скажу я тебе, понимают они толк в рубашечках...

— Сладость-то одна, — враждебно сказала дворничиха, — что в рубашечке, что без рубашечки...

— «Сладость!» — опять, как давеча, передразнил Скворцов. — Много ты понимаешь — «сладость»!

Он налил себе водки, вскинул стакан на свет, обтер ладонью губы и выпил.

Татьяна молчала.

Ее небольшие серые глаза тяжело и злобно блеснули. Мягкими темными руками она подобрала волосы на висках и концами пальцев поправила шпильки на затылке. Лицо ее размякло, она потерла щеки ладонями и, вызываясь откинув голову, спросила:

— Что ж тут надо понимать, гражданин Скворцов? Небось раньше нечего было понимать, заходили, выпивали. Он на дежурстве, а вы тут как тут, и про рубашечки не говорили! Раньше...

— Раньше было, а нынче прошло, — перебил Скворцов. — У тебя муж, у меня жизнь. Вот. Поняла?

— Поняла, — не сразу ответила Татьяна и опять бесцельно принялась поправлять прическу. Она вдруг точно вся размякла и отяжелела. — Поняла, — повторила она тише, — чего тут не понять...

— И хорошо, что поняла, — миролюбиво сказал Скворцов. — Она одна осталась?

— Кто?

— Да эта... Старосельская, что ли...

— Одна, — неторопливо ответила дворничиха.

— Ей сколько лет?

— Откуда ж я знаю...

— Учится?

— Ну, учится.

— Ты мне не нукай, — внезапно вскипел моряк, а то я тебе так нукну, что худо будет. Отвечай толком — учится или нет?

Дворничиха ответила. Задав ей еще несколько вопросов, Скворцов тяжело оперся о стол жилистыми татуированными руками и медленно поднялся.

Дворничиха напряженно следила за каждым его движением...

Он не торопясь застегнул на все пуговицы бушлат, обдернул его, сдвинул фуражку на

затылок и немного постоял молча, точно раздумывая.

— Ну вот, — негромко сказал он, глядя поверх глаз дворничихи, на ее молодой и гладкий лоб, — слушай и мотай на ус: вот эта вот девочка мне нравится, поняла?

— Поняла, — тихо промолвила дворничиха, и ее большие золотые серьги качнулись и блеснули.

— Так. Я человек бродячий, а ты здесь сидишь... Смотри. Поняла? Кто и что, чтоб я все знал... Но если ты, — медленно и внятно добавил он, — если ты мне хоть слово сбрешьешь... гляди!

— Что глядеть-то, — глухо, со злобой в голосе спросила дворничиха, — чем ты мне грозить можешь, окаянные твои глаза?..

— А ничем, — беспечно ответил он и пошел в переднюю.

В дверях он обернулся, поправил фуражку и оглядел тяжело сидевшую у стола дворничиху с головы до ног.

— Зайти, что ли?

Татьяна промолчала.

Тогда он крадущейся походкой подошел к ней сзади, запрокинул ее голову и поцеловал в мягкие, податливые губы...

Потом она плакала, а он стоял перед ней, широко расставив ноги, и смотрел ей в лицо тусклыми, бессмысленными глазами.

2. Одна

В понедельник Антонина проснулась и почувствовала, что с ногами у нее все совсем хорошо. «Хоть танцуй!» — невесело подумала она и легкими шагами, босиком, прошлась по комнате.

В этот день она принялась за хозяйство: продала татарину старенькое пианино, никелированную кровать Никодима Петровича, диван, два стола — столовый и ломберный, самовар, ширму, керосиновую печку, большую красивую кукольную голову (сама кукла развалилась год назад) и ковер.

За все вместе татарин после двухдневного торга дал сто шестьдесят семь рублей.

Расставаться с вещами было очень больно и почему-то стыдно, особенно тяжело было смотреть, как грузчики выносили кровать и пианино, как они при этом переругивались, топали тяжелыми сапогами и какие следы оставляли их сапоги на коврике Никодима Петровича.

Потом они свернули самый коврик, замотали шпагатом и ушли.

Антонина заплатила за квартиру, за дрова, за электричество, внесла какой-то не очень понятный пай и рассчиталась с печником Куликовичем, который ремонтировал и перестраивал квартиру Никодиму Петровичу.

Осталось двадцать три рубля.

В конторе акционерного общества «Экспортжирсбыт» она больше часа прождала товарища Гофмана, от которого надо было получить разрешение на деньги по графе «Расходы похоронные». Сидя в коридоре, она увидела самого Бройтигама, который шел к своему кабинету в сопровождении клетчатого и душистого стенографиста Фриды. Фрида нес и портфель Бройтигама, и какую-то попку очень больших размеров. Отто Вильгельмович шел медленно и важно, и лицо его как бы говорило: «У меня иностранный паспорт, и мне нет до всех вас решительно никакого дела».

Дверь в свой кабинет Бройтигам не отворил сам, хотя руки у него были свободны. Фрида поставил на деревянный диван, рядом с Антониной, большую попку, подбородком прижал к груди портфель и пропустил вперед Бройтигама. А Антонина нарочно не поздоровалась и не помогла Фриде.

Наконец ее позвали к Гофману.

Одет товарищ Гофман был в гимнастерку, в галифе и перепоясан старым толстым ремнем. Все в нем говорило о том, что он не хочет быть похожим на Бройтигама, что с Бройтигамом и с Фридой они враги, что он, Гофман, устал здесь и желает поскорее уйти из этой маленькой, душной комнатки.

— Вы ко мне? — спросил он, не поднимая глаз от бумаг и что-то чиркая в них большим синим карандашом. — Садитесь, товарищ.

Антонину еще никогда не называли товарищем, и то, что этот человек назвал ее товарищем, смутило и обрадовало ее.

— Тут служил мой отец, Никодим Петрович Старосельский, — стараясь не волноваться и не плакать, сказала она, — он умер, и тут ему еще должны деньги, а я заплатила долги, и теперь мне, — она запнулась и покраснела, — и теперь мне нужно...

— Позвольте, позвольте, — хмуря широкие брови, перебил он, — ведь я же им сказал, чтобы по адресу покойного товарища Старосельского были посланы деньги с курьером. Вы не получали?

— Нет, — испуганно ответила Антонина, — ничего не получала.

Гофман вскочил и вышел из комнаты.

Через минуту по соседней комнате, где помещалась контора, разнесся его громкий гневный голос. Антонина не слышала слов, но было ясно, что Гофман очень сердится.

Он скоро вернулся и, садясь за свой большой стол, сказал, что она может получить деньги в кассе. Синий карандаш опять появился в его руке.

Антонина не уходила.

Когда она шла в учреждение, в котором столько лет работал ее отец, она меньше всего думала о деньгах.

Ей казалось, что там с ней поговорят о чем-то и — не деньгами, нет — помогут. И этот главный человек Гофман (после того как он кричал в конторе, он не мог не быть главным), этот человек непременно должен был сказать ей что-то очень значительное, например о школе — ведь ей хотелось учиться, — и этот главный и, несомненно, серьезный человек не мог не знать, что ей хочется учиться, что она одна и что такие люди, как Савелий Егорович, никакими школами не интересуются.

Но Гофман что-то черкал синим карандашом и шелестел бумагой.

Вероятно, прошло всего несколько секунд, хоть ей и казалось, что она смотрит, как двигается синий карандаш, по крайней мере час.

Наконец Гофман поднял глаза.

— Вы не пришли на папины похороны потому, что там был священник? — ровным голосом спросила Антонина.

Он прищурился, наклонился к ней:

— Какой священник?

— Служитель культа, — сказала Антонина. — Но папа не был верующим, это все из-за Бройтигама.

— Бройтигам — сволочь! — со спокойной злобой, давно накопившейся и уверенной, произнес Гофман. — И скверно, что некоторые здешние сотрудники его так боятся. Я с ним грызусь насмерть, и он боится меня, потому что я представляю здесь диктатуру рабочих и крестьян. А не пришел я на похороны вовсе не потому, что там был священник. Если хотите знать, у меня у самого папаша в кирку ходит.

— Да что вы? — удивилась Антонина.

— Даю слово! — ответил Гофман. Но тут за его спиной зазвонил телефон, и Антонине пришлось уйти.

Конечно, Гофман был занят и вызвали его по очень серьезному делу, но если бы он еще немножко поговорил с ней, хоть пять минут, хоть три, хоть сказал бы: заходите на досуге. Нет, ничего этого он не сказал. Он только пригрозил в телефонную трубку: «Мы этот вопрос поставим принципиально», — и ушел, скрипя сапогами и ремнем...

И Антонина тоже ушла.

Но потом вспомнила про деньги и вернулась обратно, кассир Поцелуйко уже отсчитал ей червонцы и мелочь — серебро и медяки.

— Надо было жаловаться этому идиоту, — сказал Поцелуйко, высовывая из окошечка свою крысиную мордочку. — Не могла попросить меня: дядя Сидор, пожалуйста, я бедую...

В коридоре ее догнал Савелий Егорович в смешном кургузом синем халатике и сказал, чтобы она получила наверху, в седьмой комнате, бумаги Никодима Петровича.

— Там имеются весьма ценные, — добавил он, — там и папин аттестат зрелости, и свидетельство, и трудовой список, и из реального удостоверение. Возьми.

— Хорошо.

— Ну, как живешь?

— Ничего, спасибо. Татарин за вещи заплатил сто шестьдесят семь рублей.

— Мало. Надо было поторговаться.

— Да я уже торговалась, торговалась...

— Ну ладно, ступай, мне некогда. Только обязательно папины бумаги возьми, не забудь.

— Не забуду.

— А я как-нибудь забегу на днях. Да. Вот еще что. На Невском, возле Садовой, по правой стороне, если отсюда идти, есть фотография — там очень хорошо увеличивают портреты. Возьми карточку, ту, где мы все вместе снимались, вся бухгалтерия, — там он очень хорошо вышел, как живой, — и отнеси, чтобы папин портрет увеличили. Поняла?

— Поняла.

— Сделай это. А раму мы сообразим. Да не грусти смотри, и ешь хорошенько. Утром кашу себе вари...

Получив документы, Антонина села в трамвай, но через остановку раздумала ехать и зашла в кондитерскую.

Хорошенькая румяная приказчица положила на тарелочку два пирожных с розовым кремом и разменяла Антонине трехрублевую бумажку.

«Не пойду в школу, — думала Антонина, слизывая с пирожного крем языком, — что же ходить на одну неделю?»

В записной книжечке на обложке у нее было записано расписание уроков и занятия кружков. Узнав у приказчицы, что нынче среда, она прочла:

«1. Родной язык. 2. Родной язык. 3. Физика. 4. Гимнастика. 5. Обществоведение. 6. Немецкий.

Кружки:

1. Драматический. 2. Певческий».

— Барышня, — веселым голосом спросила хорошенькая приказчица, — миндальные принесли, хотите?

— Дайте одно, — сказала Антонина.

Откусывая сладкое, вязкое и еще теплое пирожное, Антонина думала о том, что сейчас должно быть обществоведение и что Терентьев, вероятно, рассказывает о народовольцах. «Ну конечно, о народовольцах — декабристов еще раньше учили. Желябов, Софья Перовская, такая в черном платье с высоким воротничком, такая причесанная гладенько... Я бы о народовольцах доклад сделала вместе с Аней Сысоевой... Тогда бы Терентьев похвалил бы и даже покачал головой, а уж на что редко хвалит, не то что Берта: две фразы по-немецки без ошибок Чапурная напишет — и уж хорошо. Это потому, что Валька у нее частные уроки берет...»

Потом Антонина думала о драматическом кружке, о том, что уже «Не в свои сани не садись» поставили, а сейчас, наверно, репетируют «Соколенка». Зеликман уже давно сказал ей, что на роль сестры будет «пробовать» ее, Тоню, и Райку Звереву, но что у Райки Зверевой, вероятно, не выйдет — рычит она очень...

Роль сестры нравилась Антонине — такая гордая, убежденная, сознательная и в то же время красиво одетая, не какая-нибудь ведьма или в очках...

Но внезапно Антонина вспомнила, что ей не придется больше ходить в школу, и заплакала, отвернувшись к большому зеркальному окну.

«На службу, — думала она, — на службу, как же так вдруг, на службу? А школа? А гимнастика? И на какую службу? В склад... Старик с бородой. Что я там буду делать? Тоже халатик надену, синенький, как Савелий Егорович».

Она плакала долго, слезы текли по щекам и попадали в рот, соленые, теплые и противные. Подняв глаза, она заметила, что за стеклом витрины стоит мальчишка лет двенадцати — курносый, в серенькой тужурке — и показывает ей язык. Она погрозила ему пальцем и быстро рукавом шубы отерла мокрое лицо. Но мальчишка, видимо, заметил, что она плакала, потому что, скривив мерзкую рожу, принялся собирать слезы в кулак.

Тогда Антонина написала пальцем на стекле «урод» и тоже скривила рожу. Мальчишка долго читал то, что она написала, но прочесть не смог, потому что снаружи было наоборот.

— Дура! — крикнул он.

Антонина не поняла, но догадалась по его губам и одними губами медленно и внятно произнесла: «Сам дурак».

Мальчишка не понял, запрыгал, быстро и с большим искусством сложил четыре кукиша, потыкал ими в стекло и еще раз скривил рожу.

Антонина попросила завернуть ей два пирожных в бумагу, расплатилась и вышла. Мальчишка стоял по-прежнему, прижавшись лицом к стеклу.

— Тебя как зовут? — спросила Антонина.

Мальчишка испугался, отскочил и опасливо поглядел на Антонину.

— Как тебя зовут?

— А какое твое дело? — в ответ спросил мальчишка. — Знаем мы вас.

— Что же ты знаешь? — спокойным и взрослым голосом спросила Антонина. — Бить я тебя не буду. Пойдем в кино, хочешь?

— Мне домой пора, — сухо ответил мальчишка.

— Да ведь еще рано.

— Мне уроки учить надо, мне одиннадцать задач задано.

— Ну, как знаешь.

Неторопливым, праздным шагом она пошла по скрипящему от мороза Невскому.

Наступал вечер.

Ее никто не ждал дома.

Она могла делать что угодно: пойти в кино, в театр, в цирк. Купить красный или синий шарик. Или книгу. Или готовальню. Она могла вовсе не ужинать. Она могла умереть, как папа.

Тротуар был тесен, но она шла в пустоте.

Целый вечер она ходила из кинематографа в кинематограф. От пирожных было противно сладко во рту, так же как от расточительных улыбок знаменитого Дугласа Фербенкса. Должно умирала Вера Холодная, В. В. Максимов устало опускался на подушки автомобиля, белые каратели вели вешать бородатого мужика. От мелькания экранов у Антонины разболелись глаза. Какие-то два паренька в кепках с пуговицами привязались к ней и вместе вышли на улицу. Она еле убежала от них. В другом кино толстый, пахнувший луком человек все время подсовывал руку ей под спину. Звонким, не своим голосом, очень громко Антонина велела:

— Гражданин, уберите руку!

Кругом засмеялись, толстяк зашипел, как гусь, и, не дождавшись конца картины, ушел из кино.

В оркестре с надрывом, томно пели скрипки. По экрану бежали белые слова: «Ты моя единственная, неповторимая, грозная любовь...»

Это говорил загорелый человек загорелой девушке. Оба они были в светлых свитерах, стояли на палубе яхты, смотрели, как заходит солнце. Зрители перешептывались:

— Как красиво!

Домой Антонина приехала поздно, в двенадцатом часу, и сразу легла в постель. Ей было холодно, она долго не могла согреться и сердито думала о товарище Гофмане: «Хоть бы поговорил толком!»

3. Фанданго

Под вечер к ней пришли Аня Сысоева, Рая Зверева и Валя Чапурная. Замок долго не открывался, и Антонина слышала, как девочки смеются на площадке лестницы, как они бренчат чем-то металлическим и как Валя, по своей всегдашней привычке, отщелкивает чечетку по скользкому кафелю. Но как только Антонина распахнула дверь, смех смолк...

— Мы к тебе. Можно? — спросила Рая и, не дожидаясь ответа, вошла в переднюю.

— Конечно, можно...

У всех троих в руках были коньки — у Вали и у Ани снегурочки, а у Раи — американки.

— Одна живешь? — лающим баском спросила Рая, раздеваясь.

— Одна.

Всем троим в первые минуты было, видимо, неловко. Они делали вид, что очень замерзли на катке: дышали на ладони, топтались, обдергивали платья и явно не знали, с чего начать разговор. Антонина выручила их:

— Ну вот, — сказала она со своей обычной спокойной улыбкой, — похоронила папу и живую одну. В комнате холодно, так я совсем в кухню переселилась. И кровать сюда переставила, и комод, и шкафчик. Уютно.

— Уютно, — подтвердила Аня Сысоева и начала объяснять, почему не могла прийти на похороны Никодима Петровича.

— Ну никак, — говорила она, краснея под пристальным и недоверчивым взглядом Антонины, — ну никак не могла! Брат приехал, Костя, из Финляндии, и на один день, проездом в Москву, столько дела, ужас!..

— Да? — безразлично перебила Антонина. — Ну а как у вас в школе? Вы садитесь, Рая? Валя! Ну хоть сюда, на кровать... Я сейчас чаю вскипячу...

— Да ты не беспокойся, — взрослым голосом сказала Валя Чапурная, — посиди лучше, поразговаривай...

Накачивая в передней примус, Антонина поглядывала в открытую дверь — на подруг. Они нисколько не изменились за это время: плотная, толстоногая Рая все так же встряхивала головой перед тем, как расчесать красной гребенкой коротко стриженные волосы. Аня, как всегда, была хорошо и модно одета: в высоких заграничных ботинках светлой кожи, в короткой клетчатой юбке, в пушистом свитере, с косой, перевязанной какой-то особенной лентой, она еще больше, чем раньше, походила на девочку из американской кинокартины.

«А на самом деле трусиха, — беззлобно думала Антонина, — лягушек боится, американка».

Валя Чапурная была еще более некрасива, чем толстая Рая Зверева, но Рая никогда не думала о том, что некрасива, и поэтому никто этого не замечал, а Валя модничала, выдумывала себе «стиль» и оттого казалась особенно безобразной. Вот и сейчас — она устроила себе какой-то особенный воротник у платья и походила в нем на белую мышь, но подруги не обращали внимания на Валины туалеты. «Что же, — решили они, — раз она учится в балетной школе, значит, так надо».

Из шкафчика Антонина вынула баночку клюквенного варенья, положила в сухарницу сушек, нарезала хлеба и собралась было колоть сахар щипцами, но Рая Зверева отобрала у нее сахарницу.

— Дай-ка мне, — сказала она, — я ножом...

За чаем Антонина во второй раз спросила, какие новости в школе. Она заметила, что девочки с опаской поглядывают на закрытую дверь комнаты, что чувствуют они себя связанно и держатся настороженно, точно боятся навести ее на грустные воспоминания, и потому особенно настойчиво спрашивали о всяких посторонних вещах...

— Что же в школе, — прихлебывая чай с блюдечка, сказала Рая, — в школе все по-прежнему. Вот только у Аполлинария у нашего нарыв вот тут, — Рая приподнялась и показала, где именно нарыв, — совсем не может сидеть, так все свои уроки и стоит. Злой-презлой.

— А на гимнастике?

— Валерьян теперь даже и командует плохо. Так ему Вера Зельдович нравится — сил нет.

— Уже и Вера?

— Ну да! Разве при тебе еще не было?

— При мне он за Юхмановой ухаживал.

— Это какая Юхманова?

— Ну, такая, с кудряшечками, из девятого...

— Из «А»?

— Нет, из основного...

— Помню, помню...

— А теперь, значит, Зельдович. Некрасиво!

— Он нашей Вале очень нравится, — вмешалась Аня Сысоева, — правда, Валя?

— Ничего подобного, враки, это все Петька Кривцов распускает...

— Нужно очень Петьке врать...

Потом Валя Чапурная рассказала о балетной школе. Теперь там очень интересно. Работает «а-лябарр», что значит — у шеста, бывает профессор, еще совсем молодой, — Гнедин, но у него уже труды есть...

— Валька у нас позавчера сарабанду танцевала, — вставила Аня, — на вечере...

— Ничего, хорошо танцевала, — снисходительно сказала Рая Зверева, — но уж очень улыбалась, как дура. Все время улыбаться — это даже неприятно. Варенье сама варила, — спросила она вдруг, — или покупное?

— Сама...

— Очень вкусно. А все-таки, — и Зверева погрозила Вале ложкой, — а все-таки, выгонят тебя, сарабанда, из школы, помяни мое слово. Вчера три урока пропустила, позавчера совсем не пришла... Вот увидишь — выгонят!

Антонина молчала, потупившись, и тихонько помешивала ложечкой в чашке.

— У тебя счастье, — громко сказала Аня, — смотри, чайнка.

Когда все напились и Антонина поставила на примус второй чайник, Рая Зверева, грызя ногти, сказала, что они, собственно, пришли за делом.

— За каким? — удивилась Антонина.

— Я от пионерского форпоста, — сказала Зверева, — Сысоева как староста, а Валька из библиотеки тебе записку принесла. Говори, Сысоева. И мы лица официальные, — пошутила Рая, — ты имей это, пожалуйста, в виду. Ну, говори, Аня...

Аня перекинула косу за плечо и вдруг покраснела так, как умеют краснеть пятнадцатилетние девушки, да еще блондинки.

— Мы пришли, — сказала она, — узнать, что ты думаешь со школой, Старосельская. И почему ты прекратила?.. То есть я не то хотела, я хотела узнать, почему ты именно сейчас не посещаешь. Я же знаю... Но ведь тебе послали две открытки, а ты хоть бы что. Нельзя так... Мы, конечно, понимаем, но исключат. Смотри, сколько времени, — Аня совсем смешалась и, перебросив косу движением головы вперед, принялась ее теревить, — ты не посещаешь и не посещаешь... И не посещаешь, — сказала она еще раз.

— Да, не посещаю, — согласилась Антонина.

— Ну вот, — не глядя на Антонину, продолжала Аня, — ну, видишь, ты и сама говоришь... А мы за это время очень много прошли. Мы уже по физике звук начали, у нас уже два часа лабораторных занятий было, вот Валька пропустила и теперь глазами хлопает. Теперь уже весна скоро, и педагоги подтягивают... Вот, например, ботаника...

— Да что говорить, — вмешалась Рая Зверева, — мы все понимаем твое горе, но манкировать занятиями нельзя. Или ты посещаешь школу, или переставешь учиться. Тут все ясно...

— Ясно, — подтвердила Антонина.

— Ну?

— Что «ну»? — Она подняла голову и спокойно посмотрела в глаза Зверевой. — Что, Рая?

— Будешь ты учиться или нет?

— Нет, не буду.

— Почему?

— Мне надо работать.

— А пенсия?

— На пенсию нельзя прожить.

Антонина помолчала и посмотрела на грустные лица подруг: Аня теребила кончик косы, Зверева грызла ногти, Валя Чапурная делала вид, что разглядывает на свет фарфоровую чашку.

— Если скромно, так можно, — неуверенно сказала Зверева, — только очень скромно. Мы втроем — я, отец и мать — почти год на пособие по безработице жили — и ничего. Правда, иногда кульки клеили. Вот и ты бы кульки...

— Сейчас уже кульки клеить не надо, — сказала Антонина, — теперь фабрику починили.

— А сколько пенсии тебе дали? — спросила Сысоева.

— Одиннадцать рублей сорок семь копеек.

— Это по сколько же выходит в день? — морща лоб, спросила опять Аня. — По тридцать пять копеек, что ли?

— Вроде.

— Ну что ж, — принялась рассчитывать Аня, — две французских по пятаку, завтрак у нас семь копеек — семнадцать.

— А ты не считай, — вдруг рассердилась Зверева, — небось Старосельская все уж сама рассчитала. Счетчик! Посчитай лучше, сколько твой отец зарабатывает... Тридцать копеек. Знаю я, как на тридцать копеек жить...

— Так Сысоева же не виновата, что у нее отец много зарабатывает, — вступилась Чапурная.

— Тебя-то уж не спрашивают, — совсем обозленно огрызнулась Зверева, — тебе молчать в тряпочку надо, балерина!

— Балерина тут ни при чем.

— Нет, при чем. Сама говорила, что твой папа в балетную школу двадцать два рубля за месяц платит. Ровно в два раза больше, чем вся ее пенсия...

Для того чтобы оборвать начинающуюся ссору, Антонина предложила еще чаю. Зверева, хмурясь, спросила:

— Значит, окончательно не будешь учиться?

— Не буду.

— Но ведь ты могла бы этот год доучиться, вещи бы продала...

— Я и так продала...

— Комната пустая? — спросила Аня.

— Пустая. А потом, какой мне смысл доучиваться? Ну, этот год доучусь, так ведь мне еще больше учиться захочется, а в следующем году я уж буду совершеннолетней и пенсии не получу, да?

— Да.

— Ну, значит, все равно работать придется...

— Все-таки семилетку кончишь, — дую в блюдце, рассудительным басом сказала Зверева, — как-никак почти среднее образование.

— Не надо мне этого среднего, — раздраженно отмахнулась Антонина.

— Ну и чудачка...

— Я не чудачка, я обдумала и все решила: я сейчас все равно из школы ушла — ну и пусть, буду теперь работать, поработаю лет пять или больше, стану взрослой и пойду учиться на доктора...

— Да не все ли равно?

— Вот и нет. Тогда я уж на ноги встану. И, кроме того, специальность у меня будет — ну, швея, или слесарь, или другое — весовщик, так я утром буду работать, а вечером буду на доктора учиться.

— Обязательно на доктора?

— Обязательно.

— Почему?

— А потому, что если б ты видела, как человек умирает и как нельзя остановить то, что он умирает, сама бы тоже пошла учиться...

— Я на инженера буду, — грызя ногти, сказала Зверева, — мосты строить. Замечательно интересно. Я читала, есть такие инженеры, которые дороги прокладывают, не железные дороги, а простые, каменные. Очень интересно. Идут люди и обдумывают, где лучше дорогу проложить. Палатка, костер, картошку печь. Ты печеную картошку любишь, Тоня?

— Так себе.

— Ну а я люблю. Ночь, комары поют...

Еще долго они говорили о том, кто кем будет. Аня Сысоева хотела быть дирижером, но ее смущала мысль о костюме женщины-дирижера. Мужчина-дирижер во фраке, а женщина? Платье — нехорошо, нет, платье никуда не годится. Вот разве костюм? Но костюм — это дорожная одежда...

— Не рано ли о костюме, — трезвым голосом спросила Зверева, — ты сперва гаммы научись играть...

Постепенно все пришли в хорошее настроение. Было очень уютно. Возле двери на табуретке ровным зеленым огнем горел примус — согревалась вода для очередного чаепития. Рая Зверева влезла на плиту и потянула вниз лампочку под розовым абажуром. Скрипнул блок, лампочка опустилась ниже, и от этого стало еще уютнее. В облицованной белым кафелем кухне было тепло, чисто, сладко пахло зубровой травой, повешенной еще Никодимом Петровичем на гвоздик. Аня предложила сыграть в карты, и все расселись вокруг овального

столика. Играли в подкидного. Больше всех везло Рае Зверевой, Валя Чапурная то и дело оставалась в дураках.

— Это ничего, — говорила она, некрасиво оттопыривая нижнюю губу, — кому не везет в картах, тому везет в любви...

Играли долго и азартно...

Потом Рая Зверева снисходительно предложила Вале потанцевать, но тотчас же смутилась и сказала, что, пожалуй, не стоит...

— Почему не стоит? — спросила Антонина. — Потанцуй, Валя...

— Может быть, неудобно?

— Удобно.

— Ну, тогда сначала фанданго.

Аня Сысоева обернула гребенку папиросной бумагой и принялась играть. Чапурная танцевала качучу, тарантеллу, сегедилью. В юбке и блузке ей было неудобно танцевать, и поэтому она разделась и танцевала в чулках, в трусиках и какой-то смешной фланелевой рубашке. Длинноногая и белобрысая, она скакала по кухне, кружилась на месте, вытягивала вперед руки, как бы маня к себе кого-то, наступала и отступала, начинала вдруг стучать пятками и потом прыгала, отмахиваясь руками.

— А вот это «шпагат», — сказала она, сделав испуганное лицо, но все-таки еще улыбаясь.

— Разорвешься, — басом сказала Райка Зверева.

Аня играла на гребешке нудный вальс, а Чапурная все мучилась со своим «шпагатом».

— Не могу, — наконец сказала она, — полный шпагат очень трудно делать. Вот кошкин прыжок, это я уже научилась. Смотрите-ка.

Она присела на корточки и, оскалившись, подпрыгнула.

— На лягушку похожа, — сказала Зверева, — точь-в-точь. Нет, тебе не надо на балерину учиться, — подумав, добавила она, — балерины такие не бывают. Правда, Старосельская?

— Не знаю, — спокойно ответила Антонина, — мне это не нравится. Вот лезгинка — красиво.

Чапурная протанцевала лезгинку, но никому не понравилось.

— Да разве лезгинку так танцуют? — неожиданно злым голосом спросила Антонина. — Это очень некрасиво, то, что ты изображаешь, а лезгинка — это красиво, это так красиво, что лучше и нельзя, это быстро надо, во-первых, очень быстро, вот смотри... Ну, Аня.

Аня заиграла, а Антонина вдруг коротко и резко вскинула голову, закусил губу и, зло поблескивая глазами, пошла вокруг кухни, все время ускоряя шаг.

— Вовсе это не лезгинка! — крикнула Чапурная. — Я лезгинку знаю...

— Все равно, — тоже крикнула Антонина, — ерунда! — И повторила: — Все равно, ерунда...

Продолжая выкрикивать эти бессмысленные теперь слова и слегка подняв над головой смуглую руку, Антонина, быстро и сухо щелкая подошвами туфель, шла возле самых стенок кухни...

С каждой секундой шаг ее ускорялся, туфли щелкали короче и отрывистее, глаза разгорались, по лицу разливался густой румянец.

— Все равно, ерунда, — повторяла она и шла так плавно, ускоряя шаг, что никто не заметил, как она очутилась на середине кухни, как опустила руку, откинулась, сильно и легко избоченилась и вдруг завертелась.

— Быстрее, Сысоева, быстрее! — кричала Райка Зверева, чувствуя, что Аня не поспекает за танцем. — Быстрее!..

— Все равно, — выкрикивала Антонина, — ерунда, — щелкали подошвы ее туфель, — все равно, ерунда, — повторяла она, мелко и весело семеня за своей изгибающейся тенью, — все равно, ерунда, — почти пела она, наступая на покрасневшую от волнения Райку Звереву.

Кончила она сразу — так же, как и начала. Шла, шла и вдруг села на стул у плиты.

— Кто научил? — спросила Зверева.

— Сама.

— Как сама?

— А так. Придумала. Сидела одна дома в прошлом году и придумала.

— Это вовсе не лезгинка, — вмешалась Чапурная, — лезгинка вовсе не похожа.

— Ну и пусть, — устало отмахнулась Антонина, — лезгинка, не лезгинка — тоже большой интерес! Чаю еще погреть?

— Погреть, — сказала Зверева, — а пока еще в дурака давайте поиграем. Пока в дурака, — повторила она с видимым удовольствием, — а вот к слову «окунь» рифмы нигде в мире нет. Даже Пушкин не мог найти.

— Окунь — покунь, — сказала Аня и испугалась.

— Сама ты покунь, — усмехнулась Зверева. — Ну, давайте играть. Кто сдает? И еще зеркало — нельзя рифму найти. А ты хорошо все-таки танцуешь, — обратилась она к Антонине, — никогда не думала...

Когда все уже оделись и разговаривали в передней, Чапурная вспомнила о записке из школьной библиотеки.

Антонина молча пробежала глазами сухонькие строчки библиотечарши...

Екатерина Абрамовна, школьная библиотечарша, предлагала вернуть числящиеся на абонементе № 109 книги не более как в трехдневный срок.

— Сейчас, — сказала Антонина и пошла в кухню. Дверь в комнату была закрыта на ключ, и ключ никак не хотел поворачиваться в замке.

Из комнаты пахло холодом, запахом мышей и нафталином.

Тут было почти совсем пусто, только в углу стоял большой зеленый сундук да корзина, из которой вдруг выглянула мышь и осторожно спустилась на пол.

— Кишь ты! — прикрикнула Антонина и махнула рукой. Голос ее звонко разнесся по комнате. «Хоть бы кто-нибудь переехал сюда», — тоскливо подумала она и взяла с подоконника две книжки. Это были «Маугли» Киплинга и однотомник Лермонтова.

Несколько минут она перелистывала Киплинга. В предисловии она заметила подчеркнутую строчку, в которой говорилось о том, что Р. Киплинг — бард империализма. Книга шелестела спокойно и приятно. На картинках были изображены смешные, хитроватые звери, они то совещались, собравшись в кружок и жестикулируя, то ели, то прыгали по ветвям — деловитые и серьезные.

— Бард империализма, — ни о чем не думая, шептала Антонина. — Бард! Бард!

Ей было тяжело расставаться с этими истрепанными книжками — все-таки они связывали ее со школой. В книжках к переплетам изнутри были приклеены конвертики, и на жирных фиолетовых печатях можно было прочесть название школы. Книжки пахли школьной переменкой, цинковым баком с надписью: «Вода для питья», шумной раздевалкой, залившимся звонком.

— Ну и пусть, — сердито шептала Антонина, — и пусть! И Багира, и Шер-Хан, и Балу, и Маугли, — пожалуйста, пусть! И бард! Нужно очень!

Разыскав в корзине старую газету, Антонина завернула в нее книги, вздохнула и вышла в переднюю.

— Ты к нам заходи! — крикнула Аня уже с площадки лестницы. — Слышишь, Старосельская?

Антонина с силой захлопнула дверь.

4. Новый жилец

Комнату занял приземистый, аккуратный человек, по фамилии Пюльканем. Он переехал вечером и до поздней ночи устраивался: вбивал в стену гвозди, вешал шторы, передвигал кровать то к одной стене, то к другой, топил печку, начищал мелом свой письменный прибор и во всем советовался с Антониной.

— А скажите, Антонина Никодимовна, — спрашивал он, просовывая в дверь круглую голову с бородой лопаточкой, — а скажите, двадцать полен достаточно для вашей печки?

— Достаточно, даже много...

— Нет, но ведь печка, судя по температуре в комнате, очень давно не топилась...

— Давно.

— Я все-таки думаю, что двадцать полен достаточно?

— Достаточно.

Через несколько минут круглая, лысеющая голова Пюльканема опять появилась в двери.

— Простите, Антонина Никодимовна, — говорил он, — куда бы вы посоветовали поставить кровать? Я не очень здоров, а правая стенка как будто сыровата? Вам не казалось?

— Нет...

— Все-таки, я думаю, лучше поставить кровать у левой стенки?

— Не знаю...

— Так, так, — кивал Пюльканем и, еще раз извинившись, исчезал в своей комнате для того, чтобы через полчаса опять постучаться к Антонине.

— Извините, пожалуйста, Антонина Никодимовна, но я сейчас плохо ориентируюсь... Скажите — это юго-запад или юго-восток?

— Не знаю...

— Вот так номер, — искренне удивился Пюльканем, — столько времени прожили — и не знаете...

Антонина молчала.

Устроившись окончательно, Пюльканем постучал к Антонине и спросил, будет ли она пить чай.

— Я к тому, — добавил он, — что сам бы охотно выпил чайку.

За чаем у овального столика Пюльканем назойливо и деловито спрашивал о Никодиме Петровиче, о том, как он умер, о его болезни, о врачах, которые его лечили.

— Да, да, — кивал Пюльканем, — вы правы, вы правы. Я с вами совершенно согласен. Стоит только начать лечиться — и конец... Нет, нет, поменьше врачей...

Антонина с удивлением глядела на Пюльканема: в чем она права? Она и не думала никогда, что «стоит только начать лечиться — и конец». Откуда он взял?

Пюльканем спокойно белыми мелкими зубами откусывал принесенный с собой на тарелочке кондитерский пирожок. Откусив кусочек, он вертел пирожок близко перед глазами, поправляя мизинцем вываливающуюся начинку и вздыхал. Челюсти его двигались ровно и спокойно.

«Откуда он такой взялся? — со скукой думала Антонина. — И пирожок у него какой-то смешной. С чем он? С капустой?»

Ей вдруг очень захотелось пирожка, именно такого, смешного, не то с капустой, не то с рыбой. Она покраснела, испугавшись, что он заметил, как она взглянула на его пирожок. Но он не заметил. Посапывая маленьким вздернутым носом, он размешивал сахар в стакане...

— Не советую вам, — говорил Пюльканем, — покупать такой сахарный песок. Он менее выгоден, нежели песок желтоватый. Желтоватый песок, конечно, некрасив, неаппетитен, но он зато гораздо слаще. В нем, видите ли, меляс...

«Сам ты меляс», — подумала Антонина и опять посмотрела на пирожок. Первый раз в жизни ей попался человек, который приходит пить чай со своим пирожком. «С капустой, — решила Антонина, но сейчас же усомнилась, — с рыбой?»

— А в чай, — говорил Пюльканем, — следует подбавлять соду, — знаете, на кончике ножа...

«Сам пей на кончике ножа, — думала Антонина, — небось сам пирожки лопаешь. Где же он такой пирожок купил? — мучилась она. — Завтра пойду поищу. А может быть, спросить?»

Ложась спать, Пюльканем еще раз извинился и попросил у Антонины таз.

— Я свой забыл, — сказал он, — а у меня привычка — на ночь мыть ноги холодной водой. Не пробовали?

— Нет.

— Очень советую. Лучшее средство от простуды. Но уж каждый вечер — если хоть раз пропустите, верный бронхит, или грипп, или насморк. Попробуйте.

— Попробую, — тихо сказала Антонина.

— Ну, спокойной ночи. Очень рад, что познакомились.

— Спокойной ночи.

Ей снилось, что она сидит на скамеечке, на пароходе и смотрит вдаль. Вдали море. Возле нее прогуливается молодой человек в цилиндре. Дует ветер. «Как бы не сдул мою шляпу с лентами, — думает Антонина, — ведь шляпа упадет в море, и тогда ищи ее, море-то вдали». Вдруг подходит лоточница в форменной одежде: «Ирис, пряник, молочные сухари, шоколад!» Вдруг едет мороженщик. Вдруг полотер. И молодой человек в цилиндре подошел совсем близко.

— Хотите мороженого? — спрашивает он.

— Нет.

— Хотите ирису?

— Нет.

А мороженщик все ближе и ближе со своей тележкой. Взял и наехал на ноги.

Антонина проснулась и села на постели.

— Пустите ноги, — сказала она тихим, сонным голосом, — слышите?

Пюльканем что-то зашептал.

Еще ехал мороженщик со своей тележкой, еще не исчезла лоточница с ирисками.

Лунный свет падал на пестрое, лоскутное Антонинино одеяло. Пюльканем сидел в ногах. Луна освещала его круглое вежливое лицо с бородкой лопаточкой. Блеснул золотой зуб. Если бы Антонина еще спала, она купила бы себе у лоточницы тот пирожок.

— Пустите, — еще тише сказала она, — пустите...

Вдруг она почувствовала, что одеяло соскальзывает с нее. Ей стало холодно. Она дернула одеяло к себе и совсем проснулась.

— Пустите!

Но он еще раз попытался сорвать с нее одеяло. Она упала навзничь и на какую-то долю секунды потеряла дыхание. Пюльканем что-то шептал. Антонина осторожно подтянула правую ногу, выждала, пока Пюльканем опять нагнется, и ударила его ногой в рот. Он даже не охнул. «Не туда», — подумала она и ударила во второй раз — но уже в воздух: Пюльканема больше не было на кровати. Дрожащими пальцами она нащупала над изголовьем выключатель и зажгла свет.

Зажав ладонью рот, Пюльканем сидел возле плиты на корточках. Он раскачивался из стороны в сторону и едва слышно кряхтел. Его рука была перепачкана кровью.

Антонина молчала.

Раскачиваясь и кряхтя, Пюльканем поднялся и пошел к раковине. Открыв кран, Пюльканем

застонал. Антонина перестала дышать — ей показалось, что он сейчас умрет. Но тотчас же ей стало смешно — так нелепо стонал Пюльканем.

— Ва-ва, — бормотал он, — боже, боже, ат-ат, господи, в-в-в-в.

Широко открытыми глазами она следила за каждым его движением: вот он набрал в чашку воды и принялся полоскать рот; вот он подошел к зеркалу и пальцами растянул губы, вот он что-то потянул изо рта, вытащил, заохал и швырнул в раковину; вот опять принялся за полоскание.

Ей было холодно.

Сидя, она потянула одеяло на плечи, но дрожь не прошла, а еще больше усилилась.

Внезапно в ней вспыхнула злоба: ей захотелось плакать и кричать, выгнать его вон, запустить в него чем-нибудь, ну хоть платяной щеткой.

Что же делать, господи?

Завтра она забьет дверь большими гвоздями.

— Вы мне выбили зубы, — закричал Пюльканем, — три! Идиотка! Три зуба! Как я пойду на службу? Что я скажу в магазине? Передний, и нижний, и глазной. Дура!

Он сплюнул на пол и долго, моргая, смотрел на Антонину.

— Бешеная кошка, — наконец сказал он, — дрянь.

Когда Пюльканем ушел, Антонина встала с постели, босиком подошла к двери в комнату и два раза повернула ключ в замке.

— Не смейте закрывать! — крикнул Пюльканем и забарабанил в дверь кулаком. — Мне вода нужна — полоскать, у меня кровь идет...

Антонина, не отвечая, легла в постель и потушила электричество. Пюльканем затих.

5. Старший инспектор Рабкрина

Работы не было.

Каждый день спозаранку Антонина отправлялась на биржу труда.

В огромных, прокуренных, отдающих хлором и сулемой залах сидели и лежали люди всех специальностей. Бородатые плотники, с сундучками, с пилами, обернутыми мешковиной, с инструментами в торбах, бережно ели селедку и ссыпали в рот с заскорузлых ладоней хлебные крошки.

— А вот плотничков не надо ли? — раздавался вдруг негромкий просящий голос. — Хорошо трудимся, артельно, не надо ли?

Угрюмые, насмешливые рабочие-металлисты, токаря, слесаря, кузнецы, подремывая, дразнили плотников:

— Христом бы попросил, борода! Что ж так-то, без жалобности...

Эти, сгрудившись, вслух читали газеты. От них Антонина узнала про шпиона Падерну, который хотел взорвать ленинградскую водоканализацию, чтобы, оставив город без воды, вызвать возмущение среди рабочего класса.

— А зачем ему возмущение? — тихонько спросила Антонина.

— Видали! — поглядел на нее широкоплечий, с тонкими усиками, человек лет сорока. — Видали? И чему вас в школах только учат, если вы такой, я извиняюсь, элементарщины не понимаете?

Другой сурово ответил:

— Плохо, видать, учат.

Третий, попивая воду из бутылки, объяснил:

— Главное у них дело — поссорить рабочий класс с советской властью. Понятно? Вот мы, допустим, на бирже труда кукуем и ждем, чтобы какой-либо нэпман нас на работу пригласил. Приятно оно нам? Нет. Вот еще и без воды нас сволочь эта оставит. Рассуждают — на волоске мы висим. Но ошибаются: трудновато нам, но это дело наше, внутреннее, семейное. Бывает: хотят люди, семья то есть, дом себе поставить. Вот куда дом строят, от пирога и отказываются. Копят. Так ведь для себя?

Сплюнув далеко в плевательницу, добавил со вздохом:

— Дурачье!

В разговор вмешался и наборщик Смирнов — рыжий, веселый, с хохолком. Он постоянно появлялся здесь, рассказывал, не мог ужиться ни с одним частным хозяином, поработает два дня, «выдаст все сполна» — и опять на бирже.

— Ты к частнику не ходи, девушка, — советовал он Антонине, — ты ихнего хлеба еще не кушала, а я знаю. На любую на государственную работу иди, а от частника мотай в три ноги. Еще худо — хорошенькая ты с лица, они такое дело необыкновенно до чего уважают...

И нынче на бирже было как всегда, буянили только новички — «башколомы» — здоровые, рукастые, щекастые парни, уволенные с городской бойни.

— Они сырую кровь телячью от такими кружками пьют для здоровья, — сказал про «башколомов» с уважением в голосе старенький иконописец; нынче он работал вывески для колбасных магазинов, золотил рога, делал надписи на могильных камнях...

Антонина вздохнула, пошла дальше — из зала в зал.

Спали каменщики — их серые, насквозь пропыленные лица были усталы и измучены. Спали маляры, стекольщики, штукатуры...

Орали ребяташки.

Приказчики, бухгалтера, официанты, конторщики старались не садиться. По несколько часов кряду они толкались по залам, читали желтые скучные плакаты, нудно разговаривали друг с другом и пугливо сторонились. Сторониться было их главным занятием.

Антонина видела, как они ели принесенные с собою скудные завтраки.

Шуршала бумажка... Отвернувшись к стене, чтобы никто не видал и никто не попросил, они деликатно откусывали хлеб и оглядывались, не смотрят ли... И когда убеждались в том, что

никто не смотрит, то вытаскивали из кармана еще ломтик колбасы или котлету...

В темных углах шла злая и азартная игра: играли в орлянку, и двадцать одно, в железку, еще в какие-то игры, которых Антонина не знала.

Били шулеров.

Работали карманные воры.

Порою по залам биржи проходили отлично одетые, сытые и брезгливые люди. От них вкусно и прохладно пахло дорогим табаком, мехом, духами.

Это были частники-наниматели.

Кадровые рабочие провожали их спокойно — не очень дружелюбными глазами — и отворачивались, стараясь ничем не выдать своего волнения.

Отходники бежали вслед...

Служащие пытались быть скромными, но гордыми.

Однажды Антонина видела, как худой человек в очках и с папкой «мюзик» под мышкой скорым шагом догонял бледного усатого старика и, странно пригибаясь, говорил густым басом:

— Вот и вы, Евсей Евсеич... Мой отец оказал вам много услуг... Вот и вы открылись... Да помилуйте, я кончил лицей, ведь вы знаете...

— У меня не богадельня, — хрипел бледный старик, — мне юрисконсульт нужен, дока нужен, а не вы. Вы, батенька, развратник и дурак — всем ведомо, и молчали бы, коли бог убил...

Худой отстал, плюнул вслед Евсей Евсеичу и заплакал, но тотчас же опять побежал за ним...

Антонине стало стыдно.

Она отвернулась.

Получившие работу чувствовали себя почему-то неловко.

Антонина познакомилась тут со многими женщинами и не раз думала о том, что если она получит работу раньше их, то это будет, пожалуй, даже несправедливо: ведь у нее есть пенсия, а у них совсем ничего нет.

Но время шло, а работы она не получала, и с каждым днем ей все меньше и меньше верилось, что когда-нибудь будет работать.

— Не везет вам, гражданочка, — говорили ей.

— Да, не везет, — грустно соглашалась она, — но у меня ведь и специальности нет...

За все время ее только один раз вызвали к окошку, но и то по ошибке — вместо какой-то Старостиной, упаковщицы.

— Значит, не меня? — робко спросила Антонина.

— Говорю, не вас! — грубо закричал служащий. — Отойдите от окна!

— А вы не повышайте тон, — дрожащим голосом сказала Антонина, — не имеете права...

Служащий высунулся из окошка, насколько мог, и закричал в лицо Антонине, что он ей сейчас покажет такое право, которого она и в жизни не видела...

— Какое же это право? — вдруг спросил сзади Антонины чей-то спокойный и очень холодный голос. — Какое это вы право собрались показать, гражданин?

— А вам что? — огрызнулся служащий.

Антонина оглянулась.

Сзади нее стоял невысокий человек с упрямым и бледным лицом, со спокойно-злыми глазами и с потухшей трубкой в зубах. «Пожилой какой!» — почему-то подумала Старосельская.

— Откройте дверь, — сказал человек с трубкой, — я старший инспектор Рабрина.

Служащий с независимым видом пошевелил, усами, втянул голову обратно в окошко и распахнул дверь в свою будку.

— И вы пройдите, гражданка, — сказал инспектор Антонине, — потолкуем... Пройдите же, — настойчиво предложил он, заметив, что Антонина колеблется, — бояться нечего.

Со служащим инспектор не разговаривал.

Он разыскал заведующего отделом — простоватого малого в кургузом пиджаке, назвался: «Моя фамилия Альтус», предложил сесть Антонине, сел сам и, пососав свою потухшую трубку, сказал, что он здесь вторые сутки и столько насмотрелся всякой пакости и безобразий, что ума не приложит — нарочно так плохо работает этот отдел или нечаянно.

— Все плохо работают, — с подкупающей искренностью заявил простоватый малый, — нагрузка страшная!

— Ой ли?

— А ей-богу, — сказал заведующий, — работаем, работаем — и все не легче.

— Не легче?

— Нет...

— Расскажите, как тут у него служащие разговаривают, — обратился Альтус к Антонине, — пусть послушает...

Покраснев и запинаясь от смущения, Антонина сказала, что ничего особенного не было — просто служащий накричал на нее из окошка и, кажется, выругался.

— «Кажется», — передразнил Альтус, — эх, вы... А теперь ждите, без вас разберемся.

— Спасибо! — тихо поблагодарила она.

— А за что именно спасибо? — насмешливо осведомился он.

— Как за что? — даже растерялась она. — Вы же...

— «Вы же», «вы же», — усмехнулся Альтус. — Ничего не я же! Очень много у нас божьих коровок развелось. В государстве трудящихся никому не дано право пренебрежительно или даже недостаточно вежливо разговаривать с человеком, желающим работать. Понятно вам?

Антонина кивнула.

— То-то! А вы — «спасибо».

Она молча поглядела на него, улыбнулась своей милой, смущенной улыбкой и, забыв затрепанный томик рассказов Джека Лондона, пошла к двери.

— Книжку возьмите, — посоветовал он? — ваша ведь?

— Моя.

Он прочитал заглавие и протянул книгу Антонине.

— Хороший писатель, — сказал Альтус, — Мне нравится, когда описывают сильных людей. Я всякую размазную, нюней разных не терплю...

«Это он про меня, — вдруг испугалась Антонина. — Это я нюня!»

На какую-то секунду глаза их встретились. Альтус протянул ей руку и сказал:

— Если где столкнетесь с безобразиями, с бюрократизмом, с хамством, — обращайтесь к нам в Рабкрин.

— Хорошо! — радостно согласилась она.

— А что такое Рабкрин — вам известно?

— В общем, конечно! — покраснев, солгала Антонина и пошла к двери. — До свиданья...

— «В общем», — передразнил он. — Плохо, что «в общем»! — И глаза у него стали опять спокойно-злыми и неприязненными, как тогда, когда он разговаривал со слушающим.

6. Знакомый артист

Она не сразу поняла, что слова этого высокого кареглазого человека относятся к ней, а когда поняла, то по школьной привычке встала со скамьи.

На нем была длинная, почти до пят шуба с большим красивым коричневым воротником. Руки он держал в рукавах, как в муфте, гладко выбритые щеки отливали синевой, тонкий рот улыбался...

Она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть, когда он заговорил во второй раз. Это был знаменитый артист, которого она видела на сцене в прошлом году. Да, да, этот подбородок, эти насмешливые и пристальные глаза, это длинное белое лицо, этот тягучий голос, эта сутуловатая спина...

Не торопясь, он расстегнул шубу, снял меховую шапку и вытер клетчатым шелковым платком высокий белый лоб.

Оказалось, что ему нужно знать, как все тут происходит, для какой-то роли, которую он будет играть...

— Да вы сядьте, — сказал он ей своим низким голосом, — и я сяду, поговорим...

портсигара чуть ли не все папиросы сразу. Артист ничего не сказал («Вот шляпа-то!» — подумала Антонина), он только улыбнулся виноватой улыбкой и поскорей отошел от красномордого старика...

Издали она следила за ним все время, пока он ходил по залам. Один раз он обернулся, вероятно почувствовав на себе ее взгляд, но она быстро спряталась за чью-то спину, и он пошел дальше...

«А говорят, что все артисты пьяницы и пристают, — горячо и благодарно думала она, когда он ушел, — вот уж неправда, вот неправда...»

Несколько дней его имя не появлялось на афишах. Каждое утро Антонина подолгу стояла у тумбы с афишами и уходила прочь грустная. Ей не хотелось тратить контрамарку на спектакль, в котором он не играл.

Иногда она вынимала из кармана вчетверо сложенную записочку и перечитывала уже выученные наизусть слова. Она даже попробовала понюхать записку. Записка ничем не пахла. Антонине стало стыдно за то, что нюхала, и чуточку обидно, что записка совсем не пахнет.

«Если бы у меня был такой муж, — нечаянно подумала она, — то я бы ему все вещи продушивала духами».

От этой мысли у нее перехватило дыхание, ей стало жарко, она закрыла глаза и постояла несколько секунд на одной ноге.

Вот он, вот он!

Образ, почти исчезнувший за эти дни, вдруг точно вспыхнул в ней — ясный, четкий, живой...

«Я бы ему все делала, — думала она, крепко стиснув руки, — все, ну все, что ему только может быть нужно. Я бы ему никогда не позволяла расстегиваться на улице, потому что ведь он может простудиться, а уж если он простужен, тогда и пьесы надо переменять, и публика недовольна, и вообще скандал, да и только!»

Зажмурившись и не открывая глаз, чтобы не потерять его образ, она быстрыми шагами подошла к кровати и легла лицом в прохладную, пахнущую утюгом подушку...

«И каждый день я бы в театр ходила, — думала она. — И я бы все знала лучше его, каждое словечко, — например, он тут в этом месте скажет: „Боже мой!“ — я уже раньше про себя шепчу: „Боже мой!“ И все-таки, когда он говорит, я переживаю, потому что он так играет, что все кругом плачут...»

И между действиями я непременно, ну непременно, захожу к нему, а все его товарищи расступаются и спрашивают у меня: „Ну, как вам, Антонина Никодимовна, понравилось?“

А потом нам приносят на хрустальном блюде пирожные и еще бутылки с малиновым лимонадом...

И опять я иду по длинному коридору в партер.

А после представления мы идем из театра вместе с ним и садимся в карету».

Ей стеснило дыхание.

Она вспомнила давно виденную кинокартину и, чтобы лучше и яснее представить себе все, поглубже зарылась в подушку и зажала уши ладонями — так, как делала, повторяя в уме физику — закон Гей-Люссака или Бойля — Мариотта...

«Мы с ним едем, — думала она, — и все пред нами расступаются, и никакие мальчишки-хулиганы не дразнятся — никто, никто! И дождик моросит. А на нем пальто вроде колокола, но мохнатое. На мне, конечно, туфельки, и не полуфранцузский каблук, а настоящий, тоненький, легкий, только стучит, как копытце, — топ да топ. И вот мы идем по камням, а кругом народ — все оборачиваются, сразу узнают и отступают, потому что он знаменитый, а я такая красивая, что просто удивительно... И вот тут у меня на волосах такая штука — вроде венка, а может быть, и нет, но блестит и называется диадема... И вся я белая, тоненькая, высокая, только во время походки чуть-чуть гнусь, изгибаюсь, как взрослая, и эта штука — боже мой, как она называется: не плащ и не манто, из шелка такая белая штука, вся развеивается, с мехом на шее, французское название, по-французски сорти-де-баль, вот как, — сорти-де-баль развеивается на мне от ветра и блестит от дождя, а он ведет меня за локоть — осторожно-осторожно, но все-таки я оборачиваюсь и говорю ему: „Осторожно, ты мне все чулки грязью обляпаешь, иди аккуратнее...“

И тут автомобиль.

Горят фонари.

Шофер заводит ручкой „авто“.

И вдруг я вижу, что в толпе Райка Зверева, и Чапурная Валя, и Сысоева, и Зеликман — все на меня смотрят.

„Подождите“, — говорю я и, не задаваясь, подхожу к ним, здороваюсь и предлагаю прокатиться в автомобиле. Потом они все знакомятся. „Это мой муж“, — говорю я. И мы едем.

Шофер гудит в рожок, дорога темная-претемная, но фонари ее освещают довольно хорошо, мы едем-едem и вот приезжаем.

„Не пора ли нам закусить?“ — спрашивает он, и все мы рассаживаемся за столом и едим что-то такое необыкновенное, вроде сорти-де-баль, но съестное, и я пью из высокой узенькой рюмки, и ноздри у меня раздуваются, а котом мы купаемся. Я тону, и он меня спасает...»

Вдруг она вскочила.

В комнате у Пюльканема били часы.

Она принялась считать, но сразу же поняла, что первых ударов не слышала, и бросила считать дальше.

Ей казалось, что она некрасива, что она просто-напросто дурнушка, уродина, что у нее глупые, бараньи глаза и длинные руки...

Почти с отчаянием она подошла к зеркалу и посмотрела на себя.

В зеркале блеснули напуганные и горячие глаза, растрепанные черные волосы...

Послюнив кончики пальцев, она разгладила брови и что-то сделала с волосами на виске — неуловимым и легким движением она привела волосы в порядок.

Теперь левая половина лица выглядела почти хорошо.

Антонина села к зеркалу боком и скосила глаза так, чтобы видеть только расчесанные волосы и ту щеку, которую она меньше отлежала на подушке.

— Ну и что, — шептала она, — и ничего... напудриться, напудриться. Ах, почему у меня нет такой телесной пудры, такой желтовато-розовато-кремовой?..

Со злобой она заглянула в коробочку: там была белая дешевая пудра.

— Комками, — шептала Антонина, — всегда комками...

Но все-таки она напудрилась, отыскала вазелин, втерла его в кожу вместе с пудрой и накусала губы, чтобы они выглядели ярче...

Потом она долго рассматривала в зеркале свои длинные изогнутые ресницы и кончиками пальцев старалась соединить по несколько ресничек так, чтобы они бросали темные, таинственные тени, как у тех восковых женщин, которые выставлены в витринах парикмахерских... Но на это у нее не хватило терпения.

«А что, — задорно подумала она, глядясь в зеркало, — разве не хорошенькая?!»

— «Губы твои алые, гибкий стан, — тоненьким голосом запела она, — я влюблен безумно, как болван...»

Но тотчас же смолкла, испугавшись, что Пюльканем услышит и нехорошо о ней подумает.

До поздней ночи она возилась в своей чисто прибранной кафельной кухне: мерила платья, пришивала к ним какие-то цветные шемизетки, большие и маленькие бантики, воротнички и рукавчики, которые тут же выкраивала из вороха лоскутков, мерила вставки, пришивая старые, еще мамины, пожелтевшие от времени кружева...

Работая, она то и дело поправляла пальцами необыкновенную свою прическу, трогала холодные серьги и частенько подходила к зеркалу, чтобы посмотреть на себя. Прилаживая к черному шерстяному платью желтую пушистую синельку, Антонина подумала о том, что совсем не знает, какое у нее лицо, когда она разговаривает, и, сложив свои красивые губы сердечком, сказала «мерси», но решила, что этак нехорошо, и сказала еще раз «мерси» — только другим, более простым голосом.

«Ну вот так, пожалуй, и буду, — удовлетворенно решила она, — разве проще, и не „мерси“, а „спасибо“. Подумаешь, француженка выискалась! „Спасибо“ значит „спаси бог“, — вспомнила она объяснение преподавателя и сейчас же забыла об этом, произнося перед запотевшим от ее дыхания зеркалом длинную, бессмысленную фразу:

— Мне все очень нравится нет отказываюсь благодарю вас кинжал вонзился ее глаза блестели как брильянты Валя Чапурная моя подруга синелька не идет и я подстригусь.

При этом Антонина вовсе не думала о тех словах, которые она произносила, — она следила за своим лицом и за движениями губ.

Засыпая, она представляла себе его — как он стоит перед ней в длинной красивой шубе и курит толстую папиросу.

7. А работы все нет

На лестнице она встретила Скворцова. Он был в штатском — в меховой, особого, невиданного фасона куртке, в мягкой шляпе, в красивых остроносых туфлях «джимми», в серых замшевых перчатках. Он нес большой плоский чемодан и курил не папиросу, а сигарету, как в заграничной кинокартине. И весь он был — не совсем, но немного — из кинокартины.

— Здравствуйте, Тоненькая!

— Почему это — Тоненькая?

— Похудели на лицо сильно. С работенкой не налаживается?

Она промолчала. Ей не хотелось, чтобы он выражал ей свое сочувствие. Но он сразу же забыл, о чем спрашивал, и, поставив чемодан на ступеньку лестницы, стал рассказывать, что только нынче утром пришел из заграничного плавания.

— Потеха была с таможенничками, — говорил он, надменно и неприятно улыбаясь, — погоняли мы их, чертей. Пробный флакончик душков заграничных нарочно разбились — вот они и давай шуровать. Смешно, честное слово...

— А за границей интересно было? — спросила Антонина.

— Нормальненько. Конечно, вы бы там совершенно глазенки вытаращили, а мы — народишко привычный. Приделся, конечно, кое-как, — добавил он и небрежно расстегнул куртку. — Вот костюмчик купил расхожий в городишечке в одном. Бостончик.

— Почему же расхожий? — возразила Антонина. — Это выходной костюм, очень хороший.

— Каждому свое. Для кого парад, для кого — будни.

Его наглые светлые глаза с пристальным любопытством бегали по лицу Антонины.

— Развлекаешься?! — спросил он вдруг, перейдя на «ты».

— Это как же? — почему-то робко осведомилась Антонина. Ее смущали и обижали наглые глаза и небрежный тон Скворцова.

— А так же. В отношении танго и всякого прочего. На вечеринки захаживаешь?

— Нет.

— Почему ж так?

— А куда ходить?

— Ну, мало ли, — усмехаясь, ответил он, — куда пойти найдется. Вы девица ничего себе, можно сказать красивая, — как же вам некуда ходить...

— А вот некуда, — сухо промолвила Антонина.

— Найдем место! — опять усмехнувшись и точно упирая на какой-то особый, только ему известный, смысл своих слов, сказал моряк. — За местом дело не станет... Я вот к тебе зайду на днях, поговорим...

Он поднял свой чемодан, поправил шляпу и пошел вверх по лестнице.

«Попка и попка, — зло подумала Антонина, — вещи купил дорогие, а вырядился, словно попка».

Нехорошо было у нее на душе. Разговор со Скворцовым словно прилип, хоть отмывайся. И день ждал — неприятный, унылый, тоскливый.

Опять искать работу.

Первый магазин, в который она вошла, был колбасный «Гауф и К°».

Сам Гауф в белом фартуке и в кожаных манжетах стоял за прилавком. Он был худощав, мал ростом и ленив в движениях. Его печальные глаза смотрели тускло и, пожалуй, тупо. Перед ним на прилавке исходил паром стакан с крепким, почти черным чаем.

— Здравствуйте, — сказала Антонина.

Гауф кивнул головой.

— Может быть; у вас есть какая-нибудь работа?

— Нет, — вяло ответил Гауф.

— И не будет?

— Нет, — так же вяло сказал Гауф.

Антонина молчала, потупившись и разглядывая каменный, посыпанный мокрыми опилками пол. Она слышала, как посапывает Гауф, как скрежещут на улице трамваи, как бьется ее собственное сердце.

— Я могу работать уборщицей, — наконец сказала она, — убирать, мыть...

— Не надо.

— Может быть, вашим знакомым...

— Не надо.

Она подняла голову и посмотрела горячими, злыми глазами в лицо торговцу. Он равнодушно встретил ее взгляд и отошел в угол.

Антонина повернулась, чтобы уходить.

— Подождите, — крикнул Гауф, — я заверну вам обрезков...

Задыхаясь от стыда и злобы, она выскочила на улицу. Милостыню! Ей — милостыню! Не родился еще тот человек, из рук которого она примет подаяние...

Господи, что же делать?

Чтобы никто не видел ее стыда, она вошла в ворота огромного серого дома и постояла там бледная, но как будто бы спокойная.

Обрезки!

Она представила себе маленький сверток — такой, как дают старухам по субботам, — и в сверточке кружки разной колбасы: краковской, фаршированной, ливерной, кровяной... Там есть даже полсосиски и те концы колбас, которые завязаны веревочкой... копченой веревочкой.

Аккуратный маленький пакетик из желтой бумаги...

Шел крупный, липкий снег.

Приближалась весна.

Извозчики кричали рыхлыми, точно из ваты, голосами.

Снег налипал на подошвы.

Все кругом было желтовато-белым — деревья, дома, люди, ломовики.

Тающий снег брызгался, в нем разъезжались ноги, идти было неловко и трудно.

Во всех магазинах отвечали одинаково на одинаковые вопросы Антонины:

— Нет.

А если она спрашивала, не предвидится ли работы в будущем, то пожимали плечами и говорили:

— В будущем, гражданка, неизвестно, что будет...

Она заходила в колбасные лавки и в ювелирные магазины, в конфекционы и в бакалейные, в рестораны и в кафе — всюду. Иногда на нее щурились и, поразмыслив, говорили:

— Нет... Не подойдете...

Иногда на ее вопрос даже не оборачивались. Иногда ее подолгу расспрашивали. Иногда вздыхали. Иногда посмеивались. Но конец был один и тот же:

— Нет... Идите на биржу, даром время теряете.

В маленьком ресторанчике близ Сенной хозяин сидел в завешенной коврами тихой и теплой комнатке, щелкал на счетах и сосал короткую черную сигару. Он был уже сед, его, точно вылинявшие, глаза смотрели умно и неласково: толстые сизые губы под щетинистыми усами улыбались.

— Нет, я вас не возьму, — сказал он, — у меня, знаете, такое заведение, что из вас через три дня верченую котлетку сделают. Идите-ка подобру-поздорову. Вот обедом накормить могу. Желаете?

— Не надо, — грубо ответила Антонина, — я сыта...

— Ну и хорошо, что сыты, — сказал он, — и совсем превосходно, что грубить умеете. Это первое дело для красивой девушки. Засим до свиданья — занят.

Он поклонился низко и вежливо, не вставая из-за стола, и обмакнул перо в чернила.

— До свиданья, — весело сказала Антонина.

— До свиданья, — улыбнулся он и покачал головой: — Красавицей вырастете, ежели удержитесь... Красавицей! Ну, идите, идите. Когда есть будет нечего — накормлю... А главное, — добавил он многозначительно, подняв перо кверху, — а главное, не обращайтесь внимания.

— На что не обращать внимания?

— На все. Ходите легче. Поняли?

Шкурки были связаны в пачки по дюжине, по полторы и по шесть штук — для детских шубок.

— Почему? — спросила Антонина.

— Рубль и двадцать, — весело сказал торговец и раскинул веером пачку шкур. — Хорош товар, мягкий, теплый, выделано на пять с плюсом.

— Уж и с плюсом, — усомнилась Антонина, — за такую цену бобра можно купить...

— Купите.

— Куплю.

— Молодая и скупая, — сказал торговец, — нехорошо, муж любить не будет.

— Будет, — вспыхнув, ответила Антонина, — вот если деньгами начну бросаться, тогда не будет...

Торговец ободрал с усов и бороды иней, поплясал на месте, потряхнув шкурками, и, сделав отчаянное лицо, крикнул:

— Рубль! Выбирай пачку.

— Мне нужно на воротник.

— На воротник? На воротник, хозяйка, не покупай, бери на палантин... Очень красивый палантин получится.

— А сколько же нужно на палантин? — робко спросила Антонина.

— Тебе четыре шкурки нужно. Выбирай!

Возвращаясь домой со шкурками в руке, она увидела афишу, на которой жирными буквами было напечатано имя того артиста... Спектакль с его участием шел завтра.

Дома она долго подбирала шкурки, потом лезвием безопасной бритвы отрезала лапки и крепкой шелковой ниткой сшила шкурки одну с другой...

Незаметно наступил вечер.

Антонина зажгла электричество, поела, опустила пониже лампу и опять принялась за работу...

Легкая заячья шерсть как пух разлеталась по всей комнате, налезала в волосы, цеплялась к скатерти, к одеялу, к занавескам.

Когда палантин был почти готов, она заметила, что сшила шкурки чуть кривовато. Пришлось пороть и сшивать заново...

Постучал Пюльканем.

— Можно! — крикнула Антонина и отгрызла кусочек сахара.

— Добрый вечер, — сказал Пюльканем, — работаете?

— Добрый вечер, — ответила она, не поднимая головы, — работаю.

— Разрешите присесть?

Антонина Никодимовна, ну Тоня... Я ведь, право, не... Я не думал... Представьте себе... Ну Тоня, ну Тонечка, ну Антонина Никодимовна, ну я прошу вас, вот я на колени встану...

Кряхтя и хлюпая носом, Пюльканем опустил на колени и, взяв ее руки в свои, присел на корточки и наконец побежал к себе за «перекипяченной» водой...

Напив Антонину, он отвел ее на кровать и сел возле. Она как-то сразу перестала плакать, вытерла, лицо о подушку и, улыбнувшись, все еще дрожащими губами тихо сказала:

— Вы не думайте, я не о том. Это что, это глупости...

— Так о чем же?

— Это глупости, глупости, — повторяла она, не слушая и вздрагивая всем телом, — это глупости, я не о том... Так тяжело мне вдруг стало, так тяжело... Пойдите умойтесь, — добавила она, — у вас все лицо, как у зебры, исполосовано. И на носу кровь... Смотрите-ка, сколько крови на носу... Вот у вас опять из носу капнуло. Ну, идите же!

Легонько толкнув его в спину, она повернулась к стене и закрыла глаза.

Когда Пюльканем возвратился, она, не оборачиваясь, таким голосом, будто разговор и не прерывался, попросила не сердиться.

— Ведь я не нарочно, — тихо, в подушку говорила она, — просто не нарочно, понимаете? Тогда зуб вам выбила нарочно, а сейчас нечаянно, совсем, совсем нечаянно, вы не думайте, что мне вас хотелось ударить, ведь я вас больно зашибла?

— Больно...

— Ну вот видите, — как в забытьи, ровным и печальным голосом говорила Антонина, — видите! Это так подошло, минуточка такая подошла, мне возьми да и покажись, что вы все мои несчастья. А ведь не вы?

— Не я.

— Знаю, знаю, что не вы, вот устала я очень, а тут так случилось...

Ему казалось, что она бредит. Он наклонился и посмотрел ей в лицо. Ее щеки порозовели, скошенный темный зрачок горячо блестел.

— Вам, может быть, нездоровится? — спросил он. — Я вам могу хинина дать...

— Не надо мне хинина, — тихо сказала она и вздохнула.

Потом Антонина закрыла глаза.

Пюльканем спокойно и ласково, как дельвал это отец, гладил ей плечи.

— Бот спасибо, — совсем тихо сказала она, — вы точь-в-точь как папа, только он еще и песенку пел — знаете эту? «Слон, слон», а потом что-то вроде «у реки». Знаете?

— Нет, не знаю.

— А у вас дети есть?

— Есть.

— Мальчик или девочка?

— Вот что. Сейчас я заколочу вашу дверь гвоздями, а если вы все-таки заберетесь ко мне, то я проблю вам голову этим молотком. Вот этим!

И показала ему большой, очень красивый, блестящий молоток на длинной ручке.

— И, кроме того, напишу вашей жене, — добавила Антонина. — У меня есть ее адрес: Воронеж, Маркса, восемь. Так?

— Так! — кивнул Пюльканем. И втянул голову в плечи. А потом долго смотрел, как из двери с легким шорохом и треском вылез сначала один, потом другой, потом третий, четвертый, пятый гвоздь...

9. Следи за ней!

Дворничиха сидела на табуретке у двери и, болтая маленькой полной ногой в калоше, надетой прямо на чулок, рассказывала новости.

Рассказав все, что знала, Татьяна вызвалась помочь растопить плиту.

— Ничего, я сама...

— Где уж тебе...

Вдвоем они сидели на полу у потрескивающей, жарко горящей плиты и разговаривали. Дворничиха спрашивала про Пюльканема, Антонина отвечала.

— Хорошо, что хоть к тебе не лезет, — поправляя волосы, сказала дворничиха, — а я-то уж думала, ну будет ей, раз холостого вселяют. Не пьет?

— Как будто нет, — коротко улыбнувшись, сказала Антонина.

— А то гляжу — дверь у тебя забита такими гвоздями, — пояснила дворничиха, — ну и подумала, нет ли чего?

— Сквозит.

— «Сквози-ит», — протянула дворничиха и, недоверчиво усмехнувшись, отвела глаза в сторону. — Скучно, поди, одной жить?

— Скучно.

— А ты себе музыканта заведи, — усмехнулась Татьяна.

— Какого музыканта?

— Который на музыке играет. Не знаешь?

— Не знаю.

— Ну и не знай на здоровье...

Несколько минут она молчала. Пляшущие языки огня отражались в ее зрачках. Потом, мягко потянувшись и лениво зевнув розовым ртом, она повернула голову к Антонине и внимательно оглядела ее лицо.

— Что вы смотрите?

— Да так, — значительно сказала дворничиха, — смотрю, какая ты есть... Тебе Ленька нравится? — вдруг спросила она.

— Какой Ленька?

— Скворцов.

— Ничего. Только мне кажется, что он злой.

— Злой?

— Да, злой, — торопливо повторила Антонина, — то есть, может быть, и не злой, а какой-то...

— Нет, он злой, — перебила Татьяна, непонятно и сладко улыбаясь мягкими губами, — он злой, холера, ох какой злой... — Она подбросила в плиту поленьев и, вытирая руки, еще раз сказала: — Он злой...

— А может быть, и не злой — просто сердитый? — робея и чего-то пугаясь, спросила Антонина. — Обиженный?..

— Откуда ж тебе знать про него, — по-прежнему улыбаясь, сказала дворничиха, — тебе, детка, в куклы надо играть, до Скворцова ты еще не достигла...

Она поднялась с полу, почистила юбку рукой, накинула на плечи платок и ушла — ловкая и быстрая.

Весь день Антонина возилась в кухне — прибирала, мыла тряпкой кафельные стены.

Ей очень хотелось, чтобы Рая Зверева не заметила, как трудно и бедно она стала жить, как запустила она свое жилье, как ей скучно и тяжело...

«А то еще жалеть начнет, — неприязненно думала она, — в школе расскажет, три рубля принесет от девочек!»

Днем опять забежала Татьяна.

— Я вот чего, — сказала она из двери, не входя в кухню, — я к тебе как к подружке. Дай до завтра сколько-нибудь денег. Скворцов пришел, водки ему надо. Дашь?

— Дам...

— Неужели дашь?

— Конечно, дам.

— А ведь он на тебе жениться хочет, — вдруг сказала Татьяна, — он тут все вокруг ходит... Пока что ко мне зашел. Пока не женился.

Чувствуя, что кровь прилила к щекам, Антонина отвернулась. Неизвестно почему, ей стало до того стыдно, что она чуть не заплакала.

— Сколько же вам денег? — отвернувшись и делая вид, что роется в сумочке, спросила Антонина. — Четыре рубля хватит?

— Хватит.

попросила дворничиха, — возьми.

— Да не надо мне...

— Возьми, — еще настойчивее попросила Татьяна, — ну что тебе, жалко? А я б ему сказала, что чулки у тебя, а? Вот бы... Возьми... Пришла бы и сказала: «Ленечка, гражданин Скворцов, я чулочки-то подарила». — «Кому?» — «Ей!» — «А кто она такая?» — «Да Тоня ж ваша, Старосельская, сиротка». О, господи! — И, закрыв глаза рукой, Татьяна засмеялась таким тихим, неудержимым и веселым смехом, что Антонина тоже улыbnулась. Все еще смеясь, Татьяна говорила: — Ведь он, сукин сын, что? Он меня к тебе подослал следить. Видали, музыкант? Смотри, говорит, и чуть что — мне. А? Одним словом — следи.

— Как следить? — не поняла Антонина.

— Да так, чтоб кавалеров у тебя не было...

— Какое ж ему дело? — вспыхнула Антонина. — Кавалеры, не кавалеры...

— Уж, видать, дело... Но только я зашла, поговорила и думаю: нет, гражданин Скворцов, не выйдет ваша затея. Каждому свое. Не получить вам Тоню. Верно?

— Верно.

— Для вас, думаю, я, а Тоня, думаю, для других. Верно?

— Верно.

— И на подлость, думаю, не пойду ради вашей милости, гражданин Скворцов, хотя вы и музыкант. Бери чулки, — вдруг добавила она, — и не для себя, а для меня...

Уходя, Татьяна обернулась и, глядя прямо в глаза Антонине своими блестящими серыми глазами, громко спросила:

— Замуж за него не пойдешь?

— Не пойду.

— Так и передать?

— И передать.

— Ну, пока до свиданья.

— До свиданья, — тихо сказала Антонина и, подумав, крикнула вслед дворничихе: — Заходите, Татьяна...

Потом она поглядела на чулки и вдруг представила себя — как она будет выглядеть в платье с воротничком и с рукавчиками, в этих чулках, в лаковых туфлях и в белом заячьем палантине.

«Один раз надену, — думала она, — один разочек, только сегодня. Как будто бы даже они и не мои, как будто я их поносить взяла. И Райке скажу, что не мои. Да и не могла я их, в конце концов, не взять... Ну, что бы я сказала? А ей это нужно!»

Доканчивая уборку, она вспомнила Скворцова, каким попугаем он выглядел, когда встретился с ней на лестнице, и улыbnулась.

Замуж за Скворцова?

Это показалось ей таким диким, что она даже встряхнула головой и запела свою любимую песенку:

По улицам ходила

Большая крокодила...

Под эту песенку всегда хорошо работалось, и через несколько минут Антонина покончила с уборкой.

Вымывшись горячей водой с ног до головы в огромном цинковом корыте и повязав волосы махровым полотенцем, она забралась на кровать и выкроила из старой продранный юбки подкладку для палантина. Теперь осталось только пришить эту подкладку.

В комнате легко и приятно пахло мылом, глаженным бельем и чуть-чуть дымом от плиты. Мелкие аккуратные стежки ложились на подкладку, мех принял форму и стал походить на те настоящие, дорогие меха, которые она видела в витринах хороших магазинов.

«Как они называются, — вспоминала она, — как-то красиво: скунс, или выдра, или соболь, бобр! Бобровые меха... Скунсовые меха! Соболи мех!»

Ей доставляло удовольствие произносить про себя все эти названия, изредка посматривать на часы (не пора ли в театр), шить, откусывать нитку, напевать песенку...

Она была вымыта, сыта, в комнате хорошо пахло чистотой и берестой, скоро должна была прийти Рая Зверева, Пюльканем не приставал к ней, она могла думать только о хорошем...

«И пусть нет работы, — думала она, — завтра погорю, а сегодня строго воспрещается. Сегодня в театр иду! В театр! И угощу Райку пирожным. Все равно! Ну, стол продам, без стола буду жить... Пюльканем... Строго воспрещается — Пюльканем! Мы пойдем в буфет, не в тот маленький, а в большой, в самый большой буфет, сядем за столик, и нам подадут два пирожных и чай в стаканах...»

Она с хрустом перекусила нитку и запела:

И всегда, всегда, всегда, всегда туман...

Огоньки далекие,

Улицы широкие...

10. Трамвайное происшествие

Рая Зверева позвонила в шесть часов вечера. От нее очень пахло духами «Свежее сено»,

пальто на ней было так вычищено, что все ворсинки сукна лежали в одну сторону, воротник был заколот эмалированной летящей чайкой, и в руке она держала плоскую, похожую на портсигар, серебряную сумочку.

Рая осторожно разделась и обдернула синее трикотажное платье.

— Все сверху лезет, — сказала она, — такая странная материя. Это все мама. Я говорила, что стирать не надо, а она: постираю да постираю, — вот и постирала...

— Да, коротковато, — покачала головой Антонина и принялась студить перегретый уют, сильно размахивая им, — ты попробуй, потяни юбку книзу...

— Что же ее тянуть, — грустно промолвила Рая, — если ее тянуть, она вся фестонами пойдет — я уж пробовала...

— А ты — равномерно.

— Все равно фестонами...

— Ну, тогда мы вот что сделаем, — предложила Антонина, — мы юбку на столешнице растянем кнопками. Длиннее будет.

Через несколько минут юбка была растянута на доске, а толстая Рая зашивала чулок, низко пригнув голову к колену, и рассказывала школьные новости.

— Новый заведующий учебной частью... Чудак! Пришел к нам в класс и говорит: «Дети...»

— А Валя как?

— Да ничего, прыгает себе.

— А Зеликман?

— Радио строит... Перчатки себе купил кожаные на меховой подкладке и задается.

— Чего ж тут задаваться?

— У них, у мальчишек, сейчас самое главное — кожаные перчатки. Как с ума сошли. А Сысоева в письменной по физике написала, что скорость передачи звука в воздухе тысяча четыреста пятьдесят метров в секунду...

— Ну и что?

— Что! Неверно, вот что. Звук в воздухе вовсе триста тридцать два метра проходит, а не тысячу четыреста... Ты ведь акустику, кажется, вовсе не учила?

— Не учила, — тихо сказала Антонина.

Погладив рукой шов на колене, Рая спросила, почему шов получился уж больно выпуклым.

— Неаккуратно штопаешь, — ответила Антонина, — вот и выпуклый...

Потом, еще не одевшись, они причесались и напудрились.

— А может быть, губы... — начала Рая и не кончила.

— С ума сошла, — сказала Антонина, — губы! В партер идем, и вдруг мы с намазанными губами...

— Сколько времени прошло, — спросила Рая, — пять минут прошло? Я в темноте никак не могу ориентироваться, — добавила она и с видимым удовольствием повторила: — Ориентацию совершенно теряю в темноте.

Антонина промолчала.

— Послушай, — вдруг почти шепотом, испуганно и быстро спросила она, — послушай, Зверева, а если он нас в ресторан позовет?

— Откажемся, — хладнокровно сказала Рая.

— А разве тебе не хочется пойти в ресторан? — спросила Антонина. — Мороженое...

— Хочется, — так же медленно ответила Рая, — только не в мороженом дело, а просто интересно, как там все устроено. Оригинально, наверно, а?

— Наверно.

Они опять помолчали.

— Да, — робко заговорила Антонина, — но ведь мы можем, если он пригласит, в ресторан пойти, но никаких там этих шато-икем не пить.

— Чего?

— Это я в книге читала: «Они пили холодное шато-икем». Наливка такая, что ли...

— Ладно, там видно будет, — сказала Зверева. — Я с ним познакомлюсь, и решим. Во-первых, какое он на меня произведет впечатление, а во-вторых, может быть, он никуда нас и не пригласит...

Антонина зажгла электричество, а через несколько минут они вышли из дому.

Трамвай был набит до того, что несколько кварталов Антонина ехала, повиснув на подножке и уцепившись обеими руками за холодный медный ствол поручня. Рая Зверева кричала сверху с площадки какие-то слова и порой пыталась втолкнуть Антонину к себе, но Антонина говорила, что ей хорошо и что на разъезде из трамвая многие выйдут, тогда появится место... Какой-то мужчина тоже висел с нею на подножке и все время бранился, — Антонина никак не могла понять почему...

На разъезде дул такой ветер, что Антонине показалось, будто у нее уже отмерзли щеки.

Испугавшись, она головой растолкала народ на площадке и принялась пробираться к Рае, которую уже оттеснили в середину нагона.

— Сюда! — крикнула Рая и помахала в воздухе варежкой. — Ты видишь меня, Старосельская? Вот я, варежкой размахиваю.

— Вижу!

Налегая плечом и расталкивая людей локтями, Антонина пробиралась вперед до тех пор, пока чей-то сиплый и злой голос не крикнул ей, что она дура...

— Вы чего ругаетесь?

Но ругался уже не только сиплый, а и еще какие-то две дамы и больших шляпах.

— Безобразие...

— С ума сошла! — кричала вторая дама. — С ума сошла!..

— Безобразие! — визжала первая. — Безобразие! Кондуктор, куда вы смотрите!

Внезапно оробев, Антонина хотела уже извиниться, сама не зная за что, но на нее напустилась высокая худая женщина и не дала ей сказать ни слова...

— Вылезай из вагона! — кричала высокая, широко открывая большой узгогубый рот. — Граждане, выведите ее... Да выведите же ее, кондуктор...

— А в чем там дело? — кричала через весь трамвай кондукторша. — Я ж не знаю, в чем дело!

— Безобразие!

— Я вся измазана...

— Да она всех перепачкала...

— Всех, всех, — загудели в вагоне, — всех...

— Да кто она?

— Вот с помпоном!

— Пусть вылезет...

— Старосельская, они тебя живьем сожрут, — откуда-то снизу крикнула Зверева, — продирайся к выходу...

Все еще ничего не понимая, Антонина двинулась к передней площадке вагона, но те люди, которые были спереди, принялись кричать, чтобы она сняла мех, и тотчас же ей стало ясно, из-за чего разгорелся скандал.

«Господи, — в ужасе подумала она, — зайцы лезут... Как же это я не заметила?»

Все те люди, мимо которых она проходила, были перепачканы белой заячьей шерстью до того, что можно было думать, будто на их томные шубы кто-то нарочно пришел белые заплаты.

Сорвав прочь с шеи злосчастный палантин и низко опустив голову, Антонина продиралась вперед до тех пор, пока перед ней не блеснула медная ручка двери на площадку...

Вслед ей неслись брань, смех, шутки...

— Да постой, Старосельская, постой, — кричала очутившаяся сзади Зверева, — постой, слышишь... На ходу не прыгай, дура!

Но Антонина была уже на площадке.

Она видела, как Рая откатила дверь, и, не обращая внимания на ругань водителя, крикнула внутрь вагона:

— А вы все дрянь!

Потом Антонина прыгнула и долго бежала по мостовой, чтоб не упасть.

Антонина видела, как на повороте из вагона метнулось что-то черное и побежало к тротуару.

Это выпрыгнула Рая.

— А ты не горюй, — погода советовала Зверева, — чего тебе горевать? Они все мерзавцы, они там разных соболой надевают. Не горюй, слышишь, Старосельская. Ну вот. Подумаешь, горе... Тебе что, зайцев жалко?

— Нет.

— Обидно?

— Ну да, обидно.

— А ты плюнь, не обижайся. Это все нэпманы. Небось наши бы ехали, так ничего такого бы не было. Вырядились, черти! Ну, брось, Старосельская, не реви. Слышишь? Здоровая, а ревешь... Ну, перестань, Тоня...

— Да я же ничего, — всхлипывая, говорила Антонина, — ну, просто так... Сейчас пройдет... И почему, когда шила, они ничего, а сейчас вдруг полезли, скажи, Рая? Почему?

— Может, от мороза?

— Ну, действительно, от мороза, — сквозь слезы усмехнулась Антонина.

Под фонарем они обе долго чистились снегом... Зверева набирала снег на варежку, натирала снегом Антонинино пальто, а потом чистила варежкой, как щеткой...

— Пожалуй, без палантина и лучше, — утешала Рая, — ей-богу, лучше... А что пальто потерлось, так это совсем и незаметно, Старосельская, честное слово... Это только тебе заметно, потому что ты знаешь... Ну, теперь меня почисть...

На углу у трамвайной остановки Антонина купила газету и завернула в нее заячий палантин.

11. Преступление и наказание

Был понедельник, обычный день отдыха артистов. Давали «Преступление и наказание» — случайный внеплановый спектакль, поставленный специально для него, лучшего Порфирия во всей стране, а может быть, и во всем мире.

Остальные актеры играли так плохо, что их никто и не замечал. Впрочем, они могли играть и хорошо — все равно их бы не заметили.

Не очень плох был, пожалуй, только Раскольников. Он не слишком кричал, не слишком шипел и не слишком подолгу молчал, выдерживая паузы.

Кроме того, он достаточно толково держал себя с Порфирием. А это последнее было ох как трудно...

Первый акт не произвел ни на Антонину, ни на Звереву ровно никакого впечатления. Только в том месте, где Раскольников ударил старуху закладчицу и прошипел: «Готова», — они вместе поднялись с кресел и своими глазами убедились в том, что старуха действительно готова.

— Чем это он ее? — шепотом спросила Зверева. — Ты не заметила?

— Железом.

— Топором, что ли?

— Топором.

Вошла Лизавета. Раскольников бросился на нее и взмахнул своим не совсем понятным орудием.

— Зверь какой-то, — сказала Рая и тихонько высморкалась, не вынимая платка из рукава.

Потом позвонили.

Раскольников заволновался и забежал по тесной комнате закладчицы. Из-за двери слышались те сумасшедшие возгласы, которыми обычно разговаривают за театральными кулисами.

— Вот тут тебе и крышка, — не без злорадства сказала Рая, — получишь высшую меру. Как по-твоему, Старосельская, что ему дадут?

— Помолчи! — зашипела Антонина.

Рая пожала плечами и уставилась на сцену. Раскольников все еще суетился.

В антракте они, обнявшись, ходили по огромным комнатам и разглядывали витрины с фотографиями артистов и макеты декораций. Потом, усевшись, прочли с начала до конца программу спектакля.

— Вот, — вскрикнула Антонина, — вот он, читай... «Порфирий Петрович, следователь...» Видишь?

— Наверно, незавидная роль, — сказала Рая, — почти в конце, после всех фамилий...

— «После всех», — передразнила Антонина, — а зато толстым шрифтом напечатана.

— Увидим, увидим, — сказала Рая и поднялась.

Взявшись за руки, они выждали секунду и влились в поток гуляющих по фойе людей. кругом слышались смех, шутки, острооты, пахло духами, старым шелком и нафталином.

— Ну что, мы так и будем ходить молча? — спросила Рая. — Давай разговаривать.

— Давай.

— Давай только смешное что-нибудь говорить, а то все кругом смеются, а мы одни серьезные...

Но разговор не удался. Затрещали звонки, публика перестала ходить по кругу и, смешавшись, потекла по коридорам.

— Хорошо все-таки в партере, — шепотом сказала Рая, когда они сели, — верно, хорошо?

— Очень хорошо. Тебе не кажется, что эти места, на которых мы сидим, какие-нибудь специальные, артистические или для их знакомых?.. Ведь раз по контрамаркам, то... И ты видишь — на нас все время поглядывают...

— Конечно, поглядывают. Те, которые тут часто бывают, уж наверное знают, чьи это места. Вот они и думают, что мы тут свои...

— Тише, — зашипела Антонина, — занавес.

Со сцены пахло холодом, столярным клеем и краской.

Зал замер. Тишина, наступившая сейчас, несколько не походила на ту вялую и скучную тишину, которая наступила, когда поднялся занавес перед первым актом. Тогда зрители замолкали неохотно, только из приличия, сейчас они замолкли радостно, почтительно, восторженно...

Он сидел на сцене.

Антонина не узнала его, но почувствовала, что он тут, по той волне трепетного и возбужденного внимания, которая точно прошелестела над зрителями.

Он сидел в маленьком, низком креслице возле круглого столика и с какой-то странной, хлопотливой и веселой вежливостью кивал лысой головой гостям, приглашая их располагаться по-домашнему.

На нем была кургузая, очень старенькая курточка, мягая и расстегнутая, на плечах был накинут клетчатый женский плед, и необычайное бабье добродушие, исходившее от всей его фигуры, несомненно было связано с этим клетчатым пледом.

После первых же его слов Антонина почувствовала, что сцена перестала отделяться от зрительного зала и что зрители теперь накрепко связаны со всем, что происходит и будет происходить в большой серой и скучной комнате с мебелью, расставленной по стенам, с выцветшими занавесками на окнах и, главное, с этим хлопотливым толстым, несомненно притворяющимся и в то же время несомненно искренним человеком.

Порфирий сидел в своем креслице, курил папироску и, посасывая дым из толстого мундштука, все время хлопотал о чем-то, известном только ему, но хлопотал так, что весь огромный зрительный зал, каждый зритель и все вместе были заинтересованы, и не вчуже, а душою, во всем, что делал, о чем думал и чем волновался этот толстый человек...

Все исчезло вокруг него.

Другие артисты разговаривали, плакали, волновались, совершали поступки, ходили по сцене, а виден был только Порфирий.

Других слушали потому, что вслед за ними говорил он.

И каждый из зрителей, который вслед за Порфирием смотрел на того или иного артиста, жалел о том, что посмотрел, потому что в одном повороте головы Порфирия было столько, что смотреть уже не стоило, — Порфирий одним поворотом рассказывал несравненно больше, чем мог сыграть артист, к которому он поворачивался...

«Ну полноте, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» — с ласковой дерзостью в голосе спрашивал Порфирий, и зал в ужасе замирал, ожидая, что теперь все откроется.

А что могло открыться?

«И в воскресение Лазаря веруете? — едва слышно спрашивал Порфирий. — Буквально веруете?»

Он все сидел в своем креслице со стаканом чая в руке и все улыбался вьедливой, ласковой и хлопотливой улыбкой, обращенной к Раскольникову, и все отпивал из стакана, и все спрашивал, страшно волнуясь сам и заражая своим волнением зрителей, все кутался в плед

— Да.

— Почтеньице, Аркадий Осипович, — закричал сверху глухой голос, — чего поздно гуляете?

Артист ответил, что показывает театр своим дочкам, и спросил, хорошие ли дочери.

Наверху помолчали.

— Что ж, плохие? — спросил артист.

— Молоды вы для таких дочек.

— А вот дочери! — крикнула Антонина и тотчас же испугалась своей дерзости.

Артист засмеялся и начал объяснять.

— Ну вот, — говорил он, — это колосники, видите? Там вверху. Видите?

— Видим, — в один голос отвечали Рая и Антонина.

— А вот это падуги, это сукна, это портал — видите, щиты такие?

— Видим.

— Вот это и есть портал. А это машина для грома, она на завтра нужна. Дядя Коля, — вдруг крикнул Аркадий Осипович, — покажи моим дочкам гром.

— Гром так гром, — сказал дядя Коля и завозился в темноте.

— Только постепенно, — сказал Аркадий Осипович, — а то сразу оглушишь...

Гром не понравился.

— Вовсе все-таки не похож, — сказала Рая, — чувствуешь, что железо. Нет, природу не подменишь.

— И очень даже подменишь, — обиделся дядя Коля, — скажите, какие разборчивые!

Антонине стала жалко дядю Колю, и она сказала, что не очень непохоже.

— А вот пулеметная стрельба, — крикнул дядя Коля и поднял такой оглушительный треск, что девочки зажали уши руками. — Может, скажите, непохоже?

— Похоже.

— То-то, — произнес дядя Коля и исчез в темноте.

— Ну, дети, теперь ужинать, — сказал Аркадий Осипович, — уже поздно.

— Что ж делать? — шепотом спросила Рая у Антонины. — Думай скорей, Старосельская!

Артист опять шел впереди, ссутулившись и сунув руки в карманы.

— Пойдем, — решила Антонина, — все равно.

12. Ты в него влюблена

Когда они вышли из театра на улицу, Аркадий Осипович взял обеих девочек под руки и предложил:

— Хотите, ко мне зайдем? У меня сука оценилась.

— Но уже поздно.

— Ничего.

Пока он открывал своим ключом дверь, Рая успела шепнуть Антонине, что просто некрасиво идти ночью в дом малознакомого человека.

— Ну и не ходи, — ответила Антонина.

Рая сделала большие глаза, потом поджала губы и сказала, что в таком случае нарочно пойдет.

В огромной комнате, заваленной книгами, пахло табаком, нафталином и собаками.

В камине пылали смолистые поленья, от их треска в комнате было очень уютно и весело. Языки огня отражались в стеклах портретов, плясали на позолоте рам, на лаке рояля, на дубовой отполированной панели, которой была отделана комната.

Дези долго зевала и потягивалась, царапая когтями паркет, и ни за что не хотела показать, где щенята.

— Опять в нотах устроилась, ведьма, — сказал Аркадий Осипович и, как был, в шубе и в шапке, полез под большой рояль. — Держите! — крикнул он оттуда. — Это, кажется, Клин, это Большая Вихнера, это Бологое, это Любавь, это Малая Винтера. Пять, правильно?

— Правильно, — кричала Рая, — ух, какие хорошие... Породистые, да? — спрашивала она, повалившись со щенятами на ковер. — Большие-пребольшие. И кобели, и сучки, — бормотала она, — это кобелек, это тоже кобелек, а уж это сучка... Ах ты моя милая... У нас тоже собака была, но простая сука, и вот она оценилась, — кричала Рая так, точно все оглохли, — мама боялась отличить, какие кобельки, а какие сучки, а я, представьте, сразу отличала и ничуть не ошибалась. Но потом наша собака так злилась, что ужас, молока у нее, кажется, не было.

— Нет, у моей Дези молока много, — с гордостью сказал артист, — смотрите, какие они все толстые...

— Это потому, что собаку хорошо кормите, а мой папа в то время был без работы, наша Кутька сырую картофельную кожуру лопала.

Все они — Аркадий Осипович, Рая и Антонина — сидели на ковре. Дези лакала из плошки, щенки тоненько скулили и кувыркались один через другого...

«Как бы я эту комнату прибрала, — с жадностью думала Антонина, — как бы я всю пыль вытерла, ковры вытрясла, книги сложила... Разве так можно жить? Ну, вдруг ему какая-нибудь книга понадобится, где он ее разыщет в этом беспорядке? А я бы ему каталог завела, как в библиотеке».

— Им блох надо непременно вычесывать, — все кричала Рая, — у вас есть частый гребешок, такой, которым вшей вычесывают? Вот если бы был, я бы их сейчас всех вычесала.

— Мармеладу хотите? — спросил Аркадий Осипович.

— Хотим, — сказала Рая.

Пока Аркадий Осипович ходил за мармеладом, подруги чуть не рассорились. Рая сказала, что ей очень неприятно, так как она, видимо, портит Антонине настроение своим присутствием.

— С ума сошла?

— Ум ни при чем. Я ясно видела, что ты хочешь меня спровадить...

— Как спровадить?

— Конечно. Ты в него влюблена, а я тебе мешаю строить куры.

В соседней комнате слышались шаги. Рая быстро схватила с ковра щенка и, тормоша его, зашипела:

— Ладно, ладно, Старосельская, будут у меня свои секреты, скажу я тебе, фигу с маком!

Аркадий Осипович принес большой ящик отличного мармелада и две толстые книги. «Дон-Кихота» он подарил Антонине, «Гулливера» — Рае. Антонина попросила, чтобы он написал что-нибудь на книге.

— Что ж вам написать?

— Ну что-нибудь.

Аркадий Осипович написал:

«На память обидчивой Тоне Старосельской».

И Рае:

«На память веселой Рае Зверевой».

— Уж вовсе я не такая веселая, — сказала Рая, — напрасно вы думаете.

— Вы грустная?

— Скорее — да.

— Ну, ничего, — сказал артист, — я могу зачеркнуть «веселой» и написать «грустной».

— Пожалуйста.

— Только уж вам придется всегда быть грустной...

— Вы все шутите, — сказала Рая и встала с ковра.

Вместо «веселой» Аркадий Осипович написал «печальной» и с поклоном подал Рае книжку.

— Ну, теперь пошли!

— А щенята как же?

— Дези сама снесет, ей это только удовольствие.

— Вы один живете? — вдруг спросила Антонина.

— Один.

— А где же ваша жена?

— У меня нет жены.

— Совсем нет?

— Была, — весело сказал артист, — а потом взяла и ушла.

— Куда ушла?

— Туда, — сказал артист и махнул рукой, — вышла из дому, села на извозчика и уехала в ту сторону.

— Где же она сейчас?

— Бог ее знает, — щурясь от табачного дыма, сказал артист, — исчезла.

— Как же вы не знаете, — жестко спросила Антонина, — разве так бывает, чтобы жена ушла, а муж даже и не знал — куда?

— Видно, бывает.

— А вы ее любили? — краснея, спросила Антонина.

Аркадий Осипович посмотрел на ее поднятое к нему взволнованное лицо, вынул изо рта папиросу и, стряхивая пепел на ковер, медленно сказал:

— Любопытны же вы, однако.

— Любопытна.

— Ну вот, смотрите, любопытная!

Взяв Антонину за плечо своей большой и белой рукой, он подпел ее к овальному, в простой дубовой раме портрету, изображавшему во весь рост молодую, очень красивую женщину с гордым лицом и холодноватыми глазами.

— Красивая, — тихо сказала Антонина.

— Красивая, — согласился Аркадий Осипович.

— А как ее звали? — чувствуя, что сейчас расплачется, спросила Антонина.

— Наташей.

— Красивое имя. А фамилия?

— Подите вы, — улыбнулся артист, — ну зачем вам ее фамилия?

— Просто так, — задыхаясь от нового, никогда еще не испытанного чувства, сказала Антонина, — интересно.

— Ну, Шевцова.

Он секунду помолчал.

— А знаете, — вдруг добавил он, — вы на нее похожи. Право, похожи...

не любит лицом к залу сидеть, — тихо пояснил он, — всегда очень много приходится кланяться и некогда покушать. Ну и дамы... В лорнет всегда на него смотрят, а ему это очень неприятно. Пожалуйте, Аркадий Осипович! Я тут барышням рассказывал, как вас в лорнет смотрят...

Вслед за Аркадием Осиповичем шел толстый пожилой человек в пенсне, с бородкой, но без усов. Поклонившись Рае и Антонине, как старым знакомым, он спросил:

— Ну-с, Аркадий Осипович, что мы сегодня будем кушать? Что в театре? Как здоровьице?

«Боже, до чего он знаменитый! — почти с ужасом подумала Антонина. — Все его знают».

Пока артист разговаривал с метрдотелем, Рая сказала Антонине, что если Аркадий Осипович купит вина, то они ни в коем случае пить не будут.

— А ты все-таки, Зверева, дура, — вспомнила Антонина, — стала щенят разглядывать, какие кобельки, какие сучки. Я даже покраснела.

— А разве неприлично получилось? — заволновалась Зверева. — Я, право, не заметила.

— Эй, граждане, не шептаться! — крикнул Аркадий Осипович и протянул им карточку. — Выбирайте.

— Пля-де жур, — прочла Антонина и вспомнила сорти-де-баль.

Дальше шли названия совершенно непонятные и неслыханные, причем известным было только какое-то слагаемое кушанья, — например, с грибами, или с цветной капустой, или с пирожками, само же кушанье оставалось тайной.

— Не понимаю я, — краснея от напряжения и оттого, что на нее смотрели метрдотель, Аркадий Осипович и официант, шипела Рая. — Ну что это такое, ты понимаешь, Старосельская? Крокеты, сальми из дичи, хашиоз-еф-поше, молодка берси, ньеки по-итальянски, беф-бризе.

— Что же вы, девочки, — улыбаясь, спросил артист, — выбрали?

— Ничего мы не выбрали, — совсем сконфузившись, сказала Рая, — мы не понимаем...

— Ах вы, чудак народ, — засмеялся Аркадий Осипович, — ну, давайте сюда, вместе выберем. Что, ньеки, да? Ньеки — это из теста такая запеканка, верно, Оглы?

— Верно, — сказал официант, — с сыром тесто.

— А берси? Жареная курица, верно, Оглы?

— Курица, так точно, — подтвердил Оглы, — можно сделать с цветной капустой. Или рис подать...

— Нет, не надо, — решил артист, — знаете что, Валентин Михайлович? Дайте нам три нареза.

— А что такое «нареза»? — спросила Рая.

— Нарез, барышня, кушанье, в котором все есть, — пояснил Оглы, — и курица, и ветчина, и ростбиф, и бифштекс... В холодном виде будет.

Девочки переглянулись. Им обеим понравилось то, что в нарезе есть все.

масла, а потом икры, да побольше.

Чужой официант в эту секунду положил перед артистом записку. Аркадий Осипович прочитал и сказал неожиданно жестким, почти железным голосом:

— Ответа не будет!

Сложил записку вроде бы конвертиком, с удовольствием разорвал на четыре части и выругался:

— Скотина!

— Кто это — скотина? — поинтересовалась Рая. Она всегда обо всем, спрашивала, такая уж у нее была привычка.

— Некий иностранный подданный, по фамилии Бройтигам, — медленно прихлебывая нарзан, ответил Аркадий Осипович. — Концессионер, директор-распорядитель, спекулянт и международный жулик. Отто Вильгельмович. Занимается скупкой жира, кишок, рогов, копыт, устраивает комбинации с альбумином и, на досуге, устраивает турне русских артистов за границу. Замучил меня всякими предложениями. Вы понимаете?

Он разговаривал с ними, как с равными, и это было так прекрасно, что Антонина даже задохнулась от счастья. Его враг был и ее врагом — этот отвратительный Бройтигам, — вот он сидел один за большим круглым столом и ел один, пил один, и курил сигару один, — тот самый Бройтигам, который даже не приехал на похороны Никодима Петровича, тот самый Отто Вильгельмович, на которого папа работал и который даже не поинтересовался, как живет дочка его умершего служащего. «Ответа не будет!» — великолепно сказано. «И я так скажу когда-нибудь! — думала Антонина. — Непременно скажу: не будет ответа!»

— Налить вам вина, девочки? — спросил Аркадий Осипович.

— Ответа не будет! — неожиданно для себя вслух произнесла Антонина и сконфуженно поправилась: — Пожалуйста. Простите, это я нечаянно...

— Что ж, пить так пить! — произнесла Рая. — Где-то я слышала — пей за столом, а не за столбом.

Все было очень вкусно, Аркадий Осипович рассказывал веселые и смешные истории, печально и красиво играла музыка, порою электричество гасло, и тогда зал и столики освещались прожекторами или особым, повешенным на потолке зеркальным шаром, который отражал и разбрасывал пятнами направленный на него луч прожектора.

— Смотри, звезды, — вдруг крикнула Рая.

— Где?

— Да на потолке.

Стеклянный потолок действительно был покрыт маленькими электрическими звездами.

— Вот оригинально, — сказала Рая? — правда, оригинально, Аркадий Осипович.

— Ничего.

— Не ничего, а именно оригинально, — заспорила Рая, — очень оригинально и очень красиво.

Они выпили по три рюмки вина и как-то сразу опьянели. Все показалось им простым и легким.

и допела: — «Где женщины как на картине, там Джо влюбился в Кло».

— Веселая барышня, — сказал официант.

— Живешь только один раз в жизни, — произнесла Рая, — выпейте с нами, дяденька.

Аркадий Осипович покачал головой и налил Оглы рюмку коньяку. Старик выпил, утерся рукой, как кошка лапой, поблагодарил и убежал.

Когда они вышли, у подъезда стоял большой синий автомобиль.

— Садитесь, — сказал артист и открыл дверцу.

Рая даже вскрикнула от восторга.

— Вот так номер, — бормотала она, усаживаясь, — вот это номер так номер!

Аркадий Осипович развез их обеих по домам и записал адрес Антонины.

Она долго стояла на улице, когда автомобиль уехал, и смотрела ему вслед, туда, где скрылся красный сигнал.

Дома она поставила розы в воду, легла в постель, укрылась с головой и прижала к губам, то место руки, которое поцеловал Аркадий Осипович.

13. Взял и уехал...

Весна наступила ночью.

Открыв форточку, Антонина просунула голову наружу и, глядя во тьму, долго слушала непонятный и тихий шорох, позванивающее журчание, быструю, торопливую капель и далекий грохот ломовиков по обтаявшим булыжникам.

За дверью храпел Пюльканем.

На столе, в банке от варенья, неправдоподобно пышные и величественные для этой кафельной кухни, осыпались чайные розы.

Не заснув ни на минуту, утром Антонина умылась, выпила свернувшегося молока, напудрила нос и, щуря красные глаза, вышла на залитую солнцем улицу.

Все поезда из Ленинграда уходили вечером — так ей сказал курносый старик в справочном бюро. Чтобы как-нибудь убить время, она купила себе самый дешевый билет в цирк, но все представление подремала, опершись спиной на какой-то столбик и подняв воротник.

Есть ей не хотелось.

Когда она вышла из цирка, спускался розовый, холодный и печальный вечер. По небу летели облака, похожие на всадников. Орали газетчики и продавцы ирисок. Опять подморозило...

Мелкими осторожными шагами, чтобы не упасть, она поднялась по обледенелому мосту Белинского и пошла мимо Моховой к Литейному проспекту.

«Если вот так, не торопясь, — думала она? — то минут сорок ходьбы... а если еще

старый жокей вспоминает лошадей, которыми брал когда-то призы.

Ему доставляло большое и искреннее удовольствие разрушать семьи, вторгаться между мужем и женой — и все же быть другом мужу, пить с ним, обнимать его и хвалить его жену такими словами, чтобы он вдруг растерянно подымал осоловелые от водки глаза и, бледнея, переспрашивал... Тогда Скворцов искусно сворачивал, а муж потом долго потирал лоб ладонью и недоуменно оглядывался на жену.

Он испытывал блаженство, стоя навтыяжку перед механиком корабля в то время, как тот распекал его, глядя ему прямо в глаза и думая о том, что сию секунду он может рассказать ему, мужу, решительно все о его красивой, с родинкой над губой, жене, рассказать о том, как она ночевала у него, как он прогнал ее и как она опять пришла.

Эти его победы, этот его успех, эта его власть были единственным преимуществом над всеми, кого он знал, только этим он гордился, потому что ничем больше гордиться он не мог.

И он хвастался своими победами постоянно, рассказывал подробности и был до того бесстыден, что даже его ближайшие приятели — люди, достаточно привыкшие к таким рассказам, — кривились, сплевывали и требовали, чтобы он замолчал.

Он бережно и даже с предупредительностью относился ко всем своим прихотям, был опрятен, осторожен и, как подозревали некоторые, труслив.

Драки он затевал только тогда, когда перевес был явно на его стороне, и ставил себя сразу же в безопасное положение тем, что первый и обычно единственный из всех дерущихся схватывал в руки стул, или пивную кружку, или еще какое-нибудь орудие, которое предохраняло само по себе и с которым можно было чувствовать себя в безопасности.

Бил он всегда слабейших, хулиганил только там, где можно было хулиганить, а попав два раза под суд, и вовсе бросил это дело, довольствуясь лишь тем, что подолгу натравливал людей друг на друга или подзадоривал приятеля, подпаивая его и поддразнивая... Все это, — и темные делишки с чужими женами, и выманивание сувениров преимущественно из благородных металлов, и довольно звонкая пощечина, полученная им в моряцком клубе, и драка, в которой ему здорово досталось, — наконец привлекло внимание капитана, и кое-кого в порту, и секретаря паровой партийной ячейки Квасова, с которым у Скворцова издавна сложились напряженные отношения...

Надо было, вернее, не столько надо, сколько приспело время, жениться. В торговом флоте лучше относятся к женатым — они основательнее, да и жена может недурно хозяйничать, штопать, стряпать, если ее, конечно, толком вышколить. Жена и ботинки начистит, рассуждал Скворцов, и стирает, и рубашку подкрахмалит лучше, чем в прачечной.

И разговоры прекратятся.

Он даже хмыкнул, представив себе, какое лицо сделается у Квасова, когда тот узнает, что Скворцов женился.

Но, хмыкнув, расстроился. Придется очень многое ломать: несмотря на то, что большинство женщин быстро разгадывало его и видело в нем и трусость, и скупость, и низость, и бедную его душу, несмотря даже на то, что надоевшим он сам злобно показывал, каков он есть, чтобы отвязались, — они продолжали любить его, выдуманного ими, продолжали думать о нем, звать его и плакать о том, что он уже не любит их...

Ох, нелегко ему еще будет от этих плакальщиц...

Ничего, справится!

И он стал всерьез думать об Антонине.

Когда зимой на похоронах Никодима Петровича Скворцов нес по лестнице на руках больную от горя Антонину, он первый раз в жизни почувствовал нежность и жалость.

В церкви, на кладбище, в извозчичьих санках он с удивлением и даже со злобой следил за собой, за тем, как, поглядывая сбоку на ее тонкий профиль, на загнутые кверху заиндевелые ресницы, на дрожащие от слез губы, он испытывал новые для себя чувства умиления и особой, праздничной гордости, похожей на ту, которая охватила его, когда он впервые вышел на улицу в настоящем флотском бушлате.

В санках, обнимая Антонину, чтобы она не упала на крутом повороте, щурясь от колкого снега, летящего в лицо из-под копыт рысака, Скворцов, обычно так бережно относившийся к самому себе, ни разу не подумал о том, что в своей легкой одежде может смертельно простудиться. Он был даже рад тому, что мерзнет для нее, что может из-за нее простудиться и, главное, что она замечает это.

Ему нравилось все в ней: и ее заплаканные огромные глаза, и ее дрожащие губы, и слезы, крупные и тяжелые, и белый вязаный платок, из-под которого выбивались заиндевелые волосы, и чистый ее лоб, и даже то, что она не могла ходить, — ему было приятно подниматься с ней по лестнице и чувствовать, как она обнимает его за шею и как доверчиво все ее легкое тело покоится на его руках.

Она была совсем не похожа на тех женщин, которых он знал, и это особенно трогало и возбуждало его. Сквозь юную угловатость и резкость ее движений он опытным глазом угадывал в ней будущую спокойную грацию, мягкость и простоту. В еще детском ее голосе он слышал чудесные нотки — глубокие, ласковые, душевные. В легкой и тоненькой ее фигуре он видел будущую совершенную гармонию, а главное — Антонина была молода, ее характер был еще далеко не завершен, его можно было лепить, как глину, придавая ему какие угодно формы...

Всю ночь после похорон Скворцов не спал, расхаживая в халате по комнате, и думал. Хотелось пить. Он согрел себе чаю, плеснул в чай коньяку, отхлебнул и вновь задумался. Печальная, милая, чистая, в платьице из застиранной шотландки, с косами вокруг головы, с дрожащим голосом, она рисовалась в его воображении так ясно и так полно, точно сидела перед ним на диване.

«Женюсь», — подумал он и усмехнулся. Даже мысль о браке показалась ему смешной.

Для того чтобы не думать больше о женитьбе, он попытался порассуждать с собой так, будто Антонина была одной из тех, жалких и совершенно ему принадлежащих женщин, которые в сумерках или ночью торопливо и осторожно приходили к нему... Порассуждать так он почему-то не смог, но зато ему стало жарко и тяжело забило в виски. Он уже больше не чувствовал ни умиления, ни гордости, ни жалости, ни нежности — он лишь представлял себе ее косы и тонкую смуглую шею, ее сухие, потрескавшиеся на морозе губы и слабые запястья ее рук. Образ ее, цельный и живой, вдруг расплылся, и он не мог собрать его больше в своем — воображении ничего трогательного не осталось в его памяти, он как бы все решительно забыл, кроме слабости, покорности и чистоты, кроме тонкой шеи и запястий ее рук, кроме какого-то ее слова, от которого все сильнее росла в нем сейчас холодная, расчетливая, привычная страсть.

Он лег на диван, подложил мускулистые татуированные руки под голову и принялся думать, как думал всегда в таких случаях: принялся пунктуально и точно вырабатывать план действий, стараясь предугадать все, вплоть до мельчайших деталей, ни в чем не ошибиться и ко всему быть готовым.

Но чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что здесь все гораздо сложнее, чем во всех иных случаях его жизни, что здесь все как-то совсем иначе и, пожалуй, совсем не похоже на все остальное, что здесь не обойтись ни точным планом, ни методом, хотя бы он и был выверен, ни подарками, ни вином, ни автомобилем, что, конечно, можно напоить и достичь многого, но далеко не всего, а может быть даже, ничего не достигнув, потерять одним неосторожным словом решительно все.

Ему хотелось, чтобы она его полюбила. Опытным взглядом он видел в ней, в девочке, все то, во что она могла развернуться. В ее глазах, где-то на самом дне их, уже зарождалась горячая нежность, еще восторженная, быть может смешная, но настоящая и искренняя. В ее губах уже появился тот особый изгиб — нервный, вероятно даже некрасивый, но такой, от какого в недалеком будущем начнут терять головы... Движения ее как будто бы слабых рук уже таили ту особую нежную силу, которую вызвать наружу могла только любовь. И все это с каждым днем развивалось, все это усиливалось, все это зрело, все это нисколько не скрывалось — оно было снаружи, как будто бы для всех, но на самом деле только для того, кого она полюбит...

За один день, да еще такой печальный, даже несмотря на болезнь Антонины, слезы, обморок, Скворцов все же успел заметить в ней спокойную и строгую сосредоточенность, какую-то точно бы сопротивляемость, мягкое, но неколебимое упорство...

«Жениться?» — уже нерешительно и вяло спросил он себя, но не ответил, а принялся раздеваться.

Наступало утро.

Положив руки под голову и морща лоб, он смотрел в окно и не видел ни узоров мороза на стекле, ни полуопущенной шторы, ни красного, холодного рассвета.

Он представлял себе Антонину женой, будто она рядом с ним, будто губы ее запеклись во сне, будто возле щеки ее плечо — слабое, беспомощное, покорное всегда...

Она будет хорошей женой, — он знал это. Он научит ее не вмешиваться в его дела, подчиняться ему, с толком вести дом....

Но будет ли она любить его?

Не веря сам в любовь, не зная ее и глумясь над нею, он все же был уверен в том, что для некоторых «психоватых» — так он называл их — отсутствие любви, так же как и существование ее, решает буквально все вопросы.

Внезапная злоба овладела им. Он повернулся на бок, натянул на голову одеяло и закрыл глаза, но тотчас же задохнулся, вскочил и сел в постели.

Ничего не изменилось в его жизни. По-прежнему он пил, по-прежнему Барабуха приводил к нему клиентов, по-прежнему он постукивал иногда в радужные стекла дворницкой...

Татьяна выходила к нему бледная, торопливая до суетливости, с широко открытыми жадными глазами. Он был с нею груб, разговаривал нарочито непонятными словами и называл ее «этуалью». Она покорно и молча сносила все, никогда не плакала, сидела на диване сжавшись и подробно рассказывала об Антонине все, что знала...

Скворцов зевал, потягивался...

15. А может быть, есть и другая жизнь?

Читать надоело.

Работы не было.

Иногда Антонина подолгу лежала в постели и смотрела на кафельную стену, либо в окно, либо в потолок. Думать не хотелось. Вставать тоже. Идти? Куда? Искать работу? Вот уже полгода она ищет работу.

Денег было так мало, что питалась она только пшенной кашей с подсолнечным маслом... По утрам пила кипяток с заварным хлебом.

Хотелось сладкого. Хотелось пойти в кинематограф. Хотелось нанять лодку и покататься часик — выехать на взморье, снять платье и задремать... Чтобы легонько стукались весла, чтобы лодка, подпрыгивала по волнам, чтобы дул ветерок. Хотелось моченых яблок, сушек с маком. Хотелось купить пробный флакончик духов. Хотелось отдать в починку туфли: на левой туфле отломался каблук. Каждый день она приколачивала его гвоздем, но гвозди не держались больше в каблуке; каблук весь искрошился внутри, а гвоздь колол пятку.

Очень хотелось соленого: от пшенной каши во рту всегда было пресно.

Очень хотелось, чтобы кто-нибудь приходил и спрашивал: «Ну, как?»

Но никто не приходил и не спрашивал, как ей живется. Она могла не вернуться домой — никто бы не побеспокоился. Она могла не есть два дня подряд. Она могла привести в свою комнату одного из тех, кто бродит по ночам и заглядывает в лицо женщинам пьяными и жадными глазами. Она могла купить водки и выпиться — какое кому дело? Во дворе так же бы ныла мандолина, толстяк в подтяжках жрал бы консервы, наверху танцевали бы фокстрот...

Аркадий Осипович где-то далеко-далеко, да, может, его и не было никогда вовсе. Товарищ Гофман, наверное, все говорит по своему желтому большому телефону. В школе о ней забыли. Весной Рая Зверева уехала к тетке в Тверь. Антонина получила оттуда коротенькое письмо, приветливое, но совсем чужое: «Буду кончать здесь школу, — писала Рая, — теперь у меня есть отдельная комнатка, под окном растет смородина и крыжовник, с теткой я подружилась, она старенькая, но бодрая и веселая. Увидимся, наверное, не скоро».

В письме была фотография — Тверь с птичьего полета.

Каждый день Пюльканем справлялся о ее здоровье. Он вставил себе золотые зубы, купил коверкотовое пальто и портфель с двумя замками. Теперь она не отводила глаза, когда он смотрел на нее, — наоборот, ей доставляло удовольствие делать так, чтобы он, пугаясь блеска ее зрачков, молчал вздор и убегал, ссылаясь на дела.

Часто заходил Скворцов.

Еще из дверей он оглядывал комнату с таким видом, точно подозревал Антонину в чем-то дурном. Потом присаживался, закуривал, справлялся, как дела. Она отвечала со скукой в голосе, всегда одно и то же. Иногда он приносил пирожных, или яблок, или шелковую заграничную блузу. Чувствуя, что это неспроста, она краснела и отказывалась. Он предлагал ей денег, дров для плиты, новые туфли, она упорно, со слезами в голосе отказывалась решительно от всего, не ела пирожных и старалась не встречаться со Скворцовым глазами.

Он злился.

Пирожные, в плетеной из стружек коробке, оставались на столе. У Антонины сохли губы и во

рту становилось горько, она тихонько плакала, но до пирожных не дотрагивалась...

Какие-то пари — красномордые, в картузах с большими лаковыми козырьками, в сандалиях, в брюках трубочками — стояли у ворот. Она проходила мимо них, высоко подняв голову и гневно сверкая черными глазами, — гордая, одинокая, злая. У нее дрожали губы, жалко и часто колотилось сердце, румянец приливал к щекам. «Вдруг упаду, — думала она, — вдруг растянусь вот тут на камнях». Она боялась обернуться и поглядеть на них.

Забегала Татьяна.

Быстро оглядывала кухню, говорила о чем-то неинтересном, приглаживала волосы мягкими руками. Блестели серьги. Ее всегда припухшие губы улыбались непонятно чему.

— Музыкант давно был?

— Давно.

— Почему табаком воняет?

— Не знаю...

— Ой, знаешь... Антонина молчала.

— Значит, не был?

— Нет.

После нее в кухне как-то особенно приятно пахло.

Но зачем она приходила?

Ради Антонины?

Нет.

Ей не было ровно никакого дела до Антонины.

Подолгу дворничиха сидела во дворе, судачила с бабами, возилась с чужими ребятишками или работала — подметала, поливала двор водою.

Глаза ее неотступно следили за воротами. Она ждала Скворцова, следила за ним, подстерегала его. Когда Антонина выходила за ворота, она шла за ней. Ведь Скворцов мог подждать Антонину на улице. А когда Антонина поздно возвращалась домой, дворничиха встречала ее и, заглядывая ей в глаза, хитрила, чтобы узнать, где она была, с кем, не видела ли...

— Не видела, — говорила Антонина.

Во всем этом — и в посещениях Скворцова, и в поведении как будто бы притихшего Пюльканема, и в жадных глазах модных молодых людей на улице — решительно во всем, даже в разговорах Татьяны, ей чудилась какая-то последовательность, система, точно кто-то один, главный, жестокий и недостижимый, руководил всеми этими подарками, заботливостью, заглядываниями в глаза, лестными и выгодными предложениями.

И ей становилось страшно, страшно от всего: от одиночества, от бессмысленности своего бытия, от того, что некуда было себя деть, не о ком позаботиться, не о ком побеспокоиться, некуда и не для чего спешить.

У загородки слониhi не было ни одного человека, и сторож, рыжебородый мужик в зимней шапке, очень оживился, увидев Антонину и Скворцова. Слониha дремала с открытыми глазами и казалась неживой. Скворцов купил булку, слониha потянула сквозь прутья решетки хобот, но Антонина вдруг испугалась и, не отдав булку, отпрянула назад, к Скворцову. Он сжал ее плечи ладонями — с нежностью и силой, но она тотчас же выскользнула от него, плечом поправила платье и, растерянно улыбаясь, опять подошла к загородке.

— Уж и забоялись, — покашливая, говорил сторож, — его бояться не след, он кроткий, тихий, сколько годов живет — ни одной твари не обидел.

Слониha, будто подтверждая слова сторожа, закивала огромной головой и, вздыхая, принялась поворачиваться в загородке.

— А что она ест? — спросила Антонина.

Сторож вылез из загородки, сдвинул шапку на затылок и начал подробно перечислять.

— Это в день? — подозрительно спросила Антонина.

— А как же, — ответил сторож, — он громадное брюхо имеет. Да и то сказать — соразмерно.

Потом они пошли в небольшой, выстроенный в старом русском стиле домик с петухами и наличниками в виде полотенец, и долго стояли у сетки, за которой на осклизлом каменном полу дремали кайманы. Было невыносимо душно, скверно пахло, тускло светилась электрическая лампочка. У двери сидела толстуха в железных очках и вязала чулок. Несколько мальчишек тараторили возле клетки с водяными черепаками.

— Гадко здесь, — тихо сказала Антонина.

— Тропики, — пояснил Скворцов.

Один из кайманов поднял морду кверху и мяукнул котенком. Антонина вздрогнула.

— Что это он?

— Не знаю.

Кайман, волоча длинный хвост по скату, сполз к воде и бесшумно исчез. Подошел человек в сером балахоне с ведром в руке, влез наверх по стремянке, громыхнув, открыл дверцу и высыпал кайманам целое ведро живой, серебристой, подпрыгивающей рыбы. За сеткой защелкали челюсти, раздалось рычание, вой и мяуканье: кайманы ринулись к пище.

— Господи! — шепотом сказала Антонина и отступила назад, к Скворцову.

Он опять мягко обнял ее одной рукой за плечи и повлек к выходу. Она не сбросила его руку, как давеча, а, наоборот, мгновенно прижалась к нему и заглянула ему в глаза с тем милым выражением испуга, смешливости и просьбы о снисхождении, которое у нее бывало после того, как она плакала... Ему очень хотелось поцеловать ее в губы, но он сдержался и заговорил о чем-то безразличном и себе и ей...

Когда они, миновав маленькие сени, вышли снова в сад, и у Антонины и у Скворцова было такое чувство, будто между ними что-то произошло, но что именно, ни он, ни она не могли сказать.

Она выглядела немного испуганно и с робостью посматривала на него снизу вверх. Он казался ей очень величественным, красивым и вовсе не таким, как она думала о нем раньше. Скворцов же с радостью и гордостью чувствовал, что та добрая нежность, которую он питал к

вызывающее и ласковое в одно время.

— Чего вы? — опять спросила Антонина.

— Ничего. То есть не ничего.

— А что?

— Вы мне очень нравитесь.

Она опустила голову.

Несколько секунд Скворцов молчал, потом взял ее руку, лепившую шарики из хлеба, вынул из ее пальцев кусочек хлеба и торжественно, напряженно, не очень удобно поцеловал ладонь.

— Ну вот, — сказала Антонина. Ей стало стыдно, показалось, что на нее смотрят и смеются. Она оглянулась. Угол террасы был пуст.

— Ну вот, — повторил Скворцов, но с особым, непонятным смыслом.

— Что «ну вот»?

— Так себе? — улыбнулся он и осторожно налил водку в стопку.

— Может быть, довольно, — коснувшись пальцем графина, полувопросительно предложила она.

Глядя ей в глаза, он поставил графин на стол и с торжественным выражением уже пьяного лица выплеснул водку из стопки за перила террасы.

— Закон.

— Что?

— Я говорю — закон, — повторил Скворцов, — если ты сказала, — значит, закон.

— Какой закон? — опять не поняла Антонина.

— Ваше слово — закон. Твое!

Он разрезал сосиску так, что из нее брызнул сок, и принялся жевать, морща верхнюю губу.

В саду Народного дома духовой оркестр заиграл вальс. Скворцов поднял голову, послушал, презрительно мотнул головой в сторону оркестра и, окончательно перейдя на «ты», принялся рассказывать о себе.

Из его рассказа она узнала, что он начал свою службу еще мальчиком, в семнадцатом году, — его взяли юнгой на «Цесаревича». В годы революции он не служил, а учился у «папашки Михельсона» — механика.

— Трудно было, — говорил Скворцов и злобно щурился, — черт-те как трудно. Да что!

Она слушала его и представляла, что это действительно очень трудно, раз он, моряк, человек с такими бесстрашными глазами (ей казалось, что у него бесстрашные, а не наглые глаза), жалуется. Пока он говорил, ей вспоминались рассказы Станюковича, которые она недавно читала, и еще что-то, какое-то красивое, ныне уже не существующее слово; наконец она вспомнила это слово — конквистадоры.

— А умрешь, — говорил Скворцов, — и умрешь, понимаешь ты, и страшное дело...

Она вздрогнула:

— Какое страшное дело?

— Такое: зашьют тебя в брезент, положат на доску и спустят к черту в воду — на корм рыбам, и нет у тебя могилы — ничего. К ногам ядро — и точка.

— Ну хорошо, — сказала Антонина, — а неужели не могут положить в гроб и потом в трюм — ну довести до земли?

— Не могут.

— Почему?

— Правило.

— Но ведь жестокое правило, — возразила Антонина, — с таким правилом надо бороться.

— Попробуй поборись.

— Я бы непременно боролась, — сказала Антонина, — ведь это значит — умрешь, и родные не могут даже прийти на могилку к покойному.

— Не могут.

— Ужасно!

Он презрительно усмехнулся и, вытянув на столе маленькие белые руки, хрустнул пальцами, потом еще выпил водки и задумался.

Они поднялись, когда уже стемнело и когда сторож зазвонил в колокольчик, звоном оповещающая посетителей, что сад закрывается. За сплошной стеною деревьев, точно давясь, хрипло рычал лев. Исступленно и бессмысленно визжали обезьяны. Над головами, шумно хлопая крыльями, летали какие-то неизвестные птицы. Было немного страшно, немного таинственно и очень в тон всему тому, о чем они разговаривали весь вечер на террасе ресторана. Кроме того, было красиво: рядом, в саду Народного дома, играли оркестры, щелкали ракеты и чей-то гортанный голос, вероятно с эстрады, кричал под пистолетные выстрелы непонятные, короткие слова.

Антонина и Скворцов шли медленно. В воротах она споткнулась, он взял ее под руку и близко заглянул в ее глаза.

— Что? — тихо спросила она и удивилась своему голосу — он стал напряженным, будто ожидающим.

— Ничего, — отдельно ответил Скворцов и вдруг, неприятно оскалившись, поцеловал ее в подбородок и выше, в раскрытый рот — во влажные ровные зубы.

Сзади добродушно засмеялись.

— Ничего, — опять отдельно сказал Скворцов и крепко стиснул руку Антонины.

Потом он вел ее скрипучими дорожками сумеречного сада — меж скамеек, на которых переговаривались и тихо смеялись пары, и, неловко нагибаясь, страстно целовал ее тонкую шею, плечо, щеку, лоб...

Она шла молча, покорно, с закрытыми глазами, тяжело, как в воде. В ушах у нее шумело. Она слышала дыхание Скворцова, шепот на скамьях, шелест листьев, далекий грохот трамваев и ни о чем решительно не думала. А он шел все быстрее и быстрее, точно нагоняя упущенное время. «Куда он торопится?» — наконец подумала она и остановилась.

— Что ты?

— Я устала, — тихо, с жалкой улыбкой произнесла она.

— Мы сейчас сядем на трамвай.

— Ну хорошо, — вяло согласилась она и оперлась на его руку, но он так стиснул ее локоть, что она отшатнулась в сторону и посмотрела на Скворцова так, точно видела его в первый раз.

— Ну, чего? — уже нетерпеливо, с обидным раздражением в голосе спросил он.

Она не ответила: ее поразило жадное и злое выражение его пьяного, белого в сумерках, лица.

— Ну?

— Устала, — для того чтобы что-нибудь сказать, произнесла она и легкой своей походкой, неторопливо, без Скворцова, пошла вперед. Он догнал ее и опять взял под руку, но так грубо, нехорошо и нарочно неловко, что она чуть не ударила его...

— Чего ты бесишься? — спросил он.

Она молча шла вперед.

— Кошка, — усмехнувшись, сказал Скворцов и, сунув руки в карманы, равнодушной развальцей зашагал рядом.

Так молча они прошли Троицкий мост и сели на трамвай только на Марсовом поле. Неподалеку от дома Скворцов зашел в гастрономический магазин. Антонина ждала его на улице. Он купил две бутылки вина, мандаринов и шоколаду и попросил разрешения посидеть у нее дома еще хоть полчасика. Она согласилась почти с радостью — так была ей страшна мысль опять остаться одной.

— А если я, как говорится, нахамил, — негромко сказал Скворцов, — то ты, пожалуйста... Сама понимаешь: народ мы грубый.

Она не ответила, но ей было приятно, что он, сильный и храбрый человек, жалобно извиняется перед ней.

Дома он, сославшись на белую ночь, не позволил зажечь электричество, налил себе и Антонине по полстакана сладкого и крепкого вина и выпил за их хорошие отношения. Она тоже выпила, села на подоконник и попросила рассказать что-нибудь о морской жизни.

— Да что рассказывать-то?

— Что-нибудь.

— Сейчас вспомню.

Пока он вспоминал, она слушала мандолину во дворе и чье-то пение из окна напротив. Небо было розовато-серым, двор казался наполненным туманом. «Как в море», — подумала Антонина и вздрогнула, так страшно ей показалось море.

— Ну вот, — сказал Скворцов и начал рассказывать...

«Туман, — думала она, — туман, туман...»

Ей представилось, как Скворцов стоит на корабле в тумане, как звонит похоронным звоном какой-то колокол, как воют гудки и как качаются высокие, тонкие мачты.

«Милый, хороший, бедный, — с тоской и лаской думала она, — бедный, храбрый...»

Он сидел на стуле у ее ног и рассказывал, она слушала его, но не понимала, глядела на его голову и испытывала то сладкое, ни на что не похожее особенное какое-то чувство, которое бывало в детстве, когда она укачивала и плакала над больной, по ее мнению, или несчастной куклой, когда она укрывала ее, целовала ее волосы из пакли, грела своим дыханием...

«Туман, — все повторяла она, — туман, туман». Ей хотелось плакать, гладить его волосы или просто дотронуться до его лба или до плеча.

— «В гавани, в далекой гавани», — тихонько запел он. Потом ей представилось, что это не Скворцов, а Аркадий Осипович, что Аркадий Осипович стал моряком, что звонит печальный колокол, но на корабле не Скворцов, а она и Аркадий Осипович, что он целует ей шею, что льет дождь и что она все шепчет: «Туман, туман...»

— Да не нужно же, право, как это надоело все! — с тоской попросила она и попыталась оттолкнуть Скворцова, но не смогла, он жадно и длинно целовал ее ухо, шею, висок, подбородок...

А в передней непрестанно жужжал электрический звонок.

«Звонят, — подумала она, — кто бы это?»

И тотчас же вереницей пронеслись перед нею все те, кого она хотела видеть и ждала всегда: Аркадий Осипович, Зеликман, Рая, Дорн, девочки из той, школьной жизни. Вдруг это кто-нибудь из них? Вдруг кончилось одиночество, вдруг пришли все вместе, вдруг все начнется с самого начала...

— Ах, да пустите же в конце концов! — крикнула она. — Пустите сейчас же!

И вырвалась.

В передней он еще раз обнял ее и негромко сказал:

— Знаешь чего, Тося? Иди за меня замуж.

— Замуж?

— Да! Я — серьезно! — заторопился он. — Я тебе хорошие условия создам, ты за мной жизнь увидишь, какой не видала, ты...

— За тебя замуж? — с невеселой усмешкой спросила она.

— А что? — обиделся Скворцов. — Плох тебе? Чем не вышел?

— Ты вышел, — тихонько усмехнулась она.

— Так чего ж ты?

Она осторожно взяла его пальцами за подбородок, повернула его голову в сторону кухни и велела идти.

— От, — удивился Скворцов, — командир!

Тут, в передней, было совсем темно. Только мелкие голубые искры вылетали из электрического звонка.

— Я уж и звонила, и стучала...

Она была в белом, тяжело дышала и, придерживая на груди рукой шелковый платок, быстро говорила:

— Слышу, приехал. Да и быть не может, чтобы приехал, а ко мне не заглянул... Вот стерва! Где? По вашей, говорят, лестнице подымался. Ну, я сюда! Пустишь?

Не дожидаясь ответа, она прошла в переднюю, нащарила выключатель и зажгла электричество.

— Сидит, что ли?

— Сидит...

Она нарочно не пошла вслед за Татьяной. Ей было стыдно, горело лицо, и в ушах до сих пор стоял шум.

«И растрепалась, наверное, — думала она, — и платье, может быть, порвано...»

В кухне уже горело электричество.

Скворцов сидел на подоконнике и курил, исподлобья поглядывая на Татьяну. Дворничиха молчала и улыбалась.

— Вот чудак, — сказала она, когда вошла Антонина, — прямо чудак, Ленечка-то наш. Ты погляди — ведь сердится?

Скворцов молча на нее покосился и ничего не сказал.

— Чье вино? — спросила Татьяна.

— Мое.

— Я выпью.

— Пей.

Она налила себе полстакана, вздохнула и выпила, не садясь.

Выпил и Скворцов. Дворничиха поддразнивала его то какой-то барышней с Васильевского, то каким-то извозчиком, от которого он убежал, не расплатившись... С каждой минутой она хмелела все сильнее. Склонив набок голову и хитро прищурившись, Татьяна тихим голосом спрашивала его, помнит ли он, как еще тогда, зимой, вот здесь же, на кухне...

— Что здесь?

— Вот про нее. Забыл?

Дворничиха сбросила платок, потянулась, сладко и медленно зевнула и вспомнила чулки.

— Я ведь их тогда ей подарила, — сказала она лениво, — Помнишь, Тоня?

— Помню. Они до сих пор целы.

— Да ну? Неужели целы?

— Правда. Ни разу не штопала.

Скворцов молча жевал хлеб.

— Слышишь, музыкант?

— Слышу.

— Чего ж не дерешься?

Скворцов поднялся и, размахнувшись, ударил Татьяну кулаком в лицо.

Она не заплакала, не крикнула, даже не встала из-за стола.

— Что, — спросил Скворцов, — довольна?

Татьяна помолчала. Глаза ее посветлели. Маленькой рукой она прижала щеку с такой силой, что пальцы побелели. Скворцов тяжело дышал.

— Дрянь, — сказал он наконец, — сука!

Потом он налил себе стакан рыжего вина и выпил залпом. Губы его вздрагивали, волосы блестели, татуированные руки сжимались в кулаки.

— Ну, — вдруг тихо, с улыбкой сказала Татьяна, — может, о загранице ей расскажешь, а? Как мне рассказывал. Про ихние рубашечки розовые, про ихние простынки, про то, как целуют тамошние бабы... Расскажи, Леня...

— Ударю, — хрипло пригрозил он.

— Ударь, да расскажи... Может, про меня... Как ты...

— Замолчишь?

— Чего мне молчать...

— Танька...

Антонина встала и сзади подошла к нему. Он замахнулся. Прикусив губу, она почти повисла на его руке. Он попытался ее стряхнуть, рукав его рубашки лопнул, но Антонина вцепилась в его плечо.

— Пусти!

— Не пущу...

Он тяжело дышал. Левая его рука была свободна — он мог ударить левой, но Антонине не было страшно.

— Зубы выбью!

— Ну ударь...

На столе у края лежала вилка. Она схватила вилку.

Когда он ушел, она заплакала. Ее всю трясло. Татьяна сидела над нею, гладила ее волосы мягкой и теплой ладонью и что-то шептала.

Всю ночь они шептались, лежа на одной постели и крепко обнявшись. Обе плакали, и обе утешали друг друга.

Было душно.

По-прежнему во дворе кто-то пощипывал струны мандолины. Этажом выше танцевали фокстрот — потолок размеренно и степенно охал. От сумеречного света белой ночи кафельные стены кухни порой мерцали то там, то здесь, — это было непонятно и страшновато. На столе стояли еще целая неоткупоренная бутылка вина, шоколад, мандарины...

Татьяна встала и, шлепая по полу босыми ногами, принесла в чашке вина и еды на тарелке.

— Ты что? — шепотом спросила Антонина.

— А ничего. Давай выпьем?

— Выпьем.

Татьяна отпила полчашки и протянула остальное Антонине.

— Мало, — так же шепотом сказала Антонина, — ты неровную половину выпила. Ну-ка, отпей-ка еще!

Дворничиха выпила и опять легла.

— Жарко, да?

— Жарко.

— А вы где сегодня были? — равнодушно спросила дворничиха. — С утра ушли, что ли?

— С утра.

— Гуляли?

— В зверинце были.

— А-а. Знаю. Ну, как там — ничего?

— Ничего.

— И слона видели?

— Видели.

— Мне так очень обезьяны нравятся. Смешные. Верно, смешные?

— По-моему, нет.

Потом они выпили еще и прижались друг к другу.

— Какая, ты все-таки полная, — говорила Антонина, — и крепкая. Плечи... Дай-ка я голову тебе на плечо положу... Широкие какие плечи. А у меня худые. Потрогай, верно, худые?

Колются. Да?

— Нет...

— Ну что ты — «нет». У меня только шея красивая. Правда? Вот погляди-ка. Красивая?

Она села в постели и высоко подняла голову.

— Тоненькая, а красивая.

— Красивая, — согласилась Татьяна.

— Какая-то она такая... Нравится мне.

— И мне нравится. Ты ложись, ложись...

— Давай еще выпьем?

— Выпьем.

— А шоколад вкусный, верно?

— Верно.

— Я уже совсем пьяная. А ты пьяная, Таня?

— Пьяная...

Татьяна лежала на спине и смотрела в потолок блестящими глазами. Антонина сидела с ногами на краю постели.

— Сколько сейчас времени?

— Не знаю.

— Я девушкой была такой, как ты. Слышь, Тоня? А вот замуж вышла и раздалась. Откуда что... И плечи, и все такое, — она тихо засмеялась, — и белой стала.

— А детей у тебя не было?

— Не было.

— И не хочешь?

— Не знаю... Ничего не знаю. Ложись, что ты сидишь?..

— Сейчас. Жарко. А знаешь, я, как замуж выйду, так сейчас и рожу. Право...

— Ну вот, — смеялась Татьяна, — чудачка какая...

— Да чем же чудачка?

— Так, смешно... Дай-ка мне мандаринку да ложись... Спать надо...

— Только давай одеялом не укрываться. Жарко очень. Не умею я вдвоем спать...

— Не умеешь? Тут уметь нечего... Жарко, — говорила дворничиха, — это разве жарко? Это тепло...

Раскинув руки и лениво усмехаясь черным в сумерках ртом, дворничиха медленно и негромко говорила о чем-то, не совсем понятном Антонине.

— Не надо, — просила Антонина, — зачем ты это...

— Как зачем? — улыбалась дворничиха.

— Так. Не надо...

— Не я, так Леня... Он знает... Налей-ка мне винца. Осталось там?

— Осталось...

Они опять пили и опять разговаривали.

— У тебя голова-то не кружится? — спрашивала дворничиха.

— Кружится. А у тебя?

— Я что! Я привыкла... Ну, ложись, ложись... Чего дрожишь. Волосы у тебя хорошо пахнут. Сами — или мажешь чем?

— Сами.

— Горячая ты какая... Ох, горячая. Ленька раздражил?

Антонина молчала.

Дворничиха приподнялась на локте и близко заглянула ей в глаза.

— Что молчишь? Я, как вошла, так сразу и подумала. Темно. Музыкант мой из угла в угол бегаёт. И ты тоже — отворачиваешься. Зачем отворачивалась? Потом свет зажгла — гляжу, господи милостивый, уши у тебя так и горят, ушки твои на макушке — красные-прекрасные. И сама ты прекрасная... — Она усмехнулась и легко, одним пальцем дотронулась до маленького уха Антонины.

— Где сидели?

— На подоконнике.

— Это он обожает. Это ему завсегда первое место — подоконник.

И непонятно добавила:

— Ему везде постелька, дьяволу рыжему.

Вскочила с кровати, подошла к окну и оттуда глуховатым голосом спросила:

— Он небось стоял, да?

— Не помню, — солгала Антонина.

— А ты тут небось была, да? В уголочке. И он вот этак...

— Не знаю.

— Не знаешь? Ври — не знаешь? Как же это можно не знать...

Вернувшись, дворничиха села на кровать, как сидела давеча Антонина, и, натянув сорочку на

16. Учиться стану!

Через несколько дней Скворцов уходил в дальнее плавание. Вечером, накануне отъезда, он позвонил к Антонине. Она сама ему отворила. На лестнице было темно — она не сразу узнала его, а узнав, густо покраснела. Он спросил, можно ли войти. Она кивнула головой и захлопнула за ним дверь.

В кухне хорошо и печально пахло увядшими цветами. На столе лежала раскрытая книга. Скворцов посмотрел название, повесил на гвоздь фуражку и, приглаживая ладонью рыжие, гладкие волосы, сел у окна.

Антонина стояла возле плиты.

— Все без работы? — спросил он, чтобы начать разговор. — Или уже устроилась?

— Нет, я без работы.

— Так.

Он помолчал, покурил. Молчала и Антонина.

— А я в плавание уйду, — наконец сказал Скворцов.

— Куда?

— В Гулль.

— Это где же? — морща лоб, спросила Антонина.

— Великобритания. В Мальм зайдём по пути, в Эдинбург, а потом уже в Гулль.

— Значит, целое путешествие?

— Ну, какое это путешествие, — махнул рукой Скворцов, — это пустяк, игра... Может, вам что-нибудь привезти нужно?

— Нет, спасибо, — почему-то озабоченно сказала Антонина, — мне ничего не нужно...

— Вы не стесняйтесь, скажите...

— Нет, спасибо, ничего.

— А может, вам денег надо?

— Нет, нет, не надо.

— Обижаетесь?

Она опустила голову и отвернулась, Скворцов швырнул окурок в окно, подошел к Антонине и властно повернул ее к себе. Она стояла, все так же опустив голову, он видел ее тонкий ротор и тяжелый узел волос на шее.

— Ну?

Она молчала. Тогда он взял ее за подбородок и почти грубо поднял ее голову.

— Погляди на меня.

Она посмотрела и опять отвернулась.

— Слушай, — властно и негромко, все еще держа ее за плечи, сказал Скворцов. — слушай, Тоня, не обижайся на меня. Мало ли чего. Понятно? Я тебе объяснил про нашего брата моряка. Такая уж у нас жизнь. Бывает и еще хуже. А насчет того, что я тогда подрался, действительно нехорошо получилось. Характер вспыльчивый — ничего, брат, не поделаешь. Извини. Я ведь не со зла. Натура у меня такая, потом стыдно, да толку мало от стыда, верно?

— Врете вы все! — грубо сказала она.

— Я — вру? Да я...

— Не орите, — попросила она.

Он растерялся: девчонка, а как разговаривает. Хоть бы заревела, что ли, и то лучше. Но она не плакала. Она смотрела на него со странным выражением высокомерного презрения. «Словно в кино изображает!» — раздраженно подумал он.

— Ты брось! Ты меня, Тося, не доводи. Я человек тоже достаточно принципиальный...

— Дело ваше.

— Значит, не пойдешь за меня замуж?

— Нет, не пойду.

Ему захотелось ее ударить, но он сдержался, подумав: «Еще успею, хватит времени!» И сказал фразу, не раз уже говоренную женщинам:

— Я по тебе с ума схожу, я голову по тебе потерял...

Она молчала.

— Слушай, Котя!

— Меня Антониной зовут, — ровным голосом произнесла она.

— Так не пойдешь?

— Сказала — нет.

— Почему же это?

— А потому, что не хочу.

Он прошелся по кухне, сиял с гвоздя фуражку, подул на модный лаковый козырек и, остановившись против Антонины, усмехнулся:

— Баба из дворницкой наговорила?

— Сама не пойду.

— Чем же я плох?

— А тем, что не хорош.

неподалеку сахарный завод. И выучиваться начну.

— Как выучиваться? — не поняла Антонина.

— Ну, одним словом, учиться. Там курсы есть. Я, дура, замуж пошла, а другие учились. Из нашего села много девок на сахарном учились и, говорят, в люди вышли. Приезжал один парень — Горохов ему фамилия — рассказывал: Трощенко Екатерина до техника дошла, вот как. Трощенко Елизавета приемщиком работает. Тимохина Верка кончает на машиниста. И я на машиниста буду. Ей-богу! Что, не веришь?

— Верю.

— А мне сдается, не веришь, — напряженно глядя в глаза Антонине, говорила Татьяна, — думаешь, всю жизнь по музыканту сохнуть буду. А вот и не буду! Поняла? Ни за что не буду. Хватит. Надоело мне. Так ты ему и скажи — мол, велела поклон передать. Скажешь?

— Скажу.

— То-то. И велела, скажи, передать, что таких чертей, куда ни плюнь, полным-полно. Нужны они ей, черти, как болячки. Запомнишь?

— Запомню.

— Ну вот. И сама за него замуж не ходи, слышишь, Тоня? Послушай меня. Пусть пропадает. Может, думаешь, я из ревности так говорю? Не из ревности, Тоня. Если хочешь, выходи — мне что. Я тебе даже рассказать могу все заранее. Слышь? Каков он есть, музыкант. Рассказать?

— Не надо.

— То-то «не надо». Он веселый. Ты уж небось сама заметила. А? Выходи! Деток нарожаешь. Помнишь, ты мне тогда ночью говорила: «Как замуж выйду, так и рожу». Вот выходи, да и рожай, И меня помни. Ладно?

На вокзале они еще долго сидели в зале ожидания, пили лимонад и грызли яблоки. Татьяна много говорила, подталкивала Антонину локтем и подолгу неестественно смеялась. Видно было, что уезжать ей очень тяжело, что она с удовольствием бы поплакала, да стыдно, и, главное, все время вела такой разговор, что плакать сейчас просто невозможно.

Последние минуты перед отходом поезда они стояли на перроне молча.

Говорить было уже не о чем, и, как всегда бывает в таких случаях, обе поглядывали на вокзальные часы — скорей бы третий звонок.

— Ну вот, — сказала Антонина.

— Что ж, иди, пожалуй...

— Да, пожалуй, пойду, — согласилась Антонина.

Уходя, она оглянулась: Татьяна смотрела на нее в упор и обеими руками затягивала узел платка на шее.

17. Последний извозчик Берлина

В субботу вечером Антонина пошла к Чапурной. Ее встретили ласково, и Валя тотчас же сообщила, что они все едут на дачу и что вместе с ними должна ехать и Антонина.

— Как ты повзрослела, Старосельская, — тараторила Валя, — просто тебя и не узнать. Совсем взрослая. Кем-нибудь увлекаешься?

— Нет.

— Ну, а у меня роман просто жуткий. Я тебя с Володькой сейчас познакомлю. Вот увидишь, сама влюбишься. Пойдем...

В мрачной столовой, за большим дубовым, без скатерти, столом мать Вали, Вера Федоровна, ела простоквашу из зеленой стеклянной баночки.

— Познакомься, мама, — сказала Чапурная, — это Тоня Старосельская — помнишь, я тебе говорила.

— Очень рада. Вы едете с нами?

— Спасибо.

— Ну, идите, знакомьтесь с молодежью. Скажи, чтобы вам чаю дали, Валечка...

Во всей квартире было прохладно, тихо и чинно. Горничная, в наколке и в фартучке, метелкой из перьев обметала мебель в гостиной. За стеной кто-то говорил басом:

— Э, черт, что ж вы меня за руку хватаете... Минуточку... Позвольте, позвольте...

— Это мой папа, — объяснила Валя, встретив вопрошающий взгляд Антонины, — он стоматолог...

— Как стоматолог?

— Зубной врач, но не просто зубной врач, не дантист, а ученый. Магистр. У него свои книги есть...

За стеной кто-то завизжал дурным голосом.

— Ох, не могу, — сказала Антонина, — у нас в доме тоже зубной врач живет. Вот так и орут целыми днями.

Валя улыбнулась.

— Я привыкла. Мы с Володей по крику отгадываем, что папа делает, и, представь, редко ошибаемся.

Володя был совсем еще юным, с пушком на верхней, чуть припухшей губе, с добрыми, слегка близорукими глазами, с мускулистой шеей и с широкими плечами атлета.

Одет он был во все белое и легкое. Когда Антонина и Валя вошли, он ходил по комнате крупными шагами и, отмахиваясь ладонью точно от мухи, громко что-то рассказывал, не замечая, что его не слушают...

Кроме Володи, в комнате были еще красивая, но какая-то беспорядочная девушка и юноша лет двадцати, гладко причесанный, худой, черный и быстрый в движениях.

Принесли чай.

За чаем Валя поминутно наклонялась к Антонине и шепотом говорила о Володе.

Потом все стали помогать Вале собирать вещи. Один Володя ничего не делал. Его добрые глаза рассеянно перебежали с вещи на вещь, с человека на человека — он курил и улыбался.

Собирались очень долго.

Каждая вещь, которую брали с собой, подвергалась тщательному осмотру Вали. Горничная приносила из кухни пакеты и свертки, Валя все разворачивала, нюхала, тыкала пальцем и всем оставалась недовольна.

— Ну что это такое, — говорила она, — опять телятину проклятую купили. Ольга, поди скажи маме! Ведь я же просила: ни Жуся, ни я телятину есть не будем.

Или:

— Господи, тешка пахнет! Володя, понюхай. Правда, пахнет?

— Я не чувствую, — застенчиво улыбался Володя.

— Это потому, что ты бесчувственный, — со значением говорила Валя. — Ольга, сбегай скажи маме, что тешка с душком. Быстро.

И взрослая Ольга, потряхивая смешной своей наколкой, бежала сообщить, что тешка с душком. А Валя раздраженно рылась в свертках, отыскивая какой-то желатин.

— Ну вот, — говорила она, — могу вас поздравить, мы опять без желе остались. Полюбуйтесь, две прислуги в доме, и ни одна не удосужилась купить желатину. Как тебе нравится, Тоня?

Антонина молчала. Ей было неловко, почти стыдно. Она никогда не думала, что Валя «такая» и что у них в семье все «так устроено». Раньше она не замечала всего этого, а может быть, раньше этого и не было...

Потом Валя и Жуся складывали в картонку купальные костюмы, особые дачные туфли, шляпы и платья. И платьев, и туфель, и шляп было очень много — все дорогие и все красивые. Антонина стояла возле картонки и, скрывая любопытство, разглядывала фасон, материю, отделку.

Когда дело дошло до белья, Жуся потребовала, чтобы «мальчишки вышли», но Игорь — так звали черноволосого худого юношу — запротестовал и остался. Володя успел задремать. Белья было тоже очень много, и Жуся, укладывая его, особенным образом смеялась, а Игорь вырывал некоторые вещицы у нее из рук и примерял на себя.

— Совсем обнаглел, — протяжно говорила Жуся и смеялась, обращаясь к Антонине, как бы приглашая и ее тоже посмеяться, — ужасный подлец... Отдай!

Валя была гораздо моложе Жуси, но, судя по тому, как она себя вела, ей очень хотелось походить на Жусю. Она носила такие же браслеты, так же пудрилась, и в ее одежде был тот же беспорядок, что и в одежде Жуси.

— Правда, Жуська очаровательна? — спросила Валя, когда Жуся вышла.

— Ничего, — вяло сказала Антонина, — а что она делает?

— Они оба, и Жуся и Игорь, учатся в нашей студии.

— В балетной?

— Почему обязательно в балетной? У нас вообще художественная студия. Там развивают вкус во всех областях искусств. Ну, спорят, обмениваются мнениями, у кого есть дарования, тот их профессионализирует. Это сложно, в двух словах не объяснишь.

— Интересно там?

— Кому как. Нас ведет профессор Злодницкий, это удивительный человек. На грани гениальности.

— Как он вас ведет?

На этот вопрос Валя не ответила. Только смерила Антонину взглядом — насмешливым и презрительным.

Наконец все собрались и вышли.

Володя нагрузился больше всех. Он нес тяжелый чемодан, картонку и огромный кулек с грецкими орехами. Антонине достались две кошелки с продуктами.

В трамвае вышло так, что Антонина и Володя попали в один вагон, а все остальные в другой. С передней площадки второго вагона Антонина видела, как Валя суежилась в моторном и как она через стекла делала Володе какие-то знаки... Володя не замечал, а Антонине не хотелось обращать его внимание на Валю.

Трамвай с грохотом и звоном летел вниз по пыльному, пахнущему смолой Литейному. Володя сидел на чемодане и смотрел на Антонину снизу вверх.

— Вы давно знаете Валю?

— Порядочно, — ответила Антонина, — а вы?

— Недавно...

Разговаривая, она думала о том, что хорошо бы наделать им всем неприятностей. Она не знала, за что. Может быть, за их платья. Может быть, за телятину, которой они не едят. Может быть, за то, что у Вали есть мама, а у нее нет никого. Может быть, за горничную в наколке. Может быть, за самое себя. Может быть, за то, что им всегда весело — этим людям, за то, что их много, а она одна, всегда одна...

— Вам всегда весело, правда? — спросила Антонина.

— Мне? Весело? — удивился Володя.

— Ну, не притворяйтесь! — раздраженно сказала она. — Что у вас за манера у всех притворяться!

Он с изумлением на нее смотрел своими добрыми, светлыми глазами. Потом что-то спросил, но она не ответила — думала. Ей сделалось душно от раздражения, от внезапной унылой скуки, от чувства недоброжелательства, переполнявшего все ее существо.

«Студия! — думала она. — Жуся! Профессор Злодницкий! На грани гениальности! А я одна, одна, одна...»

— Вы меня не слушаете, — сказал Володя.

— А что вы спросили?

— Вы с Валею учились вместе?

— Да, вместе.

— А теперь вы учитесь?

— Нет.

— Почему?

— Так.

— Вы, видно, чем-то недовольны, — сказал Володя и подняв чемодан. — Нам пора выходить.

На вокзале было так много народу, что Антонине сразу же стало жарко. Везде толкались, везде кричали, везде кто-то кого-то разыскивал.

— Это всегда по субботам, — сказал Володя и замахал Вале рукой. — Сюда, Валя!

За Валею подошли Жуся с Игорем. Жуся сердилась — потеряла браслет.

— Надоели мне эти поездки, — говорила она, — ездим, ездим. Почему уж просто там не жить?

Володя и Валя стали в очередь за билетами. Антонина видела, как Валя взяла Володю под руку и стала ему что-то говорить и как у него вдруг сделалось виноватое лицо.

Игорь и Жуся шептались. Он держал ее руку в своей и быстро говорил, сердито хмуря брови.

— Пусти руку, — сказала она, — ты мне больно делаешь.

Антонина отвернулась.

Она почувствовала себя лишней и ненужной, ей захотелось уехать домой и, как обычно, лечь лицом в подушку и постараться поскорее заснуть. Но тотчас же она подумала о том, что уезжать, в сущности, вовсе не обязательно, что она может просто не мешать — ходить отдельно, и все. «Пойду на взморье, — думала она, — разденусь, полежу на песке, загорю. Или в лес... Одна. Одной еще лучше, чем с ними. Одной отлично. Грибов поищу...»

Но на перроне, когда все побежали, чтобы занять места получше и когда стало особенно весело, ей вдруг пришла в голову шальная и злая мысль о том, что если она захочет, то в какие-нибудь несколько часов серьезно повредит благополучию, в котором пребывают все они — и Володя, и Жуся, и Валя, и Игорь...

«Что угодно сделаю! — задыхаясь от бега, думала она. — Все равно я лучше вас. Я такая, какая есть, а вы все ломаки и кривляки! Отобью вашего Володю, да, да, отобью...»

Она где-то вычитала это жестокое слово или услышала его от Татьяны, но оно сейчас годилось ей, хоть Антонина толком не понимала, что это такое — отбить.

«Вот вам ваши шляпы, и тешка с душком, и мамина простокваша, и шикарная ваша жизнь! — бессмысленно не то думала, не то угрожала, не то шептала Антонина. — Ах, какие вы добренькие, меня с собой на дачу повезли, пригласили, удостоили! Ах, ах, ах! Может быть, вы даже мне ваши платья дадите поносить? Или туфли? И за стол с собой посадите?»

Поезд сердито лязгнул буферами и двинулся.

Антонина долго стояла в тамбуре и думала. Одна бровь ее лукаво приподнялась, глаза заблестели, она чувствовала себя сильной, красивой, умной, страшно хитрой. Про таких

удивительных девушек она читала в приложениях к «Ниве» за тысяча девятьсот одиннадцатый год.

— Я вам всем еще задам! — тихонько сказала она. — Задам! — И повторила в такт, под стук колес: — За-дам! За-да-дам! За-да-да-дам, зада-дам, зада-дам!

Потом вошла в вагон.

На первой же станции она пожаловалась на духоту и сказала, что в тамбуре лучше.

— И мне душно, — сказал Володя.

— Пойдем в тамбур?

— В тамбуре то же, что здесь, — сказала Валя, — сидите лучше, а то ваши места займут.

— Как вы думаете, Володя, займут? — спросила Антонина.

— Я оставляю кепку на своем месте.

— А на моем?

— А на ваше мы поставим корзину.

— Так собираетесь, точно сутки там стоять будете, — сказала Валя, — разговору не оберешься. Ну, или идите, или оставайтесь!

— Идем, идем, — сказала Антонина, — тут совсем дышать нечем. Пошли!

В тамбуре Антонина не осталась, а, взяв Володю за руку, повела его во второй вагон, из второго в третий, из третьего в четвертый. Он покорно шел и улыбался. В последнем вагоне она открыла наружную дверь и села, поставив ноги на ступеньки. Володя стоял сзади.

— Что же вы не садитесь? — спросила она. — Тут много места.

Он вынул из кармана газету, расстелил и молча сел.

— Теперь Валя будет ревновать, — сказала Антонина, — правда, Володя?

— Не знаю...

Поезд с воем летел под уклон. Сквозь редкие сосны было видно, как серебрится залив. Пахло гарью и автомобилями. Рядом с рельсами тянулось шоссе, и поезд все время обгонял автомобили.

— Что это у вас в кармане? — спросила Антонина.

— Коньяк.

— Выпейте!

— Это зачем? — удивился Володя.

— Тогда, может быть, вы станете поинтереснее.

Володя косо взглянул на Антонину, но бутылку откупорил.

— Выпейте прямо из горлышка! — велела она. — Ляпните, или хватите, как это говорят мужчины. Или тяпните!

— Тяпну! — согласился он.

Отхлебнул и закашлялся. Пока он кашлял, она говорила, что больше любит ездить в автомобиле, чем в поезде.

— Вот как? — сказал Володя, мученически дыша.

— Да! Меня катал один знаменитый артист. Мы с ним были в ресторане. И нам подавал официант Оглы.

— С автомобилем... — опять кашляя, заговорил Володя. — С автомобилем можно устроить...

— У вас есть автомобиль?

— У папахена.

— А кто ваш... папахен?

— Мой отец — фабрикант! — отдельно не сказал, а произнес Володя.

— Ах, вот что...

— А что? — быстро и настороженно спросил Володя.

— Ничего.

— Я потому, — не глядя на Антонину, сказал Володя, — потому, знаете ли, что многие люди резко меняют ко мне отношение, узнав, что я сын фабриканта. Да, я сын фабриканта, я нигде не учусь, я нэпман, я болтаюсь по театрам, по кино, я даже играю во Владимирском клубе и вообще...

— Перестаньте! — сказала Антонина. — И ничего не «вообще». Вот у вас роман с Валею...

Он пожал плечами.

— Ну чего тут плечами пожимать, — усмехнулась Антонина. — Она, наверное, вас ревнует, что вы сидите тут со мной...

— Мне тут приятно...

— Может быть, я вам безумно нравлюсь? — спросила Антонина.

— Может быть...

Он забрал ее руку в свои ладони.

— А Валя там страдает...

— Оставьте вы Валею. Что мне за дело до нее. И ей до меня нет никакого дела...

Поезд нырнул в густой, высокий лес. Сразу стало темно, сыро и холодно. И чуть-чуть стыдно.

— Говорите что-нибудь! — потребовала она.

— Что?

— Не знаю. Что-нибудь.

Ей было неприятно оттого, что он держал ее руку, и тошно от всей этой своей затеи, но злая сила несла ее все дальше и дальше. Поезд, вновь выскочил в поле, опять заблестела вода в болотцах, резко запахло гарью.

— А почему же вы не учитесь? — спросила Антонина.

— Какое это имеет значение? Ни вам об этом не интересно знать, ни мне рассказывать...

— Почему не интересно? Интересно. Мне, например, еще интересно знать — целуетесь вы с Валентиной или нет?

Володя молчал.

— Вы не будете больше с ней целоваться! Слышите? И сегодня вы скажете ей, что все кончено.

— Зачем это вам? — спросил он.

— Так мне хочется.

— Неправда! — печально возразил он. — Ничего вам не хочется. Просто вы расшалились, и как-то зло расшалились...

«А он неглупый! — подумала Антонина. — Неглупый и славный парень. Он не такой, как они все!»

Станция была маленькая — один только дощатый перрон и будка вроде папиросного ларька. В будке сидел кассир в форменной фуражке.

У будки их ждали Валя, Игорь и Жуся.

Антонина с удовольствием смотрела на Володю: он шел медленно, оглядывался по сторонам и все время обращался к Игорю и Жусе, а не к Вале. Валя напевала и ни с кем не разговаривала. Жуся жаловалась, что у нее полные туфли песку и что она не может идти.

В двухэтажной даче с балконом, выходящим на залив, их ждал ужин, но они не стали ужинать, а уселись играть в карты.

— Пусть папа с мамой приедут, — сказала Валя, — неловко без них ужинать.

Она была бледна и потирала лоб. Антонина спросила, что с ней. Валя пожаловалась на головную боль и ушла наверх.

Играли вчетвером.

Володя чувствовал себя неловко, проигрывал и неестественно улыбался. Игорь свистал и один раз так подмигнул Володе в сторону ушедшей Вали, что Володя покраснел.

— Володя, пойдите и посмотрите, что с ней, — сказала Жуся, — неловко ведь вышло.

— И я, — вызвалась Антонина.

Вдвоем они поднялись по темной лестнице и долго ощупью искали дверь.

Валя лежала на диване под окном и плакала. Антонине стало стыдно, она повернулась и ушла вниз. Ни Жуси, ни Игоря в столовой не было. На столе коптила лампа. Антонина подвернула фитиль и ушла в сад. За деревьями — высоко, точно по небу, — прошел поезд, завыл, откликнулось эхо... Когда грохот стих, она пошла по аллее вперед, дошла до забора,

села на скамейку и, вздохнув, подумала, что если она сейчас уйдет, то все, пожалуй, будут только рады. Рад будет и Володя — он такой добрый и так улыбается... Вероятно, ему очень неловко.

«Дрянная я, — грустно думала она, — и дрянная, и злая. Зачем мне все это понадобилось? Для чего? И Валя мучится, и самой нехорошо...»

Хлопнула калитка. По темной аллее кто-то шел и курил папиросу. Опять хлопнула калитка, и раздраженный женский голос сказал, что просыпались груши.

«Наверно, доктор», — решила Антонина.

За ужином Володя сидел с Валею, шлепал комаров на своей сильной шее и смотрел в тарелку. Жуся, истомленная и расстроенная, лениво, но много ела. Игорь ей подкладывал и плутовато переглядывался с доктором. Валина мать ушла наверх, не дожидаясь чая. Доктор взял гитару и запел тенорком: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана». Игорь попросил хоровую.

— «Из-за острова на стрежень...» — запел доктор.

— «Выплывают...» — подхватил Игорь.

— Дым коромыслом! — закричал доктор. — Давайте водку пить, молодежь.

Он швырнул гитару, снял пиджак и принялся разливать водку. Подвыпив, он обнял Антонину и стал ей жаловаться.

— Я последний извозчик Берлина, — говорил доктор, — понимаете? Работаю на всю эту прорву, как лошадь, водку пью, как лошадь, ем, как лошадь. Отчаяние полное. Жду катастроф и потрясений. Коллеги считают меня жуликом и грозятся разоблачить. А какой я жулик? Я последний извозчик Берлина. Выпьем за потрясения, милочка, идет?

Выпили.

— Эта молодежь мне не нравится, — нюхая хлеб, заговорил доктор, — очень не нравится. Дрянная молодежь.

— Почему? — спросила Антонина.

— Утверждаю — дрянная. Вот Жуська. Ну препохабнейшая баба. Или Игорь... Дрянная, дрянная и дрянная. Эй вы, потешные, — крикнул доктор, — давайте устраивать безобразия... Валька, не гримасничать!

В конце концов он так напился, что Игорь и Володя унесли его наверх на руках.

Спать легли уже под утро.

На следующий день ловили рыбу, катались на лодке, загорали. Доктор был угрюм, за обедом пил много водки и вздыхал. Володя по-прежнему старался не встречаться глазами с Антониной. Жуся все время ела и переглядывалась с Игорем. Валя ходила торжествующая и еще более некрасивая, чем всегда.

Вечером Антонина собралась домой.

Валя попрощалась с ней сухо и даже не пригласила заходить. Володя сказал, что он мог бы ей помочь устроиться на работу.

— Помогите, — согласилась Антонина.

— Хорошо. Дайте мне номер вашего телефона.

— У меня нет телефона.

— Тогда адрес.

Она сказала. Он записал и, пряча книжку в карман, обещал все организовать в ближайшие дни.

В вагоне она думала о том, что сердиться или обижаться не стоит. Все так и должно быть. Сама виновата. Не стоило затевать: не так у них все благополучно, как ей казалось. Володя не учится и не будет учиться — он сам сказал. Игорь тоже. Всем им скучно, даже доктору. Последний извозчик Берлина. Но ведь и она не учится и вряд ли будет учиться...

Поезд летел мимо обгорелых сосен. Сверкал залив. В вагоне пели и смеялись.

«Почему последний извозчик Берлина?» — вдруг вспомнила и удивилась она.

18. Куда-нибудь уборщицей

Шла осень.

Чище, прозрачнее и холоднее стал воздух. По ночам подмораживало. Во двор возили дрова. Пюльканем выстирал и заштопал шерстяные английские носки.

Лето она прожила странно, как во сне: ходила в библиотеку — на бульварчик, брала книги и дома лежа читала. Ела хлеб, запивала его сладкой водой, жарила картошку на постном масле, варила пшеничную размазню... Читала все, — и чем меньше книга походила на ее жизнь, тем больше она ей нравилась. Мечтала о том, что живет в лесу, что ночью буря, валяются сосны, воют голодные волки, что на стене висит автоматическое ружье, что вот она сорвала его, настезь распахнула крепкую дубовую дверь, что ветер ворвался в комнату, потушил лампу — стало на секундочку тихо... Блеснули за деревьями волчьи глаза. И она стреляет — раз, третий, пятый. Закрыла дверь, легла на шкуры у огня, и вновь воет ветер, вновь стучит дождь в стекла. Иногда ей грезилось, что она скачет на лошади по лесу, что ветви царапают ее лицо, что с лошади хлопьями валится пена, что перед ней поток, лошадь прыгает и, фыркая, поднимается по высокому-высокому склону. Вот поднялись: обрыв, зеленая большая вода, солнце заходит, кричат птицы, и лошадь зло мотает головой...

Подолгу, лежа на кровати, она думала об Аркадии Осиповиче. Ей представлялось, что она с ним едет на корабле. Вдвигаются паруса — серебряные, легкие, корабль кренится, как яхта в Финском заливе, матрос смотрит в сверкающую под лучами солнца подзорную трубу. Тихо. Плещет волна. Пахнет смолой, как в лодке. Аркадий Осипович говорит что-то — едва слышно. И вдруг ей становится жарко, томно, почти больно. Она ждет с закрытыми глазами, подложив руку под голову, и слушает. Может быть, он наклонится к ней? Может быть, запахнет табаком, мехом, духами? Может быть, она еще услышит его голос — мягкий и ленивый? Кровь все сильнее стучит в ее висках, все сильнее она сжимает руки в кулаки, так что ногти впиваются в ладони. «Ах, Аркадий Осипович, — думает она укоризненно и грустно, — Аркадий Осипович». И вновь плещет волна, серебрится огромный, в полнеба, парус, звонит колокол, спускается ночь. «Огни, — шепчет она, — сколько огней!»

Вдруг ей казалось, что она ученая и что она что-то открыла. Вот пребольшой зал. Она стоит

на возвышении. Очень тихо. За ее спиной черная доска. На ней черное платье. В ее руке — мел. Она пишет на доске, и все смотрят затаив дыхание.

— Знак Зодиака, — говорит она, — есть куб апостроф плюс жидкое состояние знак Зорро. Не так ли?

Тихо-тихо.

Затем все начинают аплодировать.

Ее несут на руках.

И Аркадий Осипович идет толпе навстречу.

Опять море под солнцем, парус в полнеба, колокол печально звонит, пахнет смолой, и тихая-тихая музыка — одни только скрипки.

Потом она вставала, расковыривала ложкой корку на размазне и стоя ела.

На дворе за ней увязался хилый, продрогший и мокрый котенок. Она взяла его на руки и принесла домой. Котенок кричал, извивался в ее руках и легонько царапался, а когда она посадила его на кровать, он жалко и нелепо принялся тыкаться мордочкой в одеяло. «Есть хочет», — решила Антонина и побежала в лавку за молоком.

Лакать котенок еще не умел. Пришлось делать ему соску. Потом он вдруг стал пачкать. Антонина безмолвно убирала за ним, а когда убирать надоело, подмешала к молоку капель Боткина.

На следующий день она устроила ему ватную постель, ящик с песком и взялась за воспитание. Котенок кричал, пачкал по прежнему и все время лез на колени.

Она опять напоила его каплями Боткина.

Котенок вылечился, но в своей ватной коробке ни за что не хотел сидеть. Ему было холодно.

Следовало затопить.

Она спустилась в подвал за дровами.

В подвале лежали разбитая кровать, несколько кирпичей и огромная крысоловка. Ни одного полена не осталось с прошлого года.

Тогда она положила котенка в старое кашне и привязала кашне к спине. Теперь нельзя было опираться спиной — иначе задавишь котенка. Так, лежа на животе, с котенком за спиной, — она прочитала всего «Обломова» и весь «Обрыв». Иногда котенок копошился за ее спиной. Она быстро отвязывала кашне и тащила котенка к ящику с песком. Там она говорила ему те слова, которые говорят маленьким детям в таких случаях. Котенок смотрел на нее желтыми глазами и, вероятно, силился понять, чего от него хотят.

Иногда она пела ему подряд все песенки, которые знала. И котенок засыпал.

Иногда от скуки одевала его в смешное платье со сборками и с лентами, напяливала ему чепчик... Котенок терпеливо и покорно переносил все.

Он отъелся, шерсть на нем стала гладкой и красивой, больше не нужно было привязывать его к спине, но еще долго ему доставляло удовольствие сидеть на спине у Антонины.

В честь собаки Аркадия Осиповича она назвала котенка Дези.

В середине ноября она пошла к доктору Дорну на прием. Ждать пришлось недолго. Доктор сидел в кабинете спиной к дверям и писал в большой книге.

— Садитесь, — сказал он не оборачиваясь.

Она села и огляделась: кожаная мебель, шкафы с книгами, картины в золотых рамах. Потом она вспомнила отца, последний визит Дорна — так подробно, как будто это было вчера.

— Год рождения девяносто шестой, — сказал Дорн, продолжая писать.

Антонина посмотрела на его седую, стриженную ежиком голову и тихонько вздохнула. Он сидел так же, как тогда, только сейчас за большим письменным столом, а тогда — за ломберным, И пиджак на нем такой же. Может быть, тот же. Может быть, тот же самый.

Доктор дописал, захлопнул книгу и, тяжело опершись на подлокотники кресла, поднялся. Антонина тоже встала. Дорн не узнал ее. Она ожидала этого и потому решила прийти просто пациенткой.

— Здоровехоньки, — говорил Дорн, не глядя на нее, — вот разве мышьяку вам дать... И питаться надо получше. А? Как вы считаете?

— Да, — тихо согласилась Антонина.

Ей было холодно стоять перед ним голой до пояса и стыдно, что у нее высокая, как у взрослой, грудь. Она сутулилась и вздрагивала.

— Одевайтесь, — наконец сказал он.

Потом он подал ей рецепт.

— Доктор, вы не помните меня? — спросила она.

Он вопросительно поднял брови.

— Старосельский Никодим Петрович, — сказала Антонина, — он умер. Это мой папа.

— Старосельский, — как бы обрадовавшись, повторил доктор, но она видела по его глазам, что он ровно ничего не помнит.

— От жабы умер. Такой, — говорила она, — с усиками, не помните? Ночью умер.

— Да, да, да, — бормотал доктор, — но позвольте, позвольте — вы...

— Я его дочь...

— Помню, помню... Как же... На кухне мы с вами разговаривали. «Григория разбойника убили», — улыбнувшись, вспомнил доктор, — как же. Все помню. Ведь это в прошлом году было?

— Нет, в этом.

— Даже в этом. Подите, как недавно. А вы уже совсем взрослой стали. Небось уж и замуж вышли!

— Нет, — сурово ответила Антонина.

— Работаете?

— Нет, не работаю.

— Как же вы живете? Я помню, мы что-то с вами тогда говорили о службе.

Антонина молчала.

Доктор опять поднял брови, потом нахмурился, потом недовольно засопел.

— Пришли бы попросту, — сердито сказал он, — а то комедию ломать, больной представляться. Ну зачем это вам, скажите на милость?

Он прошелся по кабинету, зажег лампу на столе и спросил:

— Куда же вас деть?

— Не знаю, — тихо сказала Антонина, — уборщицей куда-нибудь.

— Ну уж и уборщицей.

— Я больше ничего не умею.

Он присел к столу и что-то написал, потом сунул в конверт, открыл свою большую книгу, поискал там и написал на конверте адрес. Протянув письмо Антонине, он отдельно сказал:

— Человек этот — изрядный... чудак. Может быть, прохвост. В свое время я ему... я его вылечил, и он должен меня помнить. Будете работать в парикмахерской. Завтра же идите туда. Передайте привет и письмо. Устраивает?

— Устраивает, — вся просияв, сказала Антонина.

— Рая не ждите, поняли?

— Поняла.

— Торгуйтесь.

— Хорошо.

— И не стойте вот этак, когда с ним будете говорить. Слышите?

— Слышу.

— Грубо говорите, напористо.

— Хорошо.

— Но и работать надо как следует.

— Работать, доктор, я умею, — сияя все больше и больше, сказала Антонина, — что-что, а работать... Лишь бы только работа была...

— В меру, в меру, — перебил Дорн, — себя жалеите. На чужую кошину ведь. Ну, идите. Если чем смогу...

Он поклонился и протянул ей руку.

Она быстро переложила в правую руку из левой три рубля и хотела незаметно, как дельвал отец, передать Дорну деньги, но он рассердился и не взял.

— Но, доктор, — сконфуженно начала она.

— Идите, идите! — закричал Дорн.

Когда она вышла от Дорна, уже совсем стемнело. Ей хотелось петь. Она бежала по улице и пела. У витрины гастрономического магазина она остановилась и загадала: если первым выйдет мужчина — истратить трешку, если женщина — сберечь. Кроме трешки, у нее было еще полтора рубля. Вышла женщина. Антонина вздохнула и пошла дальше, но у следующего магазина не выдержала и опять загадала — наоборот. Вышла женщина. На все три рубля Антонина купила колбасы, карамели, булку, баранок, молока, селедку и маленькую плитку шоколада. Дома на кровати спал котенок. Антонина подула ему в нос, переделась и разожгла керосинку. Котенок мурлыкал и терся об ее ноги.

19. Мальчик, воды!

Перед тем как отворить дверь в парикмахерскую, Антонина постояла на деревянном, скрипучем от мороза крыльце и из-под заиндевевших ресниц поглядела вокруг.

Вокруг было пусто, голо, морозно.

За невысоким забором чернели остовы кораблей, баржи, подъемный кран. Влево и вправо шла улица, по улице свистела поземка. По мосту через замерзшую реку лениво тянулся товарный поезд.

Она вздохнула, аккуратно счистила с валенок снег, сначала о скобу, вбитую в крыльцо, потом веничком, и отворила дверь. Немолодой толстый и лысый парикмахер сказал Антонине, что Петра Андреевича еще нет, и велел подождать.

— Посиди у печки да дровец подкинь, — сказал он ей, как старой знакомой, — холодина какая, ужас... А еще только ноябрь.

Не торопясь, она разделась, повесила пальто, сунула в рукав серенький шерстяной платок и, еще потоптавшись, чтоб не намокли валенки, пошла к печке.

Парикмахер кашлял и читал газету. Тоненько звенели стекла, и время от времени грохотала жесьть.

— Того и гляди, унесет вывеску, — спокойно сказал парикмахер.

Антонина накинула пальто и вышла. Большая крашенная голубой краской вывеска колебалась от ветра. Одна петля была оторвана напроць.

Пришлось вернуться за табуреткой и молотком. Она вколотила новую петлю из согнутого гвоздя, подышала на озябшие руки и принялась закручивать проволоку.

Потом она затопила печку наново, выгребла из поддувала золу, прибила гвоздиком отставший от пола железный лист и подмела мастерскую. Парикмахер не выражал никакого удивления — будто так и следовало.

Наконец явился Петр Андреевич. У него был такой вид, будто он всегда был очень толстым, а

нынче вдруг ужасно похудел. Щеки, подбородок, шея — все изобиловало лишней кожей. На самом же деле Петр Андреевич вовсе не худел. Он всегда был таков. Лишняя эта кожа причиняла ему много хлопот, раздражала его, и не так давно он думал даже об оперативном удалении лишнего на шее и на подбородке, но под влиянием доктора Дорна решил отпустить бороду — побольше и попышнее. Борода хоть и скрыла лишнюю кожу, но придала Петру Андреевичу бандитское выражение, от которого он спасся очками из простых стекол. Большие очки действительно спасли его: он вдруг стал походить на ученого-аскета и полусумасшедшего. Надев очки и продумав как следует свой облик, он решил, что и говорить следует иначе — отрывистее и оригинальнее.

Прочитав письмо Дорна, он молча осмотрел Антонину и ушел за перегородку, туда, где шипел примус. Потом он позвал ее.

За перегородкой горела двенадцатилинейная лампа, лежали горкой чистые салфетки, поблескивало цинковое корыто. Когда она вошла, Петр Андреевич налил себе в стакан кипяток из чайника. Стакан вдруг лопнул. Петр Андреевич выругался и поставил чайник опять на примус.

— Надо было ложечку в стакан положить, — сказала Антонина.

— Почему?

— Тогда стакан бы не лопнул.

— «Бы» это вроде «авось», — сказал Петр Андреевич. — Я могу вам платить не много. Двадцать один рубль.

— Хорошо.

— Являться надо к девяти часам.

— Хорошо.

— Будете стирать белье, мыть мастерскую, подавать воду, подметать, ездить по поручениям, как ученица.

— Хорошо.

— Если шашни заведете — выгоню. Понятно?

Она кивнула головой.

— Да... Печку топить, сдавать волосы... Зеркала должны быть промыты и прочищены. Мрамор тоже. Снаружи магазин чтоб всегда имел приличный вид. Как звать-то?

— Антониной.

— Иди работай.

Она вышла из загородки и поглядела в заиндевшее окно: ничего не было видно.

— Как ваше имя? — спросил толстый парикмахер.

Она ответила.

— А меня зовут Самуил Яковлевич, — сказал мастер, — Самуил Яковлевич Шапиро. Ни больше ни меньше. Быстро оденься и купи мне одну пачку папирос «Совет». Потом сходишь ко мне на квартиру за обедом. Ну, живо!

И опять зашелестел газетой.

Еще затемно она приезжала в мастерскую. Отворяла ставни, снимала с двери тяжелый немецкий замок, мыла полы, грела воду и принималась за стирку. Надо было выстирать две-три дюжины салфеток, выполоскать их, подсинить, подкрахмалить. Раз в неделю стирались и крахмалились халаты. Петр Андреевич требовал, чтобы белье непременно было «с шепотом». Потом она гладила развешанное с вечера белье. Потом топила печь, протирала зеркала, мрамор, грела воду для бритья, резала бумагу, чистила щипцы для завивки, ножницы, проветривала мастерскую.

К десяти часам приходил Шапиро.

Опухший, с почечными мешками под глазами, злой и охающий, садился не раздеваясь в кресло и начинал браниться.

— Слышишь, — говорил он, — эта стервятница целый вечер кричала на меня, что я выбрал себе такую профессию. Ей неудобно перед подругами, что ее отец парикмахер. Ну а если б я торговал на Обводном, лучше? Скажи, мне? Или я не даю ей жизни? Сатана. Я болен, видишь, я распух, так ей мало. Ну, зато я ей тоже сказал — мамаша упала в обморок.

И он подробно рассказывал, как мамаша упала в обморок.

Обо всем он говорил злобно, всем сулил несчастья, кашлял, плевался и каждый день скандалил с Петром Андреевичем.

Начиналось обычно едва тот входил.

— Безобразие, ей-богу, — говорил он, — неужели трудно раздеться?

— Трудно, — кашлял Шапиро.

— Пойдите разденьтесь.

— Бабе своей указывайте.

— Я не указываю, а я говорю, что нечего входить в калошах.

— Заплатите раньше жалованье, а потом будете за калоши говорить.

— Я ж вам дал под жалованье сорок рублей.

— Под жалованье? Мне сто шестьдесят причитается — где они?

— У меня нет. Я вчера уборщице заплатил.

— Уборщице можете, а мне не можете?

— Так уборщице двадцать один, а вам двести, — возмущался Петр Андреевич, — и у вас деньги есть, а у нее нет.

— Вам в моем кармане не считать...

— Говорю — нет денег.

— А где выручка?

— Не ваше дело. Я хозяин.

— Хозяин? — глумливо переспрашивал Шапиро.

— Хозяин.

— Срам вы, а не хозяин.

— Ищите себе другого.

— Хитрый какой! Отдайте раньше деньги.

— Отдам. Завтра.

— Сейчас.

— У меня нет сейчас.

У Антонины дрожали руки. Она знала, что Петр Андреевич сейчас начнет плакать и божиться, знала, что денег у него действительно нет, знала, что хоть он и жулик, но жулик особенный, несчастный, и жалела его.

Скандалили каждый день, и всегда случалось так, что начинал как будто Петр Андреевич, а виноват был на самом деле Шапиро. Шапиро орал и ругался с наслаждением, выискивал слова пообиднее, пооскорбительнее и, заметив, что задел за живое, искренне и подолгу наслаждался. Петр Андреевич только отругивался и всегда под конец ссоры становился жалким и уступал, если была хоть какая-нибудь возможность уступить.

Постепенно она возненавидела Шапиро так, как в свое время ненавидела Пюльканема. Ей доставляло удовольствие видеть, как он скользит и падает в гололедицу, слышать, как он охает и стонет. У него украли меховую шапку — она с радостью рассказала об этом Петру Андреевичу, Он всегда жаловался на свою дочь, и ей нравилась эта девушка, хотя она ни разу ее не видела.

Когда Петр Андреевич и Шапиро скандалили, она пряталась за загородку и сидела там не высываясь, притворяясь, что гладит или стирает.

Ей было страшно и мерзко.

«Почему они, — думала она, — какое им удовольствие? Неужели так всю жизнь? Ведь они уже старые!»

Скандал прекращался только с приходом клиента. Тогда Петр Андреевич особым, гортанным голосом требовал воду, и начинался рабочий день.

Воду подавать Антонине всегда было неприятно.

— Мальчик, воды! — кричал Петр Андреевич.

Этим он развлекал клиентов.

— Маленький цирк никогда не повредит! — соглашался Шапиро. И тоже кричал: — Мальчик, компресс!

Антонина злилась, красные пятна горели у нее на щеках. И только один раз какой-то пожилой краском с седыми висками заступился за нее.

— Это что, вы так острите? — спросил он Петра Андреевича.

— Привычка, знаете ли, — смиренным голосом ответил мастер. — Обыкновенно — мальчики,

так я по старой привычке.

— Довольно паршивая у вас привычка! — жестко сказал военный. — Советую отвыкнуть.

— Так она же не обижается! — воскликнул Петр Андреевич. — Ты слышишь, Тоня?

Она промолчала, военный крикнул и ушел. Все осталось по-старому.

Работы было много. Не у мастеров, а у Антонины. Она подавала воду, убирала противную бумагу с мыльной пеной и с волосами, подметала, мыла кисточки, поливала из кувшина, когда мастер мыл клиенту голову, бегала за папиросами, за газетой, за обедом, покупала мыльный порошок, одеколон, хинную, вежеталь, жидкое мыло и делала еще уйму разных дел.

В обычные дни парикмахерская работала едва-едва. Гвоздем недели была суббота.

По субботам уже с утра шли очередью. К часу, к двум не хватало стульев. С пяти мастерская набивалась битком, делалось душно, с мастеров лил пот, не хватало салфеток, приходилось все время подстирывать и подглаживать.

В трамвае Антонина спала от усталости. Болела спина, ныли плечи, руки, колени. Резало глаза от копоти примуса. По ночам мерещились жадные лица распаренных баней клиентов, слышались грубые слова, казалось, вот-вот кто-то достигнет. Она просыпалась в поту, разбитая, измученная.

Работать было трудно.

Она не высыпалась, плохо ела. Деньги уходили на уплату долгов, на квартиру, на трамвай, приходилось ездить на двух — один конец стоил четырнадцать копеек. Пришлось купить новые туфли, дров, бидон для керосина.

В декабре Петр Андреевич сам, без ее просьб, прибавил ей еще десять рублей и велел, чтоб она сказала о прибавке Дорну.

Антонина пообещала и улыбнулась.

— Чего смеешься? — нахмурившись, спросил он. — Молода смеяться.

— Я так...

— «Так», — передразнил Петр Андреевич.

Случайно она узнала, почему у него не было денег. Оказалось, что все до копейки деньги Петр Андреевич вкладывал в изготавливающееся каким-то кустарным предприятием новое оборудование для парикмахерской.

Предприятие делало особые, давленные вывески, жалюзи для окон, тумбы под серый мрамор, гранило зеркала, приспособляло люстры, перетягивало кресла — роскошные, дорогие, похожие на зубоврачебные. Даже мебель для ожидающих своей очереди посетителей делалась заново — особые, откидные, очень удобные шезлонги из парусины с подушками, набитыми морской травой.

Все это стоило очень дорого.

— Ничего, — говорил Петр Андреевич, — зато мы всем покажем. Извините! Мы не угол Невского и Садовой. Мы — окраина. Но мы не хуже. Шапиро — дурак. Он не понимает. А я понимаю. Мы тут панику наведем такую... Кресло с никелем, блеск, форс. Безумие. А! Ты как

считаешь?

— Мне нравится, — говорила Антонина.

— Видишь! А он не понимает. погоди, я тебя мастером выучу. Ты красивая. Подойдешь. Чепчик тебе наденем плюшевый. Куафер. Вывеска — «Пьер». Серебром по мрамору. И я. Очки, все такое. Форс.

В белом своем халате, высокий, бородатый, всклокоченный, он походил на сумасшедшего. Но Антонине нравилось его слушать. Она понимала, что не стремление к наживе внушило ему всю эту затею, а что-то другое, лучшее, и ей было приятно, что он делится с нею — в конце концов, только уборщицей.

— Обязательное раздевание, — кричал он, — обязательное. Швейцар в галунах. Для салфеток посуда, как в больнице, видала — паровая?

— Видала.

— Вот. Массаж лица — машинкой. Электрическая сушка волос. Маникюр-салон. Хочешь на маникюршу учиться?

— Хочу, — говорила Антонина для того, чтобы не огорчать Петра Андреевича.

— Обязательно маникюр-салон. Белье — льняного блеска. Сияние. Никель. Ты чего улыбаешься? Никель везде должен быть. Прейскурант цен — черного мрамора. Видала? Сверху серебром — «Пьер». Восточный массаж. Паровая ванна лица. Педикюр... Никаких пьяных, тихо, чинно...

Но через два месяца после того, как Антонина поступила в парикмахерскую, вся мастерская вдруг стала собственностью Шапиро. Оказалось, что Петр Андреевич подписал под горячую руку какое-то обязательство и не выполнил его, Шапиро передал обязательство куда следует, заплатил Петру Андреевичу семьсот рублей и взял патент на свое имя.

Вечером, когда пьяный Петр Андреевич плакал за загородкой у примуса, пришел финансовый инспектор. Петр Андреевич, в профессорском своем халате, в очках, растрепанный, бухнулся перед ним на колени и заплакал навзрыд. Шапиро брил клиента и не оборачивался.

— Вот он зверь, — кричал Петр Андреевич, тыча пальцем в сторону Шапиро, — вот он мерзавец. У меня идея была. Я сам недоедал. Жена меня бросила. Сволочи все...

Инспектор поднял его, усадил и напоил водой. Вода лилась по бороде, по жилету и капала на пол.

Когда инспектор уходил, Шапиро обратился к нему с каким-то вопросом. Инспектор брезгливо покосился на него и ушел, не ответив. Шапиро пожал плечами.

Петр Андреевич устроился в кооперативной мастерской на Петроградской стороне. Шапиро нанял себе второго мастера — такого же толстого, как сам. Ничего не изменилось.

Как-то, после особенно утомительного дня, она сказала Шапиро, что хотела бы все-таки учиться делу.

— Какому делу?

— Стричь, брить... Что ж я... три месяца уже прошло.

— За учение платят деньги, — сказал Шапиро, — иначе не бывает.

— Сколько же?

— За триста рублей я тебя выучу на хорошего мастера.

— У меня нет таких денег.

— А каких у тебя есть?

Ей захотелось ударить его по розовой плечи, но она сдержалась и сказала, что у нее вообще денег нет. Шапиро свистнул, попробовал бритву об ноготь и опять принялся править.

— Так как же, Самуил Яковлевич? — сдерживая злобу, спросила Антонина.

— Надо подумать.

— Что ж тут думать, господи!

— Тебе, конечно, нечего думать. Не твоя забота.

Тем и кончилось.

20. Можно же жить!

Иногда вечером к ней заходил дворник. Она не знала, зачем он это делает, и терялась каждый раз, когда слышала его продолжительный, точно сердитый звонок.

— Доброго вечера, — говорил он и садился на табурет у двери. — Как поживаешь?

— Ничего.

Он сидел, положив ладони на острые колени, и подолгу молчал. Хоть бы он был пьян. Но он был трезв, с расчесанной бородой, в ботинках, аккуратно начищенных ваксой, в сатиновой косоворотке с высоким, застегнутым на белые пуговицы воротом. Порою он вздыхал или, когда молчать становилось невмоготу, покашливал басом в кулак. Уходя, он спрашивал:

— Писем от Татьяны не имеешь?

— Нет.

— Ну, до свиданьяца. Если дров, скажи, я принесу из подвала. Пока.

И уходил.

Однажды, измученная тяжелым днем, молчанием дворника, арией Риголетто, которую за дверью пел Пюльканем, она не выдержала и ушла из дому куда-нибудь — лишь бы только уйти.

Был мягкий снежный вечер.

У парадной она постояла, подумала, поглядела на фонарь, на голубые хлопья снега, на дремлющего извозчика и решила, что пойдет в клуб.

В клубе она разделась, обдернула платье, намотала веревочку от номера на палец и, чуть

скользя подошвами туфель по кафельному полу, пошла к лестнице.

У нее спросили билет.

Она покраснела и солгала, что билет у нее есть, но забыт дома. Ее пропустили, велев в следующий раз не забывать. Она обещала.

В большом полутемном зале шла репетиция.

Какой-то человек, должно быть настоящий артист, прикрыв глаза ладонью и не двигаясь с места, что-то тихо и быстро бормотал — вероятно, роль. Кончив бормотать, он щелкнул пальцами, подождал, топнул ногой, опять закрыл глаза ладонью и вновь принялся бормотать, но уже с выражением угрозы в голосе. Потом он опять щелкнул пальцами. На этот раз все, кто только был на сцене, после щелчка страшно засуетились, забежали и стали делать вид, будто они сейчас начнут бить артиста: замахали руками, зарычали, затопали и пошли на него, чуть пригибаясь к полу. Артист долго, с усмешкой смотрел на них, потом щелкнул пальцами, соскочил со сцены в зал и сел в первом ряду. Все замолчали и столпились на авансцене.

— Скажите, пожалуйста, — спросил артист, — где, собственно, крик?

Все молчали.

— Где крик? — спросил артист. — Где острый, душераздирающий крик? Где он? Я же просил: дайте мне крик. Ну?

Он еще долго спрашивал, где крик, потом опять взобрался на сцену, закрыл ладонью глаза и вновь принялся бормотать. Антонине очень хотелось знать, что именно он бормочет, она поднялась и пошла по проходу к сцене, но артист вдруг отнял ладонь от глаз и, ткнув в Антонину пальцем, злобно заорал:

— Вы! Чего вы здесь ходите? Черт вас... Где староста? Почему мне не дают сосредоточиться? Что это за безобразие! Зажгите же свет в зале!

В зале зажгли свет.

Антонина стояла в проходе испуганная, с прижатыми к груди руками, и не знала, что делать — бежать или извиняться.

— Вам что здесь надо? — опять закричал артист. — Вы откуда?

— Я? — спросила Антонина.

— Вы, вы...

— Я просто...

— Вы просто, — с особым погромыживанием и перекатом в голосе заорал артист, — вы просто, а мы на нервах... Староста, уберите ее отсюда...

Староста, разбежавшись, прыгнул со сцены, но в эту секунду кто-то сзади подошел к Антонине и над самым ее ухом грубо сказал:

— А ну, Рябушенко, на место.

Староста остановился, сделал по-военному кругом и, опять разбежавшись, легко вспрыгнул на сцену. Антонина обернулась. Возле нее стоял невысокий человек с бритой головой, в железных очках, в черном костюме.

— Прекратите-ка вашу репетицию, товарищ руководитель, — громко и внятно сказал он, — надо сейчас собрание провести.

Народ на сцене загалдел и стал прыгать вниз в зал. Что-то выстрелило.

— Кто лампочки давит? — крикнул староста. — Заплатишь...

Антонина воспользовалась суматохой и пошла к дверям, но ее окликнули:

— Товарищ!

Думая, что зовут не ее, она вышла за дверь, но человек в железных очках нагнал ее и, схватив за руку, повлек в зал.

Он посадил Антонину рядом с собой и, пока все занимали места, спросил, откуда она.

— Как откуда?

— Где работаешь?

— В парикмахерской.

— Кем?

Ей было стыдно сказать, что она уборщица.

— Я ученицей работаю.

— Ярофеич, — закричал староста, — давай начинай, мои все здесь.

На Антонину поглядывали, ей было неловко и очень хотелось уйти. Актер курил папиросу из мундштука и вздыхал. Иногда он улыбался с усталым и терпеливым выражением.

Все сидели на стульях в первых рядах маленького зрительного зала. Ярофеич поднялся и встал у сцены. Как только он начал говорить, Рябушенко старательно зашикал и закричал: «Тише!»

— Возьму на карандаш — заплатишь, — посулил он кому-то и с угрозой показал карандаш.

— Это что за «заплатишь»? — сердито и брезгливо спросил Ярофеич. — Что это за лавочка у вас тут, товарищ руководитель?

— Поднимаем дисциплину системой штрафов, — сказал артист и снисходительно улыбнулся, — приучаемся к настоящему театру... У нас в театре...

— А мне нет никакого дела до того, что происходит у вас, в вашем частном театре, поняли? — крикнул Ярофеич. — Вы работаете в молодежном клубе, и разлагать его я вам не позволю, поняли?! — еще громче крикнул он.

Актер опять начал снисходительно и терпеливо улыбаться. Антонина видела сбоку его носатое, напудренное лицо, но как следует улыбнуться он не успел, так как Ярофеич вдруг закричал, что ему известен еще целый ряд махинаций, о которых будет еще соответствующий разговор.

— Па-азвольте, — с перекатом в голосе начал артист и встал.

— Не па-азволю, — передразнил Ярофеич, и так хорошо, что многие зафыркали. Выждав, пока затихнет смех, он начал говорить. Говорил он долго и, видимо, так, как думали все,

потому что кружковцы очень часто смеялись, кричали «Правильно!» и иногда даже хлопали.

— Я каждый день приходил сюда и смотрел на вашу работу, — говорил Ярофеич. — Я несколько раз беседовал с вашим руководителем наедине. Ничего. Совершенно без толку. А сегодня новый человек заходит в зал — и его в три шеи. Это метод клубной работы? Это дело? Это разговор? Человек зашел, а его гнать? Нечего сказать — работа! Постановочка дела! Может, человек у нас работать будет. Товарищ, будете у нас работать? — неожиданно спросил Ярофеич у Антонины.

— Вы мне? — вздрогнув, смущенно спросила она.

— Вам.

— Не знаю, — растерянно сказала Антонина, — если можно, так я...

— Почему же нельзя?

— Мне бы хотелось, — вспыхнув, сказала она, — только вряд ли я смогу...

Собрание кончилось поздно. Решили пригласить другого руководителя и в корне изменить всю систему работы. Говорило очень много народу. Выступали и девушки; одна, очень высокая, худая, с торчащими ключицами, выругала пьесу, которую ставили нынче. Начался спор. Потом выступил парень и неуклюжими словами начал что-то объяснять. Долго не могли понять, в чем дело, а когда поняли, стали почему-то смеяться и аплодировать.

— Тебе, конечно, никаких лампочек не хватит, — сказал Ярофеич, и все опять засмеялись, — я, брат, помню, как ты седьмого ноября в корзину с лампочками влез.

Антонина тоже засмеялась.

Ярофеич посмотрел на нее, подмигнул и закрыл собрание. Потом, после собрания, кружковцы окружили его и начали спрашивать — каждый о своем. Антонина стояла сбоку, возле лесенки на сцену, и слушала. Кончив, он подошел к ней, подозвал старосту и сказал, чтобы староста ее взял в работу.

— Есть в работу, — сказал Рябушенко, — сейчас мы с ней анкетку сообразим. Давай-ка сядем.

Сели. Рябушенко вынул карандаш и стал записывать.

— Образование?

— В школе училась.

— Кончила?

— Нет.

— В кружках участвовала?

— Да.

— В каких?

— В драматическом участвовала, — говорила Антонина, — в политкружке, в кружке домашних знаний...

— Это что за домашние знания?

— Разное. Электрические пробки починить. Водопровод. Лампочку перегоревшую. Замок исправить.

— Ну ладно, — сказал Рябушенко, — это к делу не относится. Заходи послезавтра в шесть часов вечера. И давай не опаздывай.

— В шесть я не могу. Я только в десять могу.

— Работаете?

— Да.

— Плохо твое дело, — сказал Рябушенко, — мы так не можем. У нас дисциплина.

— Я знаю.

— Ну ладно, приходи, видно будет. Член клуба или нет?

— Нет.

— Сделаем. Приходи.

— Спасибо.

Ночью ей не спалось. Она думала о клубе и о том, что больше не будет таких томительных и пустых вечеров, как были раньше. Конечно, она сможет играть в их драматическом кружке, как играла в школе, но это проще простого — выламываться на сцене, а вот работать для всех, да так, чтобы тебя не было видно, — вот этого ей очень хотелось. Чтобы не было видно, но чтобы без тебя не могли обойтись, совсем не могли, никогда, чтобы поднимать занавес, или расписывать декорации, или включать рубильник, софиты, прожектор, или шить...

Шить, конечно, шить костюмы, сарафаны, тоги, клеить из картона кольчуги, шлемы, намазывать деревянные сабли серебряной краской. Ах, если бы она умела это, если бы у нее были способности...

Вечером, едва освободившись, она побежала в библиотеку и набрала всяких книжек о кройке и шитье, толстый том под названием «История театрального костюма», комплект театрального журнала за год и комплект журнала «Синяя блуза». Почти всю ночь она перелистывала то одну книгу, то другую. И пришла в парикмахерскую почти счастливой. Ничего особенно премудрого не было в том, чтобы стать нужной этим людям в клубе...

Теперь каждый день после работы, когда Шапиро с толстым своим помощником отправлялись по домам, Антонина ныряла за перегородку и переодевалась. Торопливыми руками она сбрасывала халат, наливала в цинковое корыто теплой воды, мылась, потуже заплетала косы, надевала черную шелковую блузку и суконную юбку, гасила электричество и навешивала на мерзлую дверь двойной, со звоном, немецкий замок. В вязаном платке, в шубке с короткими, вытертыми рукавами, с чемоданчиком в руке, она быстро шла к трамвайной остановке и ехала в клуб.

Больше всего любила она эти минуты в трамвае. Уже можно было не думать о том, что не хватит салфеток, что пеньюар, который лежит в шкафчике третьим снизу, кажется, разорван, что надо бежать за керосином или за папиросами «Совет» для Шапиро. Она могла не волноваться из-за того, что в кассе нет мелочи, могла не прислушиваться из-за занавесок, как Шапиро или другой мастер со скукой в голосе кричит: «Воду!», или «Компресс!», или «Для мытья головы, быстро!»

Обычно она приезжала в клуб за полчаса, за час до конца репетиции, тихонько входила в зал,

садилась где-нибудь возле двери и внимательно смотрела на сцену. Так как репетировали пьесу не подряд, действие за действием, а вперемежку, то ей постепенно удавалось просмотреть весь спектакль.

После репетиции, когда все уходило, она шла вниз, в маленькую сырую комнату, которая называлась костюмерной, и одна принималась за дело.

Иногда к ней ненадолго заглядывал новый руководитель, Сергей Васильевич. Невысокий, коренастый, с очень белыми большими зубами, пахнувший ягодным зубным порошком, он садился на подоконник, подтягивал голенища красивых, начищенных до глянца сапог и внимательно смотрел, как работала Антонина.

Ворохи ситцев, сатинов, репса лежали повсюду — на большом столе, на стульях, на полу... Антонина заглядывала в журналы или в тетрадки эскизов, набросанных клубным художником, прикидывала шуршащую материю на манекен и, не задумываясь, резала сверкающими портняжными ножницами... На манекене она сметывала материю, щурясь прикладывая отделку, одну, другую, третью, удовлетворенно вздыхала и опять щелкала ножницами.

— Как это у вас ловко! — говорил Сергей Васильевич.

Она молчала, но работала еще быстрее и еще красивее.

— А почему вам никто не помогает? — спрашивал Сергей Васильевич.

— Помогают, — говорила Антонина, — как же не помогают... Вот я крою, сметываю и складываю на стол. Видите?

— Вижу...

— И записку пишу, что надо делать. А завтра перед репетицией девчата придут пораньше и сошьют или домой возьмут, чтоб на машине шить.

— Нравится вам эта работа?

— Конечно, нравится, — негромко отвечала Антонина.

— А играть не будете?

— Когда же мне репетировать? У меня работа только в десять кончается.

Сергей Васильевич докуривал папиросу, тушил ее о подоконник, застегивал на крючки свою военную шинель и, с удовольствием глядя в глаза Антонине, пожимал ее смуглую руку. После него в комнате еще долго пахло зубным порошком и сапожной мазью.

Антонина работала и тихонько пела:

Огоньки далекие,

Улицы широкие...

Ночью заходили клубные художники — Лена Сергеева и Костя Тывода. Лена стриглась, как мальчишка, кусала ногти, курила папиросы из мундштука. Костя носил длинные волосы,

терпеть не мог табачного дыма, завязывал на шее странный бант и называл себя эгоцентрофутуристом. Что это такое, он и сам толком не знал. Оба они — Лена и Костя — своими руками делали все для всех спектаклей.

— Попить не найдется? — спрашивал Тывода.

— Вот тут у меня молоко в бутылке.

— А ты сама?

— А я не хочу! — лгала Антонина.

Творог из ватрушки сыпался на Костин вызывающий бант. Лена внезапно спрашивала:

— Ребята, а почему выставки устраивают в музеях, а не просто на улице? Или на площади? А?

Антонина пугалась Лениных вопросов, эгоцентрофутурист Костя отвечал, жуя:

— Холодно, дождь идет, мало ли...

— А на юге?

— Да ну тебя...

Потом они вели Антонину в зал посмотреть, что там «нагорожено».

— Понимаешь, нам нужен зритель-свежак! — загадочно объяснял Костя.

Втроем они поднимались по темной и таинственной лестнице. Костя волок с собой черный плащ из костюмерной, изделие Антонининых рук, и огромную картонную черную шапку. Потрескивал под ногами рассыхающийся старый паркет, занавес в зале был опущен. Лена, грызя ногти, садилась рядом с Антониной, она должна была «проверить непосредственный регаж зрителя-свежака».

Костя, чертыхаясь, бродил за занавесом, в заиндевелые, морозные стекла таинственно светила луна. Лена шепотом спрашивала:

— А знаешь, чей это раньше был особняк?

— Чей?

— Графа Гнеккенера. А сейчас он принадлежит нам — народу. Представляешь, какие здесь происходили оргии?

— Нет, не представляю...

— Я хотела написать такое полотно для этого зала, даже эскиз сделала, но Ярофеич заявил, что это антиэстетично и вообще пакость.

Костя заколачивал гвозди за занавесом и свистел.

— Сейчас! — порою кричал он.

Наконец занавес поднимался. Сцена была темна. Потом под барабанный бой (Костя сам барабанил) сбоку, возле портала, вспыхивал транспарант: «Город-паук».

Бил гонг.

Начинало чуть брезжить — Костя включал водяной реостат собственной конструкции. Загорался красный свет. За занавесом из марли, как из тумана, показывались небоскребы города-паука. Всплывала луна, изуродованное гримасой жирное человеческое лицо. Можно было разглядеть фонари, похожие на виселицы. Слезливым мутным светом загорались прорезанные в холсте окна домов.

— Хорошо! — кричала Антонина, — слышишь, Костя?

Но Костя молчал. Через минуту он сам появлялся на сцене в плаще, в шапке из картона и, громыхая железом, кричал устрашающим голосом:

— Пролетарии! Проснитесь! Город-паук сожрет вас! Пролетарии! Проснитесь!

Это было начало пьесы, написанной литературным кружком.

— Замечательно! — кричала Антонина. — Очень хорошо. Костя!

Костя спрыгивал со сцены, садился рядом с Антониной и спрашивал у Лены:

— Проследила?

— Ага.

— Как реагаж?

— В норме.

— Значит, до масс дойдет, — заключал Тывода.

Потом они вместе шли по ночной морозной улице, и Костя рассказывал обо всех своих замыслах, о том, как туго с деньгами, как прижимает его творческий размах смета. Антонина слушала и чувствовала себя счастливой.

21. Случилось несчастье

Когда до спектакля осталось всего десять дней, Ярофеич заявил, что все кружковцы мобилизованы и что пошивка костюмов, поделка декораций и прочие работы должны отныне производиться не только Тыводой и Антониной, а и всеми остальными кружковцами.

В костюмерную принесли швейную машину, второй манекен и еще три стула.

Костя наверху так кричал на своих помощников, что один из них подал заявление в товарищеский суд.

Сергей Васильевич нередко ночевал в клубе. Репетиции шли до поздней ночи. Исполнитель главной роли, слесарь Леша Мартемьянов, пил за казенный счет сырые яйца дюжинами.

Сам Ярофеич работал подручным у Константина. Подавал ему кисти, заколачивал гвозди по его приказаниям и однажды ходил за булкой для него.

В костюмерной ночи напролет стучала швейная машина. Антонина командовала. Ей охотно повиновались все, кроме Лизы Гартман, исполнительницы роли «жены убитого». Однажды Лиза устроила истерику. Ее напоили валерьянкой и отправили на извозчике домой. На следующий день она не пришла, а прислала записку, в которой было сказано, что, если

Старосельскую не уберут, она не будет играть. Ярофеич помчался к ней домой и привез ее на репетицию.

— Чего вы не поделили? — спросил он у Антонины.

— Ей не нравится то платье, которое нарисовал Костя, — сказала Антонина. — Костюм утвердил Сергей Васильевич. Не могу же я менять для нее костюм.

Через два дня у Антонины в трамвае украли семьдесят рублей казенных денег, выданных Ярофеичем на разные покупки для спектакля. От ужаса ей стало почти дурно.

Целый день она бесцельно ходила по городу, подолгу стояла у витрин, в уме готовила слова, которыми расскажет Ярофеичу о своей беде.

Вечером она пошла в парикмахерскую, чтобы попросить у Шапиро жалованье вперед за два с половиной месяца. Самуил Яковлевич стриг солидного клиента и говорил ему почтительно:

— Я вам исключительно мыслю с пробором по-английски. Я могу убиться, но не могу мыслить вас бобриком.

Клиент застегнул хорьковую шубу, звякнул дверной колокольчик, Шапиро спросил у Антонины:

— Ну? Может быть, ты вышла замуж за Рокфеллера? Почему ты не явилась на работу без уважительной причины, уборщица?

— У меня большое несчастье, — сказала Антонина. — Мне нужно много денег.

— На несчастье пусть он дает деньги. Понятно? Я тут ни при чем. Он!

— Кто «он»? — не поняла Антонина.

Шапиро опять засмеялся, покачал головой и тяжело встал со стула.

— До свидания, — сказал он, — на такое дело я вам даю отпуск на три дня. Не больше.

У ворот своего дома она встретила старьевщика и повела его к себе. За кровать, стол, два стула, одеяло, подушку, белье, платье, фибровый чемодан и две серебряные ложки он предложил ей тридцать рублей.

— Давайте, — сказала она.

Старьевщик отсчитал деньги и ушел. Она постучала к Пюльканему. Было слышно, как он храпит за дверью. Антонину все сильнее и сильнее била дрожь. Она постучала еще раз. Наконец заскрипела кровать, и Пюльканем спросил, кто там.

— Я, — сказала Антонина.

— Чего вам?

— Мне нужно сорок рублей.

Пюльканем помолчал, потом засопел и открыл дверь. Бородка его была смята, воротничок расстегнут, из комнаты пахло потом.

— Что случилось?

— Мне нужно сорок рублей, — сказала Антонина, — у меня случилось несчастье.

Пюльканем молчал.

— У вас, наверное, есть, — срывающимся голосом продолжала она, — я вам отдам, в два месяца я вам верну все. Честное слово. Если хотите, я могу написать расписку.

— У меня нет денег, — сказал Пюльканем, — право, нет. Я бы с удовольствием.

Она посмотрела на него в упор. Он быстро отвел глаза в сторону и забарабанил пальцами по дверному косяку.

— Да, — произнес он и покашлял.

— Извините, — сказала Антонина и вышла на лестницу. Сквозило. Она была без пальто, в легкой блузочке, в кашне на шее. Кашне рванулось от ветра. Она прижала концы его к груди и побежала вниз, во двор.

«Сорок рублей, — твердила она про себя, — сорок. Сорок рублей, сорок...»

Во дворе было темно, скользко и ветрено... Под ногами журча лились ручейки. С крыш капало. Антонина перебежала двор и позвонила к Скворцову. Открыла старуха в очках, с вязаньем в руке. Не спрашивая, дома ли он, она вошла в кухню.

— Вам кого? — спросила старуха.

— Скворцова.

— Пройдите.

И старуха ткнула вязаньем в конец коридора.

Антонина постучала.

У двери на стуле сидел Барабуха. Он был без сапог, в носках. Один ботинок он держал в руке. Во рту у него были сапожные гвозди. Когда Антонина спросила, где Скворцов, Барабуха выплюнул гвозди в свободную ладонь, но ничего не сказал.

— А скоро придет? — спросила Антонина.

— Не знаю.

Она спустилась по лестнице и опять перебежала двор. Дворник спал. Она разбудила его, но денег у него не было. Она возвратилась домой и стала ходить по комнате из угла в угол. Десяти бегала за ней. Она взяла кошку на руки, потом бросила ее, оделась и поехала к Вале Чапурной.

Отворила дверь сама Валя.

Дальше все было как во сне: Валя плакала, ее мать тоже плакала. Они не дали сказать Антонине ни слова, говорили без умолку. В комнате пахло валерьянкой и уксусом. У Валиной матери голова была повязана тряпкой, смоченной в уксусе.

— Он погибнет там, — говорила Вера Федоровна, — он не перенесет. С преступниками. Вы представить себе не можете этот позор. И главное, он нездоров, очень нездоров... И вдруг военные с ружьями...

Оказалось, что доктор торговал чем-то запрещенным, какими-то золотыми челюстями, долларами, морфием. Ночью его арестовали.

«Последний извозчик Берлина!» — почему-то вспомнила Антонина.

— А где Володя? — спросила она.

— Володя? — со странной улыбкой переспросила Валя.

— Ну да, Володя.

— Володя идиот! — сказала Валя. — Идиот, который корчит из себя современного Чацкого! Да, да, папа верно выразился, именно Чацкого! Ах, да что об этом говорить...

Она так открыла рот, словно собралась заорать, но не закричала, а только пожаловалась, что у нее плохо с сердцем, и стала считать себе пульс.

— Ты мнительна, Валентина! — произнесла Вера Федоровна.

— Убирайтесь! — завизжала Валя, взяла со стола стакан и швырнула его об пол.

— С губернатором ты не была бы такой нервной! — сказала Вера Федоровна. — Да, да! Это твой папа правильно отмечал...

Потом, когда Вера Федоровна ушла, Валя рассказала, что Володя оставил своему отцу совершенно хулиганское («Ты понимаешь — абсолютно неинтеллигентное, даже хамское») письмо и ушел.

— Как ушел?

— В ночь! Он, видишь ли, оказался совершенно распросоветским. Почти партиец. Коммунар по убеждениям. Он — и это быдло!

— Какое быдло? — не поняла Антонина.

— Ну эти все нынешние!

— Почему же «быдло»? — даже приподнялась Антонина, вспомнив Ярофеича, инспектора Рабкрина Альтуса, Лену Сергееву, Тыводу...

— С тобой бесполезно говорить, — сказала Валя. — Я ведь совершенно забыла, что ты по уши влюблена во Владимира. Теперь ищи его свищи!

— Зачем же мне его искать! — спокойно ответила Антонина и распрощалась.

На улице она подумала о том, что правильно сделала, не попросив у Вали денег. Ей опять стало холодно, но в трамвае она согрелась. Было уже девять часов, когда она приехала в клуб. Ярофеич сидел в своем кабинете — из замочной скважины лился свет. Антонина постучала.

— Войди, — крикнул Ярофеич. — Кто там?

Она вошла. На диване сидели Лиза, староста и еще девушка из драматического кружка. Ярофеич сердито ел яблоко.

— У меня случилось несчастье, — сказала Антонина и с ужасом подумала, что улыбается и что не может перестать улыбаться. — Несчастье, — повторила она.

Ярофеич положил яблоко на стол. Лиза прищурилась. В кабинете наступила такая тишина, что стало слышно, как пищит электрическая лампочка.

— Ну?

— У меня украли деньги.

— Все?

— Нет, сорок рублей. Завтра или послезавтра я их верну.

— Как же вы их вернете, — вдруг спросила Лиза, — если они украдены?

— Я достану, — неуверенно сказала Антонина.

— Разве что достанете.

— А вы, товарищи, собственно, чего дожидаетесь? — повернувшись к дивану, спросил Ярофеич. — Вот, в частности, ты, Гартман?

— Я ничего не ожидаю...

Лиза встала, одернула платье и неторопливо вышла. За ней вышли и остальные. Ярофеич велел Антонине сесть, запер дверь изнутри на ключ, закурил папиросу и сел на край стола.

— Верно, украли? — спросил он и заглянул в глаза Антонине. — Может, протратила? А?

— Украли.

— А если я не поверю? — медленно сказал Ярофеич. — Если я подумаю, что деньги у тебя не украли? Я ведь тебя не знаю, а отвечать за деньги мне. Протратила деньги, а? Давай сознавайся, лучше будет, чего там, право...

— Протратила, — сказала Антонина и опять улыбнулась жалкой и дрожащей улыбкой.

— Не ври, — крикнул Ярофеич и стукнул кулаком по столу, — дура!

— Но если вы сказали, что вам отвечать, — сдерживая дрожь в голосе, заговорила Антонина, — а я же...

— «Я же», «я же»! — крикнул Ярофеич. — Ты бы еще при Лизе Гартман сказала, что протратила. Грех тяжкий, черт бы подрал, не видишь разве, что в клубе делается? Идиоты слепые, политического чутья ни на грош, марксисты липовые, о классовой борьбе забыли! Разложили нам клуб. В драматическом кружке сплошь нэпманы, шелковые чулочки, брюки дудочками, скоро до того дело дойдет, что фокстрот примутся танцевать и танго. Ну, чего смотришь?

— Я... я не понимаю... — тихо произнесла Антонина.

— Не понимаешь? А пора понимать! Ты про революцию, например, слышала? То, что каждый мало-мальски сознательный человек первоисточниками называет, — читала? Господи, Никола милостивый, хоть бы отпустили меня обратно на завод от вашей культуры! Пойми ты, гримаса мещанской жизни, филистер в клубе, пойми, у нас клуб для трудящейся молодежи, для рабочей, а они, осколки разбитого вдребезги, лишенцы там всякие, пользуются тем, что культурнее, что с детства нянчили их бонны и гувернантки, музыке учили, красивым манерам. Э, да что с тобой толковать, когда ты азбуку коммунизма в руках, наверное, не держала...

И неожиданно спросил:

— Как ты считаешь, у тебя классовое самосознание есть?

— Наверное, нет — или почти нет...

— Отец кто был?

— Отец мой был бухгалтером, — глотая слюну, ответила Антонина. — Мне тогда говорили — из прослойки...

— «Из прослойки»! — передразнил Ярофеич.

Потер лицо большими жесткими ладонями, подумал и сказал:

— Сейчас ты, брат, трудящаяся. Уборщица! И гордись этим! Ты человек труда, факт? Факт! Значит, развивай в себе всемерно классовое самосознание. Поняла?

— Поняла.

— Ничего не поняла. Ввалилась и бух при Гартман. Ведь это сейчас все гартмановские таланты узнают. «Уборщица наша проворовалась!» И станут на этом играть. Специально для них, для буржуйского их удовольствия...

Когда она поворачивала ключ в замке, Ярофеич окликнул ее и сердито посоветовал держать себя в руках и ни на что не обращать внимания.

— Вся эта дрянь последний спектакль играет, — добавил он, — отыграет — и разберемся, несмотря на истерики и всякие ихние штуки. Кое-кого исключим, атмосфера будет очищена, оздоровим обстановку. И вообще... плюй на них, не переживай больно много, не стоят они этой чести.

— Хорошо, — тихо сказала Антонина.

Но она не смогла «плюнуть на них», как советовал Ярофеич, и, когда кто-то из подруг Лизы Гартман прозрачно намекнул, что они все понимают, почему Ярофеич с ней заперся в своем кабинете, а потом дело замял, Антонина не выдержала и ушла домой — в свою пустую и холодную кафельную кухню.

22. Я ее дядя!

Барабуха вспомнил, что к Скворцову приходила Антонина, только на третий день вечером.

— Что ж ты, сука, молчал? — бледнея от злости и медленно подходя к Барабухе, спросил Скворцов.

— Позабылся...

— Дурак!..

К удивлению Барабухи, Скворцов не ударил его, а только отшвырнул прочь от вешалки, накинул пальто и исчез.

Антонины не было дома.

Скворцов пошел через час и опять не застал. Барабуха сидел на своем стуле у двери и с опаской поглядывал на бегающего по комнате Скворцова. Потом Скворцов налил себе коньяку, выпил, сплюнул и лег на диван. Барабухе очень хотелось коньяку, но он боялся

попросить.

— Может, уже вернулись, — сказал он, надеясь, что Скворцов уйдет, а ему удастся тем временем украсть рюмку коньяку.

Скворцов молчал.

Только на четвертый раз он застал Антонину. Дверь опять отворил Пюльканем.

— Дома?

— Дома.

Скворцов повесил пальто, пригладил волосы и постучал в кухню. Ответа не было. Он постучал еще и прислушался, но ничего не услышал, кроме шагов Пюльканема. Тогда он распахнул дверь и вошел.

На плите, застланной тонким бобриковым одеялом, одетая, лежала Антонина. Глаза ее внимательно смотрели на Скворцова.

— Здравствуйте, — тихо сказал Скворцов.

Она не ответила.

Он подошел к ней и взял ее руку. Рука была суха, шершава и горяча.

— Заболели? — спросил он.

Антонина молчала. Он наклонился над нею. От нее веяло жаром. Губы ее пересохли, лицо горело. Вдруг она громко и отчетливо попросила пить. Он обернулся, чтоб посмотреть, где чашки, и испуганно присвистнул: кухня была совершенно пуста. Под светом лампочки без абажура сверкал кафель. Чашка стояла на полу, на книгах, застланных чистой салфеткой. Пол был подметен, но не до конца. Веник лежал на полу посередине кухни. На венике сидела кошка и мылась.

— Пить, — сказала Антонина, — пить, папа!

Скворцов налил воды из крана, но испугался и попросил у Пюльканема кипяченой.

— Нету, — крикнул Пюльканем через дверь.

— Сволочь, — буркнул Скворцов.

Несколько секунд он постоял в кухне в нерешительности, не зная, что делать. Потом завернул Антонину в одеяло, застегнул одеяло английской булавкой и поднял Антонину на руки. Она была тяжела, и он запыхался, пока нес ее по лестнице. Дома он положил ее на диван, достал из шифоньера чистое постельное белье и постучал в стену старухе соседке. Пьяный Барабуха сидел на своем стуле у двери.

— Пойдешь за доктором, — приказал Скворцов, — моментально.

— Можно, — согласился Барабуха.

Пока старуха раздевала и укладывала Антонину, Скворцов еще раз сбегал в ее комнату и в охапке принес все оставшиеся вещи.

Доктор пришел в четвертом часу ночи. Антонина лежала тихая, с расчесанными косами, укрытая шелковым великолепным одеялом. Возле нее в качалке дремала старуха Анна

Ефимовна.

— Ну, что такое? — с неудовольствием спросил доктор.

Анна Ефимовна засуетилась. Доктор присел на край дивана и заговорил со Скворцовым, как с мужем больной. Это был маленький, впалогрудый человек с землистым лицом и злыми губами. Он глядел на Скворцова в упор и спрашивал. Потом он приступил к осмотру.

— Снимите с нее рубашку, — приказал доктор.

Скворцов не отвернулся даже после того, как Анна Ефимовна сердито замахала ему рукой. Он не хотел и не мог отвернуться. Он непременно должен был видеть.

Анна Ефимовна подоткнула под спину Антонины две подушки, загородила лампу коробкой от табака и заслонила Антонину своим телом.

Скворцов шагнул вбок, но опять ничего не увидел, потому что доктор со стетоскопом наклонился над Антониной.

Тогда он достал из шкафа коньяк и выпил.

— Папа, — тихо позвала Антонина, — папа, пить...

У нее оказалось крупозное воспаление легких. Пока доктор писал рецепт и распоряжался об уходе за ней, она тихо просила:

— Пить, пить, пить!

Анна Ефимовна всхлипнула и напоила ее теплой водой из стакана. Доктор встал. Скворцов вынул из бумажника пять рублей и протянул доктору.

Доктор скривил губы и сказал, что за ночной визит он берет десять.

— А я плачу пять, — строго сказал Скворцов, — или совсем ничего не плачу.

Доктор презрительно улыбнулся, взял деньги и ушел не попрощавшись. Анна Ефимовна стояла возле дивана красная и злая. Скворцов, улыбаясь, смотрел на нее.

— Принципиальный ты, Леня, — сказала старуха, — страшно даже на тебя глядеть. Была б я твоей матерью...

Она всхлипнула, как давеча, и, отвернувшись к Антонине, укрыла ее одеялом до подбородка.

Барабуха дремал у двери. Скворцов разбудил его и велел проваливать.

— Можно, — сказал Барабуха и лениво поднялся.

Скворцов запер за ним двери и постелил себе на полу, за шкафом. Улегшись, он закурил, но Анна Ефимовна прогнала его курить на кухню. Он покорно вышел.

— А говорите — принципиальный, — сказал он, — не знаете вы меня, Анна Ефимовна.

— И не хочу знать, — ответила старуха.

— Напрасно. Я человек неплохой.

Старуха молчала.

Засыпая, он слышал, как Антонина просила пить, и ему казалось, что он лежит в лесу, и

птицы кричат над ним:

— Пить, пить, пить!..

На следующий день Скворцов позвал другого врача. Врач сказал, что положение серьезно. Антонина посерела, нос у нее заострился, веки стали темными, почти коричневыми, губы потрескались. До самого вечера она бредила. Скворцов не пошел в порт.

Вечером температура резко упала.

Анна Ефимовна обрадовалась, но врач стал еще серьезнее, чем был, и послал Барабуху к себе домой с запиской. Барабуха долго не возвращался. Врач считал пульс Антонины и заметно нервничал. Анна Ефимовна вдруг в голос заплакала и ушла в кухню.

— Чего вы? — огрызнулся Скворцов.

Она с ненавистью поглядела на него, но промолчала.

Позвонили. Он впустил Барабуху, матерно обругал его за опоздание и отнес врачу шприц и камфару.

В комнате было тихо, полутемно и душно. Врач сидел у дивана.

— Ну как? — спросил Скворцов.

— Плохо, — ответил врач и коснулся руки Скворцова пальцем, — надо быть готовым.

Скворцов опять ушел в кухню. Там Барабуха жевал хлеб.

— Что? — спросил он и кивнул на дверь.

— Надо быть готовым! — ответил Скворцов и, вздохнув, стал жарить себе яичницу с сыром и ветчиной.

— Молодая такая, и вот... — вздохнул Барабуха.

— Анна Ефимовна, вы опять перец куда-то запихали! — рассердился Скворцов.

Она подала ему перечницу и ушла к Антонине.

— Так как сделаемся с тем клиентом в отношении марафета? — спросил Барабуха. — Человек ожидает, неудобно.

— Цена — прежняя, — нюхая яичницу, ответил Скворцов.

— Они желали бы...

— А у меня нынче не такое настроение, чтобы торговаться! — огрызнулся Скворцов. — И проваливай отсюда, хватит кислород портить...

Утром Антонина открыла глаза и посмотрела в потолок. Там, наверху, было чисто и голубовато, как снег. Это так утомило ее, что она глубоко вздохнула и опять забылась.

Потом все оказалось залитым солнцем.

— Папа, — позвала она.

Над ней наклонилась незнакомая старуха.

— Ковер купили, — слабо сказала Антонина и потрогала ковер на стене ладонью.

Наступил вечер.

Она проснулась и увидела горящую спиртовку. Над спиртовкой что-то сверкало, а еще выше клубился пар. Потом спиртовку заслонила чья-то спина.

— Послушайте, — позвала Антонина.

Подошел Скворцов и сел на диван. Она узнала его, улыбнулась, вздохнула. Он нагнулся к ней и спросил, что случилось, зачем она приходила к нему тогда, не произошло ли несчастье.

— Да... нет... все равно, — ответила она, силясь вспомнить.

И уснула.

Скворцов взял номер журнала «Мир приключений», с воем зевнул и стал разглядывать картинки. Ночью Антонина проснулась, попросила напиток. Он протянул ей чашку с питьем и сказал строго:

— Я твой жених, никуда тебе, любушка, от меня не деться, объясни, что случилось. Я должен быть в курсе, сама понимаешь.

Антонина сморщила лоб, коротко вздохнув, рассказала про клуб, про то, как ей было там хорошо, про деньги.

— Кто ж это деньги в наружном кармане носит, — проворчал он. — Тоже, голова. Ну ладно, поправляйся.

— Спасибо вам! — засыпая, прошептала она.

— Еще «спасибо»... — сказал он, почти растроганный.

И отправился спать.

Когда наутро Ярофеич и стриженная Лена Сергеева вошли и кухню, Скворцов, поставив ногу на табурет, чистил ваксой ботинок.

— Старосельская здесь живет? — спросила Лена.

— Нет, не здесь.

— А нам сказали, здесь, — недовольно проворчал Ярофеич.

Скворцов снял ногу с табурета и остановился в выжидающей позе.

— А может, вы знаете, где она живет, — спросила Лена, — нам ее очень нужно.

— По делу?

— Да.

— В данное время она находится здесь, — сказал Скворцов, — но она больна и видеть ее нельзя.

— Чем больна?

— Крупозным воспалением легких.

Ярофеич переглянулся с Леной.

— А вы не из клуба? — спросил Скворцов.

— Из клуба.

— По поводу денег?

— Нет.

— Деньги для вас приготовлены, — холодно сказал Скворцов, — вы можете их получить.

— Мы пришли не за деньгами.

— А за чем же?

— Нам нужно ее видеть.

— Я же вам сказал, что нельзя.

— Простите, — вдруг вмешалась Лена, — а вы, собственно, кто?

— Кто, я?

— Да.

— Я ее дядя-я, — неприятно улыбаясь, сказал Скворцов. — Она просила меня передать вам деньги. Напишите мне расписку.

— Я не могу взять деньги, — сказал Ярофеич, — они списаны.

— Это ее не касается.

— Станный какой-то разговор, — раздраженно сказала Лена, — ведь мы вам объясняем, что деньги списаны.

— Списаны или не списаны, это все равно. Она просила меня возвратить вам казенные деньги. Будьте добры, напишите расписку.

— Что же делать? — спросил Ярофеич.

— Переведем деньги как добровольный взнос, — сказала Лена, — пиши, если ей это так важно.

Ярофеич написал, что от т. Старосельской получено в виде добровольного взноса сорок рублей. Скворцов прочел и вернул расписку.

— Не годится, — сказал он, — ваше дело, как проводить, а ее — вернуть казенные деньги. Напишите, что вами получены деньги, выданные под отчет т. Старосельской, — сорок рублей.

Ярофеич улыбнулся и написал.

Скворцов отсчитал сорок рублей и протянул их Лене, Ярофеич тем временем писал Антонине еще записку.

Когда они ушли, Скворцов развернул записку и прочел ее с начала до конца два раза. В записке было написано, что инцидент давно исчерпан, что Антонину ждут в клубе и что Ярофеич может ее устроить помощником библиотекаря на жалованье в тридцать семь

рублей тридцать копеек. Дальше говорилось, что ее будут ждать еще неделю, что приходить ей вовсе не обязательно, но что хоть письменное согласие она должна прислать. Работы бояться нечего — библиотekarь человек славный, быстро подучит. Записка кончалась так:

«Выяснилось, что все наши ребята к тебе отлично относятся, и, когда история с Гартман всплыла наружу, было устроено, даже не по моей инициативе, общеекружковое собрание. Ваш руковод выступил с речью. Группу Гартман высадили из клуба, ее саму вывели из ревизионной комиссии. В общем, все хорошо. Мы тебя ждали, а Костя-художник совсем иссох. Выздоравливай. Не понимаю, почему ты суешь нам деньги во что бы то ни стало».

Прочитав записку до конца во второй раз, Скворцов мелко ее изорвал и бросил клочки в помойное ведро. Потом он дочистил ботинки, вымыл со щеткой руки и, тонко засвистав, постучал в свою комнату.

Антонина одетая лежала на диване с книгой в руке. Ноги ее были покрыты теплым пледом. Она очень похудела за время болезни, но была красивой по-прежнему, только рот стал больше, да немного ввалились глаза.

Пока Скворцов вытирал за шифоньером руки, она спросила, с кем он разговаривал в кухне.

— А разве было слышно? — быстро спросил он.

— Конечно, было слышно, что с кем-то разговариваете.

— Да, разговаривал. Тут из твоего клуба приходили.

Антонина села.

— Кто?

— Не знаю. Какой-то лысый, в очках.

— Ну?

— Насчет денег.

Скворцов сказал, что в клубе целая история, Гартман, или как ее...

— Гартман, — нетерпеливо подтвердила Антонина.

— Гартман через ревизионную комиссию стала действовать. Они тоже чего-то рассердились.

— Кто они?

— Да вот лысый этот.

— Ну?

— Что — ну? Я его спровадил.

Скворцов поглядел на Антонину и усмехнулся.

— Взял с него расписку.

— Какую?

— В том, что он деньги получил сполна.

— А как же деньги?

— Я заплатил.

Антонина молчала. Скворцов поправил перед зеркалом галстук, манжеты, обдернул пиджак и сел в качалку. Антонина не сводила с него глаз.

— Вы заплатили свои деньги?

— Свои.

Он вынул из жилетного кармана расписку и бросил ее на диван.

— Да, это Ярофеич писал, — тихо сказала Антонина, — он сам приходил.

Скворцов медленно покачивался в качалке и курил.

— И больше ничего? — спросила Антонина. — И передать ничего не просил?

— Сказал, что тебя исключили из кружка.

— Меня?

— Тебя.

— Но за что же?

— Не знаю. За деньги, наверное.

Несколько секунд Антонина сидела молча, не двигаясь. Потом вдруг губы ее задрожали, она закрыла лицо ладонями и повалилась ничком на подушку. Она плакала, а Скворцов ходил по комнате и говорил:

— Ничего. Без них жили и жить будем. На такие дела надо смотреть просто. Ведь главное — что получилось? Я этому лысому-то говорю: «За что же исключать, если деньги возвращены?» А он отвечает: «Возвращены, товарищ, да поздно». Поздно ему, черту. Как так может быть поздно?

Антонина вдруг села на диване, вытерла ладонью слезы и подозрительно спросила:

— А почему он сюда не пришел?

— Почему? — спокойно усмехнулся Скворцов. — Потому что мне его пускать было не для чего. Я сразу узнал, что из клуба. А раз из клуба — значит, за деньгами. Ну, поскольку у тебя денег нет, а у меня есть — разговор короткий. Получите — и ауф видерзейн.

— И ничего больше не сказал? — спросила Антонина.

— Ничего.

— И не сказал, чтобы я зашла?

— Нет.

— Взял деньги и ушел?

— Да.

Антонина легла, повернулась лицом к стене и укрылась с головой пледом.

Скворцов вышел в кухню и сказал Анне Ефимовне, что, если на Тонино имя будут письма, ей

не передавать, так велел доктор.

— Волнует ее, — добавил он, — незачем.

На другой день вечером он зашел к Ярофеичу в клуб и передал на словах, что его племянница работать в клубе не будет, так как немедленно по выздоровлении уедет в деревню на отдых.

Ярофеич попросил передать ей письмо, которое тут же и написал.

Скворцов изорвал и это письмо.

Ужинал он в ресторане и всем приказывал пить за Антонину.

Все пили.

23. Мы поженимся!

Только на третьи сутки Скворцов явился домой. Он был совершенно трезв, гладко причесан, выбрит, напудрен. Из карманов его отличного английского пальто торчали горлышки винных бутылок.

— Здравствуй, — сказал он и, подойдя к дивану, пожал Антонине руку.

— Что это вы такой парадный?

— Некрасиво?

— Нет, ничего.

Вошла Анна Ефимовна. Скворцов разделся, набил табаком трубочку и сел на диване у ног Антонины. Анна Ефимовна взяла с подоконника клюкву и ушла варить Антонине кисель. Скворцов проводил ее недовольным взглядом.

Антонина отложила в сторону книгу, которую читала, и принялась перебирать бахрому пледа. Потом она взглянула на Скворцова и покраснела.

— Так вот, Тоня, — заговорил он, — давай решать.

— Что решать? — еще больше покраснев, спросила она.

— Известно что.

— Я не знаю, о чем вы...

— Все о том те. Я уж и винца принес.

Он поднялся, вынул из карманов пальто две бутылки и поставил их на стол.

— Ну?

Она молчала, потупившись и завязывая узелки из бахромы.

— Ты одна, — начал Скворцов, — жить тебе не очень хорошо. Верно? Ну, думала, с клубом выйдет, место там получишь...

— Я не о клубе думала, — сказала Антонина, — я о месте как раз меньше всего думала.

— Все равно. Место, не место...

Скворцов говорил долго, спокойно и убедительно. Она смотрела на него. Он сидел у нее в ногах, широкоплечий, бледный, гладко причесанный. Глаза его поблескивали. Иногда он сжимал левую руку в кулак — не то с угрозой, не то от волнения. В правой он держал трубку. Пахло сладким дымом и чуть-чуть углями от самовара, кипящего на столе. Потом Скворцов встал и прошелся по комнате.

— Ты меня не обвиняй, — говорил он, — я в своем характере не виноват. Жизнь такая. С детства в море хожу. Ну и научился. Ты думаешь, Татьяна одна? — Он усмехнулся. — Сотни их было. Э, брат, что говорить. Мы народ грубый, за красоту или еще там за что меньше всего думаем. Есть баба — и ладно. А теперь я иначе стал думать. — Он искоса взглянул на Антонину — она все еще вязала узелки из бахромы. — Совсем иначе. Я бы с тобой... Иначе бы мы жили...

Опять вошла Анна Ефимовна. Скворцов засвистел и заходил по комнате. Потом, закрыв за старухой дверь на задвижку, он присел на диван и тихо попросил:

— Выходи за меня, Тоня?

Глаза у него блеснули. Она молчала. Он оторвал ее руки от пледа и крепко сжал их, потом притянул ее к себе и поцеловал в сомкнутые губы.

— Но вы меня любите, — сказала она, — а я...

Она хотела сказать, что не любит его, хоть и хорошо к нему относится, что вряд ли удастся их жизнь, но подумала о своей пустой кухне, о парикмахерской, вспомнила окрик: «Мальчик, воды», вспомнила длинные, пустые вечера и ничего не сказала, только закусила губу.

— Чего ж тут молчать? — обиделся Скворцов, — Тут молчать, Тонечка, не приходится. Я для тебя старался, можно сказать, вытащил тебя из смертельных объятий, а ты помалкиваешь. Некрасиво, я считаю... Ну? Что же мы скажем?

— Как хотите... — шепотом сказала Антонина.

— Это разговор другой...

И, разлив вино, Скворцов позвал Анну Ефимовну. Старуха вошла, вытирая ладони о фартук. Скворцов зажег электричество и подал Анне Ефимовне и Антонине по бокалу.

— Выпьем, — сказал он каким-то особенным голосом, — выпьем, Анна Ефимовна, в честь Антонины Никодимовны Скворцовой.

Старуха всхлипнула, крепко обняла Тоню, поцеловала ее мокрыми губами в подбородок и неумело выпила вино.

— Дай же вам бог счастья, — сказала она и опять поцеловала Антонину, — жалко мне тебя, сироту. Молоденькая, а Леня принципиальный. Ты ей уступай, Леня, — обратилась она к нему, — девчонка ведь еще.

— Не беспокойтесь, мамаша, — строго сказал Скворцов, — я принципиальный там, где нужно, а где не нужно, я и не принципиальный.

Анна Ефимовна все плакала.

Когда она ушла, Скворцов сказал слышанную где-то фразу:

— Добрая старуха.

И сел на диван.

Но Антонина быстро встала, накинула на плечи плед и подошла к окну. Скворцов обнял ее за плечи и жадно поцеловал в шею.

— Мы скоро поженимся, — попросил он, — как только комнату найдем.

— Хорошо, — тихо согласилась она.

И он тотчас же начал поиски.

Ему удалось обменять кухню Антонины на хорошую комнату в небольшой квартире. Доплатил он немного. Комната была на Петроградской стороне, в огромном каменном доме с балкончиками и окнами без переплетов. Прежде чем обменять, он точно узнал, кто живет в квартире. Жильцы были пожилые люди — ничто не угрожало его спокойствию.

Два дня он ходил с Барабухой по магазинам и по рынкам — присматривался, подбирал обстановку, обои, портьеры, гардины. Изредка Барабуха пытался советовать. Тогда Скворцов поворачивался к нему и холодно говорил:

— Тебя-то, кажется, не спрашивают?

Барабуха смущался.

— Я так, — бормотал он, — может, вы не заметили.

На третий день Скворцов нанял ломовика, посадил рядом с ним Барабуху и велел ехать к Андреевскому рынку. Здесь был оставлен задаток. Ломовик и Барабуха, обливаясь потом, грузили на подводу отличный буфет черного дуба. Скворцов стоял поодаль в дорогом своем английском пальто, в шляпе, чуть сдвинутой на затылок, в модных башмаках, в замшевых серых перчатках, покуривал и покрикивал на ломовика и на Барабуху. Когда буфет погрузили, замотали рогожами и привязали веревками, Скворцов велел ехать на Садовую к мебельному магазину, матерно обругал за что-то Барабуху и вскочил на ходу в трамвай. В магазине был оставлен задаток за огромную — тоже черного дуба — кровать. Такие кровати Скворцов видел только в кинематографе на Западе. Почти квадратная, низкая, на квадратных тяжелых ножках, с высоким без всякой резьбы изголовьем, с волосяным валиком и великолепным матрацем, обтянутым тиком, кровать эта так понравилась Скворцову, что он, вопреки всем своим правилам, даже не попытался торговаться, а сразу оставил ее за собой. Хозяин, косоротый старик в тулупчике, скрипучим голосом посулил счастья молодожену и, как бы в подтверждение своих слов, с силою ударил по матрацу. Пружины ответили коротким, едва слышным гудением.

— Оркестр, — сказал хозяин и засмеялся.

Скворцов покрутил головой и тоже засмеялся.

С Садовой он приказал Барабухе ехать на Невский к Главному штабу.

Там погрузили круглый обеденный стол, шесть стульев, раму для ширмы, люстру с подвесками и две тумбы, — Скворцову хотелось, чтобы тумбы стояли по обеим сторонам замечательной кровати, как в кинематографе.

Кухонный стол, мягкое кресло и пепельница на ножке были куплены в мебельных рядах на Ситном рынке...

Когда приехали домой, уже наступал вечер. В комнате, только что оклеенной новыми обоями, курили два маляра. Скворцов осмотрел работу, велел еще повесить гардины и портьеры, расплатился и заговорил с полотером.

Барабуха и ломовик таскали снизу вещи. В комнате пахло клейстером, воском и сырým мочалом. За стеной играл граммофон.

— Ну, вот что, — сказал Скворцов Барабухе, — вы тут действуйте, а я пойду познакомлюсь с жильцами. Неудобно...

Объяснив, куда что ставить, он повесил пальто в наиболее безопасное место, обтер башмаки случившимся куском пакли и постучал в дверь, за которой играл граммофон.

— Войдите, — ответил спокойный и низкий голос. Он вошел.

Навстречу ему поднялся очень высокий, широкоплечий, уже седой человек, в очках, в хорошем, но немодном костюме, в белой мягкой рубашке, повязанной, по-старинному, черным бантом, в меховых туфлях.

— Зашел познакомиться, — сказал Скворцов, — новый ваш сосед...

— Очень рад. Пал Палыч Швырятых.

Они пожали друг другу руки и сели.

— Слышал — молодожены, — улыбаясь в усы, сказал Пал Палыч, — ну что ж, веселее в квартире будет, дети пойдут, все такое...

— До детей еще далеко, — тоже улыбнулся Скворцов.

— Не говорите...

Помолчали.

— Вид у вас усталый, — сказал Пал Палыч, — захлопотались, поди, с переездом... Может быть, стаканчик чайку?

— Спасибо...

Пока Пал Палыч устраивал чай, Скворцов оглядел комнату. Она была хорошо, со вкусом обставлена. В большом, о три окна, фонаре стояли дорогие тропические цветы. «Купить разве и мне таких?» — подумал Скворцов. Потом он поглядел на Пал Палыча, на его сильную шею, на серебристые волосы, на большие белые руки и подивился — странный человек. «Сколько ему лет? — подумал Скворцов. — Сорок или шестьдесят? Сорок, пожалуй, — решил он, — поседел рано...»

За вкусным, очень крепким чаем Пал Палыч спрашивал, где Скворцов работает, работает ли его будущая жена, как решили венчаться — церковно или гражданским браком? Слушая, он все время улыбался, но глаза его за очками были холодны и безразличны, хоть и выражали внимание. Когда Скворцов сказал, что венчаться решено в церкви. Пал Палыч сокрушенно покачал головой.

— Не стоило бы.

— Почему?

— Смешно.

— Что смешно?

— Да вся эта процедура смешна. Поп, как ворона, каркает. Столик этот дурацкий — аналой-то. Венцы. «Прииди, прииди, от Ливана невеста». Смешно, право. Супруга настаивает?

— Нет, — смущенно сказал Скворцов.

— Неужели вы?

— Я.

Пал Палыч потрогал пальцами пышные усы и вдруг весело засмеялся. Скворцов заметил белые и ровные его зубы.

— Позвольте, — все еще смеясь, говорил Пал Палыч, — вы ведь советский моряк... Чудеса, право... И много у вас таких христиан?

— Я не очень христианин, — сухо сказал Скворцов, — но мне нравится венчание. Красиво и торжественно.

— Ах, вы про это... Да, если про это...

Он спокойно и с видимым удовольствием смотрел на Скворцова.

— Когда же думаете перебираться?

Скворцов ответил.

Постучал Барабуха, просунул в дверь голову и сказал, что ломовик требует денег.

Скворцов попрощался с Пал Палычем и вышел.

Настроение у него вдруг испортилось: так приятно начавшийся разговор кончился несколько обидно, Скворцов чувствовал себя униженным, почти в дураках, хоть ничего особенного и не случилось.

«Будет под боком такая сволочь жить», — подумал он и ни с того ни с сего накричал на Барабуху.

Когда он уходил из новой квартиры, за дверью Пал Палыча опять запел граммофон. Скворцов прислушался и узнал песенку Арлекина:

О, Коломбина,

Верный, нежный Арлекин

Здесь ждет один...

«Ну и жди», — подумал Скворцов.

На лестнице Барабуха попросил у него денег, пожаловался, что разваливаются ботинки.

— Сколько?

— Десятку надо, — жалобно сказал Барабуха, — у меня вовсе ни копейки нет.

Скворцов дал ему три рубля.

Барабуха покачал головой, злобно взглянул в спину Скворцову, но ничего не сказал.

С утра на следующий день Скворцов ездил по своим приятелям и собирал собственные вещи, оставленные за время болезни Антонины то у одного, то у другого. Только одну ночь за все время он ночевал дома, остальные — у приятелей. Так ему казалось красивее, и так больше подходило для будущей жены.

Потом он заехал в порт, покрутился на корабле, рассказал пару анекдотов и отправился на новую квартиру.

Паркет блестел, люстра была уже повешена, вещи расставлены. Горбун-обойщик обтягивал кретоном ширму.

— Здорово, хозяин, — сказал Скворцов.

— Здравствуйте, — негромко ответил обойщик и грустно посмотрел на Скворцова.

Скворцов прошелся по комнате, постучал ногтем по новым штепселям, потрогал, хорошо ли натянут шнур, засвистал и сел на кровать. Посидев на кровати, он сел в кресло, положил ногу на ногу и вынул из кармана газету, но читать не стал, а только смотрел в нее, ощупывая телом — каково сидеть в кресле, читая, допустим, газету.

Сидеть было удобно.

Скворцов пожалел, что еще не перевезен шифоньер и, следовательно, нельзя посмотреть на себя в зеркало, какой это имеет вид: кресло, газета и он — в кресле, в своей комнате...

— Ну как, хозяин, хороша комната? — спросил он у обойщика.

— Хорошая, — грустно сказал обойщик.

— И ширма подойдет?

— Почему же не подойдет?..

Он опять засвистел. Тотчас же ему пришло в голову, что хорошо бы, пожалуй, было, если бы и полотер, и обойщик, и маляры, и монтер — все они работали вместе по отделке его квартиры, — тогда бы это имело красивый вид...

Ему захотелось пройтись еще по каким-то другим комнатам так, чтобы открывалась одна дверь, потом другая, потом третья и дальше были бы еще двери, а затем лестница, крытая ковром.

— Эх, красота, черт возьми, — пробормотал он и досадливо прищелкнул пальцами.

Собственно, у него были еще деньги для того, чтобы достать себе вторую комнату и даже обставить ее не хуже, чем первую, но он боялся это сделать, так как вторая комната могла навести некоторых людей на подозрение, а рисковать, конечно, не стоило.

Ему сделалось грустно.

«Не будет у меня второй комнаты, — насвистывая, думал он, — никогда не будет. То есть

вторая, может случиться, и будет. И третья будет. И кухня будет. А вот анфилады никогда не будет. Никогда я не пойду из двери в дверь по комнатам, по залам, по гостиным, по кабинетам...»

Он мысленно выругался и встал.

Ему нельзя было богатеть.

Конечно, он мог вкусно есть, мягко спать, это не запрещалось, потому что это можно было скрыть. Он мог купить себе даже обстановку, мог одеваться; он был бережлив — так по крайней мере о нем думали все. Обстановка, одежда — это все сбережения, но это не устраивало его.

Он хотел делать дело — большое и серьезное, с размахом, с риском, волнующим, но не очень опасным, такое дело, на которое стоило бы ставить и которое могло бы выиграть.

Но время было не то. Он понимал, что время не то, и боялся. Дальше контрабанды работа не шла. Это давало неплохие деньги, но заработок был незаконным, как воровство, это были ненастоящие деньги...

Он зависел от Барабухи.

Он зависел еще от каких-то ничтожных обстоятельств.

Он работал почти вором, и риск был тоже воровской, и судили бы его как вора — без уважения, с издевкой.

Раньше он мало думал обо всем этом.

Но теперь, перед женитьбой, он вдруг озлобился, затосковал, заныл.

Кровать, люстры, тумбы, буфет — это не устраивало его. Он где-то слышал о том, как специальные люди обставляют дома, виллы, замки. Ему хотелось такого. Ходить, приказывать, подписывать чеки...

Никогда не подписать ему чека.

Никогда не будут выслушивать его приказания.

Никогда...

Он остановился около сидящего на корточках обойщика и поглядел, как тот работает.

— Слабо натягиваете...

Обойщик поднял голову и с недоумением посмотрел на Скворцова.

— Как вы говорите?

— Я говорю, — раздраженно и медленно сказал Скворцов, — я говорю, что слабо натягиваешь. Сильней нужно...

— Хорошо, — сказал обойщик.

Скворцов пригладил волосы, надел шляпу и с раздражением оглядел комнату. Она показалась ему бедной, жалкой, дрянной. Нет, не этого ему хотелось.

24. Ты у меня будешь как кукла!

Как только доктор позволил Антонине выходить из дому, Скворцов нанял извозчика и отправился с ней по магазинам.

Был ясный, погожий день.

Красивая, лакированная пролетка, мягко покачиваясь на рессорах, плыла по Невскому. Подковы гулко шлепали о торцы. Скворцов, удобно устроившись в углу, покуривал и порою весело улыбался Антонине.

Возле Гостиного двора он велел остановиться.

Антонина не знала, куда и зачем они едут, а когда Скворцов объяснил ей свою затею, она сказала, что это вовсе не нужно. Он обозлился.

— Как не нужно?

— Мне ничего не нужно. Зачем?

— А я считаю, что тебе многое нужно. — Он презрительно улыбнулся и оглядел ее с головы до залатанных бот. — Многое. И пальто, и обувь.

Антонина молчала.

— Ты у меня будешь как кукла, — сказал он, — понятно? Или ты думала, что я буду франтом, а жена у меня замарашкой? Нет, не дожدهшься!

Он взял ее под руку и повел в галерею Гостиного. Она шла подавленная, бледная и с испугом поглядывала на Скворцова. Он курил трубку. Пальто его было расстегнуто. Поблескивала крахмальная манишка.

— Не надо много денег тратить, — попросила Антонина, — пожалуйста...

— Ладно, Хватит денег.

Она взглянула на него.

— Я много зарабатываю, — сказал он, — очень много. — И, подумав, солгал: — И еще недавно получил за изобретение.

— За какое?

— Изобрел одну штуку для котла и получил пять тысяч.

В магазине готового платья Скворцов, с недовольным и капризным лицом, долго выбирал весенний костюм. Маленький, седенький приказчик особой палкой снимал с крючков распялки, на которых висели костюмы. Скворцову все не нравилось. У Антонины он не спрашивал. Она стояла в стороне и старалась смотреть на все это как можно безучастнее.

Наконец он выбрал костюм, серое драповое пальто, красивый пуховый шарф и замшевые перчатки.

— Ну как, нравится? — спросил он у Антонины.

— Все равно, — ответила она и отвернулась, чтобы не видеть его довольного, весело

улыбающегося лица.

Пока Скворцов выбирал туфли, она думала о том, что теперь все кончено. Что кончено, она не знала, но эти слова — «все кончено» — как нельзя более подходили к тому, что она чувствовала. Ей ничего не было нужно. С печальным удивлением замечала она, что ей решительно неинтересны покупки, которые так радовали бы ее год назад.

— Так как же? — услышала она голос Скворцова.

— Что «как же»?

— Эти или эти?

Он держал в руках две разные туфли и раздраженно постукивал ими.

— Ведь ты покупаешь, — сказала Антонина, — не я. Покупай что нравится.

Скворцов выбрал черные лаковые, потом простые лодочки, потом велел отложить ночные кавказские, потом две пары летних и наконец фетровые боты.

В следующем магазине он купил ей халат — яркий, пушистый, разрисованный маками и листьями.

— Зачем это? — спросила она.

— Вырастешь — узнаешь, — ответил Скворцов.

Когда они вошли в бельевого магазин, ей стало неловко до того, что она покраснела. Скворцов заметил ее смущение и улыбнулся.

— Ничего, — сказал он, — я больше в этих делах понимаю, чем ты. Поди посиди вон там, на диванчике...

Она покорно ушла в темный угол магазина и села на клеенчатый диван.

Скворцов выбирал долго. Она слышала его веселый голос, смех приказчика, шелест материи. Потом Скворцов пошел к кассе.

— Ну, все в порядке, — сказал он, когда они выходили из последнего магазина. — Каких рубашечек купил — умереть! Дерут только, черти... А шляпу ты себе сама купишь, ладно?

— Ладно, — спокойно ответила Антонина.

Извозчик ждал их на углу Садовой и Гостиного двора. Пока Антонина усаживалась в пролетку и раскладывала поудобнее пакеты, Скворцов купил горячих московских пирожков.

— Ешь!

Она отказалась. Скворцов сел в пролетку, ткнул извозчика в спину и аккуратно развернул кулек.

— Не будешь есть?

— Не буду.

— Вкусные.

— Не хочу.

— Да ты понюхай только...

Антонина отвернулась. Пролетка ехала мимо Инженерного замка. В голых черных ветвях деревьев каркали и дрались вороны. Извозчик щелкал языком и подрагивал локтями.

— Последний ем, — сказал Скворцов, — пожалеешь.

— Ешь, — с раздражением ответила Антонина.

Скворцов съел все шесть пирожков и длинно, с удовольствием отрыгнул.

«Убежать, — вдруг подумала Антонина, — прыгнуть и бегом. Но куда?»

Потом ей стало смешно: поздно бежать, Скворцов уже потратился, вот сколько накопил вещей. Чтобы не думать, она считала до ста, до трехсот, до тысячи...

«Все кончено, — думала она, — все, все кончено.»

Ей стало легче. Она вздохнула и посмотрела на Скворцова, он ковырял в зубах большой заграничной зубочисткой.

Дома в новой комнате Антонина долго молча сидела в кресле, закрыв лицо руками. Скворцов надоедливо скрипел башмаками, что-то заколачивал и свистел. Наконец он заметил позу Антонины и спросил, что с ней.

— Не знаю, — вяло сказала она, — голова разбалчивается.

— Это от воздуха, — сказал Скворцов, — после болезни всегда так бывает.

Он подошел к Антонине и поцеловал ее в шею.

— Не надо меня целовать, — сказала она и спряталась в кресле так, чтобы Скворцов не мог достать до ее щеки.

Он решил, что она кокетничает с ним, и засмеялся.

— Все равно недолго теперь ждать, — сказал он, — прощай, прощай.

Плечи ее вздрогнули.

— Прощай, прощай, — шепотом повторил Скворцов, — это только вначале страшно.

— Уйди, — едва слышно сказала она.

— Сейчас уйду, — жадно сказал Скворцов, — а тогда не уйду.

— Уйди! — крикнула она.

— А ты не кричи.

Скворцов сел на подлокотник, прижал слабые плечи Антонины к спинке кресла и жадно поцеловал ее в губы.

— Пусти.

— Сейчас пущу, а тогда уж не пущу, — тихо повторил он, — не-ет, тогда не пущу.

Глаза у нее вдруг закрылись.

Он опять поцеловал ее в открытые губы.

Она не двигалась.

— Жду, жду, — говорил он. — Тоня, сколько я жду? Я, брат, каждый день жду. Тоня...

Она поднялась, пригладила волосы и посмотрела на Скворцова — грустно и устало. Он попросил ее переодеться.

— Все надень, — сказал он, — и рубашечку надень... Я там две рубашечки купил голубенькие. Такие рубашечки... Наденешь?

— Зачем?

— Ну, надень. Небось никогда такого не надевала. И халат надень. Ладно? А я выйду.

Когда он вернулся, она сидела в кресле и смотрела на него огромными, испуганными глазами. На ней был халат, новые чулки, новые туфли.

— Тонька! — сказал он.

— Что? — спросила Антонина.

— Идет тебе халат.

Он подошел к ней вплотную и дернул ворот халата. Зрачки его блеснули.

— И голубое идет.

Антонина вырвалась и запахнула на себе халат.

— Недотрога, — нараспев сказал он.

В середине апреля они повенчались. На свадьбе были только Пал Палыч — сосед, его пригласила Антонина, и Барабуха, который сразу же напился пьян и уснул в кухне на лозовых корзинах.

Пили мадеру, сладкую, пахнущую горелой пробкой, и ели кофейный торт.

Пал Палыч сидел в кресле и, внимательно улыбаясь, слушал Скворцова. Скворцов был в черной тройке, торжественный, красный и пьяный. Он много говорил, хвастался и больно целовал Антонину в шею.

В половине первого гость распрощался и ушел.

Скворцов затворил дверь на ключ, сел и принялся расшнуровывать ботинки. Антонина была за ширмой.

— Раздевайся! — крикнул он.

Она не ответила. Он погасил лампу и подождал несколько минут. Ничего не было слышно. Скворцов сбросил пиджак и пошел в темноте к Антонине, приседая и широко расставив руки, как делают бабы, когда ловят курицу, чтобы зарезать ее.

— Где ты?

Все было тихо.

Он зашел за ширму и схватил Антонину рукой выше локтя. Она не вырывалась...

— Ну, ну, — зашептал Скворцов, — чего ты?

— Не трогай меня, — тихо сказала она? — я не люблю тебя... Не трогай.

— А это теперь уже значения не имеет! — сказал он с пьяным смешком. — Теперь это факт из вашей автобиографии, а не из моей. Так что не будем тратить зря слова...

25. После свадьбы

Утром Антонина распахнула настежь окно. Затрещала бумага, с подоконника на пол ручьями посыпался песок. Было еще холодно. Она плотно закуталась в халат и долго дышала влажным весенним ветром.

Вошел Скворцов, в сорочке с круглым вырезом на груди, в подтяжках, с кастрюлей в руке. По дну кастрюли перекачивались яйца.

— Переварил, — деловито сказал он, — никак не научиться... Дай-ка хлеб. И рюмка там есть специальная, я купил.

Антонина вынула из буфета хлеб, соль, масло, сыр. Он спросил, будет ли она есть. Она сказала — не хочется. Скворцов сел к столу, широко расставил колени, потом подвинул стул поудобнее и разбил ложечкой скорлупу.

Антонина стояла у окна и смотрела, как он ел.

Он съел три яйца и четыре куска хлеба с маслом. Потом он отрезал, себе ломоть сыру и налил чаю. После он вдруг принялся объедать крем с остатков торта.

— Что смотришь? — спросил он, заметив что Антонина глядит на него. — Хочешь крему? — и он протянул ей на своей ложке большой кусок кофейного крема.

— Не хочу.

Причесавшись перед зеркалом, он оделся, подошел к Антонине, коротким жестом расстегнул на ней халат и поцеловал ее в грудь.

Она стояла бледная, с опущенными руками.

— Ну чего, цыпочка? — спросил он своим уверенным голосом. — Чем недовольная?

Антонина молчала.

— Ну ладно, отдохни, а я сметаюсь на свою коробку, расскажу насчет своей женки. Эх и женка у меня! Не понимаешь ты, Тоська, своей сладости...

Надев фуражку, он ушел.

Через несколько дней дворник принес открытку. Аркадий Осипович написал приблизительно, без номера квартиры, — муж Татьяны воспользовался случаем что-нибудь узнать о своей «беглой» и приехал на Петроградскую трамваем...

Дверь за дворником захлопнулась, Скворцов проснулся. Было послеобеденное время, за

обедом он сытно поел, выпил три рюмки английской, его потянуло вздремнуть. Проснувшись, он увидел в руке Антонины открытку.

— Откуда?

Она стояла и улыбалась.

Скворцов вскочил с кровати и попытался выхватить у Антонины открытку.

— От Аркадия Осиповича, — ответила она спокойным, улыбающимся голосом.

— От какого Аркадия Осиповича?

Испуг его прошел, как только он узнал, что открытка не из клуба. В первую минуту ему показалось, что Антонина улыбается именно потому, что открытка из клуба.

— Что за Аркадий Осипович? — уже лениво спросил он и лег в кровать.

— Был у меня один знакомый, — все еще улыбающимся голосом сказала Антонина, — ты его не знаешь.

— Какой знакомый? Я всех знакомых знаю.

— А его не знаешь...

— Дай-ка открытку.

Она молчала.

Скворцов нашарил выключатель над изголовьем, зажег лампу на тумбе и закурил. Антонина читала у окна и улыбалась.

— Что смеешься? — спросил Скворцов. — Смешно пишет?

— Смешно, — сказала Антонина.

— Дай сюда открытку.

— Не дам.

— Дай!

— Открытка мне, — дрогнувшим голосом сказала Антонина, — ты ее не получишь.

Скворцов положил трубку на мраморную доску тумбы и спустил ноги с кровати. Он был в носках, в шелковой рубашке, без воротничка. Волосы его смешно торчали.

— Дай открытку.

— Не дам!

Он встал с кровати и пошел к Антонине. Она быстро спрятала открытку на груди. Он молчал.

— Уходи, — с трудом сказала она.

— Дай открытку.

— Я тебе сказала...

Но он не дал ей договорить. Схватив ее за руку повыше локтя, он разорвал на ней блузку, рубашку и лиф... Открытка медленно упала на пол. Скворцов наклонился за ней, Антонина толкнула его, он потерял равновесие и упал. Она вдруг громко заплакала. Он встал, бледный от злобы, и ударил ее наотмашь по лицу так, что она пошатнулась. Потом поднял открытку и сел у лампы читать. Антонина молчала.

Прочитав, Скворцов оглянулся.

Она смотрела на него. Руки ее были прижаты к груди, широко открытые глаза блестели.

— Кошка, — сказал он и подошел к ней.

— Уйди!

Скворцов засмеялся.

— Это что за Аркадий Осипович? — спросил он снисходительным голосом. — Артист, что ли?

— Уйди, — повторила Антонина.

Он начинал терять терпение.

— Ну, брось, — сказал он, — что, в самом деле, повздорили и хватит...

Антонина молчала.

Скворцов попытался обнять ее, но она больно ударила его локтем в грудь и вырвалась. Он матерно выругался и опять подошел к ней.

— Что тебе нужно? — спросила она.

Скворцов стоял перед ней растерянный.

— Уходи, — сказала она, — или я уйду.

— Одурела?

Она молча достала из гардероба пальто, передела платье, причесалась и постояла в нерешительности, не зная, что делать дальше. Потом она увидела Скворцова в зеркале: сунув руки в карманы штанов, он глумливо улыбался. Она надела пальто и пошла к двери. Скворцов окликнул ее, но она не оглянулась. Он окликнул ее во второй раз. Она пошла быстрее. Ей нужно было двигаться, идти, бежать...

Весь вечер она ходила по улицам и думала. «Ни за что, — говорила она, — ни за что».

Это значило, что больше не вернется к Скворцову. Вначале она была уверена, что никогда не вернется к нему. Но потом она с испугом вспомнила, что ей негде даже переночевать, что у нее нет ни копейки денег, что документы остались на полочке в буфете и что все вещи на ней принадлежат Скворцову. Но вслед за этим она представила себе его лицо, это выражение, с каким он ее встретит, и опять сказала:

— Нет, нет, ни за что, ни за что...

Было мозгло. Фонари, раскачиваемые ветром, скрипели и мигали. На проспекте Красных Зорь к ней пристал пьяный толстяк в кубанке и в пальто колоколом. Она убежала от него, зашла в ворота чужого дома и там отдышалась.

«А дальше что? — думала она. — Через час, через три часа, ночью? Пойти к Рае? Нет, она уехала. К Вале? Не надо. Куда же мне пойти, куда? Наступит ночь, погаснут фонари, никого на улицах не будет... Что же делать?»

Она пошла на Невский, но не дошла и повернула обратно.

Когда она отворила дверь, Скворцов, лежа на кровати, читал «Вечерку». В комнате было полутемно, горела лампа под густым синим абажуром. Пахло табаком.

Антонина сняла пальто, ушла в ванную и заперлась на крючок. Там она просидела до поздней ночи, ни о чем не думая, не плача, усталая, разбитая, побежденная.

Потом она тихонько разделась и легла. Скворцов спал, ровно посапывая носом. Нечаянно она дотронулась до него. Он открыл глаза, поглядел в потолок, потянулся с хрустом и спросил:

— Все в порядке?

Она молчала.

Скворцов погасил лампу. Антонина отодвинулась от него и закусила зубами подушку.

— Брось ты играть! — зашипел он. — Тоже мне олимпийские игры!

Он наклонился над ней, вырвал подушку у нее из зубов, повернул лицом к себе и больно поцеловал в рот.

Она закрыла глаза.

Потом, сытым голосом, он философствовал.

— Женщина без мужика не может, — говорил Скворцов, позевывая. — Ну обиделась, ну ушла, а дальше что? Обратно — другой мужик или панель. «Клуб! Аркадий Осипович!» — думая, что передразнивает жену, говорил он. — Ах, ох! А на поверку? На поверку, цыпочка, держись за Леонида. Ясно тебе — или еще побеседуем?

Она лежала, поджав колени к подбородку, и старалась не слушать. «Все кончено, — как тогда на извозчике думала она, — все, все кончено!»

Ей казалось, что всегда будет так, всю жизнь. Ничто никогда не изменится. Пройдет молодость, а там, пожалуй, будет все равно. Скорей бы наступило это «все равно».

Все в Скворцове было ей отвратительно.

Если когда-то, на мгновение, он показался ей «ничего, все-таки добрым», то теперь она испытывала к нему только одно чувство — всегда, просыпаясь и засыпая, провожая его в плавание и ожидая его возвращения, она испытывала одну только ненависть.

Ее раздражало само его присутствие.

Она не могла видеть, как он ел, как пил чай, как облизывался, как завязывал галстук, как чистил ботинки, как улыбался.

Ей были противны его жесты, его голос, его гладкие волосы, его маленькие руки, его наглый взгляд. Никакой смелости не было в нем, ей доставляло удовольствие замечать, что он труслив, прожорлив, скуповат, мелочен, жесток, глуп. Это оправдывало ее в собственных

глазах. Она могла не любить никого. Она должна была его не любить.

Он был до того ей противен, что она старалась выходить из комнаты, когда он обедал, или завтракал, или ужинал. Вечером, если его не было дома, она старалась не думать о том, что он все-таки вернется. А когда он возвращался, она притворялась, что уже спит: это давало ей возможность не разговаривать с ним, пока он раздевался.

Она отворачивалась, когда он целовал ее.

Скворцов понимал все, и глаза его порою белели от злобы.

Уже полгода она была его женой, она принадлежала ему, она была покорной, почти вещью, и все-таки она не стала ему ближе, чем в тот день, когда он заставлял ее примерять покупки.

Покорно принадлежа ему, она оставалась чужой.

Ничто не пробудилось в ней, она оставалась такой же, как была девушкой. По-прежнему нежна и слаба была ее шея. Как тогда, дрожали у нее порой губы. Как тогда, она прижимала руку к груди и подолгу ходила по комнате. Как тогда, вдруг горячо и страстно вспыхивали ее зрачки, но Скворцов знал, что эта горячность, и страсть, и нежность, могут относиться к чему угодно, только не к нему.

Она не любила его, он понимал это. Но она была покорной — это все же устраивало его. Он мечтал о том, как будет она спать подле него, как будет он целовать ее запекшиеся во сне губы, ее слабые, беспомощные плечи...

Это сбылось. Может быть, он ошибся? Может быть, она такая и нечего от нее требовать?

Так было удобнее думать, и он решил, что это именно так.

Он уже изменял ей, не часто, но и не редко. Ему даже не в чем было оправдываться перед собою: он ошибся в Антонине, вот и все.

А когда она сказала ему, что беременна, — он поморщился и ничего не ответил.

Дай гневу правому созреть,

Приготовляй к работе руки,

Не можешь — дай тоске и скуке

В тебе копиться и гореть... А.Блок

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Будьте знакомы — Пал Палыч!

Смолоду Паша Швырятых был широк в плечах, статен, чрезвычайно вежлив и независимо любезен. Лакейский номер он носил словно орден белого орла — так по крайней мере казалось посетителям.

Когда ему исполнился двадцать один год, хозяин ресторана назвал его в присутствии директора-распорядителя Пал Палычем и назначил старшиной лакеев в угловом, «золотом» зале. Пал Палыч поблагодарил так равнодушно, что хозяин не понял — доволен Швырятых или очень недоволен.

Его ценили старые почтенные посетители. В его присутствии совершались грандиозные по размаху и чудовищные по суммам сделки. Два, три, иногда четыре человека в глухих сюртуках, едко подшучивающие друг над другом, запивали очередную «комбинацию» бутылкой мартини, выкуривали по черной тонкой «виргинии» и уходили довольные собой, тихим отдельным кабинетом, молчаливым Пал Палычем. Умел он и покормить, как нигде и никто, в соответствии со вкусом, возрастом, состоянием пищеварительного тракта того или иного гостя. Не тыча карточку, не рекомендуя новое блюдо, не болтая о погоде, не слишком даже священнодействуя, он накрывал на стол, подавал, откупоривал бутылки и никогда не лез с зажженной спичкой, не лебезил, не угодничал.

На него можно было вполне положиться. И миллионер, и его этуаль, и генерал свиты его величества в штатском, и министр финансов, и железнодорожный туз заказывали по телефону отдельный кабинет непременно с Пал Палычем. Секретная полиция не могла состязаться с этими тузами: они платили сотенные, а жандармский полковник — трешницы. И потому на вопрос, с кем было в кабинете номер четыре некое лицо, Пал Палыч лишь пожимал своими широкими плечами и не стеснясь позевывал. Запонки на его рубашке были с бриллиантами, а жандармский полковник носил какие-то хризолиты.

Золотая петербургская и московская молодежь побаивалась Пал Палыча и заискивала перед ним. Иногда он записывал на какого-нибудь графчика год, полтора, два. И поражал его в самое сердце ничтожностью общей суммы долга — не приписывать же, в самом деле, не марасть себя, рассуждал Пал Палыч. Получив наследство, молодой, хороших кровей жеребчик вручал Пал Палычу сумму значительную, намного превышавшую запись. Пал Палыч, не считая, совал деньги в карман фрака, не благодарил, чувствительные сцены были не в его характере. Его сиятельство более не изменяло Пал Палычу, риск, разумеется, окупался многократно.

Лицо и прическу Пал Палыч сделал себе в самом начале своей карьеры, в скромном, английского типа ресторане. От рождения он был немного близорук, это только помогло ему — очки на молодом, длинном и белом лице выгодно отличали его от остальных лакеев. Он не был похож на них ни манерами, ни тоном, ни внешностью. Никто не называл его «человеком», «любезным», «милым» — это было бы дико и, пожалуй, смешно, а смешными баре, как известно, бывать не желают.

С лакеями Пал Палыч разговаривал холодно, коротко и резко, брезгуя их обществом и презирая их радости и горести, их беды и надежды. Ни разу не ходил он ни к кому на именины, на крестины, на свадьбу, даже на похороны не бывал. Он не пил, не курил, не воровал денег у пьяных гостей, не приписывал к счетам, не делился со своими сотоварищами размышлениями о кутежах и «чертогонах», о букетах роз из Ниццы и кулонах с бриллиантами, об автомобилях и рысаках, об акциях на нефть и каменный уголь...

Он жил сам по себе, отдельный человек, одержимый своей тайной, нелегкой страстишкой...

И любви он не знал. На Васильевском, в маленьком деревянном флигеле по Косой линии, жила его содержанка, неудачливая француженка — бонна Адель. Вечно она возилась с

птицами. Пал Палыч был добр к ней, и она никогда ему не изменяла. К тому же она великолепно крахмалила белье — это, пожалуй, было самым существенным в их отношениях.

В тысяча девятьсот восьмом году его пригласили в новый ресторан. Он потребовал годовую заграничную командировку для усовершенствования. К этому времени он уже свободно изъяснялся по-английски, по-немецки, по-французски — тут тоже помогла Адель. В Берлине он месяц присматривался к постановке ресторанный дела в «Отель Адлон», из Берлина он уехал на Ривьеру, и за три месяца побывал в наиболее фешенебельных местах Французской и Итальянской Ривьеры и на Корсике. Никто не знал, кто он такой на самом деле. У него были документы на чужое имя — он изображал богатого русского гурмана, втирался в доверие шефов кухни, постигая тайны закрытых блюд, подолгу просиживал в ресторанах, а по ночам записывал все достойное внимания в толстую кожаную тетрадь. Потом он поехал в Лондон и поступил лакеем в «Крайтириен». Там он прослужил полгода. В Петербург он приехал осенью, побрился, принял ванну, переоделся и на лихаче поехал в ресторан. Двое суток он почти не выходил из кабинета хозяина. На третий день план переоборудования кухни, системы обслуживания посетителей и нового декорирования главного зала был закончен. Отслужили молебен. Пал Палыч стоял во фраке, в лаковых туфлях, рядом с хозяином, спокойно смотрел на священника. Хозяин размашисто крестился и вздыхал.

Успех нового дела ошеломил хозяина.

Пал Палыч был старшим метрдотелем и получал шесть тысяч в год. Его приглашали к Донону, к Контану, на «Виллу Родэ». Он докладывал хозяину. Хозяин прибавлял ему жалованье, и Пал Палыч оставался.

Через два года он опять уехал, но уже в Америку. Когда он вернулся, хозяин умер, и вдова со слезами просила его войти в дело. Он отказался наотрез. Он хотел служить. Тогда она уговорила его принять директорство. Он ездил в венской лаковой коляске покойного хозяина — это было желание вдовы, — но по-прежнему ничего себе не позволял: не курил, не пил и жил всего в двух комнатах.

В тысяча девятьсот тринадцатом году к нему домой заехал делец и маклер Вениамин Леопольдович Шумке. Был теплый летний вечер, Шумке сосал черную сигару, зычно хохотал, хлопал Пал Палыча по колену и уговаривал до поздней ночи. На следующий день Пал Палычу вручили задаток — пять тысяч рублей. К осени хозяйка была разорена до нищеты и продала ресторан Шумке. Пал Палыч получил двадцать тысяч и поступил директором-распорядителем к «Донону».

Все тайное, как известно, становится явным, и комбинация Пал Палыча с Шумке довольно скоро получила огласку. Греясь на солнышке в Александровском саду, он услышал «подлеца» от старенького буфетчика — своего бывшего подчиненного. Размахнувшись, он ударил старичка в зубы с такой силой, что тот упал. Разумеется, был составлен протокол, но Пал Палыч выглядел к этому времени барином, а буфетчик — выпивошкой-босяком, и дело не дошло даже до мирового. В полицейском участке хорошо понимали, что Пал Палыч по роду своих занятий должен давать кулакам волю...

Началась война. Опять приехал Шумке. Пал Палыч принял его предложение и пошел на следующий день по назначенному адресу. Ему отворил разбитной голубоглазый денщик. Седоусый, очень вежливый человек дал ему задание по шпионажу — он должен был посещать кабинеты, в которых пьянствовали высшие чины, приехавшие из действующей армии в отпуск; он должен был завязать связи с женщинами, ему предоставлялись большие деньги и совершенная самостоятельность.

Пал Палыч прямо от седоусого поехал в жандармское управление и заявил, что имеет дело,

не терпящее отлагательства. Молодой щеголеватый адъютант исчез за портьерой. Через несколько минут Пал Палыч был принят. Его усадили в кресло. Очень красивый, надушенный, с манерами решительного человека полковник, слушая, глядел Пал Палычу в лицо не отрываясь. Было тихо, полутемно, жарко, сквозь опущенные шторы едва просачивался свет. Пахло коврами и лаком от новой мебели. Когда Пал Палыч кончил, полковник пожал ему руку и решительным тоном произнес что-то не очень понятное, но явно поощрительное. Пал Палыч поднялся. Полковник остановил его и опять указал на кресло. Довольно долго беседа шла о войне, о родине, о солдатах. Потом полковник перегнулся к Пал Палычу через стол и предложил ему сотрудничество. Пал Палыч холодно, но вежливо отказался. Полковник нажал. Пал Палыч откинулся в кресле и сделал усталое и не совсем понимающее выражение лица.

Вскоре его постигло первое несчастье: скончалась Адель. Он не любил ее, как вообще никого никогда не любил, но оставаться без нее было очень тяжело, велика была сила долголетней привычки.

Ее птиц и ее тропические растения он перевез к себе на Гороховую. Птицы дохли одна за другой, он не жалел их, они слишком назойливо чирикали и пели.

Шли годы. Пал Палыч не старел, не менялся. Он жил скромно, любил простую, здоровую пищу — гречневую крутую кашу, творожники, наваристые щи из русской печи, бараний бок... По возможности рано ложился спать, вставал до света, брал прохладную ванну, растирал тело на английский манер — двумя щетками. Во всем он был умерен и строг к себе, ничем никогда не мучился, размышлял насмешливо и спокойно.

Все было просто для него; людей он знал голыми, они были дрянью, быдлом — и министры, и знаменитые художники, и важные генералы, и философы, и артисты, и писатели, и священники, и архитекторы, и фабриканты, и подрядчики. Жадное, бесстыдное зверье! Надменные с малыми мира сего, они становились ничем в присутствии сильнейших, поистине рыцари чистогана, глупые обжоры, надутые индюки, ничтожества, пьяницы и развратники. Он даже не презирал их, они не стоили этого, он просто относился к ним как к вещам.

Только однажды, и то ненадолго, Пал Палыч вдруг призадумался и несколько иначе взглянул на нескольких подчиненных ему людей. Было это так: с некоторых пор в раздаточной «Виллы Родэ», где он тогда заменял господина директора, Пал Палыч стал замечать незнакомых людей. Они приходили черным ходом, шептались возле юноши-гарнирщика, там, где в судочки красиво подсыпался зеленый горошек, картофель «Пушкин», морковь, стручки, передавали друг другу то ли какие-то книжки, завернутые в бумагу, то ли тетрадки и исчезали. С ними не раз видел он повара первой руки, гордость ресторана — Николая Терентьевича Вишнякова, человека трудного, в некотором роде даже мучителя, но тонкого мастера своего дела. Хмурый Вишняков тоже шептался и до того однажды дошептался, что самому Сумарокову-Эльстону подал брюссельскую капусту — п е р е с о л е н н у ю. Пал Палыч сказал Вишнякову резко:

— Я этого не потерплю.

На что тот, сощурившись, ответил:

— Мне на ваше непотерпение на...

Все в кухне замерли. Побелел и Пал Палыч. Но повар Вишняков изгнан не был. И не потому, что Пал Палыч его пожалел, а по иной причине. В тот же богатый происшествиями вечер, но чуть пораньше Пал Палыч был приглашен к уже знакомому жандармскому полковнику для конфиденциальной беседы. Полковник постарел, пожелтел, попахивало от него водкой, а не духами, как в прошлое время. Постучав полированным ногтем по крышке портсигара, жандарм задумчиво и не торопясь поведал Пал Палычу совершенно невероятную историю:

оказалось, что в раздаточной «Виллы Родэ» теперь явка каких-то революционеров, что есть в ресторане лакеи, работающие на революцию и с интересом слушающие всякие разглагольствования господ Пуришкевича, Милюкова, Родзянки, Монасевича-Мануйлова, Рубинштейна и разных иных посетителей отдельных кабинетов роскошного ресторана. В организации этой не последний человек — повар Вишняков. Так вот, нынче же придут к Пал Палычу новый лакей и новый раздатчик, их нужно принять на службу. Эти люди есть правительственные секретные агенты, и полковник надеется, что господин Швырятых окажет им всевозможное содействие в их трудной работе.

— Окажу! — спокойно и солидно произнес Пал Палыч. Полковник наклоном головы дал понять, что беседа кончена.

Вернувшись в свой кабинет, Пал Палыч велел позвать к себе Вишнякова, запер дверь и спросил:

— Вам, Николай Терентьевич, известно ли, что революционеров, бывает, и вешают?

Вишняков ответил, что известно.

— А для чего это им нужно? — поблескивая очками, осведомился Швырятых.

— Этого вам не понять, господин! — последовал ответ. — Ваша дорога жизни определенная, и не об чем нам с вами рассуждать. А ежели желаете меня выгнать — дело, конечно, хозяйское.

Пал Палыч смотрел на Вишнякова твердым взглядом, стараясь скрыть изумление. Тот молчал, крутя пальцы на животе. Тогда Пал Палыч рассердился и рассказал Вишнякову о беседе с жандармом, о новом лакае и о новом раздатчике.

— А это мне без интересу! — нагло притворяясь дураком, ответил Вишняков.

— Мне тоже! — угрюмо сказал Швырятых. — Но чтобы эти революции кухонные прекратились. У нас заведение наипервейшее в Петрограде, и нам ваши бомбы и прокламации ни на кой черт не нужны. Идите!

Вишняков ушел.

Вскоре его забрали. Забрали и четырех лакаев. Забрали и юношу-раздатчика. Судили их военным судом, и Пал Палыч вызван был в качестве свидетеля.

— Ни в чем предосудительном замечены они мною никогда не были, — твердо и жестко сказал Пал Палыч, обращаясь к председателю — жилистому, огромному генералу, частому в былое время посетителю «Донона», куда приглашалась к нему в кабинет молоденькая этуаль, по кличке Золотая. — Работали вышеупомянутые преступники честно, про государя и отечество никаких слов я от них недозволенных никогда не слыхивал, религиозность тоже в упреках не нуждается...

— Вот и врешь, Пал Палыч! — перебил его вдруг Вишняков, сидевший на своей скамье под обнаженными саблями. — Врешь! На годовом молебне ты мне сам замечание сделал, что я не крещусь и языком щелкаю...

Председательствующий сердито зазвонил.

Пал Палыч покраснел пятнами и надолго задумался. Витков и четыре лакаея с Витей-раздатчиком никак не шли из головы. Зачем им каторга? Чему они смеялись при такой страшной беде? Какая им польза от всего этого заворота?

В тысяча девятьсот семнадцатом году страстная мечта всей его жизни была близка к завершению. На текущем счету, в хорошем, солидном банке, лежало восемьдесят семь тысяч рублей. Оставалось тринадцать. Еще тринадцать тысяч — и он уехал бы прочь из Петрограда, надолго, навсегда. Он ненавидел свою работу, людей, с которыми его сводила судьба, самый город. Крестьянин по происхождению, он всегда мечтал о деревне. И в тот же день, когда на текущий счет — еще мальчишка тогда — положил свой первый рубль, ему показалось, что мечта начинает осуществляться. Он служил в трактире. Пьяные купцы мазали ему лицо горчицей. «Ничего, — думал он, — ладно, погодите!»

Потом он положил пять рублей, потом десять, потом сто, потом тысячу. Уже можно было купить хутор на Украине, где Псел, Пятихатка, Коростень, Полтава, где вишневые садочки и девушки поют песни про Днепр, но Пал Палыч был тверд и не поддавался искушению. Еще мальчишкой он выдумал цифру — сто тысяч. Еще мальчишкой он назначил себе быть помещиком. Но вначале помещик представлялся ему чем-то вроде царя. Потом появились реальные цифры. Ночами он читал о сельском хозяйстве. Постепенно сто тысяч оказались разложенными — на мельницу, на имение, на земли, на скот, на машины.

По ночам ему снилось: горячая мука-полевка, почти золотая, сыплется из тряского желоба в ларь. Снились мельники — белые, почтительные толстяки в колпаках, по немецкой мукомольной книге. Представлялся сад, клумбы, куртины, розовые кусты, огромный, блестящий под солнцем стеклянный шар на шесте. Коляска — английская, желтая, с ацетиленовыми фонарями, лошади — в наглазниках, с подстриженными хвостами... Он сам — в чесуче, в легком дорожном пыльнике, прямой, загорелый, строгий. Или — река ночью, дымный костер, туман, рваный и белый, тонкий писк комаров, всплески весел на рыбацкой лодке, вкусный чай с медом...

Потом оказалось, что на восемьдесят семь тысяч ничего не купить.

Пал Палыч ждал — спокойно, даже строго. Все должно было образоваться.

Но ничего не образовывалось. Он заведовал столовой, в которой ответственных работников кормили селедочным супом и американскими бобами. Для того чтобы ни о чем не думать, он много работал: доставал сервизы, соусники, салфетки. Организовывал симфонический оркестр. Это никому не было нужно, над ним посмеивались. Понемногу он стал чудачком. Наконец он понял все.

Он понял, что произошло несчастье, огромное, непоправимое. Он стал бедняком. До конца своей жизни он должен будет работать. Всегда. Каждый день.

И вдруг он отыскал виновника: это был Вишняков, проклятый повар, вот кто все это устроил. Сейчас, наверное, рад-радешенек. И эти лакеи — бездомные мерзавцы — тоже. И щенок раздатчик. Небось комиссарят, распоряжаются, ходят в красных галифе, разъезжают в автомобилях, повесили на себя гранаты и револьверы...

Но это оказалось не так: на Шамшевой, поросшей травой, тихой улочке, встретил он как-то Вишнякова. И ужасно изумился: Николай Терентьевич маленько исхудал, костюмишко был на нем обтрепанный, шляпенка засаленная. В кошелочке нес Вишняков молодую крапиву.

— Вот сварю щишек, — сказал он с усмешкой. — Пойдем отобедаем, Пал Палыч, а? По стопочке опрокинем?

— А вы... что ж? Не комиссаром? — довольно-таки глупо спросил Швырятых.

— Какой же я комиссар? — тоже удивился Вишняков. — Я повар.

— А Виктор где же? Раздатчик гарнирный?

— Раздатчика нашего убили, — задумчиво и невесело сообщил Вишняков. — На пересыльной убили. Бунтишко там у них заварился, парень он молодой, горячий, сердцем чистый, — вот и налез на пулю. Так-то, Пал Палыч...

— Тогда для чего же вам это все было? — даже возмутился Пал Палыч. — За каким бесом? Какой профит для себя вы приобрели?

Повар усмехнулся неласково и обидно, встряхнул свою кошелку и исчез за углом Шамшевой улицы.

Две недели Пал Палыч сидел дома не выходя. Потом начал курить — это оказалось приятным и развлекающим занятием. Попивал вино. Ходил он теперь с тростью, читал внимательно газеты, сидя по утрам на бульварчике, вдумывался в слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Первым заговаривал с незнакомыми людьми. Теперь он знал, что много прожил и много видел, а все стороной — без вкуса, без радости, без души.

Знал и жалел.

Жизнь предстала перед ним иной, неожиданной стороной. В часы заката он ходил на Острова, на Стрелку и подолгу там сидел, опершись подбородком о набалдашник трости. Медленно плыли облака. Наступала легкая, нежная, грустная ночь. Плескалась вода о камень. Где-то сзади, в аллеях, шипели велосипеды, туда доносился девичий смех — радостный, ожидающий. Пары ходили обнявшись. Как-то Пал Палыч видел юношу, который долго целовал девушке руки, то одну, то другую. Девушка плакала беззвучно и горько. Пал Палыч прошел мимо, потом вернулся, опять прошел. В нем что-то открылось. Он сел на свою скамью и заплакал без слез, трясаясь и закрывая рот ладонью, чтобы не закричать. «Боже мой, — думал он, — боже мой, я мог умереть, просто-напросто умереть — и ничего, ничего не осталось от меня...»

Все люди, которых он видел в своей жизни, показались ему другими, чем он о них думал. Он их не знал. Он ничего не знал, Видел ли он Ривьеру, Лондон, Монако, Сан-Франциско? Нет, конечно, нет. А Париж? Нет. А песни в Италии слышал? Что-то осталось, какой-то дальний шум — точно грохот промчавшегося эзда. И все, и ничего больше... А розы в Ницце? Да, он что-то заказывал, какие-то сорта по бумажке.

В тысяча девятьсот двадцать пятом году он служил в ресторане на Петроградской стороне, Жизнь его странно изменилась. Летом на заре он уезжал в Озерки и испытывал удовольствие от того, что ходил по мягкой, теплой земле. Он стал разговорчивым, простым в обращении, легким, даже веселым. Он что-то! Л, гулял по аллеям, разговаривая с чужими людьми, срывал листки клена и, положив лист на кулак, щелкал ладонью, как добрый чудаковатый дядя.

Ничто не занимало его, кроме самого себя, ради себя он стал веселым. Так ему было приятнее. Ради себя он разговаривал с чужими детьми — это веселило его. Ему казалось, что он только что получил большой неожиданный подарок. И только иногда он вспоминал свои деньги — те тысячи.

2. Стерпится — слюбится!

Вначале ему было приятно разговаривать с Антониной. Он заходил к ней в те часы, когда Скворцова не было дома, садился кресло, смотрел, как она хозяйничает, и, поглаживая усы, спрашивал, хорошо ли живется. Она говорила, что хорошо, и украдкой вздыхала. Иногда Пал

Палыч шутил — она смеялась, откидывая назад голову и блестя глазами. Он смотрел на нее с удовольствием, потом с радостью, потом с восхищением. Он не понимал, что происходит с ним, и нисколько не задумывался. Антонина радовала его девичьей своей чистотой, легкой походкой, песенками, которые она пела за стеною, горем, — он видел, что ей плохо, жалел ее и радовался ее слезам. Все в ней трогало его и восхищало.

Потом он узнал, что она беременна, и стал присматривать за нею, чтоб не носила дров, не поднимала тяжелого, не вздыхала так часто и так горько.

— Что это вы, право, Тонечка, — говорил он, — вздохи да вздохи, словно старая старуха. Потерпите: стерпится — слюбится. Скворцов ваш — человек недурной, молод, конечно, еще, оттого и верчение некоторое в мыслях. Пройдет! А вам нервничать в вашем положении никак не приходится. Поберегите себя и будущего малютку...

Антонина отмалчивалась.

Ей было тоскливо. Он знал это и развлекал ее всеми силами, даже в шашки с ней играл. Когда Скворцов уходил в плавание, Пал Палыч частенько водил Антонину в кино — на боевики: «Доктор Мабузо» со знаменитым и загадочным Конрадом Вейдтом, «Индийская гробница» — несколько серий, «Третья мещанская». Вначале она ходила охотно, потом вдруг наотрез отказалась.

— Почему? — удивился Пал Палыч. — У меня и билеты уже взяты...

— Так просто...

Погодя он понял сам — почему. Она была гордой женщиной и чувствовала, что чужой человек развлекает ее из жалости. Ей хотелось ходить с любимым мужем, ей хотелось внимания любимого человека. Скворцов был мужем, но нелюбимым, невнимательным. Ей было горько и обидно.

Заглянув как-то на досуге домой к Вишнякову, Пал Палыч: поразился обилию книг у бывшего своего повара.

— Покупаю, читаю, — ворчливо сказал Николай Терентьевич. — Вот-с, например, графа Льва Николаевича Толстого, пожалуйста, сочинения. Вы небось в погоне своей за капитальцем до сих пор не удосужились? Рекомендую...

И, перелистывая том, добавил:

— Не человек был, а нечто куда большее. До ужаса даже. Допустим, роман «Воскресение». В остроге никогда граф не сживал, хоть и имел желание пострадать, однако острог и кандалный путь описаны с точностью даже пугающей. Откуда знает?

— Я возьму? — робко попросил Пал Палыч.

— Возьмите! — недовольно разрешил повар. — Хотя такие книги в собственности иметь надо. Вот у вас палка с золотым набалдашником, а библиотечки никакой не имеете. Нехорошо.

Пал Палыч виновато вздохнул, но про себя подумал с усмешкой: «Не оттяпали бы вы у меня мои денежки, была бы у меня в имени библиотека! Учителя!»

Читать Антонина отказалась.

— Да почему же? — почти рассердился Пал Палыч. — Это знаменитая книга, энциклопедия русской жизни! Нельзя, Тонечка, так, право. Никуда не ходите, не читаете, знакомых, подруг

нету. Ведь так от скуки и помереть недолго...

— Что ж, лучше будет! — невесело усмехнулась Антонина.

— Вы — всерьез?

— Шучу! Ах, да оставили бы вы меня в покое, Пал Палыч, с вашими беседами!

Пал Палыч прошелся в недоумении по коридору и лег у себя на диван.

Как-то после очередной ссоры со Скворцовым Антонина прибежала к Пал Палычу. Он только что умылся и вытирал руки полотенцем.

— Что такое?

Она рассказала.

— Только и всего?

— Только и всего.

— Лягте-ка, голубушка, — сказал Пал Палыч, — полежите на диванчике, я вас пледом укурую, валерьянкой напою. Куда это годится так дрожать? Чай пили?

— Нет.

— Надо выпить.

— Я лучше пойду.

— Такой дрожащей пойдете? Нет, голубушка, не пущу.

— Почему же?

— Потому что к мужу, дорогая моя, надо после таких штук королевой приходиться, в полном и настоящем виде, а вы овечкой придете, кающейся грешницей, — прости, мол, меня, неразумную. Куда это годится? Он и возомнит о себе. Нет уж, отлежитесь у меня, а иначе не выпущу.

Антонина улыбалась, а Пал Палыч хлопотал возле нее, — делал он все ловко и неслышно, как фокусник: наливал чай, мазал хлеб маслом, резал колбасу, сыр.

— Как вы все умеете!

— А разве можно не уметь?

— Наверно, можно, если не умеют...

Весеннее утреннее солнце яркими и теплыми лучами заливало чистую комнату Пал Палыча, дробилось в гранях трельяжа, сверкало на серебре, на мельхиоровых подстаканниках, на круглых никелированных шарах кровати. Вероятно, от обилия света, воздуха и блестящих предметов казалось, что вся комната наполнена легким и прозрачным звоном.

Потом вместе они подошли к фонарю — у Пал Палыча была комната с фонарем в три окна, и Антонине непременно захотелось поглядеть из фонаря.

— Высоко как, — сказала она почему-то нараспев, — действительно, седьмой этаж. А у нас не разберешь — торчит брандмауэр, даже скучно как-то... И цветы поливать надо, — строго

добавила она, — смотрите, что делается, — хорошие фикусы гибнут. Вон пальмочка-то засохла. Все-таки умеете-умеете, а женской руки нету — сразу видно...

Пал Палыч промолчал.

Внизу — огромный, серый и чуть грустный — под бледно-голубым небом гремел Ленинград.

— А это что за улица? — спросила Антонина. — Зеленина? — И, не дожидаясь ответа, пропела:

Улица, улица,

Улица Зеленина...

— Не так поется, — поправил Пал Палыч, — улица-то улица, но не Зеленина, а Песочная.

«И все-то он знает, — усмехнулась Антонина, — не человек, а записная книжка...»

Посидев еще немного, она аккуратно сложила плед, поправила подушку на диване, причесалась перед зеркалом и, вздохнув, ушла.

Потом еще долго от пледа пахло ее духами. Запах был едва слышен, тонок и легкий. А за стеной Антонина стала часто петь:

Улица, улица,

Улица Песочная.

«Запомнила!» — радовался Пал Палыч.

А она все думала и думала свои невеселые думы и иногда так задумывалась, что вдруг роняла тарелку, или платяную щетку, или мыло...

«Может быть, правда повеситься?»

И узкие брови ее сходились над переносицей.

Как-то под вечер Барабуха, пыхтя, принес два больших чемодана и сказал, что Скворцов велел поставить их куда-нибудь в надежное место.

— В какое «надежное»?

— Ну... сховать...

— Спрятать?

— Эге ж...

— Почему?

Барабуха вытирал потное лицо и шею платком и сконфуженно улыбался.

— Чьи они?

— Наши.

— Чьи «наши»?

Барабуха молчал.

Антонина зажгла электричество, велела Барабухе поставить чемодан на стул и потребовала ключ.

— Что вы, — сказал Барабуха, — ключ разве у меня бывает? Ключ у Лени.

Антонина принесла из кухни секач и принялась ломать замок на чемодане. Барабуха укоризненно вздыхал. Когда крышка чемодана отскочила и часть замка со звоном упала на пол, Барабуха попросил у Антонины, чтобы она сказала Скворцову все как есть, так как он, Барабуха, ни при чем.

— А то влетит.

В чемодане были часы, галстуки, чулки, два великолепных костюма, три пары туфель, материи, много духов, пудра и какие-то лекарства.

— Что же это такое? — с недоумением спросила Антонина.

— Как «что»?

— Да вот эти вещи? Откуда они? Это Скворцова? Что, он купил, что ли?

— Купил, — улыбаясь, сказал Барабуха, — уж, конечно, не украл.

— Зачем же ему столько часов?

— Чудная вы! Продаем.

— Продаете?

— Ну да... Или вы не знаете?

Она смотрела на него с недоумением. Вдруг Барабуха перегнулся к ней через стул, на котором стоял чемодан, и поманил ее пальцем.

— Что? — испуганно спросила она.

— Этим живем, — сказал Барабуха, — Леня возит, а я торгую помаленьку. Это ж заграничное!

— Контрабанда!

— А что ж, — обрадованно сказал Барабуха, — конечно, контрабанда. Часики вот, — он вынул из чемодана плоские квадратные часы и подбросил их на ладони, — нынче на них мода...

Ночью, когда Скворцов вернулся домой, Антонина сказала ему, что, если завтра же все контрабандные дела не будут кончены, она пойдет и заявит в милицию.

— Какие контрабандные?

— А ты не знаешь?

Он молча отвернулся от нее и заснул. Утром, за завтраком, она повторила ему то, что сказала ночью. Скворцов усмехнулся, назвал ее дурой и ушел. После обеда Барабуха привел двух пожилых, седобородых, людей. Антонина поняла, в чем дело, и побежала к Пал Палычу, но Скворцов нагнал ее в коридоре и, больно схватив за руку, зашептал:

— Дрянь паршивая! Настучала? Для тебя стараюсь, для семьи. Мне-то самому что нужно? А ребенок будет, тогда как? Ребеночек? А?

Ей стало противно, она вырвалась и заперлась в ванной. Скворцов два раза дернул дверь, выругался и ушел в комнату. Когда она вернулась, седобородых уже не было. Барабуха пил коньяк. Скворцов лежал на кровати и свистел «Качели».

Теперь люди приходили почти каждый день, она даже поила их чаем и запирала за ними дверь. Один толстый приходил четыре раза подряд. На пятый он принес ей коробку шоколадных конфет. Вечером, когда Скворцов ушел, она открыла коробку и съела все конфеты, до одной, с любопытством разглядывая шоколадные арфы, скрипки, флейты, барабаны, литавры. Ей как-то уже было все равно. Она стала вялой, больше не пела, как раньше, и совсем не плакала. Беременность испортила ее лицо — щеки пожелтели, глаза перестали блестеть, ходила она тяжело, переваливаясь, и подолгу с удовольствием лежала в постели, ни о чем не думая, наслаждаясь покоем, истомной ленью, неожиданными движениями ребенка в себе. «Милый, — иногда шептала она, — ножкой ударил». И задремывала на спине — ей казалось, что ребенку так удобнее...

Вечерами, оставаясь одна, она шила маленькие чепчики, распашонки, кроила подгузники и пеленки или просто сидела в кресле и представляла себе разные картины из собственного детства: как папа купил себе новый костюм; как он учил ее варить солянку; как она поступила в школу.

Однажды она записала все расходы за день и решила, что, пожалуй, стоит всегда все записывать — интересно. Купила узенькую книгу и записала: «23 апреля — рынок».

Скворцов увидел книгу и потрепал Антонину по щеке. Она лениво усмехнулась и отвела его руку.

Теперь он часто не ночевал дома, а когда возвращался, от него пахло чужими духами, губы его были темны, а глаза выражали сытое и довольное спокойствие, которое она так ненавидела в нем. Но теперь ничто ее не раздражало. Даже его шуточки, даже его аппетит, даже его привычка похлопывать себя по животу после обеда...

Первого мая она проснулась от грохота духового оркестра, игравшего под окнами. Скворцов был в плавании. Она тяжело поднялась с постели и, босая, в сорочке, подошла к окну... Было ветрено и жарко. Демонстрантов не было видно — окна выходили во двор, — оркестр играл не под окнами, как ей показалось спросонья, а на улице. Ей вдруг ужасно захотелось посмотреть, и непременно сейчас же. Накинув халат и кое-как причесавшись, она постучалась к Пал Палычу. Никто не отвечал. Дверь вдруг с силою распахнулась сама собой — ударил сквозняк. Антонина вошла и зажмурилась, столько солнца и ветра было в комнате у Пал Палыча. Какие-то бумажки, носимые сквозняком, прыгали по полу. Вдвух белых тюлевых занавески. Все сверкало — зеркала, никель, мельхиор, серебро. Нестройно и шумно играли два оркестра враз. Пал Палыч сидел на подоконнике в белом легкой рубашке и смотрел вниз. Антонина окликнула его, он обернулся. Рубашка на нем пузырилась от ветра. Только сейчас она почувствовала, что горячий весенний ветер обдаёт ее тело.

— Идите сюда! — крикнул он.

Она подошла. Оркестры смолкли. Стало тихо, потом внизу запели. Она оперлась о подоконник и посмотрела вниз — на улицу: там были только одни головы и флаги. Опять

заиграл оркестр. Антонина молчала. Ей хотелось плакать и тоже петь... Ей хотелось что-нибудь крикнуть отсюда, из окна. Потом она увидела чучело, потом автомобиль, на котором приплясывали какие-то люди с бородами, в парче. Парча сияла и искрилась.

— Попы, — сказал Пал Палыч.

Антонина все смотрела вниз. Вдруг у нее начала кружиться голова. Ризы всё сверкали. «Там Ярофеич идет, — думала Антонина, — там все они идут. И Костя там — он, наверное, рисовал всю ночь. Рая Зверева там. И где-нибудь тоже так идет с демонстрации Аркадий Осипович...»

Люди шли и шли, новые грузовики везли новые чучела банкиров, каких-то огромных пауков в клобуках и тиарах, почему-то повезли ярко раскрашенную жирафу в фуражке полицейского. И маленький человечек, вздымая к небу колоссальный рупор, железным голосом кричал:

Рынки рабов безработных —

в пепел!

Храмов и тюрем решетки в прах!

Крах

Нефтяным королям и банкирам,

Папам и пасторам — страшный суд!

Только трудящиеся живут,

Только рабочий владеет миром!

— Пойду чай пить! — сказала Антонина.

В ту секунду, когда это началось, она ставила чайник на примус. Ноги внезапно подогнулись. Она села на вязанку дров у плиты и прислушалась к себе самой. Нигде ничего не болело.

«Толкнул, наверное, — подумала она, — какой сильный стал», — и со счастливой улыбкой пошла по коридору к себе в комнату.

Но тут это повторилось: жестокая боль заставила ее согнуться. Она ухватилась за пальто, висевшее на вешалке, и испуганно вскрикнула. Боль не проходила...

В промежутке между двумя схватками она дошла до постели и легла. Где-то далеко играл духовой оркестр — слышалось буханье барабанов и литавр.

Боли становились все сильнее. Теперь болел не только живот — болело сзади в спине, болели бедра... Она начала стонать часто и тихо — это не помогало. Тогда она стала поглаживать живот ладонями — ей казалось, что она сейчас все там уложит, что она, наверно, нехорошо повернулась и повредила ему, маленькому, но что сейчас она все исправит. Ей никак не приходило в голову, что это могут быть роды, — она считала, что до родов еще целых десять дней.

— Ну тише же ты, — шептала она, — ну тише, пожалуйста, больно очень...

Потом ей стало страшно, подумалось, что умрет, вот так, одна, в темной комнате, — она заплакала и опять застонала. Надо было кого-нибудь позвать, но она знала, что квартира пуста, — все ушли и придут не скоро.

— И никого нет, — бессмысленно шептала она, — и никого нет! Одна я, одна.

Вдруг она поняла, что это роды, и испугалась до того, что вся похолодела. «Я же не умею, — думала она, — я совсем не умею. Тут ведь надо что-то делать, а я не умею. И свет не горит. Господи, хоть бы кто-нибудь пришел...»

Она вскрикнула от боли и замерла — боль была длинной и не стихала.

Оркестр все бухал. Она уже ни о чем не могла думать, а только стонала и упиралась руками в кровать — так ей казалось легче. И старалась, чтобы не слышать буханья барабанов и литавр, — они прибавляли боль.

Раздеваясь поздним вечером в коридоре, Пал Палыч услышал стон из комнаты Антонины, швырнул пальто на сундук, вошел, не постучавшись, и зажег электричество.

Антонина лежала на спине, бледная, с закушенной губою. Лицо ее было залито слезами. Пал Палыч отвел глаза (в ее позе было что-то такое, что запрещало смотреть) и подошел к ней. Она взглянула на него с мукой и схватила за руку.

— Вот, — бормотала она, прижимая его ладонь к своему огромному, напряженному животу, — вот... Пал Палыч! Я умираю...

Он не знал, что говорить, что делать. Ему вдруг до слез стало жалко, он опустился перед постелью на колени и стал целовать ее руку — прохладные, влажные пальцы.

— Пал Палыч, — все бормотала она, — Пал Палыч, помогите мне... Ах, как больно... Пал Палыч, ну что же делать?... Доктора надо. Пал Палыч! Извините меня... Ну, уходите, уходите же отсюда, — вдруг вскрикнула она, — разве вы не видите? Нельзя вам тут быть!

Он встал и пошел в коридор к телефону. Когда телефонистка соединила, он позабыл имя того человека, которому звонил. Это был знакомый шофер-частник.

Через четверть часа Пал Палыч и шофер снесли Антонину в автомобиль и уложили на кожаные подушки. Уже наступило утро — праздничное, особенное. Было ветрено и холодно. Щелкали флаги. Навстречу автомобилю неслась серая пыль тяжелыми, густыми облаками. Одной рукой Пал Палыч бережно обнимал Антонину, другой поддерживал все сползающий с ее ног плед. Она молчала. Взгляд ее был испуганный, тихий, сосредоточенный. Пал Палыч хотел у нее что-то спросить, но решил, что не стоит, — она точно прислушивалась к самой себе, точно приготавливалась.

— Сколько беспокойства вам, — вдруг громко сказала она и покривилась от боли.

— Что вы, Тоня, что вы, — начал было Пал Палыч, но, заметив, что ей совсем худо, замолчал.

На повороте само собой опустилось окно, и пыльный, холодный ветер ворвался внутрь автомобиля, сорвал с Антонины белый вязаный платок и растрепал ее черные легкие волосы.

Им отворил заспанный бородатый швейцар. Антонина едва шла. Вестибюль был пуст. Две санитарки, подоткнув подола и громко переговариваясь, мыли лестницу. Пахло водой и

мокрой рогожей. Наверху кто-то ругался сердито и устало.

— Да не туда, — крикнул сзади швейцар, — эй, гражданин! Налево надо.

Пал Палыч повернул налево — под лестницу, в темноту. Антонина застонала и совсем повисла на его руке. Все ее тело содрогалось — резко и сильно. Он взглянул на нее: на щеках выступил пот, лицо блестело, глаза были полузакрыты.

— Ну, еще немножечко, — говорил он. — Тонечка! Вот сейчас повернем — и все. За уголочек повернем — и все. Ну, Тонечка!

Она всхлипнула и остановилась.

— Близенько уже, — все говорил Пал Палыч, — а то я вас на ручки возьму... Взять, Тонечка?...

Не дожидаясь ответа, он ловко поднял ее на руки и крупным, сильным шагом пошел по коридору вперед, открыл ногой дверь и, зажмурившись от яркого солнечного света, наполнявшего комнату, бережно опустил Антонину на желтый лакированный диван.

Пока толстая врачиха в соседней комнате осматривала Антонину (два раза Антонина вскрикнула там), Пал Палыч сидел на краю дивана, прижав ладони к коленям. Наконец она опять показалась в дверях. Он поднялся ей навстречу и хотел что-то сказать, но не смог, а только закивал головой, как кивают маленьким детям взрослые, заглядывая в окно. Антонина улыбнулась, с милым, ласковым выражением, и стала отвечать сестре на ее вопросы, а Пал Палыч все смотрел на Антонину и размягченно, с волнением и никогда еще не испытанной теплотой в душе повторял про себя те детские слова, которые всю жизнь пролежали где-то глубоко спрятанными.

Потом ее увели и сказали Пал Палычу, что он может идти. Он не понял.

— Ведь попрощались же, — сказала сестра, — ну и идите... Ох уж эти мужья...

— Извините, — сказал Пал Палыч и поклонился.

В вестибюле по-прежнему было пусто. Санитарка бежала навстречу Пал Палычу. Он остановил ее. Большеротая, рыжая, плотная, с огромными серьгами в ушах, босая, она стояла перед ним и улыбалась. Он начал ей говорить об Антонине — холодно, положительно и спокойно. Он почти приказывал. Санитарка перестала улыбаться. Пал Палыч вынул из кармана бумажник и отсчитал двадцать пять рублей. Санитарка опять улыбнулась, уже точно бы испуганно.

— В двенадцать часов я приду, — говорил Пал Палыч, — понимаешь? В час приду, в три, в семь. И чтобы все мне говорила. Вот здесь, в этом углу.

— Поняла, — сказала санитарка и перевела дыхание.

— Тебя как зовут-то?

— Лушей.

— Так вот, Лукерья, в двенадцать часов приведи мне из родилки кого-нибудь. Поняла?

— Не сойдут. Им нельзя. Заразно.

— Глупости. Приведешь — получишь еще десять. Поняла? А та, которая придет, получит двадцать пять. Понятно?

— Понятно.

— Ну, иди.

Он кивнул ей и вышел из клиники. Улица была тихая, провинциальная, поросшая травой. По-прежнему дул ветер, но как-то потеплело. Небо затягивалось тучами. За забором вдруг закричал петух, стало совсем похоже на дачу.

Не торопясь, Пал Палыч вышел на набережную, миновал Биржевой мост и зашагал переулочками Петроградской — к себе домой. Было много дела. Дома он отпер комод, достал несколько золотых, старинной работы, вещиц, платиновое кольцо, шкатулку с эмалью, завернул все в газету, покурил, умылся, переменял воротничок и опять вышел на улицу. Седой маленький ювелир купил у него все вещи разом. Пал Палыч аккуратно пересчитал деньги. Ювелир запер за ним дверь. Пал Палыч окликнул извозчика и не рядясь велел ехать на Невский.

Было десять утра.

Как только Пал Палыч ушел, гнетущее чувство одиночества и страха разом овладело Антониной. Схватки внезапно прекратились; от этого стало еще страшней: ничто теперь не мешало думать, бояться, плакать...

Пока тучная, похожая на мужчину нянька раздевала ее и складывала вещи в брезентовый мешок, она прислушивалась к двум голосам, доносившимся в раскрытую дверь из приемной. Один голос, равнодушно-приветливый, врача, спрашивал, другой, взволнованный, низкий, отвечал с какой-то особой щегольской точностью...

Уже в халате, в больничной неудобной рубашке с клеймом, в разношенных туфлях, Антонина заглянула в приемную. Там перед врачом, вытянувшись, стоял гладко причесанный краском и говорил что-то о некрасивой, серенькой женщине, стонавшей на скамье. Он был бледен, ненужно подробен и точно бы суетлив, хоть и не двигался.

«Любит, — с тоской и завистью подумала Антонина, — вон какой бледный, милый...»

— И нечего плакать, — строго говорила нянька, когда они поднимались по лестнице, — подумаешь, страхи! Я шестерых родила — и то ничего. Шестерых, — торжественно повторила она, — и все живы. Ну, чего плакать?

— Боюсь...

— Чего бояться, дурная?

— У меня мама умерла, когда меня рожала...

— То же мама! Другие времена были, и не в больнице небось. У нас, деточка, в больнице профессора. И какие! Иди, иди, — вдруг прикрикнула нянька, заметив, что Антонина вся сжалась от боли, — иди, не умрешь... Нежные вы все какие господа!

Они долго шли по светлому кафельному коридору куда-то в конец его, и, чем ближе был этот конец, тем страшнее становилось Антонине. Навстречу им шли больные — желтые, некрасивые женщины, в отеках, измученные, равнодушные. В палатах стонали, смеялись, разговаривали. Потом их обогнала тележка, белая, высокая, на маленьких колесиках, здоровенный санитар толкал тележку перед собой. На тележке лежало что-то неподвижное, плоское, прикрытое простыней, — Антонина не сразу догадалась, что это «что-то» — человек, под простыней обозначались только острые колени... Нянька перекрестилась и пошла вперед

быстрее.

— Покойник? — спросила Антонина. Нянька строго на нее взглянула и не ответила.

Когда нянька открывала большую белую дверь, Антонина вздрогнула и замерла: хриплый вопль донесся до ее ушей.

— Что это? — с ужасом спросила она.

— Татарка мучится, — сурово ответила нянька, и вдруг в глазах ее появилось что-то монашечье — холодное, почти гневное. Такая все осуждающая монахиня бывала иногда у матери Раи Зверевой. — Детей рожать не шутки шутить, — неприязненно сказала нянька, — играть вы все играете, а как рожать — «что это?» Новый человек на землю идет — вот это что. Можно, я думаю, покричать?

В большой, на двенадцать человек, родилке Антонину отвели на крайнюю, в левом углу, кровать. Кровать была высокая, удобная и торжественная. Какие-то металлические, сверкающие штуки стояли в ногах. Антонина легла, закрыла глаза, зажала уши. Вся родилка стонала. Посередине маленькая стриженная женщина хрипло и протяжно вскрикивала через равные промежутки времени. Нехорошо пахло. Кто-то звал доктора, кто-то плакал в голос, как плачут дети, кто-то молил жалко и едва слышно:

— Ну помогите! Ведь я умру! Ну помогите! Нянечка!

— Не орать! — вдруг закричал мужской сильный голос — Симфонию закатали, тихо!

Антонина открыла глаза: в ногах ее кровати стоял ярко освещенный солнцем усатый, широкоплечий старик в кокетливой белой шапочке пирожком и в белом халате.

— А вы что? — как показалось ей, строго спросил он. — Рожаете?

— Рожая, — серьезно ответила она.

Ей неловко было глядеть в его суровые глаза, и она опустила усталые веки. Скрипя башмаками, он подошел к ней и дотронулся пальцем до ее подбородка. Она слегка пошевелилась, и тотчас же дикая боль — острая и мгновенная — пронзила все ее существо.

Антонина вскрикнула и приподнялась в постели.

— Польштер, сестра! — спокойно велел мужской голос.

«Еще какой-то Польштер придет!» — с тоской подумала Антонина.

По проходу к ней бежали сестра и няня.

— Больно, доктор! — уже упираясь руками в края постели, крикнула Антонина, но старик даже не обернулся. — Больно! — громче повторила она и как-то разом потеряла все — и бегущую сестру, и старика, и вопли в палате, и даже самое себя. Теперь ничего уже не оставалось, кроме боли, разрывающей живот на части, кроме острых и сильных ударов в бедра, в спину, кроме радужных пятен перед глазами и чего-то страшного, точно падающего бесконечно.

— Больно, больно! — все кричала она. — Больно, доктор, больно, больно, больно!..

И не могла остановиться.

Около нее суетились, переставляли, двигали, чьи-то дюжие руки легко подняли ее и вновь опустили, одеяла уже не было, — сквозь страшную, непрекращающуюся, ей казалось, вечную

боль, сквозь собственный крик порою возникали какие-то непонятные, спокойные слова — и вновь исчезали, что-то вдруг блестело, что-то вспыхивало и гасло, усатый старик наклонился над самым ее лицом — она видела его недовольные глаза, — потом он таял, она стискивала пальцами холодную, скользкую клеенку и опять бессмысленно и беспомощно кричала.

— Больно, доктор, больно, больно!..

К ее огромному, темному животу прикладывали сверкающую трубку, седая голова в белой шапочке пирожком прижималась ухом к трубке и долго слушала. Она понимала, что слушают, жив ли ребенок, но не могла спросить — не повиновались губы — и только плакала от боли и страха.

Потом она увидела свои руки, маленькие и жалкие, — это была уже ночь, ей вытирали прохладной губкой лицо, и женский голос советовал:

— Тужься, голубушка, тужься! Живот натужь! Тужься, милая... Ну!

Холодная вода лилась за уши, волосы были мокрые, блаженная прохлада оведала лицо, но от этого делалось не лучше, а хуже — еще сильнее разрывало живот, бедра, спину.

— Двадцать восемь часов, — говорили над нею, — Катя, сходи за профессором...

«Это мне профессор, — думала Антонина, — это я двадцать восемь часов», — и хрипло, так, что уже никто не слышал, одними искусанными губами кричала:

— Больно, больно, доктор, больно!..

Потом ее подняли и понесли мимо сверкающих голубоватых стекол, и она поняла, что это операционная и что сейчас ей будет легче. «Или совсем ничего не будет», — вяло подумала она и подумала еще, что умирать совсем не страшно.

Бесконечное множество ламп висело над ней совсем низко, и все они, как ей казалось, жужжали или пели хором.

— Английские! — велел деловитый голос, — Будьте так добры!

Ей стало душно и сладко во рту, она попыталась сорвать с лица что-то тяжелое и липкое, но сильные пальцы сдавили ей руку, все поползло перед ней, и сразу же стало тихо и не больно.

3. Нет, писем не было...

Узнав наконец после всех этих бесконечных и ужасных часов в вестибюле, что Антонина родила мальчика и выжила сама, Пал Палыч вдруг слабо и растерянно отмахнулся от санитарки большой белой рукою и, натыкаясь на людей, пошел прочь из родильного дома.

Было утро — серенькое, теплое и тихое.

Моросил дождик.

Пал Палыч снял фетровую шляпу, вытер платком лоб, широко всей грудью вздохнул и пошел по тихой в этот час Университетской набережной к Николаевскому мосту. Мохнатый драп его английского, с большими карманами, перелицованного пальто быстро покрылся капельками воды, словно бисером. Усы намокли. Пал Палыч отирал их платком и все шел, бессмысленно

улыбаясь и радуясь, по Васильевскому — к Горному институту. Глухо звенели трамваи, плясал и пел «Цыпленок тоже хочет жить» босоногий нахальный беспризорный.

— Дедушка, подай внучонку! — сказал он, забежав сбоку к Пал Палычу.

— Внучонок, как же! — сказал Пал Палыч, но гривенник подал, нахмурился и пошел быстрее, постукивая своей дорогой палкой. Только у Горного института он опомнился и поспешно зашагал на Петроградскую, в ресторан. Надо было работать, непременно работать: ему казалось, что и с ума недолго сойти, если все будет так продолжаться.

«Что — продолжаться? — спрашивал он себя, закуривая. — Что? Ну, привязался к женщине, к молодой, в дочери она мне вполне годится. Глупость, вздор, чепуха. Теперь вот, несомненно, с прошествием времени, а может уже и нынче, завтра, к сыну ее привяжусь. И конечно. А моряк — моряком... Именно так...»

Он усмехнулся и пошел скорее. О таких вещах думать было трудно, — он не умел, да и не хотел.

— Ах, Тонечка, Тонечка, — шептал он и покачивал головой, — ах, Тоня!

На Николаевском мосту он вошел в маленькую, душную часовню, всю пропахшую воском, ладаном и тлеющей парчою, и постоял в уголку, возле двери. Часовня была пуста. Мрачно, потрескивая, горели свечи. Пал Палыч закрыл глаза и с силою втянул в себя запахи часовни. Тотчас же возникло перед ним какое-то детское воспоминание: как стоит он в деревенской церкви и дремлет, как шуршит возле уха пышная юбка матери, как поют, а кто-то рядом молится вслух, со слезами и вздохами.

— Рабы твоей Антонины, — вдруг прошептал он и стер пальцем слезы под очками, — и младенца...

Потом он купил самую большую свечу и неумело поставил ее перед образом богоматери.

«Что ж, — думал он, выходя из часовни, — если ты есть, поймешь, а если тебя нет...» Он усмехнулся и надел шляпу, ему было немного стыдно и неловко...

Чвановский ресторан, где Пал Палыч нынче служил метрдотелем, был еще не полон, но завсегдатаи уже шли чередой и здоровались с Пал Палычем приветливо, некоторые — поплоче — даже искательно. Все нынешние нэпманы: владельцы колбасных магазинов на Петроградской стороне, ювелиры, кондитер Дюпре, скобяник Коровякин, просто комбинаторы в остроносых туфлях, с кольцами на пухлых, шулерских пальцах, меховщики, сапожник Звягин, несколько пожилых инженеров, которые еще носили старые форменные фуражки, знаменитый на Петроградской стороне обжора бывший архивариус министерства иностранных дел Дорошенко-второй — все они видели в Пал Палыче нечто такое, особое и совершенно неуловимое, что связывало их с прошлой, навсегда исчезнувшей жизнью, к которой, кстати сказать, большинство из них не имело доступа. Слова «Контан», «Донон», «Вилла Родэ», «Норд-экспресс» щекотали этих бурно и мгновенно разбогатевших людей, и то обстоятельство, что бесстрастный и отменно вежливый Пал Палыч, знаменитый Швырятых, «обслуживал» их и корректно рекомендовал лангусты, или недурных омаров, или «просто, знаете ли, угощу я вас сегодня селедочкой-голландкой», — вызывало во всех них острое желание именно через Пал Палыча, при его посредстве, стать тем, кем они уже никогда не могли быть, стать потихонечку, шепотком, солью России, начальством, как некогда Александр Федорович Керенский, или Чернов, или Юсупов...

Пал Палыч знал это и тихонько улыбался в усы.

Это было такое же быдло, такое же алчное и подлое зверье, как и Рубинштейн, и Монасевич-Мануйлов, и Гришка Распутин, и Лианозов, и Терещенко. Только потрусливее, помельче и куда глупее.

Самое же противное было во всех них — убогое, дурацкое и вместе с тем энергичное убеждение в том, что все то, что рухнуло навечно, можно как-то слепить, склеить, зашпаклевать и, подмазав краской, вновь пустить в дело.

Портреты Маркса и Энгельса в золотых рамах висели в их «ателье», в их «салонах парижских мод», в их колбасных, булочных, бакалейных магазинах, в их ресторанах и кафе, но это было только для виду. Собираясь под гостеприимной сенью Чвановского ресторана, они — все эти люди в пиджаках из твида и английской тонкой шерсти, в сорочках голландского полотна, золотозубые, холеные, розовые — на особом птичьем языке передавали друг другу новости, «самые свежие», «самые точные», «самые достоверные», «из первых рук», «из самонадежнейшего источника» — о том, что «советскому прижиму труба», ибо близится нашествие на совдепию двенадцати языков, ибо там, наверху, — склока, «все передрались», на российский престол взойдет под звон сорока сороков, и непременно притом в Москве, Кирилл, Павел Николаевич Милюков будет, несомненно, министром финансов, а что касается до Керзона, то... и т. д. и т. п.

Молчаливый, корректный, моложавый с виду метрдотель улыбался скептически, слушая предсказания и достоверные сообщения. Рухнула и разлетелась в труху та гниль, разлетятся со временем в пыль и нынешние чвановские гости. Не на них можно было положиться в прошлые времена, не эти соль нынешнего времени. Соль где-то в другом месте. Где — Пал Палыч не интересовался, но трезвым своим умом понимал — не слепить никаким клеем осколки того, что он знал в не столь уж давние времена и что вызывало в нем одну лишь брезгливость... И в деньгах ли, вокруг которых так бушевали и бушуют сейчас страстишки, смысл человеческой жизни?

Стоя нынче на обычном своем месте у красного плюшевого диванчика, вблизи входа, здороваясь с гостями, он вглядывался в них по-особому, ища хоть в ком-либо выражение, которое бы соответствовало его приподнятому и серьезному душевному состоянию.

Но нет, эти люди торопились к своему ужину, к своему деловому разговору за рюмкой перцовки, к своим новостям. Весьма возможно, и даже наверное, и они кого-то любили, что-то чувствовали, ревновали, страдали. Но это было далеко не главным в их жизни. Как жесткой коркой, покрылись их души неким предохранительным составом, тем самым, которым была покрыта когда-то душа Пал Палыча. Чистоган, а все остальное — наплевать.

И вдруг Пал Палыч испытал ко всем этим людям чувство, похожее на жалость. Для чего дана им жизнь? Какие у них радости? Для какой цели они тут перешептываются, подписывают контракты, спорят, торгуются, остряют? Зачем?

— Значит, из холодных пойдет осетринка, — машинально записывал он в свой блокнот. — Икорочка битая, салатик рекомендую наш, любительский, с парниковыми огурчиками и с маринованной сливой...

Говорил, записывал, и виделась ему Антонина. Как стоит она, почему-то в белом платье, держит младенца на руках и ждет. Чего ждет?

Блокнот внезапно выпал из его пальцев, карандаш ударился о тарелку, подскочил и покатился по полу. Сытые рыла совладельцев кирпичного завода «Муравьев и К°» недоуменно глядели на него.

— Захворал я, кажется! — сухо, чтобы никого не разжалобить, произнес он. — Извините, официант вас без меня обслужит...

Струнный квартет заиграл увертюру к «Кармен».

«А в опере-то я никогда не был!» — подумал Пал Палыч, надевая пальто.

Поднял почему-то воротник пальто, пониже нахлобучил шляпу и велел извозчику вести себя в родильный дом. Там и только там было нынче его место.

Ей снились легкие, радостные сны: снилось, что ее любят; снились глаза — близкие, милые, ласковые; снилось поле — огромное, беспредельное, будто она все смотрит и не видит конца, а в лицо ей дует ветер — теплый, волнами. Снилось, что ее несут на руках — долго, долго; что она засыпает и просыпается, а ее все несут; снился покой, и снилось, что это все сон, а на самом деле все иначе и лучше, настолько лучше, что даже невозможно дышать...

Она спала восемнадцать часов и проснулась, потому что ей принесли ребенка. Он был весь запеленатый и твердый, маленькие, черные его глаза еще никуда не смотрели — не умеет смотреть! И чудесно вырезанный красный его ротик порой смешно и непонятно морщился. Он был смуглым, словно загорел, и редко, чрезвычайно выразительно моргал.

Высокая, красивая сестра вымыла борной набухшие соски Антонины и ловко положила мальчика слева на кровать.

— Ну что же вы? Мамаша!

Антонина испуганно оглянулась на сестру. Она как-то забыла, что надо кормить. Она все еще смотрела на сына.

— Дайте же ему грудь!

Антонина наклонилась и неловко дотронулась соском до ротика ребенка. Мальчик груди не взял, но страшно забеспокоился, наморщил ротик, выражение его личика сделалось серьезным, хлопотливым.

— А вы настойчивее. Смотрите, как есть хочет...

— Да я его задушу, — дрожащим шепотом сказала Антонина, — я боюсь...

Сестра улыбнулась и села на край Антониной постели, но в это мгновение мальчик вдруг взял грудь. Антонина вздрогнула, сморщилась и часто задышала.

— Что, — вставая, спросила сестра, — странное чувство, да? Я тоже в первую секунду...

Она поправила одеяло и отошла к другой кормящей...

Несколько секунд Антонина пролежала с закрытыми глазами. Потом осторожно и робко приподняла пеленку на головке сына и пальцем дотронулась до легких курчавых волос. Потом ощупью нашла ухо — такое маленькое и нежное, что тотчас же отдернула палец. Потом нашла ручку... Сердце ее билось все сильнее и сильнее...

— Мамаша, разворачивать незачем! — крикнула сзади сестра. — Успеете налюбоваться.

Антонина испугалась и замерла.

Мальчик ел уже медленно, едва-едва. Глаза его были полузакрыты.

Ей захотелось запеть над ним, и она тихонько запела.

Сын выпустил грудь и заснул. Антонина, не переставая петь, близко наклонилась к его личику и стала разглядывать губки и закрытые глаза.

Тихонько, чтобы никто не видел, она понюхала, вдохнула запах ребенка, но ничего не уловила, кроме едва слышного запаха лекарства и глаженной материи.

— Сын, — с удивлением и нежностью шептала она и гладила тельце, которого еще не видела. — Сын.

Как только его унесли, она опять заснула и не просыпалась до ужина. А проснувшись, спросила у сестры, не подменяют ли здесь детей.

Здоровье и силы возвращались к ней быстро, от часа к часу. Она много ела, много спала, подолгу рассматривала сына. И, странное дело, мысли о пережитых муках были легкими. Она даже сказала в палате на третий день после родов, что, конечно, это очень больно, но не так уж страшно, как об этом принято говорить.

Под вечер в этот день в палату пришел Пал Палыч. На нем поверх обычного черного костюма был халат без завязок. Пал Палыч держал полы рукою на животе. В дверях он зашпешил и подошел к постели Антонины, взволнованный и красный от смущения. Антонина села.

— Ну вот, — говорил он, жадно и ласково оглядывая ее, — видите... И сын какой! А вы боялись!

Она очень изменилась за эти дни — похорошела и похудела. Что-то мягкое появилось в ней. Они оба улыбались, глядя друг на друга со значительным и немного сконфуженным выражением.

— А вы как, — спрашивала она, заплетая косу, — что у вас нового, Пал Палыч? Что в городе?
— Ей казалось, что прошел по крайней мере месяц с тех пор, как она здесь. — Тепло уже на улицах?

— И не тепло и не холодно. Грибной дождик. А сына вы мне покажете?

— Покажу, — улыбнулась она, — вам да не показать!

Он глядел на нее через очки, запоминал все: и черные искусанные губы, и запавшие глаза, и особый мягкий блеск зрачков, иной, чем раньше, и ее руки, тоже иные, побелевшие по-больничному, и клеймо на сорочке, и пятна от молока — все было дорого ему и важно.

— Знаете, — нагнувшись вперед, поближе к Пал Палычу, говорила она, — знаете, ведь у меня роды очень трудные были. Со щипцами и под хлороформом. Правда! А один доктор хотел даже перфорацию делать, правда... Вы знаете, что такое перфорация? — спрашивала она, и в глазах ее появилось выражение ужаса. — Перфорация — это когда ребеночка убивают. Ему из головки мозг вынимают, страшно, да? Но профессор не разрешил. Когда мне потом рассказали, так я до того испугалась! Вот вы увидите, какой сын, его скоро принесут. Волоски черные, курчавые. Или, может быть, вы торопитесь, — спросила Антонина, — дела у вас? Или обождете?

Она много говорила, была возбуждена, смеялась... Когда принесли мальчика, она дала его Пал Палычу в руки, велела поддержать. Мальчик смотрел мимо Пал Палыча, глаза его были мечтательны и бесстрашны. Потом он чихнул и зашевелил губками. Антонина дала ему грудь.

— Писем мне не было? — спросила она. — От Скворцова ничего нет?

Глаза ее сделались просящими.

— Нет, не было писем.

— Из-за границы долго идет, — с задумчивым видом сказала она, — далеко. А может быть, он и не помнит, что я должна родить.

— Наверно, не помнит, — подтвердил Пал Палыч.

Она тщательно скрывала от Пал Палыча, что не любит Скворцова. Ей было стыдно в этом сознаться. Пал Палыч понимал, что ей очень хочется, хотя бы для других, получить от мужа телеграмму, и телеграфировал в Черноморское пароходство на имя Скворцова, сообщил, что родился сын. Ответ принесли через сутки с лишним, ночью. Пал Палыч сорвал бандероль и прочел: «Очень рад, если мой. Скворцов».

Он стиснул зубы и долго шагал по своей комнате из угла в угол.

Четырнадцатого мая он перевез Антонину домой. Комната была вся вымыта, выскоблена, паркет натерт воском, постельное белье накрахмалено. На подоконнике, на обеденном столе, на туалете, на шкафу — везде стояли цветы. Их было множество — простых весенних цветов. В удобном месте, неподалеку от кровати, стоял низенький раскладной столик для корыта, чтобы удобно было мыть ребенка. Детское белье лежало аккуратными стопками в шифоньере. Был приготовлен даже тальк...

Им отворила дверь нянька, нанятая Пал Палычем, женщина с ласковым лицом и веселыми глазами. На столе в комнате кипел никелированный самовар. Все было приготовлено для чаепития.

— Ну вот, — улыбаясь, говорил Пал Палыч, — добро пожаловать, Тонечка... Ложитесь, милая... Полина, помоги-ка раздеться... Я выйду, а ты мне потом постучи в стенку — чай будем пить...

Когда он вернулся, Антонина лежала в постели. Колыбель стояла рядом с кроватью. Опершись обнаженными руками на край колыбели, Антонина смотрела на сына внимательно, почти строго... Черные косы, туго заплетенные, придавали ее лицу суровое и холодное выражение.

— Смотрю и думаю, — вдруг внятно и резко сказала она, — неужели и он таким же подлецом будет, как его отец?

— Тоня, — начал было Пал Палыч, но она перебила его. Глаза у нее блеснули.

— Не утешайте вы меня! Я теперь все знаю. Я теперь все сама понимаю.

Нянька поднялась и пошла к двери, но Антонина остановила ее:

— Сидите, нянечка! Что уж тут. Поплакали — хватит. Пейте лучше чай.

Она закрыла колыбель кисеею, закинула косы назад и, скрестив на груди руки, заговорила, не глядя на Пал Палыча:

— Я в больнице все время думала. Думала и думала. И вообще напрасно вы меня за дуру принимаете. Если я до родов молчала, так это просто так, неизвестно почему. От безразличия, что ли, какого-то глупого. Право, так! Ну, да не все ли равно! Но я и раньше знала, каков он — Леня мой. Давно знала, почти всегда знала. Только один раз не знала — про море он мне про свое врал, изгилялся передо мной, про штормы, да про туманы, да про колокол какой-то там в тумане. Дурой еще была — заслушалась. А так знала. Но ведь что же мне было делать?

Пал Палыч угрюмо молчал, пощипывая ус.

— Жалеете?

— Как? — спросил он.

— Жалеете? И сильно, должно быть, жалеете?

Она взглянула на Пал Палыча и опять усмехнулась — опасной, угрожающей улыбкой:

— Я, знаете, о чем сейчас подумала? Я о том подумала, Пал Палыч, что вы ведь вовсе не такой добрый человек, каким прикидываетесь. Вы даже жестокий человек, очень жестокий. Ведь это же, посмотрите... цветов купили... убрано все... Но телеграмму-то Ленину, страшную, подлую телеграмму не скрыли, не спрятали от меня. А тут цветы, паркет натерт, тальк, ванночка. И телеграмма. Сколько же у вас злости на людей, если вы можете так поступать...

— Нет, вы ошибаетесь! — прервал ее Пал Палыч. — Злости на людей у меня никакой нет. Равнодушие некоторое есть, это так, это я скрывать не стану. А вам я только приятное хотел сделать и ничего больше, потому что делать для вас как лучше — это мне, извините, величайшее счастье...

Пал Палыч едва приметно порозовел и, сплетя длинные пальцы, хрустнул суставами.

— Что же касается до телеграммы, то не передать ее я не мог потому хотя бы, что пора вам разобраться в вашей жизни и понять, как и куда она идет. А засим пожелаю вам хорошо отдохнуть.

Он поднялся и ушел.

4. Да, вы арестованы!

Вернувшись из плавания домой, Скворцов не узнал Антонину — так она изменилась. Исчезла прежняя резкость, угловатость в движениях — вся она стала легче, спокойнее, точно бы тише. Располнела. Улыбка сделалась чуть ленивой, взгляд — холоднее.

Она встретила его без упреков, без жалоб, равнодушно, точно бы он и не уезжал. Показала сына. Мальчик спал, розовый, толстый, теплый. Скворцов наклонился над ним и поцеловал его в выпуклый влажный лобик — об этом он заранее думал.

— Малыш, — сказал он и кивнул головой на колыбель, — а? Чудеса в решете.

— Почему же чудеса? — равнодушно спросила Антонина.

— Да так как-то! Удивительно! Имя придумала?

— Да. Уже записала.

— Без меня? — раздраженно спросил он.

— Без тебя.

— Как назвала?

— Федором.

Скворцову не понравилось имя, но надо было мириться. Он подошел к Антонине и обнял ее. Лицо у него сделалось злым и жадным...

— Хорошее имя, — говорил он, привлекая ее к себе, — и ты похорошела. Очень похорошела. Плечи-то какие... Соскучился по тебе... А ты соскучилась?

— Нет, — легко сказала она.

— Не соскучилась?

— Оставь меня, — сказала она, — противно!

Вечером собрались приятели Скворцова. Много пили. Скворцов сидел без пиджака, в шелковой рубашке, наливал Пал Палычу стакан за стаканом и, наклоняясь к самому его лицу, говорил:

— Я, дорогой мой, вам благодарен. Благодарю. За заботу, за цветочки, за автомобиль. Деньги получите сполна. Что за подарки! Верно? Напишите на бумажке, что сколько, — и все в порядке. Рассчитаемся. В любой валюте. В долларах желаете? Устойчивые денежки. Знаете, такие, старичок там изображен — президент. Длинные бумажки. Или в стерлингах. Иены могу японские. И вообще, Пал Палыч, я вас не понимаю. Человек вы ученый — и вдруг, здравствуйте, вроде официант. Куда это годится? Дорогой Пал Палыч, вам уходить надобно, — уже шептал Скворцов, — туда. Поняли?

Он поднялся со своего места, взял Пал Палыча под руку и повел его к раскрытому окну.

— Поняли? Туда. Там, Пал Палыч, жизнь. Дорогой мой! Два шага! Через Карелию — Гельсинки. Чепуха. Без риска. Верите честному слову? — Он закрыл глаза, два раза глотнул ночного воздуха и махнул рукой в темноту. На виске у него набухла вена. — Я бы сам, — говорил он, — сам... Ах, я бы ушел. А? Не вернуться на корабль, и все. Я бы сам дело развернул, верите, слову? Черт-те что развернул бы! Я бы их всех — вот так! — Он сжал кулак. — Я бы их даванул! Но поздно, черт, поздно. Перевели на каботажку, не выпускают больше в заграничье. Точка. Она не знает, — кивнул он на Антонину, — ей ни к чему! А я — Скворцов — на вонючей коробке матрос второй статьи. Ну хорошо! Поглядим! Еще вырвусь!

Он тихо засмеялся и посмотрел Пал Палычу в глаза.

— А вы бы свой ресторанчик открыли. Там! Чем служить у Чванова, а? Давайте вместе уйдем — вдвоем сподручнее, хода у меня есть, вырвемся... Идет?

— Я русский мужик, — угрюмо сказал Пал Палыч, — и Россию люблю. А вам пить надо поменьше. И вообще, извините, но нехорошо. Вам ваша новая власть доверяет, а вы — бежать. Я много за границей бывал, даже в царское время, и при деньгах, и прекрасную мне службу там предлагали, и супруги у меня не было, однако это как-то по-свински — Россия — и вдруг...

— Что Россия? — крикнул Скворцов. — Портянки?

— Зачем портянки? — удивился Пал Палыч. — Я прожил длинную жизнь и много мерзости и пакости видел, но сейчас, хоть и находясь в стороне, и, как вы изволите выражаться, «вроде официанта», не могу не заметить очень многие перемены к лучшему. Странно, что вы еще молоды и не замечаете...

— Так, значит, не пойдете со мной?

— Не пойду! — твердо произнес Пал Палыч.

— Здесь мои сапоги будете донашивать? Ну, дело ваше. Я ведь с проверочкой — сволочь вы или не сволочь? Продадите нашу дорогую рабоче-крестьянскую или нет? Выходит — свой? Пролетарий от ресторана?

Пал Палыч молчал.

— Все я вам, голуба моя, наврал! — усмехаясь и облизывая красные губы, сказал Скворцов. — И про каботажку наврал. И про Гельсинки. Прощупал вас маленько, с кем, так сказать, имею честь и счастье. Оказалось — джентльмен. И ол райт! Сейчас мы выпьем. За мою законную жену, с которой я спал, сплю и буду спать. Несмотря ни на что. А вы будете находиться в своей личной комнате. Вы уважаете мою жену? А?

Он, пошатнувшись, подошел к столу и налил два стакана вина. Маленький, ловкий морячок, низко нагнув голову, пел под гитару:

Ты едешь пьяная, ты едешь бледная

По темным улицам одна,

Тебе мерещится дощечка медная

И штора темная окна...

И, рванув струны, поднимал кверху бледное носатое лицо:

Там на диване подушки алые,

Духи д'Орсей...

Антонина сидела в углу комнаты, за ширмой, над сыном. Мальчик спал плохо и беспокойно...

Морячку аплодировали. Он настроил гитару и запел «Три пажа». Скворцов опять подошел к Пал Палычу и чокнулся с ним.

— Не обижайтесь, — сказал он, — все ерунда. Тонька к вам хорошо относится, ей-богу. Выпьем? Напареули желаете?

Выпили.

— А все-таки я хозяин, — сказал Скворцов, — поняли? Я. Цветочки там, пеленочки, а хозяин я. Здорово?

Он коротко засмеялся, вытер лицо платком и, облизывая губы, подмигнул Пал Палычу.

— Я приехал, — крикнул он, — прибыл! Стою на якоре. Команду спустить на берег, понятно? На берег. Ваша кровать где стоит? — вдруг спросил он.

Пал Палыч молчал.

— Вот здесь, — крикнул Скворцов, — за стенкой. Верно?

— Не кричите.

— Это все равно, кричу или не кричу, это все равно...

Носатый морячок вышел на середину комнаты и ударил по струнам:

Все, что было, все, что мило.

Все давным-давно...

Он не кончил строчки и прихватил струны ладонью. Пал Палыч оглянулся. В дверях стоял невысокий человек в военной форме. Сзади виднелся еще один, повыше, с винтовкой.

— Спокойненько, — сказал военный, — сидите на своих местах. Кто здесь Скворцов?

Обыск длился всю ночь. Никого не выпускали из квартиры. Носатый морячок дремал, притулившись на подоконнике. Антонина сидела над сыном, Пал Палыч курил одну папиросу за другой. В комнате было дымно и душно. Дворник сосредоточенно покашливал. Скворцов, посеревший, сразу осунувшийся, ненавидящими глазами следил за тем, как рылись в его вещах.

Потом, сложив контрабанду в два чемодана, военный пошел звонить по телефону. В комнате сделалось совсем тихо...

— Это я говорю, — сказал военный в коридоре, — да, я. Вышлите-ка мне машину.

Он назвал адрес...

Вернулся в комнату и сел за стол. Все смотрели на него, чего-то ожидая. Он молчал. Вынул тоненькую дешевую папироску, прищурился, заглянул в мундштук и закурил. Вот теперь он должен был сказать. Но он молчал с таким выражением, будто так и следовало — всем глядеть на него, а ему молчать.

— Простите, — вдруг сказал Скворцов (в горле у него что-то пискнуло), — вы что, меня задерживаете?

— Да, вы арестованы, — сказал военный и взглянул на Скворцова так, точно видел его в первый раз.

— Но ведь это бессмысленно. Вы можете меня вызвать повесткой.

Военный улыбнулся и подошел к окну.

— Послушайте, товарищ, — начал опять Скворцов и, как-то очень мелко ступая, тоже подошел к окну, но в эту секунду военный с винтовкой сказал, что машина прибыла. Скворцов замер.

— Собирайтесь! — приказали ему.

Дворник поднял чемоданы.

Пока он укладывал в узелок кружку, полотенце, мыло и подушечку, военный разговаривал с

Антониной. Она стояла перед ним очень бледная, руки ее были тяжело опущены, одна коса расплелась.

— Можете попрощаться, — сказал военный, отворачиваясь. Скворцов подошел к ней. Она глядела на него в упор. Он обнял ее одной рукой — очень красиво и удобно. Она вывернулась и отошла.

— Я только сынишку поцелую, — сказал он.

Он пошел за ширму и появился оттуда с влажными глазами.

— Что ж ты, — сказал он ей размягченным голосом, — так и не попрощаешься со мной?

Антонина молчала.

Скворцов усмехнулся и пожал руку Пал Палычу.

— До свиданья, дорогой, — говорил он, — поручаю вам ребенка. Мало ли что...

Но в тюрьме развязность покинула его. Камера была большая, человек на пятнадцать. Скворцов вошел, огляделся. Все спали, не спал лишь один бородатый старик. Старик посмотрел на него внимательно. Скворцов сел. Его вдруг затошнило. Он трезвел и вздыхал до утра. Потом он спохватился — пора было думать, надо было спастись, с минуты на минуту могли вызвать к следователю. Торопясь и волнуясь, он стал придумывать причины — одну другой благороднее, одну другой красивее, чтобы поразить следователя.

Камера просыпалась: люди чесались, харкали, курили. Кто-то ударил Скворцова ногой в зад. Он обернулся с яростью, но сразу же присмирел и сделал просто удивленное лицо.

В десять часов его вызвали на допрос. Он приготовился и знал, что сказать. Могли не совпасть лишь сроки, но разве пришло бы следователю в голову проверять сроки? На всякий случай он приготовил себя ко всему: к очной ставке с Барабухой, к слезам Антонины...

Но с первой же минуты он растерялся. Его повели не к тому следователю, который был у него ночью. Его провели мимо него и дальше по коридору. Тот следователь проводил его глазами и опять наклонился над бумагами. Скворцов забеспокоился: он уже привык к мысли, что его будет допрашивать именно этот, а не другой следователь. Потом он прочел вывеску «Начальник» и испугался.

Сначала разговор был обычным: сколько лет, место работы, семейное положение. Следователь был немолод, и это тоже беспокоило Скворцова. Он все время терялся и ждал подвоха — что вот, например, откроется потайная дверь в стене. Но дверь не открывалась, а следователь все писал, не глядя на Скворцова.

Скворцов попросил разрешения закурить. Следователь вскинул на него внимательные светлые глаза и не позволил. Скворцов пожал плечами, спрятал портсигар в карман, вздохнул. Когда следователь спросил о контрабанде, Скворцов сказал:

— Да, вполне, — и опустил голову.

— Что «вполне»? — несколько раздраженно спросил следователь.

— Вполне признаю, вполне... — Скворцов выжидающе помолчал. Ему казалось, что следователь спросит о причинах или удивится признанию, и тогда он, Скворцов, расскажет то, что так хорошо придумал ночью. Но следователь не спрашивал ни о чем, он торопливо писал.

— Так, — сказал следователь, — меня интересует кокаин.

Скворцов ответил, суетливо вспоминая подробности, и говорил до тех пор, пока следователь не остановил его жестом. Кончив писать, следователь позвонил.

— Уведите, — сказал он вошедшему милиционеру.

— Товарищ начальник, — начал Скворцов, — я должен...

Он долго и униженно бормотал что-то о жене, о себе, о ребенке. Милиционер стоял у двери. Скворцов, говоря, оглянулся на него, потом подошел поближе к столу, взял в руки пепельницу и начал ее вертеть в пальцах. Он говорил быстро, поглядывая на сухие руки следователя, и говорил все быстрее, глотая окончания фраз, слов. Но внезапно испугался, что следователь не понимает, и начал говорить медленно, отдельно, внятно. Следователь встал, Скворцов опять заторопился. «Не слушает, — с ужасом думал он, — ничего не слушает!»

— В чем же все-таки дело? — спросил следователь. — Из-за нее вы все это устраивали? Она вас принуждала?

— Да, — с отчаянием сказал Скворцов.

— А до знакомства с вашей женой вы контрабандой не занимались?

— Нет.

— И не пробовали?

— Так, ерунда была, — на всякий случай сказал Скворцов, — но только форменная ерунда... Духов склянку привез для девочки для одной, чулки.

— Для кого?

— Да для одной девочки.

— Где она живет?

— На Обводном.

— Номер дома?

— Я номера не помню, но показать могу... Она там раньше жила.

— Только не врать, — с раздражением в голосе сказал следователь, — поняли?

— Понял, — сказал Скворцов, — но, товарищ начальник, я это раньше делал так, случайно. Это случай был. А сейчас все через нее.

— Что через нее?

— Контрабанда.

Следователь помолчал, потом вынул из ящика лист бумаги и протянул его Скворцову.

— Сядьте рядом в комнате и все напишите, — сказал он, — чтобы было коротко и ясно...

Когда Скворцова через час вызвали в кабинет начальника, там сидел бледный, заросший бородой Барабуха. У Скворцова пересохло во рту. Следователь быстро что-то записывал. Дописав, он взял написанное Скворцовым и быстро прочел.

— Так, — сказал он, — сядьте.

Скворцов сел.

— А вот Барабуха утверждает, — сказал следователь, — что контрабандой вы торговали исключительно для собственного удовольствия. Верно это или неверно?

— Неверно.

— Верно! — крикнул Барабуха. — Что врешь?

— Жена моя... — начал Скворцов, но Барабуха перебил его. Заикаясь от возмущения, он вскочил со стула и подошел к Скворцову.

— Тише! — крикнул следователь. — Сидите на местах.

— Он ничего своей жене не говорил! — кричал Барабуха. — Он ей денег не давал в руки, только на хозяйство. Он такой человек, такой! Его очень многие люди боялись, он меня даже бил. И еще, гражданин следователь, я вам скажу, он меня, если что не так, вполне мог как следует стукнуть. Один раз так навернул, что я весь кровью умылся...

Следователь смотрел на Барабуху. Еще и не таких видывал он на своем веку...

5. Есть ли на свете правда?

— Я не испытывал никаких симпатий к вашему мужу, — сказал Пал Палыч спокойно. — Больше того, Тоня, думаю я, что человек он плохой. Но ваш долг осведомиться о его судьбе. Может быть, я в старых понятиях воспитан, но, по-моему, вы должны принять меры...

Антонина сидела на диване, прижав подбородок к коленям.

— Все-таки он отец вашего сына, — робко добавил Пал Палыч.

Они вместе стали звонить по телефону. Минут через сорок им удалось соединиться с тем следователем, который вел дело Скворцова. Следователь сказал, что Антонину вызовут, когда это посчитают нужным. И тотчас же она вспомнила Альтуса. Конечно, ей нужно обратиться к этому человеку. В ее представлении до сих пор он был самым главным, самым умным, самым справедливым, самым добрым и решительно все понимающим.

— Конечно! — радостно согласился Пал Палыч. — Он, безусловно, партиец, ему не сложно выяснить суть дела. Ищите. Впрочем, вы отдохните, а уж я разыщу...

И он стал бесконечно разговаривать по телефону. Антонина покормила Федю, укачала его, стали спускаться медленные сумерки, и только тогда Пал Палыч дозвонился.

— Он теперь не на прежней работе, — сообщил Пал Палыч Антонине. — Он в VIIV. Следовательно, вполне может все вам объяснить. Вот его телефон, он сейчас в кабинете, позвоните.

Антонина позвонила.

Женский голос осведомился, кто спрашивает товарища Альтуса.

— Одна его знакомая, — заикаясь от волнения, ответила Антонина. — Я по личному делу.

— Соединяю! — сказала женщина. — Говорите с товарищем Альтусом.

— Альтус у телефона! — услышала Антонина.

Боже мой, как трудно, как почти невозможно было ей объяснить, кто она такая. И она не объяснила бы, если б он сам не вспомнил:

— Девочка с Джеком Лондоном?

— Ну да, да! — вскрикнула Антонина. — Только я уже не девочка, у меня сын, я даже старая...

Было слышно, как он засмеялся — коротко и добродушно, потом сказал:

— Ладно, даже старая, мне некогда, говорите, в чем у вас дело.

Сбиваясь и путаясь, сердясь на подсказки Пал Палыча, она рассказала про Скворцова, про его арест, про то, что ее долг, как жены и матери его сына, помочь, разузнать, быть может, обратиться к защитнику...

Альтус слушал молча, не перебивая. А когда она рассказала все, спросил:

— Вы предполагаете, что ваш муж ни в чем не повинен?

— Видите ли, товарищ Альтус, я должна... — залепетала она.

— Хорошо! — нетерпеливо перебил он. — Вы придете ко мне... сегодня среда... ну, что-нибудь в субботу к двенадцати дня. Можете?

— Куда?

— Как куда? Гороховая, два, VIIV...

И он назвал номер комнаты и еще объяснил, как получить пропуск.

В субботу Пал Палыч проводил ее до самого бюро пропусков.

— Если бы все сейчас переменялось, — сказала она вдруг. — Если бы проснуться — и все это сон, понимаете, гадкий, отвратительный сон. Ах, господи, как бы хорошо было! Да? Верно?

Пал Палыч вздохнул.

— А если меня задержат, вы посмотрите за Федей? — спросила Антонина.

Пал Палыч не успел ответить, она исчезла в дверях. Он пересек улицу, прошелся по другой стороне, по широкому тротуару, потом вспомнил, что должен идти на работу, сегодня чвановский зал был сдан под завтрак-банкет, но тотчас же забыл об этом. Ничего больше не оставалось в мире, кроме этих дверей.

Он стоял и смотрел.

— Проходите! — сказала секретарша и кивнула направо. Она печатала одной рукой на машинке, в другой у нее был бутерброд — кусок хлеба с колбасой.

Альтус стоял возле письменного стола в своем кабинете и перелистывал журнал, Антонина успела заметить какой — это был номер «Красной нови». Рядом с журналом стопкой лежали новые, видимо только что принесенные книги. В стакане остывал крепкий чай, и на тарелочке

Антонина заметила такой же бедный, как у секретарши, бутерброд: хлеб с колбасой без масла.

— Ну что ж, девочка с Джеком Лондоном, — невесело сказал Альтус, — я ознакомился с делом вашего супруга. Садитесь!

Он кивнул на стул и прошелся по своему кабинету.

— Ознакомился и, можно так выразиться, изучил его. Ваш муж занимался контрабандой. Вы знали это?

— Знала! — прошептала она.

— С какого времени?

— Давно. Несколько раз знала.

— Но вы-то, лично, принимали участие в продаже контрабанды? Вы, девочка с Джеком Лондоном.

Что-то горькое почудилось ей в этих словах.

— Они приходили и уходили, — сказала Антонина испуганно, — я не все понимала, я только...

— Муж пил?

— Да. Как все...

— То есть как это «как все»? Что вы знаете обо всех?

— Он... выпивал... и его товарищи тоже. С товарищами.

— На вырученные деньги что вы приобретали?

— Я? Ничего! — растерянно сказала она, — Я не покупала.

— Вы требовали деньги от вашего мужа?

Он полистал «дело», по-прежнему стоя и посасывая короткую черную трубочку. Антонина заметила его сильную, с белыми лунками на ногтях руку.

— Не понимаете вопроса? Деньги вы от вашего мужа требовали на туалеты, на духи, на разные там бусы и цепочки?

— Как это «требовала»?

— Ну, как обычно требуют? В книжках вы об этом разве не читали?

— Вот что, — сказала она. — Значит, вы думаете, что и я виновата. Ну что ж, вы так думаете, значит, так оно и есть...

Губы у нее дрогнули, но она справилась с собой и резко вскинула голову. Глаза ее смотрели зло.

— Правды на свете нет! — сказала она громко, звонким от ненависти голосом. — Вы вот книжки читаете и по книжкам правду видите. А в книжках все вранье. В жизни не так. Пусть будет по-вашему, по-книжному! Если мой муж контрабандой торговал, так, значит, я его и

заставляла. Как там, в вашей книжке, написано. Ну и судите меня, и засуживайте, и пожалуйте! Ярофеич тоже поверил, что я воровка, Тывода поверил. Лена поверила. А я...

Она задохнулась, слезы клокотали в ее горле, но она все-таки держалась.

— Хорошо, согласна, пожалуйста! — крикнула она. — Воровка, и контрабандой занималась, и вся хожу в драгоценностях. Во всем виновата, в чем вы его обвиняете. Могу подписаться под этим. Где у вас подписываются?

— А вы не кричите! — сухо посоветовал Альтус. Отхлебнул остывшего чая, прошелся по комнате и спросил, когда она вышла замуж.

— Когда вышла, тогда и вышла! — грубо ответила Антонина. — К делу это, кажется, но относится.

— Может быть, и относится.

— Мне лучше знать.

— Не следует надевать себе петлю на шею только потому, что вы раздражены на жизнь, — посоветовал Альтус. — И не следует грубить мне, после того как вы сами обратились ко мне за помощью. Вопрос о вашем замужестве я задал не случайно, мне нужно знать, давно ли вы замужем, любите ли вы вашего мужа, любит ли он вас? как вообще сложился ваш быт, ваша семья, что он за человек — этот Скворцов...

— Человек как человек, — сказала Антонина отрывисто, — не хуже других.

— По вашему мнению, он вас любит?

— Наверное, любит, как все мужчины любят, не по-книжному, а в жизни...

Альтус коротко улыбнулся. Отрывистая эта, мгновенная улыбка удивительно красила его худое, жесткое лицо.

— Вам кажется, что вы хорошо знаете жизнь?

— Да уж кое-как знаю! — с прежней резкостью произнесла она. — Повидала сладкого... — И кивнула на книжки враждебно и презрительно: — Здесь небось про Пюльканема не написано и про Бройтигама тоже...

— Про них не читал, а вот про Безайса и Матвеева только что прочитал...

Альтус взял в руку книжку, на обложке которой Антонина увидела: «Виктор Кин». И ниже крупно — «По ту сторону».

— Что про ту, что про эту, — горько сказала она. — Знаем!

— Нет, не знаете. А надо бы знать, Впрочем, сами разберетесь, вы уже из детского возраста вышли. Теперь ознакомьтесь с показаниями вашего мужа.

Он протянул ей несколько больших листов, и она сразу же узнала почерк Скворцова. По мере того как она читала, краска заливала ее щеки, жгучая, мучительная краска стыда. И про этого человека она только что сказала, что он ее любит, только что, здесь же, за этого человека она приехала хлопотать, из-за него сидит здесь...

Альтус мелкими глотками допил свой чай, потом отдельно съел бутерброд.

Прочитав, она долго складывала листы, один к одному, и бессмысленно выравнивала их.

Надо было что-то сказать, но что?

— Это неправда! — наконец произнесла она, — Я никогда не брала у Скворцова деньги на свои «прихоти», как здесь написано. И ничего не просила. И не требовала. И никаких бриллиантов у меня нет, зачем мне они? Он мне давал деньги на еду, покупал мне сам туфли, материал на платье. Два отреза так и лежат — фэй на платье и еще креп-сатин...

Она усмехнулась — фэй и креп-сатин как-то особенно жалко прозвучали здесь.

— Впрочем, дело ваше! — гордо перебила сама себя Антонина. — Если верите ему — пусть арестовывают...

— Да нет, не арестуют! — сказал Альтус. — Вам, конечно, очень хочется, чтобы вас арестовали, тогда бы вы нашли свое настоящее место в жизни, было бы кого обвинять, но этого не случится. Придется вам обвинять самое себя. Да что с вами, вы сейчас свалитесь!

Не торопясь, он налил ей воды, протянул через стол. Зубы Антонины лязгнули о край стакана. Она пила как во сне, не чувствуя, что пьет. Альтус говорил в телефонную трубку:

— Гараж? Машину мне нужно к подъезду. Все в разгоне? Ну, а пролетка есть? Так пусть Аметиста заложат и живо к подъезду...

Потом вошла секретарша — и тоже, как во сне, Антонина услышала:

— Отвезите, товарищ Лушанкова, Скворцову домой. Она плохо себя чувствует и ребенок у нее маленький...

Вдвоем — маленькая, толстенькая Лушанкова и высокая Антонина — они миновали коридор. У Антонины вдруг заболела грудь, она вспомнила, что уже давно время кормить, — грудь была полна молока. По лестнице она спускалась почти бегом, секретарша Лушанкова почему-то поддерживала ее под руку. У подъезда красиво перебирал ногами в белых чулках гнедой Аметист. Пал Палыч бежал по тротуару, очки его слепо блестели...

В пролетке Антонина сидела рядом с секретаршей Альтуса, Пал Палыч напротив, на скамеечке.

У дома он попытался дать кучеру рублевку, тот обиделся, сказал сердито:

— Я не извозчик, а кучер конюшни РПУ. Примите свои деньги, не нуждаемся!

Лушанкова крепко, по-мужски тряхнула Антонинину руку, закурила папиросу, кучер, приотпустив вожжи, пустил Аметиста рысью.

Дома Антонина сказала Пал Палычу:

— Вы можете достать мне книгу Виктора Кина под названием «По ту сторону»?

— Я все могу для вас сделать, Тонечка! — ответил Пал Палыч.

Через шестнадцать дней Скворцова судили. Зал суда был почти пуст. Защитник, нанятый Пал Палычем, говорил очень долго, с пафосом, воздевая руки к потолку, но вдруг соскучился и смял конец речи, — видимо, понял, что все равно толку не добьешься. Скворцов был бледен и зол. Лицо его в тюрьме как-то точно обсохло — исчез жирок. Глаза по-прежнему выражали наглость, хотя что-то трусливое появилось в них.

Антонина смотрела на него с жалостью. Он сделался ей уже совсем чужим — в этой щегольской синей робе, гладко причесанный, с ленивой усмешкой на полных губах.

Он сидел за барьером, рядом с Барабухой и еще с какими-то людьми, которых Скворцов выдал, как только почувствовал, что его дело худо. Один был бородатый, толстый фармацевт, другой — «лицо без определенных занятий», как про него сказал судья.

Порой фармацевт поглядывал на нее. Она отводила взгляд, краснея, и злилась на себя: ей было стыдно, что ее муж — трус и шкурник.

Обвиняемые сидели за деревянным барьерчиком. Около барьерчика стоял часовой с винтовкой.

Приговор вынесли в четыре часа дня. Судья читал мерно и торжественно, большие светлые усы его шевелились, иногда пальцем он поправлял их. Скворцова приговорили к трем годам лишения свободы и конфисковали контрабанду.

Барабуху отпустили вовсе. Он вышел из-за барьерчика и, глядя себе под ноги, ушел.

Скворцов улыбался растерянно и нагло.

Антонина посмотрела на Пал Палыча, но он повернулся, очки заблестели, и она не увидела его глаз.

— Пойдемте, — властно сказал он.

Она все сидела.

— Пойдемте же, — повторил он и взял ее под руку, — здесь нечего делать.

Дома она взяла книжку Кина и легла с ней на диван. Безайс и Матвеев — два молодых человека — ехали в своем странном вагоне, разыгрывали друг друга, спорили, спотыкались, ошибались, но шли к цели, к единой, удивительной, захватывающей душу цели.

Пал Палыч позвал Антонину пить чай — она не пошла. Как раз в это время Жуканов собирался продать Матвеева и Безайса белым. Наступило время ужинать — Матвееву ампутировали ногу. Разве могла она ужинать?

— Да оставьте вы меня, ради бога! — чуть не плача попросила Антонина.

«Вот достал книгу на свою голову!» — сердито подумал Пал Палыч.

Прочитав про то, как Лиза уходит от Матвеева, Антонина громко сказала:

— Сволочь! Есть же такие сволочи!

И долго, одними губами, повторяла последнюю фразу удивительной книги: «Это было его последнее тщеславие».

Ей хотелось пить, щеки ее горели. Наверное, Альтус был таким, как Матвеев. Или как Безайс. И она вспомнила его бедный бутерброд, мгновенную улыбку, выгоревшие волосы, белую военного образца гимнастерку и широкий кожаный ремень, за который, прохаживаясь по комнате, он закладывал ладонь. Конечно, он был из этой армии, так же как Скворцов был из армии предателя Жуканова. Так почему же так несправедливо, так жестоко, так глумливо обошлась с Антониной жизнь?

Всю ночь до рассвета она думала.

А утром понесла Скворцову в тюрьму передачу.

До самой отправки в лагерь она носила ему передачи и подолгу простаивала в невеселой

очереди жен, матерей и сестер. С ней заговаривали, она отвечала; так завязывались короткие и печальные знакомства. Говорили о том, что мужья — или сыновья, или братья — не виноваты. А если и виноваты, то только потому, что попали в дурную компанию, или познакомились с плохой женщиной, или «это случилось только один раз». Надеялись, кляли свою бабью долю, жалостливость, одиночество. Рассказывали друг другу о детях, искали знаменитых защитников или советчиков, вместе, по двое, по трое, ходили к гадалкам, показывали друг другу записки из тюремных камер. Безайс, Матвеев и Альтус уходили все дальше и дальше.

Тут, в первый раз, Антонина жестоко и горько подумала о своей судьбе и поняла, кто она теперь. Ей не было жалко себя. Человек сам хозяин своей жизни. Скворцов был виноват в ее нынешней судьбе, а она оказалась слабее его, тем хуже для нее. Но и его жалеть она не хотела. С холодом в сердце тут, в очереди, она навсегда отреклась от него. И тут же твердо решила, что будет работать. Она еще не знала, как, но была твердо уверена, что теперь все изменится.

По-прежнему она приносила передачу, по-прежнему писала Скворцову сухие, короткие записки, но делала это со скукой, раздражаясь и нервничая. Она знала, что ему плохо, и не жалела его. Она отрезала его от себя и от сына, он уже не был членом семьи, она только ждала свидания, чтобы все сказать ему и почувствовать себя вполне свободной.

С каждым днем все больше раздражала ее очередь, в которой подолгу она простаивала, все ненавистнее делались ей слезы, обмороки, задушевные разговоры женщин, страдальческие лица и то выражение покорности и терпеливости, которое умеют изображать женщины, когда им что-нибудь нужно.

«Овцы, — злобно думала она, — дрянные, глупые овцы...»

Особенно злила ее одна красивая, рано поседевшая женщина. Муж этой женщины прокутил несколько десятков тысяч рублей казенных денег с какой-то цирковой наездницей. Наездница эта ни разу не заглянула сюда, а жена с маленькой девочкой приходила каждый день и униженно просила свидания, от которого отказывался ее муж, слала ему записки, клялась, что все простила, что любит его и не может без него жить.

— Да ведь он же не хочет свидания, — как-то сказала ей Антонина, — неужели вы не понимаете?

Женщина заплакала, жалко замахала руками, что-то быстро и бестолково заговорила. Потом с ней сделалась истерика. Другие женщины набросились на Антонину — она стояла и улыбалась дрожащими губами, ей хотелось объяснить им все, но у нее не было таких слов — простых, понятных и убеждающих, она ничего не могла противопоставить привычным для них понятиям: долг жены, долг матери, семьи... Весь вечер дома она думала об этом, что-то решала для себя, проверяла, права она или нет, но так ничего и не решила. Ей было ясно только одно — что надо иначе, но как иначе, она не знала...

6. Ах, не все ли равно!

Пал Палыч одолжил ей двести пятьдесят рублей, и она поступила ученицей в парикмахерскую на Большом проспекте. Между делом она научилась маникюру, завела свой инструмент и, когда парикмахерская закрывалась, ходила по квартирам, работала иной раз до одиннадцати, до часу — маникюрша сбывала ей наиболее неприятные квартиры.

Не было денег. Антонина продала кровать, стол, кресло, кое-что из платьев. Когда выносили вещи, ей сделалось вдруг весело и легко. От ножек кровати остались на полу белые квадратики, она долго скребла эти следы щеткой и запела, когда их не осталось вовсе. В комнате стало просторней. Она постояла, посмотрела, потом прошлась кругом и вдруг решила продать буфет, обе тумбы, люстру, зеркальный шкаф. «Ах, как будет хорошо, — думала она, оглядывая комнату, — все уберу, все».

С необычайным жаром она принялась отыскивать по магазинам простой стол, стулья, кровать с сеткой, плетеный коврик для сына. Пал Палыч ей во всем помогал.

Потом она с няней Полиной переклеила комнату новыми обоями — светлыми, простенькими. Вечером, когда все было готово и расставлено по местам, к ней зашел Пал Палыч.

— Чаю хотите?

Пал Палыч сел к столу, она пододвинула ему варенье, корзину с хлебом, масло и заговорила, глядя в свою чашку и старательно размешивая уже давно растаявший сахар:

— Я сегодня клеила обои, и вдруг мне страшно стало, подумала: как после покойника... А потом ничего. Сказала сама себе — да, действительно, после покойника.

— Полно вам, — ужаснулась няня.

— После покойника, — упрямо подтвердила Антонина, — слава богу, повидала вдов. Стоят бабы с передачами, а за что стоят? Хорошо, у меня один ребенок, а у кого двое, трое? Да даже не в этом дело. Ведь стыдно, ужасно стыдно... Ну неужели вы не понимаете? — спросила она у Пал Палыча. — Уставились...

— Не понимаю, — сознался Пал Палыч, — ведь не вы преступление совершали, он.

— Не я, не я... — Она отхлебнула чаю и перевела разговор: ей было очевидно, что Пал Палыч не поймет то особенное, что лежало у нее на сердце все эти дни, о чем она упорно думала и что не могла выразить — не было таких слов.

За день до отправки Скворцова в лагеря ее вызвали на свиданку к нему. Хоть она и ожидала этого вызова, вдруг испугалась до того, что вся похолодела.

Когда она вошла, он уже ждал ее в большой серой комнате — ходил из угла в угол, презрительно кривил губы и щурился.

— Ну, здравствуй, — сказал он ей и оглядел ее с ног до головы наглыми глазами, — здравствуй, душа моя...

Она промолчала, но кровь бросилась ей в лицо; она почувствовала, что ненавидит его с такой силой, какой сама не подозревала в себе.

— Как сын? — спросил он.

Антонина молчала.

Он стоял перед ней, сунув руки в карманы измятых брюк, и разглядывал ее с любопытством и злобой — точно чувствовал, что она уже не принадлежит ему и не будет никогда принадлежать.

— Через три года вернусь, — сказал он нарочно развязным тоном, — как-нибудь переживешь... А? Пал Палыч поможет.

— Это тебя не касается.

— Почему же не касается?

— Потому...

Ей трудно было сказать это, но она все-таки решилась и сказала, что разводится с ним и берет ребенка себе.

— И ты его не увидишь, — быстро добавила она, — я ему ничего не скажу, скажу, что тебя нет, — понял? И ты не смей, — совсем заторопилась она, — ты не имеешь права показываться...

Он побледнел и сжал кулаки, но она не дала ему говорить:

— Я с тобой развожусь, — повторила она, — навсегда развожусь. — Слово «навсегда» облегчило ее, и она с радостью еще раз сказала: — Навсегда, понял? Ты искалечил, изуродовал мою жизнь, — говорила она, — я не хотела быть женой уголовного преступника, я хотела жить иначе, лучше, я учиться хотела, — дрогнувшим голосом сказала она, — теперь я сама буду, понял, а ты как хочешь, и не трогай меня, и не смей ко мне приходить, ты мне не нужен, я тебя ненавижу, понял?

Она вдруг заплакала, но тотчас же сдержалась и сказала:

— Все твои вещи я продала и деньги тебе переведу, как только это разрешат. А комнату я считаю своей потому, что за нее ты отдал мою кухню, а у тебя комнаты не было...

Она всхлипнула и отвернулась, ей сделалось стыдно за эти последние слова о комнате и о вещах, но она не могла их не сказать — надо было разорвать все нити, связывавшие ее со Скворцовым.

— Так, — усмехнулся он, — ну что ж...

Антонина молча пошла к выходу.

— Тоня, — позвал он.

Она остановилась.

— Я же все это ради тебя делал? — сказал Скворцов, — я на преступление ради тебя решился...

— Врешь.

— Правда.

Она взглянула на него и ушла.

Вечером Пал Палыч два раза стучался к ней. Она не ответила.

Федя рос, учился ползать, потом ходить, потом вдруг сразу заговорил. Нянька Полина толстела, пела песни, вязала всем в квартире теплые шерстяные чулки и носки, сплетничала про Капу и Геликова. Пал Палыч служил, зиму и лето ходил в темном, играл с Федей и не спал по ночам — покашливал, пил горячий черный чай.

— Старость, — говорил он, когда Антонина спрашивала его, что с ним, — чертовщина по

ночам мерещится.

Антонина сделалась мастером — брила, стригла, научилась горячей и холодной завивке и тосковала так страстно и так сильно, что вдруг, ни с того ни с сего, убегала поздним вечером из дому и долго бродила по сонным и тихим улицам. «Как жить, — думала она, — как же мне жить?»

Жить было скучно и неинтересно. Она очень любила сына, но он не был для нее всем. Ей хотелось еще чего-то — огромного, такого, чтобы вдруг стало интересно, как бывало интересно в школе, чтобы куда-то торопиться, спешить, чтобы всегда думать о чем-то — именно думать, чтобы вдруг сбегать и посмотреть, как оно, это что-то, чтобы вдруг непременно надо было убедиться, все ли там благополучно, или помочь, а главное — беспокоиться. Ей очень надо было беспокоиться — потому что то дело, которое она делала, было сонным, и скучным, и, главное, никчемным — не могла же ее в самом деле, всерьез занимать стрижка, или бритье, или завивка.

Иногда вечерами сердце ее вдруг начинало тяжело и назойливо биться. Она не могла найти себе места, раздражалась на сына, кричала на Полину.

У Пал Палыча все было по-прежнему, ничего не менялось. Не входя к нему, из дверей, она оглядывала его комнату, и в глазах ее Пал Палыч читал осуждение и злобу.

— Ну чего вы, — спрашивал он, ласково и участливо улыбаясь, — опять черти раздирают?

Она молчала.

— Чайку хотите?

— Нет.

— Может быть, в кино сходим?

— Не хочу, спасибо.

— Чего же вам надо?

— Ах, ничего, — говорила она и уходила.

Стоя возле двери, он слышал, как она срывала с вешалки пальто, как надевала калоши, как хлопала парадная. Тогда дрожащими от волнения руками Пал Палыч срывал с себя домашнюю со шнурками венгерку, сбрасывал туфли, одевался и бежал за Антониной под дождь, под снег, в метель — все равно. Он шел сзади неподалеку от нее и даже не старался быть незамеченным — так был уверен в том, что она никогда не подумает, будто он может следить за ней.

Она шла не оборачиваясь, сунув руки в рукава пальто, как в муфту, глядя прямо перед собой, не замечала взглядов, бросаемых на нее, и ходила подолгу — по два, по три часа.

Пал Палыч не спускал с нее тревожных, ласковых глаз... Когда она переходила улицу, он шел за нею; когда она шла по набережной Невы, или Мойки, или Фонтанки, он весь напрягся и каждую минуту был готов прыгнуть за ней в воду, если бы это понадобилось. Иногда ему вдруг что-то мерещилось, и он бросался вперед с бьющимся сердцем, а потом долго стыдил себя и успокаивал, говорил себе, что все пустяки, что просто она тоскует, что никогда «такое» с ней не случится, что он сделался совсем мальчишкой. Но если вновь она слишком близко, по его мнению, подходила к перилам, он опять бросался вперед, а потом долго вытирал платком внезапно вспотевшее лицо. «Ну что ж, — говорил он себе, — что ж, я ее люблю. Она дорога мне. Что ж, это не стыдно».

Он провожал ее до самого дома, а потом дроб на улице полчаса или час, чтобы приход вслед за ней не казался подозрительным.

Возвратившись домой, он стучал к ней и звал ее пить чай. У него всегда были те лакомства, которые нравились ей, и каждый день он потчевал ее чем-нибудь новым — сам варил ранним утром, пока она еще спала, тянучки, или орехи в меду, или миндаль в сахаре... Если Федя еще не спал, она закутывала его в одеяльце (в коридоре сквозило) и приходила с ним на руках — он всегда просил, чтобы она пришла с Федей.

Несмотря на то, что этот вечерний чай стал уже обычаем, к которому Антонина и Пал Палыч привыкли и без которого не проходило почти ни одного вечера, каждый раз, когда Антонина стучала, Пал Палыч точно пугался, непременно краснел и, стараясь скрыть смущение, начинал особенно старательно хлопотать...

Он никогда ничего не рассказывал ей о себе и ничего не спрашивал — он умел легко и просто молчать, это было приятно Антонине. Иногда за чаем он читал вслух газету, или раскладывал меж их тарелок шашечную доску и предлагал сыграть, или они вдвоем решали кроссворды, напечатанные в журнале, который Пал Палыч выписывал.

Федя спал на постельке, устроенной на диване. Антонина мало видела сына и скучала без него, но сейчас он был тут, она могла в любую секунду подойти к нему и поглядеть, дотронуться до его ручки или потрогать лобик, нет ли жару; присутствие ребенка сообщало комнате Пал Палыча уют и ту уверенность, которой Пал Палыч лишился за последнее время; кроме того, Пал Палыч любил Федю и радовался, когда мальчик спал на его диване.

После вечерних своих прогулок Антонина выглядела опустошенной и разбитой, но Пал Палыч так потчевал ее чаем, так домовито пел на столе самовар, так ласково было все вокруг, что к Антонине постепенно возвращалась жизнерадостность. Играя в шашки, она вдруг начинала тихонько насвистывать, или внезапно смеялась над рассеянностью Пал Палыча, или вскидывала легкие и смуглые руки к потолку и говорила, оглядывая комнату, что у Пал Палыча «просто чудесно», что ей «так хорошо, так весело», что она без этого чая «просто бы пропала», или, спохватившись, начинала мыть посуду, говоря, что и так достаточно ему хлопот, что давеча он бегал за лекарством для Феде, а на прошлой неделе чинил ей примус, а осенью шпаклевал окно в ее комнате.

Пал Палыч конфузился и сердито говорил что-нибудь такое, что обычно говорят в таких случаях, растроганно протирал очки и переводил разговор на другую тему.

Вечер заканчивался тем, что Пал Палыч уносил Федю в комнату Антонины и сам укладывал его в кроватку. За ширмой был полумрак, ребенок сонно и вкусно вздыхал, Антонина что-то поправляла в постельке, а Пал Палыч держал мальчика на весу, на вытянутых руках, и напряженно ждал, пока Антонина скажет полуласково-полусердито:

— Ну что же вы, право, кладите.

Тогда он, согнувшись, клал ребенка в постель, потом высвобождал руку, поправлял одеяльце и распрямлялся. Иногда Антонина плечом чувствовала плечо Пал Палыча и не отстранялась — ей было приятно прикосновение этого сильного и чистого человека; она знала твердо, что он любит ее так, как никто еще ее не любил и, конечно, думала она, не полюбит, и бессознательно радовалась, хоть сама и не любила, его.

Иногда они подолгу стояли над постелью ребенка и разговаривали. Оказывалось, что у них много дел друг к другу и разговоров, и все это надо было говорить шепотом и спешить, потому что было уже поздно и как-то не очень ловко.

Антонина рассказывала ему дневные происшествия в парикмахерской, смеялась, откидывая

назад голову, спрашивала советов, а Пал Палыч не слышал ее вопросов и смущался, кровь тяжело и звонко билась в его висках — он не мог сосредоточиться, но тоже что-то говорил, спрашивал, рассказывал, только бы не уходить из этого полумрака, только бы слышать ее голос, чувствовать, что она близко, что она дышит, улыбается.

Возвратившись в свою комнату, он запирался на ключ, наливал, чаю в чашку, из которой она пила, садился так, как сидела она, и пил, стараясь касаться губами края в том месте, которого касались ее губы.

Ему было очень стыдно и даже смешно, но он не мог удержаться и съедал не доеденный ею бутерброд, или варенье, или пастилку, прикидываясь сам перед собою, что это нечаянно, обманывая себя тем, что добру незачем пропадать, или уж откровенно и просто: «Ах, не все ли равно?»

Он любил ее вещи так же, как любил ее самое. Он прятал ее платки, шпильки для волос, все, что она забывала у него, и удерживал себя от того, чтобы каждую минуту не смотреть на эти вещи. Он оставлял это все на конец дня, на самое грустное и одинокое время — перед сном. Тогда он раскладывал шпильки, платки, ленточки возле кровати на тумбе и подолгу глядел на все это, улыбаясь и вздыхая.

Антонина знала, что Пал Палыч любит ее, знала, что он будет любить ее, пока будет жив, знала, что он мучится и страдает из-за этого, жалела его и не думала о нем, потому что думала о себе и потому что жизнь ее была ужасна.

Она устала и с каждым днем уставала все больше, все серьезнее, все, как казалось ей, непоправимее. Она угорала от запаха жженных волос, от душных испарений одеколона, вежетали, хинной, от дегтярного мыла, от лака; ее раздражали глупые и томные клиентки — кинематографические актрисы, жены ответственных работников, нэпманов или некрасивые и несчастные женщины, которые красили волосы перекисью водорода, красили ресницы, брили брови и оставались такими же уродами, как были, с той только разницей, что становились смешными. Ей было стыдно, когда она из жалости к ним врала, что у нее нет перекиси водорода, и что она не может достать перекиси, и что лучше уж им не перекрашиваться, а они в ответ говорили, что достанут сами, и крали перекись из каких-то лабораторий... Ей было стыдно и горько оттого, что красивые и выхоленные женщины подсмеивались над некрасивыми из-за того, что у этих красивых, выхоленных и глупых женщин были, судя по их рассказам, умные и милые мужья; ей казалось, что тут какая-то неправда, что так не может быть, что этим умным мужьям ни к чему такие жены... Слушая разговоры кинематографических и театральных артисток, она удивлялась, что эти женщины могут изображать на сцене любовь, или ревность, или еще что-нибудь красивое и серьезное, — ей казалось, что раз они даже парикмахерским знакомым выбалтывают все о себе, о своей жизни и раз они об этой жизни «так» думают, то как же они смеют изображать на сцене или на экране настоящие чувства? Жены торговцев злили ее своей сытой и наглой самоуверенностью, тем, что они обращались с мастерами как с прислугой, а главное — тем, что она должна их обслуживать, в то время как она гораздо умнее их, гораздо больше их понимает, думает, мучится и ищет какого-то пути, до которого им нет ровно никакого дела.

Иногда, но это случалось не часто, в парикмахерскую заглядывали совсем другие женщины. Они приходили обычно под вечер и одеты были особенно — парадно, с тем торжественным и милым выражением, которое бывает у людей, радующихся театру, или вечеринке, или празднику, еще не привыкших ко всему этому, а главное, занимающихся другим и важным делом, по отношению к которому театр или вечеринка — особое и радостное событие.

Они приходили стайкой, пересмеивались, шутили друг с другом, искоса взглядывали на

прейскурант цен и очень почтительно разговаривали с мастером или мастерицей. Они не уставали и не раздражались, как те клиентки, и разговаривали о другом — о том, чего Антонина не знала, но в существование чего твердо верила. Они говорили не очень понятно для Антонины, но так, что за их короткими фразами или только словами она угадывала настоящее дело, большое, серьезное, государственное — как хотелось ей думать — дело, которое она, парикмахер, должна была уважать — будь то фабрика, или университет, или школа, или больница.

Ей нравились эти клиентки, она внимательно слушала их разговоры, приглядывалась к ним и, как только могла, хорошо стригла их, завивала, причесывала. У нее был настоящий вкус, она была честным мастером, и, если кому-нибудь не стоило завиваться, она прямо об этом говорила и тут же предлагала причесать на прямой пробор, или спустить узел пониже, или еще как-нибудь иначе.

Им нравилось то, что она делала, ж они подолгу разглядывали себя в зеркале — удивленно и даже растерянно.

— Не нравится? — спрашивала Антонина.

— Нет, что вы, — пугалась клиентка, — по-моему, очень хорошо.

— У вас красивые уши, — говорила Антонина, — я их открыла... Вы как-нибудь загляните, я вам холодную завивку сделаю — еще красивее будет... Сейчас вам некогда, в театр идете?

— В театр.

Антонина бывала очень довольна, если такая клиентка заходила еще.

Но эти клиентки возбуждали в ней и зависть, почти злобу. Они знали то, чего не знала она, они делали то, чего не могла делать она, они своим существованием как бы подчеркивали никчемность того, чем занималась она. В их обращении с нею сквозила та, правда едва уловимая, но все же заметная холодность, которая бывает у женщин, почитающих себя совсем настоящими работниками, равными мужчинам, по отношению к женщине, занимающейся женским и несколько презираемым трудом. Они никак не подчеркивали этого, напротив, они обращались с Антониной как бы запросто, как бы с уважением к ее непонятной им профессии, они говорили ей, что работа парикмахера — это искусство, и говорили искренне, но Антонина понимала все и не пыталась себя обманывать.

Ей опротивело все это, а как жить иначе — она не знала. Безайс и Матвеев не встречались на ее пути, к Альтусу нужен был пропуск, да и не пойдешь же к нему с вопросом: как жить?

И бежали дни — постылые, одинаковые, унылые...

7. Неизвестный задавлен насмерть

В февральскую стужу он вернулся домой. С ним были два его дружка по лагерю. Скворцов разбудил Антонину, обнял ее, бледную и растерянную, и велел немедленно же готовить ужин — посытнее и пошкарнее. Потом, вдруг вспомнив о сыне, подошел к кровати.

— Не тронь! — приказала Антонина.

Покойно улыбаясь и отстраняя ее рукою, он все же заглянул в кровать. Федя крепко спал, сунув ладошку под щеку и хмурясь во сне.

— Ничего сын, — молвил Скворцов, — подрос парень.

Антонина вышла из комнаты. Ее била дрожь. Она не знала, что ей делать, что сказать Скворцову. Походив по коридору, она вызвала Скворцова в кухню и там сказала ему, чтоб он убирался немедленно, что она его не хочет знать, что он ей мерзок и противен.

— Куда же я пойду? — нагло щурясь, спросил он. — Мне идти некуда...

Когда она вошла в комнату, он лежал на ее кровати, потягивался и рассказывал что-то смешное, приятели его смеялись.

Она постучала к Пал Палычу.

Сперва он не понимал ее, потом внезапно посерел — так бывало с ним в минуты сильного гнева, — велел ей остаться у него в комнате, вынул что-то из тумбочки и, сунув в карман, ушел...

Несколько минут все было тихо. Антонина стояла в двери и слушала голоса, доносившиеся из ее комнаты: разговаривали негромко, почти спокойно. Потом скрипнула дверь, полоса желтого света легла на пол в коридоре, вышел Скворцов и протянул руку к вешалке. Антонина спряталась за косяк, чтобы Скворцов ее не увидел. Она слышала негромкий, уверенный и злой голос Пал Палыча, брань Скворцова, угрозы двух его приятелей и опять голос Пал Палыча.

— К чертовой матери, — сказал он, — поняли?

Скворцов что-то закричал, но в ту же секунду Антонина услышала шарканье ног по паркету, как бывает, когда волокут тяжелое, затем неистовую брань... Она выскочила из своей засады и бросилась в коридор. Тут было темно, никто не догадался зажечь свет, слышалось пыхтенье, топот и ругань, трещала материя... Дрожащими пальцами она нащупала выключатель, повернула его и бросилась вперед, на помощь Пал Палычу, который, схватив за шиворот одной рукой Скворцова, другой его приятеля, толкал их перед собой по узкому, заставленному вещами коридору и со страшной силой колотил головами друг о друга, как только они пытались ударить его. Второй же приятель Скворцова не мог дотянуться до Пал Палыча, так как был впереди всех и потому что Пал Палыч действовал двумя своими пленниками и как щитом, и как оружием одновременно...

Но в кухне положение сразу изменилось — Скворцов вдруг вывернулся и схватил Пал Палыча за горло. Пал Палыч пошатнулся, кто-то сделал ему подножку, Антонина закричала, рванулась вперед и, ничего не видя перед собою, кроме ненавистного красного лица Скворцова, вцепилась ногтями ему в щеки — он взвизгнул и согнулся, трясая головой; это спасло Пал Палыча: он перехватил Скворцова сзади за шею и швырнул к двери, затем швырнул обоих его приятелей и, распахнув дверь, выкинул всех троих, как котят, на лестницу, закрыл дверь на крюк и, шатаясь, пошел к раковине умываться.

Антонина плакала, опустившись в изнеможении на табурет у плиты и не вытирая слез с лица.

До самого утра Пал Палыч утешал ее, поил горячим чаем, валерьянкой, грел ей ноги бутылками с кипятком, говорил, что все это устроится, что, в конце концов, это ерунда, на которую не стоит обращать внимания, что в жизни бывает еще и не такое и что, право же, каждая ее слезинка стоит дороже всего Скворцова.

— Ах, вы не понимаете, — говорила она, кутаясь в плед и вся вздрагивая, — я думала, что это кончилось, что он пропадет как-нибудь, а он опять явился — это значит, на всю жизнь, всегда так будет, всегда; это ужасно, Пал Палыч. Мне ведь надоест, я устану и опять сдамся, — он это знает, он только на это и рассчитывает, что я устану и опять сдамся, и он сможет

приходить ко мне, когда захочет, и мне будет все равно. Неужели так всю жизнь, — спрашивала она, — а, Пал Палыч, неужели я всю жизнь так прожила?

— Полно вам...

— Что ж «полно», что ж «полно»?...

Утром, невыспавшаяся, с красными глазами, она пошла в парикмахерскую и долго думала почему-то о Пал Палыче, вспоминала дикую эту ночь и невольно восхищалась той силой и спокойствием, с которыми Пал Палыч справился со Скворцовым и его друзьями.

Скворцов пришел через день под вечер и держал себя тихо, почтительно, виновато. Принес Феде большой красивый пароход, лейку, гармошку, спросил, не надо ли Антонине денег, и сразу сказал, что заглянул ненадолго, на полчаса, и скоро уйдет. Антонина молча штопала чулки, нянька жалостливо шмыгала носом и, выражая свое недовольство поведением Антонины, гремела посудой, Федя недоверчиво косился на новые игрушки и не брал их в руки.

Было тихо, за окном шел снег, топилась печь. Скворцов действительно ушел, просидев не более получаса, но на другой день опять явился, уже без игрушек, пьяненький, плакал, валялся у Антонины в ногах, просил прощения, клялся, что все теперь переменится, что он любит ее, не может без нее жить и что если она вновь с ним сойдется, то он станет работать и сделается таким человеком, что она не узнает его. Антонина брезгливо смотрела на гладкие волосы, на широкие плечи, на красную шею и почему-то не прогоняла его, не вырывала рук, которые он целовал. Она не слышала, что он говорит, и думала о своем, о давнем, грустном и милом, об Аркадии Осиповиче, о Рае Зверевой, об отце...

Вечером к ней постучал Пал Палыч. Она вышла в коридор и густо покраснела, когда Пал Палыч спросил, у нее ли Скворцов.

— Да, у меня, — сказала она с вызовом.

— Да ведь... — он не кончил и махнул рукой.

— Ах, не все ли равно, — сказала она, — как вы не понимаете, что все равно, что ведь все кончено...

Он смотрел на нее с жалостью, ласково и укоризненно. Ее вдруг озлобил этот взгляд, она повернулась, чтобы уходить, но он нежно и крепко взял ее за руку и повел к себе.

— Я вас не осуждаю и ни в чем не виню, — сказал он, когда она села, — поймите меня как следует, я ни в чем вас не виню и не смею вас винить, я желаю вам счастья, поняли?

Он отвернулся и помолчал.

— Да, счастья. Я только хочу, чтобы в случае нужды вы не стыдились сказать мне. Понимаете? Все сказать. Чтобы вы пришли и пожаловались, как это было до сих пор, как вы всегда приходили ко мне. Хорошо, Тоня?

— Хорошо, — сказала она растроганно.

— Ну, а теперь идите к нему...

Она ушла к себе, Пал Палыч оделся, постоял в коридоре, послушал: Скворцов о чем-то рассказывал, потом нянька пробежала в кухню и, возвращаясь, сказала:

— Слава богу, все как у людей...

Пал Палыч нашел в углу у вешалки трость и, не торопясь, вышел на улицу. У ворот он постоял, подумал. Ночь была морозная, скрипели сани. Пал Палыч кликнул извозчика, застегнул медвежью полость и велел ехать к ресторану. Извозчик гаркнул по-старинному: «Пади!», рысак вытянулся в стрелу, мерзлые комья полетели Пал Палычу в лицо. Пал Палыч выпростал руку из перчатки, чтобы поправить очки, но вдруг почувствовал, что плачет, — слезы замерзали на лице.

В ресторане, позади большого зала, за оркестром, у него была маленькая комнатка — чистая, комфортабельная, с полочкой, на которой стояла большая, старинного фарфора чайная чашка, с диваном, со столом, с креслом. Здесь он днем работал, щелкал на счетах, писал рапортчики, составлял с шефом кухни меню, толковал с подрядчиками, пил чай, здесь же на диване и отдыхал.

Войдя в ресторан, он разделся и пошел меж столиков к себе. Была суббота — авральный для ресторанов день. Замученные официанты не узнавали его. Он позвал одного из них — толстого старика — и велел подать себе в кабинет водки.

— Как-с? — не понял официант.

— Водки, говорю, — розовея от гнева, сказал Пал Палыч.

В кабинете было жарко натоплено. Пал Палыч снял пиджак и воротничок, открыл форточку и прилег на диван. Официант принес водку и закуску, Пал Палыч не поглядел на него и не дотронулся до водки. В пятом часу утра, к закрытию ресторана, он вышел в зал, присел за один из столиков и, заказав себе клюквенного морсу, подозвал буфетчика. Буфетчик подошел, вытирая руку о фартук, и почтительно поклонился. Он был бородат, лыс, — из купеческого трактира, из Москвы.

— Тяжело, Иона Федорович? — спросил Пал Палыч.

— Тяжеленько, Пал Палыч.

— Присаживайся.

— Благодарствуйте, не стоит.

— Ладно, чего там, садись!

Буфетчик сел на край стула и вытер лысину ладонью. Помолчали. Пал Палыч отхлебнул морсу и сказал, что хочет дать буфетчику помощника.

— Слушаюсь.

— Как считаешь, нужно?

— Премного благодарен.

Опять помолчали.

— Из уголовных парень, — сказал Пал Палыч, — но ничего, бойкий. Не боишься уголовных, Иона Федорович?.

— Нам бояться не приходится.

— То-то же. Но только пьющий.

— Сильно?

— Ничего, может.

— Воля ваша, — сказал Иона Федорович, — пьющий в нашем деле не годится.

— Сойдет.

— Воля ваша, — сказал Иона Федорович, — хозяйское слово.

— Ты за него не отвечаешь, — сказал Пал Палыч, — я за него отвечаю. Понял?

— Понял.

— Обо всем мне будешь докладывать.

— Слушаюсь.

— Можешь идти.

Буфетчик поклонился и ушел за стойку. Пал Палыч посидел еще, зевнул, подождал, пока начнут гаснуть лампы, заперся в своем кабинете, поглядел на графин с водкой, снял очки и лег спать.

Вернувшись поутру домой, Пал Палыч в коридоре встретился со Скворцовым. Розовый, томный и взъерошенный, он шел из ванной с полотенцем через плечо, отжимая на ходу мокрую губку.

— Все в порядке, — сказал он, подмигивая Пал Палычу, — полное примирение...

Пал Палыч молчал.

— Вы меня извините, — сказал Скворцов другим тоном, — я тут надебоширил. Больше этого не повторится.

Пал Палыч молча, слепыми очками глядел в лицо Скворцову.

— Повторится или не повторится, будет видно, — глухо ответил он, — а пока вам о работе надо подумать. Устраиваетесь?

— Некуда, — ответил Скворцов, — на черную работу не пойду, а в плавание не берут...

— Ради вашей жены и ради вашего ребенка, — не глядя на Скворцова, сказал Пал Палыч, — я могу вас устроить к себе в ресторан...

— Лакеем? — усмехнулся Скворцов.

— Хотя бы и лакеем, — вспыхнул Пал Палыч, — да вы не годитесь.

— Куда же вы меня устроите?

— Помощником буфетчика... Будете стоять за стойкой...

— За стойкой?

— Да.

Скворцов вдруг беззвучно засмеялся.

— А вы не дурак, — сказал он, тотчас же прекратив смеяться и злобно прищурившись, — ох, вы не дурак. Только не выйдет. Нашла коса на камень. Не выйдет. — Он погрозил пальцем, — Я вас, старого черта, насквозь вижу, знаю, чем вы дышите... Рассчитали, что я сопьюсь в вашем трактире, верно? Что я там кое с кем из этого... из преступного мира связи завяжу, да? Так не выйдет. Не пойду к вам, поняли?

— Ваше дело, — сказал Пал Палыч и прошел к себе в комнату.

Два месяца Скворцов работал механиком на буксире и приносил получку целиком домой. Вечерами читал газету, играл с сыном, ходил с Антониной в кино. Но было видно, что все это ненадолго и что рано или поздно Скворцов сорвется. Так и случилось: на третий месяц он начал шляться по вечерам, два раза вовсе не ночевал дома, потом вдруг продал Антонино пальто и исчез на неделю. Пал Палыч слышал, как, вернувшись, он кричал Антонине:

— Не могу я так жить, дура чертова... До самой смерти на вонючем буксире? Лучше сдохну...

Его уволили с буксира. Он устроился в какую-то артель, по-прежнему пил, приторговывал из-под полы дорогим, очень дефицитным баббитом и, изредка вламываясь пьяным к Пал Палычу, орал:

— Р-расшибу, лакейская морда! Кому служишь, подлюга? Пролетариям служишь? Иван-болван, подай стакан, нарежь лимон, убирайся вон. Пляши для меня сейчас же, ну?

Пал Палыч молча глядел на Скворцова, потом, если тот слишком расходился, вышибал его вон в коридор.

Иногда, подвыпив, Скворцов начинал задавать глупые вопросы:

— Служим? А? Нет, я вас попрошу ответить — служим? Служим и выслуживаемся? Нет, простите, я груб, прост, я служака и тому подобное. Где конституция? Свобода, равенство и прочее? Где? Нет, попрошу вас — я всегда был против, и вот что мы имеем? Что? А бог? А что такое «не бог, не царь и не герой»? Что? «Не бог, не царь и не герой» — это Иван. А кто Иван? Иван-болван, подай стакан, возьми лимон, убирайся вон! Вон! А вы? Вы — Иван?

— Сидите смирно, — советовал Пал Палыч, — иначе я вам кости поломаю.

— Принципы где, — спрашивал Скворцов, — где принципы? Иван, черт тебя дери, где принципы? Почему сворачивается частная торговля? Сами велели открывать лавки, а теперь стрижете? Насмерть стрижете? Частная инициатива нужна, — ноздри его раздувались, — а вы что? Давить инициативу? Резать ее? Натё, режьте, — кричал Скворцов и подставлял Пал Палычу горло, — нате, я частная инициатива! Покуда жив — частная. Поняли? Я для себя хочу стараться, а не для Ивана. Мне на Ивана плевать, я сам по себе, а Иван сам по себе. И к черту...

Опять чаще и чаще плакала Антонина. Скворцов буянил, дрался, кричал на жильцов квартиры, воровал и продавал на рынке Антонины вещи. Несколько раз она пыталась его прогнать, но он приходил опять — ему действительно некуда было деваться, — она жалела его и оставляла; ей было все все равно. На себя она уже давно махнула рукой.

Как-то жарким летним вечером Пал Палыч прочел в «Вечерке», что прошлой ночью грузовиком у Пяти углов был сбит и задавлен насмерть неизвестный, одетый в синий костюм, желтые ботинки и белую кепку. Приводились и обстоятельства смерти: неизвестный был пьян и попытался, видимо из озорства, остановить машину, ехавшую на большой скорости...

Пал Палыч поехал по мертвецким.

В одной из них он нашел Скворцова и сразу узнал его, несмотря на раздавленную челюсть и содранное лицо. Приказав сторожу немедленно перенести тело в больничную часовню, он хорошо заплатил и уехал к гробовщику.

Сторож пригласил на подмогу своего приятеля, санитаря, покурил с ним, потолковал, попытался поправить трупю челюсть, но не смог. Санитар тоже попробовал, но у него тоже ничего не вышло. Тогда, ругаясь и потея, они стянули окостеневшие руки Скворцова на груди, связали кисти и локти веревкой, разогнули ногу и ушли в больничный парк — наломать каштановых ветвей, чтобы убрать труп листьями.

Когда Антонина приехала в часовню, санитар и сторож сидели на ступеньках — оба уже подвыпившие и оба веселые.

— Как могли, — говорил сторож, — листьями убрали, опять же на спинке они... Была работа.

Он ходил вокруг покойника, как мужик ходит вокруг подводы, собираясь в дальнюю поездку, поправлял листья, тряс головой и вздыхал.

8. Страшно, Пал Палыч!

Вечера Антонина и Пал Палыч проводили вместе: она, забравшись с ногами на диван, сбросив туфли и закутавшись в плед, что-нибудь шила — штанишки с помочами Феде, или штопала чулки, или мережила тонкое простое свое белье; лампа с абажурчиком стояла на низком столе, лицо Антонины пряталось в тени, а всегда горячие смуглые ее руки мудро и быстро работали, освещенные ярким светом. Видел Пал Палыч и колени ее — круглые, как яблоки, и ноги в блестящих, дешевых чулках... Она работала, Пал Палыч читал вслух; так вместе прочли они «Похождения бравого солдата Швейка», страшную книгу о прокаженных, «В лесах» и «На горах» и научный труд «История инквизиции».

— Интересно, не правда ли? — спрашивал Пал Палыч, отдыхая. — Очень интересно?

— Интересно, — соглашалась Антонина, — только вы без выражения читаете. Как пшено сыплется. Вы где вопросительный знак — там спрашивайте, а где восклицательный — восклицайте! — И смеялась.

— А где точка, — спрашивал Пал Палыч, — а где многоточие, там как? Нет уж, я не артист, извините, я просто читаю, лишь бы смысл был ясен, а выражение дело не мое...

Иногда, устав читать, Пал Палыч подсаживался на диван к Антонине и следил за ее руками, за ее работой, глядел на тени, падающие от ресниц на румяные щеки, слушал, как она дышит. Так они сидели подолгу молча. Пал Палыч поглаживал усы, заводил граммофон, улыбался, слушая бестолковую перебранку Бима и Бома. Когда Антонина вязала, его делом было поднимать постоянно падающий на пол клубок шерсти.

— Вот у вас какая специальность, — посмеивалась Антонина, — нравится?

И глядела на него снизу влажными глазами.

— Что ж, специальность неплохая, — отвечал Пал Палыч, — как бы жизнь пошла не боком, а прямо, с такой специальностью только радуйся...

— Что значит — боком пошла жизнь?

— Да уж так, Тонечка, боком...

Новый год они встретили вместе, вдвоем, — так предложил Пал Палыч, и Антонина согласилась. Вместе, смеясь друг над другом, они растирали желтки с сахаром, вместе приготавливали форшмак, вместе варили глинтвейн, вместе накрывали на стол. Пал Палыч был весел, широкоплеч, моложав, белыми и длинными пальцами он изредка поправлял пушистые свои усы, посмеивался, шутил, болтал веселый вздор и необычайно ловко перетирал тарелки льняной серебристой салфеткой. Провансаль для винегрета оказался очень вкусным, печенье таяло во рту, все удалось на славу, и Антонина в одиннадцать часов ушла переодеваться. Вернувшись она застала Пал Палыча еще более помолодевшим и совсем элегантным: на нем был добротный темный костюм, скромный галстук, белоснежное белье и отличные лаковые туфли.

— Что, — спросил он, заметив ее удивление, — старик-то старик, да не совсем?

Завел граммофон и, они долго слушали купленные к этому дню пластинки Чайковского, Визе, Штрауса, Мусоргского.

— Что, хорошо? — спрашивал Пал Палыч, и глаза у него блестели за очками.

Пластинки, действительно, были отличные, граммофон не хрипел и не булькал, как обычно, стосвечовая лампа поливала круглый стол белым светом, искрились вина в бутылках, и множество огоньков дрожало в хрустальных бокалах — все было отлично, пахло духами ж старым ковром. Антонина чувствовала себя совсем девочкой, и ей все казалось, что потом, после Нового года, они большой компанией непременно выйдут на Неву и будут бродить по льду. Будут смеяться и скользить, потому что на льду ведь скользко...

Без минуты двенадцать Пал Палыч открыл бутылку шампанского. Пробка ударилась в потолок, пенная золотистая влага потекла на ковер.

— Бокал, скорее бокал! — Пал Палыч посмеивался: — Ничего, Тонечка, ничего, так и полагается.

Стенные часы проббили густо и громко двенадцать часов, все получилось очень торжественно. Пал Палыч поднял свой бокал и сказал взволнованным голосом:

— Ну, Тонечка, пусть этот год будет для нас хорошим и новым. Пусть жизнь будет новой. Пусть все будет!

— Да, Пал Палыч, да!

Шампанское Антонина похвалила.

— Вкусно, — сказала она, — вроде лимонада, но лучше и сильнее в нос бьет, правда?

— Правда.

Сначала они выпили по рюмке водки, потом пошли настойки, малага, херес. Пал Палыч варил на спиртовке кофе и говорил, что у него еще осталось несколько бутылок настоящего феканского бенедиктина с печатью и что мокко с бенедиктином — самый лучший напиток из всех придуманных людьми.

За черным кофе Пал Палыч вдруг начал рассказывать о людях, с которыми ему доводилось встречаться. Он знал многих политических деятелей, художников, писателей, артистов — таких знаменитых, как Шалапин, Куприн, Леонид Андреев, и говорил о них интересно. Он умел видеть, умел подмечать в людях разные характеристические черточки, умел даже изображать, — например, показал, как поднялся вдруг огромный красавец, воплощение

русского, былинного богатыря, только без бороды, во фраке — Федор Иванович Шалапин, — как встал во весь свой рост и запел за ресторанным столиком «Жили двенадцать разбойников...»

— Прекрасно и... кощунственно до последней степени! — со смешком сказал Пал Палыч. — Лучше всяких там антирелигиозных музеев.

Смешно и зло рассказал про Шингарева, про Набокова, про «Александру Федоровну» — так он называл Керенского. И про некоторых членов царской фамилии рассказал со смешком, и про бывшего царя Николая Второго, как тот на парадном обеде сказал армейскому поручику: «Отдайте мне, господин офицерик, портсигар, он с бриллиантами — сопнете». Бедный поручик, напившись потом, кричал: «На дуэль вызову, это не царь, а дерьмо!»

— Извините, — сказал Пал Палыч Антонине, — но из песни слова не выкинешь. — А вообще-то большевики молодцы, что покончили со всей этой мразью. Кто-кто — я — то повидал, кто нами до революции правил. Всего вам и не перескажешь, соромно.

Антонина спросила, каков Куприн с виду, о Куприне Пал Палыч отозвался с уважением, только сказал, что зря эмигрировал, в большом бы почете, несомненно, жил при советской власти, человек хороший, ума пристального и совестливого, нечего ему при французах проживать. И про «Яму» рассказал, как в старом питерском ресторане Куприн своим друзьям некоторые главы вслух читал, конечно в отдельном кабинете, «купринский» — так и назывался.

— Откуда же Куприн знал ту жизнь, которая описана в «Яме»? — спросила Антонина.

Пал Палыч ответил, что эту жизнь в то время многие знали.

И заговорил о женщинах.

Антонина слушала его внимательно, стараясь скрыть ужас и отвращение, возбуждаемые спокойными фразами Пал Палыча. Он говорил равнодушно, глаза его холодно и спокойно глядели на нее сквозь толстые стекла очков, порой он маленькими глотками отпивал из чашечки горячий густой кофе или затягивался папирсой.

— Послушайте, — вдруг перебила его Антонина, — а вы сами... — Она покраснела и, чувствуя, как кровь приливает к лицу, быстро спросила — Тоже... бывали с ними?

— А как же! — Пал Палыч стряхнул с папирсы пепел и, любясь смущением Антонины, мягко заговорил: — Они были тем же напитком или кушаньем, на которые я принимал заказы. Они полагались, как полагалась хорошая музыка, чистая, отглаженная скатерть, салфетки, хрусталь. Мне их заказывали, как вина, как десерт, как фрукты. Заказывали французенок, цыганок, полек, блондинок или брюнеток, заказывали дорогих или дешевых, грустных или веселых...

— А вы?

— Я служил и должен был делать все, что мне полагалось, — коротко ответил Пал Палыч, — а не рассуждать.

— Я не про то, — все больше краснея, сказала Антонина, — я про то, бывали ли вы сами с ними? С этими...

— Я мужчина, — спокойно сказал Пал Палыч, но, встретившись взглядом с Антониной, отвел глаза. — Я мужчина, — повторил он, — по моей должности мне полагалась казенная пища, вино, одежда. Я был холост, меня боялись мои подчиненные и заискивали передо мной, женщины тоже были моими подчиненными. Среди них было много красивых...

— Ну?

— Я жил с ними, — грубо сказал Пал Палыч, — это мне полагалось, и у меня не было оснований отказываться.

Антонина молчала.

Потом, когда молчать сделалось уже неудобным, она спросила, почему он не бросал свою работу.

— Она меня кормила, — спокойно ответил Пал Палыч? — я копил деньги на этой работе.

— Зачем?

— Мечтал.

Он улыбнулся и разгладил усы. Ей стало жалко его, она перегнулась к нему через стол и спросила:

— О чем, Пал Палыч?

Посмеиваясь, он рассказал ей о том, как хотел стать помещиком.

— И никто бы не знал, что я из лакеев, — кончил он, — понимаете? Никто! Я бы уж постарался. А теперь, — он развел руками, — лакеем был, лакеем и остался. Рьен, как говорят французы!

— Вы и языки знаете?

— Немного знал. Бывал за границей.

— Где?

— В Париже, в Лондоне, в Риме...

Он молча ходил по комнате, а она смотрела на него и вспоминала Аркадия Осиповича. Тот тоже бывал за границей. Сердце ее билось.

— Вы, может быть, и лягушек ели?

— Ел, — улыбаясь, он повернулся к ней, — а что?

— Просто так.

Она прижала ладони к горячим щекам и спросила, как едят лягушек: как раков или иначе?

— Иначе. У них только окорочка едят.

Чтоб он не увидел ее лица, она опустила голову. Он сказал ту же фразу, слово в слово. Потом она взглянула на него. Он не спеша наливал в стакан мадеру.

— Давайте выпьем, — сказал он, спокойно улыбаясь, — хотите мадеры?

— Хочу.

— Я напиток хочу, — призналась она, и глаза у нее блеснули, — можно, Пал Палыч?

Он развел руками.

Она пила много, мешала коньяк с мадерой, водку с вином, пьянела, растерянно улыбалась и старательно задавала вопросы для того, чтобы разговор вдруг не иссяк.

— Вы из крестьян?

— Незаконный.

— Как незаконный?

Нехотя он рассказал ей свою историю. Она слушала прищурившись, перебирала горячими пальцами бахрому шелкового платка, порой робко поглядывала на его бледное жесткое лицо.

— Человек человеку — волк, Тоня, — говорил он, — я прожил длинную жизнь, много видел, знаю людей не снаружи, а изнутри, и убежден в этом вот как. Отец мой — курский помещик Швыров — ни разу меня не видел и только из боязни огласки выдавал на мое содержание шестьдесят рублей в год. Много? Мать меня била. Злая была баба, развратная и скандальная, в трактире меня однажды пырнули вилкой за то, что я опрокинул стакан с чаем на колени гостю. Мазали лицо мое горчицей — я стоял молча, горчица разъедала губы, глаза... И ничего. Однажды заставили меня съесть стакан хрену с папиросным пеплом и даже с окурками. — Пал Палыч лениво усмехнулся. — До сих пор помню, как стоял навтыжку, задыхаясь от укуса и хрена, плача жевал этот окурочек и никак не мог проглотить, давился, меня тошнило, а люди сидели вокруг и смеялись.

Он помолчал.

— Ничего, съел окурочек, получил десять рублей. За деньги все можно. Ну и сам, конечно, понемногу ожесточался, то есть это, пожалуй, неверное слово — ожесточался; вернее будет — успокаивался. Сделалось у меня железное лицо: бывало, что ни вижу — не действует, будто и не вижу. Очень это качество нравилось гостям. Оно и понятно: с одной стороны, ловкие услуги, а с другой — живого человека нет, один фрак с манишкой, руки в перчатках да лакейский номер. И пошли деньги, и пошла карьера...

— Страшно, Пал Палыч, — тихо сказала Антонина.

— Страшновато, — согласился Пал Палыч, залпом выпил оставшийся кофе и, поморщившись, предложил: — Довольно об этом. Давайте граммофон слушать.

Граммофон она слушала уже совсем пьяной. Растерянная улыбка блуждала по ее лицу, она потирала щеки ладонями и бормотала:

— Это вы верно, человек человеку — волк. Ужасно живем, ужасно! Дикому ни до кого дела нет. Вот у меня — подружки были, а теперь я одна. Совершенно одна. Никому нет до меня дела. Ведь это очень тяжело, Пал Палыч. И бессмысленно. Я в клубе, например, работала. И знаете? Ничего не вышло. Опять одна! Как вам это нравится?

Она коротко засмеялась и спросила, кивнув на граммофонную трубку:

— Кто это, Пал Палыч?

— Это Варя Панина.

— Та... самая?

Рассыпались шпильки, она легла на диван, чтобы собрать их, но глаза вдруг закрылись сами

собой, комната сорвалась с места и помчалась во тьму, граммофон запел громче ж еще непонятнее:

Эх, распашел тум ро,

Сиво грай ж шел:

Ах, да распашел, хорошая моя!

— Цыганщина, — догадалась Антонина, — это цыганщина, Пал Палыч?

Пал Палыч что-то ответил, но она не разобрала, что именно. Комната с лязгом и воем мчалась во тьме, кружилась, падала...

Ах, да, распашел, хорошая моя!

Ей стало грустно. Никто не называл ее хорошей никогда. Это все песни, сказки, все это неправда! Она одна и останется одной навсегда, никто не будет с ней рядом, никто не наклонится над ней и не поцелует ее в губы, никому не нужны ее плечи, ее руки, тонкие и горячие, все то, чего никто в ней не знает, что скрыла она даже от Скворцова и что росло в ней, крепло, — нежность, страстность, преданность, покорность...

Ах, распашел, хорошая моя!

Черные очи, белая грудь

До самой зари мне покоя не дают.

Как бы она любила его, этого человека!.. Он вдруг представился ей: безликий, большой, идет к ней по лязгающей, черной, качающейся комнате — ей стало страшно, сладко заныло сердце...

Она повернулась на спину, открыла глаза. Никого не было. Белый, легкий, точно в тумане, двигался потолок. Усилием воли она остановила его, строго что-то себе велела и вновь забылась.

Налейте, налейте бокалы вина,

Забудем невзгоды, коль выпьем до дна!

Ах, да распашел, хорошая моя!

Осторожно Пал Палыч поднял Антонину на руки и снес на постель. Потом он открыл

форточку и снова вернулся к ней. Она лежала — тихая, печальная, очень красивая. Неумело и неловко он принялся ее раздевать, платье расстегивалось сзади, на спине, руки у него дрожали.

— Что вы? — Она вдруг открыла глаза.

Он никогда не видел ее глаз так близко: в зрачках вспыхивали мелкие горячие искры, а в самых серединках — там, где зрачок темен и глубок, — что-то отражалось, какие-то тени.

— Что вы, Пал Палыч?

Глухим голосом он объяснил ей, что надобно раздеться. Нехорошо так, непременно надобно раздеться и спокойно лечь.

— Да?

— Да.

Веки ее вновь опустились.

— Повернитесь, Тонечка, на бок повернитесь.

Она не слышала. Он опять нагнулся к ней и увидел, как дрожат ее губы. Тотчас же ему стало жарко, он почувствовал, как сильны его руки, как он весь собран и напряжен и как она покорна, ведь она сама...

— Тонечка!

— Что, Пал Палыч?

Он взял ее за плечи, приподнял и, удерживая одной рукой, другой расстегнул платье на спине. Под его ладонью была гладкая горячая кожа; можно было подумать, что его ладонь вдыхает запах женщины — легкий запах шелка и густой — духов. Он не мог оторвать ладонь. Уже злясь на себя, он снял с Антонины платье и, не глядя на нее, укрыв одеялом. Она слабо вздрогнула.

— Милый мой! — вдруг позвала Антонина.

— Что, Тонечка?

— Поди же сюда, милый мой!

Он подошел. Она приподнялась на постели и, не открывая глаз, обняла его горячими обнаженными руками за шею. И тотчас же страшная догадка словно бы уколола Пал Палыча: не его, старого человека, звала она. А звала другого человека, того, кто не повстречался ей в жизни.

— Тонечка, Тоня!.. — Круто дыша, он оторвал ее руки от себя и выпрямился. Сердце стучало часто и коротко. — Нехорошо это с вашей стороны, а еще меня жестоким считаете... — Но упрекать было бессмысленно, Антонина даже не шелохнулась, ресницы ее были сомкнуты, она спала — важная и строгая, будто думала о серьезном деле.

Пал Палыч долго убирал комнату, мыл посуду, подметал, проветривал. Даже граммофонную трубу продул. Погодя, усевшись в кресло возле кровати, он попытался было почитать, но незаметно для себя задремал; книга выпала из его рук, он откинул голову на спинку кресла, и сразу все пропало: занавеска, колышущаяся от ветра, Антонина, убранная комната.

Проснулся он от холода, закрыл форточку, налил себе стакан остывшего глинтвейна, выпил

и, возвращаясь назад к креслу, увидел, что на него смотрит Антонина.

— Что вы, Тонечка?

— Сколько сейчас времени?

— Седьмой час.

Она потянулась, искоса поглядела на Пал Палыча и, засмеявшись, пропела:

Ах, да, распашел, хорошая моя!

Потом Антонина попросила его отвернуться, надела платье и, непричесанная, сонная, села возле стола.

— Пить хочется.

Напившись, она опять, будто вспомнив смешное, засмеялась и резко спросила:

— Мы о чем с вами говорили ночью?

— Обо всем.

— И больше ничего?

— А что же еще?

— Странно. Мне казалось... сон, наверно.

— Наверно, — подтвердил Пал. Палыч, — наверно, сон.

— А вы-то сами спали?

— Спал. Немного.

— То-то обляняли. И усы обвисли, и нос блестит — вспотел.

Она рассмеялась своим милым, легким смехом, встала и подошла к окну.

— Смотрите, уже белый день!

Стекла, покрытые морозной бахромой, розовели, шло утро; внизу на улице сразу погасла цепочка фонарей; все чаще грохотали грузовики; внезапное и густое гудение разнеслось вдруг над городом: то взревел завод; один за другим орали гудки — низкие голоса сменялись высокими, высокие низкими, мощный, напористый и разноголосый хор торжественно возвещал начало нового дня. Пал Палыч открыл форточку; вместе с клубами морозного пара в комнату ворвались десятки звуков утра: скрипел снег под полозьями саней, громко и призывно ржал конь, мелко хрустел тротуар под торопливыми шагами прохожих, звенели ломы — то дворники, собравшись в артель, отбивали шаг за шагом мостовую у льда.

— Хорошо?

— Хорошо, Тонечка!

Они стояли в фонаре, как тогда, весной. Крупные, легкие хлопья снега залетали в форточку

вместе с морозным паром. Антонина вдруг плечом оперлась на Пал Палыча. Он обнял ее, повернул лицом к себе и, глядя в глаза, сказал, что он любит ее и хочет, чтоб она стала его женой. Пока он говорил, снежинка, влетев в форточку, покружилась и упала на волосы Антонины, возле уха. Эта снежинка, и коса, и утро, и стол, покрытый белой скатертью, и ковер, и тревожный взгляд Антонины, а главное, утро, особенно бодрящее утро, стук ломов и вой грузовиков — все это вместе наполнило Пал Палыча решимостью и заставило сказать то, что он так давно собирался сказать и все откладывал.

— Теперь, Тонечка, казните или милуйте, — добавил он, потрогал очки и, ссутулившись, сел на диван в угол. — Теперь ваше слово... Что же касается Феде...

— Федя тут ни при чем!..

— Ну... — Пал Палыч развел руками и еще больше ссутулился: — Оба мы одиноки, Тоня...

Но она перебила его:

— Замуж? — строго и настойчиво спросила Антонина. — Замуж? Почему я замуж должна идти, Пал Палыч? Почему непременно замуж?

Он поглядел на нее: неправда, она говорила не строго и не настойчиво, — ему так показалось потому, что он не видел ее лица. Лицо было печально, утренний свет сделал лицо серым, глаза смотрели пристально и грустно.

— У вас сын, Тонечка, — напомнил он, — ребенок. Вот это что! Разве это жизнь так?

Улыбнувшись, она покачала головой:

— Вот и Скворцов тоже говорил — сын. — Помолчав, она добавила: — Нет, Пал Палыч, замуж за вас я не пойду.

— Почему?

Она молчала.

— Почему, Тоня? — во второй раз спросил Пал Палыч.

— Я хочу одна, — тихо, виноватым голосом сказала она, — я не могу так. Ведь я же не люблю вас.

Пал Палыч опустил голову.

— Не сердитесь на меня, Пал Палыч, — сказала она, — но я не могу. Это ужасно — быть женой и не любить. Я не любила Скворцова и не люблю вас. То есть я знаю, какой вы, я вас не равняю, — испуганно заторопилась она, — но все равно я не могу.

— Ну что ж, — сказал он и развел руками по своей привычке, — раз так...

Он ничего не смог больше сказать и улыбнулся вежливо и ровно.

Антонина ушла.

Он запер за ней дверь, лег на диван и задумался. Думая, он улыбался — покойно и ровно. Так бывало с ним часто, даже если он дремал.

9. Главное — ваше счастье!

Спокойная, молчаливая, скромная — с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем она все больше нравилась ему. Он любил смотреть, как она причесывается, как неторопливо и ловко заплетает и закладывает косу, как закалывает шпильки. Ему нравилась ее плавная походка, шелест ее платьев, легкое поскрипывание ее обуви.

Издали он слышал — вот идет Тоня.

Он знал, как она стучит, — сильно раз, два, три, а четвертый небрежно.

Он изучил ее вкусы: конфеты она любила такие, помидоров она не ела вовсе, яблоки непременно вытирала полотенцем, — он знал все.

И говорил себе:

— Ничего, поборемся!

В пятьдесят четыре года он был крепок, подвижен, ловок, силен; зубами разгрызал грецкие орехи; таскал из подвала огромные охапки сырых дров; пальцами он выдергивал из стены глубоко вбитые гвозди.

Ум?

Он знал людей и посмеивался в седые усы: все они лежали перед ним голенькие, как на ладонке. Всю его жизнь перед ним проходили люди: пьяные, трезвые, только деловые и только веселящиеся, министры и офицеры, купцы и проститутки, порядочные женщины... кой черт — для этих порядочных женщин под вуалями он опускал шторы в отдельных кабинетах. Он слышал речи государственных умов и мальчиков, боявшихся «нарваться». Миллионер на его глазах совершал чудовищные сделки, министр получал взятку. Архиерей блудил. Жена царедворца хихикала на диване — два цыгана из ресторанного хора щупали ее. И он посоветовал ей именно их выбрать. «Останетесь довольны, — посулил он? — ублажат...»

А эти? Им подавал щи флотские, рагу из барашка, суп мавританский и котлеты пожарские, селедку натюрель и компот из свежих фруктов — все на фанерном подносе по нормам охраны труда — шесть первых, восемь вторых.

Что эти! Им бы не запечь в запеканку мышь — только и всего, да поменьше веревок в гарнир.

Им ничего не надо.

И ему ничего не надо. Он прожил жизнь, поел, попил. У него были деньги. Теперь он хочет только свой угол, свою жену, ребенка, он хочет, чтобы топилась печка, сидеть на корточках и помешивать рыжие угли тяжелой кочергой...

Федю он будет учить грамоте и арифметике, он его будет раздевать на ночь и щекотать ему усами мягкую шею: «Федя-медя съел медведя, сам горбыль, из носа пыль!» — а вечером читать потешную книгу.

Подолгу он следил, как она гладила белье, или мыла посуду, или шила, низко опустив красивую голову, изредка поправляя волосы смуглой рукой...

Иногда они ходили в кино или в театр. Антонина тщательно одевалась, душилась и шла, оживленная, смешливая, хорошенькая...

Она привыкла к нему: он окружил ее заботливым вниманием, оклеил ее комнату новыми обоями, покрасил оконную раму желтым, чтобы Феде было светлее, починил шкаф. Она

знала — о дровах заботиться не надо: Пал Палыч сделает, — и нисколько не удивлялась, что лучина для растопки наколота и подсушена, что дрова горят как порох, что развалина примус стал новым, что дверь в ее комнате больше не скрипит, — ничему не удивлялась и все принимала как должное.

И вот однажды все это исчезло: исчезли уютные вечера, когда Антонина шила, Пал Палыч читал; исчезли заботы, внимание, скрипучий, ворчливый голос Пал Палыча: «Опять без бот пошли, схватите воспаление легких», исчезла привычная обстановка ласки и баловства.

Как-то раз под вечер Пал Палыч, заметно волнуясь, сказал Антонине, что ему тяжело ее видеть и что будет, пожалуй, лучше, если их отношения станут не дружбою, а знакомством.

— Ни к чему мне дружба, — пояснил он тихо, — какая такая может быть дружба? Я всю жизнь радости не видел, а тут...

Он махнул рукой и отвернулся.

Антонина вышла.

Утром, в парикмахерской, она, как ни в чем не бывало, щелкала ножницами, завивала, стригла, подсмеивалась над клиентами, а возвратившись домой, почувствовала вдруг себя одинокой, маленькой, заброшенной.

Явился Федя, он поломал тачку. Антонине стучать к Пал Палычу казалось неудобным, и она послала сына одного. Через несколько минут тачка была починена.

— Ну что?

— А починил, — коротко ответил Федя.

— Ничего не спрашивал?

— Спрашивал.

— Что?

— Грязно, спрашивал, во дворе?

— А ты что?

— Я сказал — так себе.

— Про меня ничего не спрашивал?

— Про кого — «про меня»? — не понял Федя.

Улыбнувшись, Антонина посадила мальчика на колени и спросила, говорил ли что-нибудь Пал Палыч.

— Говорил.

— Что?

— «Федя-медя, высморкайся».

— Ты высморкался?

— Ну да, высморкался.

Больше месяца Антонина и Пал Палыч встречались только в коридоре и на кухне, да и то не каждый день. Он заметно осунулся, бывал дома редко и ни с кем из жильцов коммунальной квартиры вовсе не разговаривал. Антонина ходила в клуб, там ей было скучно; в кино парикмахер Самуил Юльевич положил ей руку на колено и принялся шептать вздор; в цирк она пошла с Федей, представление было неудачное, кого-то все время кем-то заменяли, Федя потихоньку уснул.

Не везло.

Как-то поздней ночью она проснулась от стука в парадное. Стучали неровно — то громко и настойчиво, то едва слышно. Сунув ноги в шлепанцы и накинув халат, Антонина пошла отпираться.

— Кто здесь?

— Я.

По голосу она узнала Пал Палыча и сразу же поняла — пьян. Замок заскочил, дверь, как нарочно, долго не отворялась. Пал Палыч откашливался там, на лестнице. Он вошел боком — серый, мятый, постаревший и усталый, мелкие капли пота блестели на его лбу, костюм был перепачкан известкой, воротничок растегнут, на груди нелепо сверкала единственная запонка.

— Что вы, Пал Палыч?

— А?

Он был очень пьян.

— Пал Палыч!..

Но ей нечего было сказать. Она только крепко запахнулась в халат. Он поглядел на нее, виновато улыбнулся и зашагал по коридору к себе.

— Пал Палыч!

Остановившись, он тихо сказал:

— Вы извините, Тоня, — я ключ потерял. То есть вытащили воры... да...

— Зачем это вы? — крикнула она ему вслед. — Зачем, Пал Палыч?

Но он не слышал.

Хлопнула дверь.

Ей было холодно в тонком халатике, мелкая дрожь вдруг побежала по ее спине, но она почему-то не уходила к себе.

— Воры вытащили, — шептала она, сама не понимая, зачем это шептать, — воры, воры, воры, а, воры?

Ей представилось, как сухой, чистоплотный и порядочный Пал Палыч пьет в заплыванной пивнухе ноздреватое пиво, как кругом сидят воры-ворюги, карманщики. И волна острой бабьей жалости наполнила все ее существо. Ей представился он — пьяным, да не так, а как бывал пьян Скворцов, совсем пьяным, влежку; ей представилось, что Пал Палыч разбил свои очки — и вот, пьяный, беспомощный, слепой, он идет по улице и поет ту странную цыганскую песню... И вот он падает и лежит под воротами...

— Он же любит меня, — шептала она, — он же Федю любит, пьян он, господи, и все из-за меня, сопьется, как Скворцов, и тоже под автомобиль.

Не зная, что делать, прижав ладонями к груди распахнувшийся пестрый халатик, повинувшись только чувству жалости, она без стука вошла к Пал Палычу и с решимостью, какая только бывает в тех случаях, когда ничего еще не решено, сказала, что она согласна и чем скорее они поженятся, тем лучше.

— Тонечка!

— Да, Пал Палыч, да!

Он сидел на стуле, посередине комнаты, поглаживал ее руку и, быстро трезвея, счастливым, срывающимся голосом говорил:

— Ведь я не лакей, Тонечка. И вообще с этой работы у Чванова я уйду. Мне отличную должность предлагают, на Нерыдаевском жилмассиве, очень почтенная работа, вам совершенно меня стыдиться не надо будет. Вы поверьте, мне главное — ваше счастье. И слово вам даю честного человека, куда вы сами ко мне не привыкнете, я, хоть и обвенчаемся... я...

Антонина молчала, нахмурившись. Ей уже страшно было собственных своих слов, обещания своего, будущего...

10. Удивительная ночь

В этот день Антонина отправилась домой на два часа раньше обычного: болела голова.

Сложив инструменты в ящик и заперев его на ключ, она сняла халат, поправила волосы, оделась и, морщась от боли, вышла на улицу.

Было сыро, холодно, мозгло. Ветер дул с моря — к наводнению. Внезапно хлынул дождь, стало темно, ветер завыл сильнее, мутные потоки воды помчались по канавам, но тотчас же канавы сделались мелки — вода разлилась по улице. Скрежетали буксующие трамваи. Тротуары мгновенно опустели. Антонина, уже успевшая промокнуть, стояла в подъезде и смотрела, как дождь превращался в ливень. От потоков воды, лившихся с неба, исчезли все звуки города, стоял только ровный, тяжелый грохот водяных струй. Остановились трамваи. Шатаясь, точно пьяный, по воде пробирался автомобиль «скорой помощи».

Она добралась домой в пятом часу, насквозь промокшая, приняла пирамидону, переоделась и легла. Федя спал. Дождь, легкий и косой, барабанил в стекла. Было уже совсем темно. Антонина попробовала встряхнуть головой — голова не болела. Прошла по комнате. Нет, не болела больше.

Плащ Пал Палыча висел на вешалке в коридоре, — значит, он пошел на работу в легком летнем пальто. Промокнет. Антонина вернулась в комнату, села к столу обедать, с аппетитом поела и опять легла. Квартира была пуста, Федя все еще спал. Антонина надела макинтош, высокие ботинки, повязалась платком и, перекинув через руку плащ Пал Палыча, вышла на улицу. Где-то далеко гроыхнула пушка. Антонине стало страшно и весело, как в детстве. «Вот обрадуется, — думала она про Пал Палыча, — вот приятно ему будет». В трамвае она представляла себе, как все это будет, как Пал Палыч там работает, промокший, голодный, и как она ему привезет плащ и бутерброды с котлетами.

Адрес массива у нее был, она знала, надо ехать долго, потом, пересечь и — до самой трамвайной петли. Оттуда пешком, мимо Мыловаренного завода и направо.

Трамвайная петля была в роще, судя по белым стволам деревьев — в березовой. Тут завывал такой ветер, что Антонина едва шла — ветер все время сбрасывал ее с узеньких дощатых мостков. Когда она переходила темную улицу, опять пальнула пушка. Делалось все темнее и темнее, дома внезапно кончились — пошел высокий забор. Потом блеснул свет. Еще ударила пушка, и где-то, совсем над головой, жалобно и страшно заревел гудок. Через несколько минут, обгоняя Антонину, по дощатому тротуару побежали люди. Она пробовала спрашивать, как пройти на Нерыдаевский жилищный массив, но ей никто не отвечал, люди обгоняли ее один за другим — темные, суровые, безликие, бухали по доскам только сапоги. Вновь заревел гудок. Свет впереди делался все ярче. Наконец Антонина очутилась у Мыловаренного завода. В проходной какой-то старик, бородатый, в солдатском ватнике, шел ей навстречу. Она опять спросила, как пройти на массив. Старик зло на нее покосился и велел идти за ним. Вдруг он исчез и закричал из тьмы:

— Сюда, давай, наперекос побежим...

Она спрыгнула с дощатого тротуара в грязь и побежала на голос.

— Эгей, — кричал порою старик, — веселей нажимай! — Сапоги его страшно чавкали. Судя по голосу, он уже задыхался, но все еще бежал. Неожиданно она столкнулась с ним. Ноги ее были мокры, сердце стучало, она тяжело дышала.

— Свет выключен, — бормотал старик, — осторожно иди, тут покалечиться можно. Стой, стой, давай руку. Тебе кого нужно?

— Пал Палыча.

— Дочка, что ли?

— Нет, — сказала она.

Грязи больше не было, они шли по асфальту, возле большого темного дома. Потом зажглось электричество, огромные корпуса осветились, и старик значительно сказал:

— Сама бывшая Нерыдаевка.

Он дошел с Антониной до угла и, показав ей, куда идти дальше, исчез.

В сенях было темно. Она долго шарила рукой по ободранному войлоку. Наконец дверь открыл кто-то изнутри, столкнулся с Антониной, испуганно выругался и побежал во тьму. Она вошла в комнату. Спиной к ней стоял большой, широкоплечий человек в донельзя грязной кожанке и кричал по телефону. Девушка в зеленом берете выжимала на себе мокрую суконную юбку. Антонина спросила у девушки, где можно найти Пал Палыча, девушка ответила, что никого здесь толком не знает, и опять принялась за свою юбку. Хлопнула дверь — вбежал толстый, круглолицый парень, оглянулся и опять убежал.

Девушка улыбнулась.

— Тройка? — спрашивал широкоплечий. — Мне тройку надо! Тройка?

Дверь опять отворилась — в комнату несли ящики, мешки, бунты электрического провода. Человек повернулся от телефона и раздраженно крикнул:

— Дайте сюда Сивчука, где его носит?

Сивчуком оказался тот старик, который показывал Антонине дорогу на массив. Человека в кожанке звали Сидоров, он был директором массива, о нем Пал Палыч не раз вспоминал.

Видимо, ни до кого не дозвонившись, Сидоров велел девушке в берете дежурить у телефона и ушел. Девушка поглядела ему вслед, потом поставила один из столов на бок, спряталась за него, сняла там свою юбку и принялась ее выжимать. Антонине стало весело.

— Ну как, — спросила она, — получается?

— Получается, — ответила девушка, — только плохо.

Антонина подошла к ней и предложила помочь... Потом они познакомились. Девушку звали Женей. Больше она ничего про себя не сказала.

— Что тут делается? — спросила Антонина.

— Ждут наводнения, — ответила девушка, — вода поднимается поминутно.

Вскоре в контору забежал Пал Палыч. Плащ и еда растрогали его. Он угостил бутербродом Женю, велел Антонине ждать его и ушел.

Антонина и Женя разговорились. Оказалось, что Женя — жена Сидорова, что она врач и что на массиве первый раз.

— Дело тут очень интересное, — говорила она, — вы ничего не слышали?

— Нет, — почему-то растерявшись, сказала Антонина.

— Это огромный жилищный массив, — говорила Женя, — несколько корпусов. Все это сейчас обсаживается деревьями, пустырь знаменитый Нерыдаевский, слышали?

— Слышала.

— Вот этот пустырь превращается в парк. Будет озеро — проточное, его соединят с Невой, будет театр, звуковое кино, ночной санаторий, — ведь тут очень хорошо, знаете, песчаная почва, отлично принимаются хвойные деревья, воздух будет здоровый... Ну, что еще? — Она вынула коробку папирос и протянула Антонине: — Курите?

— Нет, спасибо.

Женя закурила.

— Неужели ваш отец ничего вам не рассказывал? — спросила она.

— Он не отец.

— Ну, все равно, неужели не говорил?

— Нет.

— Странно.

— А что тут еще будет? — спросила Антонина.

— Да много еще. Ну, столовая, колоссальное предприятие, ясли, детский очаг, прачечные... Очень интересное дело...

— Когда же это все будет? — спросила Антонина.

— Не скоро еще, но будет.

— Лет через двадцать?

— Скорее.

— А может быть, позже?

— Нет, не позже.

В половине одиннадцатого на Нерыдаевку пошла Нева. Вода хлынула сразу — одной огромной и плоской волной, мелко заплескалась, запела водоворотами, закружилась в лежнях, наполнила выбоины, подняла и понесла прочь щепу, не угнанную ветром. С глухим стуком понесли по пустырю бревна, пустые бочки и творила, козлы, доски... Ветер рвал все сильнее.

Женя и Антонина стояли в дверях маленького здания конторы и с испугом следили за все прибывающей водой.

— Вы в каком этаже живете? — спросила Женя. — Мы — высоко.

— Мы — тоже.

— Может быть, пойдем, поможем? — вдруг сказала Женя. — Что мы тут сидим у телефона, а?

— Пойдем.

Они спустились с крыльца в холодную, почти ледяную воду и первое время шли, взявшись за руки. Обеих била дрожь — и от страха, и от холода.

В густой, как вакса, тьме, в воющем ветре, по колени в воде, среди взбесившихся бревен, досок, бочек, при свете смоляных пожарных факелов, люди ловили наиболее ценное из строительных материалов и гнали в старые конюшни, как живое и норовистое. У ворот конюшни стоял старший дворник массива Зундель Егудкин, багром подталкивал все, что плыло к нему, и зло кричал:

— Гей до дому, нехай ты лопнешь!

Где-то впереди, во тьме мужские голоса пели:

Герань в окошечке,

Две белы кошечки...

— Закс! — вдруг окликнула Женя.

К ним подошел высокий, худой парень в шляпе с большими полями, в пальто.

— Ты откуда?

— Из Мариинского, — сказал парень и засмеялся, — с «Пиковой дамы»...

— Чего ты смеешься?

— Ну разве не видишь? Я купил шляпу...

— Все-таки купил, — тоже засмеялась Женя.

— Ну да! И вот с первого акта сюда... Теперь Сивчук затравит... А ты куда идешь?

— Не знаю, — сказала Женя, — вот мы с товарищем вышли из конторы и ходим по воде — не знаем, что делать. Прикажи что-нибудь!

— Прикажу! Пойдем!

Он взял Антонину за рукав пальто и повел по воде в темноту.

— А ты смешной в шляпе, — говорила Женя, — очень смешной.

— Вы что дрожите? — вдруг спросил Закс у Антонины. — Боитесь? Тут не глубоко.

— Я ничего не боюсь!

Они пришли к небольшому кирпичному зданию. Закс открыл дверь ключом, вошел внутрь и зажег свечу.

— Теперь заходите, — крикнул он изнутри, — будем мое хозяйство спасать...

Он повесил свою шляпу на гвоздь, снял пальто, пиджак, закатал рукава рубашки и, расхаживая по колени в воде, принялся вытаскивать из воды какие-то ящики с железом и ставить их на полки.

— Давайте, давайте, — командовал он, — большие не берите, берите поменьше, но побыстрее работайте...

Когда Антонина вытащила тяжелый ящик, Закс мигом подскочил к ней и помог взгромоздить ящик на полку.

— Тяжелое не поднимайте, — сказал он сердито, — незачем...

Потом к ним прибежал тот круглолицый паренек, с которым Антонина столкнулась в дверях конторы.

— Селям-алейкум! — закричал парень. — Ты, Закс, девушек на свое железо забрал, а у нас в столовке вода к продуктам подбирается. Это кто у тебя?

И он смешно прищурился.

— Пойдемте же, — добавил он обиженным голосом, — ведь я серьезно говорю. Это, кажется, Женя?

— Да.

— А еще кто?

— А еще Антонина, — сказала Женя, — познакомьтесь, товарищи, — это, кажется, Щупак.

— Так точно, — сказал круглолицый парень, — Щупак Семен... Когда они пришли в кладовую, вода уже начала спадать. Пал Палыч, весь перепачканный в муке, сидел на мешках, наваленных на столе, и курил папиросу из длинного мундштука. Увидев Антонину, мокрую, но

довольную, он удивленно на нее взглянул и пошел к ней навстречу.

— Вы насквозь промокли, — сказал он тихо и укоризненно, — теперь простудитесь.

— Но вы тоже промокли, — сказала она, и глаза ее блеснули.

— Я здесь служу...

Антонина молчала.

— Пойдемте в конторку — там буржуйка топится, обсохнете.

Когда они вышли со склада, уже вывездило. Звезды были будто тоже сейчас вымыты. Ветер стих — теперь он едва шелестел, а не рвал, как давеча, порывами. Весело запахло досками, сосной, намокшим щебнем. Вода уходила в землю, лилась потоками обратно в Неву, все кругом было наполнено легким шипением, мелким и тоненьким звоном, точно таяли снега в первую и сильную весеннюю ростепель. На секунду Антонина закрыла глаза — вспомнила ту весеннюю ночь после ресторана с Аркадием Осиповичем.

— О чем вы задумались? — спросил Пал Палыч.

Она промолчала.

В конторке от сплошного пара ничего не было видно, как в бане. Народ стоял, сидел, лежал где попало. Только сейчас Антонина поняла, сколько людей работало на массиве. Накалившаяся докрасна буржуйка обслуживала враз не менее дюжины народу — сушила одежду. Воняло гарью и чадом от неумело потушенных факелов.

— Тоня! — крикнули из-за шкафа.

За шкафом стояла Женя и смеялась с полной, белой женщиной.

— Вот познакомьтесь, — сказала Женя, — это Марья Филипповна, а это Тоня. Вот, Тоня, Марья Филипповна зовет нас всех к себе обсушиться и обогреться.

— И чаю попить, — сказала Марья Филипповна ласково. — Только у меня комнатка маленькая, я мужчин не смогу принять. А что, и переночуете у меня... Переночуете?

Выходили из конторы все вместе. Пал Палыч держал Антонину под руку и ласково советовал:

— Попросите у них водки, — наверное, найдется, и ноги водкой — так, чтобы горели. Да вы не слушаете...

— Слушаю, слушаю, — смеялась Антонина и благодарно пожимала руку Пал Палычу.

— Пораньше завтра приезжайте...

— Хорошо...

— А то я сам за вами приеду...

— Хорошо, хорошо...

— Что вы все смеетесь? — улыбался Пал Палыч. — Точно с ума сошли.

— Не знаю, — говорила Антонина, — мне как-то отлично.

— Уходите скорее, а то простудитесь.

— Давайте побежим, — предложила Женя и дернула Антонину за руку.

Они побежали, но вдруг обе начали хохотать и остановились, сразу обессилев.

— Ну, пойдем же, — говорила Женя, — а то этак мы вовсе не доберемся...

— Пойдемте.

Они пошли быстро, рука об руку.

— Послушайте, — сказала Женя, — давайте водки выпьем, а? Послушайте, там нас, наверное, будут водкой угощать, там ведь уже накрыто для нас, да?

— Да, — радостно сказала Антонина.

— И мы выпьем?

— Выпьем.

— По рюмке.

— Да.

— Или даже по две, по три.

— Давайте напьемся, — сказала Антонина, — напьемся, как звери! Все равно спать. Будем пить, сколько захотим.

Женя засмеялась, поднялась на носки и поцеловала Антонину в холодные, улыбающиеся губы.

— Вы милая, — сказала она, — вы милая.

У Марьи Филипповны, за овальным дубовым столиком, играли в шашки тот бородатый, коренастый старик, который привел Антонину на массив, и дворник Егудкин. Марья Филипповна всех познакомила. Бородатого старика звали Леонтием Матвеевичем Сивчуком, а Егудкин оказался мужем Марьи Филипповны.

В комнате было натоплено, кипел самовар, на плитке в углу что-то жарилось и вкусно шипело.

— Переодеваться, переодеваться, — сказала Марья Филипповна и повела их за ширму. Там, на большой деревянной кровати, на шелковом одеяле уже лежало белье, шерстяные грубые чулки, платья... Антонина и Женя разделись, обеим сделалось вдруг страшно холодно, обе дрожали и смеялись, натерли ноги чем-то пахучим и едким (Марья Филипповна сказала, что это «бальзам») и надели на себя огромные сорочки Марьи Филипповны. От сорочек пахло жавелевой водой и утюгом, ноги горели в шерстяных чулках, платья были донельзя широки... Так они вышли ужинать — розовые, веселые, голодные. Марья Филипповна подала жаренную вместе с колбасой картошку и квашеную капусту с клюквой — холодную, зимнюю.

— Ну, приступим, — сказал Леонтий Матвеевич и взглянул на Антонину озорными глазами. — Водку потребляете?

— Потребляю, — сказала Антонина.

— А вы?

— И я, — сказала Женя.

— Вот уж и не ждала, — засмеялась Марья Филипповна, — какие все пьяницы.

Выпили, закусили капустой.

— Капуста — это не товар, — сказал Сивчук, — товар — это гриб маринованный, простой, но закуска страшной силы.

Женя фыркнула.

— Давайте еще выпьем, — сказала она, — товарищ Егудкин, вы хозяин, можно?

Она сама налила всем, потом встала, перегнулась через стол и чокнулась с Марьей Филипповной.

— Выпьем за хозяйку.

Потом пили за Егудкина, за Женю, за Сивчука. У Антонины легко и приятно кружилась голова, она всему смеялась и ласково глядела на сидящего перед ней Сивчука. Сивчук ей подливал и таскал для нее со сковороды самые поджаристые ломтики картошки.

Перед тем как ложиться спать, они решили вдвоем проводить Леонтия Матвеевича до ворот, надели шубы Егудкина и Марьи Филипповны и вышли из дому.

Сивчук сипел трубкой и что-то говорил о закусках, но ни Женя, ни Антонина его не слушали. Было тихо, сыро, холодно. У ворот уже сидел дежурный дворник. Пахло кислым тулупом. Возле дворника возился маленький пес.

— Это Чижик, — сказал Сивчук и свистнул: — Чижик, Чижик!

Известный всей Нерыдаевке пьяница Клин бродил неподалеку по мостовой и протяжным голосом спрашивал:

— К чему это все? К чему?

Антонина и Женя прошлись еще немного и попрощались с Сивчуком. Когда шаги его совсем стихли, Женя сказала:

— Пойдемте спать. Вам не холодно?

— Нет.

— И мне нет, но все-таки пойдемте, уже поздно. И еще потихоньку водки выпьем.

— Что это с вами? — улыбнулась Антонина.

— Так. Грустно.

— Почему?

— Не знаю. Вот осталась тут ночевать, а Сидоров один уехал, на своем дурацком мотоцикле.

— Так поезжайте домой, — чуть обиженно сказала Антонина.

— Уже трамваи не ходят.

— Как-нибудь доберетесь.

— Нет, нет, — быстро заговорила Женя, — не в этом-дело. — Она схватила Антонину за руку.
— Почему он меня не заставил домой поехать?

— Ничего не понимаю.

— Ну, конечно, конечно, он должен был меня заставить. Понимаете? То есть я сказала: «Остаюсь ночевать», и он тотчас же: «Пожалуйста». Он не должен был говорить это дурацкое «пожалуйста», — почти крикнула Женя.

— Какое «пожалуйста»?

— Вы любите кого-нибудь? — спросила Женя.

— Нет, — сказала Антонина, — нет, я никого не люблю.

Женя удивленно на нее взглянула.

— А любили?

— Не знаю. То есть, может быть... Хотя, впрочем, нет. Видите ли, я не умею, и не могу, и не хочу любить просто так, кого-нибудь, или выдумывать, что люблю, понимаете?

— Понимаю.

— Я не умею примиряться... — Она помолчала. — Или подсовывать любовь туда, где ее нет... Я ведь мечтательница, — она тихо засмеялась, — я всегда мечтала, мечтала... Сорти-де-баль... Мне казалось, что я влюблена в одного артиста. Я даже наверно в него была влюблена или даже сейчас влюблена...

— Ну?

— Мне сны всегда снятся, что меня любят, знаете эти сны...

— Знаю, знаю...

— Только вы не сердитесь на меня, но это я первый раз в жизни говорю, честное слово, почему-то мне сейчас захотелось об этом говорить... Вы знаете... То есть вы, наверное, не знаете, ведь у вас все есть, вам мечтать не о чем...

— Как не о чем?

— Ну, все равно, значит, знаете. Я его еще не видела и не увижу, конечно, и все это выдумала, такого не может быть, это я выдумала, как сорти-де-баль, как заячий мой палантин. — Антонина усмехнулась. — Я вам расскажу как-нибудь про палантин, он до сих пор у меня... Да, о чем я? Да... Вы знаете, я все вижу — стоит мне закрыть глаза, и я вижу этого человека, конечно, не его самого, а как он смотрит на меня. Вот стоит и смотрит.

— Ну?

— Ну и ничего, ничего. Тогда я зареюсь в подушки и плачу, и плачу.

— Почему?

— Ах, как вы не понимаете, как вы можете не понимать! Да потому, что это я выдумала, потому что я не увижу этого человека, потому что мне все равно и все уже кончено, навсегда кончено, потому что я выдумываю — сорти-де-баль, артиста, палантин, потому что...

— Неправда! — сказала Женя.

— Что неправда?

— Все, что вы сейчас говорите. Вы были очень несчастливы?

— Очень, очень! — почти крикнула Антонина, — Вы не верите?

— Верю, верю. И говорю именно потому, что верю. Я вам во всем верю, — искренне и нежно сказала она, — во всем... Ох, как страшно вы неправы!

— Да почему же?

— Потому что человек рожден для счастья, понимаете это? Потому что солнце, воздух, море — это счастье. Потому что любовь — счастье. Потому что материнство — счастье. Потому что моя медицина — счастье. Потому что быть, существовать — счастье.

— Откуда вы взяли это?

— Не смейте так разговаривать со мной. Не смейте! Я знаю, что в вас говорит сейчас. Я знаю, знаю.

— Ну? — усмехнулась Антонина.

— Инерция несчастья.

— Я не понимаю.

— Врете, понимаете! Вы были несчастливы, я верю вам и знаю, что это именно так. Вы и сейчас несчастливы, как несчастливы еще миллионы людей в мире. Но сейчас вы еще понимаете, что несчастливы, а через год перестанете страдать от этого. Вам понравится, как нравится бабам рассказывать друг другу о своих болезнях, о том, как их бьют мужья, о том, как им нечего есть. Вы в самом несчастье будете находить свои дрянные радости. А человек рожден для счастья и будет счастлив. Будет! Неужели вы не понимаете этого? Неужели вы не понимаете, что сделать человека счастливым очень трудно и что самое трудное... ах, ну как вам объяснить?... Ну, именно в том, что люди тысячи лет жили в несчастьях, что инерция несчастья и есть рабство, только гораздо более страшное, чем рабство физическое, что рабство физическое это ничто — такой раб завтра может перестать быть рабом, а раб, созданный инерцией несчастья, всю жизнь останется рабом, да еще и холуем...

— Как же найти это счастье? — спросила Антонина.

— Как? Не знаю как. Но не сегодня и не завтра, а главное, не сбоку, не мимоходом, не на досуге...

— Так как же?

— Не знаю как. Работать, думать...

— В парикмахерской работать?

— Не знаю. Может быть, и в парикмахерской...

— Со Скворцовым? С Пал Палычем?

— Что с Пал Палычем? — не поняла Женя.

— Я выхожу за него замуж.

— Вы?

— Да.

— За него?

— Да, да, да, за него, за старика, потому что только ему я нужна, потому что он меня действительно любит.

— Но ведь вы же...

— Что «вы»? Что? Я женщина, я одна, у меня есть ребенок. Вот и все. И я не жалею, я не говорю о том, что я несчастна, что я погибла, мне просто все равно...

— Это вы выдумали.

— Хоть бы и так, Женя. Дайте мне что-нибудь взамен этого.

— Что же я вам могу дать?

— Тогда молчите и не говорите об инерции несчастья... А потом знаете что? Если уж начистоту... Вот когда у меня умер отец. И я пошла... в учреждение, в котором он служил. Все было очень хорошо, мне никто не нагрубил. Мне дали деньги за папу, я их взяла, и я помню, до самой смерти буду помнить этого человека — он сидел розовый, занятый, с карандашом, во всем военном. Он мне дал деньги — и все. Да? Вот тогда бы он мне сказал об инерции несчастья. Я бы, может, и поверила.

— А сейчас нет?

— А сейчас не поверю, — спокойно сказала Антонина.

— Может быть, поверите?

— Нет.

Когда они пришли к Егудкиным, Марья Филипповна еще не спала и обругала их «бродяжками». Настал шестой час утра. Щелкали ходики. Женя молча разделась и первой юркнула в постель.

Утром Антонина проснулась, когда все еще спали. Женя спала на спине, умиленно сложив губы и посапывая носом. По-прежнему холодно щелкали ходики.

Антонина встала, перебралась через Женю, нашла свою одежду у печки, расправила покособившиеся от воды туфли, оделась и, позабыв умыться, тихонько вышла во двор массива.

Утро было холодное, ветреное и ясное. Шипели трамбовки. Огромные корпуса жилищного массива просыпались и шумели, как ульи; хлопали двери на блоках; в окнах взвивались занавески; открывались форточки; хозяйки бежали с кошелками; дети играли в классы, прыгали с камешком, считались.

За углом Антонина почти наткнулась на Сидорова. Он сидел боком на мотоцикле, курил папиросу и внимательно глядел в лицо человеку, что-то быстро ему говорившему. Неподалеку стояли человек тридцать рабочих, видимо ожидающих распоряжения. Антонина прошла мимо и поклонилась Сидорову, почему-то думая, что он ей не ответит, но он ей ответил и даже приветливо улыбнулся. Уже миновав его, она услышала, что он окликнул ее, и обернулась. Он шел к ней и улыбался с милым выражением смущенности.

— Вы про Женю? — догадалась она и тоже улыбнулась.

— Да.

Он стоял очень близко к ней, от его куртки исходил приятный запах старой мягкой кожи и бензина.

— Так Женя еще спит, — сказала Антонина и опять улыбнулась.

— Поздно легли?

— Поздно.

— Что же это вы?

— Как что?

— Да вот поздно ложитесь...

— Так, — сказала Антонина, — разговаривали.

— О чем же это?

— Обо всем...

— Ну ладно! — Он улыбнулся ей еще и кивнул: — До свидания.

Антонина протянула ему руку, повернулась и пошла легкой своей походкой.

«Удивительные какие-то люди!» — смущенно и радостно подумала она, и на сердце у нее стало легко и светло.

В трамвае, и дома весь этот день, и потом она все вспоминала ночной разговор с Женей, вспоминала отдельные слова, мысли, интонации Жени, ее самое. Ей было странно и горько думать о том, что она не подружилась с этой милой женщиной, что, наоборот, она, видимо, в конце концов не понравилась Жене, что Женя о ней плохо думает и что, может быть, они больше никогда не встретятся.

Ей представилась Женя в шубе Егудкина, ее круглое розовое лицо и живые глаза, умный маленький рот — вся она такой, какой была, когда они выходили ночью гулять.

Вначале Антонина думала о Жене с нежностью и печалью, стараясь разобраться в том немногом, что говорила Женя, потом ее охватило раздражение.

Случилось это вот как: Пал Палыч давно собирался поставить в комнате Антонины хороший большой камин, много об этом говорил, бегал куда-то смотреть, озабоченно договаривался со стариком печником, и наконец, вскоре после наводнения, камин был доставлен. Пал Палыч затопил его, принес старинный екатерининский, розового шелка, экран, подкатил кресло, столик, накрыл столик чистой салфеткой и повернулся к Антонине, сияющий, с такими глазами, каких Антонина еще никогда у него не видела. Она знала, что ему камин не нужен, знала, что поставлен камин для нее, для того чтобы доставить ей радость, она помнила, как сказала Пал Палычу однажды в кино, глядя на экран — там за большим столом перед камином ужинала семья французского крестьянина, — Антонина совершенно невзначай сказала тогда Пал Палычу, что перед камином, вероятно, очень уютно сидеть. Пал Палыч промолчал, но через неделю сам начал говорить о камине. Антонина удивленно на него взглянула: ей казалось, что каминны бывают только в кино да в романах, но Пал Палыч сказал, что непременно поставит ей камин.

И вот теперь она сидела перед камином, в котором трещали дрова, а Пал Палыч, сидя возле

ее кресла на корточках, особыми медными шипцами ворошил в камине пылающие смолистые поленья. Она взглянула на его голову, на его сильную, жилистую шею, на его чистый старомодный воротничок и с раздражением вспомнила Женю, и всю ту ночь, и все те разговоры, которые раньше были дороги ей и которые она вспоминала с нежностью и грустью.

«Вот вам, — неожиданно для себя подумала она, — вот вам, смотрите! Вы все говорили мне жестокие слова, вы все в чем-то попрекали меня, разговаривали со мной, как с обвиняемой (да, да, именно как с обвиняемой, — она вспомнила Альтуса), вы обвиняли меня, — думала она, — и, чтобы помучить меня, сулили мне какое-то выдуманное вами счастье, вы называли меня рабою, вам, вероятно, казалось, что этим вы помогаете мне, и вы, товарищ Альтус (ей было приятно, думая, произносить „товарищ Альтус“), и вы, товарищ Альтус, вероятно, до сих пор считаете, что облагодетельствовали меня, не посадив тогда в тюрьму, а? Ну что ж, — думала, — вот все вы мне говорили, и спорили, и доказывали, и даже я была почти арестована, вы, ораторы (она усмехнулась), вы дадите мне то, что дает мне этот человек? Ради моей улыбки, — да что ради улыбки! — ради одного моего взгляда он, уже пожилой, уставший, бегаёт, ищет, продает какой-то свой перстень, таскает кирпичи по лестнице. И зачем? Разве ради улыбки? Нет, потому, что он любит меня и хочет сделать мне приятное. Вот смотрите, вы все, — думала она, — он несет мне чай, видите?. И я не улыбнусь, он ничего за это не получит, я не замечу, а он будет счастлив — ему приятно подавать мне и быть мне лакеем. Ну а вы? (Она увидела перед собой Женю, и глаза ее холодно блеснули.) Инерция несчастья! Кто научил вас этим словам? — спрашивала она. — Кто? И что вы дадите мне? О чем, в конце концов, был разговор? Вы устроите меня на массив парикмахером? А мои вечера? А Федя? Если он заболит, тогда что? И если я не люблю никого, то люблю ли вас? Пусть снится, — думала она, — всю жизнь мне будут сниться сны из книг, что ж такого? Я мечтаю. А вот Пал Палыч. И все, — думала она, — и незачем было разговаривать!»

Она обернулась на звук скрипнувшей двери.

Вошел Пал Палыч.

— Вы счастливы? — спросила она у него.

Он молчал.

— Вы счастливы, Пал Палыч? — во второй раз, почти сурово, спросила она.

— О чем вы?

Улыбаясь, Пал Палыч поставил на маленький столик блюдце с вареньем и сел возле Антонины на подлокотник кресла.

— Я не знаю, о каком счастье вы говорите, — сказал он, — но мне сейчас покойно. Это самое главное, по-моему.

Антонина смотрела в камин на красные уголья.

— Может быть, это и есть счастье, — робко добавил он. — Как вы думаете?

— Не знаю.

Они помолчали.

— Пал Палыч, — заговорила Антонина и повернулась к нему горячим, взволнованным лицом, — Пал Палыч, у меня огромная просьба к вам...

— Ну-с?

— Пал Палыч, знаете что? Давайте пригласим на нашу свадьбу всех с массива. А? Будет очень весело... Как вы думаете?

Он растерянно молчал, поглаживая усы.

— Сидорова пригласим, Женю... она очень славная... Щупака, Закса, Леонтия Матвеевича... Вот увидите, как хорошо будет. А, Пал Палыч, милый...

Легким быстрым движением она взяла его ладонь, повернула ее внутренней стороной к себе и прижалась к ней щекою.

— Ну, пожалуйста, Пал Палыч, — все говорила она, и глаза ее горели непонятным внутренним огнем, — пожалуйста, милый, вы представить не можете, как это мне страшно важно. Пусть они увидят, что мы счастливы; они не верят, наверное, но мы так все устроим хорошо, что им придется поверить...

Он согласился.

Потом до поздней ночи они, сидя рядом, плечо к плечу, записывали на маленьких листках блокнота все, что им нужно было для свадебного ужина.

— И лавровый лист пишите, — говорила Антонина, — а то мелочи как раз всегда забываются, потомхватишься — и нет. Килек запишите, развесных полкилограмма, я соус к ним приготовлю... Записали?

— Записал.

— Увидите, как мы все отлично устроим, — волновалась Антонина, — увидите. Я терпеть не могу, когда меня жалеют, — говорила она, — ненавижу. А они меня жалеют, Женя эта ваша жалеет, что я выхожу за вас замуж... Жалеет... — Антонина говорила и не замечала, как больно ранят ее слова Пал Палыча, как неестественно он улыбается, как поправляет очки и курит, стараясь сохранить непринужденность в лице. — А я не позволю им жалеть, и вы не позволите, — продолжала Антонина. — Меня в жизни никто не жалел, слава богу, мне это не нужно, да и вас, кажется, не жалели, верно?

— Верно, — тихо согласился он.

— Вот видите. Ну, давайте дальше думать, что еще? Только на это надо денег много, Пал Палыч. Где мы возьмем такую гору денег?

— Ничего, я вещичку продам, у меня есть старинная, она мне не нужна.

— И отлично, — не слушая, говорила она, — и отлично. Рису запишите, потом разливного вина — будем варить глинтвейн...

11. Нечего жалеть!

В день свадьбы Антонина проснулась с рассветом.

Федя спал, уткнув нос в подушку.

Нянька Полина лежала раскинувшись, обнажив большое, желтое как воск, жирное и мягкое

тело.

Надо было одеваться.

Вынув из желтой, крытой лаком картонки тонкое, дорогое, привезенное еще Скворцовым из заграничного плавания белье, она накинула на себя сорочку, но в ту же секунду сбросила ее и, закусив губы, голая легла в постель.

— Не буду, не буду, — бормотала она, закутываясь в одеяло, — не буду...

Она закрыла глаза и почувствовала себя такой маленькой и такой жалкой, как та целлулоидная кукла с ногами и руками на шарнирчиках, которую давеча она за рубль купила Феде. Федя не взял ее, она так и лежала в углу под салазками, он не мог с ней играть, она никуда не годилась — так он сказал няньке.

— И я никуда не гожусь, — шептала Антонина, — и я такая, что же мне делать, что же мне делать?

Вдруг ей стало до того холодно, что она закрылась одеялом с головой, как делала в детстве, и принялась дышать: если очень много под одеялом дышать, то будет тепло. Но, не согревшись, она задохнулась — под ватным одеялом было нестерпимо душно, и она почувствовала, как хороша и как молода, каким чистым, горячим и свежим пахнет ее гладкая сухая кожа. «Мятой, — подумала она, — вот правда, мятой». А подумав так, сразу же откинула одеяло прочь с головы и села в постели. Ей представился Пал Палыч. Сегодня он будет ее мужем. Он будет говорить какие-нибудь поощряющие грубые слова, как в свое время говорил Скворцов; он будет гладить ее плечи каждую ночь, начиная с сегодняшней; он будет спать с ней в одной постели.

Почему?

По какому праву?

Да ведь — муж, муж!

Сидя на кровати, вздрагивая от холода, прижав руки к обнаженной груди, она спрашивала себя, как ей жить, что делать, как переменить все, все.

Что переменить-то?

«Прежде всего нужно, чтобы любил муж», — вспомнила она чьи-то слова в парикмахерской и шепотом их повторила:

— Прежде всего нужно, чтобы любил муж.

Погодя она вновь укрылась с головой одеялом, но устроила против носа и рта маленькое отверстие и дышала в него — так, казалось ей, теплее и уютнее. Иногда она поглядывала в отверстие одним глазом — в комнате совсем посветлело.

Вдруг вспыхнул стакан на подоконнике: то солнечный луч попал в комнату и, наткнувшись на стекло, поджег его ярким, сияющим огнем.

Деловито, не спеша она надела все-таки то белье, которое когда-то привез Скворцов, туго заплела косы, заложила их ниже затылка, заколола шпильками и, подумав, покрасила губы яркой помадой.

Платье разглаженное вечером, висело возле окна, Антонина сняла его с распялки, положила на кровать и, пристегнув белый воротничок, накинула на себя.

У зеркала она расправила складки платья, ладонями пригладила выбившиеся прядки волос, надушилась и спокойно, как про другого человека, подумала, поворачиваясь перед зеркалом, что она красива — вот как хороши ноги в черных шелковых чулках, вот как смугла и гладка шея, вот как темны глаза под печальными ресницами!

Да, красива, очень красива.

Но, странное дело, мысль о том, что она красива, не доставила ей никакого удовольствия.

Застелив постель, она сняла туфли и легла поверх покрывала с книгой — ей очень хотелось ни о чем не думать и ничего себе не представлять, никаких картин, даже очень хороших. В книге было написано о каких-то иностранцах, которые всё ходят по городу и всё совещаются, куда бы им пойти, — сюда нехорошо, туда плохо, а сюда и вовсе не стоит. «Хоть бы уж пришли куда-нибудь, — с тоской подумала Антонина, — до каких же это пор?» Но иностранцы никуда не пришли, и Антонина сунула книгу под подушку.

Ей было неудобно лежать вытянувшись, на спине, повернуться же она не решалась — жалко было измять так хорошо разглаженное платье.

Сначала она просто глядела в потолок, отгоняя от себя прочь мысли, потом закрыла глаза и считала до сотни, до тысячи, потом цифры смешались, тоненький, ноющий и длинный звук повис в комнате — можно было подумать, что очень большой музыкант выводит огромным смычком на гигантской скрипке самую высокую из всех существующих в мире ноту. Перед тем как заснуть, она даже увидела лицо музыканта, ярко-желтое, со складками возле рта, старательное и напряженное.

«Глупости, — подумала она, засыпая, — что за глупости. Вот Федя, взрослый Федя, усатый, бородатый, с жестяной саблей».

Скворцов — да он умер, Скворцов! — а он тут. Он ходит по комнате и жалко улыбается, он ест грушу и угощает грушей ее, Антонину. «Уходи ты, Скворцов, уходи, как тебе не стыдно, ты же мертвый». — «Нет, какой я мертвый, это все тебе приснилось, на-ка, ешь грушу, она сладкая, я ее из Мекки привез. Поедем со мной в Мекку».

Мекка! Большие дома, под зонтиками ходят те иностранцы из книжки, не знают, куда деваться, а она со Скворцовым бежит по Васильевскому острову, по Университетской набережной, над Невой, глядит — Академия наук под зонтиком, большой, полосатый, похожий на бабкин чулок зонтик тихо покачивается.

Ветер, что ли?

Скворцов держит ее за руку и бежит, ноют гранитные плиты под его ногами. Скорей! Как бы не опоздать — пароход уйдет в Мекку.

Нехорошее, нехорошее слово — «Мекка»!

Она знает, Скворцов хочет, чтобы она умерла. Она нравится ему. Он думает, что если она умрет, то опять все будет по-старому.

Да, ветер.

Ах, как она просит оставить ее, она сама умрет, не надо только так бежать, зонтиков этих не надо, иностранцев! Право же, ей все равно, она может умереть.

Усатый-бородатый Федя размахивает саблей и ест грушу. Плохая сабелька — игрушечная. Вот ветер, ею даже ветер не разубишь, плохая у тебя, Федя, сабелька!

Медленно она подняла веки, потерла пальцем переносицу, села на кровати и только тогда совсем проснулась, когда нянька Полина спросила, не пора ли топить плиту.

— А сколько времени?

— Десятый.

— Ну, топи, если десятый.

И скрипач пропал...

Что такое, какая Мекка?

Скворцов тоже...

Дурные сны, очень дурные сны!

Она смотрела в зеркало: легла на спину да повернулась на бок, по левой щеке от шва на подушке бежали красные рубчики.

Антонина кликнула Федю, но его не оказалось дома — ушел гулять во двор.

Пора было начинать день. Не так начинались дни у Безайса и Матвеева, но что она могла поделывать?

И вдруг со злобой она подумала: «Не было никогда никаких Безайсов и Матвеевых! Все это выдумки! Очень красивые, трогательные, даже замечательные выдумки. И ее это совершенно не касается!»

В кухне с воем топилась плита, нянька Полина, повязав голову белым платком, в белом поварском фартуке, рубила большим ножом мясо для котлет. Жилец Мотя Геликов, примостившись у края плиты, жарил себе на завтрак брюкву и грел утюг — он слыл в квартире франтом и по выходным дням разглаживал все свое имущество. Наливая в сквородку масло и легонько подпрыгивая (масло брызгалось и обжигало руку), Геликов пожелал Антонине доброго утра и спросил о здоровье.

— Ничего, спасибо.

— Надо, надо за собой следить, — посоветовал Геликов, — очень надо, ужасные пошли погоды.

— Да мне говорили...

На несколько секунд ее охватила злоба и к Моте, и к няньке, и к Пал Палычу... Вот Мотя жарит — будто так и нужно, будто, кроме его брюха, его костюмов, его галстуков, ничего в мире не существует. Пал Палыч спит. Они все сами по себе, она — сама по себе.

Она одна.

Переодевшись, Антонина взялась за хозяйство. Вычистила лук, размочила в молоке булку для котлет, сварила толокна Феде, напоила его, причесала и долго возилась с разорванной бархатной курточкой — надо было хорошенько заштопать.

Потом она вспомнила о целлулоидной кукле.

Федины салазки, приготовленные для зимы, стояли в углу неподалеку, так что Антонине не пришлось даже встать, она только протянула руку, приподняла салазки за полозья, вытащила из кучи игрушечного хлама куклу, запиханную в погнутую жестяную плиту, и положила ее себе

на колени.

«Дурной мальчишка! — Вытаскивая куклу из плиты, она улыбнулась: ей представился Федя, как он, насупившись, чуть высунув язык и посапывая носом, работал, засовывая куклу внутрь плиты. — Дурной мальчишка!»

От игрушек пахло им самим, его жизнью, землей, которую он таскал со двора в комнату, резиной от калоши, куском кокса, ржавыми гвоздями, его всегда перепачканными лапами. По игрушкам видно было, как он всегда все переделывал на свой лад: плита вовсе не была плитой, она была автомобилем, затем к ней и приделаны катушки; что же касалось до нелюбимой куклы, то кукла работала шофером до того дня, пока Федя не вздумал сделать из автомобиля самолет. Голая кукла не годилась — какой из нее летчик, — и Федя решил ее выдернуть, но она не вылезала, тогда он во второй раз забросил ее вместе с плитой в угол и во второй раз сказал няньке Полине, что кукла совсем никуда не годится.

— Одеть тебя, что ли?

Она достала из своей коробки пестрый лоскут и ловко, в одну минуту смастерила из лоскута красивое платье для куклы. Потом она одела ее, подпоясала тесемкой и, покусывая губы, поглядела издали, как получилось. Получилось хорошо. Кукла выглядела крошечной, но совсем настоящей женщиной — розовой, томной, кудрявой, даже глаза у нее поумнели, стали любопытными, с хитринкой.

Антонина повесила ее над диваном, возле полочки с мраморным слоненком, и еще поглядела: кукла по воздуху мчалась на слонихе; слоненок яростно трубил, задрав к потолку хобот, приготовившись к драке. А на другой полочке мирно паслась мраморная свинья.

Первый, раз она кормила Пал Палыча в это утро. Он мешал в стакане ложкой, медленно отхлебывал чай, разглаживал пальцами усы и, улыбаясь немного сконфуженной улыбкой, уговаривал ее не беспокоиться — право же, он не хочет есть, ему совершенно достаточно чая с бутербродами, он никогда по утрам не ест.

— Раньше не ели, а теперь будете есть...

Он как бы укоризненно покачивал головой, но она видела, что ее повелительный тон на самом деле доставлял ему большое удовольствие.

— Горячую котлету принести вам?

— Спасибо, Тонечка, я не хочу...

— Только без глупостей. Будете есть или нет?

— Я по утрам...

Отмахнувшись, она с тарелкой ушла на кухню. Ей хотелось быть доброй с ним, ласковой, так, чтобы у него потеплело на душе, чтобы он наконец отдохнул от своего одиночества, понял бы, что о нем заботятся, что вот его кормят утром горячем котлетой, ей хотелось, чтобы он подумал, как ему будет хорошо, когда у них все наладится.

Но тут же она ловила себя на мысли о том, что ей вовсе нет дела до того, как будет Пал Палычу, хорошо или плохо, сытно или голодно, уютно или неуютно, она об этом вовсе и не думала, она только хотела, чтобы Пал Палыч оттаял, умилился и поблагодарил судьбу за такую жену, как Антонина. Ей хотелось быть честной и расплачиваться, непременно расплачиваться поступками, делом, уютом за его любовь, ведь не для лежания на диване она шла замуж. Она была уверена, что с того часа, когда начнет расплачиваться с Пал Палычем, когда она начнет поить его чаем, кормить обедом, считать его белье, отдавая в стирку, — с

того часа ей станет легче, ей не надо будет чувствовать себя виноватой, неблагодарной; окружив Пал Палыча заботами и создав ему дом, она тем самым расплатится с ним за его любовь к ней.

В то же время ей было страшно, она боялась жалости к нему, потому что отлично знала, чем может кончиться эта самая жалость: в тот вечер, когда он представился ей сидящим в пивнухе среди воров, когда она так остро пожалела его и согласилась выйти за него замуж, — в тот вечер, первый раз за все время их знакомства, он стал ей мерзким; всю ту ночь напролет она думала о том, что этот жалкий ей человек будет обнимать ее тело, будет целовать ее как свою жену и что у нее может быть от этого жалкого ей человека ребенок.

Нет, она не хотела жалеть.

Сидя рядом с ним и глядя, как он ест, в первый раз за все это время она думала о себе вне каких бы то ни было последних событий, впечатлений, встреч, разговоров. Она просто и честно старалась разобраться в самой себе и узнать, почему же она все-таки выходила замуж за этого человека, чужого ей, уже старого, не очень понятного и, главное, совсем не любимого.

— Может быть, еще хотите, Пал Палыч?

— Нет, спасибо.

— А может быть?

— Нет, нет, что вы!

Пока Пал Палыч искал документы, чистил пальто, она отвечала прямо, без обиняков, на те вопросы, которые сама жестоко ставила себе. Да, она выходила замуж не из жалости к нему, такие вещи не происходят из жалости, жалость — обстоятельство, не имеющее никакого значения; она выходила замуж потому, что ей было страшно одиночества, пустых и длинных вечеров осенью, зимних вьюг. А если бы вдруг заболел Федя? Что делать одной над его кроватью? А если бы заболела она сама? Да, она шла замуж из жалости, но не к Пал Палычу, а к самой себе. Она жалела себя. Она боялась одиночества, до холода в спине, так же как в детстве боялась пустой и темной комнаты, треска рассыхающихся половиц, разбитого зеркала, третьей лампы. Ей страшно было думать о том, что в этом огромном, шумном и веселом городе она одна; что когда ее нет дома, то никто, кроме Феде, которому она просто-напросто нужна, о ней не вспомнит, что нянька Полина — чужой человек, что в парикмахерской к ней лезут, что парикмахеры глупы, что в жизни она не видела ничего хорошего и что, вероятно, не увидит. И что там, наконец, за стенами ее квартиры и парикмахерской, там, в городе, идет сложная, большая, кропотливая жизнь, в которой не только Федя, обед, воспоминания о Скворцове и ссоры на кухне, а и нечто иное, но которому опять же до нее, Антонины, нет никакого дела...

— Пал Палыч!

— Что, Тонечка?

— Мне вам хотелось сказать, Пал Палыч... Вы, наверное, это знаете, но на всякий случай...

Он обернулся к ней. Она увидела, как он побледнел, вероятно подумав, что она не выйдет за него замуж.

— Нет, нет, Пал Палыч... Все по-прежнему...

Он облизнул губы и подошел ближе — бледный, высокий, широкоплечий. В одной руке он держал щетку, в другой — черный пиджак. Внезапно злобные искры сверкнули в его глазах:

— Не пора ли нам кончить, Тоня? — сказал он и махнул щеткой. — Довольно вы меня мучили. Или сюда, или туда — только сразу.

Антонина молчала.

Не зная, что делать с пиджаком и со щеткой, он швырнул и то и другое на кровать, подошел к окну и уж оттуда крикнул севшим от злобы голосом:

— Я не мальчик. Понимаете вы? Я на свадьбу людей пригласил. Ну?

Она ответила не сразу.

— Не сердитесь, — сказала она, — не сердитесь. Пал Палыч. Все по-прежнему. Но только...

— Что «только»?

— Я вас не люблю...

— А Скворцова вы любили?

Криво усмехнувшись, он вплотную подошел к ней, властным движением положил свои большие руки на ее плечи и еще раз почти грубо, спросил:

— Любили?

Она подождала — вот ударит. Ей доставляло удовольствие чувствовать, как вздрагивают его руки, как они сжимают все сильнее и жестче ее плечи, ей приятно было видеть его бледное и потное лицо, думать о том, как он сдерживает себя... И только тогда, когда уже стало ясно, что он сдержится и не ударит, как бы она ни ответила, Антонина сказала, что Скворцова, кажется, не любила, и в свою очередь спросила, предполагает ли Пал Палыч в будущем драться.

— Тонечка...

Сжавшись, точно его перетянули кнутом, он отошел от нее.

— А все-таки?

— Я никогда...

— Вы же сами рассказывали, как дрались. Помните? Официантов били, повара...

— Так ведь...

— Что «так ведь»? И меня собираетесь бить?

Покусывая губы, она взяла его пальцами за локоть и встряхнула — ей хотелось победить во что бы то ни стало. Он не смел кричать на нее, он не смел держать ее за плечи, он не смел спрашивать, если ей не хотелось отвечать. Своим спокойным, сильным, ровным голосом она сказала ему, что его не любит, но оба они одиноки, и Пал Палыч, и она, что она выходит за него замуж только потому, что не хочет больше одинокой жизни, что она его уважает, он ей кажется порядочным и честным человеком, но что если он еще раз повысит голос, то... Скворцовых ей не надо, хватит!

Она говорила все это, не глядя на него — он стоял вполоборота, — но когда она кончила и посмотрела на него, то оказалось, что он вовсе не напуган, — наоборот, та жестокость, которую она давеча в нем заметила, сейчас точно сгустилась. Пал Палыч был весь напряжен, светлые его зрачки совсем побелели, он казался голубоглазым и смотрел на нее сверху вниз,

сунув руки в карманы и слегка раскачиваясь — налево и направо.

На секунду ей стало неприятно: она никогда не видела его таким. Но испуг тотчас же исчез, уступив место чувству, похожему на восхищение. Нет, это не Скворцов! Это не пьяная храбрость, это не хамская, это настоящая сила — он себя в обиду не даст...

— Вот что, Тонечка...

Но Антонина не слушала. Она смотрела на него, на его широкие, сильные плечи, на его шею, на его большую, властную руку с блестящим перстнем на пальце и думала о том, что Пал Палыч совсем иной, чем она его себе представляла.

— Пал Палыч!

Теперь она положила ему руки на плечи.

— Пал Палыч!

— Что?

— Но ведь я вам честно сказала, что я вас не люблю...

Он смотрел на нее сверху вниз, но теперь его глаза потеплели за очками, и сами очки перестали блестеть холодным металлическим блеском.

— Если я вам сказала...

— Ну, сказали... — Он улыбнулся. — Что ж из того, что сказали?

— А то... — Она заторопилась, испугавшись, что он подсмеивается над нею. — А то, что ведь... я могу и полюбить вас, верно?

Пал Палыч промолчал.

Тогда Антонина обняла его руками за шею и, чуть приподнявшись, чтобы быть вровень с ним, поцеловала седые, мягкие, пахнущие табаком усы...

В этой скучной и пыльной комнате кто-то для очистки совести повесил две картинки: на первой мальчик в матроске швырял с берега корм рыбам, на второй мордатый офицер в погонах и в аксельбантах расстреливал из нагана коммуниста, похожего на Христа. В простенках же между окнами висели дрянные циновки и большое деревянное блюдо.

Антонина долго рассматривала офицера, мальчика, блюдо. Рядом с ней молодая пара, крепко прижавшись друг к другу, тоже разглядывала картины и чему-то смеялась. Чему? Вдруг она поняла: девушка смеялась над ней — потому что она стояла перед гладкой, насквозь пропыленной циновкой и глядела на циновку, как на картину.

Пал Палыч в дверях большими затяжками докуривал папиросу. Его глаза поблескивали под очками.

В соседней комнате занимались учетом умерших и родившихся. Рождалось больше, чем умирало, и, вероятно, поэтому в комнате, несмотря на смешение двух совершенно разнородных видов учета, было все же веселей. Кто-то тихо смеялся в углу. Антонина оглянулась: молодая женщина с ребенком на руках показывала коренастому быстроглазому парню плакат, на котором было изображено, как надо чистить зубы; вероятно, парень не любил заниматься этим делом, и жена над ним посмеивалась.

В вестибюле друг против друга стояли два человека. Их освещали матовые лампы, оба они

были в сером, мужчина страдальчески морщил свое изглоданное лицо и все собирался что-то сказать, но только махал рукой и сплевывал в огромную урну, стоящую, как памятник, на пьедестале. Женщина дергала намотанную на шею лисицу за хвост и непрерывно трещала, в чем-то оправдываясь и заглядывая в глаза мужчине хитро и лживо.

Они шли разводиться.

Антонина была хорошей хозяйкой.

Вид всякого беспорядка вызывал в ней острое желание немедленно его ликвидировать.

И непременно самой.

Если ей случалось видеть пустую квартиру, она тотчас же в уме прикидывала, как тут можно расставить вещи.

Несмотря на застенчивость, она нередко останавливала ломовиков:

— Полено уронили.

Но она почти ничего не знала, кроме своей комнаты и парикмахерской.

Брились люди. Иногда приходили два приятеля и, усевшись на кресла рядом, переговаривались друг с другом.

— Но ведь так же нельзя, — говорил один, — ведь это же безобразие.

И, отстранив ее руку, позабыв о том, что лицо намылено, орал:

— За такое горячее их, подлецов, сажать надо!..

Она понимала, что горячее плохое. Но ей до этого не было ровно никакого дела — горячее было горячим, оно существовало вне того мира, в котором жила она. И, вытирая ватой бритву, она спокойно ждала, пока клиент перестанет горячиться, но ждала, конечно, в том случае, если не было очереди. Если же очередь была, Антонина сухо говорила: «Извините», и клиент, сконфузившись и подставляя намыленную щеку, умолкал. Ведь не могла она позволить, чтобы очередь задерживалась из-за нее.

Иногда разговоры клиентов оказывались понятными и близкими ей, несмотря на огромную разницу масштабов той жизни, которой жили клиенты и она сама.

Тогда ей становилось грустно.

Конечно же она бывала в учреждениях, относилась какие-то бумажки, платила гербовые сборы, даже писала заявления. Но это было не то. Она не понимала этих учреждений.

Зачем они существуют? Где их начало и где их конец?

А тут вдруг она поняла, и мало того, что просто поняла, — увидела, как безобразно плохо организовано это учреждение.

Да нет, оно, конечно, еще не было и организовано.

Просто-напросто пустая квартира, в которой надобно все расставить по своим местам.

Ведь вот рождаются дети...

Она даже махнула рукой от необычайного возбуждения, от радостного и острого сознания того, что она понимает, что она совсем понимает, все до конца, до самой последней капельки.

Хозяйственный пыл, рвение проснулись в ней. Ей хотелось делать, совершать поступки, у нее горело лицо от желания работать — ах, сколько бы она сделала сейчас!

С жаром, которого Пал Палыч в ней и не подозревал, она вдруг взяла его под руку и быстро принялась говорить ему, как украсила бы она эту «отметочную», детскую комнату.

— Обои синие, — звонко говорила она, — правда? Самые лучшие обои — синие, да? Потолок белый, ровный, и в хорошую погоду всегда окна открыты. И большие занавески, знаешь, такие легкие, но накрахмаленные, да? От потолка и до самого пола, чтобы их ветер выносил на середину комнаты, — мне очень нравится, когда ветер раскачивает занавески, — весь город слышно, как он гремит. И потом витрины, как в амбулаториях, но только не про плохое, не про болезни, а про хорошее и красивое витрины, да? Как пеленать, как подгузник класть, как компресс на животик положить... Ведь вот, как рожает, ничего это не известно. И пусть даже... — Антонина вдруг засмеялась: — Пусть даже клизмочка будет показана, как клизмочку ставить. Я с Федей так намучилась. Но красивые витрины, красивые. Диван большой, да? И еще по стенкам фотографические карточки самых здоровых ребятишек, которых только тут отметили, что они родились, верно? А портрет только один. Большой, огромный. Беленького Ленина, кудрявого, знаешь? Там, где он еще маленький. Потому что это он сказал, что дети — цветы жизни, да? Или не он?

О, с каким жаром она принялась бы своими хорошими руками за переделку всего этого пыльного учреждения!

Но Пал Палыч усмехнулся.

— Попробуй, — сказал он, — попробайся.

И сразу исчезли синие обои, занавески, которые ветер выносил на середину комнаты, карточки самых здоровых детей. Ей опять стало все равно. Ведь из нее могла выйти и плохая хозяйка, в конце концов.

12. Сверчок на печи

Под вечер в комнату Пал Палыча постучали. Антонина крикнула: «Войдите!» — и удивилась: вошел незнакомый, хорошо одетый человек.

— Вам кого?

Человек смотрел на нее и молчал.

— Кого вам нужно? — спросила Антонина.

— Готовится пир, — сказал человек, — чудеса! Пал Палыч Швырятых здесь живет?

— Да, тут. Он сейчас.

— Тогда разрешите, я сниму пальто.

Антонина помолчала, потом взяла скатерть с кресла и принялась ее расстилать на большом

столе. Незнакомец разделся и ходил по комнате, зябко потирая руки. Потом подошел к подоконнику и, подняв на свет одну из винных бутылок, сказал:

— Ну кто же сейчас херес покупает? Ведь дрянь! Ай-яй-яй, Пал Палычу изменил его великолепный вкус. Послушайте, что это за пир?

— Пал Палыч женится, — сказала Антонина и с вызовом поглядела на незнакомца, — вы разве не знали?

— Не знал. На ком же он женится? Уж не вы ли невеста?

Антонина не успела ответить — вошел Пал Палыч. Увидев незнакомца, он неприятно улыбнулся и, пожимая его руку, сказал:

— Вовремя. Я женюсь.

И обратился к Антонине:

— Познакомьтесь — Борис Сергеевич Капилицын, старый мой клиент, почетный гость! Садитесь, Борис Сергеевич.

Капилицын сел.

— Останется, — шепнул Пал Палыч Антонине, — теперь не уйдет.

Гость действительно расположился, как у себя дома.

Видя, что хозяйева заняты и не обращают на него внимания, он улегся на диван, вынул газеты и, лениво зевнув, принялся за чтение. Но, проходя возле дивана, Антонина каждый раз встречалась глазами с Капилицыным. Он глядел на нее без улыбки — внимательно и спокойно. Потом сказал:

— Удивительная красота! Вот везет старому черту!

Антонина покраснела, ей показалось, что сейчас Пал Палыч обозлится и закричит на Капилицына, но Пал Палыч молчал. Она обернулась к нему. Он улыбался — спокойно, с достоинством. Глаз его не было видно.

К десяти часам она пошла в свою комнату переодеваться. Федя уже спал. Она наклонилась над его постелькой, привычно попробовала губами лобик, нет ли жару, и поцеловала мальчика в щеку. Села перед зеркалом и напудрилась большой, подаренной Пал Палычем пуховкой. Потом запела любимый романс из середины:

Но если счастье случайно

Блеснет в лучах твоих очей...

Одевшись, она легла и лежала долго, ни о чем не думая, вздыхала, покусывала губы.

Когда она вышла, комната Пал Палыча уже была полна народу. Недоставало только Жени и Сидорова. Их подождали с полчаса. Антонина была оживлена, глаза ее блестели, она смеялась, остряла и часто украдкой пожимала руку Пал Палычу. Жени все не было. Несколько раз ей казалось, что стучат, она бросалась по коридору в кухню и распахивала дверь на темную сырую лестницу. Никого не было.

— Нет, я ошиблась, — говорила она, входя в комнату, — просто ветер.

Ей казалось, что на нее уже смотрят с сожалением. «Ну что же, — думала она, покусывая губы, — пренебрегли? Для чего же тогда все это? Зачем?»

В темном коридоре она постояла у вешалки, потом топнула ногой и, вернувшись в комнату, велела садиться за стол. Пал Палыч вопросительно на нее посмотрел.

— Больше не будем ждать, — сказала она не то Пал Палычу, не то гостям, — уже двенадцатый час. Садитесь, пожалуйста!

Первым сел Капилицын. Стулья задвигались.

Как только все сели, поднялся Егудкин, празднично одетый, и попросил слова.

— Просим! — крикнул Пал Палыч.

— В трактате Берахот, — молвил Егудкин, — сказано: «Новобрачные, как люди, занятые исполнением заповедей, свободны от шема, от тефиллы и от тефиллин». Так пусть же новобрачные сегодня не будут ухаживать за гостями. Пусть себе едят, и пьют, и веселятся, ни о чем не заботясь. Каждый из нас сам будет ухаживать за собой... Правильно? И пусть их жизнь будет так же легка и приятна, как сегодняшняя вечер...

Он взглянул в рюмку, поморщился и выпил.

Сразу же стало шумно и весело, замелькали над столом тарелки с закусками, сверкнуло вино, застучали ножи.

Леонтий Матвеевич из скромности чокнулся рюмкой, но выпил из стакана. Закусив селедкой, он немедленно принялся ухаживать за Марьей Филипповной, что-то ей поминутно передавал, солил, перчил, резал, наливал...

— Форшмак знаменитый, — говорил он через стол Антонине, — очень хороший форшмак, прекрасный.

Антонина кивала головой и предлагала грибов, или пирога, или килек.

— Кушайте! — кричала она порою. — Пал Палыч, ну что же это такое, право? Никто ничего не ест! Мотя, вы хрену возьмите, заливное надо непременно с хреном есть... Товарищ Щупак! Что вы смотрите? Почему у вас тарелка пустая?

Пал Палыч был совершенно счастлив. В черном своем костюме, спокойный, улыбающийся, любезный и весь словно бы открытый (обычная сдержанность покинула его в этот вечер), он то старательно и подолгу упрашивал всех есть, то откупоривал пиво, то ладонью пробовал, не слишком ли тепла водка, то резал еще пироги, то менял тарелки...

Пьяненький Мотя Геликов беспрерывно ухаживал за Капой, но порою смотрел на Антонину жалкими глазами.

— Ну чего вы, — смеялась Капа, — чего? Все равно, не полюбит... Вы лучше на меня так посмотрите...

— И никак я не смотрю, — обижался Геликов, — просто-напросто отвлеченно люблюсь.

После первых минут искусственного оживления Антонине сделалось нестерпимо скучно, почти тоскливо. Сидя рядом с Пал Палычем, она неприязненно глядела на раскрасневшиеся лица гостей, на мелькающие в воздухе рюмки и графины, слушала шутки, басок Леонтия

Матвеевича, смех Капы и чувствовала, что злится. «Зачем я их всех назвала, — раздраженно думала она, — нужны они мне!»

Когда все немного опьянели, встал Капилицын. Он был трезв, чуть улыбался и держал в высоко поднятой руке хрустальный бокал с вином. Перед тем как начать говорить, он пригладил розовой ладонью и без того лоснящиеся волосы, потушил окурок и лениво оглядел всех сидящих за столом.

— Товарищи, — сказал он негромко, — товарищи, Пал Палыча Швырятых я знаю давно. Пал Палыч был известен мне как отличный, честнейший и... — Капилицын разыскал глазами Пал Палыча и приветливо улыбнулся ему, — и... как скромнейший человек... Мы очень, очень давно знакомы друг с другом, и я нынче искренне радуюсь, что Пал Палыч наконец обзавелся семьей, что у него есть ребенок, потому что ведь ребенок много значит в семейной жизни... рад и за жену Пал Палыча. Мой друг Швырятых — человек редких душевных качеств, а главное, — Капилицын говорил все медленнее и медленнее и все душевнее улыбался, — а главное, человек надежнейший, человек, за которым можно чувствовать себя как за каменной стеной. Разумеется, мы, живущие в эпоху великих свершений, упований и грандиознейшего в истории земного шара эксперимента, разумеется, мы должны мыслить масштабно, но есть ведь и счастье домашнего очага, то счастье, о котором так прекрасно писал наш милый Чарльз Диккенс. «Сверчок на печи», добрые друзья, неизменность тихого счастья. Чем и кто это нам заменит. Так вот, позвольте мне искренне поздравить молодую жену, обретшую в эпоху великих потрясений свое истинное счастье, своего избранника и свой очаг...

Осторожно, чтобы не расплескать, он поднес бокал к губам, выпил до дна, обвел смеющимся взглядом всех сидящих за столом и швырнул бокал об пол.

Все молчали.

— Кому еще мадеры? — спросил Пал Палыч.

— Мне! — громко и зло сказал Закс. — Вот сюда! Я тоже хочу сказать тост...

В голосе Закса был вызов, но Капилицын не слышал. Он вообще был не из тех людей, которые слушают других. А сейчас, наклонившись, не спеша, он деловито обглаживал белыми мелкими зубами куриную ногу, мастерски запеченную в курнике.

Закс встал.

— Я, возможно, и не совсем понял речь вот этого товарища, — он вежливо кивнул в сторону Капилицыша, — да, собственно, я и не собираюсь ему возражать. Я тоже желаю счастья Пал Палычу и его жене. В этом я совершенно согласен с предыдущим оратором. Но вот по поводу счастья у домашнего очага в эпоху великих свершений, как выразился здесь товарищ, кушающий курицу, — тут позвольте мне усомниться.

— И мне! — крикнул Щупак. — Правильно, старик!

— Призыв к неизменности тихого счастья, — напряженно и по-прежнему зло говорил Закс, — есть, по существу своему, призыв к мещанскому образу жизни, к мещанскому, скучному и пошлomu счастью. И именно потому, что мы живем в эпоху великих свершений, никто из нас не имеет права ориентироваться на вашего, товарищ, «сверчка». Не работая, жить неинтересно, и не было еще в истории, я утверждаю это, супругов, проживших счастливо без всякого дела... Разве что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.

— А что? — миролюбиво возразил Капилицын. — Неплохо старики прожили свою жизнь...

— Я не собираюсь спорить с вами, — вдруг покраснел Закс, — тут не место этому и не время.

Если вам желательно, поговорим отдельно, хоть там вот — на диванчике. Я только хочу пожелать молодым счастливой жизни и счастливой работы.

— Я и работаю, — чужим голосом сказала Антонина, — в парикмахерской на Большом проспекте.

— Насколько я понимаю, — усмехнулся Капилицын, — ваш тост, товарищ Закс, за счастливую жизнь и за счастливую работу в парикмахерской. Верно?

— Верно, — вызывающе подтвердил Закс, — конечно, верно...

— Ну вот видите, даже «конечно, верно», — тускло улыбнулся жирными от еды губами Капилицын, — а раз верно, да еще «конечно, верно», то нельзя не выпить! Что ж! Ура!

Он поднял бокал и с видимым удовольствием выпил вино.

Пока он пил, Антонина смотрела на него и не слышала, как отворилась дверь и вошли Женя и Сидоров.

Сидоров был в белом свитере, Женя — в простом, свежем платье. Они оба опоздали из-за нее, из-за Жени, так говорила она, стоя перед Антониной.

— Пришлось дежурить в клинике, понимаете? До двенадцати часов. Сидоров, бедный, сидел и дремал внизу, в вестибюле, под часами.

— В какой клинике? — не поняла Антонина.

Женя назвала.

— Ах, боже мой, — вдруг обрадовалась Антонина, — ведь я там рожала. Ах, как давно это было! И сейчас там тоже рожают?

— Тоже, — улынулась Женя.

— Вы же моего сына не видели, — говорила Антонина, — пойдемте, я вам его покажу.

Она взяла Женю за руку и потащила ее в коридор. В коридоре, в темноте они обе разом остановились.

— Я рада, что вы приехали, — сказала Антонина, — у нас весело.

— И я рада. Я только сегодня очень устала, знаете? Как вы живете?

Антонина не ответила. Ей не хотелось говорить, что хорошо.

Федя спал, одеяло с него сползло, рубашка подкатилась к самому горлу.

— Совсем замерз, — сказала Антонина и с усилием вытащила его из кровати, — ну совсем простыл мальчишка.

Улыбаясь, она поцеловала его в лоб, в переносицу, в пушистые ресницы.

— И не сажала его нянька, наверное, их какая, право! — говорила она. — Подождите, я сейчас.

Было слышно, как за ширмой Федя вдруг спросил:

— Умывальников начальник?

— Спи, спи, — тихо говорила Антонина, — спи, деточка.

Потом с сыном на руках она вышла из-за ширмы и села в кресло у камина. Угли еще тлели. Женя подкинула щепок и два полена, подула, дрова вспыхнули и мелко затрещали. В комнате было полутемно и тихо — смех и голоса из комнаты Пал Палыча едва доносились...

— Ну вот, — сказала Антонина, — посмотрите, хороший?

Женя нагнулась над мальчиком, завернутым в одеяло, и, улыбаясь, сказала:

— Очень. На вас похож.

— Правда?

— Правда. Ресницы совсем ваши. И лоб ваш. И нос.

— Нос как раз отцовский, — сказала Антонина, — это вы неверно. Вот рот — мой. — Она дотронулась пальцем до губ мальчика, потом показала свои, накрашенные, четко вырезанные. — Видите, одинаковые? Господи, что ж это я, — вдруг спохватилась Антонина, — ведь вы не ели ничего...

В комнате у Пал Палыча было шумно, накурено и, видимо, весело. Все чему-то смеялись, один толстый Щупак сидел с недовольным лицом. Антонина усадила Женю меж Пал Палычем и Сидоровым, налила ей вина, подвинула закусок и жаркого, выпила сама и под села на диван к Заксу.

— Вы чего убежали?

— Так.

— Так только вороны каркают, — сказала она и засмеялась — ей хотелось выглядеть счастливой. — Ешьте! — крикнула она Жене. — Там жаркое вкусное, с грибами. Ну, чего же вы уединились? — спросила она опять у Закса.

Он молчал.

— Давайте я вас побрею, — вдруг предложила она, — хотите? Вон вы какой небритый. Пойдем в кухню, я вас там отлично побрею. Ведь я мастер, и хороший. А? Ко мне самые капризные клиенты ходят. То есть ходили, сейчас я мало в мужском зале работаю, больше в дамском. Хотите, побрею?

— Нет, спасибо, — улыбаясь, сказал Закс? — я боюсь.

— Почему?

— Вы пьяная.

— Вот уж неправда, — растерянно сказала Антонина, — это уж чистая неправда...

— Впрочем, и это неважно. Важно другое: вы на меня рассердились за мой тост и нарежете меня нарочно. Но ведь прав я, а не он. Ужасно это горько и, знаете, неразумно. Сколько полезных людей тратят свою жизнь только на домашний очаг, на все это липовое счастье, и, взрослея, старея, понимают, что жизнь-то прожита даром.

— Вы — партиец?. — спросила Антонина.

— Нет.

— А Женя?

— Женя — комсомолка.

— А что вы делаете на массиве?

— Я там заведу электричеством.

— И Сидоров над вами начальник?

— В общем, начальник.

— А Щупак ваш сердитый.

— Почему сердитый? Нисколько. Он отличный товарищ и работник очень хороший, куда лучше вашего этого... оратора...

— Почему же он мой? — удивилась Антонина. — Я его первый раз вижу. Вы же слышали, он, кажется, об этом и сам говорил. Мне он, кстати, тоже не нравится... А это правда, — оживившись, спросила она, — правда, что вы с двумя ребятишками живете, и стираете на них, и все делаете?... Правда?

— Правда.

— И вы... довольны?

— В основном доволен. Я думаю, что работа спасает человека от всего. Я бы, наверное, не выдержал, лопнул бы, если бы не массив и не ощущение своей там, извините, полной незаменимости. Знаете, очень ведь еще важно быть незаменимым... Тогда все можно перенести, все легко, все даже как-то само собой делается.

— Да, но стирать, обед варить, очереди, завтраки, уборка. Ведь с одним сколько дела, это ужас, а тут двое, да еще вы мужчина... Вы стирать-то хоть умеете?

— Чего ж там уметь, — сурово улыбнулся Закс, — уметь там нечего. Стираю, и все тут...

— Не «все тут», — рассердилась Антонина, — вот и видно, что не умеете. Погодите, я к вам приду, всему вас научу. Господи, — вдруг испугалась она, — а учиться? Ведь вы же студент, как же... Мне Пал Палыч рассказал, я точно не понимала, а на вас смотрю... Это же вовсе невозможно, чтобы так было — и учиться, и ребята... И денег у вас мало, да?

Закс молчал. Антонина смотрела на него горячими, почти нежными глазами. Он вдруг широко и ясно улыбнулся, закурил папиросу и тихо спросил:

— Что ж мне, по-вашему, их в детский дом отправить? Справлюсь, ничего.

— А я к вам все-таки приду, — погодя сказала она, — обязательно приду.

— Приходите, — опять улыбнулся Закс.

— Вы только не сердитесь, — сказала Антонина, — это, может быть, нехорошо, что я спрашиваю, но я не понимаю: это что, ваши дети?

— Да, мои.

Не торопясь, спокойно он рассказал ей, как от него в прошлом году ушла жена, как он не отдал ей детей.

— Но ведь она же мучается, — перебила Антонина, — ей же тяжело...

— Она искалечила бы их, — сказал Закс. — У нее вот такой муж, — он кивнул головой в сторону Капилицына, — такой же ферт и пошляк, с такими же даже рассуждениями, только еще похлеще, — знаете, «рви цветы, пока цветут», и так далее. А дети существуют, и я хочу, чтобы из них выросли люди.

— Такие же, как Безайс и Матвеев? — тихо спросила Антонина.

— А вы читали эту книгу?

Она кивнула. Он удивился:

— Как же тогда вы можете...

— Ладно, не стоит об этом, — перебила Антонина. — Мало ли что написано в книжках и что случается в жизни! Лучше скажите, вы свою жену и сейчас любите? То есть я хочу сказать — бывшую жену?

Закс ответил едва слышно:

— Не знаю. Наверное, люблю. Да ведь это совершенно все равно.

Они помолчали.

— Где вы живете? — спросила Антонина.

Закс в блокноте написал свой адрес и отдал листок Антонине.

— Странная у вас фамилия, — сказала она, вглядываясь в его крутую подпись, — Закс. Мы с Пал Палычем тоже сегодня в загсе были. Смешно, правда?

— Смешно! — вежливо, но невесело согласился он.

— А теперь яблоко мне дайте, кислого хочется.

Молча он принес ей тарелку с яблоками и опять сел в свой угол. Возле стола по-прежнему смеялись. Пал Палыч завел граммофон и, мягко шагая, подошел к Антонине. Она взяла его за руку и заставила сесть рядом с собой.

— Ну что? — спросил он ласково. — Устала?

— Устала, — покорно ответила она, — очень устала.

Ей вдруг показалось, что она устала от разговора с Заксом, от этих его детей, от спокойного и мягкого выражения его глаз.

Потом ее охватило раздражение: «Подумаешь, — говорила она себе, — подумаешь, радость! Надоело, надоело! Несчастье это, вот что. И воображаю, как он это белье стирает. А, да что тут...»

Она дотронулась ладонью до лба и встала. Голова кружилась.

— Давайте танцевать! — крикнула она. — Кто хочет?

Но никто не захотел. Она прошлась по комнате, выпила еще вина, отворила окно в фонаре и подышала свежим, сырым воздухом. Вдруг ее кто-то обнял. Она обернулась, думая, что это Пал Палыч. Это был Капилицын.

— Красавица, — говорил он, — чудо что такое...

Из комнаты донесся взрыв хохота: Сивчук что-то рассказывал.

— Я в вас влюблен, — сказал Капилицын, — вы чудо.

— И вы чудо, — пьяным голосом сказала она, — верно?

— И я чудо. Вы зачем флиртовали на диване с этим дураком?

— Оставьте меня, — сказала она, — что вы обнимаетесь?... А то закричу.

Он отпустил ее и усмехнулся.

— Ваше место не здесь, — сказал он, — ваше место там.

— Где там?

— Вы ничего не понимаете, — говорил он, близко наклоняясь к ней, — вы пьяны... Да?

— Да, — сказала она и засмеялась.

— Вот слушайте.

Она взглянула на него.

— «Это ты, мой любимый, далекий мой друг, моя радость, голубка моя, — говорил Капилицын. — Ты пришла исцелить мой сердечный недуг, подкрепить и утешить меня...»

— Господи, что вы только бормочете! — сказала Антонина. — Нашли тоже утешительницу...

Он попытался схватить ее за плечо, но она выскользнула.

— Имейте в виду, Тонечка, — сказал ей погодя в коридоре Пал Палыч, — запомните, пожалуйста, что этот Капилицын — мужчина грязный и развратный...

— А мне-то что за дело?

— Уж больно вы с ним нынче рассуждаете и смеетесь...

— Что же, плакать прикажете?

Пожав плечом, она пошла к дивану. Рядом с Заксом теперь сидела Женя.

— Ну что же, так и не будем танцевать? — спросила Антонина. — Никто не хочет танцевать?

— Я не хочу, — тихо сказала Женя.

— Ну, вы-то, конечно, — сказала Антонина, — вы не танцуете, а может быть, другие?

— Я бы с удовольствием! — крикнул из фонаря Капилицын.

— И я, пожалуй, — сказал уже пьяный Мотя Теликов. — Капочка, потанцуем, да?

Танцевали до четырех часов утра. В комнате было душно, тесно, намусорено. Сивчук, Егудкин, Марья Филипповна и Щупак ушли в самом начале танцев. Антонина попрощалась с ними холодно, только спросила: «Уже уходите?» Даже не проводила до двери. Пал Палыч ей сказал об этом, она грубо ответила:

— Пускай убираются к черту, мне все равно. Мне, кроме вас, в конце концов, никого не нужно. Налезли, старые идиоты!

Глаза ее злобно блеснули.

Прощаясь, Женя спросила у нее, за что она сердится.

— Вовсе я не сержусь, просто весело, танцевала... За что же мне сердиться?...

— Ну, если не сердитесь, заходите. Мы переехали на массив...

— Нет, не приду, — вдруг сказала Антонина, — я не хочу к вам приходить.

— Почему?

— Ну, не хочу и не хочу. Вздор! Чепуха! Зачем я к вам буду ходить? Зачем?

Женя покраснела.

— Ну, как знаете, — сказала она.

— Вот так и знаю.

— Пойдем, Женька! — крикнул Сидоров из двери.

Женя неловко кивнула и пошла, но Антонина догнала ее, повернула к себе и поцеловала в губы.

— Какое-то последнее целование, — смеясь, сказала Женя. — То вы злитесь, то целуете, ничего нельзя понять.

Антонина отворила дверь.

— Идите! — велела она. — Теперь идите...

— Вот — гонит. Сумасшедшая, просто сумасшедшая, совсем сумасшедшая...

Вернувшись к себе в комнату, Антонина выпила еще вина, нахмурилась, неумело закурила чью-то недокуренную папиросу и села на разобранную Полиной постель. Не стуча, осторожно, в домашних туфлях вошел Пал Палыч.

— А вы уже и без стука? — кривя накрашенные губы, спросила Антонина. — Муж? Идите-ка, дорогой мой, баиньки, идите, милый. Я вас, может быть, когда-нибудь полюблю, но пока что еще не люблю. Спокойной ночи!

13. Так семья не делается

Она проснулась оттого, что на нее смотрели, и сразу села в постели. Пал Палыч стоял в ногах кровати и, глядя на Антонину, медленно мохнатым полотенцем вытирал руки — палец за пальцем. Он был без пиджака — в подтяжках. Потом он швырнул полотенце, сел к ней, еще сонной и теплой, взял ее горячие сухие ладони в свои и что-то сказал ей такое, как говорил раньше, уже давно, когда вел ее по коридору родильного дома. Она засмеялась — он был мил и дорог ей в эту минуту, — охватила руками его сильную шею и, повиснув всей тяжестью на нем, рухнула спиной на подушки — это была старая, детская еще «штука»: так,

давно-давно, она шалила с отцом. От него и пахло, как от покойного Никодима Петровича, — табачным дымом, сыроватым, вычищенным сукном, чистоплотной и порядочной старостью.

— Мне идти надо, Тонечка, — сказал Пал Палыч, — уже поздно — одиннадцатый час.

— Одиннадцатый час, — повторила она, не открывая глаз и не разжимая рук, — какое мне дело до часа, никуда вы не пойдете!

Он ласково усмехнулся и попытался выпрямиться, но она не пустила его.

— Ну, будет, не шали, — сказал он строго.

— Вы никуда сегодня не пойдете? — спросила она.

— Пойду.

— Вы сердитесь на меня?

Он кашлянул.

— Может быть, лучше не говорить об этом?

— Нет, лучше говорить. Я очень вас уважаю, привыкла к вам, но ведь вы мне как бы...

— Дедушка? — грустно спросил Пал Палыч.

— Не дедушка, — смутилась она, — а близкий человек, но...

— Не надо больше говорить, — попросил он.

— Ну, ладно, — согласилась она, — отвернитесь, я буду одеваться...

Но Пал Палыч не позволил ей вставать и принес чаю в постель, потом раздвинул шторы, надел пиджак и сел на стул у постели. Она, морща нос, пила чай и исподлобья поглядывала на Пал Палыча. Потом спросила:

— А что, если мне не ходить на работу?

— Как? — не понял он.

— Не ходить — и все, — сказала она, — жить на ваши деньги. Я устала. Не пойду сегодня и вообще не буду ходить. Буду дома хозяйничать, а?

— Я бы очень этого хотел, — сказал он серьезно и ласково. — Я был бы просто рад. Эта работа... — добавил он и, не кончив, махнул рукой.

— Что?

— Так... не люблю...

Он поцеловал Антонину в щеку, вышел, вернулся в пальто и сказал:

— А насчет денег ты, Тоня, не беспокойся — проживем.

Она молчала.

В этот день она не пошла на работу, не пошла и на следующий. Теперь она подолгу лежала в постели — ей было приятно лениться, — расчесывала волосы, полировала ногти, смотрелась в зеркало или бесцельно ходила из комнаты в комнату, болтала с Капой, ругалась с нянькой,

играла с Федей и чувствовала, что играет не как следует играть — играла неискренне, думая о другом. Федя понимал это, нервничал, злился, плакал, она бранила его за капризы и вдруг сама плакала. Мальчик обнимал ее, отрывал ее ладони от лица, целовал в глаза — ей казалось, что только он все понимает, — она прижимала его к себе и плакала вместе с ним, доводя его иногда до истерики.

Пал Палыч был к ней внимателен, баловал ее, всячески ей угождал, любовался всем в ней — даже ее злостью, потакал ее капризам, если ей случалось капризничать, и все же она не любила и чем дальше, тем меньше, так ей казалось, уважала его.

Теперь она понимала, чего в нем не было и что было в Сидорове, в Жене, в Заксе, в Семе Щупаке. В Пал Палыче не было жадности к жизни, к делу, к работе. Он жил бессмысленно — только для нее и для Феде, он был счастлив только подле нее и тем самым был жалок ей. «Но чего же мне надо? — думала она, вспоминая Скворцова и свою жизнь с ним. — Ведь вот тоже было плохо, тоже мне не нравилось, — а он не сидел подле меня, он не глядел на меня с восторгом, как этот, он не разглаживал утюгом мои платья, не носил мои туфли в починку, не поил меня чаем по утрам в постели — у него была своя, посторонняя для меня жизнь, свои дела, свои радости и неизвестные мне, свои, тоже неизвестные мне, печали, своя как-никак работа. И мне тоже было плохо... Что же мне нужно?»

Она жила грустно, вяло, распущенно. Ей все было не для чего, все бессмысленно, впустую. Она начала много есть, изобретала какие-то сложные кушанья, острые, жирные — с перцем, с гвоздикой, с лавровым листом, за обедом выпивала рюмку водки, потом спала до вечера, просыпалась потная, разбитая, с болью в спине и подолгу пила чай, потирая распухшее лицо и мелко позевывая — трудно было прийти в себя.

Пал Палыч поглядывал на нее из-под очков с беспокойством и робостью. Ему не нравилось все это: он видел, что вялость и распущенность поселились в Антонине не глубоко, и это страшило его; он видел, что пламя, которое он угадывал по ее глазам, по-прежнему бушует в ней, быть может, с еще большей силой, чем прежде; он видел, что какая-то скрытая и от него, и, по всей вероятности, от нее самой работа происходит в ее душе, боялся этого и молчал, поминутно ожидая катастрофы.

Опять наступила зима.

В первый же зимний, свежий и розовый вечер к ней постучали. Она отворила сонная, в туфлях на босу ногу, в халате, распахнувшемся на груди, и тотчас отпрянула от двери. Вошел Капилицын в легкой, короткой, с большим воротником шубе, в пестром заграничном шарфе, в мягкой серой шляпе с черной лентой. Снимая перчатки и стряхивая со шляпы снег, он что-то говорил ей — покровительственно и весело.

— Раздеваться надо в коридоре, — сухо сказала она.

Он засмеялся и вышел, потом подтащил кресло к печке, в которой лениво тлели уголья, удобно уселся, вытянув ноги и, оглядев Антонину, мягко спросил:

— Довольны?

Она молчала. Капилицын поскреб ногтями сухую щеку, еще поглядел на Антонину и сказал:

— Красивая, бестия!! Ах, какая красивая.

Антонина стояла, привычно скрестив на груди руки, еще сонная, чувствуя, что происходит что-то не то, и не зная, как воспротивиться этому «чему-то».

— Видно, много спите, матушка, — говорил Капилицын и посмеивался, белые, мелкие зубы

его блестяли, — и кушаете много, да? Но в общем довольны? — спрашивал он, быстро и мягко меняя позы в кресле — он грел то одно колено перед угольями, то другое. — Довольны, да? Счастливы?

— А вам какое дело? — грубо спросила она.

Капилицын сделал удивленное лицо, наклонился и посмотрел на нее снизу вверх.

— Чего же вы сердитесь? — спросил он. — Я ведь всерьез и доброжелательно.

— Знаю я вас, доброжелателей, — сказала она, взяла платье, висевшее на спинке стула, и ушла к Феде одеваться.

Когда она вернулась, Капилицын сидел в том же кресле, перекинув ноги через подлокотник, и курил из красивого янтарного мундштука. Уже совсем стемнело. Антонина спустила шторы и села за стол. Капилицын молча на нее смотрел.

— Ну что? — спросил он.

— Скучно, — просто ответила она.

Он подошел к ней сбоку, лениво погладил ее по голове — по пышным, плохо причесанным волосам — и, вздохнув, сказал:

— Мне тоже скучно.

Он прошелся по комнате, потом предложил:

— Давайте любить друг друга.

Ей показалось, что она ослышалась.

— Что? — спросил он смеясь, — напугал? Почему бы нам и не любить друг друга? Почему? У меня скоро отпуск — на целый месяц. Вы что-нибудь скажете Пал Палычу — он отпустит вас. Сядем в вагон, в купе на двоих, и поедем. Далеко, — протяжно сказал он, — далеко-далеко. Отопление будет щелкать, в вагоне тепло, уютно. Вы любите ездить?

— Не знаю, — сказала Антонина, — я мало ездила.

— А я много, я до черта много ездил... Я всю Россию исколесил. Что вы так смотрите? — спросил он. — Чего уставились?

— Я только сейчас поняла, — спокойно ответила она, — что вы мне предлагаете...

— Ну? — спросил он быстро и деловито.

Она не выдержала и улыбнулась.

— Вы — чудак, — сказала она.

Капилицын тоже улыбнулся.

— Ну, не надо, не надо, — сказал он, — но поужинать со мной вы пойдете?

— Пойду.

— Тогда одевайтесь.

Пока она выбирала в шкафу платье, он обнял ее и поцеловал несколько раз в лицо.

— Я вас побью, — сказала она, высвободившись, — ведь это просто противно.

Он привез ее в тот же ресторан, в котором она ужинала несколько лет назад с Аркадием Осиповичем. Теперь тут поубавилось народу и было значительно больше иностранцев, чем тогда. Как только они вошли в зал, ей стало грустно, и она принялась вспоминать обо всем прошедшем с той нежностью и теплотой в душе, которая рождается только тогда, когда думаешь именно о прошедшем.

— Вино будем пить? — спросил Капилицын.

— Ну конечно, — ответила она, думая об Аркадии Осиповиче и о Рае, — конечно, будем, и много...

По-прежнему тут стояли круглые столики — поменьше и побольше, так же светло горели люстры, так же свежо и весело пахло, так же танцевали — точно она была тут вчера, а не много лет назад.

Подошел метрдотель. Ей стало смешно и обидно при мысли о том, что Пал Палыч тоже так подходил и почтительно ждал, пока посетители выберут кушанье, и так же, вероятно, организовывал хлопоты и суету — чтобы тащили маленький столик, чтобы вдруг кто-то куда-то побежал или испуганно и быстро сказал: «Слушаюсь!»

Потом Капилицын ей что-то длинно и весело рассказывал, а она кивала головой, нарочно улыбаясь, и не слушала, думала о своем; под грустную музыку ей приятно было думать о том, что все ее несчастья из-за безнадежной любви к Аркадию Осиповичу, что из-за него так сложилась ее судьба, что если бы он... «Ах, вздор, — вдруг решила она и выпила большую рюмку водки, — вздор, вздор».

Ей сделалось тепло и легко, она с удовольствием слушала и не понимала Капилицына, с удовольствием ела, с удовольствием пила вкусное подогретое вино. Капилицын сказал, что она пьяница, она засмеялась и предложила танцевать. Он удивленно поглядел на нее и согласился. Он танцевал умело, с ним было покойно и весело, иногда потухал свет, и по залу начинал шарить луч прожектора, она смеялась и щурилась, когда луч попадал ей в глаза, или вовсе закрывала глаза и танцевала в красной, веселой тьме, среди шарканья подошв, запаха горячих женских тел и духов.

После каждого танца Капилицын почтительно целовал ее руку и пропускал вперед; ей было весело, просто и легко.

— Вы знаете, — говорил он, — все-таки женщина — это замечательно... Вот ведь за границей мужчина приглашает женщину в ресторан, и ничего ему от женщины не надо — решительно ничего, ему просто приятно ее общество, понимаете, ему приятна ее красота...

Антонина побледнела и откинулась назад в кресле.

— Что вы? — спросил он.

Она не ответила.

По проходу, меж столиков, неторопливо и устало шел Аркадий Осипович.

— Что с вами? — опять спросил Капилицын.

Аркадий Осипович был уже совсем близко. Вот он поравнялся со столиком, за которым она сидела, вот он миновал его. Антонина не выдержала и окликнула. Он оглянулся, морщась, как от головной боли. Она сделала ему знак рукой и замерла, ожидая. Он подошел к ее креслу.

— Не помните? — спросила Антонина.

— Помню, — ответил он спокойно и поцеловал ее руку. Потом улыбнулся. — Помню, как же! Ах, как вы выросли.

Официант ловко подкатил под него кресло, но он не сел и все смотрел на Антонину.

— И похорошели, похорошели, — медленно, любующимся голосом говорил он, — совсем взрослая...

Взглянув на Капилицына, он попросил познакомиться его с ним и, только познакомившись, сел.

— Это ваш муж? — спросил он ласково.

— Нет, — ответила она и слегка покраснела.

Ему принесли ужин, он ел медленно ж неохотно и так же неохотно пил.

— А вы замужем? — вдруг спросил он.

— Да, — сказала она, — у меня уже сын.

Аркадий Осипович смотрел на нее серьезно, без улыбки. Капилицын сидел отвернувшись, курил.

— Да, сколько же времени прошло, — заговорил Аркадий Осипович. — Много! Очень много, очень. Я постарел. И устал, устал... — Он дотронулся ладонью до лба, и жест этот вдруг показался Антонине неестественным. Она отвела глаза, чтобы не видеть, — ей стало почти до слез обидно, — но он наклонился к ней и сказал, что думал о ней часто и подолгу.

— Да? — спросила она.

Он понял, что с ней что-то произошло, и обратился к Капилицыну с пустым и учтивым вопросом. Она слушала их разговор и украдкой поглядывала на Аркадия Осиповича. Он постарел, но не изменился. Он так же курил, так же пил вино, так же барабанил по бокалу. Она спросила, вернулась ли к нему Наташа. Он ответил, что не вернулась, и развел руками.

— А где ваша подруга Рая? — в свою очередь спросил он и добавил: — Видите, как я все помню.

Она поняла, что ему неинтересно знать, где Рая, и что спросил он только для того, чтобы продемонстрировать, как он все помнит, даже имя ее подруги, и не ответила; он не заметил этого и спросил, чем она занимается и как сложилась ее жизнь в смысле профессии.

— В смысле профессии? — усмехнулась она. — В смысле профессии я мужняя жена. Тоже бывает. А где ваш Бройтигам?

— Бройтигам отбыл за границу, пришлось закрывать свою лавочку. Новые времена, новые песни. Вообще-то, прошу прощения, гадина он препорядочная...

— А какие же новые песни?

— То есть как это «какие»? Например, нэп приказывает долго жить...

— Ах, это...

После ужина Аркадий Осипович поднялся и опять поцеловал Антонину руку.

— Вы давно в Ленинграде? — спросила она на прощание.

— Нет, неделю, — ответил он и записал ее адрес. — Это судьба, — говорил он, уже стоя, — правда?

— Не знаю.

Аркадий Осипович поклонился Капилицыну и ушел.

— Кто он? — спросил Капилицын, глядя в спину Аркадия Осиповича. — Я знаю его лицо.

— Это артист, — ответила Антонина, — я думала, что люблю его.

— Вы любите меня, а не его, — сказал Капилицын и налил ей вина.

Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась — с усталым и покорным выражением. Он смотрел на нее долго и жадно.

— Вы мне нравитесь, — сказал он, — я не уступлю вас этому артисту. Понимаете?

— Меня нельзя уступить или не уступить, — ответила она, все так же улыбаясь, — я сама по себе.

— Нет, вас уже переехали.

— Как переехали? — не поняла она, но вдруг поежилась и перестала улыбаться, ей сделалось страшно. — Как переехали? — во второй раз спросила она.

— Это все равно как, — важно, что переехали. Для меня, по крайней мере. Пейте, — почти грубо заключил он, — и пойдем потанцуем.

Она вернулась домой в четвертом часу утра. Пал Палыч не спал — отворил на первый же звонок. Она вошла и, как была — одетая, опустилась на кровать. Стараясь не глядеть на ее растерянное и пьяное лицо, на ее губы с размазанной помадой, он снял боты, шляпу, велел ей встать, снял с нее шубу, раздел и уложил в постель. Ночью ее тошнило. Пал Палыч пытался помочь, она злобно отталкивала его руку. До утра он просидел подле кровати, на стуле, поглаживая усы и прислушиваясь к ее неровному дыханию. Когда же начало светать, он прибрал комнату так, чтобы Антонина не заметила, что было с ней ночью, проветрил как следует, умылся и, оставив ей записку, уехал на массив.

Весь день она пролежала в постели — старалась не открывать глаз, не разговаривать, думала только об одном, как это могло случиться. Ей было жарко в постели — она то сбрасывала с себя одеяло и оставалась под одной простыней, то вдруг ей делалось холодно — она опять укрывалась и все еще дрожала. Пришел Федя, стал что-то рассказывать; она слушала его, лежа на спине, бледная, скованная, стыдно было протянуть руки, взять сына к себе.

— Ты что — больная? — спросил мальчик своим громким, звонким голосом.

Она молчала.

— Ты больная, мама?

— Да, у меня голова болит, — сказала она, отворачиваясь к стене, — поди с няней поиграй.

Федя не уходил — она чувствовала его взгляд.

— Ну ладно, — сказал он наконец, — я уж пойду.

Но все-таки продолжал стоять.

Тогда она быстро повернулась, схватила его пальцами за ляжку от штанишек, привлекла к себе и посадила на кровать. Он тоненько засмеялся — она очень любила этот его залиvistый смех, — обнял ее за шею и спрятал лицо в подушку рядом с ее разгоряченным, сразу раскрасневшимся лицом.

— Ну что? — спрашивала она. — Ну? Как ты там живешь?

Он молча косился на нее одним блестящим черным глазом.

— Ну, покажись же, — говорила она, силой поворачивая его лицом к себе, — ну, покажись! Покажи мордочку. О, да ты грязный, ты весь извозился, — говорила она, смеясь и целуя его то в одну щеку, то в другую, — где это ты так извозился? А? Говори сейчас же.

Федя молчал, глядел на нее с плутовским выражением.

— Говори.

Федя молчал.

— Ну, говори сейчас же!

Она совсем затормошила его, потом, босая, в одной сорочке вскочила с постели, накинула халат и побежала в ванную — мыть мальчика.

— Пойдем гулять, мама, — вдруг предложил он.

— Куда?

— Ну, все равно. И ты мне домино купишь!

Она долго причесывалась и одевалась, а он стоял подле и внимательно следил за каждым ее движением...

— Как ты долго, — сказал он с неудовольствием, — и со мной не разговариваешь. Ну, разговаривай же со мной!

Они вышли, когда уже совсем темнело. Улица была наполнена морозным хрустом, сигналами автомобилей, смехом. Федя крепче сжал ее руку.

В игрушечном магазине она купила домино и маленький телефон. Но телефон Феде не понравился.

Потом они пошли дальше.

— Куда мы идем? — спросил Федя. — Мне скучно так идти. Что мы все идем, идем...

Антонина не ответила.

Ей почему-то захотелось посмотреть на дом, в котором жил Капилицын. Они свернули в переулочек. «Кажется, здесь», — неуверенно подумала она. Федя шел медленно. Ему надоело — он что-то обиженно бормотал. В переулочке не было ни витрин, ни автомобилей, ни извозчиков. Они свернули направо, мимо дома с палисадником. Антонина взяла Федю на руки и пошла быстрее. Он оживился и заговорил звонким голосом. Она не слушала, стараясь отгадать дом издали. Наконец она нашла его — вот к этим воротам они подъехали ночью в автомобиле. Это был большой дом из светлого камня, с гладким, спокойным фасадом и окнами из цельных стекол. «Как это все произошло, — думала она, — как? Да, мы приехали

— это я помню». Она точно помнила, как они остановились возле дома, как Капилицын открыл дверцу огромной, покойной машины и подал ей руку, как сосредоточенно он улыбался; она помнила даже, что перед шофером были небольшие часы и что она сказала шоферу: «До свиданья, товарищ». Потом был какой-то провал, потом они пили душистый чай у Капилицына, и наконец он стал ее обнимать. Его лицо налилось кровью, глаза стали бешеными. В руке у нее была чашка, она взяла и ударила его этой чашкой возле уха. Потом помогала ему умываться, а он говорил, что все это — «хамство» и он к таким шуткам не привык. У нее болела голова, ее тошнило. Ушла она пешком.

Сейчас ей вновь стало очень стыдно, она опять взяла сына на руки, прижала его к себе и быстро пошла домой.

Федя крепко держал ее рукой за шею и смотрел назад, возле уха раздавалось его мерное и деловитое сопение.

— Ты не спишь? — спросила она.

— Ты только не тряси, — сказал он, — вот няня не трясет.

— Ну, тогда иди пешком.

— Не пойду, — сказал он басом.

— Я устала.

Он молчал и сопел.

— У меня теперь калоша там осталась, — сказал он, когда они поднимались по своей лестнице.

— Где там?

— Она там упала, — сказал Федя, — в снег.

— Что же ты молчал?!

Федя вздохнул и пошел вперед по лестнице. Правой калоши на нем не было.

Им отворил Пал Палыч. Антонину поразила его бледность и особое, жадное выражение его глаз. Увидев Федю, он поднял его к потолку, потом посадил на плечо и рысью побежал с ним в комнату. Когда, раздевшись в коридоре, она вошла к себе, Пал Палыч сидел перед Федей на корточках, тер его руки своими ладонями и, улыбаясь дрожащей, жалкой улыбкой, говорил ему какие-то ласковые слова.

— Ну, вот теперь будем обедать, — сказал он, обернувшись к Антонине, — а то я как-то все волновался...

— Почему? — сухо спросила она.

— Не знаю.

Он встал и, поправив очки, близко подошел к ней.

— Я думал, что вы ушли от меня, — сказал он и дотронулся до ее волос, — мне почему-то так показалось.

— Почему же вам так показалось? — спросила она и отвернулась.

— Не знаю, — говорил он, — не знаю, но я вошел в пустую комнату, все не убрано, даже постель не застлана, платья везде валяются, и мне показалось!.. Ну, я же не виноват — мне показалось, что вы, ушли от меня и никогда больше не вернетесь. Я напрасно вам это говорю, — сказал он, — не следует говорить о таких вещах.

Антонина молчала.

Он вдруг усмехнулся.

— Помните, — вдруг сказал он, — вы однажды упрекнули меня в том, что я жесток? Это было, когда я убрал вашу комнату после того, как родился Федя... Помните?

Она кивнула головой.

— Я не был жесток, — сказал он, — но вы жестоки всегда. Неужели так трудно сказать, что вы не уйдете от меня? Вы видите, как мне трудно, как ужасно мне трудно. Вот сейчас, ну, скажите мне... — Он протянул к ней руки. — Ну?

— Что сказать?

— Что вы не уйдете от меня.

— Может быть, сказать вам, что я вас люблю? — Глаза ее блеснули холодно и злобно. — Мы же договорились, Пал Палыч. Чего вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы вы не шлялись по ночам, — сказал он, бледнея и глядя ей в глаза с бешенством, — понятно? Я не желаю... Я... я не требую ничего... ничего. — Он часто дышал, лицо его совсем изменилось. — Вчера вы... я же все понимаю! — крикнул он и, заслышав шаги, повернулся спиной к дверям.

Вошла нянька с суповой миской в руках, поставила суп на стол, позвала Федю и ушла.

Антонина стояла посредине комнаты, сложив на груди руки, беспомощная, белая.

— Я не могу так жить, — наконец сказала она, — слышите, Пал Палыч?

Он вышел из фонаря.

— Чего же вам надо?

— Не знаю.

— А если бы вы любили меня?

— Не знаю, — почти крикнула она, — ничего не знаю!

— Я тоже не знаю, — грубо сказал он, — вы измучили меня.

— Я сама измучилась.

— «Измучилась», — передразнил он, — «измучилась»! Такие вот мученицы кончают знаете чем?

— Чем?

— Панелью, — крикнул он, — и еще... черт знает чем... — Он поправил очки и нарочно засмеялся. — Это смешно, — сказал он, — смешно. Ведь я же стар. Форменный цирк.

Потом он лег на диван лицом вниз и долго молчал. Антонина села за стол, налила себе супу, но есть не стала.

— Давайте разойдемся, — сказала она вяло, — все равно ничего не выйдет.

Он молчал.

Она подошла к нему, села на край дивана и обняла его за плечи.

— Пал Палыч!

Он повернулся к ней мятым, красным лицом и сказал:

— Прости меня, хорошо? Никто не виноват, никто. Что-то происходит, какая-то каша. Ты не виновата, и я не виноват. Да, Тоня?

— Да, — с тоской говорила она.

— Мы будем жить хорошо. — Он взял ее руки в свои, и глаза его под стеклами очков сделались жалкими и просящими. — Летом мы поедем на юг, поживем у моря. Я виноват, разумеется, но ведь я тоже устал. Муж не муж, черт ногу сломит. Ты не сердись на меня, Тоня. Я тебе, не таясь, свой расчет открою: пройдет еще пять лет, десять, я — выживу, я — перенесу, потому что знаю, для чего переносить. Ведь ты постареешь? А? Стукнет тебе, допустим, сорок. И увидишь доподлинно — кто тебя любит, кто, несмотря на весь этот цирк, тебе муж. Федя вырастет, будет школу кончать, потом университет или институт. Я — сгложусь, Я вам обоим нужен, а мне без вас никакой жизни нет...

— Зачем вы все это говорите? — уныло спросила она. — Разве вы не понимаете, что так семья не делается?

14. Совсем другой Володя

Возвращаясь домой с рынка, Антонина на лестнице, на несколько ступенек выше себя, увидела знакомую фигуру. Это был мужчина — высокий, большой, в валенках, в теплом, сильно поношенном пальто, в меховой шапке-ушанке.

— Володя! — наугад окликнула Антонина и замерла, испугавшись, что это вовсе не Володя и что выйдет неловкость.

Мужчина, держась левой рукой за перила, обернулся на окрик Антонины и сразу заулыбался во все свое обветренное, шелушащееся и красное лицо.

— Вот и хорошо, — говорил он, спускаясь ей навстречу, здороваясь и растроганно моргая белыми ресницами, — вот хорошо, вот отлично! Если бы вы знали, как я вас искал, если бы вы только знали! Я вас несколько лет ищу, — говорил Володя, близоруко и весело разглядывая ее свежее от мороза лицо, — везде ищу. Во-первых, у нас у обоих схожие судьбы, так мне порою думалось, а во-вторых, я ведь очень виноват перед вами...

— Почему же виноваты? — улыбалась Антонина. — И нисколько даже не виноваты. А насчет судеб — не знаю, чем они схожи.

От присутствия этого крупного, обветренного и, как ей казалось, чем-то неустроенного человека Антонине стало веселее на сердце, она взяла Володю под руку и повела к себе

наверх.

— Чаю хотите? — спросила она, когда оба они разделись и сели за стол в большой, чистой и тепло натопленной комнате.

— Хочу.

Он немножко обалдело огляделся, сладко зевнул и ласково произнес:

— Живут же люди!

— Это вы про что?

— Про все. У меня ведь нынче, знаете, особая точка зрения — я житель преимущественно палаточный, земляночный...

— Как?

— Очень просто. Вы что-нибудь о Балахне знаете? Ну, про Шатуру слышали, конечно?

— Это... электричество? — робко спросила Антонина.

— Тут... как бы это... сложнее, — добродушно усмехнулся Володя. — И Волховстрой, и Кашира, и Земо-Авчал, и нынче вот Днепр...

Он подозрительно взгляделся в лицо Антонины и отрывисто осведомился:

— Газеты-то вы читаете?

— Я, Володя, замужем, — точно это могло что-то объяснить, сказала Антонина. — У меня уже сын большой. А газеты что ж... Вот как мы с вами на дачу ехали и как Валя вас ужасно ревновала — это я помню...

Антонина быстро собрала на стол, поставила даже графинчик водки для Володи и села.

— Ну? Все рассказывайте, все подробно. Как Валя?

— Не знаю, — сказал Володя, — мать у нее, насколько мне известно, умерла, а Валя служит где-то в отделе учета. Мы теперь совершенно разные. Она из тех, которые говорят: «Эти большевики!», а я...

— А вы сами — большевик?

— Ну, где мне! — сконфуженно заморгал Володя. — Какое! Но я только все иначе понимаю, совсем обратно, чем Валя...

— То есть вы с большевиками?

— А как же! — вдруг крикнул Володя. — Как же можно еще жить? И для чего тогда жить, если против? Вот у вас сын, но и вы работаете, потому что иначе как же? Впрочем, ладно! — утихомирил он сам себя. — Началось-то с комнаты. Понимаете, Тоня, отвык я в своих землянках и палатках от высоких потолков, от электрического света, от чистой скатерти.

— Зачем же вы там живете?

— Зачем? Чтобы у всех были комнаты с высокими потолками, электрический, свет, тепло, хорошие скатерти...

И непонятно спросил:

— Вы думаете, что электрическую лампочку изобрел Томас Альва Эдисон? Нет, врите, гражданочка! Для России ее Ленин изобрел, Владимир Ильич. Вот за это я и выпью рюмку водки...

Выпив, он встал, прошелся по комнате тяжелой походкой, вздохнул и сказал:

— Так-то, Тоня. Зарабатываю я себе право на жизнь, и нелегкое это дело, а вместе с тем чувствую себя человеком.

— Вы ничего не скрыли про своего отца?

— Ничегошеньки.

Еще вздохнув, Володя произнес:

— И все-таки я перед вами виноват.

— Но почему?

— Вот тогда, на даче, я обещал вас устроить на работу. Знаете, я очень часто думал о вас...

— Что же вы думали?

— Не знаю... много. А у вас что сегодня — свободный день?

— Как свободный? — не поняла Антонина.

— Вы сегодня дома?

— Я не понимаю, что вы говорите, — напряженно спросила Антонина, — что дома?

— Но ведь вы работаете?

— Нет, — тихо сказала Антонина. Ей сделалось неловко. Володя на нее внимательно смотрел. — Нет, я не работаю.

Володя недоверчиво и мягко улыбнулся.

— Странно.

— Что странно?

— Вы знаете, я вот начал говорить, что часто о вас думал. И знаете, как я о вас думал?

Он подошел к столу, взял в свои большие руки стакан с чаем, отпил и, поглядев на Антонину, сказал:

— Нет, все такая же.

Ее начинал раздражать Володя: он непонятно приглядывался к ней и обрывал одну за другой фразы, которые начинал произносить.

— Я думал о вас с нежностью, — заговорил он опять, — я думал, что вы уже давно работаете и что глава ваши не просто так блестят. — Володя засмеялся и попросил еще чаю. — Знаете, — сказал он, — у очень многих женщин глаза блестят просто так. Вот в той среде, в которой я родился и рос, культивируется совершенно особая порода женщин. Вам не скучно?

— Нет.

— Ну, очень хорошо. Так, видите ли... Ну, как бы это сказать? Да тут и думать, собственно, не о чем. Дело в том, видите ли, что женщин этой породы воспитывают совершенно удивительно. В них воспитывают внимание, сочувствие, способность восхищаться. Их приучают слушать с широко открытыми, сверкающими глазами. Вот, понимаете, возвращается, допустим, с войны офицер. Приходит в гости в семью, где есть такая девушка, и врет что-нибудь или даже честно рассказывает — это совершенно все равно. Важно, как слушает девушка. А эта девушка слушает чудесно. Вы знаете, иногда и не хочется рассказывать или разговаривать, а непременно будешь — раз уж есть такое существо. Она — отзвук, понимаете?

— Понимаю, — сказала Антонина, — даже очень понимаю.

— Ну вот. И она — муза, такая девушка, и глаза у нее сияют. Да, чудесное существо, все понимает, нервное такое, раскрытое... Ан поглядишь — дура, печальная, жалкая...

— Вы к чему это все? — улыбнувшись, спросила Антонина.

— Так просто, — тоже улыбнулся Володя, — мне бы не хотелось, чтобы вы оказались таким отзвуком. У вас глаза настоящие.

Он поглядел на нее с сожалением.

— А смотреть на меня так — бессмысленно, — строго сказала она. — Каждому свое.

— Неправда! — грустно ответил Володя. — Ерунда! Я много думал об этом. У нас каждый сам может стать сыном своей страны или ее пасынком. Это в его руках. На судьбу тут валить нечего. И вялость никому не прощается...

— Ох, и вы учите!

— Если бы мне все далось легко и просто, — продолжал Володя, — если бы я жил легче, чем вы, или даже так, как вы, то я бы не имел решительно никакого права настаивать на этом разговоре. Но я жил в миллион раз тяжелее, и знаете, я чувствую за собою право разговаривать с любым кандидатом в самоубийцы сверху вниз. Вы думаете, меня не принимали за пролазу и приспособленца? Принимали, потому что большинство таких, как я, — пролазы и приспособленцы. Да, это было очень горько и оскорбительно, но не мог же я нести ответственность за класс, к которому когда-то принадлежал. А работа? Вы думаете, я умел работать? Ничего подобного! Но я хотел, и это спасло меня от последнего позора. Мне было трудно, я не мог заработать на жратву, простите за грубое слово, а родственники, проведая, где я, слали мне переводы и посылки. И я не брал это все, понимаете? И мои ребята знали, что я не беру. Потом я получил письмо от отца, это когда закрыли его заведение. Он признал мое умственное превосходство и в туманных выражениях дал мне понять, что я далеко пойду, если обопрусь на те средства, которые у него есть еще, и на некоторые связи, которыми я могу воспользоваться, чтобы попасть в партию. Представляете? Я ответил безобразно хамским письмом, и меня окончательно прокляли в моей семье. Они считают меня предателем, они думают, что я выбрался в настоящие люди и не желаю помочь им. Да, я выбрался, я бригадир грузчиков, это не так уж мало, если меня до сих пор называют «миллионер». Они — мои ребята — так называют меня. Что ж, я теперь миллионер, миллион пудов я уже перетаскал на своих плечах и знаю вкус хлеба с солью и воды. И стужу я знаю, и буржуйку в землянке вечером, когда по нраву открываешь книжку хороших стихов — книжку, купленную на свои деньги. А, да что! Мне ведь доводилось встречать их — знакомых, друзей моего отца, моей матери. Они, видите ли, не замечали меня: они не подавали мне руку, и я но испытал, к сожалению, счастья — первому не подать руку. Понимаете вы это?

— Понимаю, — тихо сказала Антонина.

— Я был избалован, — все говорил Володя, — я не мог без сладкого, без ванны, без всех этих вещей. Вы знаете, когда я это сделал, мне показалось, что все они, все те люди, к которым я явился, что они тупые, что они, в сущности, ничего не понимают, что они лишены тех тонких, приятных чувств, которых столько было в моей среде, что они грубы, элементарно некультурны... вы понимаете, я же не знал, что я вместе со своим Мюссе никому не нужен и что как раз я и не понимаю ни Мюссе, никого. Я думал, что меня встретят как мученика, что ко мне будет совершенно особое отношение, что ко мне как-то чрезвычайно тонко, что ли, подойдут. А вместо этого меня еще несколько лет разоблачали. Мне не верили, надо мной трунили... Потом меня выкинули из одной артели, в которой я работал. Я помню, как я шел тогда по улице — здоровый такой парень — и не мог удержать слез. Это было отвратительно. Понадобилось еще несколько лет, чтобы все это понять... Ну, скажите теперь, кому все-таки труднее — вам или мне?

— Вам, — сказала Антонина.

— Почему же я вылез, а вы нет? Ведь вы же... ведь вам же проще, чем мне? Ведь вы не дочь фабриканта. Вы не болтались до двадцати лет по отцовской фабрике, не играли во Владимирском клубе целыми ночами, вас родители не мечтали послать за границу учиться коммерческим делам. А? Или мечтали?

Антонина молчала, опустив голову на руки.

— Ну, хорошо, — сказал Володя, — ну, хорошо, хорошо, ну, допустим... (Антонина так и не поняла, что «хорошо» и что «допустим».) Вы были замужем, да?

— Да.

— Неудачно?

— Неудачно, — едва слышно ответила она.

— Но ведь сейчас-то, — сказал Володя, — сейчас-то вы видите, что делается.

— Что, — спросила она, — очереди? Вы про это?

Он печально усмехнулся.

— Удивительная штука. За рубежом, разные там империалисты-капиталисты тоже видят только очереди. Мои родители видят исключительно очереди, их друзья и вы... как они. Почему это случилось? Ужели вам не понятно, что именно сейчас решается грандиозный по величию вопрос — кто кого? Вот строится мощнейший тракторный завод. Россия теперь...

— Получается что-то вроде беседы в красном уголке, — сухо вато перебила Антонина. — И длинно, и не слишком интересно. Положить вам еще котлету?

Володя печально съел еще одну котлету, потом — вермишель, потом сжевал, как яблоко, соленый помидор.

— А вы теперь кто? — чтобы прекратить неприятное молчание, спросила Антонина.

— Я же говорил — бригадир грузчиков.

— И всегда будете грузчиком?

— Зачем же всегда? Буду, например, токарем на большом, сложном станке. Мало ли

прекрасных дел на земле. Да и сейчас я не жалею. Бригада у меня хотя и шумная, но надежная, и немало есть мест на карте, где мы поработали и про которые можем сказать — это и мы строили. Не просто «мы», но и «и мы». Понимаете?

— Ерунда! — отмахнулась Антонина.

— Ерунда?

— Ерунда! — зло повторила она. И так же зло осведомилась: — Почему, скажите на милость, вы мне все это рассказываете? Я вот читала, как раньше проституткам студенты складывались и покупали швейные машины. Для того чтобы вывести такую женщину на светлую дорогу жизни. А потом все равно с этой девушкой кто-нибудь из тех же студентов заводил романчик. Вот что я читала. Так вы что, мне тоже швейную машину собрались купить?...

Она уже кричала, а Володя внимательно смотрел на нее. Потом пожал плечами:

— Зря вы все это. Я лично только думаю, что все люди с сердцем, а не закоренелые мещане и обыватели, должны понимать то, что понял я. А вы... мне казалось... могли бы не просто прокоптить свою жизнь, а прожить ее по-настоящему. Впрочем, дело ваше...

Он угрюмо оделся, долго искал шапку и, кивнув, ушел. «Ну и прекрасно! — с тоской и злобой подумала Антонина. — И великолепно! Обойдемся!»

15. А не поехать ли в Сочи?

Иногда она заходила к нему от скуки. Капилицын сидел либо за огромной чертежной доской, либо за письменным столом. Пахло хорошим табаком, пощелкивал арифмометр, Борис Сергеевич насвистывал. Огромные окна большей частью были плотно завешены — Капилицына раздражал серый зимний свет. На столе среди рулонов чертежей, мелко исписанных листков бумаги, набросков и блокнотов горела лампа, остывала чашка черного кофе, сверкали в хрустальной вазочке драгоценными камнями леденцы — «от курения и перекура», как говаривал хозяин квартиры.

На нем всегда была длинная, мягкая куртка со шнурками, широкие штаны, красные турецкие туфли с загнутыми носами. Громкоговоритель что-то доверительно ему рассказывал. В огромной печи из синего кафеля трещали сухие дрова. Инженер любил свой холостяцкий уют, дорожил им, заботился о нем.

— Почему же вы не на службе? — спрашивала Антонина.

— Там мне, моя пупочка, мешают, — говорил он. — Там, цыпленочек, заседания, согласования, комиссарские штучки и дверьми хлопают. Кроме того, там курят дешевый табак. Сверх этого — директор говорит мне «ты». А я, слава богу, принадлежу к тому слою аристократии ума и знания, с которой «на сегодняшний день», как выражается мой принципал, эти хамы принуждены еще считаться. У меня здесь есть такое, чего у них нет... — И он почти благоговейно дотрагивался до своего действительно красивого лба. — Тут у меня, пупсик мой, знания. И опыт. И языки. Так-то, золотая моя мечта. Можешь сесть на тахту, укрыться пледом и вести себя свободно. Ах, если бы ты была моей любовницей, дуся, вот бы все пошло роскошно...

— Перестаньте...

Работая, он мог петь, свистеть, разговаривать, рассказывать. В его умных, недобрых глазах постоянно мелькала издевка. Когда он говорил, Антонине казалось, что он смеется над ней. Впрочем, так же он разговаривал со всеми по телефону, даже со своим принципалом.

Ей было интересно, что он делает.

— Это — дом? — спрашивала она.

— Дом, в котором будут стоять станки. Цех. Ты слышала такое слово — цех?

— Для тракторного завода?

— Ого, какие мы умненькие! Нет, пупсик, в это дело я не полез, Россия не для тракторов, Россия страна лошадная...

— А мне один человек говорил...

— Ты любишь кофе глясе? — вдруг перебивал он.

Ему было совершенно все равно, о чем она думает. Посвистывая, покуривая, он продолжал работать. Она перелистывала журналы.

— Вы живы там, за моей спиной? — спрашивал он, переходя на «вы».

И предлагал обедать.

Пожилая, добродушная кухарка вкатывала в кабинет столик на колесиках. Пили водку, настоящую на лимонных корках, на тмине, рябиновую, пили легкие кавказские вина. В маленьких никелированных кастрюлях были особенные закуски — запеченные, остро пахнущие. Борис Сергеевич ел мало, мало пил. Обед тянулся долго, было скучно и томительно. Иногда за обедом Капилицын пробирал кухарку.

— Это никуда не годится, — говорил он, растягивая слова, — зачем вы сюда перцу насыпали? Стареее, барыня.

После обеда он расхаживал по комнате или подходил к маленькому кабинетному роялю и, закрыв глаза, что-то играл — медленное, сонное, важное. Антонина глядела на него и не понимала, представляется он или всерьез так живет. А он играл, откинув голову назад, неожиданно подпевая.

Потом подходил к тахте, наклонялся над Антониной и медленно целовал ее в губы своими всегда сухими, твердыми губами.

— Чудо, — говорил он, — просто чудо, до чего красива.

И подолгу смотрел на нее, покрасневшую, прищуренным ласковым взглядом.

— Зачем вы приходите ко мне, — спросил он однажды, — приходите и злитесь?

Она молчала.

— Ведь нельзя же три часа молчать... Вы должны болтать о женских пустяках. Есть же у вас свои пустяки?

— Нет.

— Ну, сшейте себе какое-нибудь замечательное платье. А? Начнете бегать к портнихе, разыскивать пуговицы или пряжки, и сразу заведутся пустяки и хлопоты. Правда?

— Да, может быть, — сказала она.

— Возьмите у меня денег.

— Не надо.

— Ну, я прошу.

Она молчала, уткнувшись в диванную подушку. Борис Сергеевич встал, вынул из ящика деньги и вернулся к ней.

— Подите к черту, — сказала она, — убирайтесь!

— Совсем глупо, — усмехнулся Капилицын.

Она попросила устроить ее на работу.

— На какую?

— На интересную, — сказала она, — я не могу больше так жить.

— Секретарем хотите?

— Все равно. Лишь бы работать.

Капилицын помолчал, подумал.

— В вас будут влюбляться, — сказал он, — вы будете главной. Ваш старик зачахнет от ревности. Летом вы поедете в Сочи. Туда всегда увозят чужих жен. Там есть такая «Ривьера». Вы будете все знать — отели, марки автомобилей, портных, кушанья. Очаровательная непосредственность хороша лет до двадцати. Вам она уже не идет. Уже пресно. Погодите, мы из вас сделаем даму. Что вы молчите?

Она встала с тахты, оделась и ушла.

Он бросился за ней, но в передней раздумал, вернулся в кабинет и лег на тахту. Вечером он позвонил ей:

— Я заеду, хорошо?

— Да. Через час.

Ему отворил дверь Пал Палыч.

— Пойдемте, Борис Сергеевич, — сказал он. — Тоня сейчас оденется. Посидите.

В комнате он спросил, глядя прямо в глаза Капилицыну своими слепыми очками:

— Вы что, в ресторан собрались?

— Точно, в ресторан.

Пал Палыч все еще глядел на него.

— Что вы уставились, — спросил Капилицын, — что я, переменялся, что ли?

— Нет, ничего, — пробормотал Пал Палыч смущенно.

Несколько секунд они молчали.

— Я вас убью — неожиданно, совсем хриплым голосом сказал Пал Палыч, — Я знаю, чего вы домогаетесь, я вас знаю, я всех таких, как вы, насквозь вижу, и я вас убью...

Его лицо сморщилось и покраснело.

— Что? — заинтересованно спросил Капилицын. — Как вы сказали? За то, что я делаю вам честь и развлекаю вашу супругу, вы меня убить собрались?

— Я вас застрелю, — сказал Пал Палыч. — Мне все равно.

Борис Сергеевич усмехнулся:

— Вы — меня? — Он пошел прямо на Пал Палыча. — Вы меня застрелите?

Его лицо изображало презрение, ту последнюю степень презрения и пренебрежения, которая бывает только тогда, когда бранят лакеев.

— Это что еще за новости, — спрашивал, медленно бледнея, Капилицын, — вы что, с ума сошли? — говорил он так же медленно и отдельно, как давеча кухарке. — Вы мне хамские сцены закатываете?... Вы мне должны быть благодарны, а вы...

Но он не кончил. Пал Палыч ударил его кулаком в зубы так, что у него что-то затрещало во всем черепе. Секунду он продержался на ногах, но Пал Палыч ударил его еще раз белым кулаком в переносицу, и он рухнул на пол, воя и обливаясь кровью.

Когда Антонина вбежала в комнату, Пал Палыч бил ногами Капилицына и кричал ему, уже бесчувственному, срывающимся фальцетом:

— Ты мне не барин, я тебе не холуй. Свинья! Свинья! Свинья!

Увидев всю эту безобразную сцену, Антонина не закричала, не бросилась к Пал Палычу, она даже не испугалась, ей только вдруг сделалось противно и жалко их обоих, она взяла Пал Палыча за рукав и с силой дернула книзу.

Он отступил от Капилицына и взглянул на нее все еще бешеными глазами.

— Ты их не знаешь, Тонечка, — сказал он сдавленным голосом, — ты это подлое поколение понять не можешь. А я — знаю... Я все про них знаю...

Антонина наклонилась к Капилицыну, посмотрела ему в лицо, потом взяла его под мышки и попыталась потащить к дивану. Но он был тяжел, грузен...

— Помогите же мне! — крикнула она Пал Палычу. — Вы совсем на своей глупой ревности помешались, кажется...

Пал Палыч торопливо, даже испуганно помог. Капилицын застонал.

— Не любит! — с кривой усмешкой произнес Пал Палыч. — Золотая молодежь была. Холуй я ему, видала?

— Принесите воды!

Он со всех ног бросился выполнять приказание. И, возвращаясь с ковшиком, говорил:

— Не знаете их, а верите. И ты, и власть нынешняя. Ходят, посмеиваются, ни бога, ни черта у них, потребители на многогрешной земле, свистуны, сволочь...

С ненавистью взглянул на Капилицына, добавил:

— Недострелянный вечекистами, вот он кто — Борис-то Сергеевич...

Капилицын неожиданно приоткрыл один опухший глаз, сказал хитреньким голосом:

— Оба мы недострелянные, господин Швырятых.

Пал Палыч отступил на шаг, Капилицын смотрел на него, не отрываясь, своим ненавидящим глазом.

— Наше время вместе истекло, — говорил Борис Сергеевич, немножко еще охая. — Вместе с «Контаном», «Кюба» и «Фелисьеном», вместе с ресторанчиком «Пивато», со Штюрмером и его сынками, с попыткой Юденича это все нам возратить вместе с вашими ста тысячами. А мы до чего дожили? До того, что вы, мой учитель по дамской части, тот самый человек, который для меня по телефону в отдельный кабинет Нинетту на «мерседесе» доставил, вы меня теперь с политическими лозунгами бьете...

— Послушайте! — белыми губами прервал Пал Палыч.

— Нет, уж вы послушайте! «ПЕПО» — Петроградское единое потребительское общество — вот до чего мы дожили, и даже вы там служили, а я проектики делал. До диспута мы дожили под названием «Долго ли можно обходиться без православия». До лозунгов, которые мне по ночам снятся: «Будет транспорт — будет хлеб», «Революция — локомотив истории»... Это вы-то, тот самый, который Шульгину и Гучкову, Рузскому и Алексееву, Фредериксу и самому Гришке Распутину столы серебром и хрусталем сервировал...

Он задохнулся, сел, сплюнул в платок, крикнул:

— Шкраб! Избач! Ликвидатор! Книгоноша! Бибработник! Гум! Пур! Главбум — а мы живы! И вы еще деретесь!

— Перестаньте! — велела Антонина. — Слушать противно...

— Да ну вас всех! — вяло сказал Капилицын. — Теперь как я перед своим принципалом с разбитой харей предстану? Что скажу? Что меня бывший лакей за попытки поухаживать за его супругой обработал?

Охая, Капилицын поднялся. Антонина пошла за ним, Пал Палыч шагах в двух покуривал папиросу.

— Теперь убирайтесь! — сказала Антонина, когда Борис Сергеевич оделся. — Убирайтесь и не смейте больше мне звонить. Гадина!

Дверь захлопнулась.

Часов в одиннадцать Антонина вошла в комнату Пал Палыча.

— Простите меня, — сказала она ему издали. — Простите меня, если можете.

Пал Палыч сидел за столом перед стаканом пустого чая.

— Все это цирк, — сказал он тихо, — правда, Тоня? Я старый человек — и вот, пожалуйста. Форменный цирк.

Он пожал плечами, встал и подошел к ней.

— Что вы в нем нашли, — сказал он, — скажите мне? И зачем вам это?

Она молчала.

Он нежно обнял ее и привлек к себе.

— Все будет хорошо, — сказал он жестким, упрямым голосом, — слышишь, Тоня? Летом мы уедем на юг...

— В Сочи?

— Ну, в, Сочи... Ты непременно хочешь туда?

— Ах, мне все равно, — сказала она, — не все ли мне равно... Пустите меня...

Потом они пили чай.

Пал Палыч достал карту, расстелил ее на столе и долго рассказывал о Крыме и о Южном побережье. Антонина, казалось, внимательно слушала.

Опять она притихла: читала, закрыв ноги клетчатым пледом, примостившись в углу дивана; раскладывала пасьянсы; вышивала; выходила с Федей гулять — сидела с ним в скверике, что на углу Введенской и Большого проспекта; так же у старика букиниста покупала книги — по виду, по обложке, и всегда они ее обманывали, были написаны о другом, чем ей казалось.

Пал Палыч был нежен, заботлив, добр. Хлопотал что-то о даче на лето, о путевках в санаторий для себя и Антонины, о капитальном ремонте квартиры. Долго продавал золотую старинную шкатулочку, наконец продал ее и со счастливым лицом принес домой маленький оранжевый талончик.

— Это, Тоня, две путевки, — сказал он.

Она попыталась оживиться из жалости к нему, но не смогла — только попросила рассказать, где это, что там есть, в этом санатории, как там живут.

Пал Палыч вынул справочник и вслух, почти наизусть, прочитал ей две страницы.

— Вот видишь, — сказал он, кончив, — то, что ты хотела.

Она не помнила, что хотела, но сказала: «Да, отлично» — и, поцеловав его в щеку, ушла к себе, сослалась на нездоровье.

Через несколько минут он тоже пришел к ней, сел возле нее на кровать и вслух стал думать о том, как они поедут. Она слушала, закрыв глаза, молча.

— Десятого мая мы должны выехать, — говорил он, озабоченно сдвигая брови, — трое суток дороги, да мне в Москве задержаться хочется, ты непременно должна Москву поглядеть, хочешь?

— Да.

— В Москве мы денька два пробудем, — говорил Пал Палыч, — все спокойненько посмотрим и дальше. Ладно?

— Ладно.

На следующий день Пал Палыч снял с антресолей в коридоре свои отличные английские чемоданы и отнес их в мастерскую починить: у одного испортился замок, на другом отлетела ручка.

Теперь не было дня, чтобы Пал Палыч не заговаривал о дороге, о море, о юге. То принес цветистой — красной с желтым — материи для сарафанов Антонине и велел сшить, заявив, что на юге без сарафанов просто нельзя; то повел Антонину к знакомому старику сапожнику снять мерку — оказалось, для юга нужны особые, легкие туфли; то записывал, что взять с собой, потом вычеркивал, писал наново. То вдруг охал, что у Антонины нет летнего светлого пальто, и опять принимался бегать, отыскивать нужную материю.

— На курортах знаешь как, — говорил он озабоченно, — там ведь великолепно одеваются. Великолепно! Днем все голые, а вечером такой шик разведут, ого!

Понемногу и Антонину увлекли эти хлопоты. Она тоже начала бегать по магазинам, к портнихе, к сапожнику. Надо же было чем-то заниматься в конце концов.

Утром четвертого мая к ней постучали. Она еще спала. «Это Федя, наверно, шалит», — решила она сквозь сон. Постучали во второй раз.

— Не шали, — крикнула она почти с досадой.

Постучали еще. Она встала в одной сорочке, подошла к двери, приоткрыла. Там стоял кто-то взрослый.

— Вам кого? — спросила Антонина через дверь, сразу испугавшись.

— Мне бы Тоню, — сказал знакомый низкий голос.

У нее забилося сердце от звука этого голоса, но она не смогла сразу вспомнить, у кого был такой голос, и, растерявшись, молча стояла за дверью.

— Ну, открывай, право, не укушу, — сказали за дверью.

— Сейчас, — крикнула она, накинула халат и открыла дверь.

В комнату вошла полная, небольшого роста женщина. Шторы были спущены. Антонина не узнавала, кто это, но чувствовала что-то очень знакомое во всем облике вошедшей.

— Не узнаешь? — спросила та.

— Нет, право, — начала Антонина и не кончила, вдруг крикнула: — Таня, Танечка!..

Они обнялись.

— Вот привелось, — говорила Татьяна, — ведь я тебе писала...

— Что писала? Я ничего не знаю...

— Несколько раз писала... Да открой занавески, дай на тебя посмотреть, — говорила она сердитым голосом, — ну? Что встали, как две дуры...

Она сама подошла к окну и, свернув штору жгутом, забросила ее на шкаф. Комната наполнилась солнечным светом.

— Ленька дома? — спросила Татьяна.

Антонина молчала.

— Разошлась с ним, что ли?

— Он умер, — тихо сказала Антонина, — под грузовик повал.

Татьяна охнула и побелела.

— Музыкант, музыкант, — наконец сказала она, — доигрался. Давно?

— Давно.

Опять помолчали.

Вошел Федя в вязаном костюмчике, с лопатой. Увидев незнакомую женщину, он смутился и хотел было убежать, но Антонина окликнула его. Он подошел к ней.

— Лёнин? — спросила Татьяна.

— Да.

Татьяна подошла к Феде, встала перед ним на колени и всмотрелась в его лицо.

— Ну, чего тебе нужно? — испуганно спросил Федя. — Чего смотришь?

— Не похож, — сказала Татьяна и быстро поцеловала мальчика в рот, — совсем не похож.

Потом она встала с колен, с силой провела ладонями по лицу, встряхнула головой (только сейчас Антонина заметила, что Татьяна подстриглась), прошлась по комнате и отворила окно.

— Ну, теперь говори, — потребовала она, — как у тебя все?

— У меня никак, — сказала Антонина, — живу и живу, а вот ты совсем переменялась.

— Переменялась?

— Да.

— В чем же это? — думая о чем-то другом, спросила Татьяна. — Чем же это я переменялась?

— Подстриглась, во-первых, — говорила Антонина, сама еще не понимая, в чем же, собственно, заключается перемена, происшедшая с Татьяной. — Подстриглась, — повторила она.

— А кроме?

— Одета иначе...

— А еще?

— Говоришь иначе...

— Главное, конечно, что подстриглась, — усмехнулась дворничиха, — верно?

— Ты что, обиделась?

— Нет, почему? Просто смешно стало. Подстриглась я давно — сыпным тифом заболела, вот и остригли меня. Чаем не напоишь? — вдруг спросила она. — Мне пить хочется.

За чаем они больше молчали. Федя тоже пил с ними, сидел на своем высоком стуле, болтал ногами и говорил без умолку. Антонине было приятно, что можно молчать: Татьяна очень

переменилась, с ней трудно было найти общие слова, она все о чем-то думала или порою поглядывала на Федю, и глаза ее выражали тревогу.

— Знаешь что, — вдруг предложила она, — давай за город поедем, на воздух? Хочешь?

Минут через сорок они втроем уже были на вокзале. Федя был одет медвежонком, в мохнатом костюмчике, в шапке с помпоном, в шарфе, повязанном узлом на шее. Он все отваливался назад и вбок, как всегда дети в этом возрасте, его приходилось тащить, и порою Антонина с Татьяной нечаянно поднимали его за руки на воздух. Он лениво пищал; смеясь, они опускали его вниз, и тотчас же он отваливался назад.

Была весна — один из первых настоящих весенних дней. На вокзале пахло свежими досками и паровозом, широко разносились голоса, везде дули сквозняки. За закопченными стеклами дебаркадера сверкало северное бледно-голубое небо. Казалось, что там бесконечно просторно и очень хорошо, а главное — как-то удивительно просто; и что теперь непременно надо разговаривать искренне и ничего нельзя соврать. Антонина сказала об этом. Татьяна радостно и понимающе улыбнулась в ответ.

Купив билеты, они долго шли по новому деревянному перрону к своему поезду. Федя щурился от ветра и солнца и часто останавливался или начинал куда-то упрямо сворачивать.

— Ну что ты, право, — говорила Антонина, — иди по-человечески.

— Я иду по-человечески, — басом отвечал он, — мне надо там посмотреть.

— Что посмотреть?

Он сопел и вздыхал.

— Этот поезд в Петергоф? — спросила Антонина у проводницы, стоявшей в хвосте поезда.

Проводница улыбалась всем своим облупленным веселым лицом.

Они сели в детский вагон, устроили Федю у окна и поглядели друг на друга.

— Ну что, — спросила Татьяна, — поехали?

Поезд вздрогнул и двинулся. Замелькали заборы, столбы, товарные вагоны.

— Но-вый Петер-гоф, — сказала Антонина в лад со стуком колес, — Но-вый Петер-гоф...

Федя взглянул на нее и засмеялся.

— Но-вый Петер-гоф, — повторила Антонина, — по-е-ха-ли, по-е-ха-ли, по-е-ха-ли.

За окнами уже была трава, нежно-зеленая, жалкая, умильная. Татьяна помолчала, потом улыбнулась.

— Я сейчас очень хорошо живу, — сказала она, — знаешь, Тоня, я никогда не думала, что можно так жить.

— Как?

— Да так. На сердце у меня спокойно, большое хозяйство, много хлопот, а поди ж ты — сердце спокойное.

На полу вагона у ног Татьяны прыгали квадратики солнца, в теплом, пахнущем краской

воздухе легко вилась серебристая пыль, стучали колеса, порою с каким-то двойным треском хлопала двери в тамбуре.

— Мне очень было трудно, очень.

— Ну, расскажи, — попросила Антонина.

Она говорила коротко, простыми, спокойными фразами о том, как приехала к себе в деревню, как ей сделалось скучно, до того скучно, что чуть не повесилась, какая тоска в деревне осенними вечерами, когда сжаты поля, низкое небо, холодок и притом решительно некуда деваться.

— Знаешь, — говорила она, — ведь не на посиделки же идти, да ты ведь и не видела посиделок?

— Не видела, — сказала Антонина.

— Ну и хорошо, — с усмешкой продолжала Татьяна, — твое счастье, что посиделок не видела... Это такое... — Она опять усмехнулась. — Это такое...

Она помолчала.

— Ох, как часто думала я о том, чтобы удавиться, — с блеском в глазах сказала она, — знаешь, странно просто, что выдержала. Ну вот — посиделки. А уйти — куда? Спать не хочется, придешь домой, все в одной комнате, и все слышно, — метель, а ночь длинная. Так уж лучше тут сидеть — все хоть песни поют... Я ведь от тоски замуж за своего олуха тогда вышла, от деревенской нашей тоски. Он приехал, знаешь, такой великолепный — из города и «Извините, барышня, позвольте с вами на прогулку». Вот и вышла, дура... Ну, а в городе повертелась, — она взглянула Антонине в глаза, — я ведь Скворцова-то не любила.

— Неправда, — сказала Антонина.

— Правда, не любила. Я только думала, что люблю. Мы ведь все, бабы, в предназначение свое верим, что обязательно должны влюбляться. Влюбилась, повесилась, отравилась. Вот и я тоже. — Она вдруг засмеялась. — Нет, я, конечно, его любила.

— Вот видишь, — сказала Антонина.

— Это я от гордости, ты не верь. Не веришь?

— Не верю.

— И хорошо. А как, по-твоему, я переменилась?

— Совсем переменилась, — убежденно сказала Антонина, — совсем.

— Лучше стала?

— Конечно. Умнее. Говоришь совсем иначе.

— Правда?

— Правда.

— Ну, спасибо тебе.

В Петергофе они сели в автобус и доехали до фонтанов. Воздух был сырым, просвечивающим, звонким. Хлестал ветер. Они остановились над Самсоном у балюстрады и

долго смотрели на светлую воду залива. Был виден Кронштадт, маленькие корабли, одинокий парус. Какие-то люди внизу сваривали автогеном толстые железные трубы.

— Точно на сквозняке стоим, — сказала Татьяна и поежилась.

У Феде глаза сделались сонными.

Потом они сидели на зеленой скамейке в парке, и Татьяна опять рассказывала о своей жизни. Федя дремал. По аллеям кружились на велосипедах девушка и парень, лица у них были горячие и счастливые.

— И вот убежала я от этих посиделок, — говорила Татьяна, — на сахарный завод. Там тоже было очень плохо. Мне агрономша говорила: поедешь на завод, и все сразу будет. А я пошла свеклу таскать. Ничего и не было. В деревню опять возвращаться? Так ведь я землю не люблю, и скучно мне, и не могу я быть довольна, что мне колхоз доверил трех коров — следить. Я больше могу, понимаешь?

— Понимаю, — живо сказала Антонина, — очень понимаю.

— Но я — то не понимала, — продолжала Татьяна, — я сама не понимала одной простой очень вещи. Что больше, чем трех, мне не за что и доверять-то. За красивые глаза, что ли? Почему вдруг доверять? Может, потому, что я всем недовольна? Ходила и шипела, как гадюка. А на заводе и вовсе плохо. Ворочать мешки — это не занятие ведь, да?

— Да.

— Вот то-то что да, а больше я ничего не умела. Вот не умею — и все тут. Пошла однажды, пожаловалась. Он меня на смех.

— Кто он?

— Директор наш. Дурак такой сопатый.

— Ну?

— Ну и опять мешки ворочала. Целый год. А потом пошла к другому парню к одному — Гриша такой — и расплакалась. И директор сказал ему разного такого, что он тут же директора обляял по телефону. Я сижу, плачу. Не могу, говорю, мешки ворочать. И велела ему мне в глаза посмотреть и спрашиваю: неужели мне всю жизнь мешки завязывать? А он у меня спрашивает: может, я с ума сошла?

Татьяна засмеялась.

— Действительно, я как сумасшедшая тогда была.

— Ну?

— Потом поехала на курсы.

— На какие курсы?

— Животноводческие. В город. А город наш маленький, смешной. После Ленинграда даже странно городом назвать. Приехала, пришла в общежитие. Странно, как в больнице. Дали мне койку, одеяло дали, полотенце. Талончики дали по три на день — завтрак, обед, ужин. Повесила я зеркальце на стену, поглядела в окно: водовоз едет. Ох, как я, Тоня, этот день запомнила — на всю жизнь. А день обыкновенный — ничего тогда не было. Стала свой сундучок разбирать — руки дрожат. Потом заплакала. Думаю: а что, если и теперь ничего не

выйдет?

Она на секунду замолкла, и Антонина увидела в ее глазах слезы.

— Разобрала сундучок, посидела на койке. Койка жесткая, подушка соломой набита. И комната наша еще пустая, я первой приехала. Ну, потом пошла по городу, чулки себе купила, помню даже — какие. Пудры купила маленькую коробочку, ниток и папирос пачку — за шестьдесят пять копеек. Эх, думаю, закурю, раз так. Закурила и сразу догадалась, почему женщины, которые работают, курят. Смешно это, но, наверное, правильно: потому что хочется такой быть совершенно самостоятельной, как мужик. Эх, мол, курю! Одним словом, закурила, пошла позавтракала. А завтрак — дрянь, в заводе куда лучше кормили. И потешно: в школьной столовке. Как-то даже неловко. Я здоровая баба, а кругом девочки и мальчики. Когда вернулась в общежитие, наша комната уже почти полная была. И знаешь, Тоня? На десять человек комната — и все такие, как я. Взрослые и немного как бы пришибленные. Одна только — Катя Шилинкова — все смеялась и так разговаривала, будто все ей не нравится. Но потом я поняла — это она от страха и еще от чего-то, от восторга, что ли. Ну, ночью потушили свет, и пошли разговоры. Долго разговаривали — до зари: одна плачет, другая смеется-смеется и тоже заплачет. Как с ума посходили бабы. Врут чего-то, исповедуются, по комнате в одних рубашках бегают. Смех и грех. А уж на самой заре Катька Шилинкова достала из корзинки бутылку водки и предлагает: «Выпьем, девчата».

— Выпили? — улыбась, спросила Антонина.

— Выпили.

— Ах, как я это все понимаю, — улыбаясь счастливой улыбкой, сказала Антонина, — я, Таня, это всем сердцем понимаю...

— «Всем сердцем», — передразнила Татьяна, — а сама...

— Что сама?

— Сама как живешь?

— Я?

— Ты, ты...

В лице Антонины появилось вдруг что-то до того жалкое, что Татьяна на секунду отвернулась. Но тотчас же она вновь взглянула на нее.

— Ты умнее меня и лучше меня была, — сказала она, — помнишь? Тоненькая такая, злая, глазастая. А теперь что? Что с тобой случилось? Я вот, дура, мужичка, дворничиха, чем я была? — Зрочки ее блистали. — Чем? А? А теперь я директор фермы, я книги читаю, в город в театр езжу! Как же ты смеешь, чтобы быть хуже меня? Как ты так жить смеешь? Ты ведь меня моложе... А ты...

— Что я?

— Ничего.

Татьяна опять отвернулась.

— «Всем сердцем», — передразнила она, — «всем сердцем»! Ничего ты не понимаешь этого и понять не можешь. Тебе все готовое: ешь жеваное и не смотреть даже можешь — расскажут. Только как расскажут?

— Я не понимаю.

— Поймешь, — вдруг равнодушно сказала Татьяна и поднялась, — пойдём!

— Куда?

— Пойдем, походим.

Они пообедали в столовке неподалеку от дворца и опять пошли в парк. Стало холоднее — с моря потянуло сыростью. Татьяна таскала сонного Федю на руках. Она повеселела, смягчилась. Антонина до сих пор все не могла спросить, жив ли ее ребенок. Наконец спросила.

— Мертвым родился, — сухо ответила Татьяна и еще раз поцеловала Федю в щеку.

Они ходили молча по дальним аллеям, по прелым прошлогодним листьям до тех пор, пока обе не устали. Тогда поднялись наверх, сели в автобус и поехали на вокзал. В город они приехали поздним вечером. Татьяна ночевала у Антонины.

Утром на следующий день Пал Палыч вынул что-то из бумажника и, ласково улыбаясь, спросил: в какой руке? Это «что-то» он зажал в кулак, а кулак спрятал за спину.

Она ответила, что в правой. Но в правой ничего не было. Смеясь, Пал Палыч разогнул левую ладонь. На ладони лежали какие-то скомканные бумажки. Это были билеты и плацкарты — на юг, в Крым.

— У тебя все готово? — заботливо спросил он. — Надо подорожников напечь.

— Хорошо, — вяло согласилась она.

Ей всю ночь не спалось — она чувствовала себя разбитой, почти больной. День был серенький, с петербургским туманцем, порою шел мелкий дождик. Татьяна уже встала и ушла по делам, — постель на диване была аккуратно сложена.

Антонина оделась и пошла в кухню. На плите кипел чайник. До обеда она просидела в неубранной комнате, нечесаная, лениво думала, раскладывала пасьянс. Потом ее вдруг охватила жажда деятельности. Она принялась стряпать, замесила тесто для пирога, побежала на рынок за курицей, вычистила ее, выпотрошила и поставила в духовую жарить. Пал Палыч застал Антонину оживленной, раскрасневшейся. Черные ее волосы выбились из-под старенькой шелковой косынки; лицо смешно перепачкалось мукой; она была в фартуке и пела, когда он вошел.

— Не рано ли? — спросил он, поглядев на тесто. — Зачерствеет, пожалуй.

Антонина посмотрела на него с недоумением и ничего не ответила. Он побоялся испортить ей настроение и сказал, что ничего, если даже и зачерствеет, здесь съедим, а в дорогу другой испечем. Он пошел в комнату, она осталась в кухне и опять запела:

Когда печаль слезой невольной

Промчится по глазам твоим,

Мне видеть и понять не больно,

Что ты несчастлива с другим...

Пал Палыч вышел на кухню и остановился у двери.

— Что это за песня? — спросил он неприязненно. Он часто слышал как Антонина пела этот тревожный какой-то романс, и не любил его.

— Не знаю, так, — сказала Антонина, — просто-напросто романс...

Он молчал. Она была странной нынче — незнакомой ему, он не знал в ней этого выражения скромности, скрытого и упрямого блеска глаз. Ему хотелось разговорить ее, хотелось, чтобы она взглянула на него.

— Тебе Женя передавала привет, — сказал он.

Антонина промолчала, но в лице ее что-то дрогнуло.

— Она часто спрашивает о тебе, — сказал Пал Палыч, закуривая папироску, — ты ей, видимо, понравилась.

Он подошел к плите, чтобы бросить в огонь спичку, но вдруг заметил, что Антонина смотрит на него.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего.

Она опять запела:

Но если счастье случайно

Блеснет в лучах твоих очей...

Пал Палыч обнял ее и поцеловал в щеку.

— Уходите-ка отсюда, — сказала она почти весело, — тестом перемажу.

Он ушел, невольно улыбаясь, и сел заниматься — щелкать на счетах. Он был счастлив.

Потом они обедали все вместе — Татьяна, Федя, нянька, Пал Палыч и Антонина.

После обеда Антонина с Федей поехала провожать Татьяну на вокзал. Горячий еще пирог и жареную курицу она потихоньку завернула в бумагу и сунула Татьяне в корзину. Пал Палыч остался дома — работать.

На площадке, в трамвае, Антонина спросила у Татьяны:

— Ты меня очень презираешь?

— Вот уж и презираю, — улыбнулась Татьяна.

— Я как-нибудь устроюсь, — дрогнувшими губами сказала Антонина, — я непременно устроюсь... а?

— Не знаю.

— Не веришь?

— Да ведь ты уже устроилась. Это хуже всего.

— Нет, в другом смысле, в ином совсем...

— В каком ином?

Антонина молчала. Она была в тонком весеннем пальто, в белом вязаном шарфике на шее, простоволосая, гладко причесанная.

— Ты сейчас на ту похожа, на прежнюю, — сказала Татьяна, — помнишь, как ты меня уже раз провожала на вокзал?

— Да, помню.

— На извозчике мы ехали.

— Да.

— Мама, купи мне бронированный поезд, — вдруг сказал Федя, — мне очень нужно.

На вокзале Татьяна и Антонина поцеловались, как при встрече, и обе немножко всплакнули.

— Мама, мне же надо поезд, — все говорил Федя, — слышишь?

Мимо бежали люди из тех, которым всегда кажется, что если на вокзале не побежишь, то непременно опоздаешь.

— Ну, до свиданья, — говорила Антонина, — приезжай еще. Хорошо?

— Хорошо. А может быть, ко мне поедем? Вот сейчас? Совсем? Билет легко можно купить. Слышишь, Тоня?

— К тебе?

— Ко мне, ко мне...

Антонина вздохнула и улыбнулась.

— Нет, не поеду.

— Да почему же?

— Так. Давай еще поцелуемся.

Они поцеловались еще. Потом Татьяна подняла Федю на воздух и поцеловала его в нос. Он засмеялся.

— Поедем, — говорила Татьяна, — а, Тонечка? Я тебе его покажу.

— Кого?

— Есть у меня один, — она ласково засмеялась и подбросила Федю в воздух, — один такой... нос пуговицей, голова набекрень... Верно?

— Верно, — сказал Федя, — набекрень.

— Поедем?

— Поедем, — сказал Федя, — я хочу.

— Вот видишь, — крикнула Татьяна, все еще смеясь, — видишь?

Ударил второй звонок. Татьяна поставила Федю на перрон и серьезно сказала:

— Если надумаешь, приезжай.

— Я уже надумала, — улыбнулась Антонина, — не приеду.

Поезд ушел в одиннадцать часов двадцать минут. Перрон быстро опустел. Федя едва тащился, все обгоняли Антонину. Когда она вышла на площадь, было ровно половина двенадцатого. На площади она взяла сына на руки и сказала ему шепотом:

— Теперь мы домой не пойдем.

— А куда? — спросил он.

— К тете Жене. Ты ее не знаешь?

— Не знаю, — сказал Федя, — я хочу кушать.

— Потерпи.

— Я не могу больше терпеть, — сказал Федя, — я хочу хлеба с маслом. И зайца.

— Какого зайца?

— Моего зайца.

Всю дорогу они разговаривали. Антонина была очень бледна и дрожала.

— Мой заяц большой, — говорил Федя, — давай ему костюм сошьем. Да?

— Да.

— И штаны сошьем, и шинель.

— И шинель.

— И колпак сошьем.

Она вдруг прижала его к груди и поцеловала сухими губами в свежий ротик.

— Как мы теперь жить будем, — шепотом спросила она, — тебе не страшно, Федя?

— Где мой заяц? — спросил Федя вместо ответа.

— Дома.

— Ты мне его дашь?

— Завтра.

— Почему?

— Потому что мы едем к тете Жене.

— Не хочу к тете Жене, — сказал Федя, — мне заяц нужен. Я домой хочу.

Он готовился плакать.

— Не мучь меня, — сказала Антонина, — не мучь, милый.

Она опять поцеловала его в рот и в мохнатую шапочку, пахнущую холодным весенним ветром. Он затих ненадолго и будто бы даже задремал, но потом вскинулся и вновь закричал про зайца.

Когда они пересаживались в другой трамвай, Антонина взглянула на небо. Небо сделалось чистым, черным, в мелких звездах. Пахло водой, сыростью. Где-то играла музыка — звуки казались влажными. Антонина крепче прижала к себе Федю. Трамвай долго не шел. Федя сопел носом и вздыхал.

— Я еще не сплю, — сказал он тихо, — слышишь, мам?

— Слышу, деточка.

— Но теперь я уже буду спать.

Действительно, когда она села наконец в другой трамвай, Федя уже спал.

На трамвайной петле возле Нерыдаевки ничего не изменилось с той ночи наводнения. Только по-весеннему горько и сильно пахло березою, березовыми почками, клейкостью.

Антонина шла быстро, ноги ее мерно и четко стучали по дощатому тротуару. У ворот массива на лавочке сидели Егудкин и Сивчук. Сивчук курил трубку. Она сразу их узнала, несмотря на темноту, и спросила, где живет Сидоров.

Сивчук вызвался ее проводить и по дороге спросил, не случилось ли чего с Пал Палычем.

— Нет, — сказала она как можно развязнее, — почему вы думаете? Да и что может с ним случиться?

Сивчук засопел трубкой и покашлял.

— Не спят еще они? — спросила Антонина. — Какие у них окна?

— Не спят, — сказал Сивчук, — самого-то Иван Николаевича дома еще нет, я его дожидаюсь по делу.

Он предложил понести Федю по лестнице, но Антонина отказалась.

— Ну, тогда здоровья желаем, — сказал Сивчук, — вон по этой лестнице до самого до верха. Квартира сто двадцать один. Налево будет.

Козырнул и исчез.

Антонина позвонила.

Она сразу узнала Женю, несмотря на то что Женя очень изменилась. Но Женя не узнавала ее — на лестнице было темно.

— Кто это? — щурясь и пальцами поправляя рыжеватые свои волосы, спрашивала она. — Кто?

Антонина вошла.

Еще секунду Женя пристально на нее глядела, потом глаза ее гордо и весело блеснули, она протянула к ней обе руки и низким, грудным голосом сказала:

— Я знала, что вы придете. Давайте сюда мальчишку и раздевайтесь.

Она взяла спящего Федю из рук Антонины и ушла с ним в комнату. Антонина сняла пальто, поправила волосы и, старательно улыбаясь, вошла в столовую.

На столе стоял чайник, варенье в вазочке, хлеб в корзинке. Комната была еще не обжита, еще пахло сыростью и известкой. Федя лежал на диване. Женя умело и ловко раздевала его.

— Сейчас будем чай пить, — говорила она, — а Федю ко мне отнесем, на кровать. Ну-ка, давайте...

Когда, уложив Федю, она вернулась в столовую, Женя посадила Антонину против себя, налила ей чаю и, глядя в упор своими умными глазами, спросила:

— Разошлись? Совсем?

— Нет, — все так же нарочно улыбаясь, сказала Антонина, — я просто убежала.

— Не сказали?

— Нет.

— Позвоните по телефону.

— Сейчас? — покорно спросила Антонина.

— Сейчас. Пойдемте сюда.

Они встали и пошли в комнату Сидорова.

— Вот телефон, — сказала Женя.

Антонина стояла, опустив руки.

— Ну?

Тень пробежала по лицу Жени.

Антонина взяла трубку и назвала номер. Она была бледна.

— Пал Палыч? — спросила она.

Женя слушала с решительным и жестким выражением лица.

— Пал Палыч, — сказала Антонина, — это я. Узнали? — Голос у нее был глуховат, но спокоен, ресницы вздрагивали. Она говорила не тихо, не громко, внятно, даже строго. Сказав все, повесила трубку.

— Теперь кончено! — произнесла она.

— Нет, не кончено! — покойно и мягко возразила Женя. — Ничего еще не кончено, только, пожалуй, чуть-чуть начато. Пока что вы только ушли, но никуда еще не пришли.

В столовой они рядом сели на твердый, неудобный диван.

— Я обменяю свою комнату, — заговорила быстро и сбивчиво Антонина, — конечно, я не

буду вам в тягость, я понимаю, что никуда еще не пришла...

— Я не в том смысле, — перебила Женя. — Вы не поняли меня. Впрочем, дело не в этом. Пока вы будете жить у нас, а там — посмотрим...

И взглянула на Антонину. Та сидела, вся подавшись вперед, глядя в темное окно неподвижными, расширенными зрачками...

16. Не дожدهшься ты здесь теплоты!

Ночью ей не спалось. Комната была другая, все в ней выглядело странно, постель пахла чужим, от стен несло известкой, и какие-то шумы нового, еще не обжитого дома заставляли ее прислушиваться: вода из крана лилась не ровной струей, а фырча и постреливая. Щелкали, высыхаясь, полы. Таинственно гремело в радиаторах, — наверное, испытывали паровое отопление.

Антонина встала, нагнулась над Федей. Мальчик спал спокойно.

Она открыла форточку и подышала свежим, холодным воздухом: там, неподалеку, уже насадили парк, молоденький, весь мокрый от прошедшего только что дождя. Дальше, за парком, блестел асфальт. Было свежо и от света луны так прозрачно, что Антонина видела даже рейки, из которых были сделаны садовые скамьи.

«Ленинград?» — спросила она себя. Да, но какой-то другой, неведомый, не то что Песочная на Петроградской, или разграфленные Роты, или старый, серый Васильевский с палисадниками, или Невский, на котором до сих пор прогуливаются скучающие молодые люди...

Это был Ленинград, но не тот, в котором она родилась, выросла, вышла замуж, родила сына. Наверное, здесь никто не шнырял по госфондовским комиссионным магазинам в поисках какой-либо вещицы из «личного» имущества царя Николая Второго. Здесь и кофеен наверняка нет, таких, как были на Невском, где в годы нэпа князь с княгинями сами подавали кофе в старинных чашках. Про этот парк из молоденьких деревьев, пожалуй, сам Пал Палыч ничего не знает...

В комнату вошла Женя.

— Не спите?

— Нет, — обрадованно сказала Антонина. — Какой тут сон!

— Ну и отлично. Поболтаем. Сидорова моего все нет. Во Дворце культуры на заседании.

— В каком дворце?

Женя села на кровать с ногами, крепче закуталась в халат, закурила папиросу. Ее лицо, обрамленное вьющимися волосами, казалось бледным, грустным и удивительно нежным при свете луны.

— В каком дворце? А вы разве не бывали в нашем Дворце культуры?

Антонина ответила, что не бывала. В Александрийском бывала, в оперном тоже, еще в том, что на Фонтанке...

Женя усмехнулась.

— Это совсем не то, принципиально не то. Понимаете, это не клуб, это гораздо больше и значительнее, чем клуб. Сюда самые лучшие театры приезжают, и не запросто, а торжественно, потому что это новое дело, огромное, значительное и настоящее. Вам выставку тамошнюю нужно посмотреть — то, каким путем все это досталось: штыки заржавленные, дурандовый хлеб, большевистские листовки, ленты красногвардейские, железные, прогоревшие печурки. А мебель во дворце мягкая, тепло, светло, библиотека огромная. В общем, мы, массив наш, тоже по этой дорожке идем...

Она помолчала, закутавшись в платок, думая о чем-то своем, потом спросила:

— Явится за вами ваш Пал Палыч?

— Он непременно придет.

— И вам очень будет трудно. Да?

— Да.

— А вы не вернетесь назад?

— Нет, разумеется.

Она сказала это неуверенно и осторожно взглянула на Женю: что скажет Женя? Но Женя спокойно курила.

— Ничего, повоюем, — вдруг сказала она, и Антонине показалось, что Женя улыбается. — Правда, повоюем?

— Правда.

— А что вы дальше думаете делать?

Антонина сказала, что хотела бы учиться, — это ее давняя мечта. Или работать, но что-нибудь интересное, во всяком случае не парикмахером. Женя слушала ее не очень внимательно, глядела в сторону. Потом вскочила и убежала. Антонина ничего не поняла и испугалась, но Женя очень скоро пришла. Теперь она шла медленно.

— Я не могу больше, — пожаловалась она капризным голосом, — этак умереть можно.

Она опять села на постель.

— Что с вами?

Было видно, что Женя улыбается.

— Я беременна.

Она встряхнула головой, поправила ладонью кудри и засмеялась своим заразительным, милым смехом.

— Мне все время рыбы снятся. Это так глупо. Такие — плывут, плывут, плывут. И вы знаете, я до того тихо живу. Все бы сидела или бы спала. У печки, да?

— Да, да, у меня тоже так было.

— И рыбы снились?

— Нет, не рыбы. Мне дрова снились.

— Как дрова?

— Ну, просто дрова. Лежат дрова, замерзшие, березовые... Кора, знаете, так приотстала. А внизу лед, и дрова примерзли. Будто я отдираю, отдираю. Или вязанки. И все. Каждый день.

— Это тоже бессмысленно, — сказала Женя. — А тошнило вас?

— Еще как!

— Вот меня все время тошнит. Ужас!

Она опять засмеялась.

— Я вам очень завидую, что у вас уже сын большой, очень. Как бы хорошо, вдруг взялся бы сын сам по себе. Да?

— Не знаю, не знаю. Рожать, знаете, очень трудно, но очень хорошо. Я бы непременно еще родила. Это такое чувство, когда в первый раз он грудь возьмет, такое... Это даже нельзя объяснить. Вы ведь доктор, вы сами понимаете.

— Ах, какой я доктор! — с раздражением сказала Женя. — Вот когда я на практике была в родилке, тогда все очень просто было. Я все понимала, все мне казалось ясным... А сейчас все перепуталось — часами стою перед зеркалом и рассматриваю, как дура, живот. И так страшно! Оно там само по себе. Растет-растет, да? И вдруг рожать?

Женя схватила Антонину за руку.

— Очень больно?

— Ну, какие пустяки — это легче, чем зуб вырвать. — Ей казалось, что она говорит чистую правду. — Я даже не помню, как рожала...

— У меня все очень хорошо, — заторопилась Женя, — уж это-то я знаю, у меня все нормально. Молоко, вероятно, будет...

— Так чего же вы?

— Не знаю. Ночью очень страшно бывает. Вдруг оно там ударит, — Женя сделала круглые глаза, — запрыгает, завертится...

— Ну уж и завертится, — улыбнулась Антонина. Ей доставляло огромное удовольствие так снисходительно, немножко сверху вниз разговаривать с Женей.

— Конечно, завертится, — сказала Женя. Она опять сделала круглые глаза и, близко наклонившись к Антонине, почти прошептала: — Знаете, Тоня, у меня иногда бывает такое чувство, точно оно оттуда сейчас скажет что-нибудь тоненьким таким голоском... вроде «мама!» Или «давай-давай!» Или «тили-бом-бом». Ох, это так страшно. И потом, какое оно? Да, да, я знаю, учила — головастый эмбрион, но ведь какое-то там лицо у него есть? Уши? Рот? Вдруг оно родится лопухое? И какое оно будет, какое? Рыжее? Черное? Девочка? Мальчик?

— Да ну вас! — сказала Антонина. — Вы какая-то сумасшедшая.

— Ничего я не сумасшедшая, я просто вам все честно говорю. Не Сидорову же мне говорить. Он как дубина. Усмехнется, и все. А мне страшно... Я теперь всех баб понимаю, которых раньше в клинике презирала. Знаете, ходят такие — живот, ноги, очень важные, а глаза

испуганные. Совсем понимаю, совсем...

В передней щелкнул замок и зажегся свет. Было слышно, как кто-то, покашливая, вытирает ноги и раздевается.

— Ваня! — позвала Женя.

У Антонины забилося сердце. Она представила себе, как сейчас войдет Сидоров и начнутся расспросы.

Он вошел, расчесывая гребенкой волосы, усталый, чем-то недовольный. Оглядел комнату и улыбнулся.

— Население моей империи — люди, птицы, сороконожки...

— Это кто сороконожки?

— Вы все. Я очень есть хочу, Женя.

— И я хочу, — сказала Женя, — вы не хотите, Тоня?

— Хочу.

Ей опять сделалось легко и просто. Она оделась и вышла в столовую. Сидоров с папироской в зубах читал газету. Женя резала над сковородкой вареную картошку.

— Ну? — спросил Сидоров, ни к кому не обращаясь.

Антонина села к столу и, робко взглянув на Сидорова, разгладила ладонями скатерть, — так она дельвала в детстве, ожидая неприятного. Ей было страшно, что Сидоров сейчас с п р о с и т, и он действительно с п р о с и л с грубоватой и настойчивой прямою.

— Да, — сказала она, — ушла.

Он недоверчиво на нее смотрел.

— Назад воротишься, — сказал он, привычно избегая «ты» или «вы», как всякий человек, не любящий разговоров на «вы».

— Нет.

— Вот уж и нет, — все так же грубовато и, пожалуй, пренебрежительно сказал он.

— Нет, — повторила Антонина.

— Как же не воротишься? — усмехнулся Сидоров, или ей только показалось, что он усмехнулся. — Разве можно не воротиться? Там пригреют, поплачут, там с теплотой отнесутся.

Он особенно выделил слово «теплота» и помолчал, пристально разглядывая белое лицо Антонины.

— А? Вы ведь все, девушки, теплоту любите...

Антонина не глядела на Сидорова, но внезапно почувствовала, что Женя делает ему какие-то знаки. Он сказал:

— А ну тебя! Не обязан я говорить только то, что всем нравится и всех устраивает. Не обязан

я разводить теплоту, чуткость и прочие штуки, если не верю в необходимость оных на данном этапе. Ежели человек решил и ежели он действительно ч е л о в е к, то никакие дамы, вроде Чарской, Клавдии Лукашевич и прочих, такому человеку не нужны. А я боюсь, что Антонина, если не ошибаюсь, Никодимовна ничего еще толком не решила, а только лишь под влиянием п о р ы в а к нам бросилась. Но жизнь не состоит лишь из цветов и огней, и жизнь у нас здесь, на массиве, тоже не пирожное с сахарином, тем более если товарищ почтет долгом своим работать, трудиться, обрести место в быстротекущих днях. Так вот в процессе обретения места жизнь может прижать, а тогда эти экземпляры сразу норовят лапки кверху и — стрекача в кусты. «К роду отцов своих, которые никогда не увидят света». — Он неприязненно усмехнулся и повторил: — К роду отцов своих. И главное, противно то, что они страшно любят, чтобы с ними цацкались. Ведь вот сейчас она стоит вся красная от злости, глаза так и сверкают, и вовсе не оттого, что говорю я обидную правду, а только оттого, что меня ненавидит, а себя жалеет и клянется: «Уйду, уйду, уйду!» Ну куда ты уйдешь? — обратился он к ней. — Куда?

— Куда?

— Да, куда?

— Никуда не уйду! — со злым спокойствием в голосе ответила она. — Пока комнату не обменяю, никуда не уйду. А если вам жалко, что я несколько раз тут переночую, то не беспокойтесь, не пропаду.

Он даже растерялся.

— Ну и дура! — покачав головой, сказал он. — Просто дура!

Женя поставила на стол сковородку с шипящим картофелем. Женино лицо было спокойно, точно здесь ничего и не происходило. Она резала хлеб — нож противно запищал в черствой корке. Сидоров все смотрел на Антонину.

— Да, брат! — вздохнул он.

Потом, пережевывая круто посоленный картофель, он говорил опять, ни к кому не обращаясь:

— Общежитий для разведенных жен еще пока что нет и, вероятно, не скоро будут. Сама понимаешь, здесь тоже не общежитие — здесь частная квартира, наша. Поняла? Женька может плести, сколько ей вздумается и что вздумается, но у меня свое мнение. Организовывай, брат, свою жизнь поскорее. Понятно? Становись на работу, не медли, не раздумывай. А то ваши повадки — первый месяц на первые душевные переживания, второй — на то, что из первых вырастет, и пошло — на год. А там, смотришь, еще подвернется муж. И тоже разговорчики: пока что поживи со мной, а уж после, оказывая друг другу товарищескую помощь, рука об руку, выйдем вместе на светлую дорогу жизни. Будем учиться, работать, бороться. — Он, видимо, кого-то передразнил и, вероятно, похоже, потому что Женя, сидевшая до сих пор со строгим лицом, приснула и отвернулась. — Ведь верно же, — сказал он, — ведь это же факт. Или ты не согласна?

— Не знаю, — сказала Антонина с вызовом, — не думала об этом.

— А вот я думал и видел, — продолжал он, — и видел много всякого. Пришлось. И терпеть не могу эти ваши штучки.

Он махнул рукой и поднялся, загремев стулом.

— Имей в виду, — сказал он из двери, — я к тебе с теплотой относиться не буду. Пусть

Женька с теплотой, а я приживалок не терплю...

— Ваня! — крикнула Женя.

— Не терплю, — повторил он — понятно?

Антонина поднялась. Секунду она молчала, волнение мешало ей говорить. Потом она взглянула на Сидорова: он стоял, склонив голову набок, и улыбался широкой, веселой и какой-то ожидающей улыбкой.

— Ну? — сказал он.

Она молчала — растерянная, злая.

— Держу пари, — сказал он, — что знаю, о чем вы без меня стрекотали. Про ребенка, да? Как он там в животе? Как рожать? Да?

Он зажег спичку, закурил и ушел.

Утром, открыв незапертую дверь ванной, Антонина застала там Сидорова. Белая мыльная пена хлопьями скатывалась с его плеч в фаянсовый умывальник. Он фыркал и приплясывал от холода.

— Ну, куда ломитесь? — грубо сказал он. — Видишь, моюсь?

— Надо закрываться.

— Я в своей квартире.

Она захлопнула дверь, а он запел там во все горло:

— Я шан-со-нетка

И тем горжусь...

Она поняла, что он нарочно дразнит ее, и решила не сдаваться. За чаем он читал газеты. Потом надел шлем, перчатки с раструбом и ушел. Через несколько минут под окнами заворчал мотоцикл.

Женя, улыбаясь, смотрела на Антонину.

— Зачем это он? — спросила Антонина. — Ведь я не дура, понимаю такие штуки. Вдруг говорит мне: моим полотенцем не вытирайтесь. Зачем?

— А вы обиделись?

— Вчера — да.

— А сегодня?

— Не знаю, — сказала Антонина, — не понимаю: ему действительно неприятно, что я у вас?

— Вряд ли. Но, понимаете ли, сидит в нем эта военная косточка. Он очень армию любит,

уважает скупые чувства. Шумиха для него непереносима, болтовня, спектакли в жизни. Нелегкий он в таких делах. Но вы, пожалуйста, не огорчайтесь...

Через полчаса Антонина осталась в квартире только с Федей. Она хотела немного подождать, а потом поехать к себе на Петроградскую за необходимыми вещами и за документами. Ехать сейчас было страшновато. Пал Палыч мог еще не уйти из дому. Федя сначала бегал по комнатам, но быстро соскучился, завял и потребовал зайца, плиту и грузовик.

— Сейчас поедem, — сказала Антонина.

— Мне заяц нужен.

— Зачем?

— Нужен.

Она взяла сына за руку и пошла с ним в комнату Сидорова — ей было интересно, как живет этот человек. Комната была в одно большое окно, белая, вся в книжных полках. На столе лежало стекло — зеркальное, с отшлифованными краями. На подоконнике валялись слесарные инструменты и лежало старое седло от мотоцикла. Федя немедленно потребовал седло.

— Теперь ты его держи, — сказал он, — а я буду на нем ехать. Только ты держи крепко, а то я свалюсь. Ну-ка!

Она взяла стержень от седла в руки, и лицо ее приняло то покорное и спокойное выражение, которое бывает только у матерей, играющих с детьми. Федя кряхтя влез на седло, уцепился пальцами за переборку книжной полки и велел Антонине встряхивать.

— И трещи, — добавил он, — тогда уже мне не надо зайца. Ну-ка!

Он подпрыгнул на седле так, что оно чуть не вырвалось из рук Антонины, и отчаянно заверещал, изображая гудок.

— Мама! — вдруг решил он. — Мы это возьмем домой, да? Ты плохо умеешь встряхивать, а он будет встряхивать хорошо, да? Он это будет держать всегда и будет бегать с этим, да? Ты можешь бегать?

— Нет, ты очень тяжелый.

— Но я маленький, — умильно сказал Федя, — мама!

Она попыталась побежать, но стержень резал руки, и она чуть не уронила Федю вместе с седлом.

— Вот видишь, — разочарованно протянул Федя, — а он бы сейчас меня до потолка поднял... Пойдем домой!

... Ключ был у нее в кармане со вчерашнего вечера. Она открыла дверь и с бьющимся сердцем вошла в кухню. Кухня была пуста. Она медленно прошла к себе и, чувствуя робость перед заплаканной нянькой, которая сейчас же стала раздевать Федю, спросила, где Пал Палыч.

— Известно где, на работе.

— Вы Федю не раздевайте, — сказала Антонина, — мы сейчас опять уйдем.

— Полно вам!

Антонина молча рылась в шкафу. Руки не очень ее слушались, как нарочно, попадались не те вещи, которые были нужны. Она чувствовала, что нянька стоит сзади и смотрит на нее с осуждением, даже со злостью.

— Мама, мне жарко, — громко сказал Федя.

Он стоял возле двери, широко держа руки и подняв кверху розовое, сердитое личико.

— О господи! — вздохнула нянька.

Антонина принесла корзинку, открыла крышку и принялась складывать белье. Федя заплакал.

— Мне жарко, — капризно говорил он, — ну, разденьте же меня. Что это такое... Няня!

— Мама не велит, — сказала нянька и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Федя плакал все громче и громче. Его, конечно, можно и нужно было раздеть, но Антонина не делала этого из какого-то упрямства. Ей казалось, что если Федю раздеть, то уже будет не уйти. Он топал ногами и кричал так, что звенело в ушах, — она не оборачивалась. Тогда он выбежал в коридор и побежал на кухню, туда, где плакала нянька. Она обняла его, посадила на стул и, плача, стала стягивать с него рейтузы. Но его уже нельзя было успокоить простым исполнением того, что он хотел. С ним началась истерика, та особая детская истерика, которой никому, кроме матери, не остановить, которую прекращает только мать, прижав к своему телу ребенка так, чтобы он ничего не видел и ощущал только материнские руки, слышал только материнский голос, обонял только запах матери.

Но матери не было. Другое дело, если бы матери не было вообще дома, а ведь она была тут, в комнате, за дверью, и слышала, как он плачет. Мать не шла, не хотела идти — Федя ничего не понимал и задыхался от слез. Его уже нельзя было раздеть — он вырвался из нянькиных рук, старался что-то выговорить и не мог, сначала слезы лились из его глаз, потом вдруг перестали, он начал трястись, топать ногами, визжать, Антонина слышала все это и не выходила в кухню. Дрожащими руками она укладывала в корзину что-то, кажется вовсе не нужное ей, и шептала:

— Фединых простынок, наволочек, одеялец...

Как нарочно, попадалось все белье Пал Палыча — с метками из китайской прачечной. Метки были красные, как паутинки. Федя все кричал. На секунду ей показалось, что ноги у нее подламываются, — она услышала знакомый, властный и ласковый голос. Федя орал, потом стал тише, потом опять громче. Она узнала и шаги его, немного скользящую, упругую, еще молодую походку. Отворилась дверь, вошел Пал Палыч в пальто, в шляпе, с визжавшим Федей на руках.

— Возьми же его!

Она взяла сына и, как всегда бывает в таких случаях, прижав его к себе и почувствовав, как дрожит и содрогается его маленькое теплое тельце, сама чуть не разрыдалась. Федя опять вскрикнул и забился в ее руках, но она привычным, автоматическим почти жестом спрятала его лицо на своей щеке, и он сразу же стал затихать. Она отвернулась с ним к окну и начала ему рассказывать что-то бессмысленное про зайца, про ватрушку и про мышку Вострушку — одну из тех историй, которые рассказываются на ночь, когда ребенок засыпает... Она говорила с такой силой и нежностью, что Федя сразу перестал дрожать и попытался поднять личико, но она не дала, по опыту зная, что еще рано, а все говорила быстрым, горячим

шепотом. Она ходила с ним взад и вперед возле окна и шептала до тех пор, пока он не переспросил что-то, уже не плача, а с любопытством. Но теперь она боялась его отпустить от себя, потому что у двери стоял Пал Палыч. Ей было страшно предстоящего разговора, и она все ходила и ходила с Федей на руках и все шептала ему.

Когда она наконец спустила его на пол и он увидел перед собой Пал Палыча (раньше, плача, Федя его не заметил), Федя тотчас же стал ему рассказывать о мотоцикле, на котором он якобы ездил.

Пал Палыч смотрел на него сверху, странно вытянув шею — он никогда раньше так не делал — и сложив за спиной руки.

— Ну? — резким голосом спросил он.

Федя опять стал ему говорить, но он отошел и крикнул Полину.

— Поиграйте с ним, — сказал он, кивнув на Федю, — и не лезьте сюда.

Он закрыл дверь на крючок, снял шляпу и вытер потный лоб платком.

— Что же это, Тоня, — сказал он, садясь, — опять цирк? С кем вы спутались?

— Ни с кем, — ответила она и отвернулась, чтобы не видеть его позеленевшего за эту ночь лица.

Самым ужасным было, конечно, то, что она не могла объяснить ему происходящее с ней. Впрочем, она могла, но он бы не понял.

Она молчала, и он ничем не мог вызвать ее на разговор. Она была бледна и решительна, — Пал Палыч еще не видел ее такой. И главное, у нее не дрожали губы и в ее глазах не было слез — глаза были сухие, с сухим блеском, холодные.

— Где вы ночевали? — спросил он.

Она молчала.

— Я спрашиваю! — крикнул Пал Палыч.

Она вздрогнула (он знал, что она боялась крика, и решил кричать), но ничего не ответила и даже не переменяла позы.

— Где вы шлялись целую ночь с ребенком? — спросил он. — Или без ребенка нельзя обделывать свои делишки? Вы его довели до истерики!

— Не кричите, — сказала она.

Тогда он стукнул кулаками по столу.

— Паршивая шлюха! — крикнул он. — Паршивая дрянь! Вам пора на панель, под фонарь, но ребенка вы не получите. Слышите? Я не дам вам ребенка.

Он близко подошел к ней и погрозил длинным белым пальцем.

— Вот, — сказал он, внезапно слабея и позабыв слова, которые должен был сказать сию секунду.

— Я развожусь с вами, — сказала Антонина.

— Разводиться?

— Да.

Он иронически усмехнулся.

— Подумайте!

— Я подумала. Я уйду от вас. Я не могу больше с вами жить, Пал Палыч.

— Куда же вы уходите?

— Это все равно. Отдайте мне мои документы.

— Вы уходите к Капилицыну, — сказал он, — я знаю. Он бросит вас через месяц.

— Все равно, куда я уйду, дайте мне документы.

— Подумайте хорошенько.

Она молчала раздраженно и нетерпеливо. Он совсем не знал, что сказать. Он любил ее сейчас с такой жадностью и силой, что мог ударить, даже убить. Он понимал, та катастрофа, которой он ждал, была уже здесь, и ничем нельзя было предотвратить страшное течение событий. У него дрожали руки и внутри что-то оборвалось и падало, он ничего не соображал как следует.

— Я вас люблю, — сказал он, стиснув руки, — я вас люблю до самой смерти, не уходите от меня.

На ее лице опять проступило выражение брезгливости и нетерпения.

— Я сопьюсь, — сказал он, — я пропаду. У меня ничего нет в жизни, я старый человек. Подождите до моей смерти.

— Вы переживете меня, — грубо сказала она, — я двадцать раз умру до вашей смерти... Будет, Пал Палыч, отдайте документы.

Он все стоял перед ней, стиснув белые ладони и почему-то покашливая.

— Оставайтесь.

Она покачала головой.

— Попробуйте еще пожить месяц, — сказал он, — один месяц только. Мы бы сейчас уехали на юг, Тонечка!

— Нет.

Он нагнул голову и сделал шаг к ней. Теперь она видела ровную ниточку его пробора. Ей сделалось страшно, она стала улыбаться — только это могло помочь.

— К кому вы уходите?

Он покашлял.

— К кому?

Его холодная ладонь легла на ее запястье. Он взглянул ей в глаза. Она увидела зрачки за очками и поразились их острому, настойчивому блеску.

— С кем вы спутались?

Она хотела вырвать свою руку, но он так сдавил запястье, что она едва не вскрикнула от боли.

— Смирненько, — сказал он, — а то я вас убью!

— Дурак старый, тупица, ну как сделать, чтобы вы поняли? — медленно, с горечью говорила она. — Как?

— Никак! — ответил он, — Я вас знаю всех. И тебя кто-то нынче купил, дороже дал, чем я...

— Что? — изумилась она.

— Вы все продажные, знаю, кушал, — уже совершенно вне себя крикнул Пал Палыч. — Скворцов за контрабанду, я — за тихую жизнь, он, этот...

Она подняла голову и надменно улыбнулась ему в лицо.

— Вышибала! — сказала Антонина. — Ресторанный холуй, я — то думала...

Пал Палыч побледнел еще больше и сжал зубы. Она увидела это по его напрягшимся скулам.

— Пусти же, холуй, покупатель женского товара, пусти, лакей, — говорила она с непонятым выражением счастья в глазах. — Пусти, дурак, осел, пусти! — Он все крепче давил ее за руку и тянул книзу. — Не смеешь, — говорила она, — не жена я тебе, ненавижу тебя, пусти! И не больно мне, хоть вовсе руку сломай, не больно, все равно уйду...

— Тоня! — умоляющим голосом выкрикнул он.

— Уйду, уйду! — говорила она. — Не купил за свою теплоту, за чуткость, не купил, не стала я тебе женой, а что на деньги твои ела — так отдам. Заработаю и отдам. И нельзя меня купить, никто меня не купит, никогда, понимаешь, никто!

Совсем близко возле самого лица он видел ее круто вырезанные губы, ее розоватые ноздри, ее напряженную, тонкую шею...

— Пусти руку, — сказала она, — пусти! Я теперь все понимаю, все, все ваши расчеты. — Зрачки ее сделались матовыми, пьяными. — Сочи! Гагры! Путевки! Так не вышло! Ни у кого не вышло, даже у Скворцова, потому что все равно я всегда его ненавидела. И вас ненавижу! На, ударь! — то торопливо, то медленно говорила она. — На, ударь, бей! Все равно уйду, встану на ноги, человеком буду и любовь, настоящую любовь...

Потом что-то треснуло, зазвенело и оборвалось. Она очнулась на диване. Ей было больно, ее тошнило. Ослепительно сверкала электрическая лампочка. Пал Палыч, без пиджака, сидел над ней. Она посмотрела на него. Крупные слезы стояли в его глазах. Очки он вертел в руке. Он не заметил, что она очнулась, так быстро она закрыла глаза.

Он прикладывал к ее голове холодное и мокрое, вероятно, полотенце. Звонил врачу. Ей делалось все хуже и хуже — очень тошнило, и была такая слабость во всем теле, что она не могла пошевелиться. Болели плечи, бедро, больше всего болела голова. Но все-таки она поднялась и, преодолевая головокружение, подошла к шкафу. Пал Палыч смотрел на нее, сидя на краю дивана. Она удивилась — какие у него острые колени и длинные руки. «Еще возьму белья, — думала она, — побольше белья. Жалко, не все чулки заштопаны. Ничего, там заштопаю. Возьму гриб и на нем буду штопать...»

Мысли были вялые, спокойные.

Наклоняясь к корзинке, она почувствовала мокрое на шее и потрогала пальцем под косой. Там все слиплось и саднило. «Об комод, наверное», — подумала она. Теперь она понимала, что вся избита, и ей было стыдно смотреть на Пал Палыча.

Нянька, скорбно поджимая губы, принесла ей ремни для портплекда и веревку, чтобы завязать корзину. Морщась от боли, Антонина все сама завязала, взяла из шкатулки, в которой лежали деньги на домашние расходы, пятнадцать рублей и села отдохнуть. Ее опять мучительно затошнило.

— Дайте документы, — сказала она, не глядя на Пал Палыча. Все плыло перед ней, в ушах стоял такой звон, что она не слышала собственных слов. Пал Палыч положил на горшок с фикусом пачку документов. Антонина все пересмотрела и спрятала на груди — в вырез платья.

Нянька стояла у двери.

— Оденьте Федю, — сказала Антонина, — а калоши дайте сюда, на дворе сухо.

Нянька принесла Федины калоши, и Антонина спрятала их в портплед, внутрь, потом оделась сама и еще села — ноги ее не держали. Пришел Федя — одетый, розовый, очень курносый.

— Куда мы идем, — спросил, — к тете Жене?

— Да.

— А зайца ты взяла?

— Нет.

Заяц был подарен Пал Палычем, и Антонина постеснялась на его глазах класть зайца в корзину.

— Сейчас я его разыщу, — торопливо сказал Пал Палыч, — сейчас, Феденька.

— Да, заяц мне нужен, — твердо сказал Федя.

— То-то!

Пал Палыч взял Федю за руку и вышел с ним в коридор. Нянька всхлипывала у двери. Было слышно, как Федя что-то говорил Пал Палычу.

— Антонина Никодимовна, — шепотом позвала нянька, — а Антонина Никодимовна!

— Что, Поля?

— Оставайтесь.

Антонина молчала.

— Он удавится, — задыхаясь от слез, шептала нянька, — ей-богу, удавится. Голубонька, Антонина Никодимовна, пожалейте человека, что ж это делается, Антонина Никодимовна! Вы же ему как все равно бог! Не найдете вы такого, поверьте, не найдете... Антонина Никодимовна, голубушка, родненькая...

Вошли Пал Палыч и Федя. И опять Антонина удивилась длинным рукам Пал Палыча. Его очки блестели, как зеркало. Федя нес зайца.

Антонина поднялась.

Нянька слабо охнула и вышла.

— Пойдем, Федя, — сказала Антонина и взяла в одну руку портплед, в другую корзину. — Иди вперед.

Федя пошел по коридору. Антонина выставила в коридор сначала корзину, потом портплед и оглянулась. Пал Палыч стоял посередине комнаты, сунув руки в карманы брюк. Он был без пиджака.

— Помочь вам? — торопливо спросил он. — Вам тяжело?

— Нет.

Он подошел к ней и взял ее за плечи. Ей показалось, что все лицо его дрожит, — это было так неприятно, что она отвела глаза.

— Помните, что я вас люблю и буду любить до самой моей смерти, — суетливо сказал он, — помните, я вас прошу.

— До свиданья, — сказала она, не глядя на него.

— Мама, — позвал Федя, — ну, мама!

На кухне в голос рыдала нянька.

Антонине казалось, что у нее отрываются руки, так было тяжело нести корзину и портплед. На углу Введенской и Большого, возле скверика, в котором столько раз она бывала с Федей, стояли извозчики.

— Сколько до Нерыдаевки? — спросила она.

— Двугривенный.

Ее тошнило, перед глазами летали серебряные мухи.

— У меня есть только пятнадцать, — сказала она и, чтобы показаться не жалкой, добавила: — Как дерете.

Извозчик согласился за пятнадцать.

17. Однако, характерец!

Она приехала, когда Женя только что вошла в квартиру. Извозчик внес вещи. В передней перегорела лампочка, и Женя сначала не видела лица Антонины, а потом даже ахнула.

— Что это такое? — говорила она. — Раздевайтесь скорее!

Антонина боялась, что Женя увидит кровь, и, оставив Федю Жене, побежала в ванную мыться. Это было очень трудно, волосы прилипли, кровь запеклась, и все там так присохло, что она чуть не заплакала, когда в рану ударила холодная струя воды. Главное, она ничего не видела там и только на ощупь чувствовала, что кожа лопнула и что все вокруг засохло, а сама рана сочится. Но все-таки она кое-как отмыла прилипшую кровь, зачесала волосы вниз,

заколола шпильками и вышла в столовую с веселым лицом.

— Что это вы, — подозрительно спросила Женя, — голову мыли?

Антонина что-то соврала, но Женя близко к ней подошла и пытливо взглянула в ее широко открытые, возбужденные глаза...

— Врете вы, — сказала она.

— Нет.

— Валерьянки дать?

— Дайте.

Они пошли в спальню, и Женя накапала в рюмку валерьяны с бромом. Антонина выпила и поморщилась.

— Ну как, — спросила Женя, — благополучно?

— Вы про что?

— Про домашние дела.

— Все благополучно.

— Ну и хорошо.

— Давайте обед готовить, — предложила Антонина, — хотите?

— У меня не из чего.

— Картошка есть?

— Есть.

— А масло есть?

— Есть!

— Вот видите! Покажите мне все, что у вас есть.

— Пойдемте.

— Ужасно хочется что-нибудь делать. У меня сейчас такое состояние, такое...

Антонина не договорила и засмеялась.

— Суп сварим, — говорила она, осматривая в кухне Женины запасы, — суп из круп. Ладно? Картофельные котлеты под бешамелью. Грибов у вас нет?

— Нет.

Женя, улыбаясь, смотрела на Антонину.

— А морковки?

— Конечно же, нет. Вот корица есть.

— Подите вы с вашей корицей. Знаете что? Мы сейчас замечательную штуку устроим. Я ведь в еде все понимаю, — одно время только и делала, что ела. Давайте сюда терку. И ножик дайте. Да вообще покажите, где у вас что, надо же мне знать, раз я приживалка. Мясорубка у вас есть? Федя! — вдруг позвала она. — Ступай сюда, у нас весело.

Федя пришел с мотоциклетным седлом в руке, сосредоточенный и серьезный.

Антонина говорила очень много, почти тараторила, неожиданно смеялась, рассказывала, как надо организовывать хозяйство, объясняла всякие тонкости про еду, пела.

— Давайте петь вместе, — предложила она, — дуэтом. Хотите?

Они пели, чистили картошку, терли ее на терке, возились с электрической плиткой, которая почему-то не грела. Антонина болтала так много, что Женя начала подозрительно на нее поглядывать.

Позвонил Сидоров, сказал, что придет в одиннадцатом часу.

— А сейчас сколько?

— Девять! — крикнула Антонина из кухни.

— Так ты, пожалуйста, приходи есть домой, — крикнула Женя по телефону, — слышишь? Тоня целый обед смастерила. Из трех блюд.

Когда Женя вернулась в кухню, Антонина сидела на табурете почти без сознания. Ей было совсем дурно.

— Глупо, — говорила Женя, укладывая ее в постель. — Что глупо, то глупо. Просто стыдно за вас. У вас, может быть, череп проломан. Нельзя же, матушка, быть такой легкомысленной. Все-таки взрослый человек, мать. Ужасно глупо. Ну, лягте же как следует, я вам чулки сниму. Милая моя, у вас и колено разбито. Где это вас угораздило? Под автомобиль попали? К нам таких в травматологический институт возили. Нет уж, раздевайтесь, раздевайтесь до конца. Нечего дурака валять... И трусики снимите, и рубашку. Такая кожа чудесная — и так ободрать...

— Холодно, — ежась, бормотала Антонина.

— Ничего не холодно. Потерпите! Лягте-ка на живот. Батюшки, какие синяки! Ну-ка, голову посмотрим. Ничего, ничего, не шипите, не так уж больно. Терпимо, терпимо!

(Слово «терпимо» Женя позаимствовала из лексикона одного профессора-педиатра. Вся ее манера разговаривать с больными была тоже заимствованной, хоть она сама этого вовсе не замечала).

Кончив осматривать Антонину, Женя до подбородка укрыла ее одеялом и покачала головой.

— Вовсе вы не упали, — сказала, — и нечего врать.

— Упала.

— Врете.

— Я же вам объясняю. Упала на лестнице.

— Врете! И про лестницу врете. Впрочем, это ваше дело.

Она принесла ножницы, вату, бинт, мазь в баночке и велела Антонине сесть в постели.

— Выстригу вам немного волос, — сказала она, — хорошо?

— Хорошо.

— А вы не горюйте, даже если с лестницы упали. За одного битого двух небитых дают.

— Это тут ни при чем.

— Значит, другое при чем.

— Что?

— Милые бранятся, только тешатся.

— Ну как вам не стыдно, — сказала Антонина, — что вы, право!

Женя выстригла прядь волос и дала ее Антонине.

— Возьмите. У вас до сих пор ваш палантин хранится, вы мне рассказывали, помните?

— Да.

— Хранится?

— Да.

— Возьмите это тоже. Сувенир. Тоже вещь того же порядка. Как вы упали, ударились... Да?

— Хорошо, возьму.

— Теперь я вам промою. Будет немножко больно, но вы потерпите. Больно?

— Нет.

— А сейчас?

— Нет.

— Вот упрямая. А сейчас?

— Тоже нет.

— Однако характерец!

— Разве это плохо?

— Смотря в чем. Когда вы, например, в вечер свадьбы из-за одного упрямства доказывали мне, что счастливы...

— А вы поняли?

— Разумеется, поняла...

— И рассердились?

— Как вам сказать. Рассердиться, конечно, не рассердилась, просто было обидно...

— Простите меня.

— Ну вот, действительно! Есть что прощать. Подымите-ка голову, я бинт под шею пропущу. Он кольца на руке носит?

— Кто он?

— Пал Палыч.

— Носит. Перстень железный, старинный. Вообще носит. Но сегодня почему-то на нем перстня не было.

— Опять врете?

— Нисколько.

— А если бы он вас топором?

— Не знаю. Этого не может быть.

— Он добрый, да?

— Добрый.

— Оно и видно.

— Что видно?

— Ну вас, ей-богу, надоело. Или начистоту, или вовсе перестанем об этом говорить.

— Правда же, Женечка, он любит меня, и нельзя его за это судить. Он так несчастен, что не нам с вами...

— Погодите, вы еще наплачетесь от этого несчастного! Тут ведь дело не в его личном характере и не в его отрицательных или положительных качествах! Тут дело во всей этой усатой психологии. Понимаете?

— Понимаю.

— И слава богу. Раз понимаете, гоните его в шею, и никаких задушевных бесед. И не обещайте ему быть другом. В таких случаях с дружбой не получается. Хорошо?

— Хорошо.

До темноты Пал Палыч просидел в кресле перед холодным камином. Он сидел прямо, не опираясь на спинку кресла, положив ладони на колени. Ему казалось, что он ни о чем решительно не думает и что он слышит музыку. Последнее было странным его свойством: он столько лет прожил на людях, в ресторанах, что теперь музыка всегда звучала в его ушах. Стоило ему остаться в пустой комнате, как начинала играть музыка. Он размышлял под звуки давно слышанных мелодий. Он считал на счетах, ходил по улицам, ездил в трамваях, пил, ел — и всегда играла музыка. Это была далекая, нечеткая, расплывчатая мелодия. Ритм ее менялся в зависимости от его душевного состояния. Иногда это была плясовая музыка. Иногда это было что-то густое, медное, минорное. Иногда били только барабаны. Иногда пела флейта.

Вероятно, он просидел в кресле очень долго, потому что руки у него онемели и по левому колену бегали мурашки, вся нога отекала. Он сидел с закрытыми глазами и порой вспоминал, что очень бы хорошо выкурить папиросу, но ленился или даже не мог пошевелиться. Потом

его стала мучить мысль, что теперь он уже никогда не сможет пошевелиться, что он остался здесь «навсегда», и мучительная эта мысль все же была настолько ему приятна, что он нарочно не пытался пошевелиться.

Музыка все играла.

Пал Палыч напряженно вслушивался и узнал мотив... Этот мотив был всегда ему чем-то неприятен, но сейчас то мучительно-тревожное, щемящее и как бы щекощущее, что было заложено в плясовой, явилось будто бы «избавлением», как он подумал, и помогло ему подняться, пройтись по комнате, наполненной весенними сумерками, и закурить папиросу.

Далекий оркестр смутно и не в темпе играл «Куманечек, побывай у меня» со странными, длинными вариациями:

Куманечек, побывай у меня.

Душа-радость, побывай у меня,

Побывай, бывай, бывай у меня...

Эту песню часто заказывали подгулявшие купцы, пили под нее шампанское, разбивали зеркала, плакали, пускались в пляс.

Пал Палыч стоял, вслушивался. Потом открыл окно. Во дворе было тихо, стекла окон напротив холодно и неприятно блестели. А плясовая все приближалась, и все непонятнее были вариации, все тревожнее и острее звучал какой-то свистящий инструмент.

У тебя ль, кума, собачка лиха,

У меня лиха, лиха, лиха...

Он стал ходить по комнате, ежась и потирая затекшие руки, и стал напевать песенку сам, для того чтобы не было страшно, но то, что он напевал, никак не приходилось в лад тому, что теперь наполняло уже всю комнату, и Пал Палыч бросил напевать. Но вдруг ему пришло в голову, что можно ведь зажечь электричество, он повернул выключатель, и плясовая сразу притихла, будто бы ее играли за дверью, а дверь теперь закрыли. Но она все-таки еще продолжалась где-то далеко — так бывает, когда путник летним вечером приближается к городу, к маленькому, уездному, город далеко за рекой, и едва-едва там в городском саду бухает маленький жалкий оркестрик.

«Я схожу с ума», — подумал Пал Палыч.

Он повернулся, увидел себя в зеркале, подошел поближе к холодному стеклу и сделал гримасу.

Теперь было совсем тихо.

Так тихо, что шумело в ушах.

— Поля, — крикнул он, — Полина!

Никто не отвечал.

Он вышел в коридор, в кухню. Капа на плите чистила бежевые туфли и пела:

Ночи бессонные, ночи безумные...

Ему показалось, что она взглянула на него с сожалением.

— Вы Полю не видели? — спросил он.

— Полю? — рассеянно ответила она. — Нет, не видела.

— Так, — сказал он.

Ему не хотелось уходить из кухни.

Звуки дневные, несносные, шумные, —

пела Капа.

Ее голос был несколько не похож на голос Антонины, но все же он спросил:

— Вы это умеете петь, Капочка? Знаете, Тоня поет? Как это?

Он не мог вспомнить.

— «Жигули»? — подсказывала Капа. — «Никому не рассказывай»? «Дремлют плакучие ивы»? Или что, Пал Палыч?

Но ему уже не хотелось, чтобы она подсказала.

— Куда это вы собираетесь?

— Гулять, — сказала она, — а что?

Он молчал.

— Тоня дома? — спросила она.

— Нет.

Капа села на стул, сняла шлепанцы и надела начищенные туфли.

Потом она немного приподняла обе ноги и сказала, разглядывая носки туфель:

— Ай, какие некрасивые.

Нет, она, конечно, еще ничего не знала.

Пал Палыч поставил примус на плиту, сдул с него копоть, налил бензину и зажег. На синем пламени он слегка погрел руки, потом качнул поршнем. Горелка зашипела. Он еще качнул.

Синий венчик возник над горелкой.

«Это, конечно, Татьяна, — подумал Пал Палыч, — это она ее свела с кем-нибудь. Хотя, впрочем...»

— Капа, — сказал он, — Тоня от меня ушла.

Капа обернулась.

— Да, да, — сказал он, — всему конец.

— Ну вот, — пробормотала она, — что вы такое говорите?

— То и говорю. С кем она спуталась?

— Как с кем?

— Ну, с кем? С кем у нее это...

Он хотел сказать грубое слово, но не мог.

— Я не знаю.

Пал Палыч смотрел на Капу нагнув голову, из-под очков, и молчал.

— Все вы одним миром мазаны, — сказал он наконец, — все вы не знаете.

Поставил чайник на примус и лег на диван. Ему было холодно. «Подыхаю, — подумал он злобно, — кончено».

И вздохнул оттого, что не было кончено, и оттого, что не подышал.

18. А я им нужна!

На другое утро у нее был небольшой жар — тридцать семь и семь, но она дурно себя чувствовала: голова очень болела, и была нехорошая тошнота, вялость в ногах и руках и гнетущее безразличие. Ночью Женя вставала и подходила к ней — босая, смешно выставив вперед руки, чтобы не удариться в темноте животом. Федю спящего перенесли к Сидорову и Жене. На рассвете Женя куда-то звонила и говорила в трубку о мозговых явлениях.

«Это у меня мозговые явления, — думала Антонина, — это у меня поврежден покров».

Ей было совестно, что она лежит, и она все время порывалась встать, но Женя ей не позволяла. Потом без спросу вошел Сидоров и постоял в ногах, сложив на животе руки, как стоят у гроба. Глаза у него были невыспавшиеся, он моргал.

— Ну что, — спросил он, — ничего?

— Ничего.

— Вот видишь, — опять сказал он, — как с тобой цацкаются.

— Вижу.

— И что?

— Ничего, — сказала Антонина, — спасибо. Мне стыдно.

Ей в самом деле было стыдно: они действительно с ней возились, плохо спали, а кто она им? Да и вообще, чего ей, собственно, нужно? На что она может рассчитывать? Они, наверное, ее принимают не за то, что она есть на самом деле. Ей стало ясно, что все это должно их по меньшей мере раздражать. Если б она была какой-нибудь героиней. Или если бы у нее были заслуги, и даже не заслуги, а заслуга. Одна заслуга. Одна маленькая заслуга. Ерундовская. Было бы совсем другое дело. Несомненно. А так? Ну, жила со Скворцовым. Так ведь ее даже вызывали в уголовный розыск. Или Пал Палыч? Он ей представился с усами, сухой, в жилете. Кто она? Маникюрша. Кому какое до нее дело? Все это из милости. Сидоров шутит, конечно, когда говорит «приживалка», но это он шутит так, для виду, а про себя думает так на самом деле. И Женя его, наверно, разубеждает, шепчет ему в той комнате на ухо, чтобы она не слышала. Так быстро шепчет, как все жены мужьям нашептывают. Муж уже сонный, а жена все нашептывает, все нашептывает. И он, наверное, говорит: «Да ну ее, в самом деле...» А Женя: «Нет, нет, ты не понимаешь!»

Ах, все всегда одинаково.

Вот Сидоров стоит над ней, — что он думает?

Моргает — не выспался.

Зол.

А думает, наверно: «Черт бы вас драл, черт бы вас драл!» Так именно подряд: «Черт бы вас драл, черт бы вас драл!»

Он ушел, и она долго брезгливо смотрела ему вслед — черт бы и тебя драл в таком случае! Теперь-то уж она точно знала, что он ей невыносим не меньше, чем она ему.

«Кончится эта мышиная возня, — думала она, — уйдут оба, и я потихоньку уйду. Возьму Федю, спущусь с лестницы и — пожалуйста. До свиданья. Все вы лицемеры, все вруны, все эгоисты. Вам жалко, что я вас беспокою. Вам жалко, что Федя верещит. „Цветы жизни, цветы жизни“, а чужой ребенок неделю проживет — он вам уже вот здесь. Раздражает. И я раздражаю...»

Сидоров ушел, а Женя не уходила.

Прошел час, было уже десять, Женя все говорила по телефону, играла с Федей, что-то делала на кухне. Потом позвонили, и Антонина услышала знакомый женский голос — очень певучий, легкий.

— Иван Николаевич зашел, — говорил знакомый голос, — а мой Егудкин еще не накормленный...

«Ах, вот это кто», — вспомнила Антонина и улыбнулась — так ей сделалось приятно от этого голоса и оттого, что перед ней подробно восстановилась вся та ночь, и наводнение, и два старика, и вкусная квашеная капуста, и тулупы, и тот разговор с Женей, и Сидоров утром. «Тогда он иначе ко мне относился, — с грустью подумала она, — иначе, лучше».

Заглянула Женя — сказала, что уходит. За ней в дверях стояла Марья Филипповна и приветливо кивала Антонине головой. Все утро Марья Филипповна просидела возле Антонины и рассказывала ей. Федя рисовал на полу большим цветным карандашом. На улице моросил дождь, здесь было уютно, приветливо. «С теплотой», — вспомнила Антонина слова Сидорова. Ей было удобно лежать и не хотелось думать о том, что она собралась уходить, потихоньку, с Федей.

«Может быть, это все и не так? — вдруг подумала она про утренние мысли. — Может быть, вовсе у меня противный характер?»

И с интересом стала спрашивать у Марьи Филипповны, как вязать пятку и как «накидывать».

Во втором часу дня прибежал запыхавшийся Сема Щупак. На нем был бараний тулупчик и сапоги выше колен, он так и вошел — в тулупчике и в шапке-финке, сбитой на затылок.

— Селям-алейкум.

— Здравствуйте, — сказала Антонина и натянула одеяло до самого подбородка.

— Вы меня помните?

— Тебя — да и не помнить! — сказала Марья Филипповна. — Поди вытри ноги.

— Нет, все-таки помните?

— Помню.

— А как, например, меня зовут?

— Сема Щупак. Верно?

— Абсолютно.

— Ну, вы тут занимайтесь, — сказала Марья Филипповна, — а я пойду детке молока вскипячу.

— Это ваш сын? — спросил Сема.

— Мой.

Антонина улыбалась.

— Бу-бу! — бессмысленно сказал Сема. — Бу-бу, мальчик.

— Что «бу-бу»? — строго спросил Федя.

Он смотрел на Сему снизу вверх внимательно и неласково.

— Хитер бобер, — сказал Сема, — да Щупак не дурак.

Федя засмеялся.

— Сколько ему?

Антонина сказала.

— Ого! — произнес Сема.

Ему было, видимо, неловко. Он не знал, о чем говорить. Антонина смотрела на него с тем милым, выжидающим выражением глаз, которое так шло к ней, и тоже молчала.

— Да, — сказал Сема, — врач у вас был?

— Какой врач?

— Меня Сидоров просил узнать про какого-то врача.

— Нет, — сказала Антонина, — не знаю.

— А температуру вы мерили?

— Нет.

Сема встал.

— Ну, я пойду, — сказал он, — до свиданья.

— До свиданья. Заходите.

Она приподнялась в постели и протянула ему горячую смуглую руку.

— Федя! — крикнула на всю квартиру Марья Филипповна, — Федя, детка, молоко пить...

В это время позвонили.

— Послушайте, Сема, — быстро сказала Антонина, — если это Пал Палыч, то, пожалуйста, скажите ему, что не надо. То есть я не то хотела... В общем, вы объясните ему, что я сейчас не могу с ним разговаривать.

— Есть, — сказал Сема с готовностью.

— Только не очень грубо...

— Я понимаю.

В передней уже кто-то раздевался. Сема вышел, плотно затворив за собой дверь. Это действительно был Пал Палыч. Он повесил шляпу и, разматывая шарф, кивнул Семе головой.

— Да, — сказал Сема, — здравствуйте.

— Федя, — опять крикнула из кухни Марья Филипповна, — иди скорей, детка!

Дверь из комнаты Антонины отворилась и в переднюю вышел Федя, на секунду приостановился, потом подскочил, радостно и длинно взвизгнул и бросился к нему в объятия.

— Ну что, — спрашивал Пал Палыч, — что? Как поживаешь? А?

Федя молча прижимался щекою к щеке Пал Палыча.

— Скучаешь? — спрашивал Пал Палыч. — Скучно? Ну, ничего, ничего. Мама-то где? В какой комнате? А? Или ее дома нет?

— Вот в этой, — сказал Федя, — вот сюда. Пойдем-ка! Она дома, дома. Она лежит больная. Она головку зашибла...

Пал Палыч шагнул было вперед, но Сема заслонил собою дверь и тихо сказал:

— Не надо, Пал Палыч. Антонина Никодимовна просила вас не ходить к ней.

— Ну, — нетерпеливо сказал Федя, — пойдём же!

— Нельзя, — упрямо произнес Сема.

— То есть как нельзя?

— Вот так. Антонина Никодимовна больна и не может вас видеть...

— Что ты врешь? Как не может...

— Она просила не пускать вас.

— Тебя просила?

— Меня.

— А ты здесь при чем?

— При том, что выполняю поручение.

— Ну, пойдем же, — опять сказал Федя и подпрыгнул на руках у Пал Палыча, — пойдем!

— Нельзя, мальчик, — строго произнес Сема, — иди один.

Пал Палыч медленно спустил Федю на пол и внимательно посмотрел Щупаку в лицо. Федя помчался к матери, дверь осталась незакрытой. Сема захлопнул ее.

— Так, — промолвил Пал Палыч и снял с вешалки шарф. — Значит, не пускаете?

— Не пускаем, — сказал Сема, — и благодарите бога, что под суд не попали...

— За что же это?

Сема прищурился.

— А вы не знаете? — спросил он. — Весь массив знает, а вы не знаете?

— Не знаю.

— Старый человек, — сказал Сема, — а бьет женщину до беспамятства. Позор вам! Обо что вы ее двинули, что у нее мозговые явления начались?

— Как мозговые?

— Вот «как»? У вас надо спросить «как»!

Пал Палыч одевался молча.

— И больше сюда не ходите, — сказал Сема, — незачем. Это вас из-за нее под суд не отдали, из-за ее доброты. А так — отвесили бы вам лет пять с гаком. Позор!

Он распахнул перед Пал Палычем дверь на лестницу.

К вечеру у Антонины разболелось ухо. Было так нестерпимо больно, и боль с такой быстротою усиливалась, что Антонина заплакала и продолжала плакать даже тогда, когда вошел Сидоров.

— Э, матушка, — сказал он, — плохо твое дело.

И присел к ней на кровать.

— Больно, — сказала она, — вот здесь.

Женя опять, как утром, звонила по телефону. Сидоров сидел одетый, в кожаной тужурке, красноглазый, но не злой.

— Ничего, — говорил он, — потерпи, брат! Сейчас все организуем. Часок потерпи...

— Да я терплю, — отвечала она, — только уж очень тут все разламывается.

— Чаю хочешь?

— Нет, спасибо.

— Ну, чего ж ты хочешь?

— Ничего не хочу, спасибо.

Потом Женя позвала его, хлопнула парадная, и под окнами затрещал мотоцикл. Минут через сорок приехал врач-ушник. Когда он вошел, Антонина поняла, что привез его Сидоров, и ей, как уже много раз в этот день, сделалось стыдно. Пока врач возился с ее ухом, она слышала в передней голос Семы Щупака. Что-то шептала Марья Филипповна. Там, везде, во всей квартире, была возня — такая, как бывает, когда заболел кто-то в семье, и заболел серьезно. Это ощущение семьи возникло у нее сразу, в секунду, и от этого ей сделалось так хорошо, как не было еще ни разу в жизни. Врач что-то делал ей с ухом, было ужасно больно, до того, что она даже вскрикнула два раза, но она не прислушивалась к боли и не слышала даже вопросов, которые задавал ей врач, а слушала квартиру — шепот в передней, Женино шиканье и то, как Сидоров с раздражением сказал:

— Я тебе говорил, ушника надо было сразу.

— Поверните голову, — сказал ушник, — мадам!

Она повернула голову и вскрикнула опять, а потом застонала: что-то перед ней погасло, до того было больно, — но она все же услышала, как стихла вся квартира, как все, вероятно, прислушивались. Ей захотелось теперь опять перенести боль, хотя в десять раз большую, но только услышать опять эту тишину, это прислушивание в квартире, еще раз испытать это ни с чем не сравнимое чувство, когда прислушиваются к тому, что с ней.

Врач вышел, и все куда-то ушли из передней, она закрыла глаза и поплыла — ей казалось, что она несется по тяжелой, темной воде.

Потом опять затрещал под окнами мотоцикл, и треск этот так отдался в ее голове, что она долго и жалобно застонала.

— Больно? — спрашивала Женя. — Больно, Тонечка?

Она все слышала, но вяло, точно через материю. И ей было душно, несмотря на открытую форточку. Она слышала, как Сема сказал:

— Жепя, ледник уже заперт, я не знаю, где лед взять.

Но лед все-таки нашли, она почувствовала холод...

Потом над нею сидели какие-то бородатые старики и говорили не по-русски. Вероятно, было уже утро или вечер следующего дня. Старики о чем-то сговаривались мирно и покойно и не глядели на нее. Один из них взял ее руку и согнул в локте. Женя тоже была тут — похудевшая, с темными кругами у глаз, и тоже говорила не по-русски.

Если бы его спросили потом про эти страшные восемь дней, он, конечно, не знал бы, что сказать. Он стоял под окнами, или на лестнице, или прогуливался возле дома. Он не брился, забывал курить, не ел. Его сухое лицо обросло серой, неопрятной бородою, и теперь он имел вид нищего из благородных. Странно было видеть его высокую фигуру с опущенной головою, со сложенными за спиною руками.

Главным его занятием было поджидать и спрашивать. Он спрашивал у всех, кто шел туда или оттуда, — у Жени, у Сивчука, у Егудкина, у Марьи Филипповны, у Сидорова, у Семы... Он спрашивал просто, точно был ни при чем, и, спрашивая, смотрел своими очками прямо в глаза. Он знал, что у Антонины сотрясение мозга, — знал и не понимал, как это могло произойти. Собственно, он даже не помнил, как ударил ее, как вообще бил тогда, с чего это началось. Он не чувствовал себя виноватым ни в чем и ничего не испытывал сейчас, кроме острой, мучительной, ни на секунду не прекращающейся жалости к Антонине и кроме усталости, которая давила его самого. Ему было странно, что его не пускают к ней, странно и удивительно. Он не думал, что это жестоко, — нравственные критерии подобного порядка давно были им позабыты.

Ему отвечали коротко, иногда грубо. Все смотрели на него, как на прямого виновника наступающей катастрофы. Сидоров с ним вообще не говорил. Больше всего он узнавал от Марьи Филипповны.

Он ночевал здесь же, на массиве, в конторе столовой, на сдвинутых столах. Не ночевал, а спал час-два. Потом опять выходил и шел туда — стоять, или прохаживаться, или глядеть на окна и по теням на шторах гадать, что там происходит.

Однажды ему показалось, что она умерла. Он поднялся наверх и надавил кнопку звонка. Была холодная весенняя ночь — часа три, уже светало. Ему открыли сразу. Он не мог говорить, что-то булькало у него в горле — стоял заросший, серый, старый.

— Ну что? — спросила Женя. — Что вам нужно?

Он понял, что она жива, но не уходил.

Тогда Женя взяла его за пальцы своей маленькой и сильной рукой и провела через переднюю. У него подгибались колени от волнения. Она ввела его в комнату, едва освещенную, и, слегка толкнув вперед, сказала:

— Вот что наделали, гнусный вы человек!

Он все шел вперед к очень белой кровати и смотрел не отрываясь на черные волосы, разбросанные по подушке, и на открытые глаза. Она невероятно, неузнаваемо похудела за эти несколько дней — лицо ее стало острым, непохожим. Он не дышал от ужаса и от жалости и все смотрел в ее открытые, лишенные какого бы то ни было смысла глаза. Она глядела вверх и не глядела ни на что — ее глаза просто были открыты, и только казалось, что она смотрит. Это были тупые, ничего не видящие глаза, лишенные выражения, лишенные обычного своего горячего и нежного блеска, просто темные зрачки, безжизненные и пустые.

— Пойдемте, — сказала Женя.

Он не двигался. Он слушал, дышит ли она.

— Пойдемте, — повторила Женя.

Он заметил, что грудь ее слегка вздымается. Тогда он наклонился к ней и поцеловал ее острый локоть. Потом он повернулся к Жене и, взглянув на нее своими очками, деревянной походкой пошел в переднюю.

— Она выживет? — спросил он как-то слишком громко.

— Не знаю, — сказала Женя, — вряд ли.

— Вылечите ее, — сказал Пал Палыч, — это можно.

Он кивнул головой, не то утверждая, не то спрашивая.

— Вероятнее всего, она умрет, — сказала Женя, — организм слишком уж был надорван.

— Вылечите ее, — опять сказал Пал Палыч.

— Я не понимаю, почему вас не арестовывают, — со злобой в голосе сказала Женя, — решительно не понимаю.

— Это все равно, — сказал он, — решительно все равно.

Ей показалось, что он смеется над нею, но она увидела его лицо и испугалась: его рот был полуоткрыт, и из груди его слышалось какое-то тяжелое, kloчущее хлюпанье. Щеки его дрожали.

— Да, да, — бормотал он, — да, да...

Слепо тычась в стену, он наконец нашел дверь и вышел на лестницу. Уже совсем рассветало, на лестнице был серый воздух и резко пахло сырою известкой.

Он вышел на асфальт.

Какие-то птицы низко пролетали перед ним со стремительными и резкими воплями.

Он пошел, шаркая подошвами, совсем ослабевший, к себе в столовую. Асфальт был черный, сырой. Пал Палыч свернул за угол и еще за угол, потом туннельчиком вышел на не застроенный еще пустырь. Совсем перед ним прохладно, спокойно текла Нева. Тихо плыли баржи. На одной барже горел костер, и дым тянулся сзади, как от парохода. Парни лежали животами на рулевом бревне. Гукнул буксир.

Пал Палыч присел на доски и, как был в шляпе, сидя стал молиться:

— Господи, — глухо говорил он, — сохрани мне ее! Господи, помилуй ее. Господи, всеблагий, отец наш, если ты есть, господи...

Потом он забормотал.

Он опять слышал музыку — кабацкий, разудалый мотив. Он не мог молиться. Он сидел и смотрел на Неву — на мерцание воды, на легкий пар, колеблемый ветром, на пустой, голый противоположный берег.

Он почти ничего не делал все эти дни. Столовая была запущена. Главный повар Николай Терентьевич Вишняков все взял на себя, сам везде расписывался, сам ездил хлопотать о продуктах и Пал Палыча даже ни о чем не спрашивал.

— Ничего, — говаривал он иногда, — все, дорогуша, обойдется. Выздоровеет.

Пал Палыч ходил по столовой, по массиву, заглядывал в кладовые, сидел на кухне у Вишнякова. Все его раздражало теперь. Он знал — Антонина поправляется. Прямая опасность миновала. Ему казалось, что его обокрали, что воры ходят вокруг и подсмеиваются

над ним. Он сам привел их к себе в дом на свою свадьбу; они пили его вино, ели его хлеб. Потом они увели, украли, сманили его жену. Он остался один в пустых комнатах, окруженный вещами, купленными для ее уюта, окруженный воспоминаниями, которые томили его, терзали его душу, окруженный соседями, нагло улыбающимися ему в лицо. Он, вероятно, был смешон теперь и жалок. Как бы холодно и корректно он ни держался нынче, он все равно будет смешон и жалок. Всякий муж, у которого сбежала жена, непременно жалок.

Все они презирали его. Он чувствовал, как изменились к нему Сидоров, Сивчук. Никто больше не забегал к нему в контору выпить чайку и поболтать о хозяйственных делах минуточку-другую. Щупак едва с ним здоровался. Почему? Неужели не могли они понять, что если и ударил он тогда «эту» (так он мысленно называл теперь Антонину), то ведь ударил не с холодным сердцем, не с обычной людской злостью, не с хамским раздражением, а ударил себя не помня, ударил в отчаянии, в горячечном забытьи, ничего перед собою не видя, не понимая.

А теперь они еще судят его!

Как же это так?

Он был один, а она (он чувствовал это) была окружена вниманием, заботой. Что-то ей все доставали, бегали к ней, о чем-то справлялись. Леонтий Матвеевич Сивчук чинил в их квартире дверь, чтобы не скрипела. Марья Филипповна дежурила там, Женя выводила Федю гулять — он издали видел их обоих, и сердце его замирало от обиды, от ревнивой тоски. Щупак приходил на кухню и, не обращая к нему, к заведующему столовой, шушукался что-то с Вишняковым, как будто бы повар старше его, Пал Палыча. Все это было обидно, а главное, мелко и глупо — ужели они думали, что если для больной Антонины заказывается какая-либо особая еда, то Пал Палыч был бы против или бы возразил, или бы не пошел навстречу? Ужели, если кончилась их совместная жизнь, то он стал ей врагом?

«Да, врагом, — со злобою думал он, — да, конечно, врагом. Какая уж тут дружба! Увели, украли, а теперь сводят с другим каким-то мужиком, ведь нельзя без сводничества, ведь не так просто они ее сманили, и обхаживают, и возятся с ней; что она — профессор, нужна она им, что ли, — парихмахер, маникюрша? Для чего это все затеяно, как не для какого-то мужика? А я тут кашку вари, — думал он, — и будь доволен, что кашку доверили сварить? Нет, не пройдет! Не выйдет ваш номер. Рогат я, в дураках остался, обокраден и смешон, конечно, но теперь уж мое дело сторона. Теперь извините. Никаких больше каминов».

Он привел себя в порядок, побрился, занялся делами. Для полного спокойствия, решил он, надобно только узнать, с кем она спуталась...

И стал узнавать, тщательно и осторожно выспрашивая, приглядываясь, выслеживая. Делал он все с настойчивым упорством маньяка.

Она поправлялась быстро, но была еще очень слаба. Вставать ей не позволяли. Теперь у нее постоянно кто-нибудь сживал — то Вишняков, которому очень с ней нравилось болтать, то Сема Щупак, то Марья Филипповна. Заходил даже Егудкин, говорил непонятное из талмуда и кротно улыбался.

Антонина лежала похудевшая, сияющая. Все ей нравилось, все ее трогало, все радовало. Никто не понимал, что, собственно, с ней творится, чему она радуется и отчего сияет, — но всем было приятно слышать ее легкий смех, шутить с ней, рассказывать ей разные истории...

Уже наступало лето: дни становились теплее, ночи прозрачнее, белее. Окно в комнате Антонины почти не закрывалось, и размеренная, жужжащая жизнь массива целый день была ей слышна.

Она любила ночной брех собак (здесь их было много, словно в деревне), сонное покашливание и перебранку дежурных дворников, вдруг возникающую песню, шелест молодой листвы под легким ветром на заре; любила веселую возню детей в еще не убранных кучах песка под окнами, оживление рабочих часов, болтовню возвращающихся с заводов и фабрик, предвечерние благодушные беседы на лавочках у парадных; любила тревожные северные сумерки перед белой ночью, одинокий свист, быстрые девичьи шаги по асфальту, таинственное, неизвестно кем сказанное «до свиданья», девичий смех, гулкие, бодрящие гудки буксиров на Неве.

Антонина поправлялась, и с ней происходило то, что происходит всегда со всеми выздоравливающими: ей все нравилось, все как бы приходилось в пору, все шло на пользу.

Никогда еще она не была так спокойна и равна со всеми, даже Сидоров не мог ее обидеть, на злые его шуточки она первая смеялась.

Наконец ей позволили выходить из дому.

Понемногу, на полчаса, посидеть на воздухе, никак не на солнце, будто в Ленинграде такая его пропасть — этого солнца, погулять не торопясь, оберегая себя.

Но разве она могла «оберегать себя», когда ей так интересно сделалось тут, так страстно, так буйно захотелось понять, что происходит на массиве, что он такое — этот массив, какие здесь люди, о чем они говорят, что думают, что делают...

Теперь у нее оказалось много знакомых — и среди нерыдаевских мамаш, и среди бабушек, и среди пенсионеров. Почти с жадностью она вызнавала, как соединяют Нерыдаевское озеро с Невой, как роют котлованы под новые здания, как ведут водопровод, как ставят подстанцию. Ее еще пошатывало, когда тайком от Жени она бродила возле новых корпусов, смотрела, как накатывают новые, вкусно пахнущие панели, как штукатурят стены, как ссыпают с тяжелых автомашин щебень, известь, мел, как сбрасывают доски, балки, железо.

Немного, и то не часто, мешало ей чувство неловкости, вдруг казалось, что на нее иронически поглядывают работающие люди — чего, мол, шатается здесь с ребенком?

Но не шататься она не могла, не могла отказаться от всего этого деловитого, ровного шума, от запахов свежего строительного леса, от голубой, ленивой и томной Невы, от частых ударов пневматических молотков, от огней сварки, от фырчания грузовых машин, от всей этой огромной, толковой, серьезной деятельности многих сотен людей, строящих целый город.

Иногда ей попадался Сивчук. Бородатый, уже успевший загореть, в стоячем ластиковом картузе, в выцветшей, пропотевшей ситцевой косоворотке, в сапогах бутылками, с ватерпасом, или с метром, или с правилкой в руке, он скакал по лесам, к величайшему восторгу Феде, ловко взбирался на грузовики, кричал фальцетом и неизменно произносил совершенно непонятные слова:

— Хотя это пуццолан итальянский, но я его весь целиком на вашу дурость списываю.

Или:

— Почему обвязки подгоняете не в полдерева?

Или еще:

— Эй, гражданин подрядчик! Горбыль мы до иерихоновой трубы ожидать будем?

Завидев Антонину с Федей, он учил ее различать деловой горбыль от дюймовки, силикатный

кирпич от огнеупорного, двутавровое железо от кровельного.

— Человек обязан не дураком оформлять свой жизненный принцип, — непонятно говорил он, — но! Должен! Понимать! В чем! Существует! Как, например, пчела, есть сознательная часть всего объемлющего! Улья!

И приглашал:

— Ступай за мной с ребенком. Пусть дитя с малолетства видит простор, но не свой лишь угол!

Объясняя, что такое железобетон, опалубка, фермы, вел Антонину наверх. Они поднимались по узким, колеблющимся от ветра доскам, и оттуда она долго смотрела на сверкающие под солнцем кровли города, на Исаакий, на далекую дымку, где была ее Петроградская сторона...

Заходила на кухню к Вишнякову.

Тут пылал очаг, огромный, из белого кафеля; повара что-то встряхивали на противнях, выло пламя, шипели и фыркали соуса, мерно шумели приводные ремни — работали картофелечистки, мясорубки, шинковки. Из моечной тянулся пар. Стучали огромные поварские ножи. Было жарко, шумно, парно.

Николай Терентьевич двигался мало. У него было свое прохладное место — под лопастями вентилятора, у края оцинкованного «пирожного» стола. Здесь, расстелив вышитое петухами полотенце и поставив на него «прибор»: сахарницу, чашку, блюдце, — он целыми днями пил крепкий, как пиво, чай. Нарезал в него хваченное морозцем антоновское яблоко и сидел с блюдцем на трех пальцах — чудовищно толстый, отдувающийся, потный, чем-то похожий на статуэтку восточного божка.

И видел все.

От него ничего не могло быть скрыто.

По запаху он чувствовал — соленые судаки могут пережариться. Тогда кричал:

— Еремей, сатана, стыда в тебе нет!

Ему приносили пробы, но он никогда не пробовал — он утверждал, что «видит» на глаз качество пищи. И учил Антонину:

— Видишь муть? Во, оседает. Видишь?

— Вижу.

— И потому это не консоме. Поняла?

— Поняла.

И опять кричал:

— Гражданин Синицын, перемени халат. Срам тебе! И борщ заправляй! Времени не понимаешь?

Очень редко он вставал со своего места и шел по кухне из конца в конец. Повара, помощники, поварята — все застывали у своих мест. Вишняков шел в наглухо застегнутом, туго накрахмаленном халате, в поварском, голландского полотна колпаке, лихо посаженном и по-особому промятом, шел мелким, семенящим шагом, и лицо его всегда выражало

презрение и недовольство. Он смотрел чуть косоватыми серыми глазами, смешно морщил нос, приплюсывался и жевал губами. Руки он держал сзади, на спине.

Потом начинался разнос.

Антонина сживала у него подолгу. Ей нравился его цветистый, замысловатый язык, его преданность своему делу, хитрый блеск его глаз. Нравилась кухня — кафель, вой вентиляторов, сияние посуды и меди, пар, оживление, песни судомоек.

Вишняков поил ее чаем и ни о чем не спрашивал. Больше говорил с Федей. Это тоже ей нравилось.

Постепенно она разобралась во всей сложной жизни массива. Теперь она знала, что здесь живет до сорока тысяч народу, что Вишняков и Пал Палыч управляют питанием всех столующихся в столовой, что кормить очень трудно, что продуктов нет... Узнала, что Сивчук ведает достройкой корпусов, в которые должны вселиться еще семь тысяч рабочих, ведает достройкой детских ясель, очага, душевого павильона. Узнала, что Сема Щупак должен доставать продукты для столовой, уголь для отопления корпусов массива, мыло для прачечных, строительные материалы для построек. Узнала, что Сидоров отвечает за все это, вместе взятое, и еще за парк, за земляные работы, за однодневный санаторий, за массу других вещей, и не только узнала, а и поняла, чего все это стоит и Щупаку, и Сидорову, и Вишнякову, и Заксу, и всем тем, которые здесь работают.

Было трудное время, а людей надобно было кормить, и продукты для столовой нужно было доставать, потому что стоял под угрозой самый авторитет массива — нового города, новой столовой, нового клуба. Надо было снабдить бутербродами клубные буфеты — это был новый, хороший, чистый и уютный клуб, — надо было дать туда винегрет, селедку, каких-нибудь ватрушек, а не хватало даже картошки. Следовало подкормить детей, — а где было взять мясо, овощи, фрукты?

Не раз поздними вечерами, а то и по ночам, у Сидорова дома собиралась головка массива и все подолгу говорили о муке, о масле, о мясе, которые непременно надо было достать, «изыскать способ», как выражался Щупак.

Из своей комнаты Антонина слышала каждое слово — слышала ворчание Николая Терентьевича, глухой и спокойный голос Пал Палыча, слышала возмущенные выкрики Семы, рассуждения Закса, Сидорова, организовывались крольчатники, свинарники. Сема куда-то ездил, выменивал картофельные очистки из столовой на молоко, подписывал договора, собирал митинги. Вдруг привез шестнадцать бочонков маринованных грибов, и Николай Терентьевич в стенной газете «Пищевой работник» выразил ему благодарность.

Она слышала, как по ночам Пал Палыч, Сидоров и Вишняков составляли меню на день, как сокращались и сокращались порции, как охал Вишняков и как потом, когда все уходили, Сидоров часами шагал из угла в угол и бесконечно насвистывал одно и то же.

Она знала, что и строительных материалов не хватает, как знала и то, что такого-то числа, такого-то месяца столько-то рабочих семей непременно должно въехать в новые корпуса, потому что в старых хибарах Нерыдаевки жить больше нельзя.

Ей было жаль Сивчука, клявшего весь мир, жаль было Сему, жаль Сидорова, но она, как и Сидоров, его словами, рассуждала, что продукты все же достать можно и дома можно достроить, — надобно лишь действительно не жалеть для этого никаких сил.

Только однажды уверенность ее несколько поколебалась. Это произошло вот как: после очередного разговора, когда все ушли, она вдруг услышала, что в столовой кто-то размеренно, со вздохами, чертыхается.

Антонина встала с кровати и на цыпочках подошла к двери. Дверь из передней в столовую была открыта, и Антонина отчетливо услышала, как охает, ругается и сердито отсмаркивается Сидоров. Она быстро, как была, босиком и в халате, вошла в столовую. Он не слышал ее шагов и все ругался, держась за щеку рукою, словно болели зубы. И поза его показалась ей позой человека, вконец измученного и разбитого. Антонина тихо его окликнула. Сидоров резко повернулся и неприязненно спросил:

— В чем дело?

— Ни в чем... Просто мне показалось...

— Что именно вам «показалось»?

— Наверное, вы очень устали, — сказала Антонина. — Может быть, вам чаю согреть?

— Я не устал и чаю пить не буду... Я действительно ругался по поводу некоторых обстоятельств и главным образом ругал самого себя. Вам — ясно?

— Ясно...

Вздыхнув, она ушла. Видимо, сложно было строить Нерыдаевку.

С половины июня Женя перестала официально ходить в клинику, но бывала там почти каждый день. Когда Антонина сказала ей, что следовало бы все-таки хоть в последний месяц отдохнуть, она ответила:

— Не могу. Скучно.

И, немного помолчав, спросила:

— Разве тебе не скучно дома?!

— Мне? Нет. Я как-то и не думала, что я дома. Все хожу, хожу...

— Где же ты ходишь, — улыбнулась Женя, — гуляешь?

— Нет, просто смотрю.

— Что?

— Да здесь на массиве смотрю.

— А что ты думаешь насчет работы?

— В парикмахерскую?

— Почему обязательно в парикмахерскую?

— А куда же?

— Посмотрим, подумаем.

— Я вам много денег должна, — сказала Антонина, — но я скоро отдам.

— Глупо.

— Что глупо?

— Глупый ответ. Ведь я о работе не из-за денег говорю. Деньги тут ни при чем.

Антонина покраснела.

— Конечно, ни при чем, — сказала она, — конечно. Просто к слову пришлось.

— И не к слову, — сердито сказала Женя.

Антонина съездила на Петроградскую, собрала все свои зимние платья, все продала в комиссионный магазин, купила коробку мармеладу, дорогих папирос и вернулась домой.

Папиросы она подсунула Сидорову. Он взял, повертел, разрезал бандероль, понюхал. Потом спросил:

— Ну и что?

— Это вам, — краснея, сказала Антонина.

— Мне?

Она кивнула.

— Ну спасибо, коли мне, — сказал он и закурил. — Где достала? Сейчас ведь папирос нет.

— На толкучке, — робко сказала Антонина.

— Ворованные?

— Уж наверно ворованные.

— А зачем ты на толкучке была?

— По делу, — соврала она, хотя ездила на Обводный только для того, чтобы разыскать хороших папирос Сидорову.

Вечером она принесла Жене пачку денег и сказала, что деньги «в хозяйство и за долг».

— Откуда деньги?

— Ну, не все ли равно? Неворованные.

— Я знаю, что неворованные, — спокойно сказала Женя, — дело не в этом.

— А в чем же?

— Что-нибудь продано?

— Продано.

— Что?

— Платья.

— Нет, — сказала Женя, — я эти деньги брать не буду.

— Да почему?

— Потому что незачем было продавать вещи.

— Но деньги я должна была отдать?

— Да.

— Так как я могла отдать?

— Начнешь работать и отдашь.

Потом лицо ее сморщилось.

— Скорей бы родить, — сказала она, — ужасно боюсь. И такая я огромная стала, просто как автобус...

С Пал Палычем Антонина избегала встречаться: неприятно было видеть его волнение, замечать, как он бледнеет, как дрожат его большие белые руки, как протирает он в замешательстве очки.

Он был вежлив с нею, молчалив. Спрашивал о здоровье, о Феде и прощался, как только представлялась к этому хоть какая-нибудь возможность. Антонина не испытывала к нему никакой жалости, даже участия не было в ней к этому человеку. Он был ей чужим, совершенно посторонним и к тому же несимпатичным. Он казался ей ненатуральным. Он странно выглядел среди людей, работающих на Нерыдаевке, — в шляпе, в тонком пальто, с тростью. Она чувствовала, что над ним подсмеиваются и что его в последнее время не очень ценят как работника, что он вял, раздражителен, быть может, чванлив, — и подумывала о том, что его, вероятно, скоро уволят.

Его не любили очень многие.

Злейшим врагом Пал Палыча был Сема Щупак.

Не раз она слышала из своей комнаты, как они бранились у Сидорова, как Сема кричал, что этак дальше продолжаться не может, что Пал Палыч совершенно не учитывает обстановки, формально относится к выполнению своих обязанностей, решительно все сваливает на него, на Сему, и, видимо, считает, что если Сема в отъезде, а продуктов в кладовых столовой нет, то столовую вообще можно не открывать — пусть народ остается совсем без обеда.

Пал Палыч вначале спокойно и язвительно отвечал Семе, но, чем больше нападал на него Щупак, тем раздраженнее и непродуманнее становились ответы Пал Палыча, рассудительность порою изменяла ему, он вспыхивал и кричал на Сему, как на мальчишку, кричал о том, что ему мазали лицо горчицей еще тогда, когда Сема не родился на свет, и т. д.

Всем, видимо, делалось неловко.

Сидоров бубнил что-то успокоительное. Вишняков фырчал, Сивчук уходил пить воду на кухню из-под крана. Успокоившись, Сема говорил:

— Товарищ Сидоров, заявляю официально.

— Заявляй!

— Пусть Пал Палыч сам иногда побеспокоится: если я в Твери или в Петрозаводске, то из этого не следует, что картофель не должен быть завезен. Пусть Пал Палыч съездит на базу и организует доставку. Я не могу разорваться.

— Это не мое дело.

— То есть как не ваше?

— Очень просто. Я ведаю питанием, а не доставкой сырья. Я должен быть на производстве, а не болтаться по базам. Может быть, прикажете мне с вами и по области ездить?

— Какая ерунда, — возмущался Сема.

— Ничего не ерунда.

Однажды Сема назвал Пал Палыча саботажником. Антонина слышала из своей комнаты, какая наступила там тишина, как потом зафырчал Вишняков и как хлопнула дверь — Пал Палыч ушел. Опять стало тихо.

— Обиделся, — сказал Сема.

— Зря ты это, Семен! — сурово заметил Вишняков. — Цену словам надо знать. Мне Швырятых известен многие годы, не саботажник он, наврал ты!

— Может, и наврал! — печально согласился Сема. — Но согласитесь, Николай Терентьевич, у меня ведь тоже нервы есть...

Сивчук прервал загадочно:

— Если нервный — иди к ветеринарному доктору, он тебе кровь пустит. И никакой Пал Палыч не саботажник, а лишь только клиент.

— Какой такой клиент? — не понял Сидоров.

— Посетитель. Мы тут жилы рвем, а он посетитель.

Сидоров хмыкнул:

— Что ж, верно, посетитель.

На следующий день она встретила возле булочной Пал Палыча и окликнула его. Он снял шляпу и подошел к Антонине. Она не глядела ему в глаза.

— Здравствуйте, — услышал он, — мне бы хотелось с вами поговорить.

Что-то напряженно-ожидающее, даже торжествующее пробежало по его лицу.

— Нет! — сразу же испугалась Антонина (вдруг он все иначе растолкует). — Нет, Пал Палыч, я не о том. Все по-прежнему, все как было, ничего не изменилось и теперь никогда не изменится...

— Да, — кивнул он, — я понимаю...

— Вот и хорошо, — немного задыхаясь от волнения, продолжала она, — хорошо, что вы понимаете. Давайте пройдемся...

Она взяла его под руку и с подкупающей ясностью заглянула ему в глаза.

Вновь что-то пробежало по его лицу. Он отвернулся.

— Пал Палыч, — сказала она, — только не сердитесь на меня. Поймите все как следует. Хорошо?

— Да.

— Почему вы не работаете толком?

— Как — толком?

— Ну, всерьез, — горячо сказала она, — ну, совсем всерьез! Ведь недаром же они все к вам придираются.

— Даром, — сухо сказал он.

— Вы считаете, что вы не виноваты?

— Нисколько, — покашливая по своей манере, ответил он, — нисколько.

— Вы не хотите со мной говорить?

— Нет, отчего же, — сказал Пал Палыч, — охотно.

Она молчала.

— Да, — сказал Пал Палыч, — как будет с вашей комнатой? За нее нужно платить, и вообще с пропиской. Приходил два раза дворник.

Антонина быстро взглянула на Пал Палыча.

— Знаете, — сказала она, — вот ведь как странно. Раньше, когда я жила с вами или еще со Скворцовым, но когда вы бывали возле меня, мне всегда казалось, что вы хотите мне добра. Это так и было, да?

— Да, — глухо и тихо сказал он.

— Вы хотели мне добра, — продолжала она, — а теперь я вас боюсь. Мне все кажется, что вы размахнетесь и ударите меня вашей палкой по голове так, что я умру. И это не оттого, что вы меня тогда очень побиили, совсем не оттого. Ведь не оттого?

— Я вас не ударю, — сказал он.

— Да не в этом дело. Просто я вас боюсь. Вы ведь, в конце концов, вовсе не желали мне добра. Верно?

— Неправда, — сказал он.

— Ну как же неправда? То есть, вероятно, вы по-своему желали мне добра. Как своему шкафу вы желали, чтобы он не рассыхался.

— Кто это вас научил такое говорить? — спросил Пал Палыч.

— Ах, никто! Вам удивительно, что я сама это поняла?

Он молчал.

— А теперь вы больше не желаете мне добра, — говорила она, — теперь вы ко мне совсем плохо относитесь, и не верю я больше в вашу доброту.

— Ну вот еще, — сказал он, — я никогда и не хвалился, что добрый. Я люблю вас, и потому все так и случилось.

— Как «так»?

— Все равно.

— Все равно так все равно, — сказала она, — а я никогда вас не любила, сами знаете, и сейчас особенно вас не люблю, но по-человечески мне хочется вас предупредить.

— Можно не предупреждать.

— Нет уж все-таки. Слушайте, Пал Палыч.

— Да, — сказал он вежливо.

— Слушайте, почему вы не работаете?

— Я работаю.

— Но плохо, нарочно плохо.

— Лучше не могу.

— Почему?

— Вероятно, стар. Износился.

— Ведь это ложь!

— Нет. Мне на пенсию пора.

— Почему же на пенсию? Ведь вы все время работали, вы еще здоровы...

— Не знаю, не знаю, — сказал он, — вас что, уполномочили со мной побеседовать?

— Нет, — растерянно сказала Антонина.

— Так в чем же дело?

Он теперь стоял, странно вытянув шею. Эта привычка сделалась у него недавно и очень его изменила. Он опять покашлял и спросил, как поживает Федя.

— Ничего, — сказала Антонина.

— Думаете служить? — спросил он.

— Да.

— Так. И скоро?

— Да. Как только устроюсь.

— Что же, собственно, изменится, — спросил он, глядя на нее сквозь очки, — в смысле новой жизни?

— Как «что»? — не поняла она.

— Ну вот, вы ушли от меня, — сказал он, — даже сбежали, не правда ли? Живете на хлебах, как раньше говаривали...

— Я и у вас на хлебах жила, — резко перебила она.

— Нет, не на хлебах! Муж и жена обязаны друг другу помогать, это признано всеми...

— Ну?

— Что ж «ну», сбежали... А теперь опять в парикмахерскую? — Он сделал пальцами, будто стрижет. — Что ж нового-то? Где же счастье?! Вы все раньше про счастье рассуждали, — где ж вы его теперь найдете?

— Может быть, я и не в парикмахерской буду работать, — сказала она, — может быть, совсем на иной работе.

— На какой же? — мягко спросил он. — Расскажите.

— Не знаю.

— То-то что не знаете. Поверьте мне, — сказал он, — поверьте, для другой работы нужно уметь. А что вы умеете? Вы ничего не умеете. Вы маникюр умеете делать, а это к другой работе не имеет отношения. Вы горячую завивку умеете делать, но с этим вам дальше парикмахерской не уйти... А счета вы не знаете и пишете безграмотно, корову через ять...

— Вам это все очень приятно, — сказала Антонина, — вы бы хотели, чтобы мне трамваем ноги отрезало или чтобы я в один день состарилась на десять лет...

— Вспомнили?

— Вспомнила, — вызывающе сказала она, — я все помню...

— Давайте продолжим, — сказал Пал Палыч, — хотите?

— Нет, я пойду.

— До свиданья, — сказал он.

Потом он улыбнулся.

— За что же вы обиделись? — спросил он с жалкою улыбкой. — Я ничего худого не сказал. Я вам всегда желаю счастья.

— И потому едва меня не убили, когда я собралась уходить?

Он молчал.

— Я вас никогда бы не убил, — погодя сказал он, — никогда. Я этого даже не понимаю и не помню, как все случилось, верите мне? Это так было, от дьявола, как раньше говаривали. Я только тогда понял, когда вы уже без чувств были, да и то не совсем понял, а так, немножко. Верите?

— Не знаю, — сказала она, — все равно. Прощайте!

Он медленно пошел назад. Возле столовой он встретил Сему Щупака и машинально поклонился ему.

— Здравствуйте, — сказал Сема, — но вы ведь со мной не здоровались?

Пал Палыч смотрел на него непонимающими глазами.

— Если бы не усы, — продолжал Сема, — и не очки, и если бы вообще это был Лондон, то вы походили бы на Шерлока Холмса.

— Холмса?

— Именно. Знаете что, Пал Палыч, давайте помиримся, — предложил Сема, — но только совсем помиримся. Идет? Что вы уставились?

— Я с вами не ссорился, — сказал Пал Палыч, — это вы меня называли саботажником...

— И еще раз назову, если вы не станете иначе работать.

— Да?

— Да. Я предлагаю вам руку с тем условием, чтобы вы начали работать всерьез, не за страх, а за совесть. Какого черта, ей-богу! Все надрываются, а вы ходите как барий, среди своих душевных переживаний. Ну? Давайте мириться!

Сема протянул Пал Палычу свою широкую, пухлую ладонь. Но Пал Палыч руки не взял.

— Не желаете? — спросил Сема.

— Не желаю, — спокойно ответил Пал Палыч.

— Почему же?

— Потому что вы мальчишка, — сказал Пал Палыч, — и потому что не вам меня прощать! И оставьте вы, ради бога, меня в покое, — сказал он внезапно сорвавшимся голосом, — надоели вы мне...

Он быстро прошел мимо Семы в столовую и заперся в своей конторке. А Сема еще долго в этот день проверял, не обидел ли он действительно чем-нибудь Пал Палыча. «Может быть, он за Шерлока обиделся, — раздумывал Сема, — но, ей-богу, тут ничего обидного нет, — наоборот, приятно. И чего? Вначале так мирно, шляпу снял, то-се. А теперь такое!»

19. Все с начала!

Вечером она развязала свою еще девичью корзиночку с самыми заветными вещами: тут был заячий палантин, завернутый в старую-старую, совсем пожелтевшую вечернюю газету, школьные тетради, несколько учебников, записки:

«М. Н. сегодня так напудрилась, что если ее позовут к доске, то она может обойтись без мела. Ха-ха-ха!»

«У кого есть чего-нибудь пожевать? Если у тебя нет, передай дальше. Лена».

«Всем мальчишкам!!!

Перестаньте курить, а то скажем. Безобразие — из парты идет дым».

«Одолжи три к. (копейки). Рая».

Антонина удобно села на пол и одну за другой прочла все записки. Ей было и смешно, и очень грустно. Потом она нашла свой детский альбомчик — в бархате, с лодочкой под парусом на переплете — и прочитала то, что писали подруги. «Имя и число снегом занесло», — было написано в конце альбомчика. Мальчишки писали умное или ироническое. «Вперед без страха, без сомнения», — написал Котик Фуфаев. Рядом написал его брат-близнец Боря: «Только утро любви хорошо...» А Зелик приписал внизу: «Сентиментальных не люблю, а глупых просто ненавижу, холодный циник я в душе и остальное ненавижу».

Потом, все еще улыбаясь, она посмотрела свои ученические тетради — физику, обществоведение, химию, алгебру, арифметику. Вошла Женя, села тоже на пол рядом с Антониной и весело принялась за альбом.

— Интересно? — спросила Антонина.

— Очень, — хихикнув, ответила Женя.

В комнате были сумерки; приятно пахло от Жениных волос — она только что вымыла голову и сидела смешная, гладенькая и румяная. Антонина зажгла электричество. Вошел сонный Федя с мотоциклетным седлом и с зайцем. Теперь он не мог спать без этого седла.

— Ну-ка, раздень меня кто-нибудь, — сказал он, — я спать хочу.

— А ты ужинал?

— Ужинал, — сказала Женя, — молоко.

— Ну, пойдем мыться.

Антонина уложила сына в кроватку, укрыла его одеялом до подбородка и поцеловала в прохладный, вкусно пахнувший лобик.

— Теперь рассказывайте мне, — опять сказал Федя, обращаясь и к Жене, и к матери, — кто сегодня будет рассказывать?

— Я, — сказала Антонина. Ее немного огорчило то, что Федя так — слишком, по ее мнению, — привязался к Жене. — Сегодня я тебе буду рассказывать.

— Ну, рассказывай! — холодно согласился Федя.

Он лежал на спине, одной рукой обнял зайца, другую положил на мотоциклетное седло. Глаза у него были совсем сонные.

— Что же тебе рассказывать?

— «Почту», — сказала Женя.

Антонина села возле кроватки на стул рассказывать. Федя не шевелился, но и не засыпал.

— Житков за границу по воздуху мчится, — говорила Антонина, — земля зеленеет внизу. А вслед за Житковым...

— В вагоне почтовом, — сказал Федя и спросил: — Заяц спит?

— Конечно, — из своего угла сказала Женя.

— А тебе оттуда не видно, — заметил Федя. — Мама, спит заяц?

Антонина еще немного почитала, потом Федя сказал:

— Уже довольно.

И сразу засопел.

— Ну вот, — сказала Женя, — а мне еще рожать. Господи, когда это, наконец, будет?...

Антонина опять села на пол возле корзины и вынула учебники — Киселева, Вольфсона, Стучку, Цингера, Рыбкина. Книги были старые, не очень чистые, в потрепанных переплетах.

— Что называется трапецией? — спросила Женя. В руке у нее была «Геометрия».

— Трапецией?

— Да.

— Это такая штучка, — сказала Антонина и нарисовала пальцем на полу, — да?

— Может быть, и такая. Мне определение нужно.

— Трапецией называется, — улыбаясь, начала Антонина, — четырехугольник...

— Ну?

— Не помню...

— Правильно, правильно... Четырехугольник... Но что в нем есть такого?... Ну, посмотри на картинку...

Она показала Антонине чертеж, закрыв все остальное рукой.

— Как эту штуку определить?

— Не помню, — беспомощно сказала Антонина.

— Подумай.

— Да нет, не помню!

— Упрямая какая! Ну, а что называется точкой?

— Это я помню, — сказала Антонина. — Точка — место пересечения двух или нескольких линий. Она же граница линий. Да? А линия — граница поверхности. Правильно? Линия имеет только одно измерение — длину. Верно, Женечка?

— Верно, — сказала Женя, — не тормози меня, пожалуйста.

— Еще поспрашивай.

— Что?

— Ну, что хочешь. Наложение треугольников поспрашивай.

— Не наложение, а равенство. И не ори — Федя проснется.

— Мы шепотом.

— Нет, уж лучше пойдём ко мне.

Антонина собрала книги и пошла за Женей. Они сели на диванчик. Женя закурила папиросу. Антонина сидела, прижавшись к Жене, и смотрела, как Женя перелистывает книгу.

— Я сейчас так все вспомнила, — говорила она, — так вспомнила. И школу, и учителей. Как это все давно было, ужасно давно. Знаешь, я даже помню, как у нас в классе пахло — мелом и тряпкой. Знаешь — мокрой тряпкой. У вас тоже так было?

— У нас трупом пахло.

— Где?

— В анатомичке. Ну а про атомы ты что-нибудь помнишь? Про молекулы?

— Помню.

— Расскажи.

Антонина рассказала. Женя слушала внимательно, курила, стряхивала с папироски пепел.

— А чья гипотеза положена в основу всего этого дела, знаешь?

— Нет, не знаю.

— Так вот знай, — назидательно сказала Женя, — английского химика Дальтона. Запомнишь? Даль-тон. А названа еще греками — Демокритом, Эпикуром, Лукрецием. И атом — это значит неделимый.

— Неделимый, — покорно повторила Антонина.

Женя опять стала рыться в химии — выясняла, что Антонина помнит, что забыла. Потом Женя взяла физику, алгебру... Антонина покраснела от волнения — оттого, что ничего толком не знала, все было почти намертво позабыто, хоть поначалу и казалось, будто кое-что все-таки помнит.

— Да, худо, — наконец заключила Женя, — просто очень худо. Все надо с начала. И арифметики не помнишь?

— Не знаю.

— Дроби?

— Что дроби?

— Ну, помножь дробь на дробь.

Антонина взглянула на Женю дикими глазами.

— Что ты?

— Так просто. Когда папа умер, один доктор мне тоже велел дробь на дробь помножить.

— Так помножишь или нет?

— Нет, — вяло сказала Антонина, — не помню.

Они обе долго молчали. Женя о чем-то думала, Антонина сидела печальная, старалась не встречаться с Женей глазами.

— Ну, вот что, — сказала Женя, — слышишь, Тоня?...

— Что?

— Надо заниматься.

— А для чего?

— То есть как «для чего»?

— Вот для чего и для чего? Для чего заниматься? Завивать и брить можно без физики.

— Ты с ума сошла, — сказала Женя, — причем тут завивать?

— При том, что все кончится опять завивкой. Я ничего другого не знаю, не умею, наверное, не могу. И опять пойду в парикмахерскую.

— Это кто тебе сказал?

— Я сказала. А если даже и буду знать, что такое трапеция и что такое коллоид, — все равно парикмахерская. Трапеция и молекулы не специальность, с этим не проживешь.

— А с Пал Палычем проживешь? — грубо спросила Женя. — Проживешь?

Она встала с диванчика и растворила окно.

— Только, пожалуйста, не ной, — сказала она, стоя у окна, — этим ты здесь никого не удивишь, не напугаешь...

— Я и не собираюсь...

— И не огрызайся, — сказала Женя, — не злись! Ну, успокойся. Я подожду, а ты успокойся.

Женя высунулась в окно и долго глядела на деревья, на Неву, на зарево от города. Когда она обернулась, Антонина сидела спокойной.

— Ну что, — спросила Женя, — прошло?

— Прошло.

— Теперь давай рассудим, — сказала Женя, садясь рядом с Антониной и беря ее руку в свои ладони, — давай спокойно рассудим. Ты, наверно, волнуешься, почему, дескать, мы с Сидоровым все обещаем, а работы нет. Волнуешься?

— Да.

— Ну, вот видишь. Теперь слушай. Работа будет, и, вероятно, очень интересная.

— А что делать? — краснея пятнами от возбуждения, спросила Антонина. — Какая работа?

— Я не могу еще сказать какая, но очень интересная. За это ручаюсь.

— Мне любую, — сказала Антонина, — лишь бы не в парикмахерской.

— Вот уж и любую. Нет, с любой у тебя не выйдет, — Женя улыбнулась, — ты ведь каприза...

— Я?

— Да, да, каприза! С тобой, Тонечка, возиться и возиться. Только ты не обижайся, ладно? Это, может быть, не так и плохо, но Сидоров тогда — помнишь, в первый вечер? — много верно сказал про тебя.

— Спасибо.

— Видишь, ты уже и обиделась. А на работе с твоими обидами не очень будут считаться, — наплачешься. Там никто тебе в глаза заглядывать не будет — какое, дескать, у тебя сейчас душевное состояние...

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь! — сурово сказала Женя. — Ровно ничего, совершенно. И ты, к сожалению, не одна такая. Много вас еще — вроде тебя — голубушек. Нынче тридцать второй год, а тридцатый ты помнишь? Двадцать девятый? Двадцать седьмой? Для вашей сестры они, дорогая моя, ничем друг от друга не отличаются, кроме беременности, или дурных отношений с мужем, или новой шубы, или обмена комнаты. А между тем у людей за эти годы вырабатывалось мирозерцание, государство наше стало производить, например, трактора, построены огромные заводы, появились грандиозные типографии...

— Это что — лекция?

— Там увидишь. Людей обламывало, эпоха заставляла думать, принимать или отрицать, старые узкие специалисты заражались темпами, размахом, делались людьми нашими, формировались в активных строителей, а у тебя, душенька моя дорогая, даже характера еще нет. То есть, может быть, он и есть, но я в этом не уверена, да просто не знаю, есть или нет. Что у тебя есть и за что мы все тебя любим? Есть норы, перец, смысл какого-то будущего характера, гордость есть, хотя тоже неустановленная, есть упрямство, горячность. И вообще ты милая, — улыбнулась Женя, — милая, что поделаться! Что-то есть в тебе очень хорошее. А норы твой, — Женя помедлила, — норы твой, Тонечка, вещь опасная, — я бы так сформулировала. Он никак не направлен. Он — бессмысленное явление, понимаешь? Помнишь, как ты демонстрировала тогда на свадьбе свое счастье с Пал Палычем? Ох, как у тебя опасно глаза тогда блеснули! Как ты тогда кривлялась! И как ты на меня посматривала — с вызовом, с неприязнью, с насмешкой.

— А ты заметила?

— Как же это можно было не заметить? Да, о чем это я? О норе. Вот твой нора — ведь это нора был, правда?

— Норы.

— А к чему это дело вело: норы, гордость — все это вместе? К чему? К тому, чтобы вся жизнь прошла бок о бок с Пал Палычем. Голубушка, милая, норы этот еще надо обломать, надо, чтобы он работал на пользу, а не во вред. Зачем он, такой нора, нужен? Такая же штука в работе. Вот тебе захочется свое доказать, а тут, может быть, как раз другой прав, а не ты. Как раз бы послушаться, а норы и не пускает. А если бы ты работала раньше, все эти годы, тебя бы люди — то, что мы называем коллективом — уже обломали бы и норы стал бы неценимым твоим внутренним качеством...

— Ты это все к чему? — перебила Антонина.

Женя помолчала.

— Я думаю, — погодя сказала Женя, — что тебе надо, пока суд да дело, всерьез подзаняться.

— А зачем про норы?

— Чтоб ты его весь пустила в дело.

— В молекулы?

— Да.

— И в трапецию?

— И в трапецию.

— А почему ты сказала, что я капризная?

— Потому капризная, что отдельная. Сама по себе. И ничего, разумеется, не понимаешь. И вот с вами, еще ничего не понимающими, приходится возиться. Ведь вы — эдакие, особенные, возвышенные, имеете право капризничать, потому что не поняли самого главного, ну а некоторые не захотели понять. Пошли сейчас тебя на работу, ну, скажем, счетоводом или уборщицей в цех. Заверещишь! Не то, скука, подай тебе живое дело, ты не о том мечтала, ты — особенная. А того не понимаешь, что еще не все, далеко не все делают то, что хотят. Многие ли коммунисты работают там, где им хотелось бы работать? Нет! Партия направила, и все тут. Значит, надо! Вот бьется сейчас Сидоров мой с подстанцией нашей — сама слышала, как легко это все дается. А хочет строить нечто совсем другое. Недавно мне и говорит: «Склонности, наклонности — это все хорошо там, где начинается свобода, а какая у нас на Нерыдаевке свобода без электричества! Это еще не свобода, это — необходимость». Ты о таких вещах слыхала? А вообще, знаешь, скучно: думается — как люди сами не понимают, ведь это все так просто... Ну и баста! А сейчас займемся вопросом, ни разу еще нами не затронутым. Поговорим о том, как я буду рожать? Желаешь?

20. Целый мир!

В этот день она тоже встала рано, как вставала всегда, включила на кухне чайник и пошла в ванную полоскаться под холодный душ и петь там, как пела обычно Женя. Утро было сырое, мягкое, глуховатое — с грибным дождиком, немного душное. Ей было очень хорошо под душем, она пела и поднимала руки — то одну, то другую — высоко, туда, где вода еще вся вместе и холодна, сечется и режет. Потом она расчесала волосы и резким взмахом перекинула их назад — они легли густо и ровно; она это чувствовала обнаженными плечами и спиной. Заплетая косы, она опять пела — у нее было такое чувство, точно она получила подарок, удивительный, заколдованный — и что вот-вот наступит чудо. Ей казалось, что сегодня ее день рождения или именины, что сегодня все для нее. И почему-то ей хотелось быть благодарной и нежной. Прямо из ванной, в туфлях на босу ногу и в летнем платице со смешным карманчиком, она побежала вниз по лестнице и все еще пела вдруг вспомнившуюся песенку:

Огоньки далекие,

Улицы широкие...

Дождик моросил, и было приятно шлепать старыми туфлями по прозрачным свежим лужам, и чувствовать влагу и на плечах, и на спине, и немного убегать от дождика, бормоча старые детские слова: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Иордань, богу молиться, кресту поклониться».

На «проспекте» (проспектом жители Нерыдаевки называли еще не застроенную улицу-шоссе) Антонина догнала отряд школьников и школьниц — пионеров. Они, видимо, шли за город на экскурсию, потому что все были с мешочками за спиной и еще с какими-то баночками в руках, с удочками, с сачками, даже котелки были у некоторых. С ними шел молодой еще парень, длиннорукий, красивый, с тонкими бровями, в полувоенной форме. Дети шли стройно и в то же время как-то непринужденно, под барабанную дробь. Барабанщиком был совсем крошечный мальчик, стриженный под машинку, круглолицый, курносый, с ямочками на щеках.

Голова его, и плечи, и лицо — все было мокро от дождика; мальчик был серьезен и ступал своими еще по-детски косолапыми ногами в лужи. Он так был занят своим делом, так им совершенно поглощен, что где уж тут было разбирать дорогу. Над сандалиями у него виднелись синие, с белой трогательной полоской носки, и эти носки тоже были мокры, а мальчик все барабанил и все ступал в лужи.

Антонину почему-то необычайно и радостно поразил этот стриженный под машинку серьезный барабанщик, и она долго шла рядом с ним, счастливо улыбаясь и сбоку поглядывая на него. Ей пришло в голову, что ее Федя тоже когда-нибудь так пойдет и так будет барабанить и ступать в лужи, и у него носки тоже будут мокрые, до самой белой полосочки, и другие матери будут идти и заглядывать в его рожицу. Она заметила, что идет и следит за детьми не одна: рядом были еще женщины, и все они поглядывали на детей — с особой, милой, материнской жадностью.

— Куда же это они? — спросила какая-то полная, розовая женщина.

— В Тарховку, — сказали сбоку.

— Не в Тарховку вовсе, — поправила другая, — в Сестрорецк.

Потом Антонина увидела флажок и вспомнила, что это нерыдаевский отряд и что этот вожатый бывал не раз у Сидорова.

Она все шла и шла до тех пор, пока весь отряд не остановился у трамвайной петли. Тогда она поняла, что рынок остался сзади, и, оборачиваясь, чтоб увидеть барабанщика в синих носочках, пошла назад. Она еще видела, как дети один за другим исчезали в трамвае и как на них глядел вожатый — скоро ли, мол, сядете?

На маленьком нерыдаевском рынке она истратила почти все деньги, которые у нее были, купила масла, брынзы, две коробки папирос и копченого кролика — в тот год было и такое. Она знала, что дома очень плохо с едой и, кроме кислого хлеба, ничего нет. Потом она купила огромный букет полевых цветов и уже пошла было домой, но, вспомнив, что Женя на днях плакала — так ей хотелось кетовой икры, — принялась искать. Икры не было ни у одной торговки, и все они ухмылялись, когда Антонина спрашивала. Тогда Антонина купила какую-то красненькую рыбешку, — торговка сказала, что это «ерпень-конь», очень хорошая вяленая рыба. Какой-то рабочий спрашивал молоко и, вдруг обозлившись, назвал торговку ерпенью, а рыбу — жабой.

— Ей-богу, до чего дошли, — говорил он Антонине, — берут обычную жабу, обдирают ей ноги и, пользуясь трудностями, продают за рыбу. Я, старый рыболов, в жизни не слышал такой рыбы. Ерпень-конь! Ох, в милиции по ней плачут...

Антонине было смешно, и она все еще думала о барабанщике в синих носочках. Дождь перестал, но сделалось совсем душно. Когда она, возвращаясь, шла по массиву, ее догнал Пал Палыч.

— Это что у вас? — спросил он про копченого кролика.

— Тетерка, — сказала она.

Он покачал головой и поджал губы. Некоторое время они шли молча.

— Кажется, ваш Сидоров мог бы взять чего-нибудь из столовой, — сказал он, — имеет право. У нас хоть солонина сейчас есть, а вы собак покупаете...

— Это не собака, — обиженно сказала Антонина, — это, во-первых, копченый кролик, а во-вторых, вы сами берете что-нибудь из столовой?

— Когда было нужно, тогда брал, — сказал Пал Палыч спокойно, — и вы великолепно кушали.

— Что кушала?

Барабанщик в синих носочках пропал. Пропало и легкое, ожидающе-радостное настроение.

— Что кушала? — спросила она во второй раз.

— Все.

— Что «все»?

— Да я уж теперь и не помню, — вяло и неприятно улыбаясь, сказал Пал Палыч, — и масло кушали, и мясо, и осетринку, и икорку...

— Так ведь это был паек! — почти вскрикнула Антонина.

— Но кушали-с?

— Это вы из столовой брали?

— Из столовой-с!

Она почувствовала, что Пал Палыч нарочно прибавляет частичку «с», чтобы бесить ее.

— Значит, это было ворованное?

— Как хотите.

Она молчала. Он смотрел на нее сверху и улыбался с той наглостью, какая бывает, когда человек ждет удара.

— Это подло, — сказала она растерянным голосом, — это подло.

— Что ж тут подлого? Ведь помните? Я принес и положил пакетик на стол, вы возьми да спроси: «Это что — паек?» Так и стало называться пайком.

— Но вы не смели.

— Вот тут ошибаетесь! Смел!

— Почему же вы смели?

— Потому что не для себя, а для вас. Мне, как вам известно, совершенно ничего не нужно. А вы одно время, если припомните, очень увлекались едой. Припоминаете?

Антонина молчала.

— Припомнили? — с растяжкой спросил он. — Ну вот. Моего жалованья, на которое вы изволили целиком с ребеночком перейти, хватить в нынешних условиях, разумеется, не могло. Не правда ли?

— Подлец, — вдруг побледнев, сказала она, — гадина!

— Зачем же так круто? — спросил он все еще спокойно. — Ведь я брал еду и ничего больше. За что же подлец и гадина? Ваш Сидоров не берет — его дело, да ведь и я сейчас не беру. Мне лично не надо.

— Так, значит, я виновата в том, что вы воровали?

— Как вы все жалкие слова любите, — сказал он. — Это ужас просто! «Воровал!» Вы еще девчонка, а беретесь рассуждать. Что вы понимаете?

Он опять махнул рукой и остановился.

— Мне сюда, — сказал он, — до свиданья!

— До свиданья, — машинально ответила она.

Пал Палыч улыбнулся.

— А пока суд да дело, — не торопясь сказал он, — господин Сидоров себе прислугу организовал.

— Прислугу?

— Так точно. Господа небось еще спят, а вы на базар побежали. И цветочки к столу, и маслице, и заяц...

— Вы что, с ума сошли?

— Почему же с ума сошел? Сами посудите! Девятый час, вы уже на ногах — с базара бежите... Ах, Тоня, Тоня, вот она, ваша будущая жизнь, и счастье ваше хваленое...

Она повернулась и пошла домой. Щеки ее горели, сердце билось так сильно, что перед тем, как подняться наверх, она передохнула. Когда она вошла в свою комнату, Федя еще спал, лежал в кроватке весь раскрытый, и рядом лежали две самые главные игрушки — мотоциклетное седло, подаренное Сидоровым, и страшненький одноглазый заяц, чем-то похожий на того копченого кролика, которого принесла Антонина.

Во всей квартире было тихо, пахло сном и вымытыми вчера полами. Антонина вспомнила, как мыла вчера полы, и вдруг с гордостью подумала: пусть Пал Палыч утешает себя тем, что ее взяли сюда домработницей, она-то не маленькая, ее теперь ничем не обмануть, она знает, какие есть на свете настоящие, подлинные люди, и не отыскать нынче такой силы, которая оторвет ее от этого, милого ее сердцу, мира!

Не бойся умереть в пути.

Не бойся ни вражды, ни дружбы. А.Блок

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. Биография шеф-повара Вишнякова, рассказанная на досуге им самим

Сидоров неожиданно уехал в Смольный, совещание-летучка, назначенное на этот вечер, не состоялось. Пал Палыч покашлял в столовой и ушел, Женя с Семой Щупаком и Николаем Терентьевичем постучали в комнату к Антонине. Федя играл в войну, но вяло. «Ребенку спать пора», — сказала Женя. Сема Щупак прочитал непонятное стихотворение, потом они заспорили с Вишняковым, потом все пошли пить чай с повидлом. Федя уже спал.

— За такую повидлу надо строго наказывать! — сказал Николай Терентьевич. — Вообще за изготовление из хорошего продукта дряни карать надо!

Усы у него встали торчком, глаза округлились. Женя подмигнула Антонине и нарочно детским голосом спросила:

— Николай Терентьевич, а вообще хорошо готовить — трудно научиться?

— Наверное, ничего особенного! — вступил в игру Сема.

— Нет, почему же! — сыграла в свою очередь Антонина. — Есть поваренные книги, там все написано. Прочитаешь — и приготовишь?

— Да! — совсем вытаращился Вишняков. — Значит, к примеру сказать, инженер мост строит и тоже в книгу глядит? Или доктор лечит согласно своего карманного самоучителя?

Он оскорбленно хлебнул чаю и отставил стакан.

— Рассуждают, а даже чай заварить не могут.

Через несколько минут он горячо говорил:

— Учился я не год, не два, учился жизнь и сейчас еще учусь. А первым моим педагогом был некто Деладье, из французов, Густав-Мария-Жозеф Деладье, замечательный специалист и большой теоретик поварской науки, даже статьи писал и печатал в журнале «Поварское искусство». Он был последователем тоже француза одного, по имени Брилья-Саварен, и мне эту книгу французскую иногда вслух, с выражением, едва не плача от восторга, читал. Вот, например: «Гастрономия владеет человеком в течение всей его жизни; новорожденный с умиленным криком, слезами просит грудь своей кормилицы, и умирающий глотает еще с надеждой последнее питье, которого, увы, ему уже не переварить более!»

— Здорово! — сказал Сема Щупак.

— Еще бы не здорово, — усмехнулся Вишняков. — В каждой профессии есть свои классические труды — какой же ты повар, если эти труды не изучал. Конечно, не все, что писал Ансельм Брилья-Саварен, нам подходит, но если он пишет в своих афоризмах профессора, что «кто принимает друзей, не заботясь сам о приготовляемом для них угощении, тот не достоин иметь настоящих друзей», то возразите, товарищ Щупак, попытайтесь?

Сема пожал плечами.

— То-то! Конечно, бывает, сидят два человека за столом, и один испытывает удовольствие от предложенной еды, а другой сидит, только глазами хлопает. И опять же правильно утверждал Ансельм, что «государство вкуса имеет своих слепых и глухих. Но можно ли на них равняться?»

— Нельзя! — опять незаметно подмигивая Антонине, сказала Женя.

— Так же, как, допустим, обоняние, — продолжал Вишняков. — Шуточки оно в нашем деле? Потребитель ничего не скушает без того, чтобы наперед не нюхнуть. И тут Брилья-Саварен правильно дает свой афоризм: «Нос выдвигается вперед, как передовой пост, который бдительно должен воскликнуть: кто идет?»

Щупак хихикнул, Женя строго шикнула на него.

— Почему во время приема пищи человек испытывает особые приятные ощущения? — грозно спросил Вишняков у Антонины. — Потому что человек «осознает вознаграждение пищей наши потери и способствование продолжению жизни».

— Это тоже Брилья-Саварен? — спросила Женя.

— А кто ж еще? Товарищ Щупак, что ли? — осведомился Вишняков иронически. — Нет, это Брилья-Саварен, которого, к сожалению, еще не изучают в наших школах поварского ученичества, о чем я где следует поставлю вопрос. Но дело не в этом! Как меня учил Деладье? Учил сначала огню: как топить плиту, к чему в огне давать волан, что такое кипение бульона, зачем огонь сокращать и душить, к чему петля, что такое — придушенный пар и Марьяна баня, когда идут березовые дрова, когда сосна, зачем калить духовой шкаф и как держать ровную температуру.

Учил, конечно, соусам — пикан, субиз, шоссер, бордалес — учил таким соусам, что под ними пареного черта съешь и пальчики оближешь. Учил жарить. Учил заваривать супы-пюре. Ну и, конечно, шинковка, специи, учил угря готовить, спаржу, камбалу, бресскую пулярду на старинный манер, учил яичницам — триста способов яичницы и девяносто два омлета. От Лукулла и до вторжения варваров рассказывал истории про питание человечества. И сам так при этом свою профессию уважал, что иначе как в крахмальном воротничке и галстуке под халатом работать не мог.

И как работал!

Голос у него был гортанный, пронзительный, нос длинный, тонкие ноги и, вообразите, — круглое брюхо.

И вот на этих длинных ногах он по кухне прыгал, как кузнечик, и все вскрикивал, что пусть посмотрит бог, а он ни при чем, бил себя руками вот этак, свистел песни или вдруг смеялся с девушками с нашими, а то подскочит к очагу и начнет грохотать посудой — одну туда, другую сюда, крышку поднимет, понюхает пар и по запаху соли подсыпет. Вот как.

Он по запаху знал, довольно соли или нет.

Он все знал, но работал прыжками, и оттого погиб.

Научив огню, стал меня Деладье учить рыбе да холодным закускам, а уж потом пошли мясные блюда, жаркие и подливы. Не видел я большей силы в подливах за всю мою жизнь, чем у покойника Деладье. На подливах мы с ним сдружились. Я ему как-то посоветовал в итальянский соус спирту, стоенного на вишневых косточках, подлить, он на меня поглядел, хлопнул по плечу и говорит: «Ты будешь артистом».

И оказал мне честь: велел свой нож поварской на особом калабрийском камне поточить.

Доверил.

И стал я не учеником, а главным помощником.

Тут он меня в тайну принялся вводить: секреты свои передавал, учил, как козлятину на вертеле жарить, учил тесту, учил галантинам, рассказывал, как французские монахи шпигуют

каплунов.

Отучился я у Деладые, попросились мы с ним по-доброму, проводил он меня на вокзал, и пошел я ковыряться по жизни-мачехе. Отбыл из имения князей Вадбельских в город Петербург.

Ай, думаю, город! Ай, красотища!

Очень много удивлялся. Вдруг вижу — мосты разводят. А я никогда не думал, что мосты можно разводить, предполагал от своей серости, что они накрепко в речное дно вделаны. Или — вдруг ночь, а светло, даже неприятно стало, хотел удирать, но тут вакансия оказалась у контр-адмирала в отставке, некоего барона Турена. Конечно, экзамен: закрытое блюдо, чтобы никто из поваров не мог точно определить, из чего мое закрытое блюдо изготовлено, а по вкусу высшая бы вышла отметка. Изготовил я омлет по старинному способу от семнадцатого века, с сыром, вином, мясным соком и тертым яблоком. Повара очень похвалили, главный из них — дооновский, некто Жирар, — даже слезу подпустил и тоже назвал меня будущим Лефре — это у французов вроде Оливье, но похлеще, понахальнее.

И началась моя кошмарная жизнь у Турена. Есть что вспомнить. Помню, вошел я в первый раз — и точно ослеп: блестит все, инструменты заграничные на полках стоят — рашперы, устричницы, жаровни немецкой работы, каменные кастрюли мал мала меньше, — ну, в общем, как теперь говорят, все на технической высоте.

А повар плохой — без выдумки, без положенного нашему брату тонкого вкуса, и еще больной — хронический насморк у него, сами понимаете, какой уж тут повар, когда он и понюхать ничего не может.

Ну, взялся я.

Забрал меня инструмент этот, вертела с трещотками, гореловские кофейники, ручные очаги и кладовка еще: тонкие, восточные, большой цены специи.

Навел порядок, то, другое, стараюсь — покажу, думаю, Петербургу, что значит еда. Только начал, вдруг вызывает меня мой адмирал к себе в кабинет. Ну, вхожу, — он в кресле вот так сидит, ноги одеялом закрыты, борода вперед, торчком, глаза светятся, как у кошки.

— Ты, — спрашивает, — этот... повар?

— Да, — говорю, — я.

— Ты, — спрашивает, — отравить меня собрался?

— Нет, — отвечаю, — что вы, ваше превосходительство, зачем?

— Ну, — спрашивает, — а почему у меня этот... желудок расстроился?

Я молчу. Не знаю ведь, почему у него желудок расстроился.

Только через месяц узнал — в тюрьме. Оказывается, прежний повар, чтобы мне отомстить, соскабливал с нелуженой медной посуды зелень и тайком зелень эту ядовитую бросал в адмиральскую пищу.

Полгода, товарищи, просидел я в тюрьме. А когда освободили — мне уж не весело. Какого, думаю, черта?

Вышел я из тюрьмы на улицу, гляжу — весна, колокола звонят, великий пост, ручки, воздух словно квас. Постоял, поглядел — и в трактир.

— Налей, — говорю, — хозяин, стопочку.

Проглотил.

А потом в ночлежку.

Улегся на нарах, положил руки под голову и спрашиваю себя — что же, дескать, дальше будет, Николай Терентьевич?

А дальше и совсем несуразно стал жить. На войну меня забрали — с японцами воевать. Сначала воевал, а потом просто так: не было у нас ничего — ни патронов, ни снарядов: в нас стреляли, а мы нет — нечем. Сидим и ждем, пока в плен возьмут.

Потом в интендантство позвали поваром, после ранения, а тут и войне конец, опять в Петербург поехал. Ну, то, другое, походил по особнякам. «Не нужно, говорят, вида, говорят, у тебя поварского нет: тощий и морда как у каторжного — проваливай». — «Ладно, говорю, извините, что потревожил».

И отправился я бродяжить.

Уж действительно повидал!

Поваром плавал по Волге от Рыбинска до Астрахани. Дрянное дело — работать на пароходе: пассажир пьянствует, купец гуляет, кочевряжится: то ему то подай, то ему другое, крик, срам, безобразие, а повара плохие, не повара, а шарманщики; греха таить нечего, на пароходы хорошие повара не шли — хорошему повару на пароходе неприлично, он там квалификацию терял.

После парохода пешком шлялся, всего повидал — морей и озер, лесов и пашен. Большая была Россия наша, да неудобно человек жил, унижался, кишки рвал, а все без толку. День прожил — к смерти ближе. А какой в смерти смысл — верно?

Ну, в Курске служил — в ресторане, в Орле, в Воронеже, в Туле. Послужу да уйду — все противно.

На экспресс попал в вагон-ресторан по линии Петербург — Варшава — Берлин. Тоже, скажу я вам: работаешь, а под тобой все трясется. В шкафах посуда бренчит, кастрюли по плите то туда, то сюда ездят, инструмент валится, рук не хватает. А с другой стороны, железнодорожные происшествия — то буксы горят, то крушение, то царский поезд график нарушил, едешь-едешь, трясешься-трясешься — ну его совсем! И главное, обидеть никого нельзя; контролер — взятку ему: вместо обеда целого гуся зажарь, а как гуся в духовке паршивой зажаришь? Ведь не зажарить. Ну, конечно, обида. Или вдруг директор дороги со всем своим выводком на курорт едет и желает рябчика? А у меня рябчика как раз нет. Опять скандал. Сядешь, бывало, возле окна, подопреешься вот этак и глядишь на березы, что у полотна прыгают, на дым паровозный, на мокрые деревни... Эх, думаешь, жизнь.

А официанты свое: просовывают голову в кухню, кидают марки и орут:

— Беру один крем.

— Консоме беру.

— Одно беф-брезе.

— Николай Терентьевич, заказываю порционное — утку под соусом один раз.

— Пломбир беру.

Там пробки хлопают, там люди едут, а ты тут разрываешься на части, да хоть было бы для кого стараться: генерал однажды денщика на кухню прислал, чтоб тот ему форель сам приготовил, — не привык, дескать, генерал ресторанную пищу есть.

Ну, я и скажи денщику, что форели у меня нет, а если бы и была, все равно на кухне я хозяин и никого у плиты не потерплю...

Денщик пожаловался метрдотелю вагонному, тот на меня — орать. Я его тихонько за грудки взял да из кухни в тамбур — раз.

— Успокойтесь, говорю, простыньте.

В Варшаве меня высадили.

Красивый город, большого искусства в нем кондитеры. Поучился немного. Рог изобилия видели? Так вот это его в Варшаве придумали, тамошние кондитеры.

Опять Петербург.

Все было ничего, да кисло.

Тоска и тоска, прямо хоть водку пей — скучно.

Женился, конечно. Положу, бывало, ей, Анне Иосифовне, голову на колени, поскулю малость — что, дескать, Аня, такое, на кой дьявол вся эта музыка? Потом водки выпью и газету почитываю...

Ну, как раз в эту пору жизни сделалось у меня одно знакомство, которое сильно на меня повлияло и многое мне разъяснило. Человек этот, нынче уже геройски погибший, многое мне разъяснил, литературу стал давать для прочтения, нелегальщину так называемую, и вовлек в группу людей, которые очень мне понравились. И стала у меня кличка Слива, почему — так и не знаю.

Служил я тогда в первокласснейшем ресторане. Пал Палыч Швырятых там как раз директором был. Красивый тогда мужчина, строгий, холодного сердца и большого презрения к людям.

Да и правильно! Разве ж людей мы тогда обслуживали?

Одно дело — вкус, свежесть продукта, научное ему потребление, а здесь?

Перво-наперво надоели мне обжоры, то есть так надоели — видеть не могу: придет, бывало, такой гад на кухню, и начинается... Поддай ему рябчика, да чтоб подванивал — особая, вишь, гастрономия; поддай ему рыбку да молока свежего — он ее «в молочке, миленькую, вымочит, и станет она мягонькой». Поддай ему медвежатинки — теперь, дескать, медвежатинка в моде.

И сам трясется, и слюна вожжой, и так пищу охватит, и этак, и понюхает, а фантазии настоящей нет, искусства нет, взгляда поварского орлиного нет, и самого главного — аппетита — нет, оттого он, мерзавец, и выдумывает, оттого на кухню и лезет, оттого вонючую дичь и жрет, что объелся, что ничего в глотку не лезет, а ведь, кроме как жрать, у него в жизни никаких делов нет — вот с ума и сходит...

Гонял я, конечно, обжор этих.

Разве ж можно?

На кухне чистота, а они в пиджаках, да в сюртуках, да во фраках лезут, вид портят, блеск.

Руки у них неумелые, посуда падает, разве ж можно посуду ронять? Чмокают, причитают, вертятся, и вот вам нет настоящей стройности, движения нет нормального возле очага и столов, — одним словом, помеха.

— Нет, говорю, позвольте вас отсюда попросить... Женке своей можете указывать, а не мне. Меня учил француз Густав-Мария-Жозеф Деладье, я всю гастрономию знаю, всех веков и народов, и всю тонкость блюд, но гнилое мясо не позволю. Разврат, говорю, это, безобразие, желаете — жалуйтесь директору, вторая комната по коридору налево.

Нажаловался один — опять меня выгнали...

И правильно, что выгнали.

Нельзя было меня в это время не выгнать.

В то время, дорогие товарищи, если у повара что плохо жарилось, он брал фунтовку сливочного масла и кидал то масло в огонь, чтобы усилилось пламя, — вот как работали знаменитые повара.

Но я был против.

И обидно мне было, когда рыбу вымачивали в молоке, а потом молоко выливали в помойку.

И не мог я переносить, когда из целого окорока давился сок для одного лишь клиента, чтобы подать ему в соуснике к его котлетке за двадцать два рубля. Не мог я видеть, как в блюде с пудингом-дипломат, совершенно даже нетронутым, окурки торчат и разное другое безобразие. Не мог равнодушно к этому относиться.

Не так меня учил покойник Густав-Мария-Жозеф Деладье, не так я сам думал, и не это говорила мне вся моя практика. В чем наше искусство?

В том, отвечаю я, чтобы вся пища шла на пользу человеку, до одной капли, до последней крошки, и притом вкусная. И я заявляю:

Масло в огонь мы никогда не кинем, и молоко в помойку мы никогда не выльем.

На молоке мы сделаем варшавское тесто и получим рог изобилия.

А при помощи масла мы создадим крем.

Что же касается огня, то он будет пылать в наших очагах, потому что мы позаботимся высушить дрова.

А рыбу мы приготовим на основе наших кулинарных знаний.

Но пойдем дальше, расскажу до конца свою биографию. Вы слушайте, молодые товарищи, вам полезно.

Сел я в тюрьму во второй раз.

И если в первый — без вины виноватым будучи, то во второй раз — за дело. Революцией стал заниматься, засадили и отвесили по-царски.

Вернулся в Петербург, а он уже вовсе другой.

Ну да и я не прежний — измотали меня тюрьмы да этапы.

Позакрылись различные рестораны, адмиралов тоже — кого расстреляли, а кого посадили;

мы, повара, — в отставку; не больно много из мертвой конины делов наделаешь. Сижу я в своей квартире на Екатерингофском. Эх, думаю, контр-адмирал князь Вадбельский, сделал бы я тебе де-воляй за пропащие мои годы — не подождал ты, сам умер. Сидел я так-то, думал, читал различные книги различных писателей: Гоголя, Ибсена, Мамина-Сибиряка и «Дон-Кихота». Дюма «Двадцать лет спустя» попалась. А также жильцов квартирных учил конину готовить — очень нравилось-то всем — и соус пикан с уксусом и специями. Как жрали-то, господи! Хлеб пек из картофельной шелухи с отрубями, компот варил бог знает из чего, — жизнь!

Вдруг внезапно приходит ко мне паренек с винтовкой — были тогда такие отряды по ущемлению буржуазии, — вручает повестку явиться срочно по такому-то адресу. К этому времени я немножко, чуть-чуть, поправился, ноги уже ходили — хоть и не шибко, а все же передвигался. Являюсь. Так и так — вы направлены заведовать отделом общественного питания Василеостровского района. Вот так здравствуйте, вот так добрый день, вот так с праздничком! Ну, занялся. Год самый голодный: прибудет вагон картошки мороженой — ее ломками разбивают и в суп. Воровство несусветимое. В какую столовую ни зайду с комиссией со своей, сразу на кухню жулье сигнал дает, и там повара пар такой подымут — ничего не видно, в это время все выносят, чего пожелают. Ну, меня на мякине не проведешь. Собрал два собрания, заострил вопрос, обратился в ВЧК, перестали пар по кухням пускать. Сварили суп довольно приличный, с кониной, верно, но все ж жирность дали, — повалил трудящийся народ в мои столовые.

Тут голодуха спадать начала, кончилась моя французская гастрономия пополам с отрубями. Но времечко, конечно, есть что вспомнить — вор на воре в нашей системе околачивался, все воровали, и все всё меняли: воблу на пуговицы, пуговицы на сахарин, сахарин на олифу, олифу на бычьи пузыри — попробуй разберись в этих махинациях, да еще с моим образованием. Распалился я тогда, правду скажу, нечего греха таить. Бил я воров поленом, ногой пинал, не давал им ходу к кладовым и ларям. И меня, конечно, били. За мороженный репчатый лук били смертным боем, что не дал вынести полкуля за ворота. И свои же работники общественного питания били — на кирпичах, возле помойки. Как зашкварили ломом — из меня и дух вон. Очухался, горько стало: за вас, думаю, черти, по этапам мыкался, а вы что?

Короче говоря, отбили мне воров ливер, ушел я с ответственной работы обратно к плите, поскольку нэп открылся. К частнику не стал наниматься, нанялся к товарищу Печерице некоему, в ресторан номер три. Должны мы были с частником конкурировать и способом здоровой конкуренции его вытеснять. А товарищ Печерица мой — ну ничего в нашем деле не смыслит. Контуженный сам, артиллерист из тяжелой артиллерии, а тут — здравствуйте, добрый день, ресторан номер три. Ремонт, конечно, сделан, фикусы поставлены, картина с печальным сюжетом на стене висит — «Смерть рыбака», чистенько, а посетителей ни одного.

Подумал я, подумал и повернул все заведение на два зала: один зал — поменьше — с подачей алкогольных напитков, это где «Смерть рыбака» висела; а другой зал — нижний — чайная, и чай парами, с колотым сахаром, чистота, баранки, варенье, газету можно почитать, за выпитие водки вывод из чайной и милицейский протокол. А наверху — пельмень, знаменитый, сибирский, тонкого теста, с горчицей и уксусом, кто желает — суточный, жареный, кто желает — с тертым сыром, для каждого по фантазии, но в основе мой пельмень — страшного действия, доброго вкуса и высшей силы.

Может, оно и нескромно, но только нет пельменя в Ленинграде лучше моего.

В моем пельмене посредством искусства французской гастрономии и глубокого знания сибирской кухни с лучшими ее традициями соединены в гармонию тонкость французов и мощь сибирского брюха. Мой пельмень — легкий пельмень, мелкий, золотистый на просвет в

сваренном виде, но злой на вкус, как сам сатана. Мой пельмень сработан из простого продукта, посредством смешения говядины и свинины в определенной пропорции, но ему придан вкус заварным, укропным, винным уксусом, зубровой травой, кавказскими специями, зверобоем, набором перцев и лавровым отваром двухдневной крепости.

Вот этим самым пельменем и был раздавлен насмерть конкурент-частник. Вышибли мы его из седла, сдал он патент, а мы прихватили еще и его помещение под диетическую столовую. На части разрывался я. Изучал литературу по научному лечебному питанию. Ну и чайная, конечно, — никуда не денешься. Баранки сами пекли, ватрушки пустили с творогом, слоечки недорогие, специальные заварки для таджиков, узбеков — для гостей приезжих...

В двадцать седьмом перебросили меня в особый санаторий для желудочно-кишечных больных. Великое дело, скажу вам, товарищи. Различные рабочие люди, служащие, ученые, инженеры, химики, прочие приходили к нам в последнем виде — желтые, зеленые, худые, только-только гробов с собой не несли — ну прямо с кладбища граждане. Ан нет. Вступилась тут в бой с их тяжелыми недугами великая медицинская наука и гастрономия в моем лице. И задача была простая, обыкновенная — заставить больных граждан есть потребные им для здоровья различные каши, и кисели, и рагу из овощей, и компоты, и овощи натюрель, и прочее, и прочее. А как заставить? При помощи вкусного приготовления научно разработанных пропорций. Как вкусно приготовить? При помощи огня. А как при помощи огня? Овладев его техникой.

И тут вспомнил я уроки Густава-Мари-Жозефа Деладье. Вспомнил я силу огня, и тягу, и работу трубы, и особый огонь-волян, и петлю, и придушенный пар, и масляный огонь. Перестроил очаг, новые котлы вмазал, переставил духовые по французской системе и начал работу под руководством профессора Андрея Никодимыча Кащенко, да будет ему земля пухом — хорошей души был человек. Он мне сказал:

— Ваше, Николай Терентьич, дело — вкус, а мое — пропорции; как хотите, так и вертитеесь. Без меня — ничего. Со всякой чепухой прошу ко мне.

Поглядел я тогда на него волком. Ах, думаю, фрукт, может, ты мне кирпичи прикажешь варить в соусе из дегтя, что же мне тогда делать? Но ничего, без кирпичей обошлось.

Затруднительно, конечно, сначала казалось.

Каши я варил — овсянку, перловую, гречишную, размазную, крутую, пшено варил, манную, саго, рис... На разный манер, и все изобретать приходилось. Думал много, вместе с профессором Кащенко опыты делали в смысле улучшения вкуса. Вот там и открыт был плум-пудинг «Футболист» — хорошая еда и полезная при остром катаре желудка; там же разработали мы кашу «Силач» номер четырнадцать и «Силач» номер семнадцать — для почечников. Супы тоже — под девизами даже на конкурс послали два супа, «Авиатор» и «Шофер», а девиз был оригинальный: «Больной, много ешь и много пей — сразу будешь ты бодрей». Это я придумал. Премию получили по четвертному, ей-богу. Так и жил.

Ну и, конечно, витамины. Салаты там, винегреты, просто помидоры с огурцами — без конца. Много навывдумывали. Вы, товарищи, учтите — ни уксусу, ни перцу, боже сохрани! Как тут вкус придашь? Ничего, придавали. Настоящий получался вкус — серьезный, без срамоты и без дураков. Такую, бывало, подливу сфантазируешь — самого удивление возьмет. Ну и название: салат там «Мы кузнецы», соус «Арктический». И весело, и настроение хорошее, и больные тоже хихикают. Дела были.

А самое лучшее в то время — это вечера, конечно. Выйдешь к ужину на террасу — воздух тихий, еловый, густой, больные с аппетитом чавкают. Ну и уважение, конечно. Греха таить не буду — гордость во мне есть большая, а в то лето поползла уже обо мне слава, что вот, дескать, шеф Николай Терентьевич Вишняков — настоящий мастер. Выйду, бывало, в

прозодежде, в халате, в колпаке, в манжетах черной шелковой клеенки, папироску закурю — и к докторам. Тоже чудачки — профессором меня называли. Ну, с другой стороны, почему в нашем деле профессоров нет? Почему?

Большое, скажу вам, удовольствие слушать, как человек кушает. Сажу на террасе, а кругом — треск. Так, думаю, так, навалились, трудящийся народ, на калории, на белки, на витамины в окружении вкусовых качеств. И ведь все это своей рукой сделано, заправлено, ароматизировано. Не придал бы вкуса — меньше бы ели, меньше бы ели — смертность бы увеличилась, потому что, как я лично утверждаю, пища есть наш первый двигатель, а такого мнения, кстати, держался и сам Брилья-Саварен, так что ваша ироническая улыбка, товарищ Щупак, здесь совсем не к месту.

И конечно, интересно мне было смотреть, как при помощи супа «Авиатор», или каши «Силач», или заварного плум-пудинга «Футболист» возвращаются человеку кровь и мускулы, и различные веселые улыбки, и нормальное действие, я извиняюсь, желудка. Очень интересно и приятно. И провожать партии больных я тоже всегда непременно ходил. Иду с тростью своей, пыхчу (одышка у меня сделалась от тяжести брюха) и рассуждаю: «Вот вы теперь выписываетесь, совершенно здоровые граждане, ну и дай вам бог, живите себе свободненько».

Хорошее было время.

Но прибыл циркуляр, чтобы подготовил я себе срочно смену в виду некоторых новых перспектив и в связи с тем, что назначен я в инспекторскую поварскую спецназначения тройку.

Готовлю смену.

Работаю.

Думаю.

И кстати сказать, еще одно размышление по поводу этого самого лечебного питания. Извините, конечно, за грубость, но только форменный сукин сын тот повар, который лечебное питание не желает изготовить вкусно. Ежели человек хочет, то все может подать так, что пальчики оближешь, а если ему лень, то он и, рябчика изгадит, не то что запеканку или капустные котлеты.

Тут и отозвали меня на историческую стройку, на тракторный. Попал я на фабрику-кухню, но только еще без подъемника, без электропроводки; то света нет, то вода не подается. А первый наш трактор уже выпущен. И очень тяжело народ работает, различные неполадки, техникой еще не полностью овладели; бывает — люди расстроенные, ругаются, кушать придут, и тоже очереди, пища нехорошая, одно слово — не блюдо подается, а выход в граммах. Был у нас начальником некто Галенышев — золотой мужик, коммунист старый и повар-художник. Обсудили мы с ним наше ужасное положение и все-таки открыли фабрику-кухню. Закуски были холодные: балык, салат-помидор, канапе — прожаренная булка с лососиной; на горячую закуску почки дали, форшмак, селяночку на сковороде; первое — консоме-рояль, пять пирожков разного теста, затем рыба и к ней картофель де-фин, тип суфле, — никто не умел делать, сам и стоял. Конечно, куры супрем, мороженого ели кто сколько хотел. Качали нас, поваров, прямо как были, в халатах. Галенышев — мужчина двужильный, но я по состоянию здоровья два дня лежал — ноги опухли, однако же никогда не забуду, как рабочий народ за этим обедом нашим о своих тракторных делах беседовал. И означает оно что? Означает, что не последнее наше занятие поварское для человеческой жизни.

Потом руководил краткими поварскими курсами, дал начатки знания. Конечно, не все, но

основы дал, заповеди главные поварские, чтобы до века запомнили: мясо для супа в горячую воду закладывать — грех смертный, незамолимый! Белок-то заварится! Ну и прочее, — например, что курицу не только сушить в духовке можно, а из нее вовсе тридцать блюд с легкостью повар сделать должен, а если не знает как, то это не повар, а портач, и надо его из кухни поганой метлой гнать.

Тут опять отозвали сюда, на Нерыдаевский жилмассив.

Пошли трудности. Затирает с продуктами, а плюс к тому специальное детское питание, две чайных, холодные закуски и снабжение армии строителей, которые, к стыду нашему и позору, до сих пор на досках кушают и невской водицей запивают, отчего случаются резко отрицательные желудочные явления, потому что рабочий человек должен горячее кушать, и ответственность за это лежит на нас. Что мы сделали?

Во-первых, самозаготовки начали: кролик для пищи — сильной полезности зверь, опять же свинья или, скажем, грибницы — шампиньоны поразводили, черный французский деликатесный гриб трюфель, сморчок и ряд прочего. С трудом, но получалось. Росли грибы, свиньи жирели на сладких кормах, стихийно размножались крольчихи-матки. Всякое животное и всякое ничтожное даже с виду растение, как, скажем, споровой гриб, требует к себе ухода, и ласки, и особого хозяйственного глаза-догляда, и заинтересованной хозяйской руки, то есть отношения. А коли имеется отношение, — значит, имеется все и, значит, можно сидеть и ждать, покуда поросая матка опоросится, и покуда на грядках поспеет витаминное растение — цветная капуста, и покуда посыплются продукты в закрома. Природа — она, товарищи, яростная и отдает вдесятеро, коли есть догляд. А догляд, как я считаю, есть, и уменье, поскольку хозяин всегда хочет уметь. А раз хочет, — значит, и может, и умеет, вот как я автоматически ставлю вопрос, и пусть мне возразят, если я высказался неправильно.

Но пойду дальше!

Удалось нам, и это вы, товарищ Щупак, знаете, запасть складскими помещениями под картофель. Удастся помаленьку и свиноводство.

Но хвастаться еще особенно нечем. Это я точно говорю. И есть даже у нас крупные просчеты и недоделки именно в увеличении калориями и витаминами за счет вкуса и потребительских склонностей нашего трудящегося клиента. А на вкус плевать мы никому не позволим, не позволим, хотя с термометром, барометром и другой разной техникой нашему брату шефу куда как спокойнее. Да и если дело только в витамине, то можно договориться и до того, чтобы клиент наш встал на четвереньки и принялся за травку, вроде овцы или вола. И тут у нас происходит борьба, крупная борьба, и еще не законченная. И тот, который считает, что поварское дело — пустяки, тот, кто думает, что это все легко и просто, — с такими нам не по пути. Мы будем искать и полезность, и вкус. А что касается до продовольственных и иных затруднений, на которые так любят некоторые ссылаться, то затруднение — дело временное. Пойдут по нашим полям трактора, снимем мы неслыханные урожаи, дадим невиданное поголовье разного скота, получим молочные продукты до отвала, вот тогда и спросят с нас: а готовить вы умеете прилично для трудящегося народа? Или только для бывших адмиралов-баронов или интуристов? Как вы лично считаете, товарищ Щупак?

Вишняков кончил свой сердитый рассказ, выпил залпом остатки чая, сказал, поднимаясь:

— Извините, заговорил вас. Но только вопрос этот, насчет настоящей поварской школы, еще будет поднят на принципиальную высоту, вот увидите...

Женя проводила его до двери, вернулась и негромко спросила у Антонины:

— Ну как, Тоня?

— Удивительно...

Сема Щупак зевнул, потянулся, сказал улыбаясь:

— У нас тут все, Антонина Никодимовна, удивительно. Думаете, я не удивительный?

Пришел Сидоров, весело объявил с порога:

— Братцы, а кого я сейчас видел! Альтуса, собственной персоной. Он тут ненадолго, приехал из Ташкента и скоро уезжает. Наверно, наведается...

Антонина вдруг ужасно покраснела, Сидоров заметил, спросил:

— С жиличкой родимчик? А, Женя?

— Ты его знаешь, что ли? — спросила Женя.

— Знаю. Немного знаю, но давно.

Поднялась и ушла к себе.

2. Первый месяц

Утром Сидоров осведомился у нее, хочет ли она всерьез работать или решила учиться «на потом».

— Как это «на потом»?

— Ну, знаете, у вас еще могут быть разные искания. Вы ведь не нашли себя. Вы еще можете обнаружить у себя музыкальный слух и пойти учиться на арфистку. Разное бывает.

— Перестань, Ваня! — попросила Женя.

Антонина молчала.

— Будут искания?

Сидоров любопытно и недружелюбно смотрел на нее и пускал кольцами табачный дым.

— Ну?

— Я не знаю, — сказала она, — я бы хотела работать, если можно.

— Можно, — строго сказал Сидоров.

Она опять замолчала.

— Удивительно ты противно все-таки робеешь, — сказал Сидоров, — просто гнусно.

Потом он потушил окурок, разогнал ладонью табачный дым, особенно как-то причмокнул и начал говорить. Антонина слушала, стараясь не проронить ни одного слова, — глядела Сидорову в лицо не отрываясь, даже дышать старалась потише. Кончив, он вопросительно на нее посмотрел.

— Я подумаю, — сказала она, — можно? Я вам через час скажу. Я немножко, часик подумаю.

— Думай.

В своей комнате она заперлась и легла ничком на кровать. Ей было очень жарко и неудобно, и сердце билось сильно, точно у самого горла. «Думать, думать, — говорила она себе, — думать», — и не могла сосредоточиться. Она то видела перед собою Сидорова, то представлялось ей, что она все потеряет, все казенные деньги — «суммы», как говорил Сидоров, — то ей вдруг начинало казаться, что все вздор, чепуха, злые, глупые шутки.

Постучали.

Она открыла и, не глядя на Женю, вновь легла в постель ничком. Женя села рядом и, глядя ее по спине, стала что-то говорить сурово и убедительно.

— Что? — спросила Антонина.

— Не будь ты глупой раз в жизни, — сказала Женя, — Сидоров в таких штуках не ошибется. Раз он тебе говорит, что выйдет, — значит, выйдет.

Антонина повернулась на спину.

— Очень красиво, — сказала она, — очень! Ты ему веришь, а мне нет. Подумаешь, Сидоров сказал! Я давно сказала, что у меня все получится, — значит, получится!

— Тем более. Чего ж ты тогда здесь мучаешься? Вон какая красная!

— Да. И сердце бьется. — Она взяла Женину руку и прижала ее к груди. — Слышишь?

— Слышу.

— Все-таки страшно, — сказала Антонина, широко раскрыв глаза, — безумно страшно.

— Да что тебе страшно?

— Всё, всё.

— Ну например?

— Например, Сидоров. Как он скажет: «Э, матушка, ничего-то у тебя не вышло».

— Так ведь выйдет? Выйдет.

— Ну?

— Не знаю. Ах, Женька, — Антонина обхватила Женю за шею руками и притянула к себе, — Женечка, вдруг сорвусь, так уж навсегда. Ты понимаешь, я сейчас думаю: еще будет, будет, будет еще все впереди. Да?

— Да.

— А уж если сорвусь, — тогда нельзя будет думать, что все впереди. Тогда уже надо будет думать: кончено, кончено, кончено.

— Ну?

— Тогда я повешусь.

— На здоровье, — сказала Женя и встала.

— Только ты не сердись, — крикнула Антонина, — пожалуйста, не сердись! Женька, мне

очень страшно, пойми же. Ведь я гордая, дура, я себя знаю: когда мне будет плохо, я ни к кому за помощью не побегу, а вот так опущу руки — и все, пока меня не отдадут под суд...

— Еще что?

— А еще я беспартийная, и работа очень большая — я лопну, понимаешь, мне никто не будет доверять...

— Значит, отказываешься?

— Нет, нет, ты с ума сошла.

— Ну, тогда пойди скажи ему, что ты берешься.

— Сейчас?

— Нет, еще месяц-другой подумай.

— Он это, может быть, из милости мне дает?

— Тоська, надоело.

— Нет, нет, конечно, не из милости. Но в случае чего, Женечка, ты мне поможешь?

— Разумеется. Пойдем!

— Что же мне сказать?

— Скажи: «Я согласна», — засмеялась Женя.

Сидоров лежал на диване, когда они вошли.

— Ну! — сказала Женя и легонько толкнула Антонину.

Сидоров моргал.

— Я берусь, если можно, — сказала Антонина твердо. — Когда можно уже начать?

— Завтра.

— Завтра?

— Да Утром. Встань пораньше и пойдем. Я тебе все растолкую поподробнее, ты и начнешь.

— Он взял газету и заглянул в нее одним глазом. — Но предупреждаю: работа большая, трудная, ответственная. Если увижу, что не справляешься, сниму тотчас же. Понятно?

— Понятно.

— И с обидами у тебя не выйдет. Под удар это дело нельзя ставить. Рисковать нельзя. Дело политического смысла — горшки ломать не разрешается.

— Да, — сказала Антонина, — я понимаю.

— И хорошо делаешь.

Сидоров сел на диване.

— Имейте только в виду, — сказал он, опять переходя на «вы», — учтите только, если можете, что я лично вам еще далеко не доверяю, но моя жена, которая вас, по ее

утверждению, понимает больше, чем я, она, видите ли, за вас ручается, как за себя. Она лично думает, что вы на арфистку пробовать себя не станете. Ну, и таким путем — я вынужден. Слышите?

— Слышу! — угрюмо ответила она.

— Постараться вам придется. Целиком и полностью...

— Я — постараюсь.

— Жалованьем не интересуетесь?

Она не поняла.

— Зарплатой, — пояснил Сидоров. — Жить-то вам надобно не век продажей вещей. Жалованье тебе пойдет в размере двухсот пятидесяти рублей. Это для вашей сестры много, но ничего, пользуйся, советская власть для старательных работников некупая.

Он опять лег и заглянул в газету. Антонина стояла неподвижно.

— Можете идти, вольно! — сказал он. — Не обязательно тут надо мной все переживать. Для этого у вас есть комната, я вам там не мешаю...

— Ваня! — застонала Женя.

Всю ночь Антонина не могла заснуть, да и не пыталась. За окном лил дождь; в Ленинграде бывает так: вдруг в самое лето завоят осенние ветры, пойдут лить холодные, словно в ноябре, дожди, затянет небо, кажется навечно, серыми плотными тучами...

К утру Антонина вымылась, напудрила нос и села ждать, когда проснется Сидоров.

Они вышли из дому в десятом часу утра.

Сидоров молчал, нахохлившись, спрятав руки в карманы своей старой кожаной курточки. Он шел быстро, Антонина едва поспевала за ним, и он ни разу на нее не оглянулся. В конторе строительства он велел дать ключи, вытер мокрое от дождя лицо и, буркнув: «Пошли», опять зашагал под дождем.

Антонине казалось теперь, что она виновата в чем-то и что Сидоров на нее сердится.

У одного из парадных крайнего левого корпуса Сидоров остановился.

— Вот здесь.

Антонина робко на него взглянула.

Он вошел в парадную, она за ним. Он поднялся немного по лестнице (первый этаж здесь был выше, чем в других корпусах), вынул из кармана ключ и стал отпирать уже успевший покрыться ржавчиной замок. Ключ гремел и срывался в замке, дверь не открывалась. Сидоров сердито забормотал и наклонился над замком. Антонина стояла сзади, сердце у нее тревожно колотилось, ей было страшно и как-то томно — до того, что дрожали колени.

Замок щелкнул, дверь отворилась бесшумно. Там дальше было темно, и тьма пахла сухой штукатуркой и олифой.

— Проходи, — сказал Сидоров сердито.

Она сделала два шага и остановилась. Сидоров вошел следом, закрыл за собой дверь и

сейчас же наткнулся на Антонину. Она отскочила. Он обругал ее совой, и она услышала, как он стал шарить по стене ладонью, — вероятно, искал выключатель, но не нашел и принялся чиркать спичкой о коробок. Спичка вяло загорелась зеленым светом. Он велел идти вперед, она пошла, отворила дверь, — тут была комната, большая, окрашенная в мягкий желтовато-серый цвет. В стекла барабанил дождь. Она попробовала рукою радиаторы — они были горячи и пахли крашеным железом. Сидоров уже бродил где-то в дальних комнатах и пронзительно свистел — все почему-то свищут в пустых комнатах; Антонина постояла, потом вышла в коридор, зажгла электричество и пошла по коридору, отворяя двери справа и слева, внимательно оглядывая каждую комнату. Всех комнат было семнадцать, да еще очень большая кухня, передняя, коридор, кладовая. В кладовой она встретилась с Сидоровым. Он курил и, прищурившись, ковырял ногтем стенку — пробовал краску.

— Ну как, — спросил он, — ничего?

— Очень хорошо, — сказала она, — очень.

— Возьми ключи.

Антонина надела связку ключей на палец. Сидоров с любопытством, быстро на нее взглянул и, сказав, чтобы она, когда оглядится, зашла к нему в контору, вдруг ушел. Хлопнула дверь, стало совсем тихо, потом Антонина услышала, как воет за окном ветер, как льет дождь. «Рамы надо вставлять», — подумала она и опять пошла из комнаты в комнату.

Вероятно, она здесь пробыла очень долго, потому что Сидоров ей сказал: «Давно пора», — когда она пришла к нему в контору.

— Можешь сесть.

Она робко села.

— Ты знаешь, что такое смета?

Антонина кивнула головой.

— А казенные деньги?

Она вопросительно глядела на Сидорова.

— Их нельзя тратить на свои нужды, — произнес он сурово, — тебе понятно, что казенные деньги нельзя тратить на себя?

— Да, понятно.

Потом он спросил ее, что такое бюджет. Она ответила довольно сносно.

— Совершенно не знаю, как с тобой обращаться, — сказал он, потирая затылок, — просто измучился. Как ты думаешь — можно тебе уже доверить деньги или нет?

Антонина сказала, что можно. Он повел ее к старухе в железных очках и велел старухе «сочинить» несколько справок и удостоверений для Антонины. Затем познакомил ее с главным бухгалтером, бухгалтер дал ей ордер, в кассе она получила сто пятьдесят рублей, причем, когда она получала деньги, ей показалось, что кассир на нее подозрительно посмотрел. Удостоверения она еще не успела спрятать — держала их в руке свернутыми в трубочку.

— Деньги можешь тратить на себя, — сказал Сидоров, — у тебя ведь денег ничего нет? Сейчас поезжай по магазинам и купи книг по вопросу очагов и вообще по детям. Вернешься

— здесь будет Сивчук, поболтаем.

Всю ночь Антонина решила читать, но в третьем часу заснула, сидя за столом, и проспала до девяти.

Неделя прошла точно в бреду. За неделю она так исхудала, что ни одна юбка не держалась на ней. По ночам ей снилась та смета, которую она сочиняла с Леонтием Матвеевичем, — снились цифры, графы, а главное, раздраженный Сидоров, что-то у нее отбирающий. Стоило ей заснуть, как появлялся Сидоров. Она убегала. Он за ней. Она спотыкалась, падала, катилась в бездны — он скакал за ней. Она вновь подымалась и бежала. «Отдай, — кричал он сзади, — отдай!» — и бил в нее из револьвера. Каждую ночь ей снилось то же самое.

В книгах она рылась лихорадочно — надеялась, что они ее всему научат, но они совершенно ничему не учили. Ее не устраивали брошюры об организации очага и ясель в деревне — этого было мало, да и вообще совсем не то. Потом была книжка какого-то американского профессора, но тоже не годилась — цифры, статистика. Ничего, ничего не годилось, все было не то, не было даже материала для сметы.

Измученная, худая, со сверкающими огромными глазами, раздраженная, поехала она в Институт охраны материнства и младенчества и пробыла там с утра до вечера и еще день с утра до вечера. Она исписала два толстых блокнота и тетрадку, потом купила общую тетрадь и всю ее исчертила — было много интересных конструкций.

Ее консультировал врач-педиатр, совсем еще юноша, но уже знаменитый; у него было много трудов, и он так удивительно говорил о детях и столько знал о них, что сразу совершенно покорила Антонину. И ему, видимо, было приятно с ней разговаривать и учить ее — она все говорила, что он занят, и все извинялась, а он водил ее по институту, даже сам рисовал в ее блокноте и сказал, что познакомит ее еще с несколькими людьми.

Потом она поехала в другое учреждение, уже с Сивчуком, и там они вдвоем целый день зарисовывали детскую мебель. Учреждение было опытное, такая мебель еще не продавалась нигде, а Сивчук сказал, что ему только зарисовать и измерить, — все будет сделано на самом массиве, и не хуже, а лучше, чем в любых опытных мастерских.

— И кровати сработаем, — говорил он, — и вешалки, и даже игрушечную железную дорогу, так что ребята сами ее соберут, и сами поедут, и сами разберут. Полная конструкция.

Все зарисовки она показала своему педиатру, он все очень одобрил и сказал, что может порекомендовать ей двух хороших работниц для очага. Антонина с ними встретила. Воспитательницы ей понравились, и она первый раз в жизни, робко, но с достаточной твердостью в голосе, официально предложила им работать в детском комбинате Нерыдаевского жилищного массива.

— Да и вообще у вас огромные возможности, — говорил педиатр, смешно пофыркивая, — огромные!

Антонина смотрела на него блестящими глазами. В расстегнутом белом халате, быстро расхаживающий по кабинету, он походил на какую-то сказочную птицу.

— Да, да, — говорил он, — об этом надо писать. Почему я ничего не читал об этом в газетах? Было что-нибудь в печати? И вообще, кому принадлежит вся эта идея? Ведь это великолепно. Вы представляете себе перспективы всего этого дела? Сорок тысяч народу, да?

— Да.

— Позвольте, финансирует завод?

— Да, два завода. Мы обязуемся к годовщине Октябрьской революции дать обоим заводам по сто женщин. Мы их от хозяйства освободим.

— Отлично, отлично.

— Но самое главное тут — дети, — возбужденно говорила Антонина, — понимаете, доктор? Мы должны все так организовать, чтобы матери сами привели нам ребятишек. Это должно быть очень хорошо, очень. То есть не то, что они детей приводят, хорошо, — путалась Антонина, — а то, что комбинат должен быть хорошо организован. Столовая у нас отличная, там сейчас кормят лучше, чем можно сварить дома, — особенно последнее время. Там есть повар такой замечательный, Вишняков, он сейчас переходящее Красное знамя получил и держит третий месяц, никому не отдает, — значит, он лучший повар считается по всему Ленинграду. Ну, механические прачечные у нас есть. Да и вообще, доктор, проектов масса. Вишняков наш, знаете, недавно принес проект поквартирного семейного питания из полуфабрикатов. Очень интересный. Понимаете? Семья получает обед уже готовый, но еще без спецификации. Это вишняковское слово. Оно означает, что это обед, который может быть приготовлен по вкусу. Понимаете?

— Понимаю.

— Интересно, да?

— Очень интересно.

— Такой обед, — говорила Антонина, — можно приготовить в сорок минут. Он уже рассчитан на быстрое приготовление, скомбинирован из таких фабрикатов. Вам не скучно?

— Конечно, нет.

— Таким образом, если мать отдает ребенка к нам в очаг или в ясли, но не хочет питаться из общего котла, она все-таки может отлично работать, питаясь дома. Пока это еще очень трудно организовать, но когда с продуктами станет легче, мы это введем...

Антонина вдруг осеклась и покраснела. Ей стало стыдно за слово «мы», за то, что сказала «мы это введем».

— Вы там давно работаете?

— Нет, недавно.

— К вам можно заехать посмотреть?

— Конечно. И я очень вам буду благодарна.

Вечером она сказала Сидорову, что завтра придут оформляться два новых работника детского комбината.

Сидоров дико на нее взглянул, но промолчал. Ночью она испугалась. Ничего, по существу, не делалось, ничего даже не начинало делаться. Пятнадцатого Сидоров велел открыть комбинат во что бы то ни стало.

Она поднялась, зажгла электричество, накинула халат и села к столу. Шел третий час ночи. Она опять переглядывала наброски плана, смету и ничего не могла понять — что это за

цифры, что это за буквы, зачем это все? «Боже мой, боже мой, — бормотала она, — боже мой, что же мне делать?»

Женя, услышав, что Антонина не спит, вошла к ней и стала ей выговаривать, как выговаривала каждую ночь.

— Нельзя так волноваться, — говорила она, — ведь посмотри на себя, куда это годится? Это, деточка, истерика, а не работа, исступление, варварство, — так нельзя. Все идет отлично, все очень хорошо, а ты даже не ешь.

Антонина сидела бледная, не слушала.

— Ах, оставьте вы меня все, ради бога, в покое, — сказала она и сбросила Женину руку со своего плеча, — далась я вам! Идите, пожалуйста, и спите, не утруждайте себя.

— Просто дура, — спокойно сказала Женя, — взбалмошная девчонка! Ну как тебе не стыдно?

Антонине стало стыдно, но все-таки она прогнала Женю и опять уставилась в смету. «Надо отбросить все личное, — думала она вычитанной недавно фразой, — и тогда, тогда...»

Утром ее разбудил Сидоров — она спала, положив голову на стол, и стонала во сне. Сидоров смотрел на нее сверху с выражением брезгливой жалости. Он ничего ей не сказал, посмотрел и ушел, и потом еще долго ей казалось, что все это сон.

Наконец смета с помощью двух новых воспитательниц была закончена. Несколько вечеров она сидела над сметой с Сидоровым. Каждую цифру, каждую графу расхода он предлагал «снять», и голос у него был такой равнодушный, что Антонине делалось холодно. Она сидела злая, ей казалось, что она ненавидит Сидорова, что все в нем мерзко, отвратительно, что он мелкий торгаш, ничтожество.

— О брат, — бормотал он, не замечая ее ненавидящих глаз, — вот это мы у тебя ликвидируем. Вовсе не нужно, абсолютно не нужно.

И поднимал руку с остро отточенным карандашом.

— Не дам, — отчаянным голосом говорила Антонина, — не смеее зачеркивать. Это содержание двух боксов. Это нельзя. Это те...

— Я плевал на твои боксы, — кричал Сидоров, — у меня нет таких денег! Понимаешь? Нет.

Антонина отворачивалась.

Смета была урезана на сорок тысяч. Ночью Женя страшно шипела на Сидорова, чтобы он достал сорок тысяч. Он отмалчивался, лежа лицом к стене.

— Это хамство, — говорила Женя ему в затылок, — почему ты мне не отвечаешь?

Сидоров встал, надел штаны и ботинки.

— Куда ты? — спросила Женя.

— Если это не прекратится, — сказал Сидоров, — я уйду ночевать к Щупаку. У меня нет сорока тысяч, понимаешь? Нет! Мне негде их взять.

— Но ведь нужно.

Сидоров надел рубашку.

Женя вскочила, поцеловала его в ухо и сказала, что больше не будет. Но когда Сидоров лег, спросила, нельзя ли достать недостающие сорок тысяч через отдел народного образования. Сидоров демонстративно захрапел.

Несколько дней подряд до Антонины доходили как бы отдельные раскаты грома — то смета проходила через инстанции, и Сидоров за нее сражался. Вернулась смета вся в пометках: и чернилами, и разными карандашами, и синим везде были расставлены вопросительные знаки, крестики, птички, кружки, в одном месте раздела «бельё» был даже изображен чертик, но все-таки смету утвердили: теперь можно было начинать работать. В смете должность Антонины была исправлена: вместо «заведующий» детским комбинатом кто-то размашисто написал «директор». И оклад был понижен.

Она по-прежнему ездила в разные учреждения, по-прежнему договаривалась, узнавала, записывала, но теперь еще и распоряжалась, и это последнее очень ее пугало. Ей было невообразимо трудно что-нибудь забраковать, или даже выразить неудовольствие, или сказать, что это дорого или это не подойдет. Она краснела, ей делалось жарко, но она браковала, хоть и в деликатной форме, но жестоко, и выражала неудовольствие, если считала это нужным, — и все это у нее получалось, так, по крайней мере, говорила Женя, да и самой казалось, что получается неплохо.

Теперь она очень следила за собой, за каждым своим жестом, за каждым своим словом — ей казалось, что от манеры держаться с людьми многое зависит в будущей работе.

Но ей нисколько не надо было следить за собой. Душевный такт позволил ей очень скоро держаться с людьми свободно и просто, как велит сердце, и эту ее простоту и искренность все работающие с нею быстро поняли и оценили. Она была прямодушна и требовала прямодушия. Она была решительна (ох, как трудно давалось ей это вначале!) и требовала решительности. Она была честна и требовала, чтобы люди работали честно. Ей пришлось расстаться с одной из воспитательниц, зачисленных на работу всего две недели назад, — и она уволила ее, вся замирая от страха: ей очень страшно было обидеть человека, но она ничем не могла рисковать в этом деле, к которому сама относилась с такой честностью.

С Сидоровым она теперь разговаривала только официально. Очень с ним поссорилась из-за кафеля: он не дал кафеля, заявив, что этак она весь массив потащит в свои дурацкие ясли и все полетит в трубу, а у него, у Сидорова, отберут партийный билет.

Но все же он заходил к ней на комбинат — всегда раздраженный, бормотал что-то непонятное, смотрел, как внутри перестраивают, нюхал краску, что-то разглядывал, колупал, ворчал. Антонина внезапно перестала его бояться. Он посмеивался, встречаясь с ней глазами. Однажды она слышала нечаянно, как он говорил Жене, что «Тоська — ничего, пока что держится», это для Сидорова было высшей похвалой.

Потом у нее украли из кладовой сто девяносто метров бязи.

Сидоров рассвирепел.

Приходили из уголовного розыска, с собакой, но ничего не нашли. Замок был взломан — вот и все приметы.

У Антонины сразу опустились руки. Она не плакала, не злилась — ей просто сделалось невыносимо скучно, захотелось все бросить, раздеться и долго-долго лежать в постели, укрывшись с головой одеялом. Несколько дней она почти ничего не делала — слонялась по комбинату молчаливая, с потухшими глазами.

Женя пыталась ее «разговорить» — не вышло. Антонина поддакивала, соглашалась и не глядела на Женю.

Тогда Антонину официально вызвал к себе Сидоров. Она пришла — он сидел торжественный, гладко причесанный, в большом кресле.

— Садитесь, товарищ, — сказал он сухо.

Она села.

— Вы что, товарищ, в куклы здесь играете или что? — спросил он. — Как понимать ваше поведение?

Антонина молчала.

— Ох, не дури, Тоська, — сказал Сидоров и погрозил по своей манере пальцем. — Не дури, слышишь?

— Слышу.

— Отвечай.

— У меня все равно ничего не выйдет, — сказала она тихо, — так уж все сложилось.

— Что сложилось?

— Жизнь.

Он явно притворялся глухим.

— Жизнь так сложилась, — сказала она громко и раздраженно.

— Ты мне, пожалуйста, здесь не напускай лирику, — сказал Сидоров, — очень прошу. Я тебе не Вертинский.

Антонина отвернулась.

— И не отворачивайся. — Он, видимо, не знал, что сказать. — Да, не отворачивайся, — повторил он, — здесь обидчивых не любят. Будешь работать?

— Мне бязи жалко, — сказала она, — мне так жалко бязи!

— И мне жалко. И у пчелки тоже жалко, — сказал Сидоров, — да, Тося?

— Да.

— Ну, вот что, — сказал Сидоров, — я вам на бязь отпущу, леший с вами. Подайте мне заявление.

— Мне той бязи жалко, — сказала Антонина, — той, украденной.

— Вы мне надоели, товарищ, — произнес Сидоров, — идите работайте. Понятно?

— Да.

— А не будете работать — вывешу выговор. У нас без лирики. Поняли, товарищ?

— Что-что, а уж это я давно поняла.

— И прекрасно. Кстати, завтра выходной, Евгения совершенно расклеилась, а нынче ко мне придет один мой близкий человек. Тебе неизвестно, что у нас в семействе в смысле продовольствия?

Антонина сказала, что неизвестно, начисто забыла об этом разговоре и до глубокой ночи проработала на комбинате.

Утром, с чайником в руке, она вошла в столовую и замерла у двери. На диване кто-то спал, а на стуле возле дивана висела форменная военная одежда и лежал револьвер в кобуре. У дивана стояли высокие остроносые, хорошо вычищенные сапоги, и по всей комнате, несмотря на открытое окно, характерно пахло военными ремнями, военным сукном — тем особым запахом, который с такой силой действует на мальчиков, уже играющих в войну.

Антонина постояла, посмотрела, понюхала. Человек спал, укрывшись с головой одеялом. Она вспомнила, что Сидоров вчера с кем-то пришел, и голос того, с кем он пришел, показался ей сквозь сон знакомым, но она забыла и уснула. Мало ли теперь у нее знакомых голосов — полжилмассива!

Она вышла из столовой и принялась на кухне готовить завтрак на всех, так называемый «выходной», когда никто никуда не торопится, никто не проспал, сидеть можно долго, куражиться друг над другом, наслаждаться законной ленью работающих людей и обсуждать планы на вечер...

Вдруг вошла Женя в халате, очень испуганная.

— Все пропало, Тонька! — сказала она. — Рожая! Сидоров не верит, поди разбуди его, крикни что-нибудь устрашающее...

Она согнулась и села на пол посередине кухни.

— Да иди же, — крикнула она, — мне твоя чуткость не нужна, мне он нужен, понимаешь? А он спросонья ничего никогда решительно не сообщает...

Антонина испугалась до того, что у нее задрожали колени.

— Все вранье, — сказал Сидоров, когда она его трясла, — дайте спать. Я в шесть часов утра лег. Вранье, вранье, потерпит.

Но все-таки встал и с опаской заглянул на кухню. Женя плакала, сидя на полу.

Пока Сидоров тащил Женю в комнату, Антонина будила того человека, который спал в столовой. Она подняла одеяло с его головы, и он тотчас же, как собака, открыл один глаз. Это был Альтус.

Он смотрел на нее одним глазом, недоумевая.

— Женя рожает, — сказала она, — вас просят вызвать машину.

Он сел в постели, голый, но сейчас же закрылся одеялом. Глаза у него были свежие, острые, будто он не спал.

— Я не понимаю, — спросил он, — кто рожает?

— Женя.

— Какая Женя? — опять спросил он, но тотчас же сам себе ответил: — Ах, да!

Женя охала и плакала в спальне. Сидоров стоял над ней, как когда-то над Антониной, точно у гроба, и при каждом Женином стоне кривился, будто больно было не Жене, а ему.

— Вот, брат, — сказал он, когда Антонина вошла, — что делается.

На лице у него было выражение ужаса и растерянности.

Приехала машина.

Женя, причитая и охая, спустилась вниз и села рядом с Сидоровым. Антонина села с другой стороны. Альтус рядом с шофером. Сидоров держал Женю за руку и все просил шофера ехать «пообходительнее». Потом, так как шофер ехал плохо, Сидоров показал ему права и сам сел за руль. Теперь машина шла плавно, но Женя вдруг закапризничала и потребовала, чтобы Сидоров сидел с ней рядом.

— Один раз в жизни имею право, — говорила она, — без посторонних товарищей, а с мужем. Только вы не обижайтесь, — она повернулась к шоферу, — от вас лавровым листом пахнет, а я не выношу сейчас.

Наконец Женю привезли в родильный дом. Дежурной была какая-то ее приятельница, и потому Женя закапризничала так, что Антонина на нее прикрикнула.

— Тоська, относись ко мне хорошо, — кричала Женя, когда Антонина уходила из приемной.
— Тоська, я не буду тебя перевоспитывать, слышишь?

— Слышу.

— Достань мне икры кетовой.

— Хорошо.

— Погляди за Сидоровым.

— Хорошо.

— Не увлекай его, не кокетничай с ним.

— Ладно, ладно.

— И чтоб ты с утра до ночи здесь под окнами дежурила...

— Ладно!

— Ну, целую тебя! И Сидорова поцелуй. Ох, как больно, боже мой! Нет, Сидорова не целуй.

Когда она вышла из приемной, Сидоров стоял в коридоре, бледный, потный.

— Ну что, как? — спросил он почему-то шепотом.

— Что «как»? — передразнила Антонина. — Надоели вы мне, голова от вас пухнет.

— Да брось ты, — молящим голосом сказал Сидоров, — я серьезно спрашиваю...

— Вот Федя мой там проснулся, орет, наверно...

— Я вас могу довезти, — предложил Альтус, — поедем, Ваня?

Но Сидоров отказался ехать: по его мнению, он должен был сидеть здесь и ждать.

— А ты поезжай, — сказал он Альтусу. — Антонина тебя накормит. Накормишь, Тося?

И жалко, непохоже на себя, улыбнулся.

— Накормлю.

— Найдется чем? — Глаза у него были отсутствующие.

— Да найдется же, господи!

— А я тут побуду! — опять сказал Сидоров. — Мало ли что. Вдруг понадобится.

Альтус и Антонина сели в машину вдвоем.

В машине она, стала волноваться — что с Федей? Вероятно, проснулся и плачет, плачет — один в запертой квартире. Она представила себе, как он вылез из кровати и ходит босой, в ночной длинной рубашке, из комнаты в комнату, как по его щекам текут слезы, и как он совершенно ничего не понимает, и как ему страшно, как он кричит и топчет ножками — от негодования и от ужаса.

Альтус ей что-то говорил, она не расслышала, но и не переспросила. Он недоуменно на нее взглянул. Потом он легонечко посвистывал и глядел в сторону, положив локоть на борт автомобиля.

Наконец мелькнула рошица, трамвайная петля и сырой асфальт проспекта. На полном ходу, не сбавляя газа, шофер завернул в ворота и остановился у парадной. Альтус открыл дверцу. Шофер сразу же уехал. Вдвоем они поднялись по лестнице, Антонина открыла ключом дверь и, совсем позабыв об Альтусе, бросилась к Феде. Он страшно плакал, стоя в кровати, вцепившись красными пальцами в веревочную сетку. Увидев мать, он весь вытянулся в ее сторону, поднял руки и, неловко шагая по постельке, пошел к Антонине, визжа и захлебываясь слезами. Она подхватила его, обвила руками и, как могла, крепко прижала к себе, спрятала его мокрое от слез личико на шее и стала ходить с ним по комнате из угла в угол, а он все вскрикивал и все никак не мог успокоиться.

— Мама, мама, — кричал он порою, — мама!

И прижимался к ней, будто не веря, что она уже пришла, что она с ним, что больше не надо звать и плакать.

Наконец он успокоился, она его одела, умыла, расчесала его челочку и вывела в столовую.

— Это ваш? — спросил Альтус.

— Мой, — сказала она с гордостью.

— Ну, здравствуй, — сказал Альтус и сел на корточки перед Федей.

Федя оглянулся на мать, потом сделал один коротенький шаг вперед к Альтусу и замер, слегка приоткрыв рот, глядя на ремни, на португую, на форму, — замер в особом, вечном детском восхищении перед всякой формой, значками, оружием.

— Ну, давай знакомиться, — сказал Альтус и протянул Феде руку. — Как тебя зовут?

Федя молчал.

Он был хорош сейчас — румяный от недавних слез, с блестящими глазами, с влажной еще от умывания челочкой, с припухшей верхней губкой, пахнувший мылом, восхищенный и немного испуганный.

— Вы с ним немножко поговорите, — сказала Антонина, — я только чайник поставлю...

Она пошла в кухню, включила простывший чайник и нарезала на блюдо копченого кролика. Когда она вернулась в столовую, Федя сидел уже на диване, и Альтус тоже, рядом с ним, — у

Феди на коленях лежал револьвер, настоящий, большой, вороненый, и Федя его с нежностью гладил одним пальцем; было похоже, что он его щекочет и поджидает — вот-вот револьвер захихикает.

— Он не выстрелит? — спросила Антонина.

— Нет.

Но все же Антонина с опаской глядела на Федю — она, как все женщины, не очень доверяла оружию.

— А кобуру тебе дать? — спросил Альтус.

— Дать, — сказал Федя каким-то словно бы запекшимся голосом и проглотил слюну.

Альтус высыпал из кармашка кобуры патроны и положил их в кошелек. Федя, поглаживая револьвер, следил за каждым движением Альтуса. От волнения он стал косить.

— Не коси, — строго сказала Антонина.

— Мы вот так сделаем, — говорил Альтус, вешая на Федю кобуру, — правильно?

— Правильно.

— А теперь туда маузер. Правильно?

— Правильно.

— Что у вас на револьвере написано? — спросила Антонина, заметив буквы на одной из щечек маузера.

— Это так.

За завтраком Альтус опять спросил у Феди, как его зовут.

— Федор Скворцов, — сказал Федя неразборчиво и пролил изо рта немного чаю.

Антонина едва заметно покраснела. Ей не хотелось почему-то, чтобы сейчас, в это утро, здесь начался разговор о том времени и, главное, о том дне, когда Альтус ее допрашивал.

— Вы кушайте, — говорила она, — пожалуйста, кушайте... Это копченый кролик, он ничего. Правда?

— Правда, — соглашался Альтус, но кролика не ел.

— А ваш муж, — спросил Альтус, — он что, отбыл наказание?

— Он умер.

Альтус растерянно на нее взглянул.

— Он спился и умер, — сказала Антонина, — попал под грузовик.

Пришел Сема, долго отнекивался, но все же сел за стол, Антонина подвинула ему кролика.

— Вот так штука, — сказал Сема, — богатая штука!

Альтус смотрел на Сему улыбаясь. Сема сначала отрезал ломтик кролика, потом съел переднюю ножку, потом заднюю.

— Землей пахнет, — говорил он жуя, — но вкусно. Что вкусно, то вкусно.

Он заметил Федю и сделал ему рожу. Федя холодно на него глядел.

— Что, брат? — спросил Сема. — Жизнь проходит?

Федя молчал.

Тогда Сема приставил к своему лбу голову копченого кролика и сказал:

— Федя, смотри, гу-гу!

Федя слез со своего высокого стула и ушел.

— Пессимист ты, брат! — крикнул Сема ему вслед. — Пессимист, флегматик!

Альтус стоял у окна, не очень высокий, и курил. Сема все расправлялся с кроликом. Антонина нервничала, ей хотелось, чтобы Альтус поскорее ушел, но он не уходил. «Сейчас опять начнет, — думала она, — будет спрашивать».

Федя расхаживал из комнаты в комнату с маузером на ремне и шептал охотничьи и военные слова.

Антонина прибрала со стола, подмела в столовой и села на диван. Сема ушел. Альтус опять повернулся к окну с газетой в руке. Он читал, газета шуршала в его пальцах. Потом засвистел, потом сказал «ого!» и вновь засвистел.

За окном был туман и сеял мелкий дождик, в комнате сделалось до того сыро, что даже скатерть на столе сволгла.

Альтус сложил газету. Он держал себя так, будто в комнате, кроме него, никого больше не было. И сел на диван рядом с Антониной.

— Ну вот, — сказал он просто, — я помню вас совсем девочкой на бирже труда, а теперь вы взрослая женщина, — вон какой у вас сын!

— Да!

Она отвернулась.

— Да, да, — задумчиво говорил он, — я не люблю замечать, как проходит жизнь. На мужчинах это незаметно, знаете? А женщина... Вдруг была девочка на тоненьких ногах, в коротеньком платьице, и вдруг женщина, и уже сын. А его ведь тогда совсем не было. Он не существовал, да? И тут, знаете, начинаешь думать, что вовсе еще ничего толком не успел — все собирался, собирался...

— А что вы хотели успеть?

— Много, много... — Он махнул рукой. — Хотел научиться по-английски... Ерунда, — он засмеялся, — хотел побывать на Памире, в Семиречье... Массу думал сделать. А вы?

— Что я? — не поняла Антонина.

— Вы что-нибудь хотели успеть?

— Да, хотела... Впрочем...

— Успели?

— Нет, — сказала она, рассеянно улыбнувшись, — не успела. Так-таки ничего не успела. Вот разве сын, — она кивнула на дверь, — сын, правда, хороший. Хороший?

— Хороший мальчик, — сказал Альтус, — но в детях я ничего не понимаю, это не мое хозяйство.

Он помолчал.

— А что ваше хозяйство? — спросила она.

Альтус поднялся.

— Я пойду, — сказал он, — передайте Ване, что я уезжаю. Я забыл сказать им всем. Я завтра уезжаю в одиннадцать сорок.

— Куда?

— Я уезжаю в Тифлис на год, или на два, или больше...

— Совсем?

— Может быть, совсем, — ответил он, отыскивая глазами фуражку.

Он крикнул Федю, снял с него маузер, зарядил обойму и затянул на себе широкий ремень.

— А вы сами уезжаете, — спросила она, — или вас посылают?

— И сам и посылают... Вот она! — Он надел фуражку и перекинул через руку макинтош...

— Лучше наденьте, — сказала она, — дождик идет...

— Пожалуй.

Ее раздражение куда-то исчезло. Теперь ей было грустно. Дождик равномерно шумел за окном. Она зябко поежилась.

— Хорошо, — сказала она, — я все передам Сидорову. А Жене что передать?

— Да так, — сказал он, — ничего. Что ж ей передавать?

И, козырнув, ушел.

Антонина закрыла за ним дверь, постояла в передней. Еще были слышны его шаги. Потом стало тихо. Она погасила в передней электричество и вернулась в комнаты. Тотчас же в парадную постучали. Сердце ее забилося. Она нарочно медленно пошла отворять. «Что он забыл, — думала она, — что он забыл?»

Это пришла Марья Филипповна — спрашивать, как у Жени, скоро ли?

3. Про Нерыдаевку

Женя родила девочку через четыре часа после того, как ее привезли в больницу. Состояние удовлетворительное. Вес младенца четыре кило. Длина пятьдесят четыре сантиметра. Увидеть Женю можно только завтра. Это все рассказал Антонине Сидоров. Вид у него был измученный, голос какой-то даже глуповатый.

— А состояние удовлетворительное — это как? — спросил он. — Это плохо или хорошо?

— Да нормально же!

— Поклянись!

Антонина поклялась жизнью Феде.

— Ну, если врешь... — погрозил Сидоров и заперся в своей комнате. Было слышно, как он там ходил, как он лег и опять встал. Потом он ушел из дому минут на двадцать и принес бутылку портвейна. Обед организовали дома. Был кролик, рыба, гречневая каша и «приварок» из столовой: щи флотские, рагу из барашка, кисель клюквенный. Пили вино, первый раз Антонина себя чувствовала просто с Сидоровым. Он называл ее Тосей, и все вздыхал, и все расспрашивал подробности про маленьких детей.

— Они на старичков похожи, да?

Или:

— Ну хорошо, четыре килограмма — это средний вес или выше среднего?

Он часто вставал из-за стола и ходил по комнате, высокий, статный, возбужденный.

После обеда Антонина принесла ему две пачки папирос.

— Ах ты, — сказал он, — ну, спасибо!

И лег на диван с папиросой в зубах.

— А потом пойдем в кинематограф, — предложил он, — хочешь?

— Хочу.

— Семку возьмем?

— Возьмем.

— А Федя как же?

— А сегодня моя старая нянька придет с той квартиры — договорено.

— Значит, она будет на обоих?

— Как на обоих?

— И на нее — на мою?

— Конечно, — улыбнувшись, сказала Антонина.

Сидоров опять задумался. Потом вскочил звонить по телефону разным людям, что у него родилась дочка. И опять лег.

— Да, да, — бормотал он, — это очень интересно, очень. Ты про старую Нерыдаевку что-нибудь знаешь?

— Нет.

— Совсем ничего?

— Совсем.

— Рассказать?

— Расскажите.

Он внимательно на нее посмотрел.

— Это все очень противно, — брезгливо сказал он, — ужасно противно. Давай выпьем еще винца.

Она налила, он взял рюмку и чокнулся с ней.

— Давай теперь будем жить мирно, — сказал он, — хочешь, Тося?

— Хочу.

— Только ты не будь приживалкой.

— Хорошо, — сказала она, — не буду.

— Ну, тогда мир.

— А Женька все спит, — сказал он, — Все так после родов спят?

— большей частью.

Сидоров кивнул.

— Она, — сказал он, — из Курска. Ты в Курске бывала?

— Нет.

— И я нет.

Посмеиваясь, он заговорил о Курске и о Жене.

Женя рассказала ему все. Он знал всю ее жизнь — от красного кирпичного дома в полосе отчуждения (в этом доме она родилась) до мединститута. Он знал ее отца-машиниста, она рассказала ему о братьях, о детстве, о школе (очень смешной преподаватель математики Павел Павлович Токсов). По ее рассказам Сидоров знал Курск («Отца когда убили, мы все переехали из Ямской слободы в город и поселились на Скорняковской улице, дом двадцать пять, маленький такой желтенький домик, теплый и насквозь пропахнувший нафталином»), он знал Кощея (знаменитый ямской хулиган), он знал, как она подавала заявление в комсомол, он знал курских соловьев и запах знаменитой курской антоновки, он знал всех Жениных приятелей: Брагинского, веселого и милого Фомушку Брагинского, очкастого спортсмена Гуревича, Кольку Григорова, обеих Ларис и мирового художника, рисовавшего декорации для «Потонувшего колокола», Лешку Шуклина («А знаешь, Сидоров, ведь Лешка здесь, в Ленинграде, кажется, в Академии учится, — вот свинство, никак не соберусь его разыскать»). Знал он и о первой Жениной любви — Николай Григоров носил хорошие сапоги, начищенные айсором, костюм тонкого сукна, курил добрые папиросы «Мабузо» и здорово играл белогвардейца Зубова в пьесе «Красный генерал». Как он топал ногами! Какая всамделишная пена ярости вскипала на его губах, когда приговаривал он красного генерала Николаева к смерти.

— Знаешь, Колька оговорился однажды и закричал: «Я приговариваю вас в вашем лице через расстрел к повешенью!» Ну и смеху было, Сидоров! А Колька покраснел — даже под гримом видно — и все усы дергает да дергает... Вот после того спектакля и пошли мы с ним гулять. Я

себе возьми да и завяжи платком глаза, а он меня вел под руку. Но только два шага пройдем, он и поцелует, два шага пройдем, он и поцелует. Я говорю: «Ой, Колька, съешь по зубам — рука у меня тяжелая». А он смеется, Колька. «Ты, говорит, лучше послушай, как река шумит». Я стала слушать, а он поцеловал... Такой гад! Я как закричу: «Колька, мы еще в школе учимся, нельзя целоваться, мало тебе курения?» Господи, какая дура была! Он, конечно, смеется: «Дело, говорит, не в возрасте, дело в желании». И запел нарочно басом песню, как будто бы ему и дела до меня нет. Обиделся. Тут вдруг и я обиделась: ах, думаю, так? И приказала: «Закрой глаза!» Он закрыл, а я его в губы — раз! Река шумит, акации цветут, мы в ту весну девятилетку кончали...

Сидоров сел на диван, помял пальцами папиросу, закурил и помолчал.

— Не скучно?

— Нет, — сказала Антонина.

— А про Нерыдаевку скучно? Или все-таки рассказывать?

— Непременно! — воскликнула она. — Пожалуйста!

— Вежливая! — усмехнулся Сидоров. — Про тебя все говорят, что умеешь слушать. Ну, слушай. Не слишком весело, но тебе это все надо знать, ты здесь работаешь, и, надо думать, не один день, тебе тут трубить...

Задумался ненадолго, сердито встряхнул головой:

— У нас тут даже песня своя была, вроде бы гимн Нерыдаевскому полю. И мотивчик довольно-таки своеобразный, у меня только слуха нет, а мозгами слышу:

Ах, не рыдай,

Прощай, прощай,

Не забывай

И не рыдай...

Мамаша моя умерла под утро.

Антонина прикрыла глаза ладонью, вслушивалась.

— Окошко наше единственное выходило на пустырь. Отца, конечно, дома не было, наверное, пьянствовал... Проснулся я от холода, сбросил одеяло, завизжал: мать лежит белая и какая-то больно уж чистая — неживая. Волосы неживые приглажены, руки неживые аккуратненько лежат поверх одеяла, вся неживая. В выбитое стекло дует. А так ничего, всюду тихо. Только на лестнице Косой унтер наигрывает на трехрядке:

Ах, не рыдай,

Прощай, прощай,

Не забывай

И не рыдай...

Потом вернулся отец. Сел на табурет, пьяный, растерзанный, заросший до бровей бородой, поплакал басом (слез у него не было, он только гудел), поискал по карманам, нашел рубль, сунул его мне и пошел к окну странным шагом.

Хоронили ее погожим утром... Отец шел за гробом, прямой, широкоплечий, огромный, в маленьком котелке, в узких брючках, в драных башмаках. Плохо завязанный галстук мотался сбоку. Большую свою, темную от металла руку он положил на катафалк и так шел до самого кладбища. Пока мать отпевали в кладбищенской церкви, он пил водку, мотал головой, как лошадь, и по очереди угощал нищую братию.

— Пей! — кричал он, хмелея. — За упокой рабы божьей Анастасии..

Или так:

— За прачку! Пей, кумовье, кол вам в глотку, пей! И за меня тоже пей: за упокой раба божьего Николая. Помер Николай. Точка!

Полуштоф ходил по кругу, жадные грязные руки в парше и болячках поднимали полуштоф к губам, отец тяжело дышал и грозился.

— Ладно, — бормотал он, — ладно, Настасья, ничего! На страшном суде всех встретим. И я там буду, и я там поклонюсь. А что касаето сына, то не пропадет. Приспособим. А на крайний случай милостыньку будет просить христовым именем. Верно, братия?

— Верно, — гудели нищие, — верно, наше дело такое, всяк свои грехи замаливает, и все через нас...

Я стал возле отца, отец похлопал меня по спине огромной своей ржавой ладонью, дышал на меня сладкой сивухой и изредка прижимал меня к себе; тогда я слышал, как трещат швы: то лопался узкий пиджачок на огромном мускулистом теле отца.

К выносу он был совсем пьян и все просил маленько, «чуть-чутьочки, ну разочек» покурить. Его урезонивали, а он настаивал на своем, всем мешал и ни с того ни с сего разругался с попом.

Первую горсть земли бросил он, вторую — я. Поп смотрел зло и двигал серыми бровями, материны товарки — прачки с Нерыдаевки и с Солдатского поля — голосили, утирая слезы концами головных платков, отец все открывал рот так, будто хлебнул кипятку и теперь остужает обожженное небо воздухом.

Он молчал.

А когда могила была уже наполовину засыпана, отец вдруг выхватил у старика могильщика заступ, качнулся, потерял равновесие, выровнялся и, бормоча сквозь зубы никому не понятные слова, принялся сам засыпать могилу землей. Кончив, он встал перед холмиком на колени, поклонился и, взяв меня за руку, ушел с кладбища прочь, никому не сказав ни слова. Весь день мы провели на улицах.

Я жевал сайку, жмурился, как котенок, и изредка позевывал: от солнца, от обилия впечатлений, от глотка водки, от ярмарочного гвалта хотелось спать.

Уже ночью мы попали в «Нерыдай», в трактир вдовы Петербранц. Гудела машина, отец гулял на последнее — на часы, на кольцо, на материну брошь дутого золота. Толстая и добрая с

виду вдова Петербранц подходила к нему, гладила его по мохнатой голове, бормотала: «Ай, ай, нехорошо, такой грандиозный мужчина и так убивается, как печально», сажала меня к себе на мягкие, пухлые колени, кормила изюмом, заглядывала в глаза и сама плакала, вздыхая и чмокая красными губами.

На ночь отец взял из заведения гулящую Оленьку. Пьяная, глупая, толстая, она ничего не понимала и только все спрашивала:

— Мужчинка, дорогуша, почему ладаном пахнет, а?

В комнате еще пахло ладаном, на столе валялись еловые ветви, зеркало было завешено. Про обычай убирать все сразу после выноса забыли, некому было напомнить...

Всю ночь я просидел на полу в уголочке. Не мог уснуть, клацал зубами от холода, слушал, как скребутся мыши в подполье, как отец называет гулящую именем матери.

О чем я думал в ту ночь?! Черт его знает. Вероятно, рос. С той ночи я стал запоминать все, с той ночи больше не играл: раз, два — голова; три, четыре — прицепили... А впрочем, дай мне кто-нибудь горячую сайку в ту ночь, укрой меня кто-нибудь теплым одеялом или кофтой...

Утром гулящая Оленька ушла. Отец поднялся, попил воды из ковшика, оглядел комнату красными глазами и тихо сказал:

— Ну! Что ж, господь? И это стерпел? Не разразил?

Почти спокойно он снял все иконы и вынес их прочь. Вернувшись, он вдруг заметил меня, весь передернулся, поднял на руки и уложил на кровать.

— Лежи, — сказал он негромко, — спи, жмурик! Я вот схожу на работу и приду.

Но пришел он через полгода. Отбывал наказание за кощунство.

Косой унтер рассказывал так: пришел отец в церковь, поднялся по ступенькам и дунул прямехонько в алтарь через царские ворота. Ну, переполох, то-се, а он смеется. Его там же в алтаре по шеям да по сусалам, а он хоть бы что. Сплюнул выбитые зубы и спрашивает у попа:

— Где ж, батя, твой господь? Я все грому хочу, труб добиваюсь, желаю, чтоб разверзлись тверди небесные!

Батя весь так и трясется. А отец все свое:

— Нет, говорит, батя, господа-бога, шиш, говорит, есть в митре. И еще, говорит, есть разные штуки, только я тут этого не скажу, больно уж выйдет неприлично, а я человек тихий, мастеровой. Я заклепки работаю... — И смеется.

На каторгу отец не попал. Какой-то врач-старикан признал его сумасшедшим и потихонечку посоветовал Дарвина читать.

Меня кормили пустыри: Нерыдаевка, Солдатский, Шанхайка. Иногда и соседи: кто миску супа, кто кус хлеба, кто кость. На пустыре учились солдаты. Пели свои рубленые песни: «Ах, не вейтесь вы, черные кудри, да над моею больною головой», ходили гусиным шагом, ложились брюхом в грязь.

Фельдфебель командовал:

— Ряды сдвой!

— Отвечай мне, будто я действительно есть генерал от инфантерии, его превосходительство князь Войтов. Итак, здорово, ребята!

— Первый, второй, рассчитайсь...

И кричал:

— Ножку, ножку аккуратно!

А побирушка Косой унтер сидел на лавочке возле дома, наигрывал на своей трехрядке и простуженным голосом скулил:

Ах, не рыдай,

Прощай, прощай,

Не забывай

И не рыдай.

Отец вернулся из Литовского замка совсем бородатым, веселым и сутулым.

— Ну как, — спросил он, скинув шапку и оглядывая комнату острыми глазами, — не подох, жмурик?

В тот же день мы сходили в баню, а вечером отец привел в комнату гулящую Оленьку.

— Будешь тут жить, — сказал он строго, — мое ремесло хорошее, одену и обую и кофеем напою, но чтоб без дураков. За парнем смотри. Вишь как одичал!

— Может, в закон вступим? — тихо спросила Оленька. — Заклюют, поди, тебя так-то, Николай... Вон уж гомонят по-под лестницам: «Арестантская рожа гулящую привел...»

Отец нахмурился, но промолчал и ответил только на другой день.

— Об законе речи нет, — сказал он с расстановкой, — какой такой закон! Хватит с меня!

И ушел, хлопнув дверью.

Работал он много, а по вечерам куда-то исчезал, приходил ночью и всегда долго мучился с сапогами — никак они не хотели слезать с его больших ног.

Оленька жила тихо. Медленно мылась, и всегда земляничным мылом, чистила щеткой зубы, улыбалась сама себе перед зеркалом и говорила по слогам непривычные моему уху слова: «Пле-чи-ки, зе-фир, гли-це-рин, ка-ра-мель-ка, си-не-ма-то-граф». Казалось, что растягивать слова ей доставляет удовольствие.

Однажды отец грубо спросил у нее:

— Ты что ж, век будешь пустой ходить? Для этого тебя делали, что ли? Солоха мокрохвостая!

Оленька заплакала, поднялась со стула и вдруг стала бросать отцу резкие, злые, визгливые слова.

— Кобель, — кричала она, — вот ты кто есть, кобель поганый, а тоже попреки! Сволочь! Семь лет под вас, окаянных, ложилась, а теперь рожай ему — учитель какой выискался. Ты думаешь, я ребеночка не хочу? Да господи! Все думаю, как бы только, как бы только! Как же, дожدهшься! А он учит, морда бесстыжая!

Сначала отец растерялся, а потом покраснел, попробовал было подойти к плачущей Оленьке, но махнул рукой и вовсе ушел из дому. Вернулся он поздним вечером, ласковый, веселый, большой и чуть пьяноватый, с подарками. Оленька встретила его молчанием, но быстро отошла, обняла его за шею и горячим голосом сказала:

— Чудной ты мужик, Николай. Гляжу на тебя и удивляюсь.

Била она меня часто, больно, с вывертами и сама при этом визжала. Била чем угодно, что под руку попадется: скалка — так скалкой, щетка для сапог — так щеткой. Лохматая, розовая, сдобная, она топала ногами, обутыми в нарядные туфли, плакала от злости и орала:

— Что он меня тобой попрекает, что? Мало мне горя в жизни, так этого не хватало? Рожай! Легко твоей матке рожать было, а мне как? Да и что ж ты молчишь, свиненок?

Я молчал.

— Ты б хоть пожаловался!

— Не буду.

Она валилась на кровать, воя и царапая себе лицо ногтями, потом вскакивала, хватала меня за плечи, трясла, целовала, пихала мне в рот дешевые, пахнущие земляничным мылом конфеты и просила не жаловаться.

— Да я не буду, — бормотал я, — забери ты свои конфеты. Разве я когда жаловался? Небось понимаю!

— Что ж ты понимаешь? — недоумевала Оленька. — Что ж ты можешь понимать, свиненок?

— Все понимаю, — говорил я, отворачиваясь, — все!

— Что «все»?

— Все!

— Да что «все»-то?

Я опять молчал.

— Чудак народ, — бормотала Оленька, — никак вас не разберу...

А погода просила тихим и печальным голосом:

— Ваня, деточка, поди купи полфунта ка-ра-ме-ли «Ангел смерти».

И на следующий день она опять дралась.

Вдова Петербранц явилась вечером в воскресенье, вошла, не постучавшись, села, положила ридикюль с бахромой на стол и, пожевав толстыми губами, спросила, глядя в дальний угол:

— Зажитое возвратите или так и останется за вами?

Оленька сразу побледнела, встала, вовсе уж ни к чему обдернула на себе юбку и чужим голосом спросила:

— Вы про что, мадам?

Шел вечер.

Отца не было дома.

Косой унтер за перегородкой наигрывал на своей гармонике:

Из ковшика медного напилась

И в тот же вечер утопилась...

Я на пороге отвязывал от валенка огромный деревянный конек.

Вдова Петербранц сидела на стуле, грузная, жирная, густо напудренная, и глядела на Оленьку сладкими черными глазками. Она ждала, облизывая губы и шурша своими шелками.

Пиликала гармоника:

Пиликала гармоника:

И страшно все ее жалели,

И гробу вслед они глядели,

И гроб качался весь в цветах,

Имел в себе лишь хладный прах...

Наконец Оленька не выдержала.

— Ничего такого за мной нет, мадам, — сказала она тихо, — ничего я вам не должна, и потому не может ничего за мной остаться, я так считаю.

— А полупальто? — еще тише Оленьки спросила вдова. — А чулки, а горжетка лисья, а платье поплиновое, а канаусовое розовое? Забыла, стерва? Разжирела на сладких кормах, нашла дурака и рада? А как ко мне явилась — не помнишь? Синяя, голодная, в синячищах. Отшибло? Так я ж тебе напомним...

— Но, мадам...

— Не мадам я тебе, дрянь ты паршивая! Другие девушки руки мне целуют, а она...

— Мадам, так ведь я вам все отдавала, голой из заведения ушла...

— Молчать, дрянь!

— А что платье поплиновое — так ведь ваша добрая воля была, сами учили, как кавалера

плечом позывать и духами, и как шевелиться, чтобы корсет скрипел, и как ихнего брата распалать, сами-то вы небось всю науку произошли!

— Замолчать, говорю!

— Хватит, молчали...

Вдова Петербранц поднялась, схватила сумку и сумкой ударила Оленьку по лицу. Оленька взвыла, а вдова ударила еще раз и еще... Звуки гармоники оборвались. Косой унтер бросил играть и через секунду ввалился в комнату...

Разняли...

Весь вечер Оленька плакала, свернувшись на кровати в комок. Я топил печку.

А Косой унтер наигрывал все ту же песенку:

И поп кадиллом не кадил,

И мастер крест не мастерил,

Лишь ворон черный прилетит

И хриплым голосом вскричит.

Отца забрали на фронт. В феврале пятнадцатого он получил георгиевский крест. Одиннадцатого марта в бою при хуторе Крестицы он был тяжело ранен, а через шесть дней умер.

С полгода Оленька держалась. Штопала какие-то чулки, клеила коробки, папиросы набивала. Я промышлял медью — сдавал все на военный завод...

Но летом Оленька не выдержала.

Зашел за ней ферт какой-то в лаковых штиблетах, пахучий, лысый, пообещал прокатить в моторе и увез. Больше она не вернулась. А за вещами ее пришли от вдовы Петербранц дворник да вышибала.

Потом как-то видел я ее в полпивной на канальчике. Пьяненькая, толстая, с челочкой, медленным своим голосом она пела «Очи черные, очи страстные» и ни с того ни с сего хихикала. Ее тискали, она визжала и все пыталась спеть: «Оля и Коля бегали в поле...»

Так и исчезла.

В приюте для сирот нижних чинов, павших смертью храбрых, я чистил картофель, строгал брукву, мыл мясо, а ел всегда пшенку полусырую, с песком, даже со щепками. По утрам много молились. Сирот с каждым днем становилось больше, им стригли головы под нуль, выдавали брезентовые сапоги на деревянной подошве, арестантские какие-то халатишки (так и просился бубновый туз) и долго наставляли — что плохо и что хорошо. Воровать — плохо, молиться — хорошо, вши — плохо, шаркать ножкой — хорошо, евреи — плохо, они шпионы, директор приюта — хорошо, он добрый, курить — плохо, клеить корзиночки — хорошо.

И клеили: клеили цепи из цветной бумаги, прилежно клеили, цепями был завален весь чердак, плели рябенские дурацкие корзиночки, их сваливали на террасу, а потом откровенно

жгли...

Учили стишки:

И днем и ночью кот ученый...

Или:

Огоньки приветливо

Светятся во мгле...

Фребеличка — веселая и разбитная тетя Полли (Полли она стала потому, что училась в Англии и вывезла оттуда истерическое преклонение перед всем английским) — работала только днем, вечером же и ночью над воспитанием сирот трудились в очередь всегда потный Максим Максимыч и его подручный Игнат.

Порол Максим Максимыч собственноручно, Игнат обычно держал за ноги, дворник Лопух — картежник и вор — за голову, а чтоб было спокойнее — за уши.

Порол Максим Максимыч веревкой, и так как я однажды, потеряв голову, ткнул воспитателя шилом, а дело следовало непременно замять, то Максим Максимыч и обработал меня, да так, что пошла горлом кровь. Я не сдался и во второй раз ткнул Максима Максимыча шилом, но ловчее — меж ребер. Теперь и воспитатель стал плевать кровью, а меня после особого судебного присутствия отправили в колонию для малолетних преступников, дефективных и трудновоспитуемых, причем назван был я уже не сиротой павшего смертью храбрых, а проще — малолетним преступником.

В колонии не только пороли, но и сажали в темный карцер, а сверх всего, кормили тертой брюквой да жмыхом — тамошний директор воровал.

Стишков тут не учили и корзиночек не плели. Не до того было.

Осенью, после очередной порки, я бежал. Куда? Не знаю! Бежал от Нерыдаевки, от Солдатского поля, от мокрой лозы в колонии, от строгих глаз Николая Чудотворца в нашей темной и грязной столовой, бежал мальчишкой еще, но уже и юношей, бежал к тому, что начиналось далеко от стен нашей распрюклятой колонии, но, как я понял потом, имело к нам непосредственное отношение...

— В революцию? — тихо спросила Антонина.

— Тогда я не знал про нее.

— Так куда же?

Сидоров подумал, закурил еще папиросу, пожал плечами:

— Теперь трудно объяснить. На шум убежал. Какой-то, понимаешь, шум начался, не похожий на все пережитое.

— А потом — как Безайс и Матвеев?

— Кто, кто? — не понял Сидоров.

— Виктора Кина есть книга...

— Н-ну... не совсем так...

— И вы воевали?

— Немного. И все ждал в армии — я ведь потом долго в армии служил, — все боялся, что без меня с Нерыдаевкой начнут расправляться. Ан нет, не расправились. Пришел сюда, только демобилизованный, здесь еще все по-прежнему было...

— И вас сюда направили?

— Зачем направили? Сам напросился. Долго просил. Я ведь тут с самого начала, еще до генерального проекта ходил, мечтал, как вонючие хибары ломать будем, как скверик насадим, болото засыплем, очистим весь этот срам...

Он задумался и повторил:

— Срам и стыд бывшего.

Еще прошелся, махнул рукой и сел на диван, на валик.

— Смешно. Вот родилась у меня дочка, и лет через двадцать совершенно спокойно скажет: «Нерыдаевский жилмассив». Ей-то уж будет совсем ничего не понять об этом нашем времени...

И спохватился:

— А в кино? Опоздали? А, Тоня?

В нерыдаевском клубе показывали «Одну» — картину про учительницу и про то, как она поехала на Алтай. Антонина сидела съездившись, глядела на экран исподлобья, часто и коротко вздыхала.

— Это вы мне нарочно такую картину показали? — спросила Антонина, когда они вставали со своих скрипучих стульев.

— Почему нарочно? — усмехнулся Сидоров. — А впрочем, нарочно.

— Чтобы я знала, какое я ничтожество, да, Иван Николаевич?

— Почему же непременно ничтожество? Может, из тебя еще человек и образуется.

— А что такое человек, по-вашему?

— Не видела сейчас на экране? Объяснять надо?

Они шли молча под мелким дождичком. И Антонине казалось, что все, отовсюду, кругом, даже с экрана кино, наступают на нее, требуют, настаивают, сердятся.

— Ах, господи! — нечаянно громко вздохнула она.

— Ты о чем?

— Глупости все, — грустно произнесла Антонина. — Подумала, как глупо, бездарно прожита

жизнь...

Сидоров промолчал, но Антонине показалось, что какая-то самодовольная улыбка мелькнула на его губах. «И чего радуется? — сердито подумала она. — Еще, между прочим, посмотрим, прожита или вовсе не начата!»

Дома, едва они пришли, раздался звонок, приехала нянька Полина, с баулом, с сундучком, с кошелками. Она была растерянная, потная, с прилипшими ко лбу волосами. Федя, оставленный у соседей, влетел в переднюю с воплем, Полина подхватила его на руки, он обнял ее за шею. Антонина понесла нянькины вещи к себе в комнату.

— Кто это? — крикнул Сидоров из столовой.

— Няня Поля! — крикнула Антонина.

— Хозяин? — шепотом спросила няня. — Это хозяин, Антонина Никодимовна?

— Тут все хозяйева, — шепотом же ответила Антонина. — И Женя хозяйка, и я, и он... Все. Понятно?

Нянька разделась и пошла по комнатам, по будущему своему хозяйству. Антонина все ей показывала. На следующий день они вдвоем, взяв с собой еще Федю, поехали по рынкам покупать кроватку, ванночку, одеяльца. Женя все собиралась, да так и прособиралась — ничего не успела, не было даже достаточного количества пеленок. Нянька очень ворчала. Целый день Антонина металась между комбинатом и квартирой, между своей работой и безалаберным хозяйством Жени. Сидоров был очень занят, да, впрочем, узнав, что у Жени «состояние хорошее», передоверил все хлопоты Антонине. Под вечер Антонина, совершенно измученная, поехала в родильный дом. Женя лежала осунувшаяся, гордая и всем довольная. Девочка была хорошенькая, крепенькая, совершенно не похожая ни на Женю, ни на Сидорова.

— Вылитый Иван! — сказала Женя.

— А по-моему, носик твой! — из вежливости не согласилась Антонина. — Иван Николаевич сухой, поджарый, а девочка пухленькая...

Женя вдруг рассмеялась.

— Ах, боже мой, — сказала она, — как все в мире смешно повторяется. Помнишь, как мы на твоей свадьбе рассматривали, у камина Федю и все решали, на кого он похож? Помнишь?

— Помню, помню...

— И вот теперь так же. Ты икры мне принесла?

— Принесла.

Женя съела чайной ложечкой без хлеба полфунта икры, облизнулась как кошка, легла и закрыла глаза.

— Ну, теперь можешь уходить, — сказала она, — до свидания. Забирайте меня поскорей отсюда.

Дома сидели Сивчук и Сидоров. Антонина прошла к себе и легла, ей было приятно слышать голос Сивчука, ворчливый, мечтательный:

— А с материалом как роскошно было! Раньше двор был, вывеска, сторож в тулупе и всякое

прочее. Домичек уютный, канарейка или чирик. И в том дворе — материал, продажа. Кирпич, доски, лежни, голландский брус, известь, цемент, железо, краска, олифа... И вот приезжает на дрожжах подрядчик и заходит в домичек, к хозяину. Сидят, чаек пьют, калач жуют, то, другое. И продажа. И покупка. И всего вдоволь. А тут пушка на Петропавловской крепости — адмиральский час, пора водку пить. Хозяин подрядчику подносит то, другое, кушайте на здоровье. Пишут на бумажке: слег — столько, стекла бемского — столько, железа таврового — столько. А тут икорка. А тут сижки копченые. А тут головизна, холодец с хреном, настойка — горный дубняк, песня тож:

Я был знаком с Литовским замком,

В котором три года сидел.

Сижу вечернею порою,

Лампада тусклая горит.

Антонина задремала и увидела сон — что-то очень счастливое. Опять проснулась — вошла няня, наклонилась над Федей. Дверь была открыта, и был слышен голос Сивчука и смех Закса.

— Вы на меня не глядите, — говорил Сивчук, — не глядите, что я корявый. Корява жизнь, вот и я корявый. А в молодости ничего — кусался, знаете ли. И жаловаться на ихнего брата не могу, утешали по своему разуму.

Няня, заметив, что Антонина не спит, присела к ней на кровать.

— Вы бы разделись, — сказала она, — чего ж мучиться?

— Я не мучусь, няня.

Помолчали.

— Ну, как вам здесь, — спросила Антонина, — ничего? Привыкаете?

— Привыкаю.

Полина вдруг всхлипнула.

— Пал Палыча мне жалко... Как он там один...

Она ушла, и опять был слышен голос Сивчука:

— Позвольте, согласуйте. Отказываюсь! Увязывать и согласовывать я не буду. Мне материал нужен, не обязан я отвечать за разные штучки. Пуццолан мне нужен! Кирпич! Кафель! Краска! И кирпич мне нужен — сто тысяч экземпляров, роскошный кирпич, гофманка, тогда построю. А то с кремнем намешают, черти, возьмешь экземпляр в руки, а он весь в трещинах — какая может быть работа? В хорошем кирпиче зерно мелкое, веселое. Хороший кирпич швырнешь — он поет. Не на вырост шьем, дома строим! А из недопала — я не строитель! Сами стройте из недопала! Хватит! И жилы рвали, и кости ломали, хватит! Раньше, бывало, материал сам к тебе в руки шел — чего угодно, чего хочешь, — и какой прекрасный материал... Подрядчик только мигнет...

— Вы что, подрядчиком были?

— Валяй выше!

— Крупным домовладельцем? — насмешливо спросил Сидоров.

— Поквартально и в миллионщиках! — загадочно произнес Сивчук. — Гранит и мрамор.

— А точнее?

— В молодых годах юности у Нилова-подрядчика четыре месяца кучером служил. Кони — слоны! Поддевка на мне с ватным задом! Женщины от вида моего, Иван Николаевич, умирали.

— Прогнал Нилов?

— Непременно. И опять через дамский пол. У меня красота была на личность невозможная. Вы не смейтесь, с годами потерял, но и нынче...

Антонина улыбнулась и заснула. Когда открыла глаза и взглянула на часы, было уже два часа, но в столовой еще разговаривали и смеялись. Она распахнула окно, подышала, подумала о чем-то милом. Ощущение семьи не покидало ее. Она знала, что если выйдет сейчас в столовую, то всем это будет приятно. «Может быть, я покормлю их, — подумала она с необычайным чувством любви к ним, — может быть, я им каши манной наварю...»

Ей было приятно умываться и прибирать немного волосы — движения ее были вялые, ей не хотелось слишком утруждать себя. Потом она надушилась Жениными духами, хоть были свои, подумала, что надо бы совсем проснуться, и вышла в столовую. Сивчука уже не было, только пахло еще ядовитой его трубкой, зато был Щупак, в новой гимнастерке, в футбольных бутсах.

— С добрым утром! — сказал он, увидев Антонину. — Вот я себе щиблеты какие купил.

— Так это же бутсы, — удивилась Антонина. — Для футбола...

— Но им сносу нет. И непромокаемые.

— Это верно, — согласилась Антонина. — Может быть, вы есть хотите, я могу манной каши наварить.

— Валяй вари! — сказал Сидоров. — Верно, Семен? Неплохо сейчас каши похлебать...

Когда она принесла кашу, Сидоров говорил об Альтусе.

— Проводили?

— Проводили! — сказал Сидоров. — И тебе, между прочим, привет.

Антонина страшно покраснела, Сидоров внимательно, не отрываясь на нее смотрел.

— Откуда вы его знаете? — спросила она.

— По армии.

— А он разве военный?

— Все мы военные, когда война. Воевали с басмачами... Так-то, Антонина Никодимовна, садись с нами, покушай каши... Значит, привет тебе с вокзала...

Но кашу она есть не стала. Уж очень внимательно смотрели на нее и Сидоров и Щупак. И

внимательно, и немножко насмешливо.

4. Я вам все верну!

Женю перевезли домой. Весь вечер прошел в разговорах, в суете, в рассказах. Женю навещали и Вишняков, и Сивчук, и Закс, и Сема, и ее знакомые врачихи, квартира все время была полна народу, так что к ночи все устали до отупения. Следующий день был выходной, но Антонина встала до света, сняла со стола скатерть, застелила специально купленной толстой серой бумагой, приколола бумагу кнопками. В чернильницу-невыливайку (старую, школьную) налила чернил, вставила в старую ручку остренькое твердое перо, разложила на столе — справа и слева — книги и тетради, очинила карандаши. Было утро, солнечное, сияющее, недушное. Антонина села у стола на стул, попробовала, удобно ли, не скрипит ли, не шатается ли стол, попробовала положить руку. Все было удобно. Потом отыскала свою старую линейку, угольник и тоже положила. Потом посмотрела от двери на все это — нашла, что ничего, хорошо, улыбнулась, поставила в центр к краешку стола Федину фотографию, села за стол, сложила руки, ладонь к ладони, и крепко стиснула. Теперь ей надо было петь, и она запела: «Когда печаль слезой невольной...» — запела тихонько, чтобы не разбудить вкусно посапывающего во сне Федю.

Дом просыпался. Сидоров, шлепая босыми ногами, побежал в ванную, Женя громко засмеялась, Федя сел в постели и потер кулаками глаза. Поля позвала пить чай.

За чаем Антонина все улыбалась, рассеянно и нежно, и отвечала невпопад, потом сдала Федю няне — он получил лопату, тачку, мячик, зайца и седло и ушел гулять.

Она опять села за стол у окна, все так же рассеянно и нежно улыбаясь чему-то, взяла карандаш, открыла «Геометрию» и тотчас же, забыв о карандаше и о тетрадке, стала читать «Геометрию», как роман, косо поглядывала на чертежи, иногда шептала: «Сторона АБ равна стороне А-прим — Б-прим», и шептать так было удивительно приятно, мило и уютно!

Постучала Женя, Антонина взглянула — Женя стояла в передней с девочкой на руках и улыбалась мягко и ласково.

— Ты что? — спросила Антонина.

— А ты что? — ответила Женя.

Обе немножко засмеялись, и Женя вошла в комнату, но Антонина попятилась так, чтобы закрыть собой стол в случае чего.

— Ну, как ты здесь жила без меня? — спросила Женя. — Вы тут что-то с Сидоровым разговаривали, да?

— Да, — сказала Антонина, взглядываясь в Женино лицо, — он мне рассказывал.

— Что ты так смотришь?

— Ничего. Ты все-таки переменялась.

— Да?

— Очень.

— Лучше стала? Или хуже?

— Как-то мило переменялась. Спит? — она кивнула головой на ребенка.

— Не знаю, — сказала Женя, морща нос по своей привычке, — я еще плохо разбираюсь. Я еще ее боюсь. Она непонятная. Шепчет. Можно у тебя посидеть?

— Можно.

Женя села и положила девочку к себе на колени. Антонина все еще стояла у стола, загоразивая собою книги. Женя стала кормить ребенка.

— Очень парадно у тебя в комнате, — заметила она. — И ты парадная. И важная. Наверно, потому, что ты теперь работаешь, да?

— Может быть! — загадочно ответила Антонина.

— Ты ведь теперь начальник!

— Да, начальник!

Женя говорила почти машинально, она была совершенно поглощена кормлением. Но это не обижало Антонину.

— Ну и как тебе работается?

— Великолепно.

— Ну-ну! — сказала Женя ребенку. — Нельзя так хватать, как крокодил, право! — И подняла от девочки разгоряченное лицо. — Знаешь, как мы ее назовем?

— Нет, не знаю.

— Ольгой. Оля. Ольга Ивановна. Хорошо? Тебе нравится? Олечка! Оленька! Олюшка! А Иван считает, что Маша лучше. Но все-таки я назову Ольгой. Ведь не он рожал, правда, Оля? Тебе нравится?

— Нравится.

— Очень или так себе?

— Очень, — улыбнулась Антонина.

— Ты какая-то дурная, — внезапно обидевшись, сказала Женя, — почему ты со мной разговариваешь свысока?

— Ничего не свысока.

— Свысока. Улыбаешься довольно противно.

— Ну просто так, Женечка. Смотрю на тебя и вспоминаю...

— Что?

— Все. У меня тоже все так было. И в больнице, и потом дома. Конечно, немного иначе, и потому что...

— А знаешь, — перебила Женя, — тебе Сидоров ничего не говорил?

— Про что?

— Про вокзал.

— Про вокзал? — Антонина немного покраснела. — Про вокзал они чего-то хихикали.

— А я знаю почему, — сказала Женя.

— Ну?

— Только я тебе не скажу.

— И не надо.

— А может быть, скажу. Это смотря по тому, какое у меня будет настроение.

Она плутовато прищурилась, положила девочку на Антонинину кровать и застегнула блузку.

— Вот мы и сыты, — сказала она тоном все испытавшей матери, — вот мы и спим.

Она прошлась по комнате и взглянула на раскрытые книги.

— Занимаешься?

— Пытаюсь, — сказала Антонина. — Да нет еще, даже не пытаюсь. Только разложилась. Очень много всего знать нужно, Женечка, ужасно много. Читать приходится специальную литературу, и прямо оторопь берет. У меня такое чувство, что я никогда ничего не успею, что я все упустила и теперь пропаду. Даже руки иногда начинают дрожать...

— Это я знаю, это и со мной бывает до сих пор. Только в конце концов все образуется. Знаешь, я поговорю с Заксом, он отлично знает математику, физику, химию. Он, конечно, согласится, но имей в виду, что Закс — человек аккуратный, даже педантичный, время ему дорого. Хочешь? Нужно тебе?

— Странно, — сказала Антонина, — конечно, нужно.

— Только не начинай, пожалуйста, сразу обижаться.

— Я нисколько не обижаюсь.

— А русским и политической экономией, историей так можешь со мной, хочешь?

— Спасибо, — сказала Антонина.

— Давай с завтрашнего дня.

— Давай.

— Вечерами? Да?

— Хорошо.

У Антонины вдруг заблестели глаза.

— Женя, — спросила она, — ты мне веришь?

— Верю, а что?

— То есть я не то, — поправилась Антонина, — я про другое. Я хочу спросить, ты мне

доверяешь?

— Конечно, доверяю, дурная!

— Ты веришь, что это все не даром, как ты считаешь? Это тебе не смешно все в глубине души? Не смешно?

— Ты с ума сошла.

— Ведь я все начинаю с начала, — не то с горечью, не то радостно говорила Антонина, — все совсем с начала. Ты подумай, Женя! Я вот тут сижу и думаю, сколько мне лет? Пятнадцать? Двенадцать? Ведь у меня уже ребенок большой. Ведь я — почти как ты. Подумай, все с начала, совсем все. Ведь это очень трудно и, может быть, глупо, Женечка. Мне иногда кажется, что вам всем это смешно. Нет?

— Дура, — без улыбки сказала Женя.

— Не смешно?

Антонина взяла Женю за плечи.

— Ты не думай, — говорила она. — Женечка, милая, я все, решительно все понимаю. Я понимаю, что я занимаю у вас комнату, что Федя, может быть, иногда раздражает вас. Я знаю, сейчас очень трудно — и с едой, и со всем. И я, Женя, очень думаю по ночам, правда, ты веришь мне?

— Мне просто противно, — сказала Женя. — Я всегда считала тебя умной.

— Ну, а теперь будешь считать меня глупой, только и всего. Я ведь о чем, Женя? Я о том, что у меня комната есть, я бы, конечно, могла обменять ее и поселиться одна с Федей, но это так трудно жить одной в отдельной комнате. Ты не представляешь себе, как это трудно — одиночество и пустые, длинные, бессмысленные вечера. Ну как я буду без вас? Ты не сердись, но, знаешь, мне иногда приходит в голову, что много-много самых горьких бед происходит от одиночества, оттого, что люди вовремя не навещают друг друга, и не в порядке чуткости, не для выполнения долга, а потому что велит душа. Тут у нас даже какой-то закон должен быть — не оставлять человека одного. Вот я сейчас работаю, все-таки маленькое дело, но делаю, и то, что я с людьми вместе его делаю, то, что я им кому-то нужна, что мне по телефону звонят, — знаешь, как это важно? И как страшно, когда не звонит телефон, и ты один, а город миллионный. Ужасно я туманно все это говорю, но ты понимаешь, ты не можешь не понимать. И вот нынче, когда я с вами, когда я с людьми, у меня даже голова порою кружится от гордости. Ты, Женя, говорила как-то, что я гордая, и я гордая не даром — у меня столько здесь есть всего, и никто этого не знает, мне иногда кажется — мир переверну, ох, даже страшно! — Она засмеялась, откинув назад голову. — Ты не думай только, что я хвастаю, хорошо?

— Хорошо.

— И не смейся надо мной. Давай сядем, я сейчас много буду говорить. Давай только уютно сядем.

Они сели обе рядом на кровать, и Антонина подложила под спины подушки. Она вся светилась от восторга, от возбуждения, от непонятной радости. Она была очень бледна, и черные глаза ее как-то еще потемнели, — вероятно, от бледности.

— Ну, посмотри на меня, — сказала она, и губы ее некрасиво дрогнули, — ну, посмотри мне в глаза. Видишь, видишь, что я не хвастаю? Я никогда не лгу, никогда в жизни я для себя ничего не соврала и не солгу. Женя, я многое могу, — громко и внятно произнесла она, — я

все могу, Женя. Ты веришь мне?

— Верю, — сказала Женя. Возбуждение Антонины передалось ей. — Верю, Тося.

— Ну вот, верь, — Антонина крепко сжала холодными пальцами ее руку, — верь, пожалуйста, верь. Я это все недаром говорю, — заторопилась она, — я это к тому, что вот ваша комната, которую мы занимаем, и шумный Федя, и то, что я, конечно, не всегда, но, бывает, раздражаю Ивана Николаевича и, может быть, даже тебя, и то, что я в чем-то нелепая, и получилась у вас из-за меня коммунальная квартира, ты только не перебивай, пойми правильно — я все это отдам. Понимаешь? Отдам не в том смысле, в котором люди отдают друг другу денежные долги, а в том, который я здесь, у вас, от вас начала понимать. Это детская мудрость для Ивана Николаевича и для тебя, но я-то совсем недавно научилась во всем этом разбираться. Понимаешь, вот Скворцов, за которым я была замужем, — у него совсем другие законы жизни, ужасные, и Пал Палыч, о котором я не имею права говорить дурно, — он тоже думает и живет совсем иначе, чем здесь, чем вы, Сема, Вишняков, даже чудак Сивчук. Во всем этом не так просто мне разобраться, но я только одно совершенно точно знаю, раз навсегда, что в моей прошлой, миновавшей судьбе еще кто-то виноват, кроме меня, кто-то или что-то; значит, была у меня беда, ты согласна со мной, веришь мне?

— Верю, Тоня, но только...

— Вот тогда я в тебя влюбилась, но не создалась самой себе и даже совсем о другом думала, но влюбилась.

— Я тебя очень люблю, — сказала Женя, — я всему верю, что ты говоришь. И Сидоров тебя любит, он теперь говорит «наша старуха, приживалка Никодимовна». Ты старуха Никодимовна, да?

— Да, — рассеянно улыбнувшись, сказала Антонина, — я Никодимовна. Да, да... — Она засмеялась. — Ты знаешь. Женя, я здесь везде ходила по массиву и думала. Я столько выяснила для себя за эти дни — просто бездну! Я в себе открыла такое, чего раньше и не подозревала. То есть я подозревала, я знала — ох, какая я самонадеянная, Женюшка, я пугаюсь, когда про себя такое подумаю, — но я ведь это тебе говорю, а тебе все можно, да, ты не засмеешься. Ты знаешь, Женечка, я иногда думаю: ах, все это ерунда, вот погодите, я научусь, разберусь, узнаю, и тогда сама такое разверну, такое, что вы все удивитесь, и тогда я в один день, я вам все отдам...

Она внезапно закрыла лицо руками.

— Это очень стыдно, очень! — говорила она, отвернувшись от Жени. — Это самое настоящее хвастовство, но я знаю, что так будет, я это предчувствую, я по ночам просыпаюсь, точно меня ударили, и я вижу это. Будет, будет, будет, — упрямо и тихо, будто колдуя, сказала она, — я не хуже вас всех, я ничем не виновата, я не сделала ничего дурного, решительно ничего, то есть я была виновата, вот когда меня вызвали тогда в уголовный розыск, но и не была виновата нисколько. — Она резко повернулась к Жене. — Знаешь, Женя, милая, — она взяла ее за руки, — я злая; я тогда, когда все это уже будет, я тогда подойду вот так близко-близко к тем, которые говорили: «Маникюрша, дура, мещанка, иди в секретарши, поедешь в Сочи, мы с тобой там будем жить», — я тогда, когда это уже случится, подойду к одному из этих, знаешь, к самому лицу, и плюну ему в лицо, да, Женя, и еще раз плюну, и еще. Я знаю, что это дурно, гадко, но, Женечка, ведь это они к нам так относятся, что мы пропадаем и сворачиваем себе шеи, — ох, как я теперь понимаю все про эту сволочь! — Она заглянула в Женины глаза и засмеялась. — Нет, нет, — смеясь, говорила она, — я не плюну, Женечка, право, не плюну. Это я все выдумала сейчас, просто вспомнила про эту дрянью, про этих разных, и выдумала такое. Я на самом деле о другом мечтаю, знаешь о чем? О том, как тебе все отдам, все, что взяла у тебя взаймы. Ты не морщись и не сердись, я ведь вовсе не про

деньги сейчас говорю, хоть деньги я тоже отдам, я про «взаймы», но про иное. Знаешь? Я про капитал, Женечка, про вложения капитала. Вот я про что. А ты замечаешь, что у нас в каждом разговоре образуется терминология? Замечаешь? Прошлый раз — «молекулы», «трапеция», «царство необходимости». Сейчас — «взаймы», «капиталовложение». Да? И тогда ночью, после наводнения, когда мы с тобой гуляли, тоже была какая-то терминология, я сейчас забыла какая. Ну вот... Про что я? Женька, смотри, у нас уже воспоминания есть, правда?

— Правда.

— Ну, про что же это я говорила?

— Про вложения капитала.

— Да, верно. Так вот! И чего я так волнуюсь, просто непонятно. Я говорила про то, как мне возратить — не деньги, нет, это ерунда, а другое, то, что вы мне выдали. Ну, как это объяснить? Вот вы как-то там все ко мне относитесь, да?

— Относимся.

— Так ведь я должна за это за все расплатиться?

— Должна, — серьезно сказала Женя.

— А чем?

— Ну, это ты сама знаешь. Ведь знаешь?

— Знаю, — улыбнулась Антонина. — Я все знаю.

Они помолчали. Антонина все улыбалась утомленной и вместе какой-то вызывающей улыбкой.

— Но это все-таки страшно, — сказала она, — быть может, пройдет еще много лет...

— Непременно...

— Я состарюсь.

— Ну?

— И все это будет ни к чему.

— Как ни к чему?

— Не знаю... Ах, право, все равно.

Она с силой потерла лицо руками и откинулась назад на подушку.

— Сколько кутерьмы, волнений, — сказала она, — сколько бессонных ночей... Мне было очень, очень трудно. И смешно. Помнишь, как я к тебе тогда в полночь приехала с Федей на житье? Вот — почему? Мне еще одна вещь вспомнилась сейчас, рассказать?

— Расскажи.

— Это уже давно было, когда я еще замужем за Скворцовым была. Ну вот, надо тебе сказать, что в школе дружила я с девочкой с одной, со Зверевой. Звали ее Рая, Рая Зверева. Хорошая девчонка, толстая такая, хохотушка и задира. Смешно! — Антонина улыбнулась уголком губ.

— Грустное, смешное — ничего не понять. Ну так вот: дружила я со Зверевой. Разговаривали,

читали кое-что вместе, и я, знаешь, всегда была умнее ее, больше понимала, и она даже у меня спрашивала разные вещи. Ну вот... я школу бросила, тяжело мне жилось, потом поступила в парикмахерскую, потом замуж вышла за Скворцова, потом родила. И пошло... читать бросила, думать бросила. Незачем было думать... Так, посмотришь газету — и тотчас же ко сну клонит... Так и жила. Подруги постепенно растерялись, а Раю свою я и вовсе потеряла из виду. Ну вот. Еду однажды — весной ранней было дело — в трамвае к Московскому вокзалу, с Федей на руках. Он тогда совсем маленьким был. Сажу в вагоне. Потом душно стало, вышла на площадку. Трамвай грохочет, раскачивается, сырой ветер — хорошо, хорошо! Знаешь, бывает иногда такое настроение — ничего, собственно, и нет, а душу щемит. Как будто бы было такое же самое, да лучше, красивее, будто я уже так ехала, и ветер такой же был, и огоньки, но все это совсем замечательно было, а сейчас только так, похоже. А то хорошее, главное, никогда больше не вернется, навсегда потеряно. Бывало у тебя так?

— Бывало, — сказала Женя, — много раз бывало.

— Ну вот, — продолжала Антонина, — еду, одним словом. Федя мой спит, мне грустно, жалко чего-то, щемит. Такое чувство, будто я только что и навсегда пропустила самую лучшую секундочку из всей своей жизни и никогда мне больше не достанется эта секундочка. А тут еще голоса слышу — молодые, веселые. Это на площадке какие-то трое ехали и разговаривали... И понимаешь, до того знакомый один голос, ну просто ужас, до чего знакомый. Может быть, думаю, чудится, настроение, может быть, такое. Нет! Не чудится. Всматриваюсь, вслушиваюсь — и себе не верю. Можешь представить? Райка Зверева. В кожаном пальто, шарф на шее замотан пуховый, беретик тоже пуховый с помпоном, у ног чемоданы стоят. На вокзал, видно, едет. Я к ней. «Райка, говорю, Зверева, ты? — „Я“. Но по глазам видно — не узнает. „Не узнаешь?“ — спрашиваю. „Нет, не узнаю“. — „Не узнаешь Старосельскую?“» Если б ты видела, как она обрадовалась! Слезы даже на глазах выступили. Оказывается, инженер по автотранспорту и едет на практику. Это Райка моя — инженер! Обе мы волнуемся, смеемся, и разговор такой глупый-глупый, — знаешь, в таких случаях непременно глупо разговаривают. Ну то, другое. Посмотрела она Федю моего, похвалила. Спрашивает, счастлива ли я? А мне неловко — тут два ее товарища поглядывают на нас. «Да так, говорю, спасибо, живу». И чувствую — разговор уже не тот, что-то словно оборвалось. И ей не просто, и я слова подыскиваю. Ужасно это — слова подыскивать и чувствовать, что неловко, что она больше меня понимает и что ей жалко... А ей действительно меня жалко было. Смотрит на меня такими глазами, будто хочет сказать: «Как же это так, Старосельская?» И я на нее уже с вызовом поглядываю — да, мол, так, как видишь, и ничем я тебя не хуже, хоть ты инженер. Знаешь, как я это умею, с вызовом? Что-что, а с вызовом — когда угодно! А тут вдруг она говорит, что у нее тоже дочка есть. «Здоровая? — спрашиваю. — Учась, поди, трудно дочку поднять?» И чувствую, что уже обидным голосом спрашиваю. «Здоровая», — отвечает. Удивительно глупо все было. Еще поговорили. О книгах о новых, о театре. Она говорит, я молчу. Что мне сказать, если я не читаю ничего и в театр не хожу? Молчу и думаю: «Еще пять остановок ехать, а трамвай медленно ползет как назло». Взяла и слезла. И глупо так головой ей кивнула: «Пока!» — говорю. Она растерялась, а я пошла с Федей на руках.

Антонина помолчала, робко улыбнулась и, точно удивляясь, сказала:

— А как мне теперь ее хочется повидать, Женечка, милая, просто страх! Я бы ей теперь все сказала начистоту, созналась бы во всем.

— В чем же?

— Да во всем, во всем этом глупом разговоре. Ужасно мне до сих пор стыдно почему-то.

Потом Женя ушла, и Антонина села заниматься. У нее горели щеки. «Слишком много говорю,

— подумала она, перелистывая книгу, — болтлива стала. И все ерунда: капитал, займы... Что такое? Заниматься, заниматься, дорогой товарищ, заниматься и еще раз заниматься».

На другой день вечером она занималась с Женей, и Женя ее похвалила. Потом они обе позвонили по телефону Заксу. Закс велел явиться к нему «завтра, часам к восьми вечера, но не опаздывать».

5. Жаркое время

Иногда ей казалось, что она не выдержит.

На комбинате было все больше и больше работы, Закс становился все требовательнее, Федя тоже хотел видеть «свою родную маму», Женя была настойчивым и придирчивым педагогом, а времени в сутках по-прежнему — двадцать четыре часа и ни минутой больше.

И все-таки все шло отлично.

Холодные дожди с пронизывающим, мозглым ветром внезапно сменились жарой. Иногда бывали грозы — с пыльными вихрями, с гудящим веселым громом, с продолжительными ночными молниями. Тогда очень уютно было заниматься под сонное Федино причмокивание, под его коротенькие вздохи, под стук дождя в стекла; было уютно наливать себе ночью в кухне горячий чай и пить его стоя, думая над тетрадкой, хрустя сахаром. Было уютно съесть что-нибудь, когда все в квартире спят. Было уютно встречать, занимаясь, рассвет, видеть зарю, следить за остатками ночных туч, разгоняемых утренним ветром. Или ночью, когда ничего не понимаешь и глаза слипаются от усталости, вдруг распахнуть набухшее, сырое окно — и сразу отскочить, и смотреть потом, как капли дождя влетают в комнату, скачут на подоконник, на пол, слушать глухие дальние раскаты грома и вдруг вздрогнуть, захлопнуть окно, опустить занавеску и долго ходить по коридору — тихонько, чтоб не скрипели половицы, и чувствовать, что томишься и ждешь чего-то, прислушиваться со страхом и радостью.

Она мало спала, похудела, как-то даже почернела лицом. Федя совсем от нее отвык. Она теперь редко укладывала его спать — в это время занималась обычно у Закса. Сидоров все точно бы приглядывался к ней, заходил порой в комнату, бормотал свое «тыр-мыр», спрашивал о чем-то, она никогда сразу не понимала — о чем, терялась, краснела. Как-то она обмолвилась, что не может достать книгу — нужен новый учебник, а нигде в магазинах его нет. Сидоров внимательно на нее взглянул и через несколько дней принес книжку. Она растерянно поблагодарила.

— Только не пачкай, — сказал он по своей манере раздраженно. — Чужая.

И ушел, хлопнул дверью.

Его никогда не бывало дома, когда Женя занималась с Антониной, но однажды он явился и назойливо шелестел газетой все время, пока они разговаривали. Потом вдруг стал кашлять, потом забормотал, что Женя все врет, и взялся сам объяснять. Он говорил очень толково и очень вразумительно, но Антонина его боялась, он смотрел на нее круглыми, красными от вечного недосыпания глазами и явно раздражался.

— Не понимаешь? — спрашивал он. — Или понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, тогда вот с тех позиций, которые я тебе изложил, объясни такой случай...

Случай был запутанный и трудный, но Антонина объяснила его даже с блеском, хоть и не глядела на Сидорова, боясь его глаз.

— Отлично, товарищ, — сказал он, помолчав, — отлично.

Она ушла к себе и долго читала в эту ночь — опять до зари, и опять пила простывший чай.

Легла она поздно, совсем утром, и сразу уснула — разбитая, усталая.

Закс ей сказал, что она очень способная, это ее обрадовало, до того, что она даже, как в детстве, постояла немного на одной ноге.

— Правда, способная?

— Правда.

— Но «очень» — это вы так сказали, из жалости. Сознаться!

— Нет, не признаюсь.

— Честное слово — очень способная?

— Честное слово.

— А откуда вы знаете?

— Ну, боже мой, как откуда? Вы легко, с лету понимаете, ведь я вам никогда по два раза ничего не объяснял, верно?

— Верно.

— А почему вы на одной ноге стоите? — спросил он серьезно.

Она покраснела.

— Так. Ну, дальше.

— Что ж дальше? Смотрите, как мы с вами много, в сущности, за два месяца прошли. Вы ведь о тригонометрии понятия не имели, так?

— Да.

— А чем мы вчера занимались?

— Изменениями функции с возрастанием угла от нуля до трехсот шестидесяти, — сказала Антонина и улыбнулась, — и потом вы мне растолковали формулу приведения.

— Видите, это много.

— Много, — согласилась она. — А как вам кажется, я прилежная?

— Прилежная.

— До усидчивости, — сказала она, собирая книги со стола, — ох, я действительно, кажется, очень способная.

— Вы — хвастунья, — сказал Закс, — но, если так пойдет, зимой можете держать испытание. В январе.

— Правда?

— Правда.

— Дайте честное слово.

— Даю.

Улыбаясь чуть смущенно, он поднял руку.

— Закс, миленький, — сказала она, — голубчик Закс, это очень трудно — университет?

— Трудно.

— Но очень?

— Не знаю. Вообще учиться не трудно. То есть если все всерьез, понимаете? Но на экзамене вы можете испугаться. Я вас, правда, вытренирую, но все же... Вы, насколько я понимаю, особа экзальтированная.

— Ничего, ничего, — сказала она, рассеянно улыбаясь, — ничего. Ах, если бы, правда, зимой! А мне стипендию дадут?

— Наверняка.

— А много?

— Нет, больших стипендий нет.

— Ах, это будет трудно, — вздохнула она. — Вот Феде нужно пальто шить, он из старенького совсем вырос, а я все вещи продала.

Закс молчал.

— Ну, до свидания, — сказала она, — спасибо вам.

— Спасибо, — ответил он машинально и крепко пожал ее худенькую руку, — завтра в девять.

Он подал ей пальто и проводил до парадной.

— Завтра в девять, — повторила она, — ох, как я вам надоела!

Потом она шла по людной летней улице и чувствовала себя совсем девчонкой — точно она идет не сейчас, а давно, точно жив еще папа, точно в школе были уроки, а потом репетиция драмкружка, — и вот она идет домой, усталая, голодная, с книжками в левой руке, как носят девочки, и немножко еще поет, и немножко пританцовывает там, где потемнее, и в то же время ей ужасно грустно.

Она чуть-чуть повздыхала о детстве, которое никогда больше не возвратится, о папе, о юности. Юность прошла, и все было плохо и в юности, и в молодости — она думала сейчас о себе как о старухе, будто она действительно старуха, приживалка Никодимовна, — шла и вздыхала, но тотчас же ей сделалось смешно, она вздернула плечами и пошла быстрее.

И ей приятно было чувствовать, как легок и четок ее шаг, приятно было знать, что она такая сильная, гибкая, что косы ее тяжелы и прическа тянет голову назад, — приятно было видеть Петропавловскую крепость и блестящую, гладкую Неву, и идти, идти по торцам, и вдруг запеть, почти громко:

Когда бы жизнь домашним кругом...

Оглянувшись, она поняла, что надо ехать совсем в другую сторону, — она вышла почему-то к Невскому, к Главному штабу. Но ей не хотелось домой, она дошла пешком до Литейного и только тут села в трамвай. Трамвай был набит битком, пахло духами, кто-то заглянул ей в глаза, она отвернулась и с трудом протискалась на площадку. Было жарко, и опять она ощущала какое-то томление, вновь захотелось плакать, и потом, когда она вышла из трамвая, ей страшно захотелось взять кого-нибудь под руку и заглянуть ему, этому человеку, в глаза, захотелось, чтобы он сказал ей особенное, почти непонятное, но значительное слово, и захотелось закапризничать. «Ах, боже мой, боже мой!» — сказала она и уронила книги.

Дома еще не спали. Антонина села со всеми пить чай, а после чая сказала Жене, что она ее ненавидит.

— За что? — спросила Женя спокойно.

Она сидела в халатике, пушистая, розовая, умные ее глаза ласково и чуть насмешливо светились.

— За что ты меня ненавидишь?

— За устроенность, — сказала Антонина, — ох, какая ты устроенная, довольная, счастливая. Ненавижу!

— Не надо меня ненавидеть, — сказала Женя, — мне так сейчас уютно.

— Вот и ненавижу.

Сидорова позвали к телефону.

Женя тихонько сказала:

— Хочешь знать один секрет?

— Ну?

— Ты не меня ненавидишь, а по любви тоскуешь. По первой любви.

— Я? По любви?

— Ты! По настоящей, невероятной, неземной, страстной любви. Я ведь тебя насквозь вижу.

— Ничего ты не видишь, я теперь другая.

— И все-таки я права.

— Удивительная самоуверенность!

Сидоров повесил телефонную трубку, сел за стол, зашуршал газетой.

— Хочешь, я тебе дам бром? — спросила Женя. — Хочешь, детка?

— Не хочу.

— Я обычная, жалкая, пошлая женщина, — сказала Женя, — не презирай меня. Вот мне приятно пить чай с повидлом.

— А я не хочу.

— Ну и не надо.

— Чего вы грызетесь? — спросил Сидоров. — Чего не поделили?

Антонина поднялась и ушла заниматься, но ночью, услышав шаги Жени в коридоре, выскочила к ней, и они долго стояли в кухне и объяснялись. Потом Антонина просила прощения и была прощена.

Так прошло лето, и наступила осень. Иногда к ней заходил Сема Щупак — толстый, прямодушный, голубоглазый, с каждым днем все больше смущающийся. Он что-нибудь рассказывал, волновался, называл ее Тосенькой, а она устраивала у себя на углу стола чай — отодвигала книги, застилала салфетку, резала серую, кислую булку. Сема приносил книжечки стихов и читал вслух, странно и смешно завывая на конце строчек. Стихи он читал хорошие, но Антонине от его чтения всегда было как-то даже неловко.

Однажды, почитав немного стихов и попив чаю с сыром и мокрым ситным, Сема объяснился ей в любви.

Она сначала не поняла, что он такое говорит, а потом испугалась до того, что замахала руками на Сему. Он сидел, смутившись, на стуле, молчал и слушал, как она ему выговаривает.

— Я сам знаю, что это не по-товарищески, — наконец сказал он. — Не сердитесь на меня. Я просто логически рассуждал — почему вам меня не полюбить? В конце концов, я ненамного младше вас.

— Оставьте, Сема, — сказала она, — никогда больше не будем об этом говорить. Вы, вероятно, влюбчивы, да?

— Да, — произнес он, — кажется.

— Вы, наверно, были и в Женю влюблены? — спросила она улыбаясь.

— Был, — сознался он, — но не сказал ей об этом из чувства товарищества. Сидоров — мой товарищ, и это было бы подлостью.

Он ушел грустный в этот вечер и несколько дней не показывался вовсе. Но потом все-таки пришел и очень долго, страшно завывая и тараща глаза, читал:

Я счастье разбил с торжеством святотатца,

И нет ни тоски, ни укора...

Смотрел на Антонину жалобными глазами и отказался от чая. Часов в одиннадцать вошел Сидоров и спросил, что это здесь так противно воеет.

— Не что, а кто, — сказал Сема, — это я читал стихи.

Теперь она знала, как живет Закс — он сам рассказал ей кое-что, о многом она догадалась сама, мелочи заметила во время уроков. Закс удивлял ее с каждым днем, она все больше уважала его, поражалась, иногда просто недоумевала. Он был еще молод, немного старше ее, и, однако же, совсем не думал о себе, о своих удовольствиях, о своей жизни. Он был упорен, скромн почти до аскетизма, его чудовищная работоспособность и умение беречь время просто восхищали Антонину. Сначала он казался ей суховатым педантом, но потом она поняла, что это совсем не так. Ему тяжело жилось, и он уже многое перенес — она заметила, что, несмотря на свою молодость, он уже изрядно сед, и это ее очень удивило.

В нем было много смешного и трогательного, в этом человеке; иногда, если она приходила немного раньше, он доделывал при ней свои хозяйственные дела: чистил картофель на обед, на завтрак, мыл посуду, гладил белье детям. Было почему-то грустно смотреть, как высокий, широкоплечий мужчина, почти инженер, умница, всерьез, а главное, умело и без всякого мужского кокетства (мужчины очень любят в таких случаях представляться косолапыми) разглаживает детские лифчики и штанишки, как он при этом насвистывает и как нисколько не стесняется необычного своего дела. Он никогда не охал, не жаловался, но никогда не говорил, что доволен существующим положением вещей.

Иногда она ему помогала.

Это началось с того, что она застала его приготавливающимся мыть пол.

— Давайте я, — предложила она.

Он не дал.

Тогда она сбросила туфли со своих смуглых, легких ног, упрямо поджала губы, вырвала у Закса тряпку и в полчаса вымыла и дверь, и окно, и пол, да преотлично, так что Закс даже покачал головой.

— Видите, — говорила она, тяжело дыша и счастливо улыбаясь, — вы бы тут два часа прыгали.

Как-то она явилась к нему в его отсутствие — дети были в очаге — и наготовила обед на два дня: суп, очень вкусный, с горошком и с морковкой, баранину и компот. Она принесла продукты с собой — Полина продала старый платяной шкаф.

— Вы просто сумасшедшая, — выговаривал ей потом Закс, — это черт знает что. Кто вас просил?

Занимаясь у Закса, она еще кое-что выяснила для себя про Сидорова. Сидоров иногда премировал чем-нибудь Закса — премии были смешные: курьерша, например, приносила пять кило картофеля, или коробку вермишели, или две-три банки консервов, или пять метров ситцу. Закс каждый раз при этом вспыхивал, злился, и Антонина знала, что между Сидоровым и Заксом уже произошло не одно объяснение на эту тему, но Сидоров отшучивался, и всегда так, чтобы гордость Закса (Закс был очень горд) не страдала.

Антонина знала, что продукты Заксу посылались из столовой, знала, что Сидоров жесток на эти вещи, и знала, что никто ничего из столовой не получает, даже сам Сидоров, знала, что Закс — исключение, и то, что Сидоров умел делать такие исключения, очень трогало и почти умиляло ее.

Большая, старая комната Закса была по смете, составленной Сивчуком, совершенно наново отремонтирована, было даже уширено окно, перестроена дурно греющая печь, был сделан

простой, но прочный шкаф и письменный стол. Стол сделал Сивчук, сам его отполировал и даже что-то там усовершенствовал: письменный прибор, выточенный тоже им, вдруг, по желанию, мог проваливаться внутрь. Никто не знал, для чего, собственно, прибору надобно проваливаться, не знал и сам Сивчук, но все одобрили, особенно Вишняков. Ремонт был осуществлен из каких-то хозяйственных сумм и обошелся, в общем, довольно дорого. Сидорова потом даже куда-то вызывали, и он писал объяснения, два дня злился, а на третий объявил Жене, что накрутил кому следует хвост и что теперь черт ему не брат.

Как-то в субботние сумерки Сидоров зашел по делу к Заксу. Антонина, бледная, держалась за виски. Зак пожаловался:

— Немыслимое дело, Ваня. Довела себя женщина буквально до болезни. Прикажи ей официально хоть один вечер ничего не делать и одну ночь совершенно не заниматься. Есть пределы всему.

Наутро Сидоров премировал Антонину, Вишнякова и Сивчука билетами в цирк.

— Развлечешься! — сказал он, глядя мимо Антонины. — Подумаешь — ах, как бы этот наездник не упал! И красиво там...

Билеты были вручены торжественно всем троим в служебном кабинете Сидорова.

— Надеюсь, вы оправдаете эту награду, — сказал Сидоров. — Уверен, что делом докажете...

И нельзя было понять — шутит он или серьезно.

Антонина не успела пообедать — так ее торопили Вишняков и Сивчук. Явились в цирк, как и следовало ожидать, первыми. Антонина сразу пошла в буфет — очень хотелось есть, а старики отправились побродить.

Острый запах работы — опилок, кожи, лошадей — удивил и обрадовал их. Все выглядело таинственно и прочно. Все было прилажено, как на заводе, — всерьез.

Не торопясь, они погуляли по коридору, дошли до таинственной решетки и поглядели куда-то «туда».

«Там», высунув длинный и красный язык, сидела собака.

— Ры-жик! — позвал Леонтий Матвеич приторным голосом. — Тобик, Милка...

— Шарик, — подсказал повар, — Жучка...

Собака сидела, не шевелясь, красивая, черная, с блестящими глазами. Внезапно она поднялась и ушла, даже не поглядев на них.

Потом они на секунду остановились возле двери уборной и решили зайти, хоть им и не было нужно. Маленький старичок в форме объявил им, что они «почин», и очень за ними ухаживал. Леонтий Матвеич вычистил щеткой штиблеты, а Вишняков наново повязал галстук перед косым зеркалом.

Антонина в буфете пила чай.

— Не соскучились, — спросил Вишняков, садясь, — мы вас покинули?

— Нет, ничего, — сказала Антонина.

— Ну как же «ничего», — возразил Сивчук, — но мы извиняемся. Пивца можно вам

предложить?

— Не хочу, спасибо.

— А может быть?

— Нет.

Им подали пива и бутербродов с колбасой салями. Они пили молча, дую на пену и изредка покашливая.

— Хорошее пиво, — молвил наконец Вишняков, которому всегда все казалось лучше, чем Сивчуку, — свежее...

— Ничего пиво.

— Еще возьмем?

— Возьмем.

Сивчук постучал кружкой по столу и показал два пальца. — Пару, — сказал он, — небось горошку нет?

— Извиняюсь, нет.

— А сухек?

— Извините, тоже нет.

— Что ж, разве трудно их испечь? — сурово спросил повар. — Ведь сушка — дело нехитрое?

Официант пожал плечами и ушел, гремя пустыми кружками.

Народ прибавлялся; теперь они не одни сидели в буфете, все столики были заняты. За пивом и за квасом вытянулись предлинные очереди. Запахло духами, пудрой, зашелестел шелк, стало шумно и весело, воздух точно погустел от табачного дыма. Кто-то успел уже поссориться, кто-то измазал женщину кремом от пирожного и не извинился, кто-то сбежал, не заплатив денег.

— Что ж, не пора ли? — спросил Сивчук. — Как вы считаете, Антонина Никодимовна?

— Пойдемте.

Она вынула кошелек, чтобы расплатиться за чай и бутерброды, но старики не позволили платить, как она ни просила.

— Нет, нет и еще раз нет, — говорил повар, — вы нас обижаете. Позвольте уж нам расплатиться за даму. Спрячьте, пожалуйста, свой кошелек, не обижайте нас.

На полутемной арене служители в форме граблями разглаживали песок. Скоро должно было начаться. Затрещали звонки. Острее запахло лошадьми и кожей. Вот высоко над ареной появились музыканты. Каждый из них пробовал свой инструмент — веселые, бессмысленные звуки дождем летели вниз. Ударил барабан — барабанщик, и тот настраивался. Лязгнуло железо. Сивчук и Вишняков не знали, что это такое, но все же перемигнулись — бывают же, мол, инструменты! Зачирикали скрипки.

— Скрипка, — молвил Сивчук и кивнул вверх, — слышишь?

Они посадили Антонину посредине, сами сели по бокам.

Рядом с обеих сторон сидели премированные текстильщицы-ударницы. Это были хорошие места, лучшие места в цирке, они никогда не продавались просто так в кассе — на каждом кресле висела табличка: «Кресло ударника», и люди, садясь в эти особые кресла, непременно чувствовали себя немного сконфуженно, немного гордо и немного неловко. «Вот черт, — говорили они, — даже надпись!» — и улыбались, покачивая головами.

Сивчук и Вишняков сидели, окруженные женщинами, и поэтому разговаривали не совсем обычно, а несколько возвышенно, ввертывая «словечки» и вспоминая «случаи».

— Я вот тоже через Вену однажды проезжал, — говорил Вишняков.

— На Западе все так, — согласился Сивчук, — ужас что.

Женщины прихорашивались, смеялись, обсуждали какие-то свои фабричные события. Их было очень много, но среди них не было ни одной молодой. Это были пожилые, хорошие, веселые женщины.

Они причесывались, передавая друг другу гребешок, что-то ели, принесенное с собою.

Но у них не было программы.

— Могу сказать, — сказал Сивчук, — пожалуйста!

Он прочел всю программу от начала и до конца.

— Дирекция оставляет за собой право, — сказал он в заключение, — заменять один номер другим, — и лихо поглядел на Антонину.

Когда над ареной зажглись большие желтые лампы, когда служители выстроились у бархатного занавеса, когда грохнула музыка и сверкающий луч прожектора метнулся по опилкам, Сивчук вдруг привстал и во всю силу легких шикнул на неугомонную публику.

Только двое мужчин занимали кресла ударников — он да Вишняков. Остальные — беззащитные женщины.

И он почувствовал себя полководцем. Он командовал полком ударников. Он был главным в этих креслах. Тут сидели не просто так, а премированные. И никто не имел права мешать им.

Сначала работали Сержи.

В блузах с зелеными полосами, в легких шапочках, они ездили на конях по кругу, покрикивали свои непонятные слова, прыгали, кувыркались, опять прыгали и вдруг вскакивали на коней, ездили стоя, садились, отдыхали.

Кони шли галопом, пофыркивая, всхрапывая.

Потом маленький белокурый мальчик, семеня по арене, бежал за огромным белым конем, как мяч взлетал на него, вновь спрыгивал, музыка играла чаще и чаще, другие Сержи орали и хлопали бичом как одержимые и сразу оказывались на одной лошади — маленький мальчик, девушка и три здоровых парня.

Они ехали и улыбались.

Это было очень красиво и непонятно: кричали, кричали — и вдруг сидят и улыбаются.

Музыка становилась тоже особенной. «Ничего, — говорила она, — это у нас так всегда. Они

еще и на головах друг у друга ездить будут, не беспокойтесь! Вы их не знаете. Они еще задом наперед ездить будут. Они все умеют».

Им несколько мешал клоун Павел Алексеевич, но это было, пожалуй, ничего. Он их веселил. Он к ним приставал, ему очень хотелось поездить верхом, но он еще не умел.

А кони шли по кругу, вздымая копытами опилки, кося глазами и пофыркивая.

Когда кони ушли, появился Коко.

Он шел на охоту.

Он был знаменитый охотник.

Он был такой свирепый и яростный охотник, что его глаза под очками загорались.

— Электричество, — пояснил Сивчук, — из карманов проведено. — И добавил загадочно: — Циркулирует!

Коко шел на охоту.

Он гремел своими башмаками.

Но ему не удалось убить льва.

Он убил какую-то гадкую тварь величиной с крысу, у него разорвалось ружье, он был очень рассержен. Потом он боялся.

И так как над ним очень смеялись, то Павел Алексеевич ему начал завидовать.

Павел Алексеевич делал ему пакости.

А огромный цирк с каждой секундой работы клоунов все лучше и лучше понимал, что Коко и Павел Алексеевич — это не просто так, а это на кого-то похоже, что вот эти два клоуна заставляют вспомнить какие-то случаи, какие-то истории, какие-то дразги, жадность, гадкую чепуху, и что дело тут вовсе не в шариках и не в свечах, а в гораздо большем, и что это не глупо, а умно, и что это очень хорошо.

Цирк хохотал во всю свою огромную веселую глотку и хлопал могучими, широченными ладонями.

— Бис! — кричал Сивчук. — Бис! — И, перегибаясь через Антонину, толкал Вишнякова, чтобы он тоже кричал, но повар кричал и так во всю силу.

Маленький, худенький человечек вышел с собакой.

— Та самая, — узнал Сивчук, — она там сидела.

Худенький человечек сказал, что его собака — математик, разложил вокруг нее десять дощечек с цифрами и предложил зрителям задавать собаке задачи.

— Два плюс три! — крикнул Сивчук, тотчас же сконфузился, но опять крикнул: — Два плюс три! Согласно смете.

Худенький человек, легко шагая, подошел к барьеру, за которым сидел Сивчук, и спросил, глядя прямо ему в глаза:

— Вы хотите, чтобы моя собачка прибавила к двум три?

— Так точно.

Собака обежала дощечки с цифрами, выхватила дощечку с цифрой «пять» и показала ее публике.

— С ума сойти, — пробормотал Сивчук, — действительно работает. Ты глянь, Антонина Никодимовна! А, Николай Терентьич? Гипнотизм, что ли?

Но Вишняков уже сам вошел в азарт.

— Пусть она из девяти отнимет три, — орал он, упершись ладонями в барьер, — эй, хозяин, из девяти три!

— Шесть, — визжал Сивчук, — ты глянь, шесть! А? Шесть. И показывает! А четыре и четыре может? Ну-ка! А из двух один? Эй, хозяин, пусть помножит!

Под конец номера с друзьями произошел маленький казус. Антонина сразу поняла, в чем дело; ей сделалось так смешно, что на глазах выступили слезы.

Собака знала алгебру.

Ни Вишняков, ни Сивчук алгебры не знали. Собака извлекала корень и возводила в степень. Вишняков и Сивчук сидели молча — оскорбленные. А в антракте повар сказал Антонине:

— Выходит, образованнее нас? Ты как считаешь, Леонтий Матвеич? — И погода добавил, улыбаясь в усы: — Недаром она с нами разговаривать не хотела. Тоже — Тобик! По имени и отчеству ее надо, а не Тобик...

В антракте они опять гуляли по фойе и опять заглядывали «туда», за таинственную решетку. «Там» ходили люди в ярких костюмах, топтались и фыркали лошади, сидела, как давеча, собака-математик.

— Сахару дам, — позвал Сивчук, — эй ты, дурашка!

Но собака не шевельнулась.

— Плевать ей на твой сахар, Леонтий Матвеич, — сказал повар, — ее небось после работы коньяком поят.

Им стало весело.

Своих текстильщиц они нашли возле буфета. Расположившись в углу табунком, текстильщицы ели мороженое и над чем-то смеялись.

— Хорошего аппетита, — сказал Сивчук, — прохлаждаетесь?

— Прохлаждаемся.

— Может, и нам пивком побаловаться, Николай Терентьич?

— Отчего же не побаловаться? — рассудительно ответил повар. — Побаловаться всегда можно. А Антонину Никодимовну мы угостим мороженым.

Пантомима произвела на повара и Сивчука совершенно потрясающее впечатление. Антонина блаженствовала, глядя на них обоих, да и ей самой очень нравилось.

Страшный пират в черной полумаске ездил на великолепном коне; гремели выстрелы; пылала крестьянская хижина; удары грома сотрясали все здание цирка; ночной мрак

раскалывала голубая молния; вот ранили крестьянскую лошадь, и она трогательно захромала; вот потащили живого поросенка; вот, отстреливаясь на ходу, промчался галопом через арену рыжебородый помощник Черного пирата...

— Что делается, — шептал Сивчук, — что только делается, вы гляньте! А! Бандюги...

Повар сосредоточенно молчал. Текстильщицы тихонько повизгивали.

И вот, под восторженный вздох цирка, хлынул на арену пенящийся водопад: то пираты топили восставших крестьян. Спасутся ли? Но крестьяне спаслись, они даже не вымокли.

А вода хлестала; ее окрашивали цветными лучами прожекторов, она неслась на арену, то голубая, то оранжевая, то синяя, то розовая, она гремела и пенилась, наполняя арену, она грохотала и фыркала, как взбесившийся конь.

Потом восставшие крестьяне топили в воде великосветских пиратов.

Под восторженный гогот зрителей в озеро летели священники и лакеи, пираты и маркизы, красавицы аристократки и повара.

— И тебя, Николай Терентьич, — шипел Сивчук, — глянь-ка, и тебя в воду...

Повар молчал. Теперь пели фанфары.

Победившие крестьяне жгли бенгальские огни, они выпускали на волю голубей и наслаждались музыкой. Домой все шли потихоньку, не торопясь.

Маленький Сивчук пыхтел трубкой и, помахивая рукой, вразумительно говорил:

— Тут, брат, Николай Терентьич, без надувательства. Тут, брат, техника. Верно? Захромала лошадь — так уж хромает, или там собака. А в театре что? Это и я могу — выйти там, на подносе воду вынести: «Звонили? Вот письмо для графа». Эка невидаль! Или тоже кинематограф: показывают разное, а на самом деле все обман.

— Почему же обман? — усомнился Вишняков.

— Да уж потому. Верно, Антонина Никодимовна?

Возле Поцелуева моста они расстались.

Повар пошел один, опираясь на трость и посапывая носом. А Сивчук и Антонина сели в трамвай.

6. Человек энергичный — вот как!

Пал Палыча она видела часто, но он был настолько ей неприятен, что она вовсе с ним не разговаривала — здоровалась и шла дальше. Даже разговор о специальном детском питании она откладывала со дня на день — было тяжело думать о взгляде Пал Палыча, о том, как он иронически ее выслушает, об его больших белых руках.

Но говорить было нужно непременно, и она наконец решилась — пошла в столовую, к нему в конторку. Он щелкал на счетах, когда она отворила дверь, и встал, увидев ее. Теперь он все время держал голову несколько набок, как бы внимательно прислушиваясь к чему-то, не слышному другим, и очень часто покашливал, морща лоб и прикрывая усы платком. Все это

было неестественно и имело вид кривляний. Она заметила, что Пал Палыч опустил — его платок был грязен, воротничок плохо выстиран. Выслушав Антонину, он с противным смирением сказал, что в столовой никакой роли не играет и что говорить надобно не с ним, а с Николаем Терентьевичем, с которым, впрочем, у нее как будто отличные отношения.

Она сухо сказала, что да, отличные.

Пал Палыч позвонил и велел позвать повара.

— Вот, — сказал он, — вызвать еще могу, а больше — нет. Знай, старичок, свой шесток. Не так ли?

Антонина молчала, потупившись.

— Меня здесь, Антонина Никодимовна, держат из милости, — говорил Пал Палыч, — и еще потому, что веду всю бухгалтерию один. Иначе бы Сидоров меня — ого! Давно бы вышиб. Да и то жду с часу на час. Кто там — не слышно? Ведь вы теперь в приближенных, все знаете.

Вошел Вишняков, и неприятный разговор сам собою прекратился. Повар был только что от очага — красен, от него вкусно пахло соусами, он что-то жевал. На нем был накрахмаленный халат и колпак с особой вмятиной.

— Имею честь, — сказал он рассеянно и сел.

Антонина изложила ему свое дело. Он слушал внимательно, порой поглядывая на нее своими монгольскими глазами. Потом закурил папироску.

— Слово Пал Палычу, — вежливо сказал он, — послушаем хозяина.

Пал Палыч покашлял и сказал, что не может взять на себя еще такую обузу, как специальное питание двухсот детей, — этаким рационом не по силам столовой в нынешние времена.

Вишняков не торопясь погасил окурок, поправил колпак и поднялся.

— Пока его не уволят, — сказал он Антонине и кивнул на Пал Палыча, — что-либо решить отказываюсь. Сами понимаете. С таким заведующим лучше головой в прорубь. Сегодня же подаю заявление Ивану Николаевичу — пусть либо его увольняют, либо меня.

И ушел.

Пал Палыч нарочно улыбался. Антонина встала.

— До свиданья, — сказал он, держа голову набок, — до свиданья, Антонина Никодимовна.

Она вышла не ответив, разыскала Сидорова и передала ему всю сцену, которую только что видела. Вечером уже был вывешен приказ об увольнении Пал Палыча и о том, что заведующим столовой назначается по совместительству руководящий повар, шеф-кулинар Н.Т.Вишняков. В этом же приказе Вишнякову объявлялась благодарность.

Пал Палыч прочел приказ, усмехнулся. Потом в конторке собрал свои личные вещи, свою чашку, из которой, работая, бывало, пил чай, свои тяжелые, купленные еще в Лондоне счета, свое пресс-папье. Прислушался, огляделся. Было тихо, только неподалеку в кухне щелкали и пели приводные ремни — работали, вероятно, корнерезка, мясорубка, картофелечистка. Пал Палыч вышел в коридорчик — тут стояли шкафы для верхнего платья работников кухни, — миновал душевые кабинки и со сверточком под мышкой спустился по ступенькам на первый декабрьский снежок. Он слышал музыку — шел под марш из «Веселой вдовы» и подпевал одними губами: «Тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля-ля». Потом встретился с Сивчуком и спросил, где

Антонина. Сивчук пробурчал, что она принимает мебель в столярных мастерских.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Пал Палыч как можно более развязно, — и отлично, сейчас я ее разыщу.

— А зачем она вам? — настороженно спросил Сивчук.

— Как «зачем»?

— Вот так — зачем?

— Да уж нужно, Леонтий Матвеевич...

— В самом ли деле?

— Точно нужно... К чему это вам?

— Да ведь один уж раз избили, — спокойно сказал Леонтий Матвеевич, — чтобы в другой раз грех не случился.

— Не случится.

— Да уж надо бы не случиться.

Они разошлись в разные стороны, и Пал Палыч опять услышал музыку. Антонину он нашел внизу, в подвале, в столярной мастерской, как и сказал Сивчук. Станным было лишь то обстоятельство, что Леонтий Матвеевич, шедший всего несколько минут назад в сторону, противоположную столярной, сейчас был здесь, уже без шапки, без рукавиц, грохотал киянкой в углу верстака. Антонина стояла спиной к двери, куталась в платок и что-то говорила, что нет, нет, этот сучок выпадет и клеем еще измазано — такая работа никуда не годится. Белобрысый парень, столяр, что-то ей объяснял, но она опять не согласилась.

— Антонина Никодимовна, — позвал Пал Палыч. Антонина обернулась, и вместе с ней обернулся Сивчук.

— На минуточку бы мне вас, — сказал Пал Палыч и поправил сверток под мышкой, — на два слова.

Она вышла на лестницу и остановилась, кутая подбородок в платок. Глаза ее выражали скуку.

— Ну что? — спросила она. — Говорите, а то холодно.

Сивчук теперь был около выхода, возле самой двери, — ворочал старые парты и все выглядывал на лестницу, выразительно поигрывая киянкой.

— Телохранитель-то ваш, — сказал Пал Палыч, — видите, молотком упражняется.

Антонина поглядела назад и улыбнулась своей ласковой, милой улыбкой, но тотчас же лицо ее выразило скуку, почти раздражение.

— Говорите же, — сказала она, — здесь дует.

— Я спросить у вас хотел, — торопливо заговорил Пал Палыч, — это вы Сидорову рассказали про мой отказ?

— Да, я.

— Не поверили мне, что действительно нет продуктов?

— Не поверила.

— И оставили меня без куска хлеба?

— Только жалкие слова не говорите, — сказала она раздраженно, — хватит.

Он улыбался.

— Какая вы, однако, стали, — он отступил, как бы любясь ею, — новая женщина...

— Ну?

— И ни с кем еще...

Он хотел сказать грязное слово, но не смог — Антонина гневно смотрела ему в глаза.

— Отказываюсь понимать, — говорил он, — почему вы меня на эти табуретки поменяли? А? Объясните!

Она повернулась и ушла.

Теперь он шел как пьяный, его качало. От белизны снега болели глаза. Музыка гремела. «Я схожу с ума, — думал он блаженно, — я схожу с ума». Он шагал и качался. «С кем она живет сейчас, — спрашивал он себя, — с кем она спит по ночам? Если бы узнать, если бы узнать!» Ему казалось, что стоит только узнать, и все станет легко, просто, понятно. «Я бы успокоился, — думал он, — я бы занялся делом». Он вспотел. Воображение рисовало ему это дело: некую деревеньку, лесок, садик — и как он стоит на ветру, на лестнице, и садовыми ножницами стрижет ветви деревьев.

В эту ночь он напился пьян — один, в кабаке на канале Грибоедова. «Все равно, — думал он, — все равно».

В его комнате теперь пахло нечистым, прелью, старой бумагой. Завелись мыши. Он купил мышеловку и выбрасывал пойманных мышей на улицу. Перечитывал те книги, которые читал когда-то вместе с Антониной. Варил на примусе себе суп или второе — всегда что-нибудь одно. И очень много пил.

Все яснее, четче и тверже намечались контуры будущего дела. Она уже видела, сосредоточившись, все свои семнадцать комнат, наполненные детворой, видела игралки, спальни («дортюары», как почему-то говаривал Вишняков), видела яркий и теплый свет молочных ламп, видела столы в столовой, покрытые отличной серенькой экспортной клеенкой (в те годы высокое качество непременно обозначалось словом «экспортный»), видела чудесные, матового стекла боксы в яслях, а главное, видела и как бы уже разговаривала с матерями в своем кабинетике — уютном, любовно отделанном Сивчуком. Ей было очень неловко за этот кабинетик, и она долго не хотела отдавать столько метров полезной площади под кабинет, но все кругом настаивали — и Сидоров, и Женя, и тот врач-педиатр из института (он побывал на массиве), и даже Сивчук. Педиатр говорил, что комната у Антонины непременно должна быть, потому что работа начнется, по существу, только тогда, когда комбинат уже откроется, и работой директора будет не столько руководство повседневной жизнью комбината («Это механизм, — сказал Сидоров, — его только надобно будет смазывать вовремя»), сколько длительная и упорная возня среди матерей, возня сложная, иногда скучная, длиннейшие разговоры, споры — вот для этого-то предназначен кабинетик.

— В чем наша беда, — говорил педиатр, сидя у Антонины в комнате уже после того, как они обошли весь массив, — в чем? В том, что мы разложили жизнь на две категории — на производство и быт. А это на самом деле неправда. Это все называется жизнью. Понимаете, к чему я веду?

Они пили чай в комнате у Антонины. Первый раз у нее был гость — у нее, отдельно от Сидорова и от Жени. Она застелила салфеткой стол, наделала бутербродов, купила даже очень маленькую бутылочку коньяку — чай с коньяком любил ее отец, она вспомнила это и решила, что доктор тоже выпьет чаю с коньяком, но он не стал. Они были в столовой у Вишнякова, и Вишняков предложил Антонине накормить гостя завтраком, но Антонина отказалась, ей очень хотелось устроить чаепитие у себя дома и использовать с в о е п е р в о е х о з я й с т в о: у нее были и стаканы, и ложечки, и сахарница, и даже салфетки — все это было куплено на заработанные ею одной деньгами. Вишняков велел ей взять голубцов. Она взяла четыре голубца с пшенной кашей и с ливером — доктор съел три и похвалил.

— Это тот повар, — сказала Антонина, — помните, я вам рассказывала? Он будет ведать и детским рационом, он отлично знает диетическое питание.

— Да, да, отлично. О чем это я говорил?

— О производстве и быте.

— Да. Так видите, в чем дело. Мать не может начать работать до тех пор, пока она не уверена, что с детьми все благополучно, что детям не хуже, чем с ней самой. То есть она, конечно, работает, но производственные ее показатели гораздо ниже, чем могли бы быть, а главное, ее самочувствие, понимаете? Ведь что получается? Мы все говорим: ясли, очаги, пятое-десятое — а сами берем преспокойно няню, да старенькую, да уютенькую, чтобы и попрочитала, и поохала, как в добрых помещичьих семьях, и передоверяем своего ребенка этой самой няне. А ясли и очаги — это вообще, это для тех, кто не может себе позволить лучшее. То есть до тех пор, пока не сможет семья позвать няньку, пользуются яслями и очагами. А это в принципе неверно. Ясли и очаги должны быть не низшей ступенью, а высшей. Лучше няни. Лучше даже матери, потому что непременно должен ребенок бывать подолгу среди других детей. Общественные навыки должны образовываться. Ну, одним словом, это все понятно. Я это к чему? Мы о вашем кабинете говорили. Вот вы там должны убеждать. Оттуда мамаша будет вами выведена в комбинат. Пусть посмотрит. Ах, это крайне важно. Это ее должно оглушить, поразить, растрогать. Понимаете? Очень многое начинается почти физиологическими путями. Тут она, мамаша, должна признать себя побежденной. И ребенок будет приведен. А раз ребенок здесь, у вас, и мать уверена, что все с ним совершенно благополучно, она не только свои часы отработает, но еще останется и на собрание, и, быть может, на спектакль. Тут у вас должны быть две системы в комбинате — посменная и круговая, я потом вам объясню, что это такое. Вы понимаете? Ребенок должен быть как у хорошей бабушки, только лучше. Знаете, у бабушки: его там накормят, напоят, умоют, спать уложат и касторки даже в случае чего дадут. И телефон у вас должен быть, чтобы мать позвонила, узнала и чтобы ей все толково и вежливо сказали. Вот тут и начинается разговор о жизни, ведь мамаша только-только жизнь узнает. Мир перед ней иной совсем, лучший. Потому что взять ребенка на часы работы — это всего полдела. Ну что ж? Постояла за станком, да и домой, да поскорее — мало ли что, в очаге смена, может быть, мой малыш уже одетый стоит и плачет. Понимаете? А у вас должно быть все иначе. Вот, например, вы можете, если немного денег у вас есть лишних, взять да и купить два десятка билетов. И в своем кабинете, против существования которого вы так возражаете, в этом самом кабинете матерям раздать. Но внимательно, очень внимательно. И пьесу подберите не просто так, с бухты-барахты, а чтобы прямо мамашино гражданское сердце пьеса бы задела, чтобы царапнула. Понимаете? Чайку мне можно еще? Да. И убедите мамашу. Дескать, ваш сын у меня побудет, ему тут хорошо, удобно, и переночует у меня. А вы отдохнете. Огромные возможности, огромные. Только отлично надо знать людской материал

— в лицо надо знать, не по карточкам, не по карточному учету, а точно, в лицо, и не ошибиться, не спутать, матери таких вещей не прощают.

Он говорил долго, горячо, убедительно. Антонина слушала и не стеснялась — записывала. Потом они еще раз пошли на комбинат, и доктор опять советовал, объяснял и просто рассказывал. Все это было так интересно, что даже Сивчук подошел послушать и вдруг спросил:

— Разъясните мне, пожалуйста, про маргарин. Действительно для стариков и детей вредно или это есть обывательские сплетни?

Доктор разъяснил.

Уже смеркалось. Антонина проводила его до ворот массива.

— Большое спасибо, — говорила она, прощаясь, — если бы институт действительно взял над нами шефство...

Вечером приехал Сема, и Антонина поила его чаем. Он был в командировке, уже отчитался перед Сидоровым и теперь явился к Антонине — у них были свои дела: по дружбе Сема доставал для комбината несколько больше, чем велел Сидоров.

Антонина спрашивала, Сема отмалчивался с таким видом, точно охранял какую-то тайну. Порою он отвечал, но очень немногословно и даже несколько двусмысленно.

— Да так, — говорил он, пережевывая оставшийся после доктора голубец с пшеном, — так, было дело.

— Какое?

— Разное.

Антонина отлично понимала, что простодушный Щупак и методов-то никаких в работе не имеет, не то что тайн, а говорит двусмысленно только потому, что все «доставалы», «арапы» и «жуки» непременно скрывают способы своей работы, так как способы эти изрядно пахнут уголовщиной. Частенько бывая среди этих самых «доставал», Сема научился у них только одному: таинственно ухмыляться и произносить какие-то «темные» фразочки, например:

— Сегодняшнего дня рванул цинку...

Или:

— Отрегулировал свои вагоны...

Или:

— Четыре кило вмазал...

Глотая горячий, сладкий чай и страшно хрустя сушками, Сема неторопливо отвечал Антонине о качестве того или иного материала и порою говорил совсем просто и понятно, но, как только она его спрашивала, как он достал байку, или картон, или сразу девяносто семь резиновых «экспортных» кукол, Сема тотчас же делал бессмысленные, осоловелые глаза, или непонятно улыбался, или даже бормотал стихи:

Фабрикой вывешен жалобный ящик,

Жалуйся, слесарь, жалуйся, смазчик!

Да и что он мог ответить, если сам не знал, почему в тех местах, где самые первоклассные «ловчи́лы», «доставалы» и «арапы» в кровь расшибали лбы, и без всякой для себя пользы, он, Сема Щупак, оказывался победителем и получал все, что ему требовалось.

Тайна Семы состояла в том, что он был честен, весел, прост, искренен... И когда он, голубоглазый, толстый, прямодушный, входил в кабинет к умученному «доставалами» и «ловчи́лами» хозяйственнику и без всякого вранья, и без мандатов, и без знакомых «Иван Петровичей», и даже без папирос (а какой «ловчи́ла» позволит себе «работать» без хороших папирос!), улыбаясь своей чуть сконфуженной улыбкой, рассказывал «дело», — суровый хозяйственник сразу же и безоговорочно верил Семе, верил, что Нерыдаевскому массиву олифа нужна больше, чем ему самому, пугался, что он сам «исподличался» со всякими «ловчи́лами», вспоминал вдруг, что у него сын Васька, пионер, вспоминал, что нынче весна, вспоминал, что он сам, усатый и издерганный хозяйственник, вовсе ведь нехудой, по существу, человек, вспоминал чью-то пропись о молодежи, которая есть соль земли, и, вспомнив все это гуртом, добрел и писал на Семиной не очень вразумительной, но совершенно честной бумаге замечательное слово: «Отпустить!»

Уже написав «отпустить», хозяйственник внезапно начинал по привычке торговаться и ни с того ни с сего предлагал Семе четверть или двадцатую часть просимого количества.

— Мало, — говорил Сема грустно, — ведь это все равно что ничего не дать. Ну куда нам с этим...

— Еще достанете, — по привычке лгал хозяйственник, — где-нибудь в другом месте...

— Где? — спрашивал Сема и вытаскивал блокнот, чтобы записать адрес.

Хозяйственник густо краснел и, крякнув, писал на Семиной невразумительной бумаге удивительную резолюцию: «Отпустить требуемое количество».

Сема не был наивен. Он был честен, упрям, хорошо знал, что такое Нерыдаевка, любил Сидорова, безоговорочно ему подчинялся, а главное — всем сердцем верил в будущее того дела, на которое работал. Нерыдаевский массив и все с ним связанное были для Семы личным благополучием, дружбою — всем.

«Доставалы» и «ловчи́лы», все эти профессионально вежливые люди с хорошими портфелями, в модных костюмах, разъезжающие на чьих-то автомобилях, не любили Сему и частенько глумливо и подолгу вралли о разных хозяйственных «ладах», давали ему вымышленные адреса, называли людей, к которым следует обратиться: «Товарищ Пуговичкин направит вас к товарищу Кнопочкину, но вы пойдете к товарищу Курицыну».

Сема верил, отправлялся на розыски Пуговичкина и, конечно, никого не находил.

Однажды в приемной какого-то хозяйственника Сема не выдержал глумливого «розыгрыша», побледнел, сжал кулаки и на всю комнату спокойно и зло сказал:

— Погодите, сукины дети, и до вас доберемся! Оторвем вам всем головы, дождетесь своего дня!

Произошел крупный скандал.

«Ловчи́лы» и «доставалы» немедленно организовались и написали куда-то какую-то превыразительнейшую и предлиннейшую бумагу с фразами о том, что вот-де наличествует

«оскорбление группы специалистов, которому не дано отпора».

Знакомый юрист нажал что-то, знакомый журналист тиснул записочку, и плохо пришлось бы Семе, если бы не Сидоров.

Узнав, в чем дело, он сел на мотоцикл и уехал.

Через несколько дней «группа оскорбленных специалистов» попала под суд вместе с юристом и журналистом за расхищение народного имущества, за взяточничество и просто за воровство.

— Селям-алейкум, — недоумевал Сема, — а я-то, дурак, чуть не извинился — думал, понапрасну людей обидел.

— Ты уж лучше не думай, божья коровка, — сердился Сидоров, — ты уж лучше мне говори, если у самого не все винты в голове...

Съев все сушки до единой, Сема поискал глазами, нет ли еще чего-нибудь, что можно было бы съесть, убедился в том, что нет, и попросил просто чаю.

— Небось есть хотите? — спросила Антонина.

— Хочу, — вздохнул Сема.

— Каши ячневой дать?

— Дать, — сказал Сема, — резолюция: «Выдать».

Поедая кашу, он спросил:

— Это очень противно, Тося, когда мужчина столько лопает? — И сам ответил: — По-моему, нисколько не противно. Мужчина должен много есть.

Покончив с кашей, он сказал:

— Вот я и отвалился. — И запел басом: — «Блоха, блоха, блоха! Ха-ха-ха!»

— Тише, ребенок спит!

— Простите, забыл...

Потом Антонина принялась подсчитывать расходы по комбинату, и Сема ей помогал: раскладывал счета, диктовал статьи расходов и при этом все время что-то тихонько гудел — какую-то песенку.

— Ах, если бы вы в меня влюбились! — сказал он, уходя. — Что бы было...

Махнул рукой и ушел.

Антонина еще долго щелкала на счетах, считала, разговаривала с Женей.

В срок комбинат не открыли — Сидоров сам начал разговор о том, что не успеть. Теперь открытие было намечено на первое января — «и уже окончательно», сказал Сидоров. Об открытии комбината в «Ленинградской правде» появилась заметка, маленькая и скромная. Через несколько дней к Антонине пришел ловко скроенный парень в кожаном пальто и потребовал, чтобы ему было все показано и рассказано. Антонина вначале растерялась, но парень был так прост и так ему все нравилось, он так простодушно и искренне восхищался и так был чем-то похож на Сему Щупака, что Антонина постепенно разошлась, глаза ее

заблестели, румянец появился на щеках — она стала подробно все рассказывать, вдруг расхвасталась мебелью, и в самом деле отличной, тотчас же опять смутилась, зачем-то показала мяч в сетке, раскрашенной по ее собственному эскизу, и неожиданно спросила, с кем, собственно, имеет честь разговаривать.

Парень показал ей свой корреспондентский билет.

— Ну нет, тогда я не могу, — сказала она, окончательно сконфузившись, — ведь это же хвастовство. И вообще ничего не известно, что из этого выйдет. Может быть, провалим с треском.

— Ни за что не провалите, — горячо сказал парень, — такие начинания не проваливаются. Сейчас мы это дело как следует подадим в печати, мобилизуем внимание общественности, комсомол, несомненно, поддержит... И знаете что? Вообще дадим подборку про весь ваш массив. Очень будет интересно. И про повара вашего. Очень здорово.

Тридцать первого декабря Сидоров, таинственно улыбаясь, принес ей номер газеты. В спешке и суете последних перед открытием дней она совсем забыла о парне в кожаном пальто и недоуменно развернула газету. На третьей полосе была статья под названием «Новогодний подарок матери».

Начиналась статья так:

«Год тому назад эта женщина еще нигде не работала...»

Антонина покраснела и взглянула на Сидорова.

— Кто это ему рассказал? — спросила она.

— Я.

— Зачем?

— А разве это неправда? Может быть, ты работала год тому назад?

Она молчала. Сидоров прочитал всю статью с выражением, и было видно, что он радуется. Впрочем, про самое Антонину в газете было всего несколько строк: говорилось, что А.Н.Скворцова — человек энергичный, энтузиаст своего дела, знающий товарищ...

— Это ты-то знающий товарищ! — сказал Сидоров. — Кто же тогда незнающий?

А Женя, вернувшись из клиники, крикнула, еще не войдя в комнату:

— Где здесь энтузиаст своего дела?

7. Торжество приемки

В семь часов вечера был назначен прием комбината специальной комиссией, состоявшей из представителей районного отделения наробраза, отдела горздрава, шефов (Балтийский флот), учрежденного Сидоровым совета мамаш, пожарного управления и еще какой-то санитарной детской группы.

Собрались в кабинетике у Антонины. Было несколько торжественно и более чинно, чем следует, как всегда, когда незнакомые люди собираются на короткий срок и не слишком

знают, для чего, собственно, они приглашены.

Особенно неловко чувствовал себя военный моряк с золотыми нашивками на рукавах. Приехал он сюда из Кронштадта с двумя молодыми краснофлотцами, и было видно, что все трое никак не могут понять, что им надлежит тут делать «по детской части», как выразился один из них.

Нянюшка на большом подносе принесла чай в маленьких расписных кружечках — с зайчиками, петушками, коровками, козочками и прочими животными.

— У меня — утята! — строго сказал моряк с золотыми нашивками и сразу выпил весь чай.

— А у меня — козел! — сообщил Сидоров.

После чая члены комиссии и шефы надели свежие, еще пахнувшие горячим утюгом халаты и пошли по комбинату из комнаты в комнату. Антонина шла сзади всех, спокойная с виду, и думала главным образом о том, как бы кто-нибудь не заметил, как ее всю колотит дрожь.

Седой врач из горздрава покашлял и записал что-то в блокнот. Антонина тотчас же возненавидела его. Представитель пожарной охраны вдруг потребовал стремянку и полез наверх — смотреть электрическую проводку. «Подвел, подвел Закс, — думала Антонина, — ну ладно же». Стремянка скрипела и качалась. «Упади, — мысленно попросила Антонина, — расшибись», но тотчас же испугалась своей мысли, пожалела пожарника. «Ах, это тень падает, — бормотал пожарник, слезая, — а я-то думал...» Он слез, и все опять пошли дальше гуськом.

Нянюшки стояли в свежих халатах, в низко повязанных косынках, каждая у двери своей комнаты. Было сухо, тепло, тихо. Уже все было готово — комбинат выглядел так, будто он уже работает, только сейчас все дети вышли на прогулку. Даже кровати в спальнях были застелены для мертвого часа, даже миски с пробным супом стояли на столах в столовой.

Неприятный врач взял ложку, которую ему подала судомойка, и попробовал суп. Другой ложкой попробовал моряк и отошел в сторону.

— Ну как? — спросил Сидоров.

— Хорош, — подумав, сказал моряк и, еще подумав, добавил: — Определенно хорош.

Обе матери тоже попробовали суп и переглянулись. Глаза их выразили одобрение.

— Может быть, второе попробуете? — осмелев, но не совсем своим голосом спросила Антонина. — На второе, кажется, морковные биточки (она отлично знала, что морковные, но сказала «кажется» из чувства независимости), а на третье... что у нас там на третье, Фрося?

— Компотик, — сказала миловидная, похожая на монашку няня.

— Компотику — можно! — решил за всех моряк-командир и деловито, но осторожно (чтобы не раздавить) сел на маленький детский стульчик. Краснофлотцы сели тоже очень осторожно и, в сущности, более сидели на корточках, нежели на стульях.

— У нас мебель крепкая! — сказала Антонина. — Это ничего, что она маленькая. Можно сидеть спокойно.

— А мы — спокойно! — заверил моряк-командир.

В общем это было довольно смешное зрелище: взрослые люди с серьезным видом сидят за сдвинутыми вместе низенькими детскими столами на крошечных стульчиках и, деловито

переговариваясь, истово прожевывают морковные котлетки.

— А детям что? Вегетарианское полезно? — спросил моряк-командир.

Седой врач вежливо ответил. Моряк кивнул головой, но не согласился.

— У меня дочка насчет мяса дока! — сказал он. — Ей обед не в обед, если без мяса.

Одна мамаша — та, что была потолще, — не согласилась, и между нею и моряком возникло некоторое подобие разговора.

— Оживление за столом! — сказал Сидоров на ухо Антонине. — Смех в зале. Между прочим, я сегодня ничего не ел, нельзя ли мне еще твоего котлетного сена штук десяток...

Нашлись всего три запасные котлеты.

— Опытный обед, — сказала Антонина, — изготовлен нами намеренно (она поморщилась — «нами намеренно» было не то слово), мы изготовили его нарочно, — поправилась она, — очень просто, мобилизовав только внутренние ресурсы...

Моряк доел компот и теперь глядел на Антонину очень серьезно.

— Этот обед намеренно пониженного качества, — говорила она, коротко дыша от волнения, — мы, товарищи, нарочно демонстрируем вам худший из возможных случаев питания.

— А лучший? — спросил моряк.

— А лучший... — Антонина на секунду растерялась, но тут же нашлась: — А лучший мы покажем вам не раньше, чем он станет для нас обычным явлением.

— Правильно, — горячо сказал женский голос, но тотчас же смолк.

Потом врач долго осматривал на кухне кипятильник, котлы в плите, моечные лохани, полотенца. Нянюшкам он велел показать руки. Нянюшки смутились, но все оказалось благополучно.

Из кухни все пошли в комнату живой природы. Здесь стояли ящики с черноземом, с разными сортами почвы, ящики с рассадой цветов, овощей, кормовых трав, были маленькие лейки, грабли, лопаты. Здесь же стояли маленькие верстаки, изготовленные Сивчуком в столярной мастерской массива, и по стенкам висели простые наборы столярных инструментов — прививать трудовые навыки детям. Инструменты сделал тоже Сивчук по идее Антонины — из хлама, уже списанного из мастерских. Рядом, в соседней комнате, жили звери, эта комната была особой гордостью Антонины, она четыре раза ездила в Зоологический сад к директору из-за одного только ежика, который сейчас мирно спал в углу своей клетки. Животных было немного: заяц-русак, которого Антонине дали только потому, что он был до того стар и немощен, что вот-вот мог подохнуть; было шесть кроликов разных пород, начиная от красноглазого ангорского и кончая серебристым бельгийцем; были две белки; была совсем еще маленькая дикая козочка и одна крыса, пойманная Сивчуком. Было несколько птиц — сорока, синичка, воробьи, канарейка и голубь со сломанным крылом. В большой банке для варенья жила лягушка, предсказывающая каким-то сложным способом погоду. И, наконец, был старый, большой уж, который пил столько казенного молока, что приводил Антонину в смятение.

Животные всех обрадовали.

Моряк, едва вошел, нагнулся над лягушкой и сказал Сидорову, что есть у него один знакомый молодой паренек, только и делает — крошит лягушек.

— Врач будущий, как ваша Евгения.

«Он и Женю откуда-то знает?» — удивилась Антонина.

Пожарника заинтересовал заяц. Краснофлотец, с невероятно широкой грудью и огромными тугими бицепсами под рукавами форменки, рассказал нечто об удивительном уме крыс. Мамаши ходили от клетки к клетке и перешептывались — в общем, насколько Антонина могла понять, в положительном смысле. Один лишь врач стоял посередине комнаты с брюзгливо оттопыренной губой.

— Вот погодите, — сказал моряк-командир (его звали Родион Мефодьевич Степанов), — я, возможно, ваш зверинец пополню. Съезжу к деду в деревню, там и лисенка раздобуду, и хорька, и еще какую-либо животину...

— Лошадь? — спросил Сидоров.

— Лошадь не лошадь, а жеребенок — зверь славный...

— Нет уж, жеребенка, пожалуйста, не надо, — испуганно сказала Антонина. — И насчет хорька я тоже...

Но врач из горздрава ее перебил.

— Я лично категорически протестую, — громко и раздраженно сказал он. — Резко протестую! Этот зверинец — совершенно недопустимая, вредная, более того, политически, я бы выразился, бестактная затея.

Стало тихо. «Вот оно — началось!» — почти спокойно подумала Антонина.

— Политически бестактная? — спросил как бы даже заинтересованно военный моряк Родион Мефодьевич.

Сидоров боком на него взглянул.

— В то время, когда многие наши дети еще не охвачены не только очагами, но даже...

— Стоп! — тихо, но непрекаемым тоном произнес моряк-командир. — Эта теория здесь не пройдет. Мы люди грамотные, газеты читаем. Если вашу точку зрения развивать, то и Дворцы культуры нам не нужны? И высшее образование можно похерить, к которому с таким трудом рабочие и крестьяне прорвались? И трактора нам рано строить?

— Позвольте! — бледнея, воскликнул врач. — Это вы передергиваете, и я решительно протестую...

— Короче, вы можете остаться при особом мнении, — жестко сказал моряк. — И это ваше особое мнение приемочная комиссия занесет в протокол. Что же касается меня, то я, правда, с такого рода предприятиями по роду своей специальности никогда не сталкивался и нынче об этом пожалел. Да, да, пожалел. Потому что когда эдакое увидишь, то понятно становится, в наглядной притом форме, что есть подлинная сущность советской власти. Вот и это дело мы, военные люди в частности, будем от всяких посягательств защищать и защитим...

Он взглянул на Антонину светлыми глазами, подумал и добавил:

— Я — старый матрос и здесь в царские времена, на вашей Нерыдаевке, случалось, бывал. Помню. И вижу, что вашими руками тут наворочено. Попутного ветра вам, товарищи, десять футов воды под килем! Чего еще смотреть? Давайте!

Антонина повела всех на улицу и по ступенькам к наново пробитой двери в ясли. Разумеется, ясли с очагом не сообщались. Здесь комиссию встретил Иерихонов — молодой, только что окончивший институт врач, большой волосатый человек в халате и маленькой белой шапочке.

Ясли совершенно очаровали членов комиссии. Они были рассчитаны пока всего лишь на пятьдесят ребятишек в возрасте от полугода до трех лет и разделены на четыре возрастные группы, для каждой из которых были отдельные комнаты, отдельные серии игрушек, отдельная посуда. Была комната для кормления, в которой матери могли грудью кормить младенцев, — удобная, светлая, с отличными простыми шезлонгами, опять же сделанными в мастерских массива и обтянутыми парусиной, привезенной Щупаком. Была терраса — «закалочная», как назвал ее Иерихонов, — на террасе дети дышали, сидя и играя подолгу с нянями. Были души, ванны, весы, изолятор, боксы для осмотра, отдельная специальная кухня.

Иерихонов говорил обо всем со спокойным достоинством, и Антонине было немного обидно, что он, в сущности чужой еще здесь человек, так легко и запросто обращается со всем тем, что стоило ей таких усилий, забот, бессонных ночей.

Она успокоилась теперь — поняла, что все будет принято, что все нравится, что все, пожалуй, благополучно, и ходила тоже будто член комиссии — ей очень хотелось взглянуть на это большое и сложное хозяйство чужими глазами, как бы позабыв, что все здесь до самой последней мелочи прошло через ее руки. «Вот ванны, — думала она под спокойный бас Иерихонова, — такие готовенькие, милые, как будто всегда они здесь стояли».

И вспомнила, как чуть не дошла до истерики, доставая не самые ванны, а разрешение на получение оцинкованной жести.

Или весы...

Она отстала от членов комиссии, поправила марлевые занавески, что-то велела сделать няне, взглянула на термометр, повешенный на стене, попробовала рукой, не тянет ли холодом из-под двери.

— Да уж все хорошо, — несколько обиженно сказала няня, — что вы, Антонина Никодимовна, мучитесь?

Наконец все собрались опять в кабинетике, няня принесла опять чаю, и врача из наробраза стала заполнять графы гектографированного акта.

Через несколько минут акт был подписан, и члены комиссии, кроме Родиона Мефодьевича и Сидорова, разошлись, пожелав Антонине «ни пуха ни пера».

— Придется вам в наш морской город прибыть, — сказал моряк Антонине. — Поделиться опытом. Я, конечно, в вашем деле профан, но, предполагаю, хорошо все продумано, даже не ожидал. Ну и вы от шефов можете, конечно, попользоваться, мы народишко обязательный, если шефство взяли — постараемся.

— Что ж вы нам — эсминец подарите? — спросил Сидоров. — Или линкор?

— Линкор не линкор, а не без пользы все-таки от нас, — усмехнулся моряк. — И, если память мне не изменяет, довольно много мы, Иван Николаевич, именно мы, помогли вам в смысле снабжения электроарматурой. А?

— Так это я не отрицаю. Мы шефов искали серьезных, это ведь дело ответственное — шефа себе подобрать. Вроде законным браком сочетаться — по взаимной любви...

— Как же, любовь! — усмехнулся моряк. — Знаем мы эту вашу любовь. Ищете женишка с капиталцем. Кстати, где сват-то наш — товарищ Альтус?

Разговаривая об Альтусе, они ушли. Антонина посидела одна, прижимая ледяные ладони к горячим щекам, вздохнула, обернулась на скрип двери. Вошел Сема Щупак, спросил негромко:

— А именинницу забыли?

— Забыли, Семочка! — весело пожаловалась Антонина.

— Так всегда бывает! — сказал Сема. — Достаешь, достаешь какие-либо дефицитные материалы, оборудование, допустим, как для вашего комбината — простынную мануфактуру, а потом никто добрым словом не помянет...

Он сел против Антонины, вынул из кармана заношенную, мятую маленькую соевую шоколадку и предложил:

— Будем считать это за банкет. Подумаешь — шефы! Мало я туда мотался в ихний Кронштадт, мало там кланялся? Благодетели! Вот стройтрест номер два выбрал себе шефов — шесть штук...

— Это как?

— Даже табачная фабрика у них шефы. А наш Сидоров разве на это пойдет? Ах, вообще жизнь — сложная штука...

И неожиданно для самого себя, для Антонины, не ко времени, ни к селу, как говорится, ни к городу Сема, посасывая принесенную в подарок соевую шоколадку, стал рассказывать свою жизнь...

Антонина слушала, подперев голову руками, внимательно вглядываясь в Семино розовое, еще детское лицо, — слушала и видела, слушала и сочувствовала, слушала и горевала вместе с Семой, смеялась, когда он смеялся, и вздыхала, если было над чем вздохнуть...

8. Познакомьтесь — Сема Щупак!

Когда ему исполнилось двенадцать лет, он решил завести дневник. Выпросив у тетки сорок копеек, Сема сходил в лавочку «Прогресс» и купил толстую тетрадь в добротном зеленом переплете. Вечером Сема написал крупными, довольно-таки корявыми буквами:

«Щупак Семен, Дневник. Фрагменты. Афоризмы. Эссе. Мысли для себя. Воспоминания. Житейские мелочи. Невысказанное, но решенное».

Подумав, Сема начал заполнять первую страницу, но тут дело пошло хуже.

«Быть таким...» — написал Щупак размашисто. Потом: «как...»

На этом застопорило. Впрочем, может быть, он и решил бы, каким именно надлежало ему быть, но под окном раздался крик раненого тапира. Сема напялил черную полумаску и выпрыгнул во двор.

Юные Спартаки жили двумя жизнями. Днем они делали, что положено Спартакам, а ночами собирались в овраге возле фольварка бывшей пани Млодовской, в бузине, крапиве, среди

битого кирпича и поваленных колонн, и играли в свои странные игры.

Предводительствовал Сема. Братство называлось «Снеговые совы». Почему — никто толком не знал. Так было красиво и немножко загадочно.

По крику раненого тапира собирались в овраге и шествовали на бывшее коровье кладбище, где, по слухам, раньше закапывали самоубийц. Здесь росла корявая ветла, слепо поблескивали стекла избушки выжившей из ума бабки Терентьи, бесшумно взмахивали перепончатыми крыльями летучие мыши. Одним словом, это было наиболее страшное место в местечке.

— Не греметь оружием, — говорил Семин заместитель Зачумленная нога, — не разговаривать, сосредоточиться. Смертная казнь непокорному. Где капитан спаги Лос-Анжелос-Карлос?

— Здеш капитан шпаги Лош-Анжелош-Карлош! — отвечал Гришка Прудкин. Он вместо буквы «с» произносил «ш» и часами тренировал волю, пытаясь избавиться от этого недостатка, но пока что дело подвигалось туго.

— Где ваш бинокль, капитан спаги?

— Здеш мой бинокль, штарый бригадир Зачумленная нога!

— Посмотрите на восток, капитан спаги, не увидят ли ваши соколиные глаза дымы эскадры?

— Видят.

— Считайте дымы!

— Считаю.

— Сколько?

— Тыща дымов.

Сема Щупак не выдерживал. Начальник, он должен был появиться последним, но войска пороли чепуху, и он, как тигр, вылетал из лопухов.

— Отставить! — кричал Сема. — Какие дымы, когда паруса? Зачумленная нога, нужно думать головой, а не бормотать, как попка. Все с начала!

И исчезал.

Над коровьим кладбищем медленно и торжественно плыла луна. Где-то неподалеку отрывали сонные коровы. На огромных лопухах вдруг вспыхивали капли росы. Иногда снеговые совы слышали смех и повизгивания — возле хаты старухи Терентьевны любили прогуливаться парочки.

Наконец наступало мгновение, когда Сема считал возможным появиться окончательно.

— Мир вам, — говорил он, — селям-алеюкум, кукунор, куи-шиу-ши-кок, слава братьям снеговым совам, иессу. Кто первый?

— Бориска первый, — шептали братья, — Бориска...

Щупак молчал, будто оглохнув.

— Я — первый! — говорил Бориска, дрожа от сырости. — Я прибыл от озера Дудравы и

принес головы непокорных...

— Мир тебе. Сколько голов?

— Сколько? Много, — подумав, сообщал прибывший от озера Дудравы.

— Кук-нор, что значит хорошо. За дело, смелые братья снеговых сов...

Много времени они ходили по оврагу туда и сюда, выглядывали из-за заборов, охотились на кошек или слушали приказы Щупака.

Потом отправлялись по домам, сонные, одуревшие, испуганные.

Отрыгивали коровы.

Какие-то твари, не то лягушки, не то ящерицы, шуршали в траве.

Один малодушный непременно плакал.

Тетка спала.

Сема съедал простоквашу с хлебом, или картошку, или холодную кашу, бормотал заклинания от змей и от отравленных стрел, тушил коптилку и засыпал.

Утром он отправлялся в школу с учебниками за поясом и с рогаткой в кармане.

Жить было весело и легко.

Когда снеговые совы подросли, братство распалось. Но еще долго товарищи Щупака разговаривали друг с другом на непонятном жаргоне:

— Как живешь?

— Ошорох ен охолп.

(Непременным условием пребывания в братстве было умение бегло разговаривать задом наперед.)

— Куда идешь?

— Ыде течсан.

Даже бранились наоборот:

— Каруд!

— Лесо!

— Ценеджоререп!

Коля Ковалев, заведующий молодежным клубом, мрачный и решительный парень, носивший круглый год черную косоворотку и офицерские диагоналевые галифе, раздраженно одергивал бывших снеговых сов:

— Говорите по-русски!

В молодежном клубе у Семы произошли неприятности. Случилось это вот как: некто

профессор Журовский прибыл в губернию с лекцией «Любовь с черемухой или без черемухи, теория стакана воды, пути взаимоотношения полов». После лекции Александра Петровича должен был состояться диспут. Билеты были платные — от пятидесяти копеек до рубля двадцати пяти. Весь чистый сбор (за вычетом гонорара Журовского) в пользу МОПРа.

Еще накануне Коля Ковалев продал все билеты. Для лектора поставили аналой, изъятый из церкви, покрыли его красной скатеркой, и рядом, на табуретке, приготовили стакан чаю. Появление москвича было встречено аплодисментами. В первом ряду сидела Сонечка Карпова рядом с Семиной теткой. Сам Сема слушал лекцию из-за кулис: тут, бесплатно, сгрудился весь актив.

На Журовском был костюм в полоску, рубашка, как сам он выразился, «глаже-манже», остроносые ботинки шимми, галстук бантиком. По рядам пробежал шепот — вот, оказывается, как одеваются профессора.

Александр Петрович под бурные аплодисменты зала остроумно и зло высмеял теорию «любви без черемухи» и долго глумился над защитниками «стакана воды». Он привел массу цитат, читал нараспев стихи, простирая вперед руку и красивым движением закидывал назад легкие, длинные редяющие волосы. Лекция прошла блестяще. Но ни один человек не изъявил желания участвовать в диспуте. Коля Ковалев выразился в том смысле, что «попахивает катастрофой».

В перерыве публика гуляла перед клубом под акациями, ела мороженое, пила лимонад. Но что же будет после перерыва?

Журовский дважды пересчитал причитающиеся ему червонцы, уложил их в бумажник, бумажник запрятал глубоко в карман и на глазах актива карман заколол английской булавкой, потом потянулся, широко зевнул, показав всем белозубый, красный рот, и спросил:

— Ну? Что же с диспутом? Молодежь? Или нету больше пороха в пороховницах?

Взгляд его вдруг остановился на розовом, круглом, совершенно еще детском лице Семы Щупака. Коля Ковалев тоже повернулся к Семе. И Бориска из бывшего братства «Снеговых сов» смотрел на Щупака.

— Вы должны провозгласить теорию «стакана воды»! — произнес профессор Журовский. — Пусть завяжется дискуссия...

И неожиданно добавил:

— Это будет... смешно. Э?

— Видите ли, — мгновенно вспотев, попытался отказаться Сема, — я никак не могу согласиться с тем, что любовь к женщине может быть уподоблена жажде, которая равна водяной жажде...

— Ах, батенька! — опять потягиваясь, вздохнул профессор. — Ужели вы думаете, что с трибуны непременно надо высказываться искренне? В данном случае мы просим вас помочь нам в дискуссии, которая срывается. Понимаете? Сры-вает-ся. Я, профессор Журовский, и ваши товарищи просим вас...

Сема сдался. Товарищи и профессор просят, может ли он отказаться? Зазвонил третий звонок, зал опять загудел, все места вновь были заняты. Медленно поднялся занавес с нарисованным на нем пожарищем. Сема оперся рукой об аналой и, с ужасом глядя на Сонечку и на тетку, понес свой ужасный, кощунственный и цинический бред. Боже, что он говорил, бедный, толстый, погибающий на глазах у всех Сема Щупак! Какие неожиданные

омерзительные слова изрыгал он помимо своей воли, — он, не посмевающий даже взять под руку Сонечку Карпову, не то что отнестись к ней как к стакану воды...

А профессор все кивал и записывал, записывал и кивал.

Как во сне, Сема заметил: низко-низко склонилась тетка-учительница.

Сонечка, милая Сонечка, в беленьком платьице, с черной косой, спадающей через плечо, сидела, закрыв пылающее лицо ладонями.

Ковалев ухмылялся, довольный и строгий. Бориска стоял за кулисой, кусая губы.

— Какая там черемуха, какие букеты! — говорил Сема сиплым от ненависти ко всему существу голосом. — Ишь чего захотели! Все это ложь, прикрывающая влечение полов, свойственное всему живому...

— То есть человека вы уподобляете свинье? — вежливым голосом спросил профессор. — Человек с большой буквы и хряк, по-вашему, одно и то же?

Удара отсюда Сема никак не ожидал.

— Позвольте, — облизав губы, сказал он.

— Не позволю! — крикнул профессор. — Не позволю! — вставая, повторил он и, обратившись ко всему залу, заявил: — Довольно, не так ли, товарищи? Хватит! Я лично сыт по горло...

— Довольно! Не позволять! Хватит! — закричали Семины школьные учителя, фининспектор Бутурлин, портниха Людмила Аркадьевна, дьячков сын Пунька, хлеботорговец Пилецкий и другие жители местечка.

— Но я! — заорал Сема. — Я...

Уйти ему не дали. Он стоял за аналоем, а про него говорили такое, что он в конце концов даже начал удивляться. Сема Щупак оказался грязной гадиной, вползшей, как тать, в новое общество, где любовь, освобожденная от пут религии, предрассудков, мещанства и всего прочего, существует в своем подлинном виде. Его, Сему, называли развратником с лицом агнца. «Почему агнца? — печально подумал он. — Разве я на овцу похож?» А Коля Ковалев, тот самый Коля Ковалев, который отлично знал, почему Сема нынче выступил поборником теории «стакана воды», — этот самый Ковалев назвал Сему в своем коротком, гневном и жестком выступлении «зарвавшимся солипсистом».

Диспут затянулся до часу ночи. Под конец Сема ни о чем уже не думал. Ему было все равно, особенно после того как Сонечка с теткой ушли. Он стоял за конфискованным аналоем, вздыхал и старался не зевнуть. «Теперь мне крышка, — уныло раздумывал он. — Пожалуй, я конченный человек!»

— Жарко пришлось? — спросил Сему профессор, опять потягиваясь, после всего происшедшего. — Дали вам жару?

— Знаете что? — вспыхив, сказал Сема. — Я лично думаю, что никакой вы не профессор. Так профессора не поступают. Так поступают провокаторы!

— Наглец! — завизжал Журовский. — Щенок!

— А вы — проходимец и жулик! — глядя прямо в глаза Александру Петровичу, заявил Сема. — И если вы профессор, то покажите документы. Тогда я извинюсь перед вами. Да, да! —

срываясь на фальцет, заорал он. — Профессора — это порядочные люди, а вы пользуетесь тем, что тут глушь, уезд, дурачите людей, но только запомните: в Советском Союзе Хлестаковым туго приходится...

Сему вытолкали.

Но «профессор» ночью удрал, и не только из уезда, а из всей губернии. Впрочем, это Семе нисколько не помогло...

Опустив голову, вошел он в свою калитку. Тетка сидела на крыльце, гладила кота. Улыбка у нее была невеселая, когда она сказала:

— Иди пей молоко, развратник! Возьми из маленькой кринки, в большой поставлено на простоквашу.

Кот прыгнул с тетких колен, потерся о Семины ноги.

— Понимаешь, тут недоразумение, — произнес запинаясь, но довольно развязно Сема. — В сущности, я вовсе не принадлежу к сторонникам теории «стакана воды»...

Тетка кротко усмехнулась.

На следующий день Сема возле собора встретил Сонечку Карпову. Она с ним не поздоровалась, гордо вскинула маленькую голову, встряхнула черной, глянцевиной косой. Сема записал в дневнике:

«Беспредельно глупо. Ничего, еще крепче сожму зубы. Никто не увидит мою скупую мужскую слезу».

В молодежном клубе Коля Ковалев встретил Сему ироническим возгласом:

— А, солипсист!

— Я не солипсист! — возразил Сема. — И вообще вчерашняя история...

— Ты солипсист, и притом зарвавшийся! — сухо сказал Ковалев. — Желаете знать почему? Изволь. Я глубоко убежден в том, что ты признаешь единственной реальностью индивидуальный субъект, то есть самого себя.

— Я и тебя признаю, и вчерашнего проходимца Журовского, и...

— Весьма возможно, что признаешь, но только как собственное ощущение...

Глаза у Коли сделались вдруг немножко сумасшедшими...

— Да не как собственное. Вот ты... — Сема совершенно терялся. — А вот я... и, разумеется, субстанция...

— Однако, — возразил Ковалев, — однако, Щупак, ты подрываешь среди молодежи мой авторитет, заявляя во всеуслышание, что Журовский, приглашенный мною, — проходимец и Хлестаков. А так как ты матерый солипсист и признаешь реальностью только самого себя, то, следовательно, все, что ты говоришь про меня и про профессора, есть твое представление, а не наша суть...

— Ты психический! — испуганно сказал Сема. — Тебе лечиться надо.

— Весьма вероятно, что мне надо лечиться, тебе же, индивидуалисту-солипсисту и хлюпику-интеллигенту, не место в комсомоле...

— Это еще вилами на воде писано — тебе или мне не место. Ты — догматик, начетчик и талмудист...

— Опять начинаются солипсистические штучки! — мрачно усмехнулся Ковалев.

История с «любовью без черемухи» начала постепенно забываться, но Сонечка больше с Семой не здоровалась. Впрочем, Щупак не очень долго огорчался. Радий Луков познакомил его со своей сестренкой Электрой, и теперь Сема ей читал стихи и некоторые выдержки из своей тетрадки. Электра слушала, задумчиво ела пирог с черникой, позевывала и говорила:

— Ты не думай, что мне скучно. Это у меня — желудочное. У мамы тоже так бывает.

В молодежном клубе Коля Ковалев не позволял даже шутить и дурачиться.

— Доктор Ватсон, — говорил Сема, — налил себе стакан грогу и, закулив сигару...

— Какую сигару? — тяжело спрашивал Ковалев.

— Ну... «Виргинию».

— А почему ты знаешь?

— Пошел к черту!

— Вот поставлю вопрос на бюро, — сообщал Ковалев, — тогда поглядим. «Виргиния»! Твой Нат Пинкертон — провокатор рабочего класса. Тоже — нашел откуда цитаты брать!

Однажды Сема написал стишок с такой строфой:

Хочу я бурное море,

И яхту я тоже хочу,

И кружку ароматного эля.

И об этом я вовсе не шучу.

— Не шутишь? — спросил Ковалев.

— Не шучу.

— Явишься на бюро, заявляю официально.

— Ну и хорошо.

За ароматный эль, за бурное море и за яхту, а главное, за то, что он вовсе не шутит, Семе вкатили выговор. Он поехал в губком, губком вернул его в уком, туда вызвали Ковалева и секретаря бюро. Мрачный философ Коля в укоме вдребезги разругался с секретарем и один пошел на речку купаться. Бюро было созвано опять. Так Семе было разрешено хотеть ароматный эль, бурное море и яхту, то есть все то, чего он, в сущности, никогда не хотел и даже не видел.

Он стал говорить о себе в третьем лице, часами сидел над дневником, гуляя с Электрой и ее пшеничными подружками, вдруг раскидывал руки наподобие крыльев и говорил загробным

голосом:

— Я ворон, а не мельник. Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного. Ван-Гутен и Гутен Таг — здесь есть что-то метафизическое.

И спрашивал:

— Страшно?

На вечерах в клубе он декламировал стишки:

Го, го,

Го, го, го, го,

Го, го,

Идем, идем

Сквозь белую гвардию снегов!

Затем пояснял:

— Товарищи! Данный еще нигде не опубликованный отрывок рисует нам поступательное движение революции...

— А что значит «го»? — терпеливо спрашивали из публики. Сема пытался объяснить, что значит «го».

— Солипсист несчастный! — усмехался сидевший в первом ряду Ковалев.

Электра Лукова — сестра Радия — довольно быстро переутомилась и от Семы и предпочла ему нахального, в начищенных до металлического блеска сапогах дьячкова сына Пуньку. Вдвоем они теперь сидели в скверике, лузгали подсолнухи и всех осуждали, а когда проходил Сема, то Пунька непременно говорил ему вслед какую-либо пакость.

Жить было трудновато. Тетка умерла, пришлось и работать и учиться. На Подгорной улице у бойни постукивал, попыхивал дымком маленький, за высоким частоколом, маслобойный заводик братьев Нотовичей. Сему направили туда как комсомольскую прослойку и активиста. Братьям Нотовичам комсомольская прослойка, да еще пишущая в губернскую газету насчет охраны труда, была совершенно не нужна. Сначала старший брат Нотович, по кличке Жмурик — потому что всегда сладко, как кошка, жмурился, — предложил Семе должность лаборанта. Лаборатории на заводике не было, и Сема понял, что его хотят просто купить.

— Э, — возразил Жмурик, — какая вам разница — есть, нет? Получите белый халат, регулярную зарплату, будете учиться в вашей школе, и мы поладим.

— Нет, мы не поладим! — твердо ответил («отрезал» — было записано в дневнике этим же вечером) Сема. — Я пришел рабочим и буду рабочим.

— Такой принципиальный?

— Какой есть.

Младший Нотович, Жорж, возненавидел Сему лютой ненавистью — сразу, с первого же разговора. Жора носил бриллиантовые запонки, бриллиантовую булавку в галстук, лаковые туфли, мягкую шляпу — в праздники. В будни он не мылся, не брился, ел руками из миски здесь же, на заводике, и поминутно подозревал всех в том, что его обкрадывают. «Совсем молодой и уже абсолютный мерзавец», — записал про него в дневнике Сема.

Комсомольца и активиста Щупака братья решили поскорее замучить, для того чтобы он поднял лапки кверху и ушел по собственному желанию. В первый же день его поставили на горизонтальные жернова, а мастеру велели уйти, якобы к врачу, а потом в постель. Сема отработал две смены. Едва разобравшегося в жерновах, его наутро отправили на вальцовку, потом на цилиндры, потом обратно на жернова, потом на погрузку. Заводик был древний, жернова никуда не годились. В маленькой поломке оказался виноват Сема. Жорж вычел из Семиной зарплаты двадцать шесть рублей тридцать две копейки, в чем Щупак и расписался. К получению наличными осталось два рубля девять копеек.

— Согласно колдоговору! — выедавая баранье рагу из чугунной латки, заявил Жора.

— У вас все согласно колдоговору! — сказал Сема. — И то, что старик Межевич работает у вас почти бесплатно, — тоже согласно колдоговору. Между прочим, советская власть существует и на вас, нэпманов, тоже.

Хромой старик бобиль Межевич жил при заводике сторожем. Ему позволяли брать для «питания безвозмездно» подсолнечное масло и разрешали существовать в сторожке, похожей на большую собачью будку. Межевич был немножко с придурью — «городской сумасшедший», — это случилось с ним после того, как бело-зеленые бандиты у него на глазах зарубили саблями мадам Межевич — так он называл свою покойную жену.

— А вас интересует Межевич, хотя он из дворян? — осведомился Жора.

— Интересует.

За подписью «Око» в губернской газете появилась заметка Семы о старике Межевиче. Кончалась она так: «Мы верим в торжество справедливости!»

Братья Нотовичи предложили Межевичу уладить дело миром, даже подарили ему старое пальто, но Сема и его новые друзья на заводике — вальцовщик Сигизмунд Августович и грузчик Мотя — подговорили Межевича подать в суд. Старик выиграл дело. Жмурик Нотович в этот вечер напился пьян, Жорж сказал Семе:

— Это даже странно: у меня больше классового чутья, чем у вас. Теперь этот осколок контрреволюции воспрянет на моих трудовых деньгах. Чудовищно!

В свободное от работы на маслобойном заводе время Щупак много занимался.

Читал книги по всем областям знания, делал выписки, зубрил немецкий язык, бормотал Пушкина:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой...

Ему было действительно грустно. Он представлял себе девушку, непременно золотоволосую, непременно в кожаной куртке, непременно с маузером на ремне...

Мне грустно и легко; печаль моя светла...

Он хотел любить, а любить было некого. Он представлял себе разговоры непременно умные, непременно горячие, непременно с тонким остроумием...

Печаль моя светла...

«Поеду учиться, — думал он, раздеваясь, — поступлю в университет... Не всю жизнь мне делать масло... Будут профессора...»

Мне грустно и легко...

Как-то ему приснился солипсизм.

Солипсизм было длинное, серое и шипящее. Оно ползло и выделяло дым.

«Пусть еще раз скажет, — решил Сема, — ударю в морду. До галлюцинаций довел, сволочь!»

Кончив семилетку и провоевав на заводике еще около двух лет, Сема уехал в Ленинград.

Ленинград его ослепил и оглушил.

В день приезда он очень долго стоял возле Публичной библиотеки. Над улицами летела пыль, поднимаемая жарким ветром. Шипели трамбовки. Студенты, шлепая разношенными сандалиями, исчезали в прохладном и таинственном вестибюле огромного здания. «Там хранятся фолианты, — думал Сема, — там хранятся клинописи и фолианты. Они сейчас будут трогать клинописи руками». Его толкнули, он почтительно извинился: в Публичку шли премудрые люди, он должен был уступать им.

Потом в садике возле памятника Екатерины он купил себе яблоко и сжевал его, морщась от кислоты и глядя на изгаженных голубями царедворцев и на игравших возле пьедестала детишек. Пыль летела по-прежнему. «Вот здесь ходил А.С.Пушкин, — думал Сема, — со своим другом Вяземским».

В табачном киоске он купил открытку и, уже посплюнув карандаш, вспомнил, что писать, собственно, некому. С учета снят. Может быть, написать Коле Ковалеву?

И он написал Коле Ковалеву.

«Милый Коля, — писал Щупак, — сказка это, чудо или это бред, но я в Ленинграде. Прямо передо мной Екатерина. Во дворец (в Зимний) можно входить. Мне очень грустно, дорогой Коля! Знаешь, тут в 12 часов дня стреляет пушка. Вот бы нам в местечко? На островах тут бывшие дачи все заняты Домами отдыха. Сейчас пойду в Петропавловскую крепость. Обедал за тридцать пять копеек — шницель. Будь здоров, напиши мне до востребования в почтамт. Передай привет ребятам. Сема».

Опуская открытку в почтовый ящик, Сема вдруг вспомнил маслобойный завод, речку, музыку в саду, свою полку с книгами.

Ночью он попал в заведение на Обводном и напился пьян. Два подозрительных типа подсели к его столику. Он поил их и читал им стихи:

По вечерам над ресторанами...

Типы слушали, будто бы даже восхищались.

— Ишь ты! — говорил один.

— Картина, картина! — поддакивал другой.

— Полная картина.

— Чудесные стихи! — кричал Сема. — Вы только послушайте: «В моей душе лежит сокровище». И таких стихов сколько угодно. Один Пушкин чего стоит.

Типы пили портвейн, похожий на чернила, с любопытством поглядывали на красное от пива и от вдохновения Семино лиц, на его русые волосы, на добротный перелицованный пиджак и перемигивались.

— А скажите, — спрашивал Сема, — тут в Ленинграде есть какие-нибудь, ну... морские таверны? Мне бы только поглядеть. Понимаете? Там, где моряки, а?

— Чтоб с бабами? — спрашивал тип постарше и помордастее. — Вам поиграть?

— А там и карты есть? — не понимал пьяный Сема. — Разве карты еще не запрещены?

Во втором часу ночи Сема вдруг почувствовал в своем кармане чужую руку и, развернувшись от плеча, ударил одного из типов по зубам. Тип качнулся и нырнул головой, точно купаясь, в серый мрамор стола, но в ту же секунду страшный удар железной перчаткой в грудь свалил Сему с ног...

Он очнулся от холодной воды.

Немолодой человек с седеющими уже висками, стриженный бобриком, в гимнастерке военного образца, поливал ему голову из жестяной кружки.

«Таверна! — смутно подумал Сема. — Меня ударили навахой. Или кортиком. Только бы металл не был отравлен!»

И опять забылся.

Потом они долго ехали в машине уголовного розыска. Сема первый раз в жизни ехал в автомобиле и, несмотря на тошноту, головокружение и противную вязкую истому,

наслаждался. «Авто! — думал он. — Меня мчат в авто!» Типы тряслись на скамейке напротив. Они были чрезвычайно мрачны и в очередь курили одну папиросу. Тот человек, который поливал Сему водой, угрюмо молчал.

«А может быть, я кого-нибудь убил? — внезапно испугался Сема. — Тогда будет мне таверна. Эх, черт!»

Его мучили угрызения совести. Почти с нежностью он вспоминал рацеи Коли Ковалева, свои бои с братьями Нотовичами, сквер, все то, от чего он уехал...

В уголовном розыске на площади Урицкого Сема долго ждал в коридоре, прежде чем его вызвали.

— Направо! — сказал штатский парень в высоких сапогах, с маузером на боку. — Направо к товарищу Лапшину. Да вы же налево идете!

Сема еще не слишком хорошо соображал, и Лапшин понял это. Молча он перелистывал Семины документы и покуривал...

«Что ж, — думал Сема. — Теперь в тюрьму. Все как полагается. За решетку. Сижу за решеткой в темнице сырой. Выгонят из комсомола. И справедливо выгонят. Может быть, я убийца! Хотя, впрочем, кого же я убил?»

— Фамилия? — спросил Лапшин.

— Щупак.

— Имя?

— Там же все написано...

Когда Сема ответил на все вопросы, Лапшин приказал ему пересчитать деньги. Покуда Щупак считал, пересчитывал и недоумевал, Лапшин пил чай с ванильными сухарями.

— Ну?

— Не хватает.

— Неужели? И много не хватает?

— Много! — глупо улыбаясь, произнес Сема. — Только девять рублей осталось, и вот еще мелочь...

— А было?

— Двести семьдесят.

— Много пропили?

— Не знаю.

— А с кем вы сидели — знаете?

Сема слегка приоткрыл рот.

— Вы пили с матерыми рецидивистами. Одного зовут Барабан, другого Невеста...

— Невеста? Он же мужчина...

Лапшин вздохнул.

— Щенок вы косолапый, а то-оже, по ресторанам. «Таверна». Черт знает каких слов наберутся, а потом вот — «где мои деньги?», «Наваха»...

— Разве я про это... говорил?

— Нет, я про это говорил! — угрюмо произнес Лапшин. Открыл сейф, вынул оттуда пакетик, накрест перевязанный бечевкой, и протянул его Щупаку.

— Вот ваши деньги, за исключением девятнадцати рублей. Их вы, наверное, успели пропить. Напишите расписку.

— Все?

— Все. Можете идти. Возьмите пропуск, в соседней комнате вам поставят штампик.

Сема встал.

— Дело вот в чем... — сказал он.

И вдруг ни с того ни с сего поведал незнакомому сыщику всю свою жизнь.

— Куда же вы собрались поступать? — осведомился Лапшин.

— Я... меня интересует искусство... Например, Институт истории искусств... Я бы...

— Да, искусство! — задумчиво подтвердил Лапшин. — Нынче многих искусство интересует. Вот рецидивист Невеста тоже в киноактеры метил...

Сема молча немножко обиделся. «Странные ассоциации», — подумал он.

— А чтобы дело полезное делать — это мало кто задумывается, — продолжал Лапшин. — Чего, например, лучше — рабочий! Государство наше как-никак не истории искусств государство, а рабочих и крестьян...

— Я и работал на заводе...

— Работал? — усмехнулся Лапшин. — Таких, милый человек, работников нынче хоть пруд пруди — делают себе рабочий стаж. Нет, не то...

— Знаете, — внезапно оживился Сема, — возьмите меня к себе в органы!

Он сидел перед Лапшиным, прямодушный, голубоглазый, насквозь пропахший подсолнечным маслом, толстый и косолапый...

— В пир... в пинкертоны? — спросил Лапшин.

— Ага.

— Молода, в Саксонии не была! — усмехнулся одними губами Лапшин. — У нас работенка, товарищ дорогой, серая, будничная. А вот на работу встать я могу тебе помочь...

И велел позвонить ему по телефону в среду после шести вечера.

Сема позвонил и в четверг уже оформлялся в числе ста комсомольцев, уезжающих на Гидроторф.

Комсомольцев провожали с оркестром. Плакали девушки. Сема торчал в окне и махал

веером, купленным перед отъездом в игрушечном магазине. Его лично никто не провожал, но так как провожающих было много, то Щупак не чувствовал себя особенно одиноким. В пути он декламировал Маяковского, пел песни, вывешивал на стенке вагона расписание дня и ухитрился даже выпустить номер ильичёвки с собственными карикатурами и со стихотворением, кончавшимся так:

Наш паровоз, лети вперед

На торфе остановка.

Другого нет у нас пути,

В руках у нас винтовка.

С.Щупак

— Что ж ты подписываешься? — сказали ему. — Не твой ведь стишок...

— Моя аранжировка, — ответил Щупак, — а если не нравится, напиши другое.

Потом ехали пароходом.

На пристани комсомольцев никто не встретил.

Трое сейчас же решили ехать назад. К ним присоединилось еще несколько человек. Длиннорукий, рыжий комсомолец Гребак заявил, что он «не намерен».

Было уже совсем темно.

Никто не знал, куда идти, хотелось есть. Беленькая девочка Ефремова заплакала.

— Ну что это, — говорила она, — у меня и денег нет...

Начался дождь. Ребята стащили сундучки, баулы и чемоданы под навес. Тут пахло смолой и мышами. Из окошка дежурного доносилось пение:

Очи черные,

Очи страстные...

Сема подошел к окну, отодвинул рукой занавеску и спросил:

— Как на Гидроторф пройти, хозяин?

«Хозяин» лежал на клеенчатом диване с женщиной. У женщины было красное, глупое лицо и растрепанные волосы.

Мужчина играл на гитаре. Гитара лежала у него на животе, длинная георгиевская лента висела до самого полу, на стуле поблескивала банка с черным пивом.

— Послушайте, — во второй раз крикнул Сема, — как пройти на Гидроторф?..

Мужчина поднялся и, размахивая гитарой, подошел к окну.

— Просто, — сказал он, — пойдешь...

— Ну?

— На легком катере...

— Ну?

Мужчина нелепо в рифму выругался, захлопнул окно, опустил занавеску и погасил свет. На Волге орали пароходы.

По-прежнему дождь барабанил по жестяному навесу. Сема печально засопел, поднял воротник пиджака, нахлобучил пониже кепку и, сунув руки в карманы, зашагал в город. На почту его не пустили.

— Закрыто, — сказал голос из-за двери, — чего ломишься?

Из милиции разговаривать с Гидроторфом тоже не разрешили.

Наступила ночь, а Сема все бродил из улицы в улицу, старательно разыскивая хоть какое-нибудь гостеприимное по виду учреждение, но отовсюду его прогоняли.

В одиннадцать часов Сема добрал до больницы. Бородатый фельдшер впустил его в свою дежурку и кивнул на телефон. Гидроторф очень долго не отвечал. Сема дул в трубку, называл телефонистку «дорогим товарищем» и, из опасения надоесть фельдшеру, говорил:

— Извините, доктор, я сейчас...

— Гм, — произносил фельдшер, — что ж!

Тонкий голос дежурного по Гидроторфу заявил, что, во-первых, он ничего не знает, а во-вторых, даже если бы и знал, все равно транспорта нет.

Сема потребовал квартиру директора.

Директор спал. Будить его отказались.

Тогда Сема позвонил начальнику автопарка.

На пристани под навесом никто не спал. Беленькая девочка плакала. Ребята сосредоточенно курили. Желаящих вернуться в Ленинград было уже девять. От усталости у Семы подкашивались ноги и гудело в ушах.

— Сейчас за нами приедут, — сказал он громко, — слышите, товарищи?

— Ври больше, — сказал кто-то из темноты, — мы целый час мотались по городу...

— Я звонил.

— Откуда?

— Из больницы.

Ему было холодно и очень хотелось есть. Кроме того, он насквозь промок. Но люди приободрились, настроение стало лучше, беленькая девочка перестала плакать. Для того чтобы стало совсем хорошо, Сема решил соврать.

— И о нас вовсе не забыли, — сказал он, — ничего подобного. Когда я звонил, то мне сказали, что машина за нами уже вышла. Хорошая, большая машина. Поместительная.

— На колесах, — сказал голос из темноты.

— Конечно, на колесах, — всерьез ответил Сема, — обязательно. Ну и вот. Нас ждут давно, барак нам приготовлен, все...

— Вот что, ребята, — густым и медленным басом предложил Ястребов, — надо Щупака сделать бригадиром. Правильно?

— Правильно, — сказала беленькая девочка, — надо энергичного.

В общем, история получилась довольно глупая. Его сделали бригадиром за то, что он наврал. Ведь в автопарке ему никто не ответил.

И тогда он вновь направился в город. Ужасно болели ноги, хотелось полежать, попить горячего чаю. И угнетала полная безнадежность положения.

«Удрать, что ли?» — подумал Щупак.

Но это было бы подлостью по отношению к товарищам.

На какой-то темной, хлюпающей от дождя, незнакомой улице, у огромных ворот разгружались грузовики — штук шесть-семь или даже больше. Красноармейцы в подоткнутых шинелях таскали в ворота ящики, там сиплый голос считал:

— Пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь...

«Не жить мне на этом свете, если Красная Армия нам не поможет!» — загадал Сема.

И армия помогла. Из темноты вышел командир, осветил в Семино измученное лицо электрическим фонариком, выслушал печальную историю торжественного прибытия ребят и девушек на Гидроторф и велел Семе обождать. Командир этот оказался к тому же прекрасным шофером. Сема сел рядом с ним в сухую кабину и выслушал слова о том, что трудности закаляют, что будущий красноармеец (а все вы будущие красноармейцы) должен всегда быть в хорошей форме, не раскисать, даже когда двое суток не принимает горячей пищи, и прочее в таком же роде. Но никаких казенных интонаций в словах незнакомого командира Сема не расслышал. Порою даже казалось ему, что командир этот немножко посмеивается.

Подъехали к пристани, Сема встал на подножку, крикнул:

— Эй, товарищи, рассаживайтесь, попрошу спокойно, мест всем хватит, мы имеем семь машин, на бортах сидеть воспрещается, всем на пол, покрыться брезентом! На фронте случается и похуже, а все мы, в конце концов, будущие красноармейцы!

— О, дает бригадир! — произнес кто-то в темноте.

Из-под брезента голоса доносились, как из могилы:

— Душно!

— Примите сундук! Сундук же на меня поставили...

— Брезент под зады подсовывай, ребята, а то ветром оторвет...

Наконец Сема тоже уселся и захлопнул за собой дверцу.

— У меня просто нет слов, — сказал он. — Так выручили нас, так выручили. Может быть, мы теперь познакомимся? Щупак Семен.

— Сидоров Иван! — ответил командир, взглядываясь в залитую дождем булыжную мостовую.

В кузове, под брезентом, ребята пели «Слезам залит мир безбрежный», а Сидоров рассказывал, что, по его сведениям, дела на Гидроторфе идут из рук вон скверно, рабочая сила бежит, специалистов не хватает, на электростанции постоянно садится пар и отвратительно тянут котельные из-за слишком большой влажности торфа, что под угрозой исключения находятся многие промышленные предприятия края.

Сема слушал и удивлялся: откуда этот военный человек, командир, знает такие подробности насчет Гидроторфа?

— А мы вам кое в чем помогаем, — сообщил Сидоров. — Небогато, можно бы больше, но помогаем.

Грузовик, фырча и постреливая, мчался по темной лесной дороге. Фары едва пробивали влажную темень, но Сидоров вел машину легко и уверенно, точно чутьем угадывая рытвины и ухабы.

Никакого барака для вновь прибывших ленинградских комсомольцев не оказалось. Ни ужина, ни завтрака, ни даже обеда они не получили. Вещи валялись возле дощатой конторы, часть ребят спала вповалку на еще сырой после ночного дождя земле, часть бродила по завам и помзавам, пытаясь отыскать управу на все это безобразие.

Было жарко.

Солнце уже успело высушить остатки ночного дождя. Кричали петухи. Женщина полоскала белье в корыте возле дома. Сема вдруг вспомнил беленькую девушку. Ее звали Кларой.

«Клара, — думал Сема, — Клара, Кларетт, Кларнет, донна Клара. Она измучилась, донна Клара... Может быть, я, наконец, влюблен?»

Ему давно хотелось влюбиться, но влюбиться почему-то не удавалось.

— Донна Клара, — шептал Сема, — донна Клара. Под небом Сегедильи. Шумит, бежит Гвадалквивир... Донна Клара...

«Нет, — решил Сема, — это не то. Я не влюблен. Нисколько не влюблен».

В кооперативе по стенкам висели огромные расписные солонки, дамские шляпы, пачки бумаги «смерть мухам» и часы-ходики.

— Пищей не торгуете? — спросил Сема.

— Нет, не торгуем.

— Может, что-нибудь есть?

— Нет.

Все лето Сема не трогал дневника.

Писать было некогда, так же как и грустить.

Когда комсомольцы получили наконец барак, Сема принялся за искоренение клопов. С тремя помощниками он кипятил в часы отдыха воду, устанавливал по углам барака чудовищно вонючие курильницы, мазал койки керосином, советовался с врачом и опять начинал сначала.

— Есть подозрение, — говорил он, — что клоп является носителем бацилл рака.

Ребята рака не боялись.

Тогда Сема заявлял, что клоп располагает к заболеванию малярией.

И это не было страшно.

Но он до того всем надоел, что субботник все же был устроен: курились курильницы; мусор возле барака поливался известковым молоком; пол в бараке шпарили из ведер подслащенной кипящей водой с квасцами, кровати обливали раствором буры. Тараканы, несомые потоками воды, выливались из дверей барака и хрустели под ногами. Девушки орудовали нефтяным мылом.

К ночи Сема вывесил плакат: Остановись, прохожий, задумайся, товарищ! здесь НЕТ и НЕ БУДЕТ ни одного насекомого!

Плакат всем понравился. Сема очень быстро написал еще три: кто плюет на пол, тот плюет в лицо своему товарищу свою ненависть к буржуазии воплотим в усиление бытовой чистоты кто дружит с клопами, тот враждует с друзьями

Последний плакат был ребятами осужден как плоский и недоходчивый.

Работал Сема на аккумуляторе. Стоял удушающе жаркий июль. От жары и ветра Сема весь облупился. Кожа лезла с него клочьями. В поселковом кооперативе он купил себе шитую золотом тубетейку и сам смастерил трусы — зеленые с красной отделкой. Когда солнце уж очень жгло, он поливал простыню водой и накидывал мокрое полотно на плечи бурнусом.

Работа была очень скучная, однообразная и унылая: сигналы флажком, слежка за уровнем гидромассы, черпак, мостик... Подолгу он один стоял на мостике и смотрел вдаль на краны, на поселок, на паровоз, бегущий там, где земля смыкается с небом.

Палило солнце. Кричали кузнечики.

На дальних полях, густой и черный, засыхал торф. К нему от аккумулятора тянулись трубы. Сема распределял торфяную массу по полям сушки.

Хотелось спать. Это было самым трудным — не спать, когда так ужасно хочется забраться в тень и уснуть хоть часок.

Для того чтобы не спать, Сема писал стихи.

Порой тоска наваливалась на Сему. Это бывало с ним, когда он думал о своем будущем.

Вот ребята!

Осенью они уедут в Ленинград. У них есть знакомые, работа, кино, книги.

А куда ехать ему, Семе?

И вообще — чей он? Местечковый? Нет. Ленинградский? Ленинград уж вовсе ни при чем.

«Я комсомолец, — утешал он себя, — я мобилизован на торф, я работаю».

Конечно же, он комсомолец, конечно... И конечно, торф.

Но иногда он подолгу лежал ничком в траве, высушенной солнцем. Ему хотелось уехать, или сделаться кинематографическим актером, или полюбить девушку навеки.

— Навеки, — шептал Сема, — твой навеки.

Шумела машина.

Флаг поднят, флаг опущен.

Сема пробовал массу черпаком на длинной ручке и опять мечтал, уткнувшись в траву.

Через месяц его перебросили в комсомольскую бригаду на третий кран. Над карьером стоял гром. Четыре струи размывали залежи торфа. Брандспойт дрожал, вода хлестала из медного ствола под давлением двенадцати атмосфер. В высоком голубом небе пели жаворонки. Через час-два со Щупака начинал лить пот. Тогда он передавал рукоятки брандспойта другому карьерщику, простывал и, натянув брезентажку, лез в холодный черный кисель карьера — к торфососному крану. Там, ворочаясь как медведь, он выбрасывал на берег коряги, палки, корневища — все, что могло засорить хобот крана, и опять вылезал к брандспойту, страшный, измазанный и круглый, как шар.

Пошабашив, он ехал со своей бригадой в автодрезине к поселку, жевал хлеб и вдруг говорил: Ребята, гляньте, как красиво!

Ребята глядели, но не так на то, о чем говорил Щупак, как на него самого.

Он был хорош в такие минуты: глаза у него становились милыми и мягкими, он забывал жевать и сидел с набитым ртом — круглолицый, розовый, поросший пушком, как персик. Ветер раздувал его спецовку, он расчесывал пальцем грудь и, будто отвечая самому себе, бормотал:

— А вон и лес. Рыжий..

В начале сентября комсомольская бригада получила переходящий приз — Красное знамя — и продержала его до самого конца работ.

Поздней осенью мобилизованные уехали. Сема остался. Дули холодные, серые ветры. Поселок готовился к встрече зимы. Уезжали инженеры, техники, десятники. По улицам летели бумажки.

Зашивались досками окна барачков. Тракторы, урча и постреливая, развозили прицепами, груженые топливом.

Сорок часов с лишним Сема работал на отводе своего крана. Ночью кран стал оседать в мягкий, размытый непрерывным ливнем грунт. Поднялась паника. С воем хлестал ливень. Во мгле, при свете ацетиленовых фонарей, мелькали буденовки красноармейцев. «Армия нас выручит!» — подумал Сема. И на вопрос, как у него дела, ответил, что ничего, справится сам. В вое ветра и ливня никто не заметил, как Сема, оступившись, полетел в глубокий карьер. Вытащили его красноармейцы и их командир, знакомый со дня приезда на торфоразработки, — Сидоров.

— На ноги можешь ступить? — спросил он.

— Нн-е-ет! — проскулил Сема. — Выло-омал, наверное!

— Ничего не выломал, ушибся...

Умелыми руками, еще до приезда санитарной машины, он разул Сему, осторожно прощупал кости, сказал, что жив будет Сема и даже танцевать сможет.

— А вы — в-врач?

— Нет, жена у меня медичка.

— Больно з-з-здорово!

— А ты не реви!

— Это только скупая мужская слез-за! — произнес Сема вычитанную фразу.

Сидоров обещал написать письмо и уехал.

Потом в больнице врач показал Семе краевую газету, где было напечатано черным по белому, что комсомолец ленинградец Щупак совершил подвиг.

— А что? — сказал Сема. — Подвиг не подвиг, но труса не праздновал...

Погодя, спохватившись, не хвастает ли, добавил:

— Каждый на моем месте поступил бы так же...

И жадно впился в газету: там ведь было напечатано, что он, Сема Щупак, — ленинградец.

— Я — ленинградец! — сказал он грозно.

Он поправился, но не совсем. Не то чтобы он оставался хромым, но ноги сделались какими-то не своими, они иногда вовсе переставали слушаться, иногда подолгу ныли, иногда ходить он мог только косолапо.

Ему предложили новую для него, странную даже работу.

К весне Сема Щупак заправлял питанием всех рабочих на торфу. Своего предшественника он отдал под суд. Под суд пошли два заведующих складами, повар и пекарь основной пекарни.

В марте он получил премию — пятьсот рублей.

В его личном распоряжении была ручная дрезина. Целыми днями он пропадал в дальних поселках. На полях разлива, на кранах, в механическом и в кузнечном появились наконец горячие завтраки.

Каждое кило сахара, масла, риса стоило Семе величайших трудов и усилий, но все же он наладил специальное детское питание и открыл детскую столовку. В конце апреля ему удалось поставить диетический стол. Он даже ухитрился помогать больнице.

Как-то поздним вечером его позвали в партком.

Было еще холодно. Под ногами трещал тоненький весенний лед. Брехали поселковые собаки. На площадке возле клуба девушки качались на качелях.

Вызвездило.

Идти было легко и приятно.

Сема расстегнулся, сдвинул шапку на затылок и засвистал песню.

В кабинете секретаря парткома сидел человек лет сорока пяти, с бритой головой, с широким,

в оспинах, лицом, с умными маленькими глазами.

— Будем знакомы, — сказал он, разглядывая Сему, — садись.

Сема сел.

— Расскажи, как работаешь? — попросил человек, пододвинул к себе тарелку с остатками супа, накрошил в тарелку хлеба и принялся есть.

— Да как вам сказать, — начал Сема, — работа чрезвычайно сложная, в двух словах не объяснишь...

— А ты постарайся...

— Позвольте, — сказал Сема, — но ведь я даже не знаю... с кем, так сказать, имею честь...

Человек назвал свою фамилию.

Семе показалось, будто он ослышался...

— Минуточку, — произнес он, — так ли я понял...

Человек доел суп, вытер рот ладонью и заставил Сему рассказать все о своей работе.

Сема говорил до двух часов ночи.

Порою ему становилось холодно, он замолкал и разглядывал собеседника — его пиджак, поблескивающие ордена, большие волосатые руки. Неужели это тот человек, о котором он столько читал? Неужели ему он, Сема, говорит о ячневой крупе, о баранине, о гнилой капусте?

Когда разговор кончился и Сема встал, человек протянул ему свою большую руку и негромко сказал:

— Я еще кое-что о тебе, Щупак, знаю...

Сема побагровел: наверное, всплыла наружу история с «таверной»?

Но речь шла не о таверне. Все было гораздо проще: Сема открыл на станции маленький буфетик, нечто вроде кафе или чайной. Поэтому люди, приехавшие на поезде-подкидыше на работу и не успевшие позавтракать дома, тут всегда могли получить и чай, и яичницу, и бутерброд, и тарелку горячей каши с молоком. Открывалось заведение за десять минут до прихода поезда. Об этой нехитрой затее и пошла речь.

Сема опять сел, вновь заговорил. Собеседник записывал в большой блокнот.

— Ну что ж, — сказал он на рассвете. — Надо бы тебя, парень, очень похвалить, но боюсь, зазнаешься. Хороши наши ленинградцы, а?

— Я не ленинградец! — сказал Сема. — Я из провинции. А с ленинградцами я оказался случайно.

— Тоже неплохо. Значит, молодцы наши советские люди. Впрочем, быть тебе ленинградцем, зовут тебя туда на работу, жди...

Щупак прождал около месяца. Телеграмма была от Сидорова: «Выезжай интересную работу Нерыдаевский жилищный массив Сидоров».

Большой, расхлябанный грузовик «Рено» отвез Сему в Нижний. По левую сторону шоссе текла розовая в утренних лучах солнца, широкая и могучая Волга. Шофер поднял смотровое стекло, поддал газу и пустил машину на полный. Прохладный ветер вдруг ударил в лицо, зашумели придорожные сосны, Волга потекла быстрее.

— Куда ж теперь? — спросил шофер. — Учиться?

— Нет, работать.

— Ну, от работников автопарка вам спасибо, — неожиданно сказал шофер, — хорошо снабжали. Будем вас вспоминать.

Сема сконфузился и улыбнулся.

На половине пути он остановился попить квасу. Широколицая баба, ласково улыбаясь, наливала одну за другой пивные кружки холодным хлебным квасом. На Волге ревели пароходы.

Сема пил квас и вспоминал пристань, фельдшера, гитару, женщину с глупым лицом.

Все это осталось позади.

— Значит, и снабженец может быть честным человеком, — продолжал шофер. — Это я в отношении вашего багажа говорю. Легонький у вас чемоданчик и даже костюм нисколько не выдающийся. Но, с другой стороны, если по жизни рассуждать, даже форменный ворюга не станет людям особенно шикарным туалетом глаза рвать — разве не верная у меня постановка вопроса?

— Верная! — нисколько не обижаясь, сказал Сема.

В вагоне Сема вытащил дневник и записал:

«Еду в Ленинград, как ленинградец, по вызову на работу. Что бы сказал мой милый, ограниченный Коля Ковалев или жмоты братья Нотовичи? Впрочем, каждый человек стоит столько, сколько он стоит, минус его тщеславие».

9. Бежит время, бежит...

Шестого ноября, накануне праздника, правление массива и партийная фракция передавали мыловаренному заводу и текстильной фабрике двести женщин.

В клубе было переполнено, играли два духовых оркестра, говорились речи, первая из женщин, взявших слово, расплакалась от волнения и, ничего не сказав, сошла с трибуны. Но ей так неистово аплодировали, и так что-то говорили подружки, и так кричали «просим!», «просим!», что она, вся красная, в сбившейся на одно ухо косыночке, все-таки вышла на трибуну во второй раз и сказала только, что она благодарит советскую власть от имени (тут она запуталась), что она будет хорошей производственницей и тем докажет. Что докажет, она опять не сказала, да уже не нужно было, потому что кто-то в зале крикнул «ура!», все подхватили, и Сидоров долго звонил в колокольчик, пока зал затих.

Антонина сидела в углу у запасного выхода, крепко сжав руки, ладонь ладонью, облизывала пересохшие губы и слушала, стараясь не проронить ни единого слова из всего того, что говорилось с трибуны.

Она хорошо знала каждую из выступающих, и не только ее самое, но и ее детей, и ее мужа, и всю ее жизнь. У каждой она не раз бывала дома, немало говорила с каждой из них, немало спорила, немало убеждала, немало просто отчитывала.

И теперь она чувствовала себя ответственной за все, что женщины говорили с трибуны, — тихонько поддакивала и кивала, если говорилось то, что, по ее мнению, следовало сказать, и морщилась, если слышала не то или не так сказанные слова.

Но каждой она неистово хлопала, на каждую смотрела ласковыми глазами и каждой, если та путалась, кричала с места: «Правильно!» — или что-нибудь такое, что могло поддержать ее.

Потом поднялся Сидоров и сказал, что в президиум непрерывно поступают записки с просьбами, чтобы выступила товарищ Скворцова.

— Товарищ Скворцова здесь? — спросил Сидоров.

Зал зашевелился, многие стали оглядываться.

Антонина поднялась и, шурша платьем, быстрой и легкой походкой, слегка подняв голову по своей привычке, пошла к сцене.

В зале зааплодировали — вначале как аплодируют обычно, потом громче, потом разразилась настоящая буря.

Антонина стояла у маленькой трибунки, сжав от волнения зубы, перебирая пальцами бахрому красной скатерти.

— Тебе слово, товарищ, — сказал Сидоров, когда аплодисменты наконец стихли.

— Товарищи! — мягко и негромко начала Антонина. — В решающем году пятилетки мы должны были дать промышленности миллион женщин, свободных от непроизводительного, рабского труда в домашнем хозяйстве. Нужно сказать, что наш массив, Нерыдаевка, ничего в тридцать первом году для этого не сделал, хотя бы просто потому, что только еще строился. Мы непростительно запоздали.

— План ясельных и очаговых мест по Ленинграду вас не предусматривал, — сказал кто-то толстым голосом из-за стола президиума.

— Да, — согласилась Антонина, — но нам следовало самим предусмотреть свои возможности и вытянуть весь комбинат раньше. Но не в этом дело. — Она обернулась к залу. — Наш комбинат, — говорила она, стараясь не очень вглядываться в лица (обилие слушающих пугало и смущало ее), — как видите, очень еще молод — ему всего десять месяцев от роду, но сделано уже сравнительно не очень мало.

В зале захлопали.

— Мы имеем сильный очаг, сильные ясли, — продолжала Антонина, — и можем гордиться хотя бы тем, что случаи инфекционных болезней, заразных болезней, у нас если и бывали, то никак не распространялись. Мы сейчас имеем неплохой патронаж, консультацию, наконец, развертываем сеть очагов примитивного типа, по корпусам, так как наш очаг основной уже никак не в состоянии охватить всех ребят...

В зале опять захлопали.

— Но не в этом дело, — уже громко сказала Антонина, — не об этом мне хотелось говорить. Самое важное заключается, товарищи, в том, что наш комбинат сплотил вокруг себя ядро женщин, тогда еще домашних хозяек, а нынче уже производственниц, вначале на вопросах

чисто бытовых, а затем и на вещах более сложных, разъяснил им, этим бывшим домашним хозяйкам, смысл многих и многих мероприятий советской власти и партии. Вначале эта группа только активно шила нам для комбината детское белье — это, конечно, тоже очень важно, это позволило нам в срок открыть комбинат и сэкономить немалые деньги. На эту экономию мы открыли консультацию, но не это наша гордость. Чем мы гордимся? Мы гордимся тем, что эта группа актива, эта группа общественниц первая стала заниматься в кружке текущей политики, а таким образом, естественно, из пассивного отряда...

В зале захлопали так, что Антонина несколько секунд не могла говорить.

— Назовите имена, — опять сказал толстый голос из президиума.

— Да их много, — сказала Антонина улыбаясь.

— Все равно — назовите.

— Ну, хорошо.

Она подумала недолго и стала называть одно имя за другим. Каждое имя зал встречал аплодисментами. Антонина все говорила и все улыбалась.

— Теперь я должна назвать другие имена, — сказала она, — если уж все получается так торжественно. Я хочу назвать имена людей, которые ночи недосыпали перед открытием комбината...

— Себя назови, — сказал толстый голос. В зале засмеялись и захлопали.

Она назвала Сидорова, Вишнякова, Закса, Щупака.

— А теперь я вот только хочу, — сказала она в заключение, и голос ее чуть заметно дрогнул, — я хочу поздравить всех тех, кто начал работать, и пожелать им всем... — она запнулась, — ну, счастья, что ли... И заверить их, что за своих ребят они могут быть спокойны.

В зале сделалось совсем тихо.

— А также, — все больше волнуясь, продолжала Антонина, — я хочу обратиться к тем, кто еще не в нашем активе. Приходите, товарищи женщины, к нам.

Потом правлению массива от имени парткома мыловаренного завода была вынесена благодарность. Потом благодарил председатель фабкома текстильной фабрики.

— Слово предоставляется секретарю районного комитета, — сказал Сидоров, и в зале так захлопали и закричали, что Антонина не расслышала фамилии, да и не нужно было — она уже поняла, кто этот человек.

Он встал. Тяжелой, но свободной походкой подошел к трибуне, аккуратно поправил смятую Антониной скатерть и своим толстым голосом сказал:

— Вот вы тут, товарищи, выносили благодарность и все такое, очень торжественно, красиво получилось. Но ведь, дорогие товарищи, дело не в этом. А? Как вы считаете?

Он полузакрыв глаза и, как бы прислушиваясь, наклонил свою большую, немолодую уже голову вперед. Было очень тихо.

— Мне лично кажется, дорогие товарищи с мыловаренного и с «Красного текстиля», что дело не в благодарностях. Благодарностями, как говорится, сыт не будешь. Верно? Дело в конкретной помощи. Вот мне с моими товарищами приходилось здесь бывать, на этом самом

комбинате, когда он еще только создавался, и позже, перед началом работы, и когда комбинат уже работал...

«Когда же он приезжал, — подумала Антонина, — почему мне никто слова не сказал?..»

— Это, товарищи, чудо, говорю я, что сделали люди здесь, — продолжал секретарь, — замечательная вещь, и благодарностями здесь не отделаться.

В зале осторожно захлопали.

— Мы, большевики, не очень любим удивляться, но Нерыдаевка — дело удивительное. Сейчас трудное время, товарищи, а горсточка коммунистов и комсомольцев и непартийных большевиков, ни разу не жалуясь на трудности, работает, и любо-дорого глядеть...

Опять захлопали.

— Давайте, товарищи, похлопаем вместе, — сказал секретарь каким-то иным голосом и, повернувшись к столу, за которым сидело почти все правление массива — Закс, Щупак, Вишняков и Сивчук, начал сам хлопать, широко улыбаясь, но сейчас же принялся искать кого-то глазами в публике. Антонина поняла, что он ищет ее, но не вставала, вся красная, а, наоборот, спряталась за спиной сидящего перед ней пожарника.

Секретарь поднял руку. В зале стихли.

— Скворцовой не вижу, — сказал он, — не годится, товарищи! Где она там?

Антонина еще пригнулась, но в зале, как давеча, стали оборачиваться со смехом и шутками, и сейчас же сосед ее, какой-то командир, незнакомый ей, крикнул: «Здесь Скворцова, прячется!» Все засмеялись, а командир взял ее за локоть и почти силой приподнял, и ей пришлось встать, уже ничего нельзя было поделаться, и пришлось идти по всему зрительному залу, идти под аплодисменты. Аплодировали уже по-особенному — три раза, пауза и опять три раза. Она все шла, шла по проходу, и сцена была, ей казалось, все так же далеко, как и прежде, и возле прохода сплошь были смеющиеся, аплодирующие люди. Она стала подниматься на сцену, но оступилась и чуть не упала — ей кто-то подал руку, и она очутилась лицом к лицу с секретарем райкома.

— Иди, садись туда, — сказал он ей и кивнул головой в сторону стола президиума, — иди, сядь там.

Она села, задыхаясь, и закрыла лицо руками, чтобы решительно никто не видел, какая она красная, — так и слушала всю речь секретаря райкома. Он опять говорил о благодарностях и кончил тем, что предложил и фабрике и заводу найти денег на постройку второй очереди детского комбината.

— Вот это и будет настоящей благодарностью, — сказал он в заключение, — правильно, товарищи?

— Правильно! — загудели в зале.

Загремел «Интернационал», Антонина ушла за кулисы. Там ее нашла Женя.

— Я не понимаю, — говорила Антонина ночью, сидя с ногами у Жени на кровати (Сидорова не было), — я просто не понимаю. Ведь ничего еще не сделано, почему это все?

— Что «все»?

— Ну, все.

— Общо и туманно, матушка, — сказала Женя.

— Но ведь сегодня мне аплодировали?

— Да.

— За что?

— За дело.

— Ну за какое, скажи на милость?

— За хорошее. За твой комбинат.

— Почему за мой? Если на то пошло, то Сидорова, и твоего, и вообще всякого там куда больше, чем моего.

— Да.

— Ну?

— Милочка моя, поживешь — поймешь, — сказала Женя. — Ведь с этой твоей точки зрения ты и вообще ни при чем. Если бы не я и если бы не Сидоров, ты бы до сих пор, может быть, паслась со своим Пал Палычем...

— Это положим!

— Сейчас тебе кажется, что положим, — люди лихо скоро забывают. Дело не в этом. Ведь пойми, Тоська, не столько сегодня тебе аплодировали, сколько нашему времени. Поняла?

— Нет.

— Ну, н

а тебе проще. Аплодировали той силе, которая даже из таких, как ты, из арьергарда, извлекает скрытую их суть, отличный их смысл и обращает этот смысл на пользу трудящимся. Понимаешь? Ну и, естественно, на твою пользу. Ведь вот ты дома кашу варила, и плакала, и злилась, а мало таких еще, ты думаешь? Дай срок, твои крестницы, двести штук, себя покажут. Понимаешь? Вот тебе секретарь аплодировал — думаешь, он тебя не знает? Отлично знает. Вот для тебя новостью оказалось, что он на твоём комбинате был три или четыре раза, а он был. И хлопал тебе не только за то, что ты сделала, а за то, что ты еще можешь. За то, что у тебя впереди черт знает еще сколько всего. И когда он хлопал, я, знаешь, о чем думала?

— О чем?

— О том, Тося, — Женя серьезно взглянула на Антонину, — о том, милая, что эти аплодисменты относятся немного и ко мне.

— Да, — тоже серьезно сказала Антонина, — правда.

— И к Сидорову.

— Да.

— И к Заксу.

— Да.

— Может, немного и к Семе Щупаку.

— Да.

— И к Альтусу. — Женя улыбнулась. — Помнишь, когда тебе очень хотелось оказаться несчастной, а он тебя взял да и не посадил. И вообще наговорил разных неприятностей... было такое дело?

— Было.

— Значит, он имеет некоторые права на сегодняшние аплодисменты?

— Ну, имеет.

— Не ну, а просто — имеет или не имеет?

— Имеет.

— Вот теперь и посуди сама, — сказала Женя опять серьезно, — нас вон сколько — пять человек. Уж не так и много тебе аплодировали, если разделить на всех.

Она помолчала.

— А главное, что ты должна понять, — сказала она, — это то, что и не в нас дело. А в другом. В чем, не скажу, сама додумайся. Теперь иди, мне почитать хочется. И не очень огорчайся — все-таки на твою долю осталось. Могло ведь случиться совсем наоборот, — например, сначала выговор, потом еще выговор, а потом увольнение.

— Нет, — твердо сказала Антонина, — этого не могло быть.

— Мало ли чего в жизни не случается, — сказала Женя, — подожди, и тебя еще за что-нибудь взгреют — заохаяшь.

— Нет, не заохаяю.

— Ишь ты!

— Да, не заохаяю.

Антонина встала. Женя улыбалась, глядя на нее.

— Только ты не сердись на меня, — сказала она, — не сердись, Тосик, я ведь любя. Просто иногда подумывай о том, что тебе повезло. Могло быть иначе — длиннее, труднее, скучнее, да и просто могло ничего не быть. Понимаешь? Мало ли таких, как ты, еще и по сей день тоскуют и мечутся, ворчат и ругаются в кухнях. Квалификация — «домашняя хозяйка»!

— Да, теперь я это понимаю, — сказала Антонина. — Совсем понимаю...

— Ну вот и хорошо. Кстати, ты давно мне говорила о своем долге, помнишь? О том, что наступит такой день, когда ты мне все сразу отдашь? И мне, и Сидорову, и всем нам.

— Да, да, помню... Но я уже...

— Нет, миленькая моя киса, вовсе еще не «уже». И не сегодняшний день, и не завтрашний. Ты еще только начинаешься, а отдашь, когда я тебе велю.

— Хорошо.

— Обиделась...

— Нет.

— Не обижайся, Тоська, ты давно уже все отдала и даже не заметила, как и когда. Я шучу. Ну, иди, иди, мне читать нужно...

10. С Новым счастьем!

— Шли бы вы! — сказала ей дежурная по комбинату, толстенькая Дуся. — Право, ей-богу, шли бы, Новый год на носу.

Но она еще разбиралась с делами, морща переносицу, как Женя, щелкала на счетах. Не сходилась детская питательная мука, эти семнадцать килограммов совсем ее замучили. Звук костяшек напомнил ей почему-то Пал Палыча, и она подумала о том, что он нынче делает, как и где будет встречать Новый год, и на мгновение ей стало жалко его. Тут вдруг отыскались шестнадцать килограммов — накладная приклеилась к другому счету. Не хватало только одного килограмма.

— Антонина Никодимовна! — сказала Дуся. — Ну просто даже удивительно. Двадцать минут двенадцатого.

Не торопясь, Антонина вышла.

Идти было приятно: весь день немножко таяло, а сейчас хватил легкий морозец — низкий снег покрылся настом, и было хорошо проламывать каблуками этот наст, чувствовать холодок забирающегося в туфли снега и слушать нежный, едва уловимый звонкий хруст.

Она медленно поднялась по лестнице, лениво позвонила и, спрятав по своей манере подбородок в воротник накинутого на плечи пальто, стала постукивать подошвами, чтобы согрелись ноги.

Никто не отворял, хотя за дверьми и слышалась возня, приглушенный смех и даже ясно раздался голос Жени: «Это несносно, вы ставите его в глупое положение!»

«Кого это „его“?» — с досадой подумала Антонина и позвонила длинно, сердито еще раз. Опять в передней завопили, и опять никто не открыл. Тогда она постучала кулаками, крикнула: «Слышу, слышу, открывайте, довольны!» Тотчас же к двери кто-то подошел изнутри. Она нетерпеливо дернула ручку, в передней сказали спокойно: «Да, сейчас!» — и дверь отворилась.

В первую секунду она не узнала Альтуса, так он загорел и так парадно выглядел в новой, щегольской гимнастерке, тщательно выбритый, гладко причесанный, но вдруг поняла — Альтус! — и почувствовала, что страшно, катастрофически краснеет, и не оттого, что увидела Альтуса, а оттого, что поняла скрытый смысл всего давешнего шума и смеха в передней.

— Здравствуйте! — сказал Альтус, серьезно и пристально глядя на нее и протягивая ей руку.

— Здравствуйте! — ответила она и почувствовала, какая у него сухая, горячая, крепкая ладонь.

Сбросив пальто и тщетно стараясь побороть внезапно сковавшую ее робость (ей очень хотелось убежать к себе), Антонина вошла в столовую. Знакомый моряк Родион Мефодьевич

был тоже здесь, и с ним еще был высокий светловолосый, с яркими искрами в зрачках военный летчик, который назвал себя Устименко и тоже сильно пожал Антонине руку. Тут, в столовой, все было нарядно — и раздвинутый стол, и Женя, и Закс в новом костюме, и даже Сидоров, успевший побриться и, конечно, порезавшийся, с кусочками наклеенной на подбородок бумаги.

— Ох, как шикарно! — сказала Антонина для того, чтобы что-нибудь сказать, и услышала, как за ее спиной в комнату вошел Альтус.

— Он таких вин привез, просто ужас, — сказала Женя запыхавшимся голосом и крикнула: — Сема!

Сема явился в фартуке, взятом у Поли, — он жарил на кухне котлеты. Он кивнул Антонине и, выслушав Женю, опять ушел. Женя уставилась на Антонину.

— Ты что же, матушка, — с ужасом в голосе сказала она, — совсем спятила? Так замарашкой и за стол сядешь? Сейчас же переодеваться! Двадцать минут в твоём распоряжении.

Антонина покорно повернулась и, опустив глаза, чтобы не покраснеть еще раз (Альтус стоял за ее спиной), пошла к себе. В своей комнате она открыла шкаф и стала думать, что бы надеть, но надевать было совсем нечего, ни одного стоящего платья у нее не было. Ей сделалось грустно — переодеться уже хотелось, из столовой слышались веселые, возбужденные голоса, там все были нарядны, даже Сидоров надел воротничок и повязал галстук, а ей оказалось совсем нечего надеть. Тогда она приоткрыла дверь и позвала Женю. Женя застала ее совершенно убитой — она стояла у шкафа в белье, тоненькая, бледная, с блестящими глазами, и молчала.

— Ну, что такое? — спросила Женя и подошла ближе. — Что ты, Тосенька?

— Мне нечего надеть, — сказала Антонина шепотом.

— То есть как «ничего»?

— Ну, по-русски говорю — нечего, — уже зло сказала Антонина.

— Совсем нечего?

— Совсем. Что есть — в стирке, а остальное... — она безнадежно махнула рукой и отвернулась.

— Это просто бог знает что, — сказала Женя и обозлилась. — Твои штучки! — крикнула она. — Твоя распродажа дурацкая.

Антонина молчала.

— Это подло, — сказала Женя плачущим голосом, — это не по-товарищески — не подумать о встрече Нового года.

Антонина все молчала, отвернувшись и царапая ногтем дверцу шкафа.

— Тоська! — сказала Женя. — Нашла!

И умчалась.

Через минуту она прибежала с электрическим утюгом в одной руке и с чем-то белым, огромным — в другой.

— Это мое самое любименькое, летнее, — нежно и торопливо говорила она. — Тоська, ты не

думай, оно длинное, и, главное, его выпустить можно, только скорее, скорее, — на ножницы, пори, видишь, тут рюши, воланы, оно чудесное платьице, я тебе сейчас светлые чулки принесу.

Она вновь умчалась и вбежала со словами о том, что осталось только девять минут. Антонина быстро и ловко, закусив нижнюю губу, распарывала подол платья.

— Утюг уже горячий, — тараторила Женя, — давай ногу, я тебе чулок надену. Давай другую ногу. Где у тебя светлые туфли?

— В правом нижнем ящике.

— Ничего тут нет.

— Ну, значит, в левом.

— В левом, в левом, в левом... Господи, где левый и где правый..

— Да ну, вот правый...

— Да, да...

Надев на Антонину туфли, она потащила ее вместе с платьем к столу, и, пока Антонина приметывала подол, Женя уже гладила рукава.

— Ах ты, дуся моя, — говорила она, поправляя на ней рюши и воланы, — если бы ты только знала, как к тебе это идет! И ничего, что летнее, мужики — дураки, они не понимают. Ну-ка, я тебе здесь еще прихвачу, чуть широковато. Волосы пока поправь на левом виске. И брови причеши — они у тебя торчат. Ну как, ловко? — спрашивала она, в последний раз обдергивая платье. — Не тянет нигде? Ну-ка, руку подыми! Если бы мне такие руки, как у тебя! Теперь опусти! Теперь пройдишь. Очень хорошо, отлично, просто сказка. Ну, я побежала, а ты сейчас же приходи, моментально. Еще зайди ко мне, надушись, только не «Душистым горошком», а «Совушкой», — нехорошо, если мы обе будем одинаково пахнуть. Утюг выключи, не забудь! — крикнула она уже из передней.

Когда Антонина наконец окончательно оделась и вышла в столовую, было уже без минуты двенадцать и все стояли вокруг стола со стаканами в руках. Она остановилась у двери, не зная, куда сесть, потому что свободный стул был только возле Альтуса, а ей было неловко с Альтусом, но Женя закричала: «Тоська, вот там, рядом с Лешей!» — и она подошла к столу и нерешительно взялась за спинку. Альтус тотчас же к ней повернулся и протянул стакан с темным, маслянистым вином. В эту минуту отчаянно затрещал будильник, и все стали чокаться.

— С Новым годом! — крикнула Женя, — До конца, пейте вино до конца!

Антонина пила и чувствовала, что вино необычайно вкусное, кисловато-терпкое и крепкое.

— До конца, до конца, — сказал рядом Альтус, и она услышала и поняла, что все уже выпили и смотрят на нее.

— Уф, — вздохнула она и стукнула стаканом об стол, — как вкусно.

Она стала есть какую-то закуску, тотчас же отодвинула ее от себя и подвинула другую, но поленилась есть и первый раз взглянула на Альтуса открыто — на его темное лицо и светлые, совсем выгоревшие волосы. Он почувствовал ее взгляд и повернулся к ней, вежливо улыбаясь.

— Вам что-нибудь нужно? — спросил он.

— Нет, — сказала она спокойно, — ничего не нужно.

И деловито съела большую котлету.

— За учителя! — сказала Антонина. — За милого моего учителя.

И, обратившись к военному моряку, объяснила:

— Он мою малограмотность ликвидирует, этот человек. Закс его фамилия.

— А вы и учитесь? — спросил Родион Мефодьевич.

— Обязательно! — хмелея от выпитого вина, ответила Антонина. — Непременно. Иначе меня с работы выгонят, понятно? А человек должен работать...

Родион Мефодьевич почему-то грустно взглянул на Антонину, а его сосед, летчик, произнес с мягким украинским акцентом:

— Вы на кого учиться собираетесь?

— На врача!

— У меня сын тоже на врача собирается! — сказал летчик, и Антонина заметила в голосе его милую нотку гордости. — Хорошее дело докторское, замечательное. Я, случилось, упал, думал — гроб, а доктора ваши починили.

— Какие же мои, — смеясь, сказала Антонина. — Я еще никакой не доктор, я только собираюсь и, наверное, провалюсь.

— Нет, вы доктор! — настойчиво возразил летчик. — Вы именно что доктор. Верно, Родион Мефодьевич?

Ответа Степанова Антонина не расслышала, потому что началось в то время застолье, когда каждый говорит сам по себе и в ответах не очень нуждается. Закс принес из передней гитару и запел:

Когда б имел золотые горы

И реки, полные вина...

Но гитару у него отобрали, и Родион Мефодьевич, легко перебирая струны, щурясь на Женю, начал:

Вот мчится тройка почтовая

По Волге-матушке зимой...

— Славно как! — сказала Антонина как бы сама себе, но в то же время и Альтусу. — Удивительно славно!

— Да, люди хорошие, — спокойно ответил он. — Это старые мои дружки — и Устименко, и Степанов...

— Какой-то другой мир...

— Что? — не понял он.

Но тотчас же согласился:

— Да, вы правы, это другой мир.

— Вы о чем? — спросила она.

— А вы?

Он взглянул на нее в упор, таким взглядом, как много лет назад на Гороховой, и ей сделалось как-то особенно весело, словно она съезжала на салазках с горы.

— Вы же знаете, о чем я, — сказала Антонина. — Но того мира больше нет. Есть только этот...

— Если бы! — с грустной усмешкой произнес Альтус. — Каждому, который живет в этом мире, кажется, что того больше нет. А он, к сожалению, есть.

— И вы с ним имеете дело?

— Имею. Черт бы его подрал! — довольно грубо сказал он.

— Знаете что? — предложила Антонина. — Давайте не говорить про грустное, про подлое и вообще про дрянь. Давайте говорить про хорошее.

И засмеялась.

— Что вы?

— Ничего. Вино уж очень пьяное. Так и подкашивает, — старательно выговорила она, — так и кружит голову. Наверное, это вино очень дорогое?

Альтус внимательно смотрел на Антонину, немного исподлобья — вежливо и сочувственно.

— Да, — согласился он, — это чрезвычайно дорогое вино. Мне его подарили.

— То есть, значит, дешевое. Бесплатное!

— Дорогое! — сурово повторил он. — Бесценное. — И сказал через стол: — Родион! Вот Антонина Никодимовна считает, что это вино — дешевое...

Степанов зажал ладонью струны гитары и покачал головой.

— Ничего я не понимаю! — воскликнула Антонина. — Ну ничегошеньки.

А Степанов уже пел:

Ко славе страстию дыша,

В стране суровой и угрюмой,

На диком берегу Иртыша

Сидел Ермак, объятый думой...

— Послушайте, — сказала Антонина, — что вы делаете там в вечных ваших командировках?

— Работаю! — ответил Альтус.

— А какая у вас работа?

— Разная.

— Выпьем за разную работу!

— Выпьем.

— Вот вы пьете и не пьянеете, а я совершенно пьяная.

Она взяла бутылку и налила ему и себе.

Родион Мефодьевич пел сильно и печально:

Тяжелый панцирь — дар царя —

Стал гибели его виною,

И в бурны волны Иртыша

Он погрузил на дно героя...

Сема, Закс, Женя, Сидоров, Устименко подтягивали. Было жаль Ермака, и в то же время Антонина испытывала счастье.

— Буду пить! — упрямо сказала она. — Мне прекрасно. А вам... Вам?

И вновь взялась за бутылку.

— Тоська! — крикнула Женя. — Знай меру!

Но Антонина ничего не слышала, кроме песни:

Вдали чуть слышно гром гремел,

Но Ермака уже не стало...

— И вам тоже приходится бывать в переделках? — спросила она Альтуса и, не дождавшись ответа, воскликнула: — Какие удивительные слова здесь, в песне: «И мы не праздны в мире жили!» Самое главное — жить не праздны, да?

Он молча кивнул.

— Вы не праздны! — сказала она, глядя ему в глаза. — Все, которые здесь, — не праздны! И это самое прекрасное!

Потом она велела ему повести ее — пройтись. Он покорно и вежливо согласился. В передней Альтус разыскал ее пальто и накинул на плечи. Потом надел свою шинель.

— Теперь платок! — Наслаждаясь своей властью над ним, этой кратковременной и чудесной властью, она строго велела: — Ах, да на сундуке вон там, какой вы, право, бестолковый. Неужели не видите?

— Этот?

— Нет, не этот! — крикнула она, хотя платок был именно «этот», а другой был Жени. — Вот, рядом, серый! Вы растяпа! — с наслаждением произнесла она. — И у вас руки как крюки! Просто невыносимо!

И пошла вперед, тяжело дыша. Возле дома он взял ее под руку. Все было чисто и бело кругом — снежный наст, заиндевевшие, легкие ветви молодых деревьев, искры на снегу.

— Не надо меня под руку! — сказала она. — Под руку совсем уж ни при чем...

— Но вы поскользнетесь!

— Ах, вот что! — сказала она. — Тут, оказывается, забота о человеке.

— Обязательно! — подтвердил Альтус.

Она остановилась и засмеялась, закинув голову. Он смотрел ей в глаза и улыбался. Какие у него твердые губы, наверное, у этого человека. И рука какая сильная.

— Если бы от меня не пахло вином, — сказала Антонина, — то я показала бы вам наш комбинат. «И мы не праздны в мире жили!» Понимаете?

И опять засмеялась. Он все смотрел на нее непонятным взглядом. Какие-то тени бежали по его смуглым щекам.

— Удивительно хорошо! — сказала она со вздохом.

— Да, хорошо.

— Вы правду говорите?

— А зачем же мне говорить вам неправду?

— Тогда пойдем дальше!

Страшась того, что происходило в ней первый раз в ее жизни, она взяла Альтуса за кончики пальцев и повела за собой — немного сзади.

— Это наш массив, — говорила она, — видите? Вот это столовая. А вон там, далеко, мой комбинат.

Теперь остановился Альтус, но она все тянула его за пальцы и болтала без умолку.

— Не надо, — сказал он, — не говорите столько.

И, взяв ее под руку, медленно пошел назад.

— Да, да, — сказала она, — я знаю, что не надо.

— Вы очень пьяны? — спросил он.

— Нет, — живо и быстро сказала она, — вы же видите, я уже трезвею...

Она улыбнулась ему робко и прямо.

— Что-то происходит, — сказала она, — да?

— Вероятно, — серьезно сказал он.

И вдруг, легко и спокойно наклонившись, дотронулся щекою до ее волос на виске.

— Заиндевели, — сказал он, — совсем белые.

— Правда? — спросила она, точно речь шла о другом.

— Разумеется.

Они долго ходили по аллеям молодого парка. Потом сидели на скамеечке и опять ходили, изредка переговариваясь, больше молча. Альтус все на нее поглядывал.

— Что вы смотрите? — спросила она.

— Я?

— Вы! А кто же еще другой?

— Вы же сами давеча сказали, будто что-то происходит, — неуверенно произнес он. — Или уже все миновало?

— Нет! — тревожно и беспокойно сказала она. — Нет. Но только пойдете, знаете, пожалуйста, теперь пойдете...

— Разумеется, — поспешно и виновато согласился Альтус. — Вы, наверное, застыли на морозе...

Молча они прошли несколько шагов, потом он остановился, чтобы закурить. Его шинель была расстегнута, искры летели на сукно гимнастерки.

— Осторожнее, — посоветовала Антонина. — Потушите, прогорит...

Они дошли до парадной и поднялись на две ступеньки.

— Ну вот, — сказал Альтус, — я пойду.

— Уже?

— Да, пора.

— Но ваши товарищи еще сидят у Сидоровых.

— Ничего, они большие мальчики, доберутся сами.

Она молчала. Он сделался опять холодновато-вежливым, только в глазах его появилось что-то растерянное.

— Ну, до свиданья! — сказала Антонина. — А то, может быть, зайдете, выпьете еще чаю...

— Нет, пора, рано вставать завтра.

— И мне.

— А вам-то зачем?

— Наш комбинат работает без выходных.

— Вот видите, — думая о чем-то своем, сказал он. — Следовательно, и вам пора спать.

— Да, — сказала она. — И мне.

Он пожал ее руку, застегнул шинель на крючки, коротко вздохнул и ушел. А она вовсе не ложилась спать в эту ночь. Вернувшись домой, долго и азартно играла в дурака с Родионом Мефодьевичем, Щупаком, Заксом, пила чай, особенно как-то смеялась, а потом ушла к себе и до восьми часов проходила по комнате, кутаясь в платок и старательно собираясь с мыслями. Потом надела старенькое платье и пошла на комбинат.

Было еще совсем темно и очень неуютно: крупными хлопьями косо летел снег, белые деревья нахохлились, менялся ветер, делалось сыро и мозгло. Почти у самого комбината она увидела высокую фигуру, запорошенную снегом. Человек вышел из-за угла и направился ей навстречу — нетвердо, точно бы приседая. В это время рядом — на мыловаренном — низко и глухо, словно предупреждая об опасности, завыл гудок. Антонине стало страшно, она узнала человека, это был Пал Палыч — пьяный, с тростью. Он протянул ей руку, но она своей не дала.

— Что вы? — дрогнувшим голосом спросила она.

— С Новым годом, Тонечка, — сказал он ровно и сдержанно, — с новым счастьем. Помните, как мы с вами встречали Новый год?

— Не помню, — ответила она, — пустите меня, мне идти нужно.

Вновь завыл гудок, но теперь на другом заводе. По тротуарам массива быстро шли люди, порою хлопали парадные. Гудок все выл — тревожно, как казалось ей.

— Пустите, — повторила она, — мне вас страшно.

Он смотрел на нее, склонив голову набок. Даже за обшлагами его пальто был снег.

— Вы меня тогда пожалели, — сказал он, — помните, когда я напился? Я в жалость не верю, она мне смешна, никто меня в жизни не жалел. Но теперь пожалейте вы еще раз...

— Это противно, — сказала она, — зачем вы тут ходите?

Гудок все выл.

— Не можете пожалеть? — спросил он.

— Я себя жалею, — сказала она, — неужели вы не понимаете? — В ее голосе слышались слезы. — Оставьте меня в покое, я вас прошу. Оставьте! — воскликнула она. — Мне не нужно вас помнить, я не люблю вас. Зачем вы тут? Мне страшно, что вы тут. Не смейте сюда приходить, — внезапно успокоившись, почти грозно сказала она, — я запрещаю вам. Ходит тут, бродит с палкой! «Пожалеть!»! Чтобы вы опять избили меня? Нет, хватит...

— Я вас этой ночью встретил, — сказал он. — С военным. Подыскали себе подходящего?

— Ну и подыскала! — с бешенством произнесла Антонина. — Да, подыскала! А вам какое дело?

И, обойдя Пал Палыча, как будто он был вещью, побежала к комбинату. Она чувствовала, что он смотрит ей вслед, и словно бы мороз струился по ее спине.

— С новым счастьем! — хрипло крикнул он ей вслед. — Слышишь, Тоська?

— Слышу! — резко обернувшись, ответила она. — Слышу! Да, я счастлива! А вы уходите отсюда, нечего вам тут быть, не боюсь я вас и никогда больше не испугаюсь!

Когда она вошла в очаг, передняя уже полна была матерей и ребятишек. Няни, еще сонные, раздевали сонных еще, розовых от снега и сна детей, хорошо и свежо пахло — снежком, ранним утром. Она вошла, сделала несколько шагов по передней. Все с ней здоровались — и матери, и няни, и отцы. Сердце у нее замерло, потом забилося. Никогда она не думала, что у нее столько знакомых. Она отвечала сейчас каждой, а с ней здоровались еще и еще, доброжелательно и приветливо ей улыбались, называли ее Антониной Никодимовной, что-то ей говорили; одна какая-то женщина с челкой, в мужском, видимо, тулупчике, подняла на руки девочку и сказала хорощим говорком:

— Вот она, меньшая-то моя, Антонина Никодимовна...

Сердце у нее билось так, что ей пришлось прижать к груди руку, она ответила женщине невпопад и почти убежала к себе в кабинетик, заперлась на задвижку и села, не в силах идти дальше, у самой двери на венский стул.

«Что ж это такое? — думала она одной и той же фразой. — Что ж это такое, что ж это такое? Почему, почему, почему?»

Да, она бывала у них у многих дома и толковала подолгу со многими из них, а у этой, с челочкой — ее зовут Лизаветой Ивановной, вспомнила она, — даже пила чай. И теперь...

Тут же ей представился Пал Палыч — весь в снегу, и ее охватила упрямая, решительная злоба. Она встала и начала ходить по кабинету, прижимая к груди руки по старой своей манере.

— Вот вы чего желаете, — шептала она, — так нет же, нет! Не вы мне это дали, не вы и отнимете. И палку вашу я сломаю, и вас самих. Да, да, — шептала она, будто Пал Палыч стоял здесь же, — да, да. До чего вы меня довели? А теперь с палкой ходите? Теперь, когда со мной так все... когда все со мной здороваются, когда оказалось, что я могу, могу... я могу, — повторила она громко, — и не вы, не вы мне помешаете теперь. Никто мне не помешает, да, да, — опять шептала она, — а вас я трижды всех уничтожу, пока вы подымете свою палку. Поняли? — спросила она, как Сидоров. — Понятно вам это, товарищ?

Потом она побежала в ясли к Иерихонову, и тоже с ней там здоровались, как и в очаге, она уже была в белом халате и в косыночке, и ей говорили:

— Здравствуйте, товарищ заведующая.

«Да, я заведующая, — думала она гордо и весело, — это все я сама сделала, каждый камешек здесь я знаю, трогала его своими руками, каждую копейку выторговывала, каждая пеленка добыта мною».

И все ей казались милыми — и матери, и няни, и ясельная сестра-хозяйка, и волосатый, громкоголосый Иерихонов, стоящий у весов и диктующий сестре какие-то свои научные слова.

Но кончилось это тем, что Иерихонов дал ей добрую порцию брому с валерьяной и велел как следует успокоиться.

— Вас точно черти одолели, — говорил он, ласково глядя на нее, — это совсем не нужно...

Весь день она пробыла на ногах. К полудню у нее уже готов был список тех детей, которые были зачислены, но почему-то не пришли сегодня, и она в халате, накинув только пальто, пошла со списком по квартирам, из корпуса в корпус, из этажа на этаж. Она была возбуждена, весела и удивительно проста в обращении, она все улыбалась, и лукавые огоньки были в ее глазах. Она очень много знала всякого в жизни, умела не осуждать и не презирать, умела помочь, обсудить и выяснить. Везде садилась и толковала подолгу, не торопясь, не кончая разговора поспешными выводами, не говоря казенных слов.

И на всем, на каждой семье она чему-нибудь да училась сама. Потом вечером она открывала дневник и кропотливо записывала все интересное, что было за день, а интересного всегда бывало так много, что теперь у нее завелось даже обыкновение ежедневно, когда кончалась всякая работа, заходить к Сидорову и рассказывать ему то, что, по ее мнению, было интересно и ему. И чем дальше, тем длиннее становились эти разговоры, и больше Сидоров расспрашивал, а иногда сам забегал к ней на комбинат, облачался в короткий халатик и ходил по комнатам, опасливо глядя под ноги, как бы на кого-нибудь не наступить.

Как-то в середине января Женя ей сказала, что Альтус звонил по телефону, — сегодня он уезжает опять, и неплохо бы проводить.

— Да? — сказала Антонина. — Ну что же!

Но ей сделалось жарко, и она поскорее ушла на комбинат, чтобы не попадаться Жене на глаза. Через час ей Женя позвонила.

— Так ты поедешь?

— А это обязательно? — спросила Антонина как можно более равнодушным голосом.

— Конечно, не обязательно.

— Мне бы хотелось сегодня вечером поработать с Иерихоновым, — сказала Антонина, — у нас кое-какие дела накопились.

— Ну, как знаешь, — сказала Женя, — мне, в конце концов, все равно.

Антонина молчала.

— Ты слушаешь? — спросила Женя.

— Да.

— Не глупи, Тоська, поедем, проводим. Воздухом подышишь.

— Ах, ну ладно, — сказала Антонина, — ведь ты непременно должна на своем поставить.

— Должна, — засмеялась Женя.

— Тогда зайдите за мной, я буду у себя.

— Уж зайдём.

Вечером в окно ее кабинета кто-то постучал прутком. Она оделась и вышла. На крыльце стояли Закс и Сема. Сидоров сидел боком на седле мотоцикла. Женя бросалась снежками. В

Антонину тоже попал снежок, и холодное насыпалось ей за воротник. Она прыгнула с крыльца, схватила в руки снегу и сунула Жене за воротник.

— Ну, девочки, хватит! — крикнул Сидоров. — Давайте тянуть жребий.

Это было такое правило — тянуть жребий на право езды в коляске мотоцикла. Тянули особо Женя и Антонина — на коляску, и особо Закс и Сема — кому ехать на багажнике.

— Я вообще от багажника отказываюсь, — сказал Сема, — меня тошнит, когда я на багажнике еду. И Закса тошнит, только он скрывает. Мы все едем на трамвае.

Отошел и продекламировал:

Я люблю вас, моя сероглазочка,

Золотая ошибка моя,

Вы вечерняя жуткая сказочка,

Вы цветок из картины Гойя.

Обломанную спичку вытянула Антонина.

— А вы на трамвайчике, — сказала она, садясь, — на трамвайчике, как зайчики. Да?

Альтуса еще не было, когда они приехали на вокзал. Было условлено встретиться у книжного киоска.

— Ваня, откуда у тебя мотоциклет? — спросила Антонина.

Он искоса на нее взглянул.

— Какие-то слухи ходят, — сказала Антонина, — это правда или нет?

— Что «правда»?

— Да все.

— Все вранье, — сказал он. — Брешут почему зря.

— А что тогда правда?

— Привязалась. Пойдем, я тебе конфетку куплю, хочешь?

— Хочу. Какую?

— Соевую. Новое изобретение. Почти совсем, совершенно вроде шоколад. И недорого, нам по средствам. Можешь угощаться.

Они сели в буфете. Сидоров снял с головы шлем, волосы у него торчали смешными хохолками...

— Оказывается, некто Щупак тоже не без вас на массиве очутился, — сказала Антонина и хихикнула, вспомнив историю со стаканом воды и с любовью без черемухи.

— Чего ты? — спросил Сидоров.

Он всегда завидовал, когда смеялись без него.

— А все-таки откуда этот мотоциклет?

— Подарили! — ответил Сидоров. — Премировали. Вот поработайте с наше, тогда и вам вдруг подарят.

И он сделал вид, что подкрутил усы.

Альтус уже ждал их у киоска. Он был, как тогда, в шинели и в фуражке, а вместо вещей у него был мешок, какой носят альпинисты.

— Опять едете? — сказала Антонина, чтобы только не молчать.

— Так точно.

Сидоров с ним заговорил. Она купила газету, надо было чем-нибудь заняться. Порою она поглядывала на Альтуса. Он был гладко выбрит, загар немного сошел с его лица. Он курил трубку и посмеивался, слушая Сидорова. Потом обернулся к ней, а Сидоров ушел посмотреть мотоцикл.

— Вас можно звать Туся, — сказал он серьезно и неожиданно, — вероятно, когда вы были маленькой, вас так называли?

— Нет, — сказала она, растерявшись и не понимая, серьезно он или нет, — меня никогда так не звали.

— Да?

— Да.

Он смотрел на нее внимательно, не отрываясь.

— Ну, как вам живется? — спросил он. — Что у вас нового?

— Да так, ничего... Вот комбинат наш...

— Я слышал.

— От кого?

— От вас самих. Вы мне даже хотели его показать.

— Я была, кажется, пьяна...

— И от Родиона Мефодьевича. От Жени тоже.

Опять пришлось замолчать. Сидорова все не было. Антонина посмотрела вдоль перрона — нет, не видно.

— Они сейчас все приедут, — сказала Антонина, как бы извиняясь, — мы ведь ехали на мотоцикле, а они трамваем. Трамвай, наверное, плетется.

— Да, бывает, что и плетется, — согласился Альтус.

— Вы теперь не скоро приедете?

— Не скоро.

Он улыбнулся своими твердыми губами.

— Почему вы улыбаетесь?

— Что-то происходит! — сказал он. — Вам не кажется? Я почувствовал, что мне теперь не безразлично, когда я приеду опять сюда.

Антонина едва заметно порозовела. Он смотрел на нее не отрываясь, глаза у него были серьезные, тревожные.

— Помните, как вы хотели мне комбинат ваш показать, или не помните? — спросил он.

Она кивнула. Ей было страшно того неведомого, что происходило с ней, было страшно унизиться, наболтать лишнего, оказаться смешной и жалкой. Губы ее дрогнули, она с силой стиснула руки в карманах и с трудом произнесла:

— Я помню. Я, правда, все помню. И... что у меня заиндевели волосы — тоже помню...

Альтус внезапно и густо покраснел, словно мальчишка. Густой румянец залил его загорелое лицо.

«Господи, он же мальчик! Взрослый мальчик!» — подумала Антонина.

— Вот и наши! — задохнувшись, сказала она. Выражение досады промелькнуло в ее глазах.

Чуть позже приехал Степанов, потом все пошли на перрон и, как водится, долго и бессмысленно стояли у вагона. За две-три минуты примчался длинноногий летчик Устименко, и все они вместе отобрали Альтуса у Антонины. Но он все время поглядывал на нее и, когда пришло время прощаться, протиснулся именно к ней и сказал негромко, ей одной:

— До свидания, Туся. Я постараюсь поскорее приехать. В конце концов можно себе такое позволить.

Его лицо с мальчишески растерянным и недоумевающим взглядом было так близко, что она ощущала его дыхание. Но тотчас же поезд тронулся, и Альтус на ходу вскочил в вагон. Она не смотрела, отвернулась, слышала только все ускоряющийся стук колес и настойчиво-веселое вокзальное оживление.

— Ну, Тоська, — сказала Женя, — что ты? Муху проглотила?

Они вышли из вокзала все вместе.

Садясь в мотоцикл, Антонина сказала:

— Ваня, а вдруг бы ты меня, например, немножко покатал?

— А бензин чей? — спросил он.

— Твой.

— Так. И катать тебя надо быстро?

— Быстро, — ответила она, — очень быстро.

Глаза ее блестели.

— Хорошо, Ваня?

— Хорошо, Туся.

Он сел в седло и поставил ноги на педали.

— Я психолог, — сказал он, — не правда ли, Туся?

— Да, психолог.

— Но мне всегда были противны женщины, не умеющие скрывать свои чувства...

Он нажал стартер, дал газ и подергал опережение. «Харлей» обогнул площадь и понесся по Лиговке. Антонина закутала колени и подтянула к себе козырек, чтобы не так стегал ветер. Сидоров сидел на седле спокойно, прямо, широко раскинув руки на руле. Лицо его в очках-консервах и в шлеме было непохожим, незнакомым. Минут через десять они миновали «Путиловец» и вылетели в темную, глухую ночь. Все было смутно кругом, ветрено, снежно.

— Ну, берегись, Туся! — крикнул Сидоров, повернувшись к ней, и сразу переменял позу, — почти лег на руль. «Харлей» круто взвыл, ветер ударил с такой силой, что у Антонины перехватило дыхание, шоссе точно взвилось. В Урицке, в Володарской, Стрельне клаксон хрипел непрерывно. Она закрыла, глаза, зажала лицо ладонями.

— Сто! — крикнул Сидоров, дальше она не расслышала.

— Десять! — крикнул он опять.

Мотоцикл все время кренило, он шел ровно, порою что-то пело в нем...

Они вернулись домой в час ночи.

— Это обошлось мне в энное количество литров бензина, — сказал Сидоров, — эти капризы, ужасающие притом, нашей Т у с и.

— Ты знаешь, Тося, — вдруг вспомнила Женя, — по-моему, я тогда не поздравила тебя с Новым годом. Вы убежали гулять, и я не поспела. С Новым годом, Антонина Никодимовна, с новым счастьем!

— А что? Неплохо выразилась старуха. Примите и от меня, дорогая Туся!

Теперь Сидоров называл ее только Тусей, и Антонина не сердилась. У него выходило смешно, но чем-то похоже на Альтуса.

11. Он болен

Из Москвы она получила от Альтуса короткое письмо. Начиналось оно так: «Давеча, на вокзале, хотелось мне многое сказать, но как-то не вышло. Впрочем, писать обо всем этом я затрудняюсь, страшновато, что ли. Давайте пока попереписываемся немного...»

Она ответила.

И если не считать писем, которые она получала и писала сама, то все было по-прежнему. Она вставала рано, чтобы к восьми быть уже на комбинате, ложилась не раньше двух — надо было много читать и специальных книг, и разного другого; с каждым днем интереснее и как

бы словно шире становилось жить. У нее уже было много знакомых, и к весне вдруг случилось так, что все вечера у нее сделались занятыми — ее звали наперебой, и она не могла и не хотела не ходить туда, куда звали, — эти ее знакомства были ее гордостью, ее очень большой радостью, очень большим смыслом. Ее звали на семейные праздники, с ней советовались, искали ее дружбы.

Вначале ей было приятно, что, когда она приходила, ее встречали так, как когда-то она встретила Женю, но потом она забыла об этом и уже не замечала той маленькой, трогательной суеты, которая организовывалась вокруг нее, едва она входила.

Уже Сидоров поручал ей проводить собрания домашних хозяек, и она отлично их проводила, хотя и робела вначале. Уже были у нее дела, и не только связанные с детьми: была и подписка на заем — но целым шести корпусам; она входила в культурно-бытовую комиссию и немало делала в клубе; ее слушали при распределении очередности ремонтов квартир — она очень хорошо знала, кому как живется на массиве.

Теперь она не конфузилась больше, приезжая в здравотдел, или в наробраз, или в райком комсомола. С ней были приветливы, многие называли ее запросто — Тося.

И основное дело ее шло хорошо. При яслях она организовала маленькую консультацию — во многом тут помогла ей Женя, — консультация была филиалом районной и сразу очень привилась. Потом возникла идея создания на массиве своего патронажа, то есть своего учета рождаемости и консультации на дому каждой матери. И патронажных сестер она подбирала вместе с Женей и с Иерихоновым, долго обсуждая каждую кандидатуру, советовалась, спорила.

Так наступила весна.

В июне октябрята и пионеры массива были отправлены в лагеря, и она сама с Федей через день, через два ездила туда, сидела вечерами у костров, работала, купалась в речке, загорала...

Федя вытянулся и говорил только об автомобилях.

В августе Сидоров велел ей ехать в отпуск.

— Куда же я поеду? — растерянно спросила она.

— Странно. Куда люди ездят? В дом отдыха хочешь?

— Хочу, — неуверенно сказала она.

— Доставать путевку?

— Да.

— В Новый Петергоф хочешь?

— Все равно.

— «Все равно», — передразнил Сидоров, — что значит «все равно»?

Она поехала в Новый Петергоф и прожила там десять дней, как живут во всех домах отдыха. Ела четыре раза в день, спала во время «мертвого» часа, играла в баскетбол. Жужжали комары, было весело, в гостиной всегда брэнчали на рояле. Но на одиннадцатый день она «скисла», как сказал про нее инструктор физкультуры, и целый час просидела у телефона — узнавала у Жени, нет ли ей писем на ленинградский адрес.

Писем не было.

Она не поверила Жене и сама съездила в Ленинград. Когда она подымалась по лестнице, перед ней шел почтальон. Она его окликнула. Он дал ей два письма сразу. Она села здесь же на ступеньку и прочитала письма. Дома поцеловала Федю в обе щеки и в нос, потом выпила кружку хлебного кваса и позвонила Жене в клинику.

— Знаешь, — сказала она, — я получила.

— Ну что? — деловым тоном спросила Женя.

— Приедет.

— Врешь! — крикнула Женя.

— Честное слово.

— Когда?

— В сентябре, должно быть.

— Ну, поздравляю! — сказала Женя. — Слышишь, поздравляю. А ты когда оттуда приедешь?

— Откуда «оттуда»?

— Да из Петергофа.

— Я уже приехала.

— Ну, это свинство, — сказала Женя. — Не отдохнуть! Как это можно! Просто свинство. Значит, ты из дому?

— Да. Что Оля?

— Стоит возле меня.

— Пусть она скажет что-нибудь по телефону.

Оля произнесла пыхтя:

— Мама.

В это время позвонили — пришел Родион Мефодьевич, привез посылку от Альтуса. Антонина развернула — это была какая-то ни с чем не сообразная вещь — не то шаль, не то одеяло, не то на стенку вешать.

— А что? Очень красиво! — сказал Родион Мефодьевич. — Здорово со вкусом подобрано, верно?

— Верно! — согласилась Антонина. — Поразительная штука. Если бы к ней была еще инструкция, что с ней делать. Вы сами Альтуса видели?

— Немного видел, — сказал Степанов.

— Что он?

— Худой. Живет трудно...

И задумался, глядя в окно.

— Что же трудно? — беспокойно спросила Антонина.

— Все трудно, — обернувшись к ней, произнес Степанов, — Охранять социалистическую законность — дело нелегкое. А домой придет — один! — с укором добавил Степанов. — Холостой человек, неженатый...

Погодя невесело усмехнулся:

— Вроде меня — в этом смысле.

Посидел еще, покурил, потом жестко произнес:

— Вы извините меня, но я так считаю, что если люди любят друг друга и, прошу прощения, с ума сходят, то нечего им различные антимонии разводить, а надо друг к другу очертя голову ехать. Вот так. Будьте здоровы...

...В сентябре Первый медицинский институт объявил дополнительный прием. Антонина подала заявление и была допущена к испытаниям. Сидоров сказал, что это очень трудно, почти невозможно — и работать, и учиться, — но все-таки отчего не попытаться, раз «так уж загорелось».

— Но имей в виду, товарищ, — сказал он в заключение, — будь любезна учесть, что до весны я тебя с работы не сниму, хоть удавись. Человека на твою должность у меня сейчас нет — сама должна понять.

Испытания она выдержала.

Это было действительно невероятно трудно — и учиться, и работать. У нее была хорошая помощница — беленькая веселая немка Хильда, но Антонина не могла на нее совсем положиться. А главное — было жалко упускать, передоверить свое привычное любимое дело, чувствовать себя в нем немного посторонней, чего-то уже не понимать — это было очень трудно и обидно.

Мучило и то, что Федя все больше отвыкал от нее.

Но она все-таки училась.

Ездить нужно было далеко, и вставала она теперь еще раньше, чем прежде, сонная — так хотелось еще поспать. Прямо из института возвращалась на комбинат, здесь же обедала, здесь же в кабинетике наскоро что-нибудь болтала с Федей, тормошила его, целовала в нос, спрашивала:

— Ты меня любишь, серенький? Или совсем забыл? Говори сейчас же!

— Что же тебе говорить?

— Любишь или нет?

— Ух ты, моя мама, — говорил Федя, — ух ты...

— А любишь?

— Не знаю.

Она отворачивалась, чтобы он не видел ее лица, и быстро говорила:

— Ну, иди играй, милый! Иди, голубчик! Мы еще с тобой поболтаем.

— Когда?

— Сегодня.

— А когда сегодня?

— Потом. Вот я освобожусь немножко — и поболтаем. Иди, серенький, иди.

— Потом ты заниматься будешь, — кисло говорил Федя, — я же знаю. И опять пошлешь меня к Олечке вечером. А на что мне Олечка, когда она такая корова-зарёва?

— Не пошлю. Будем сегодня с тобой.

— Да ну, — говорил Федя, — знаю я...

И нижняя губка у него начинала так дрожать, что Антонине казалось, будто у нее сейчас же разорвется сердце.

До вечера к ней приходили то матери, то Иерихонов, то Хильда, она сама бегала по массиву, по мастерским, по квартирам, звонила по телефону, толковала с Вишняковым, и, когда наступал поздний вечер, она бывала уже совсем уставшей, а еще нужно было сидеть и заниматься — очень не давалась латынь, трудно было с анатомией...

И тут во многом ей помогала Женя.

Перед началом весенних зачетов они вдвоем с Женей несколько вечеров до поздней ночи просидели в секционном зале института над трупом — препарировали фасции. Женя говорила, что она с удовольствием делает это, что ей полезно самой кое-что вспомнить, так как многое она позабыла, но Антонина знала, что Женя ничего не позабыла, что она очень устает в своей клинике и что препарирует она только для нее, для Антонины. И теперь это ее совсем не трогало, хотя она и очень благодарна была Жене. Ей казалось теперь, что так должно быть, что иначе нельзя: ей казалось, что и она, и Женя, и все делают общее дело, и не все ли равно, в конце концов, кто кому помогает. Понадобится — она кому-нибудь поможет.

Весна наступила теплая, душная, с туманами. Уже цвела черемуха в институтском парке и дважды были грозы.

Как-то Антонина сказала Жене:

— Если нынче я его не увижу, не знаю, что сделаю...

Блеснула глазами, уронила себе на колени стакан с горячим чаем и расплакалась.

— А если ты сама? — спросила Женя.

— Что сама?

— Сама возьмешь и поедешь?

— Но он же не зовет?

И дрожащими руками она вытащила из сумочки две телеграммы. В одной было написано, что Альтус выезжает завтра, в другой — что все совершенно благополучно, только приезд

откладывается на неопределенное время.

Женя на мгновение закусил нижнюю губу, потом приказала:

— Поезжай! Об мою голову! Ты выедешь, а я дам ему телеграмму, чтобы встречал. Вам больше нельзя мучиться врозь.

Билет Антонина получила жесткий — до Беслана, через Харьков — Ростов — Минеральные Воды. Из Орджоникидзе Женя советовала ехать по Военно-Грузинском дороге автобусом до Тифлиса, а там одна ночь до Батуми. Таким образом экономилось трое суток пути.

Все это путешествие стоило довольно дорого, но ее премировали пятьюстами рублями, и денег должно было хватить. Она уезжала седьмого в десять часов. Ее провожали Женя, Хильда, с которой она подружилась в последнее время, и несколько товарок по институту. Возле вокзала Хильда купила ей тюльпанов — небольшой букетик. Антонина очень волновалась, она ни разу в своей жизни не ездила так далеко, да и как-то странно все было — дорога, потом Альтус; она уже плохо представляла его себе, образ его растаял, мало ли что могло случиться, вдруг все будет совсем иначе, чем она думала!

Волновалась и Женя.

Она все ей что-то говорила о Грузии, о юге, о том, как надо загорать, о том, чтобы Антонина не беспокоилась за Федю; спрашивала, сколько у нее осталось денег в конце концов, на дорогу хватит ли?

Антонина отвечала на все вопросы очень рассеянно, глядела по сторонам, заглядывала в окно вагона — цел ли чемодан.

— Да ты смотри, — говорила Женя тихо и быстро уже после первого звонка, — ты смотри, с ума не сходи. Может быть, он поболел немножко, всякое бывает, так ты...

— Ты знаешь, да? Болен он? Ты ведь точно знаешь...

— Ах, да ничего я не знаю, — испугалась Женя, — я на всякий случай. Ну, полезай в вагон, скажи, что все мы шлем ему приветы, что мы его очень любим...

Наконец поезд двинулся. В первые минуты Антонина еще волновалась, но потом твердо решила: все будет хорошо! И тотчас же ей сделалось как-то просторно и свободно, она опустила окно и, повязав голову косыночкой, чтобы не пылилась, высунулась несколько раз, прищурилась и запела. День уже кончался, пахло болотцем и сеном, и Ленинград уже совсем скрылся из виду, потом в вагоне зажгли электричество, и группа краснофлотцев-балтийцев начала петь хором. Пели хорошую, немного печальную, катящуюся куда-то песню, сидели удобно, кружком, и лица у всех были тоже хорошие, грустные, как всегда, когда поют хором. К ночи стало совсем уютно, как бывает в вагонах дальнего следования, — на столиках появились салфетки, в Вишере набрали кипятку, а потом стали понемногу засыпать, и весь вагон засопел, захрапел, заохал во сне.

Ей не спалось, она вышла в тамбур, открыла дверь и, постелив на пол газету, села, а ноги поставила на ступеньку. Вагон поскрипывал, иногда звенели буфера, мимо летели большие красные искры и тухли в воздухе, порой паровоз коротко и грозно выл.

Потом в тамбур вышел один из краснофлотцев — покурить — и долго стоял за ее спиной. Она несколько раз приветливо на него оглянулась и первая с ним заговорила — ей казалось, что ему грустно, и разговор скоро завязался, легкий, честный, откровенный, как обычно между попутчиками. Он ехал в Харьков в отпуск к жене и все расписывал ее жадно и нежно: какая она веселая, простая, умная, как он по ней соскучился и как вот теперь он целый месяц

только и будет с ней. Он сидел рядом с Антониной, тоже поставив ноги на ступеньку, и ей было видно, как вздрагивают его губы и как блестят глаза.

В Москве поезд стоял шесть часов, и она все это время бродила по городу с краснофлотцами и думала: «Вот я в Москве, вот теперь я видела Москву, вот какая Москва».

И написала семь открыток — Жене, Хильде, Вишнякову, Сивчуку, Феде (очень крупными буквами), Сидорову и Заксу.

Ночью в вагоне опять пели, появился еще баян, все окна были открыты, по небу полыхали молнии. Потом гроза осталась сзади, поезд грохотал по высокой насыпи, а внизу были черные деревья или гладкая, блестящая вода, и пахло незнакомыми Антонине сухими травами, и все время что-то вскрикивало — не то зверь, не то птица. Все уже были грязные и пыльные, песок скрипел на зубах, и все к этому привыкли, и пыль и грязь были в порядке вещей.

Теперь она была уже очень далеко от Ленинграда. Здесь все было совсем иначе, совсем не похоже, и порою сердце ее замирало: как там Федя, что с ним, ужасно хотелось увидеть его, подуть ему в мордочку, пощекотать его короткую розовую шею, и было немного страшно думать, что это никак нельзя, что это невозможно, что от Феде до нее больше тысячи километров.

А поезд все шел, все гремел на мостах, мчался лесами, лугами, набирал воду, и опять без конца бились под полом колеса.

Она легла на свою верхнюю полку и задремала, и сквозь дремоту слышала, как поезд останавливается (все звуки в вагоне делались как бы острее), как стучат по колесам звонкие молотки и как шумит на маленьком провинциальном перроне густая, праздничная (к поезду!), вся в светлом молодежь. Она высовывалась в окно и смотрела на перрон, на озабоченных, всегда чего-то ищущих пассажиров, на черное, в звездах, южное небо, на станционные акации. Было приятно чувствовать, как поезд начинает двигаться, видеть мелькание зеленых огоньков стрелок и думать о том, что поздно, что и эта станция осталась сзади и исчезла, быть может, навсегда.

Была приятная, особая, дорожная, щемящая немного грусть...

12. Моя земля!

Утром, вытряхивая в окне запылившееся полотенце, Антонина вышвырнула с откоса зубную пасту. На маленькой станции, где поезду было отведено по расписанию стоянки двадцать минут, она отправилась к аптечному киоску, заплатила за зубной порошок и степенно пошла обратно к вагону, как вдруг на солнцепеке, у состава «Минеральные Воды — Москва», увидела человека, страшно похожего на Володю. Похожий на Володю мужчина ел огромную, сочную грушу и, чуть-чуть вытаращившись, смотрел на Антонину.

— Володя? — негромко спросила она.

Мужчина заморгал, уронил обьедок груши, широко раскинул бронзовые от загара мускулистые руки и воскликнул:

— Антонина? Я гляжу — и похожа, и не похожа!

— И я гляжу — и похож, и не похож.

Неожиданно друг для друга они крепко обнялись и вкусно, громко поцеловались.

— Губы у вас липкие! — лукаво и счастливо блестя глазами, сказала Антонина.

— Это от груши, — смущенно пояснил он.

И разговор тотчас же начался, веселый, вперебой, сумбурный и в то же время полный нужного им обоим, необходимого, очень важного смысла.

— С курорта еду, — говорил он, — видите, Тоня, как загорел. Вся рожа облупилась, это я уже второй раз наново обрастаю...

— А я к мужу.

— К какому такому мужу?

— Ну, к жениху.

— Не могу ничего понять. Какая-то вы другая, Тоня.

— И вы другой.

— Наоборот, я тот же. Но вы, голову ставлю, — вы работаете.

— Ага! — еще ярче блестя глазами, ответила она. — И давно работаю.

— Значит... вот видите... — растерянно и радостно произнес Володя. — Я же вам говорил, предупреждал...

Ударил неподалеку вокзальный колокол, пассажиры поезда «Минеральные Воды — Москва» побежали вдоль состава. И вдоль Антонинино поезда тоже побежали пассажиры — на всякий случай.

— Хотите, похвастаю? — спросил Володя и близко наклонился к Антонине. — Хотите?

— Ну, хочу! Только быстрее, а то наши поезда уйдут и мы опять много лет не увидимся...

— Так слушайте! — громко и торжественно произнес Володя, но тотчас же сконфузился и заговорил почти шепотом: — Знаете, кто меня на курорт послал? Хотите знать? Серго Орджоникидзе. Сам, лично.

— За какие такие подвиги? — спросила Антонина.

— За какие? — воскликнул Володя. — А просто мы с моими ребятами очень устали на одном деле, «подорвались», как наш Рыжков выразился, а Серго в беседе с нами это почувствовал.

— Что же, вы — инженер сейчас, конструктор знаменитый или кто? — поддразнивая Володю и закрываясь ладонью от пекучего солнца, спросила Антонина. — Кто вы, Володя? Начальник? Заведующий? Помнач? Кто?

Из окна вагона высунулась девушка, загорелая до черноты, с вишневыми губами, в сарафанчике, велела строго:

— Владимир, иди же чай пить, простынет все!

— Жена? — спросила Антонина.

— Товарищ жена! — сказал Володя. — А кто я — это тоже не безынтересно: я — рабочий, и

буду им. Вот об этом Серго со мной лично и разговаривал. Я — грамотный рабочий, не робот, как вы, может быть, себе меня представляете, а грамотный, понимающий, что я делаю для чего, — рабочий. Мне предлагали поступить в институт, но я не пошел. Не пошел, Тоня, и все тут. Учусь вечерами и буду учиться вечерами, а днем буду делать дело. Может быть, это смешно, но только мне именно это уже некому сказать, не с кем этим всем поделиться, а вы поймете, потому что вы еще из того, другого мира...

— Вы думаете?

Он посмотрел на нее молча, поморгал и заговорил опять:

— Ну, из этого, какая разница. Но вы знали меня раньше, а они — не знают, и им, пожалуй, смешны даже такие разговоры. В общем, и отец мой, и дед, и, вероятно, прадед не создали своими руками ничего, что представляет человеческую ценность, — помните, у Чехова Лаевский говорит насчет деревьев, что он не посадил ни одного дерева. Я о таких ценностях говорю. Так вот, надо же, черт дери, чтобы люди сажали деревья...

Антонина взглянула на Володю снизу вверх, вздохнула и улыбнулась: «Да, правда, верно, нужно, чтобы люди сажали деревья».

— Вы понимаете! — с жаром воскликнул Володя. — Я вижу, что понимаете! Это неважно, что я сейчас делаю и что делать буду, важно то, что нет теперь, пожалуй, человека, который бы думал про меня, что я из расчета, с дальним прицелом, хочу «пролезть» или что-нибудь такое. А когда один так высказался, то ему мои товарищи — рабочий класс — дружно и совершенно, надо заметить, спокойно разъяснили, что к чему. Ну, да все это пустяки, я очень вам рад.

— И я рада! — ответила Антонина.

— Значит, вы работаете, — немножко чуть рассеянно сказал Володя. — И довольны?

— Довольна! Очень даже!

— Счастливы?

— Бывает, что счастлива.

— И все-таки... выходите замуж?

— А вы не женаты?

— Тут, знаете, все не так просто, — багрово и внезапно краснея, ответил Володя. — Жизнь не так проста, как кажется. Впрочем, вам я могу все рассказать, только времени вот у нас мало.

Он взглянул на часы.

— А не надо рассказывать! — сказала Антонина. — Почему это все непременно рассказывать? Самое главное мы друг про друга знаем? Знаем! Мы друг друга видим, какие мы стали? Видим! А какие были — помним? Помним. Вот и все!

Ударил второй звонок.

— И правда — все! — сказал Володя. — Но мы ведь еще в жизни увидимся?

— Не знаю! — все так же чему-то улыбаясь, ответила Антонина. — Наверное, увидимся. Хотя, впрочем, Володя, мы с вами уже не такие молоденькие, а?

Он подошел к своему тамбуру и взялся за поручень. Поезд медленно двигался.

— Ничего я про вас не успел узнать! — крикнул Володя, вспрыгивая на подножку. — Совершенно ничего!

Антонина еще посмотрела на Володю: он стоял, крупный, в белых широких штанах, в майке, бронзовыми мускулистыми руками вцепившись в поручни. Над ним проводница держала желтый флажок. Состав «Минеральные Воды — Москва» плавно и покойно набирал скорость. «Значит, он теперь в Москве живет? — подумала Антонина и не удивилась. — Да, в Москве. И Серго Орджоникидзе посылал его на курорт. С курорта он возвращается в Москву...»

Наконец и ее поезд тронулся.

Она вычистила зубы новым порошком, умылась, попила чаю с сухарем и брынзой. Ленинград теперь остался совсем далеко, и чем дальше поезд уходил от Ленинграда, тем меньше она о нем думала и тем больше думала о Батуме и о том, что ждет ее там.

Ей все представлялся Альтус сейчас такой, каким она видела его последний раз на вокзале, и она теперь непрерывно думала о нем, не расставалась с ним ни на секунду — смотрела ли в окно, разговаривала ли с попутчиками, дремала ли на своей полке — все равно. Порой ей даже казалось, что она едет не к нему, а с ним, что он здесь же рядом, что стоит только протянуть руку — и можно будет дотронуться до его гимнастерки, до обшлага, до сухого, жесткого, горячего запястья, перетянутого ремешком часов.

И все острее охватывало ее ощущение свободы, широты, безграничности, все благодарнее становилось ее сердце, все дороже делались зеленые огни семафоров и стрелок, горьковатый запах паровозного дыма, покойная скорость поезда — все то, что нынче называла она шепотом: «Моя земля!»

«Моя земля!» — говорила она неслышно, и это теперь была настоящая, чистая, сокровенная правда...

Сделалось совсем жарко.

Все уже задыхались в вагоне, и природа была новая, невиданная, запахи степей, густые и крепкие, торжествующе врывались в окна, а поезд все грохотал ровно и мощно, и казалось, никогда не будет конца пути — день за днем будет мчаться раскаленный, пыльный состав по степям и солончакам, то скрежеща на закруглениях, то по прямым, ослепительно сверкающим рельсам, то ночью, то днем, то в сумерки, то на рассвете. И все это огромное пространство, все эти станции, и дома, и поселки, и деревни, и города — это все теперь была ее земля, та земля, которая нуждалась в ней, в ее труде, в ее ловких, умелых руках, в ее беспокойстве о деле, о работе, о своем, таком далеком теперь комбинате.

Антонина что-то ела, уже было совершенно все равно — с пылью или без пыли, как-то спала, и тоже было все равно — как, на каждой большой станции отправляла открытки Феде и на комбинат, бесконечно глядела в окно.

И после двух пересадок из тамбура маленького узкоколейного смешного вагончика первый раз в своей жизни увидела синие, похожие на тяжелые тучи, как бы веющие прохладой, далекие, тревожащие душу горы.

Здесь, между Бесланом и Орджоникидзе, продавали очень дешево прекрасные цветы. Она купила большой букет и почувствовала себя владелицей несметного, сказочного богатства.

В Орджоникидзе в Доме туриста ей дали чистую узенькую койку, крайнюю, под окном. И тут она вдруг вспомнила про Володю, про его рассказ о том, как Серго Орджоникидзе послал его

на курорт. Как все было близко — и название города, в котором она нынче, и человек, который понял все про Володю, и то, что она тоже сейчас здесь — перебирает цветы, пышные, яркие, пахучие. «Моя земля! — повторила шепотом Антонина любившиеся слова. — Моя земля!»

Здесь было много девушек — спортсменок, альпинисток — со всех концов Советского Союза, и все пели песни и смотрели в окно, из которого было видно, как падают с черного неба потоки звезд.

А попозже, ночью, было слышно, как в городском саду духовой оркестр играл вальс.

— Старинный-старинный! — сказала черненькая скуластененькая альпинистка. — Наверное, еще древнейших времен...

Антонина вымылась с ног до головы под тугим, хлещущим душем, поужинала и заснула каменным сном, а на заре уже сидела рядом с шофером в большом открытом автобусе и, еще сонная, но совершенно бодрая и отдохнувшая, ждала: вот сейчас поедem, начнутся чудеса.

Целый день — от зари до зари — автобус шел по Военно-Грузинской дороге. Сначала не было ничего страшного и ничего красивого, но потом за Ларсом все сделалось иначе.

Антонина сидела с широко открытыми глазами и не верила, что такое может быть на самом деле, что она видит это не в кинематографе, не во сне... Горы ползли вверх стенами, внизу, уже где-то в пропасти, грохотал Терек, и все в автобусе говорили:

Терек воеет, дик и злобен...

Потом сделалось холодно, потом все пили нарзан — продавали мальчишки — и Антонина никак не могла поверить, что этот нарзан тут, возле дороги, просто выливается из земли.

— Ну да, — говорил шофер, — даю вам честное слово.

На Крестовом перевале все туристки повизгивали и просили шофера, чтобы он ехал поосторожнее, но он нарочно форсил и рассказывал Антонине, сколько тут ежегодно бывает несчастных случаев и как он сам третьего дня «чуть не загремел смертельным образом».

— Такое наше шоферское дело, — говорил он, косясь на Антонину, — сегодня ты, а завтра я...

Антонина ничему не верила, ей совсем не было страшно, она все время посмеивалась и пела — так чудесно и широко было в ее душе.

После Крестового перевала машина начала спускаться вниз, в тепло, потом в жару — помчалась по узкой, душной дороге. Уже весь автобус пел «По морям, по волнам», все перезнакомились, и после Душета, когда начало смеркаться, все хором декламировали: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

В Тифлисе было сорок градусов жары. Она опять вымылась под душем, опять переделалась и побежала разыскивать одного из товарищей Альтуса, который должен был ей помочь попасть на поезд «Тифлис — Батум».

Уже была ночь, и вся улица Руставели была полна народу, все в белом, все пили у киосков

газированную воду, очень пахло духами — так душатся только на юге; было страшно жарко, и везде в шашлычных и в ресторанчиках играла музыка. Антонина видела, как маленький вагончик взбирается на фуникулер, он весь походил на одну большую электрическую лампочку или на большого светящегося жука, и этот светящийся жук куда-то полз по узенькой, тоже светящейся дорожке — она не знала, что это, ее мучило любопытство, и она спросила у первого же встречного.

— Что? — спросил он, не расслышав.

Она повторила вопрос.

Он засмеялся.

— Ты не знаешь?

— Не знаю.

Он опять засмеялся.

— Это наш фуникулер, — сказал он, — понимаешь? Когда мне очень жарко, я в вагончик сажусь и еду наверх. И там мне не жарко.

— Спасибо, — сказала Антонина улыбаясь.

Но незнакомец пошел с нею рядом и долго рассказывал про Тифлис.

— Ой, какой у нас город, — говорил он широким и радушным голосом, — сейчас темно, завтра посмотришь.

— У нас тоже хороший город, — сказала Антонина.

— А ваш какой?

— Ленинград.

— Очень хороший, — согласился незнакомец, — я там был...

В десятом часу она разыскала наконец нужного ей человека.

Он принял ее в своем служебном кабинете. Это был высокий, седой, удивительной красоты грузин.

— Садитесь, — сказал он ей и несколько секунд молча, большими веселыми глазами смотрел на нее. Ей сделалось даже неловко.

— Это я не давал ему отпуска, — сказал он, — понимаете? Я ему говорил: Алексей, дорогой, если она тебя любит — она сама приедет, а ты немного поработай. Пожалуйста, поработай!

Он помолчал.

— Кушать хотите?

— Нет, спасибо.

— А что вы хотите?

— Я хочу в Батум поскорее, — сказала она и, увидев, что он улыбнулся, густо покраснела.

— Это ничего, — сказал он, — послезавтра утром будете в Батуме.

И, позвонив, что-то сказал дежурному по-грузински.

— Вот жена Алексея, — говорил он нескольком вошедшим, — познакомьтесь...

— Я еще... — начала было Антонина.

— Это все равно, — говорил он, — все равно.

Ей пожимали руки, все это были загорелые, статные, красивые люди в белом, и все они, видимо, были друзья Альтуса, все они называли его Алексеем и говорили о нём с уважением, один из них даже прямо сказал:

— Мы очень его любим. Он очень хороший работник и товарищ прекрасный, мы его отсюда не отпустим.

— Отп

у стите, — сказала Антонина.

Она ночевала у Габидзе — так звали того седого и красивого, которого она нашла первым. У него была большая квартира и веселая, толстая жена, было много детей, и маленьких и больших, и родственников. Ночью Антонину поили кисленьким, вкусным вином, кормили сыром и какими-то сладостями, заставили петь, и жена Габидзе ей аккомпанировала на пианино. Антонина уже ничего решительно не понимала от усталости, слипались глаза, и мерещилась дорога — скалы, повороты, ветер, но все были так радушны и так за ней ухаживали, столько приходило все время разных друзей Альтуса, чтобы с ней познакомиться, что она, когда ее спрашивали, не хочет ли она спать, говорила, что не хочет, и пила опять вино за здоровье хозяев, Альтуса, свое, своего сына, и опять ела, и опять рассказывала про свой комбинат, про то, как она учится, режет трупы, про латынь, про гистологию...

Жена Габидзе тоже училась, но в индустриальном вузе, и вдруг заспорила, что инженером быть интереснее, чем врачом, а Габидзе крикнул, что самое лучшее — быть тем, кем хочешь, сел за пианино и сыграл туш в честь Антонины.

На другой день вечером она уехала — ее посадили в мягкий вагон и не взяли у нее денег за билет.

— Наш товарищ Алексей, — сказал Габидзе на прощанье, — получит свою жену из мягкого вагона, а не из жесткого. И деньги тут ни при чем!

Утром она увидела Черное море. Прибой медленно и важно ударял в самую насыпь, и от солнца было больно смотреть. Альтуса она увидела сразу.

Он стоял посередине платформы, в белой гимнастерке, в белых галифе и в светлых брезентовых сапогах. Он загорел до черноты, волосы его совсем выцвели.

— Леша! — крикнула она.

Он взял ее чемодан, обнял ее одной рукой и поцеловал жесткими губами в приоткрытый горячий рот.

— Ну? — спросил он.

— Ну что? — ответила она.

Их толкали со всех сторон, жарко палило солнце, пахло поездом, грохотали багажные тележки.

Они шли медленно, оба чем-то смущенные, не зная, о чем говорить. У вокзала их ждала тележка. Через несколько минут они уже поднимались по лестнице в гостинице «Аджаристан».

Альту с открыл номер.

— Вот, — сказал он, — располагайтесь! Я сейчас чай организую...

Потом сел, снял пояс и португую, расстегнул воротник и сказал:

— Я думал, что вы не приедете. Что это все так... разговорчики...

— А я думала, что вы не приедете, — сказала она. — И вы ведь действительно не приехали.

Он молчал, серьезно глядя на нее.

— Я тогда уже совсем собрался, — сказал он, — но меня ранили, и мне пришлось не ехать... Я долго лечился...

У нее задрожали губы, но он не дал ей говорить.

— Да, да, — сказал он, — вам совсем незачем было приезжать сюда в то время. Меня ранили в живот — это очень противно.

— Но я же медичка! — перебила Антонина.

— Мне было бы трудно относиться к вам как к медичке, — со своей быстрой улыбкой сказал он. — Я слишком уж много думал о нас с вами, чтобы встретить вас только как медичку.

И поморщился:

— Нет, рана в живот — это отвратительно, и ни вам, ни мне не было бы никакой радости. Одни муки, конфузы и вообще всякая дрянь.

— Кто же вас ранил? — спросила она.

— Один человечиска, — с брезгливым выражением лица сказал Альтус. — Доносчик один. Писал-писал пакости разные на честных коммунистов, мне приходилось в мерзости этой копать. Ну, в один прекрасный день понял я, что это за фрукт. И он понял, что я его разгадал. И что, следовательно, делишки его плохи. Надо было сразу же проходимца засадить под стражу, а я слиберальничал. Открыл он дверь — эту самую — без стука и пальнул с порога в меня дважды. Я как раз на вашем стуле сидел...

— Очень больно было?

— В первый раз больнее.

— А вас и в первый ранило?

— И в первый. Тогда я еще не умел терпеть. Да что об этом! — Он славно, весело улыбнулся. — Вздор все это. Обидно, помню, сделалось, что на дорогу побрился и совсем как бы даже уехал. Но это ничего — главное, что вы приехали. Последние письма совсем стали бессмысленные, я думал — всему конец.

— Нет, не конец! — твердо сказала Антонина. — Но только, знаете, невозможно так долго не видеться.

Сказала и испугалась. Он-то ведь еще ничего так прямо, в открытую, не произнес. Щеки ее

так горели, что она прижала к ним ладони.

— Невозможно! — согласился Альтус. Глаза его смотрели странно робко для такого человека, как он. — Совсем невозможно...

Они теперь так разговаривали, будто он и не поцеловал ее на вокзале. И преодолеть это они не могли.

— Что у вас за работа? — спросила Антонина. — Я ведь так толком и не знаю. Вы военный, да? Военный юрист? Следователь?

— Всего я понемногу, — задумчиво ответил он. — Всего, Туся. (Господи, он опять назвал ее Тусей!)

— А работа у меня, Тусена, черная. Вы когда-нибудь слышали, Туся, такое? Вот вы там строите, возводите, красиво выражаясь, чертоги грядущего, а есть некоторые люди, которые и вас, строителей этих чертогов, и сами чертоги охраняют от всякого рода посягательств. Работа у нас совсем незаметная, болтать о ней не принято, но такая работа тем не менее существует.

— Очень это опасно?

— Нет, — спокойно ответил он. — Не слишком. Опасно лишь то, что мы непосредственно и постоянно имеем дело с трупом гниющего мира. Ну, а вам, медику, известно, что такое трупный яд?

Альтус заглянул в ее ждущие, тревожные и любящие глаза и добавил жестко:

— Еще есть одна опасность — власть. Велика она у нас, Туся, и если потерять строгость к самому себе, трезвость и точность суждений, партийность, — тогда худо. Очень худо, так худо, что и не пересказать. Вы понимаете меня?

— Понимаю! — с готовностью ответила она. — Как можно не понимать!

— И очень даже можно. Я это к тому, что жизнь наша всегда будет очень скромной, понимаете, совсем скромной, скромнее даже, чем мы могли бы это себе позволить. Так уж мое поколение выучено, Туся, и никуда мне от этого не деться.

Оттянул рукав своей гимнастерки, взглянул на часы и поднялся.

— Пейте же, пожалуйста, чай, ешьте. Этот хлеб пресный — очень вкусный. Тут сыр, ветчина, какие-то консервы. А мне идти надо.

Опять на лице его появилось виноватое выражение.

— Я пойду, хорошо?

— Хорошо, — кивнула она.

Ей казалось, что хоть эти дни они пробудут вместе, все время вместе, эти немногие дни, но он ушел. Ушел, посоветовав ей пойти на пляж, искупаться, погулять. Ушел, как сумасшедший, не ушел даже, а убежал. И вернулся только вечером.

Она все прибрала в номере, начистила, намыла, натерла медяшки — все эти шпингалеты и задвижки — и сидела сироткой, нарочно голодная, обиженная, смотрела, как в порт, весь залитый огнями, праздничный, сверкающий, входит теплоход.

Альтус постучал, прежде чем войти.

— Можно! — крикнула она.

Он вошел, слегка задыхаясь, — наверное, по лестнице бежал все марши бегом, лицо у него было серое от усталости, на лбу проступали капли пота. Она поднялась и, забыв, что обижена, рванулась к нему навстречу. Уже спустились быстрые южные сумерки, спокойно ухал прибой, и на теплоходе победно и торжественно гремела неслыханная, удивительная музыка.

— Я так ждала! — тихо пожаловалась она. — Так все время ждала!

Они стояли совсем близко друг против друга, так, что она чувствовала даже запах его ремней и табака, который он курил. Он медленно обнял ее за плечи и неумело привлек к себе.

— Сейчас пойдем обедать, — говорил он, — вы, поди, совсем умираете тут? Очень есть хотите?

— Хочу, — сказала она и, привстав на носки, поцеловала его некрепко и нежно, как Федю, — я четыре дня не ела супа.

Обедали они в маленьком ресторанчике внизу, часто смеялись, а потом наняли лодку с фонарем на носу и вышли в море — спокойное, тепло поблескивающее. Лодочник — русский парень, даже с каким-то ярославским говорком, — вдруг сказал:

— Очень хорошо, Алексей Владимирович, что хозяйка к тебе приехала, а то бывает, — обратился он к Антонине, — бывает, возьмет лодку — и ну один в море думать. Не годится! Мужчина немолодой, холостой — вроде полчеловека...

Уключины ровно и мерно поскрипывали, Антонина сидела, закрыв глаза, чувствовала — Альтус улыбается.

— Леш, а Леш! — окликнула она.

— Чего, Туся?

— А ничего. Я просто так.

От проходящего пароходика ударила волна, лодочник заметил:

— То-ожа судно! Форсит!

Потом, на Приморском бульваре, в киоске, извергающем потоки яркого света, Альтус купил дыню и персиков и спросил Антонину, не устала ли она. Нет, она не устала, но наступила пора, когда они должны были расстаться с лодочником, с толпой на бульваре, с портье, которому Альтус отдал паспорт Антонины, со всеми людьми — знакомыми, незнакомыми, прекрасными, симпатичными, со всеми на земле ради того, чтобы остаться вдвоем.

Ей было жутковато подниматься по лестнице — марш за маршем, по истертому, неопрятному гостиничному ковру, и она шла медленно, неумело и нарочито тяжело опираясь на жесткую руку Альтуса.

— Не шали! — велел он ей.

— Веди меня! — приказала она.

В номере она слышала, как он положил на стол персики, как покатилась дыня и как, чертыхнувшись, он поймал ее на лету.

— Не ругайтесь! — сказала она. — И электричество незачем зажигать.

Дверь на балкон была открыта, и были видны яркие, тревожащие душу огни кораблей, не то уходящих, не то приходящих. С моря немного дуло, и что-то в комнате шевелилось, шелестело, словно живое. Антонина все стояла посередине номера, закрыв глаза, в солоноватом, несильном морском ветре. Ах, как это было не похоже, дико не похоже на всю ее прежнюю жизнь.

— Дико! — сказала она.

— Чего это? — смешно переспросил Альтус.

— Ничего! — ответила она. — Ничего! Я не знаю, кто ты мне — будущий муж, жених, просто встречный с перепиской для красоты, я не знаю, правда ли это — что вот ты и вот я, я не знаю, чем все это кончится, но только, пожалуйста, пожалуйста, Алеша, побудь со мной вместе хоть несколько дней...

— Насчет дней — не удастся! — напряженно улыбаясь, ответил он. — Во всяком случае, нынче...

Всю ночь они не сомкнули глаз, так ей по крайней мере казалось. Впрочем, бывало, что она и проваливалась в какое-то небытие на несколько минут. Проваливался и он. Тогда она говорила, жадно глядя в его запавшие темные глазницы:

— Не спи! Днем же уйдешь! Не смей, не смей спать! Не смей!

А море внизу, за открытыми окнами и широкой балконной дверью, шевелилось и ворчало — огромное, опасное, живое. И ветер посвистывал в наступающем сером рассвете, и запахом водорослей несло, и тревожно гудел пароход на рейде.

— Боже мой, — шептала Антонина, — боже мой, боже мой...

— Колдуньям и ведьмам бога поминать не положено, — тихо сказал он. — Не разрешается.

— А я — колдунья?

— И ведьма притом.

«Я — колдунья! — счастливо удивилась она. — Это я-то!»

Погодя спросила:

— Вы меня не бросите?

— А вы меня?

Им почему-то доставляло удовольствие говорить то на «вы», то на «ты».

— Я-то тебя никогда не брошу, но ты меня непременно. И пройдитеесь, товарищ Альтус, принесите мне персик. Только, пожалуйста, не самый зеленый!

Так, с надкушенным персиком, она вдруг заснула уже утром, в блеске солнца, с тенями на щеках, с запутавшимися волосами, замученная, истерзанная. Он укрыл ее одеялом до плеч, голый, подрагивая от ветра, написал записку, по-мальчишески расписался: «Ваш старый муж», побрился в ванной и ушел. А она спала долго, почти до полудня, в жарком, раскаленном номере, на самом солнцепеке...

Проснувшись, несколько секунд не понимала — где она, потом потянулась всем телом до головокружения, до боли, прочитала записку от «старого мужа», медленно, лениво улыбаясь, стала мыться, одеваться, пудрить отдельно нос, отдельно лоб, красить губы. Но все это вдруг

ей не понравилось, не понравилась и она сама себе — голубые тени под глазами, устало-лукавый взгляд, обнаженные, слабые, нисколько еще не загорелые руки.

«Бросит он меня! — уныло подумала Антонина. И тут же твердо решила: — Никогда!»

Днем принесли телеграмму от Жени, что Федя здоров, бодр, что вообще все совершенно благополучно и что на комбинате все идет как должно. Это последнее обстоятельство даже немного обидело Антонину.

Альтус вернулся поздно, и опять было заметно, что он бежал, и опять обедали внизу, но уже пили холодное белое вино, легкое и пьяное, и не катались на лодке, а сидели у моря в шезлонгах и негромко разговаривали, а то вдруг и молчали подолгу, глядя вдаль на огни гавани. Море в этот вечер угрожающе шумело, и были вывешены сигналы, воспрещающие купаться. Круто, сильно пахло водорослями, йодом, солью, и ветер дул мягкий, глухой, порывистый.

— Значит, отпуска у вас и не будет совсем? — спросила Антонина неожиданно. — Не пустят?

— Почему же не пустят? Пустят! — раскуривая трубку, ответил Альтус. — Но, понимаешь ли, какая штука...

— Какая? — почти сердито сказала она.

— Ты только не раздражайся, — ласково попросил он. — Видишь ли... У нас, у чекистов, есть изустная легенда о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. О его письме в Политбюро ЦК.

— Ну?

— В мае, что ли, двадцать третьего года на Политбюро был поставлен вопрос об отпуске товарища Дзержинского. Он ответил заявлением, где написал, понимаешь ли, что считает отпуск вредным для дела и для себя лично по пяти пунктам. И по линии ОГПУ, и по линии НКПС, и по линии актуальных тогда «ножниц», и по линии некой «Рабочей группы»...

— Так что же?

— А то же, — терпеливо продолжал Альтус, — то же, что в конце письма Дзержинский написал о том, что уходить в отпуск ему сейчас и психологически было бы очень трудно, потому что отпуск не дал бы ему того, что требуется от отпуска. Это — Дзержинский! Какое же имеем право мы, рядовые работники, поступать иначе, чем он, жить легче, чем жил он? Молчишь?

— Молчу! — уныло сказала Антонина. — Но ведь, с другой стороны, это был двадцать третий год...

— Двадцать третий! — согласился Альтус. — А сейчас, ты предполагаешь, все вокруг стали зайчиками и только восторгаются на Советский Союз?

Она не ответила. На рейде прокричала сирена парохода, ей ответила другая. Альтус попыхивал трубкой в ветреной тьме, сосредоточенно думал.

— О чем ты? — тихо спросила Антонина и положила свою руку в его раскрытую ладонь. — Ты не сердись на меня?

Ночью шел проливной свистящий дождь, сверкала молния почему-то без грома, по коридору гостиницы ходили моряки и разговаривали о шторме.

— Баллов десять будет, — сказал за стеной женский голос, — никогда ты мне не веришь, Гриша.

— Пятнадцать!

— Пятнадцать не бывает, не дури мне голову, я моряцкая женка!

Альтус вдруг тенорком запел:

Ты красив сам собой, кари очи,

Я не сплю уж двенадцать ночей...

И, испуганно взглянув на Антонину, извинился:

— Прости! Это один мой старый дружок всегда напевает... Вдруг, понимаешь ли, дернула меня нелегкая...

Часа в три ночи им обоим захотелось есть, они встали, зажгли свет, но еды никакой не было, кроме персиков и черствого хлеба. Альтус накинул на плечи Антонины свою шинель и растворил дверь на балкон. Тотчас же все в комнате запрыгало и затрещало, упала и разбилась чашка, Антонина закричала: «Закрой, Леша, с ума сойти надо!» — и замахала руками. Он не закрыл, и они долго смотрели с балкона на страшную воду, на жалобно скрипящие фонари, на колоссальные валы, бегущие бесконечной вереницей и разбивающиеся в пену о гранит.

Он стоял рядом с ней, плечо к плечу, опершись локтями о перила, и она видела его профиль — прямой нос, упрямые губы, светлые волосы — и думала о нем совсем иначе, чем прежде, не узнавала его и любила, и еще не знала, да и можно ли было его узнать до конца? Он все время менялся, так казалось ей, — сейчас он был иным, чем несколько минут назад, а каким он будет завтра, она и не представляла себе. Он не был ни нежен, ни разговорчив, ни молчалив — он был прост, это она знала наверняка. Всегда он был самим собою. Когда ему не хотелось разговаривать, он молчал. Если ему хотелось свистеть, он свистел. Если он думал о чем-нибудь, он не отвлекался — при ней он жил так же сам по себе, как если бы ее не было вовсе. И ни разу он не заводил об этом разговоров. Вероятно, он был тверд, храбр, спокоен, выдержан — его вежливые, совершенно прозрачные порою глаза говорили о хорошей жизненной школе. Но иногда что-то очаровательно-детское, проказливое, любопытное и отчаянно-веселое пробегало по его лицу — таким она любила его больше всего, он становился ближе ей, понятнее, как бы раскрывался весь. Но это всегда быстро проходило. Через несколько дней она научилась вызывать это состояние в нем сама. Она все больше, все сильнее, все стремительнее любила его. И с ним что-то делалось — порою он недоуменно на нее поглядывал, порою вдруг точно раздражался, иногда звонил с работы по телефону в гостиницу и ничего не мог ей сказать, спрашивал: «Ну как? Ну что? Жарко?» — и вешал трубку.

Она ездила на автобусе на Зеленый Мыс, в Ботанический сад, загорала, купалась, прибором мучил ее весело и нещадно, больно таскал по мелким камешкам, оглушал; потом бесконечно ходила по аллеям, попадала то в Японию, то в Сиам, то в Южную Африку, читала таинственные названия деревьев и все смотрела на море — оно точно стояло стеною, и от него всегда шел легкий, ровный шум. «Большое-пребольшое, — так она думала о нем нараспев, вяло и восхищенно, — большое-пребольшое!»

Шли пароходы где-то очень далеко — отсюда они казались игрушечными, — казалось, что такой пароходик можно взять на руки. «Ах, здесь все кажется, — думала Антонина, — не может этого быть на самом деле!»

Она приезжала в гостиницу голодная, усталая, с телом легким, обожженным солнцем и исцарапанным, высыпала из туфель песок, ела персики тайком от Альтуса: у нее болел от них живот, она объедалась, и он не позволял ей, — ложилась на маленький диван и засыпала сразу, в одну секунду. Спала до возвращения Альтуса — спала во что бы то ни стало, даже если не хотелось: грустно было просыпаться без него.

Он входил, и она сквозь сон слышала его шаги, поскрипывание его сапог и ремней, ровный свист — он всегда посвистывал на ходу, — слышала, как он переодевается, чувствовала, как он смотрит на нее, и вдруг открывала глаза в ту самую секунду, когда он меньше всего ожидал.

— Я люблю вас, гражданка, — сказал он ей однажды в такую минуту.

— Меня нельзя не любить, — ответила она строго. — Еще бы ты меня не любил!

Он сел возле нее и долго ее разглядывал, словно видел в первый раз. Погодя спросил:

— Опять персики ела? Сколько можно!

За обедом он сказал ей, что его на работе дразнят.

— Почему?

— Говорят, от меня духами пахнет. Черт знает что такое.

— И пахнет! — сказала она, помолчав. — Это я нарочно все твои кофточки надушила.

— Кофточки?

— Ага!

— Я, между прочим, кофточек не ношу. И зачем ты их надушила?

— Так!

На ее лице проявилось упрямое выражение.

— Собственница! — сказала он. — Правильно?

— Ага! — подтвердила Антонина. — Но если тебе неприятно, я не буду.

— Нет, мне приятно.

— А вы не врете?

— Нет, мы не врем!

— Врете. И я завтра все ваши гимнастерки, кителя и ремешки проветрю. Пусть пахнет порохом и железом, так у вас полагается? И табаком!

— Дурачок! Я же тебя люблю! — сказал он со своей мгновенной, мелькающей усмешкой.

В этот день он несколько раз говорил ей об этом. И каждый раз она думала в ответ: «Еще бы! Еще бы! Еще бы!». Но молчала и только хитро на него поглядывала матовыми, без блеска,

зрачками.

Часов в шесть его вызвали по телефону, он ушел и через несколько минут позвонил:

— Собирайся! В восемь двадцать уходит теплоход, мы едем в Одессу. Мне сейчас некогда, я буду ждать тебя на пристани. Вернее, около. Там, где большая белая скамейка.

«Где большая белая скамейка!» Легко ему так говорить! А если кругом полно больших белых скамеек, тогда как? И все друг друга разыскивают, плачут дети, играет оркестр, кого-то провожая, особым ходом проводят клетчатых интуристов, пионеры играют на горнах и барабанят в свои барабаны, трещат лебедки, снуют какие-то тележки со звонками? Господи, что это за манера являться почти тогда, когда начинают сволакивать трап?

И самое главное, он пришел как ни в чем не бывало.

Пришел посвистывая, с портфельчиком, неожиданно штатский, в сером просторном костюме, с плащом на руке, с кульком огромных, почти прозрачных слив.

— Можно сойти с ума! — сказала Антонина. — «Белая скамейка!» Все скамейки же белые! Бежим!

«Украина» дала еще один гудок. Провожаящие уже начали махать платками. С борта тоже махали. Горничная в наkolке привела их в каюту, здесь были два дивана, на столе стояли цветы в хрустальной вазочке, за открытым иллюминатором плескалось море.

— Так живут миллионеры в кино! — сказала Антонина, — Леша, мы миллионеры, да?

— Некоторым образом! — сказал он, оглядывая каюту.

Как она любила это его плутоватое, мальчишеское, ужасно легкомысленное выражение лица.

— Некоторым образом, — повторил Альтус, — потому что у меня лично шесть рублей. Не успел получить деньги, вот какая штука. У тебя что-нибудь есть?

— Мало! — ответила она испуганно. — Но это ничего, Леша. Нас ведь не высадят на необитаемый остров? За билеты заплачено?

— Некоторым образом, — в третий раз сказал Альтус — Впрочем, наплевать. Тут у меня в портфеле есть булка и банка леща в томате.

«Украина» отвалила. В великолепном ресторане, где пассажиры ели семгу, икру, куропаток и какие-то там фрикасе, Альтус заказал две рисовые каши и порцию хлеба. Официант не без удивления на него посмотрел, он ему подмигнул и объяснил:

— Мы диетыки, дорогой товарищ! Нам больше ничего нельзя.

— Бывает! — согласился официант. Это был тертый человек, такого не проведешь, он повидал на своем веку всяких диетыкиков.

И все-таки оба они чувствовали себя совершенно счастливыми. Сверкая нарядными огнями, покойно и надежно дыша машинами, послушный своему командиру, похаживающему на мостике, теплой, мгливой, душной ночью шел теплоход в неведомую Антонине Одессу. Невидимое отсюда, с палубы, где-то глубоко и таинственно плескалось море — ее море. «Мое море!» — думала она так же, как давеча думала о земле. И земля, ее земля, уже готовилась ко сну, там, далеко, где волны шипя взбегали на прибрежные камни...

— Я же ничего о тебе не знаю, — ночью в каюте сказала Антонина Альтусу. — Подумай-ка, Алеша. Совсем ничего. Ты был женат? Или, может быть, ты и сейчас женат? Ведь ты...

Она помедлила:

— Ты совершенно взрослый!

— Чтобы не сказать — старый! — невесело усмехнулся Альтус.

— Ты женат?

— Да. На тебе.

— А раньше?

— Раньше, давно, я был женат на другой женщине.

— Ты... любил ее?

Альтус помолчал, ковыряя провололочкой свою трубку.

— Теперь... не знаю.

— А раньше?

Это слово «раньше» вдруг прилипло к ней.

— Раньше ты ее здорово любил, да?

Он взглянул на Антонину и промолчал. Ей захотелось ударить его, или даже укусить, или в крайнем случае сломать его трубку, которой он дорожил, — единственная вещь, которую он боялся потерять. И так как за эти дни она привыкла ничего от Альтуса не скрывать, то сказала ему об этом. Он рассеянно улыбнулся.

— Пустяки!

— Что пустяки?

— Все пустяки, — с коротким вздохом сказал он. — Главное, что мы отыскались.

Антонина не поняла.

— Главное то, что я вас отыскал. Понимаете, гражданочка? Ведь людей миллионы, и мы могли потеряться.

Его легкие волосы свесились на лоб, глаза смотрели печально, а в пальцах он вертел пепельницу.

— Все-таки мне важно, любил ли ты ее? — не своим, злым голосом спросила Антонина. — Ну хотя бы как меня? Или больше? Или меньше? Как?

— Мы никогда не будем говорить о том, что миновало, — спокойно ответил он. — Не следует ничего предавать. И жалкие слова нам с тобой тоже не нужны. Твои заблуждения, мои неурядицы! В сущности, мы сами во всем виноваты. Я полюбил тебя такой, какая ты есть, почему — не знаю. Когда-то ты сказала — муж, жених, переписка, помнишь? Этих всех слов я не понимаю. Мне важно одно — любовь. Можно зарегистрировать свой брак, и он окажется ложью. Можно пробыть с человеком один час, и притом на людях, можно не сказать с этим человеком ни единого слова и всегда думать, что потерял единственное свое счастье.

Он глядел на нее, прямо в ее покорные, преданные глаза, — и он говорил мягко, не торопясь, все еще вертя пепельницу. Она слушала долго, напряженно, всем своим существом. Он говорил о непременных, длительных, трудных расставаниях, о нелегкой жизни, которая их ждет, о том, что сам измотан, не умеет быть веселым, обходительным, тем, которых называют симпатичными. Брови его хмурились, жесткая черточка («Морщина!» — удивилась Антонина) легла возле рта.

— Ты, если что, прости меня! — неумело попросил он. — Я могу и невнимательным оказаться, но, понимаешь ли, Туся, когда жизнь задает такие иногда чертовские головоломки, о которых ты и понятия не имеешь, приходится все свое внимание, да что внимание — всего себя на эту головоломку проклятую целиком бросить. Не решишь — труд многих людей погибнет, сами люди погибнут, неисчислимы беды обрушатся. И ходишь, словно блаженный или чумной. Простишь?

Молча она взяла его сухую большую руку и поцеловала.

— Это как понять? — спросил он. — Архиерей я?

— Нет, я люблю! — шепотом произнесла она. — Я люблю, и не надо мне ничего объяснять. Лучше я тебе одну простую вещь объясню сама: мне до партии далеко, я еще совсем никто, но что вы все — я это понимаю. Уж ты мне поверь, Леша, понимаю. Никаких трагедий в моей жизни не было, лгать не хочу, но самой ж и з н и не было. Понимаешь ты это?

— Понимаю! — с тихой лаской в голосе ответил он.

— Не было, как нет еще этой самой жизни в тех, кто не понимает того, что понемножку я начала понимать. Вот и все.

— Ну и хорошо, ну и добро! Кстати, помнишь, чье это слово?

— Какое?

— Добро. Родиона Мефодьевича Степанова, моряка моего.

На рассвете они вышли прогуляться на какую-то тихую, пустынную пристань. Пассажиры на «Украине» спали, матрос у трапа обозвал Антонину и Альтуса полуношниками.

— Мне бы ваше путешествующее положение, — сказал он, сладко и уютно позевывая, — я бы, уважаемые, насквозь весь рейс спал.

Где-то высоко, в белом свете прожектора, суровый голос повелевал:

— Вира помалу! Сказано помалу, а ты что? Вира помалу.

Антонина поехала: неприятно, тяжело вспомнился Скворцов. Альтус о чем-то думал, негромко посвистывая. Вообще он часто нынче задумывался, словно отсутствуя.

Днем, когда они сидели на палубе в шезлонгах и смотрели, как кувыркаются дельфины, Альтус вдруг заговорил:

— Эмилио Мола, франкистский генерал, хитрая и умная гадина, в открытую объявил, что на Мадрид двинутся четыре колонны мятежников, но правительственный центр будет взят пятой колонной, которая уже находится в городе.

— Ты о чем это? — испуганно спросила Антонина.

— О том, что не умеют там справляться с такими пакостями...

— Ну?

— Вот и все.

В Сухуме Антонине очень захотелось съесть шашлык. Альтус соврал, что шашлыков он вообще не любит. Заказали один шашлык и одну бутылку боржома. Когда Антонина расправилась с мясом, Альтус вздохнул:

— Бывают еще шашлыки по-карски, с косточкой...

В Сочи он получил телеграфный перевод и, покуда «Украина» стояла у пристани, успел сам, на свой страх, купить Антонине пальто.

— Вы подумайте! — говорила Антонина, крутясь в каюте перед зеркалом. — Он меня уже одевает...

— Как куклу! — сказал Альтус.

— Так и живут миллионеры. Соскочил с парохода — бух — купил пальто. А в нем нельзя пойти обедать, Лешенька?

Обед заказали роскошный, с многими переменами и с пломбиром. Дошлый официант спросил:

— Кончилась диета, да? Поправились? Очень вас поздравляю, от всей души!

— Вот погоди, — говорил Альтус за обедом, — погоди, Туся, я еще тебе шубу справлю. Теплую, легкую...

— Из шиншиллей?

— Из чего?

— Это я в книжке читала. И сорти-де-баль тоже... Знаешь, у меня заячий палантин был, давно-давно...

И она рассказала ему про свой палантин и про трамвайный скандал. Он хохотал почти до слез, тряс головой, опять закатывался. А она говорила, медленно улыбаясь:

— Теперь хорошо смеяться, а тогда вовсе не до смеху было.

Теплоход вновь уходил от берегов в море. Было прохладно, быстрые облака бежали по небу. Потом напоззли тучи. Антонина сидела в шезлонге, кутаясь в новое пальто, смотрела на бегущие волны, на далекий смутный берег. Альтус сказал деловым тоном:

— Нет, Туся, шубу мне в Одессе не поднять. В Одессе мы тебе купим свитер. Ладно?

— А ты все время сидел и считал в голове, да? — спросила Антонина.

— Немножко посчитал, — сконфузился он. — Но это ничего. Мы попозже купим, зато хорошую.

И добавил:

— Понимаешь, у меня никогда не бывает денег. Не пойму почему. Получаю порядочно, водки не пью, а как-то все глупо. Нет, не за миллионера ты замуж вышла, Туся!

— А разве я вышла замуж?

— Вышла.

Он взял ее руку в свои ладони и опять надолго задумался.

13. Меня некуда больше тащить!

— Насчет трех тысяч ты и думать забудь! — сказал Вишняков Щупаку. — Три тысячи! Смешно, право слово, смешно! У меня завтраки идут — омлетов одних две тысячи, яичниц с колбасой, с ветчиной — до трех. Что ж, я из пол-яйца омлет рабочему человеку подам?

Сема сидел мрачный, насупившийся.

— Вот так! — подтвердил Николай Терентьевич. — Вот, брат Семен, такие дела.

— А если меня в психиатрическое отделение заберут от этих ваших дел? — не поднимая головы, спросил Сема. — Тогда как?

— Передачку передадим.

Они сидели в конторке пищеблока комбината. Впрочем, Вишняков слово «пищеблок» не признавал никогда. Это слово, по его утверждению, напоминало ему «вырвиглаз» или даже «кабыздох». Ругательство, а не слово: пищеблок!

— Окончательно, как договоримся? — спросил Сема.

— Десять тысяч штук яиц. И сыры дай ты мне, человек — божья ошибка, качественные. Везешь преснятину, ни вкуса в ней, ни запаха, за что только люди деньги платят. Ты сам-то, когда товар получаешь, — нюхаешь его?

— Побойтесь бога, Николай Терентьевич, — попросил Щупак. — Я же не только пищевые продукты получаю. Я и гвозди, и цемент, и кирпич, и железо... Все нюхать — так что же это получится?

— Ну, железо можно и не нюхать, — снисходительно разрешил Вишняков, — а что касается моего товара — это попросил бы, товарищ Щупак.

Подавальщица Нюся принесла в конторку на подносе зразы с гречневой кашей и с луком и клюквенный мусс. Было часов семь вечера, Сема с утра ничего еще не ел. По рассеянности он начал с мусса.

— Куда прешь? — крикнул Вишняков. — Это же сладкое!

— Да? — удивился Сема.

Зразы он съел в одно мгновение и вновь принялся за мусс, но ел его с хлебом.

— Как рыба, понравилась? — спросил Вишняков.

— Ничего рыбешка, спасибо.

— Вот надрывайся для вас, — вздохнул Николай Терентьевич, — лопайся. Скушали вы, товарищ Щупак, зразы из говядины с гречневой кашей и с луком. А не рыбу!

— Ах, да кому все это интересно! — отмахнулся Сема.

Молчали долго. Сема доел весь хлеб и попил воды из графина.

— О десяти тысячах яиц и думать нечего! — сказал он совсем мрачно. — Меня уже в приемную к товарищу Разгонову не пускают.

— А ты сошлись на фарфоровый завод! — посоветовал Вишняков. — И на мебельную фабрику. Контингент каков! Так и скажи — контингент!

Сема возразил в том смысле, что Разгонова контингентами не прошибешь. И тут же ввернул насчет печенки.

— И печенки не будет? — страшно шевеля усами, спросил Вишняков. — Вы что, ополоумели, товарищи снабженцы? Фирменное блюдо, имеет феноменальный успех, подаем в нашем соусе, а они...

— Разгонов печенку не даст, — железным голосом сказал Сема. — Гусей можно взять мороженных, полупотрошенных...

— Этих гусей сам Разгонов пускай кушает. Ясно?

Сема еще повздыхал и поднялся.

— Не забудьте уплатить Нюсе за то, что скушали! — ядовито сказал Николай Терентьевич. — Очень много сейчас рассеянных стало, за последний отрезок времени.

Щупак побагровел, но промолчал. Вишняков мстил за полупотрошенных гусей. Ну что ж, его дело! Болеет человек за свой пищеблок, правильно болеет. Но как же ему, Семе, жить? Вот сейчас будет ужасающее объяснение с Сивчуком из-за фановых труб, а что Сема может поделаться, если не обеспечили, вернее, надули с транспортом? Еще раз написать в «Ленинградскую правду» свои надоевшие всем «Горькие заметки»?

В коридорчике он столкнулся с Пал Палычем. Тот шел, постукивая тростью, как слепец, очки его блестели, широкое, с нашитыми карманами вытертое пальто посверкивало капельками дождя.

— Здравствуйте! — сказал Сема.

— Приветствую вас! — словно не узнавая Щупака, ответил Пал Палыч.

Дверь в конторку открылась и захлопнулась, Сема еще раз вздохнул — и по поводу своих неприятностей, и из-за Пал Палыча: очень уж тот постарел и словно усох за это время.

А Пал Палыч, не снимая пальто, сел перед столиком Вишнякова, где тот расположился составлять завтрашнее меню, поставил палку между колен, уперся в набалдашник крепким, гладко выбритым подбородком и спросил:

— Ну как, Николай Терентьевич? Крутится машина?

— Помаленьку крутится.

— Развернулись вы, я гляжу. С размахом создаете. Вроде конец Нерыдаевке. Интересно, какое ей новое название дадут, то есть в каком высоком смысле? Имени вождя или в другом смысле, например «Путь в светлый коммунизм»? А?

Вишняков неприязненно усмехнулся.

— Без вас, я предполагаю, Пал Палыч, окрестят. Ваши названия другого порядка — например, помню я, кабаре под названием «Ню», то есть голая. Ваше имечко.

— Было! — согласился Пал Палыч. — Было. Прогорели только довольно-таки быстро. Надо такие дела делать без робости, не конфузясь, а наши не потянули. «Ню» так «ню», а ежели юбочки и прочее, так какое же оно «ню»! Почти что ресторан для семейных, даже и с детьми...

Николай Терентьевич слушал хмуро, поигрывал пальцами на большом животе. Помолчав, Пал Палыч произнес соболезнующе:

— Жиреете вы здорово, дорогой товарищ Вишняков. Нехорошо это в вашем возрасте. Кондратиём может обернуться.

— Вполне! — согласился Вишняков.

И, не желая оставаться в долгу, повздыхал по поводу здоровья Пал Палыча. Очень уж он похож на с древнейших времен в пирамиде сохранившуюся мумию. Пока лежит неподвижно в гробу, именуемом саркофаг, — крепкая вещь. Но пальчиком дотронулся — рассыпалась, и нет древнейшей мумии.

Оба посмеялись, даже добродушно.

Краснощекая Нюся принесла чай-пару, как любил Вишняков — с мелко наколотым сахаром, с сушками.

— Только для вас или вообще так подаете? — спросил Пал Палыч.

— Имеем в первом этаже чайную, — ответил Вишняков. — Рекомендую наведаться. Дали прибыли в прошлом месяце немного, сиротские слезы, двадцать с чем-то тысяч, но дело популярное. Газеты, журналы, шашки, очень чисто. Зашли бы...

Пал Палыч пожал плечами: нет, благодарствуйте, он в такие заведения не ходок. Он теперь, если сам для себя, а не по службе заходит в заведение, то чтобы шум был, содом и гоморра, горячительные напитки, ибо ресторан есть ресторан, для полного отдохновения. Вишняков согласился: оно, разумеется, так, но смотря для какого случая и в каком, разумеется, возрасте.

И вновь они замолчали, словно два боксера, отдыхающие перед следующим раундом. Вишняков нарезал себе в чай несколько ломтиков яблока, ловко бросил в рот, швырнул даже, крошечный кусочек сахару. Пал Палыч курил папиросу, вежливо и остренько улыбаясь. «И чего его черт принес? — лениво подумал Николай Терентьевич. — Меню надо составлять из расчета этих проклятых гусей, а он столбом столбеет. Рассольник, что ли, дать с потрохами и гуся сделать по-румынски — паприкаш? Так это кушанье неизвестное, может не пройти! И калькуляцию как на паприкаш составлять? Да, кстати, есть ли у нас еще молотый стручковый перец?»

— Как товарищ Сидоров с супругой поживают? — начал второй тур Пал Палыч.

— А хорошо поживают. Отлично.

— И Щупак отлично? И Закс?

— Превосходно оба поживают. Щупак же работает как снабженец выше всяких похвал. Завтра завезет мне десять тысяч яиц, не знаю даже, куда их девать. Печенка у нас в изобилии, почки, дичь имеем уцененную...

— Удивительно! — возразил Пал Палыч. — Мы по первой категории снабжаемся, и то яиц я два дня ни штуки не добился. А где печенку-то он берет?

— Разгонов, все Разгонов, бери — не хочу, такой человек замечательный!

Пал Палыч закурил еще папироску. Вишняков наслаждался маленькой победой. Ишь «по первой категории»! Тут, брат, рабочий жилмассив, сюда первая очередь идет, а не тебе в твою обираловку. Знаем ваши дела, не мальчишки! Один бифштекс раз — и тот из челяшка, не прожевать двадцатилетнему солдату.

— Пойти, что ли, к Разгонову? — вслух подумал Пал Палыч.

— А и пойдите! — сладострастно посоветовал Вишняков. — На нас сошлитесь, Пал Палыч. На Щупака.

— Впрочем, шут с ним! — отмахнулся Пал Палыч. — Это все мне ни к чему. На вокзале все сожрут, была бы водка да пиво.

— Значит, вы на вокзале нынче работаете?

— Именно! — слегка смутился Пал Палыч. — Подвернулась должность. Не хлопотно — клиент быстрый, торопливый; оно, конечно, осложняет в смысле жалоб, а все же легче, чем здесь, и, конечно, доходнее.

— Опять капиталчик задумали сколотить?

И вновь оба немножко посмеялись — Вишняков пораскатистее, Пал Палыч негромко, прилично. Еще раз выиграл Николай Терентьевич.

И опять спросил Пал Палыч:

— Как Антонина Никодимовна? Уехала, слышно?

— Вроде бы уехала.

— Отдыхать? Природой наслаждаться?

— А почему бы, Пал Палыч, человеку не отдохнуть? Сами знаете, нелегко ей жизнь далась; и работа, и учение...

— Не нахожу, что так уж трудно. Впрочем, для прислуги сейчас все пути открыты.

— Для какой такой это прислуги? — выкатывая глаза, спросил Вишняков. — Хреновину вы порете, Пал Палыч!

— Почему же хреновину? Она у господ Сидоровых за прислугу управлялась, а те, ей в благодарность, направили Антонину Никодимовну управлять государством. Дело нетрудное, ибо каждая кухарка должна уметь управлять государством — так вы, партийцы, исповедуете и проповедуете. Или не так?

Вишняков все смотрел не отрываясь на Пал Палыча, на его иссохшее пергаментное лицо, на хрящеватые, торчащие уши, на очки, за которыми скрывались глаза. Все смотрел и посапывал, отыскивая ответ наиболее меткий, разящий наповал, окончательный. Но куда он искал этот ответ, в нем что-то словно повернулось, и совершенно для себя неожиданно Вишняков пожалел Пал Палыча. Пожалел брезгливо, презрительно, а все-таки пожалел и не смог его срезать, а только фыркнул и пробурчал:

— Ничего-то вы не поняли и никогда, видать, не поймете. Впрочем, вы и раньше, в стародавние годы, ничего не понимали, кроме как в своем капиталце, да и с тем, благодаря вашему непониманию, сильно накололись.

— А вы, извините, Николай Терентьевич, много понимаете?

— Я? Все! — швыряя в рот еще кусочек сахара, ответил Вишняков. — Могу вас заверить, Пал Палыч, я лично все понимаю.

— И свою цель понимаете?

— Понимаю.

— И ради чего в тюрьме сидели?

— И это понимаю.

— А я не совсем, — с тихим смешком сказал Пал Палыч. — Вот вы, например, сидели в тюрьме, по этапу были также направлены, беды на вас и на ваше семейство сыпались, но чего же вы этим, лично вы, достигли?

— То есть как это?

— К чему пришли? Какое положение на общественной лестнице заняли? Возвысились, может быть, и на персональной машине разъезжаете? В начальство выскочили? Секретарей имеете и отдельную квартиру из шести комнат? Расскажите! Поделитесь с отстающим элементом!

Николай Терентьевич поставил чашку на стол, подумал, утерся платком и, понимая, что с точки зрения Пал Палыча проигрывает странную их игру, произнес:

— Я к чему хотел, к тому и пришел. Я теперь, благодаря революции, имею то, что называется смыслом жизни...

— Гм! — сказал Пал Палыч.

— Вот вам и «гм»! Специальность у меня и раньше была, но смысла в специальности я не видел и от этого тосковал, хотя искусство мое, как вам более чем кому-нибудь известно, многие ценители признавали, и были случаи, что даже слышал я «браво», а также вручались мне в благодарность имперIALы. Было это?

Пал Палыч молча кивнул.

— Но для чего? — крикнул Вишняков. — Зачем? Пропить? В то время как нынче я сам (он ударил себя кулачищем в грудь), сам! Кормлю не только что бывшую Нерыдаевку, но еще пять, а нынче уже семь заводов и фабрик; и люди, которые электромоторы строят, шкафы и диваны, чашки и сервизы вырабатывают, — трудовые люди! — через мои руки и мой мозг кормятся.

Он тяжело встал, оттолкнул ногой кресло, подошел к схеме, которая висела на стене, и, тыча в нее толстым пальцем, закричал:

— Вот линии, пунктиры, кружки, квадраты — это что? Это, Пал Палыч, дело моих товарищей и мое дело. Вот центр — я! Я! Вишняков Николай Терентьевич — кормилец и поилец всего района! Нескромно, скажете? А для чего я скромным должен быть, когда это и есть то, что называется смысл жизни. Вот к чему я пришел и вот для чего я в царской сволочной тюрьме имел честь сидеть. А что касается до квартиры, то мне достаточно жилплощади, секретари мне не нужны, на машине меня подвозит, если нужно. Вам это не понять, потому что главная ваша идея — это капиталец, а моя теперь — тесто!

— Что? — даже слегка привстал Пал Палыч.

— То, что слышали: тесто! Я два магазина полуфабрикатов открыл, и еще один открою — на самом на Невском проспекте, — и дам туда готовое слоеное тесто на вес. И дрожжевое разных сортов, дабы хозяйка без мучений и лишних хлопот могла сама испечь по своему вкусу желаемый продукт. Я уже машины получил и это тесто дам, что бы мне ни вякали малoverы и нытики...

— А вы ведь сумасшедшенький! — с сочувственной улыбкой произнес Пал Палыч. — Это только для сумасшедшего главное может быть тесто!

— Да? Ну, а для вас что именно главное?

Пал Палыч промолчал.

— Нечего сказать? А я лично так рассуждаю, что для работающего человека всегда должна быть главной ближняя цель. И жизнь тогда поминутно имеет свой смысл. Насчет теста я, может быть, даже преувеличил, но его мне дать интересно, и нынешний день я час простоял, глядя, как это мое тесто хозяйки разбирают на домашнее печение. И сам инструктировал, чтобы не спартачили, хотя я и не кондитер. Вы же... вы же... при вашем знании, опыте вы могли бы во главе общественного питания находиться как крупнейший специалист, а вы что? В вокзальный ресторан драпанули, чтобы как потише?

Он махнул рукой и сел. Зачем весь этот крик? Все равно как об стенку горохом.

— Каждому свой смысл, — тихо и грустно промолвил Пал Палыч. — Вы революцию свершали...

— Не довелось, — буркнул Вишняков. — Из нашего брата действительно свершал ее товарищ Раков, геройски погибший, но предполагаю, что, будь он жив, помог бы мне в смысле, извините, теста, а ваше поведение — осудил бы!

Плеснул себе холодного чаю, выпил залпом и спросил сухо:

— Вы ко мне по делу или так? А то завели беседу попусту...

— Я вообще на массив зашел, к бывшей нашей домработнице Поле...

— Пошпионить маленько насчет Антонины Никодимовны? — усмехнулся Вишняков. — Бросьте вы это, Пал Палыч! Кончено тут, черепки не соберете.

— Оно так, оно кончено! — смиренно согласился Пал Палыч. — До Антонины Никодимовны рукой не достать. Хорошего бобра убила, из начальства, нашла-таки себе судьбу. Нам, конечно, не дотянуть. И я, заметьте, как в воду глядел: образование это для нее и деятельность там на комбинате единственно для чего нужны были — для того чтобы бобра убить, муженька себе отыскать с положением, с персональной машиной, с именем в ихних, партийных кругах. Будучи непролетарского происхождения, она...

— Послушайте, Пал Палыч, а не уйдете ли вы от меня? — почти что фистулой, да и то срывающейся, спросил Вишняков. — Насмердили вы изрядно, не проветришь! Давайте-ка вытряхивайтесь!

Пал Палыч еще раз улыбнулся, и теперь Вишняков увидел его глаза — светлые от ненависти. Тотчас же зрачки вновь исчезли за толстыми стеклами очков. Не говоря ни слова, Пал Палыч поднялся во весь свой крупный рост, слегка кивнул и, покашливая, затворил за собой дверь.

«Свинья!» — сердито подумал Вишняков и подвинул к себе поближе правой рукой счеты, а левой тетрадку для записи меню. Часы пробили девять, скоро должны были начать собираться повара для обсуждения завтрашнего дня. «Ну хорошо, — рассуждал он, стараясь

сосредоточиться на проблеме проклятых полупотрошенных гусей. — Хорошо, отлично! С паприкашем им не справиться. Фаршированного дать, что ли? На французский манер, в фарш грибов, зелени! Да ведь Семка-подлец зелени не привезет! И телячьей печенки нет для фарша. Хотя...»

Он позвонил дежурному по базе Андрею Лукичу, знакомому старичку, и сладким до противности голосом повел беседу о погоде, о здоровье, о салицилке против ревматизма.

— Да ты, Николай Терентьевич, мне голову не крути, — сказал Лукич. — Для чего звонишь?

— Печенки телячьей нужно! — заявил Вишняков. — Сделай, друг! Гусями нас начальство задавило, а гусь идет плохо, в него у трудящихся неверие наблюдается. Кому грудка, а кому гузка. Фаршированный же проходит побыстрее. Там всегда припухлость можно создать, мясистость за счет фарша.

Лукич обещал посодействовать, Вишняков сахаринным голосом заключил:

— Ну, дай тебе господь, вызволил, век буду помнить...

— А и хитер ты, старый бес! — хихикнул Лукич. — Даже господа все поминаешь.

— Ты бы, Лукич, покрутился, как я с моими объектами, тогда узнал бы...

— Ежели тяжело — иди к нам в инструкторскую группу, давно приглашали...

— Ну, какой из меня инструктор...

А Пал Палыч в это самое время, постукивая тростью, входил в шумный вестибюль своего вокзального ресторана. Девушка в беретике надрывалась у телефона-автомата, какие-то молодые военные спорили — заходить или нет, гардеробщики ловко «в обязательном порядке» раздевали пассажиров.

— Позвольте пройти! — сурово и жестко говорил Пал Палыч, проталкиваясь в дверь. — Позвольте же!

Он был еще бледнее обычного, его подзнабливало, хотелось выпить водки и поговорить с каким-либо своим человеком. Но где отыщешь этого «своего»? Откуда его взять? Как с ним увидеться — с этим все понимающим, мудрым, сочувствующим «своим»?

Последнее время Пал Палыч стал методически и изрядно попивать, пил маленькими рюмками, не закусывая, сидя в своем служебном кабинете, бледнея все больше и больше. Сейчас старый дока официант, подхалим, выжига и хам, повиливая задом, принес Пал Палычу на подносе графинчик под салфеткой, солонку, тонко нарезанную луковицу и ломоть черного хлеба.

— С наступившей осенью вас! — сказал он, смахивая со стола.

— Как в зале?

— Курьерскому через двадцать минут отправление, — кривя по привычке рот, ответил Айбулатов. — Торопятся.

— Да, торопятся! — не слушая официанта, машинально повторил Пал Палыч. — Все торопимся.

Он выпил одну за другой четыре рюмки, пожевал ломтик лука и посоветовал:

— Ты бы, между прочим, поаккуратнее, Айбулатов! Воруй, да не заворовывайся. Давеча

скорый уходит, а тебя со сдачей нету и нету. Добро бы с тридцатки, а то полную сотню унес за стакан чаю с пирожком...

— У него деньги несчитанные, у комиссара-то! — маслено улыбаясь, ответил Айбулатов. — Бумажник раскрыл — вот денег, ворох!

— А ты — бедный?

— Какой бы я ни был, Пал Палыч, но только человек человеку волк. С малолетства учен — бери, что плохо лежит. Сами знаете, наши автобиографии какие!

Пал Палыч выпил еще рюмку и спросил:

— Зось здесь?

— Кассу сдает.

— Вели ко мне зайти!

— Слушаюсь.

— И запеканки подай...

Чуть дрогнул пол — это тронулся курьерский. Пал Палыч приподнял тяжелую малиновую штору своего кабинетика — поглядел, как возвращаются провожающие. Налил еще рюмку и шепотом, сам себе, сказал:

— Да, так! Человек человеку волк! Так!

Зоя, пышногрудая, голосистая ругательница, вдова бывшего директора ресторана «Ша нуар», имевшая виды на Пал Палыча, тяжело села в кресло, заложила ногу за ногу и пожаловалась:

— Моченьки нету, Пал Палыч. Взял бы меня кто-нибудь замуж, я бы такой уют создала. Устаю ужасно.

Она налила запеканки, закусила балыком, дотронулась белой полной рукой до рукава Пал Палыча:

— И вы переутомлены.

— Давеча ворюга Айбулатов заявил, что человек человеку волк, — прохаживаясь по кабинету, говорил Пал Палыч. — Это он-то, сам первый волк! Но должен сознаться, и сам я стою на такой же точке зрения...

— Любопытно! — сказала Зоя.

— Да, на такой же. И вспоминаю. Году что-либо в двенадцатом объявился некто господин Сычев, или Сычугин, не имеет значения. Обещал неимущим огромные дивиденды и под эти дивиденды ужасно сироток всяких обокрал. Идея у него была такая: покупает он участок земли и штук дюжину черно-бурых лисиц...

— Шкурки?

— Зачем же шкурки? Живых — самцов и самок. К ним на огороженный участок выпускает две-три сотни мышей. Лисицы размножаются, поедая мышей. А мышей кормят мясом убитых лисиц, ибо впрок от лисицы идет лишь ее шкура. Было даже подсчитано, и цифры были оглушительные — через десять лет на рубль что-то около трех тысяч чистой прибыли...

— Удивительно! — сказала Зоя.

— Оказалось — авантюрист. Был еще офицер-сапер, хорошего рода, в бархатной книге записан. Изящный молодой человек с усиками, взор этакий... туманный. Посещал «Виллу Роде», «Донона» также. Изобрел панцирь, не пробиваемый пулей. Военное министерство панцирь купило, — вернее, патент. Тогда молодой господин офицер предложил министерству пулю для пробивания этого панциря. Министерство и пулю купило. Тогда он новый панцирь предложил, для своей же пули непробиваемый. Купили опять панцирь. И так длилось до самого семнадцатого года...

— Господи, неужели все люди такие? — сказала Зоя.

— Все!

— И мы с вами?

— Несомненно.

— А все-таки не верю! — сказала Зоя, потягивая из рюмки запеканку. — Есть в жизни красота, изящество и благородство. И в книгах об этом пишут...

— Пишут! — усмехнулся Пал Палыч. — Кто пишет-то? Писатели! А они сами каковы? Я-то знаю, видел. Сволочи все, вот что! Все до единого сволочи!

Зоя взглянула на Пал Палыча неприязненно, снизу вверх, из-под полуопущенных ресниц. Но он не заметил этого взгляда, он был уже пьян. И выпил еще подряд две рюмки.

— Все шкуры и шкурники, — говорил он, прислушиваясь к грохоту подходящего поезда. — Есть, конечно, волки послабее, есть посильнее. Сильные задирают слабых. Все везде всегда продается. Тот, кого обсчитал нынче Айбулатов, тоже кого-то обсчитал. Вот мы с вами здесь пьем и не платим за это, выпитое нами пойдет за счет недолива в буфете...

— Я в конце концов могу и заплатить, — обиженно сказала Зоя. — Я не набивалась на эту запеканку. А что вы сами выпили...

— Цыц! — прикрикнул Пал Палыч. — Я всех вас насквозь вижу.

Губы его дрогнули, он смахнул слезу под очками.

— Вижу и ненавижу! Да!

— И ненавидьте! — совсем разобидевшись, сказала Зоя. — Ненавидьте, пожалуйста. Про каких-то лисиц рассказывает, я с работы, меня на шесть рублей обсчитали, ничего не понятно...

— А если не понятно, то вали отсюда! — приказал Пал Палыч. — Насмердила здесь, — повторил он нечаянно слова Вишнякова и вдруг ужаснулся всему тому, что происходит. Ведь Вишняков-то честный человек. И Сидоров. И Женя! И Закс! И Щупак! Чем же и для чего он себя утешает?

— Ладно, простите, — сказал Пал Палыч Зое, которая пыталась уйти. — Простите. Я, наверное, заболел. У меня, знаете, голова кружится...

Но Зоя все-таки ушла.

Пал Палыч налил в стакан запеканки, размешал ее с водкой и выпил залпом.

— Пакость какая, — прошептал он. — Фу, черт!

Через час Айбулатов повез Пал Палыча в такси домой. Прижимая голову своего директора к грязной крахмальной манишке, официант говорил:

— Недостача у нас, Пал Палыч, наверное, образуется. Уж очень народишко изворовался вокруг. Я понимаю, бери у клиента, у пассажира, ну рискуешь наколоться на жалобную книгу, но так оно совсем некрасиво выйдет. По кладовой недостача, вы слышите, Пал Палыч?

Пал Палыч ничего не слышал. Он спал пьяным сном.

Когда надо было расплачиваться с шофером такси, Айбулатов порылся в карманах Пал Палыча, нашел тридцатку, заплатил девять рублей, а сдачу сунул себе — по стародавней привычке. Вдвоем они поднялись по лестнице, причем Айбулатов волок Пал Палыча, ругал его всеми словами и даже пару раз пнул коленом.

— Это все равно, — говорил Пал Палыч, — теперь все равно! Тесто! Он тесто слоеное даст! Ну хорошо же! Погоди, Айбулатов, у меня все кружится. Не тащи меня, я тут останусь. Куда меня тащить? Меня некуда больше тащить...

14. Муж и жена

Антонина стояла возле одесского «дюка» и смотрела вдаль. Солнце било ей прямо в глаза, шел десятый час утра, море сверкало ослепительно, и вода тоже, и никто не мог толком различить, где кончается море и начинается небо. Впрочем, черненький маленький одессит в розовом макинтоше и шляпе, сбитой набекрень, сказал, аппетитно нажимая на букву «и»:

— Ви совершенно не можете себе представить Одессу в целом, будучи проездом и в ней...

— Откуда вы знаете, что я приезжая?

— Ви меня убиваете. По вам жи видно!

И рассказал, что место, где они сейчас стоят, — историческое, что здесь снимал Алеша Эйзенштейн своего великого «Потемкина», что...

— По-моему, Сергей Эйзенштейн! — робко возразила Антонина.

— Посмотрите на ние! — воскликнул маленький в шляпе. — Или ви снимались тут в массовке, или я?

Провожая Антонину до гостиницы, он рассказывал ей милые и трогательно-наивные одесские анекдоты, потом, возле швейцара, галантно приподнял шляпу и поклонился:

— Будем знакомы, штурман дальнего плавания Рома.

Было смешно: Рома выглядел лет на тридцать, не меньше.

В замочную скважину была вставлена записка: «Я в семнадцатом». Это значило, что Альтус сидит у Степанова и Устименки. Встретились они вчетвером здесь, в гостинице, случайно — так показалось Антонине поначалу, а потом она стала догадываться, что не так уж случайно, как изобразил ей Альтус.

Жили тут Степанов и Устименко странно, гулять их невозможно было вытащить, к ним никто не навевывался, разговаривали они негромко, обедали в номере. И странно, непривычно выглядели оба в слишком отутюженных штатских костюмах...

Сбросив новое пальто, Антонина напудрила нос перед мутным гостиничным зеркалом, съела черствую сдобную булочку, запила ее водой из графина и постучалась в семнадцатый. Альтус с большим румяным яблоком в руке ходил по комнате («Вышагивает мой-то!» — подумала Антонина) и негромко что-то рассказывал, Родион Мефодьевич, хмурясь, смотрел на сверкающее море, Устименко, поджав ноги в тапочках, сидел на диванном валике. Разговор, видимо, начался давно.

— Ну что, нагулялась? — спросил Степанов.

— Нагулялась, — ответила Антонина, пристраиваясь в уголку на низкий пуфик. — Всю Одессу исходила...

— А он добьется этого хаоса, — продолжал Альтус, неприязненно вглядываясь в Антонину, словно она была тем человеком, о котором он говорил так гневно. — Он добьется, увидите! Его нацистские солдаты внезапно появятся, например, в Париже, причем одеты будут во французскую форму. Эти самые гитлеровские немцы, имеющие на дому, в тайниках, все, что им нужно, вплоть до пулеметов, ворвутся в здание французского генштаба, и к началу войны генштаб перестанет существовать...

— Преувеличиваешь! — сказал Степанов. И усомнился: — А может, верно?

— Я достаточно знаю для того, чтобы не тешить себя никакими иллюзиями. Именно з н а ю. Идея Гитлера и всех его ставленников — делать дело изнутри. Закружить головы бескровными победами, заставить поверить в свою исключительность и тогда развязать последнюю битву за мировое господство. Но сначала запугать, внушить мысль, что сопротивление н е в о з м о ж н о, н е м ы с л и м о, и с к л ю ч е н о.

— Нам? — спросил Устименко.

— Тебе, Афанасий Петрович, нет, и Родиону — нет, а слабонервным можно. Разве ты не встречал слабонервных в нашей стране? Фашистский фюрер утверждает, что будет действовать самыми невероятными способами, которые окажутся наиболее надежными. Уже сейчас все немцы на всем земном шаре учтены там нацистами как будущий резерв главного командования, а может быть, и авангард. Правда, это все палка о двух концах. Выступят где-либо немцы для начала, и впредь любому буржуазному государству придется стать менее беззаботным, но фашисты, несомненно, и это учитывают. Они станут п о к у п а т ь д о р о ж е, — там не так уж трудно купить государственного деятеля.

Взрывая страну за страной изнутри, занимая государства и ставя там своих людей, они доведут все человечество до катастрофы, до...

— Я не понимаю, какого черта ты об этом толкуешь? — взорвался вдруг Родион Мефодьевич. — Что мы, возражаем тебе, что ли?

Альтус немного подумал, откусил кусок яблока, потряс головой и сказал мирно:

— Чудаки! Это все вам пригодится — моя начинка. Там! Ясно?

— Где там? — спросила Антонина.

— Ну, в авиации, на флоте, — скороговоркой буркнул Альтус. — В их служебном быту. С моей точки зрения (он опять резко повернулся к Степанову), с моей лично точки зрения, не тот враг страшен, который передо мной, а который за моей спиной. Ничтожество, учитель гимнастики Конрад Генлейн, на мой взгляд, должен быть сейчас страшнее чехам, чем гитлеровская — еще полностью не рожденная, еще не на полном ходу — военная машина. Генлейну еще не поздно свернуть шею, но они этого не сделают, не понимая, как он страшен

в будущем. Подумайте-ка мозгами: каждые двое из трех судетских немцев уже проголосовали за судетско-немецкую партию, а что это значит? Это значит, что пятая колонна готова, понятно? Вот увидите, как зашагает теперь Генлейн. Кстати сказать, в Дании, в Копенгагене, руководитель немецкого клуба разослал своим немцам анкету. В числе тридцати восьми вопросов были и такие, например: «Есть ли у вас пишущая машинка? Умеете ли вы пользоваться стенографией?»

— Ну и что? — спросил Устименко, сердито слезая с диванного валика. — Что тут особенного?

— А то тут особенное, — медленно сказал Альтус, — то, дорогой мой Афоня, то, открытая ты душа, что на фашистском блатном жаргоне, на их шифре «пишущая машинка» означает — пулемет, а «умение стенографировать» — умение стрелять.

— Во, сволочи! — удивился Степанов.

Обедали здесь же, в номере, вчетвером, вокруг неудобного («Ампир косоногий», — сказал Степанов) стола.

— Тактика троянского коня, стратегия троянского коня, — хлебная бульон из чашки, сердился Альтус. — Вопит мир об этом, а что толку? Бойтесь данайцев, дары приносящих, а где решительность в предотвращении торжественного приема этого самого троянского коня? Где? В тридцать третьем году Гитлер стал рейхсканцлером Третьего рейха, призванного, по нацистским бредням, господствовать тысячелетие, — это шутка? А они танцуют, эти идиотики, в своих дансингах, «оттягивают» катастрофу еще на год, на полгода — и счастливы... Нет, у нас это не пройдет, никак не пройдет! Я послушал парочку-другую миссионеров немецкой евангелической церкви, проповеди их, подумал — э, братья сладчайшие, вот вы куда гнете, ну и впоследствии предложили им, этим самым миссионерам, купно убраться из Союза к чертовой бабушке.

— Выслали?

— А как же. Таким же способом, как и один передвижной театрик из Республики немцев Поволжья... Это действительно был театрик — обхохочешься... Интересное представление могло бы разыграться впоследствии, не прими мы соответствующие меры.

Не доев компот, Альтус взглянул на часы и ушел. Степанов открыл крышку пианино, сыграл «Чижика», вздохнул, сказал:

Ехал чижик в лодочке

В адмиральском чине, —

Не выпить ли нам водочки

По эдакой причине?

И спросил:

— Ну что, Антонина свет Никодимовна? Что грустная сидишь?

Устименко шуршал газетами, хмыкал, покуривал. Им обоим явно было не до нее, и она уже собралась уходить, когда пришел Альтус — мрачнее тучи. Таким она его еще никогда не

видела.

— Табак дело? — спросил Степанов.

— Отказано категорически! — тяжело произнес Альтус. — Резолюция — «отказать». А на словах мне пояснили: там инвалиды не нужны!

— Где это — там? — тихонько спросила Антонина. — Я ведь совсем ничего не понимаю, Лешенька!

— Да ну, насчет отпуска, — опять скороговоркой, как давеча, пробормотал Альтус. — Я им заявляю, Родион Мефодьевич, что знание языков, да еще трех...

И опять они заговорили о непонятном.

Антонина спустилась по лестнице, крытой ковром, побродила по шумным улицам, купила горячих бубликов, пачку чая, брынзы, послала письмо с почтамта Феде и посидела на бульваре. Со странным чувством думала о том, что у нее есть муж, не просто такой человек, который ждет ее дома, позевывая и перелистывая журнал; не человек, с которым связана ее судьба, потому что он называется мужем; не отец ее ребенка; не тот, который привычно похрапывает рядом. Нет, все совсем иначе, совсем не похоже и не так, как оно ей представлялось даже в самых наилучших, еще девичьих ее мечтах. Совсем все по-другому: он, конечно, лучше, чем она, — ее Алеша! Он неизмеримо храбрее, сильнее, умнее ее. Он все по сравнению с ней, а она еще совершенное ничтожество по сравнению с ним. Но в чем-то она сильнее его. И, когда они трое перестанут говорить свое непонятное, он, Алексей, непременно придет к ней, только к ней и ни к кому больше. И ничего она у него не спросит, а просто обойдется с ним, с этим большим, сильным, храбрым мужчиной, как с Федей. Она погладит его по русой, мягкой голове, потянет его за чуб, поцелует его глаза и скажет, что все пройдет, все минует, все станет хорошо. Конечно, он посмеется над ее утешениями, но именно она заставит его повеселеть, а если он будет уж слишком долго хныкать, она его пристыдит, как Федю. И он послушается ее, потому что она теперь как бы часть его самого, как бы частичка его разума, его воли, его собранности.

— Хозяйка! — вдруг вслух, обрадованно, вспомнила она, как он ее назвал в вестибюле гостиницы, когда они ждали номер. — Моя хозяйка! Теперь я тебе покажу хозяйку!

На бульваре она сидела долго. Было уже холодно, пахло осенью, с моря дул сырой ветер, люди шли, поднимая воротники пальто.

Пили чай вдвоем, молча. Альтус смотрел мимо Антонины, будто нарочно не встречаясь с ней взглядом. Потом исчез до полуночи. Она сидела с ногами на диване, думала все ту же думу — какой у нее муж и какая она ему жена. Когда он вернулся, глаза ее загадочно мерцали, а в ушах почему-то раскачивались длинные (одиннадцать рублей семьдесят копеек) серьги, которые она давным-давно себе купила и ни разу еще не надевала. И губы у нее были накрашены, и платье она надела самое лучшее.

— Ты что это... какая-то такая? — удивился он.

— Шикарная? — спросила она. — Да, а что?

— Сережки нацепила.

— Настоящие бриллианты.

— Сорти-де-баль? — мягко улыбаясь, вспомнил он. — Заячий палантин?

Она поднялась с дивана, сунула узкие ступни в старые, растоптанные в Батуме сандалии,

подошла вплотную к Альтусу, взяла его ладонями за виски и крепко стиснула.

— Чего ты?

— Не уходи от меня! — попросила она и, заметив тень в его глазах, быстро договорила: — Нет, уходи, но не прячься. Если тебе плохо — не прячься. Я знаю, знаю, — заторопилась она, — я же не спрашиваю, я понимаю, какая у тебя работа, но ты просто, когда тебе неважно или так себе, ты не закрывайся на ключ...

Глаза ее горячо и ласково мерцали перед ним, совсем близко, он поцеловал ее в переносицу, обнял тонкую девичью талию, крепко прижал к себе и глухо спросил:

— Ты не обижена? Не сердись, Тусенька, но, право... то есть, конечно, я вел себя с тобой эти дни как последняя свинья.

— Нет!

— Что «нет»?

— Знаешь, я ведь много думала об этом, — сказала она. — О таких, как ты, людях. Я их не знала раньше, представления о них не имела. Понимаешь — есть люди, которые живут для себя и отвечают за себя, за своих близких, за милых своей душе, за семью, за друзей. Про них говорят — хорошие люди, симпатичные люди, добрые люди. А есть такие, которые, как например... ну хотя бы твой Степанов... они живут гораздо шире, неизмеримо шире. Но они отвечают за весь мир, Леша, за все, что делается на земле, им труднее. И к ним эти мерки не подходят — симпатичные люди, да?

Альтус смотрел на Антонину не отрываясь, пристально, даже жестко. Он всегда так смотрел, если ему было интересно. А если было неинтересно, он не стеснялся — зевал и переводил разговор на другую тему.

— А Устименко какой? — спросил Альтус с интересом.

— Не знаю. Но он — верный. Он ведь все молчит, я с ним очень мало говорила, вроде как со Степановым, еще, пожалуй, меньше, но он... он действительно солдат. Я это мало знаю, я только читала об этом — но он солдат революции.

— Здравствуй, жена! — положив ладони на плечи Антонины, вдруг сказал Альтус. — Здорово!

— Здорово! — серьезно ответила она.

Во сне Альтус метался, вздрагивал, сердито на что-то жаловался, слов разобрать было невозможно. Антонина будила его, поила жидким тепловатым чаем, заглядывала в гневно-тоскующие глаза.

— Что с тобой? Что, Лешенька?

Он не отвечал, только поглаживал ее запястье.

Утром, когда она собралась звать чаевничать Устименку и Степанова, Альтус сказал:

— Не ходи, Туся. Их нет.

— Как нет?

— Они уехали. К месту службы.

— В Ленинград?

— К месту службы, — раздражаясь, повторил он.

— А ты не сердись, — попросила Антонина. — Я ведь потому, что если бы в Ленинград, то я бы Федьке гостинца послала...

— Зачем же тебе посылать? — спокойно произнес он. — Ты сама нынче поедешь. Я в Батум, а ты в Ленинград...

Весь этот день лил проливной дождь, где-то во мгле и тумане гудела сирена, было грустно, и Альтус сделался совсем непохожим на себя, волновался, много и быстро говорил, даже попытался сострить, но получилось неудачно. На вокзале он купил массу яблок, корзину груш, винограда...

Когда поезд тронулся. Антонина села с ногами на диван и так просидела — неподвижная, даже суровая — до трех часов ночи, все думала о нем, представляла себе его глаза, мягкие, падающие на лоб волосы, сухие горячие руки.

— Теперь до весны! — шептала она, ложась спать, — До весны, до весны. Теперь уж до весны.

Спряталась с головой под одеяло и спросила у самой себя: «А как же мне стать такой, как они? Чтобы жить не только для себя, а может быть, и вовсе не для себя, а для всего мира? Как?»

15. Опять я дома

Федя встречал ее на вокзале. Она долго тискала его и целовала, от него пахло теперь как-то иначе, и он говорил пренебрежительно:

— Да ну, мам... да ну брось... да ну что...

И поглядывал на Антонину недоверчиво.

Было холодно, куда холоднее, чем в Одессе, Женя даже сказала, что все замерзли, ожидая поезда.

— Ну? — спросила она в трамвае.

— Да, да, да, Женечка! — ответила Антонина. — Да, все отлично!

И произнесла эти слова так, что Женя поняла — большего от нее не услышишь. Поняла и обрадовалась: если все у них по-настоящему, то и говорить не о чем. О настоящем, подлинном, серьезном не говорят!

Когда они приехали домой, Сидоров в столовой ел свою любимую жареную картошку.

— Совершенно не изменился! — сказала Антонина.

— А почему это я, собственно, должен был измениться? Вот ты, действительно, изменилась, вся так и сияешь. Как там Алексей Владимирович?

— Нормально.

— Вылечился полностью?

— А вы знали?

— Разумеется, знали, — с полным ртом картошки сказал Сидоров. — Еще бы мы не знали! Но мы проявили по отношению к тебе, Скворцова, чуткость.

...В институте занятия уже начались. Шли мозглые, длинные дожди, весь массив потемнел и намохлил, за окнами аудиторий медицинского института целыми днями стоял серый, вязкий туман.

Учиться было еще труднее: больше приходилось заниматься дома, а времени не оставалось вовсе — комбинат отнимал последнее. У Хильды не хватало сил, она совсем побледнела, беленькие ее волосы уныло свешивались вдоль щек, выражение глаз стало испуганным. В октябре пустили вторую очередь, только что отстроенную, и Антонина четыре дня не могла попасть в институт. За это время читались важные лекции. Она их не слышала и на пятый уехала на массив в час дня. Потом еще пропустила. Староста сделал ей замечание — это был парень из отличников, старательный, отутюженный, модно вихрастый.

— Личная жизнь тебя, Скворцова, засасывает! — сказал он Антонине. — Рекомендую призадуматься.

Больше недели ей было трудно разобраться в том, что говорили профессора и преподаватели. Выручили суббота и воскресенье, помогла Женя, но Антонина до того измучилась и переволновалась, что, по словам Поли, стала похожа на иконку.

И Вишняков ей погрозил:

— Завертелась ты, Никодимовна! Сляжешь! Смотри берегись! А вообще-то хорошо тебе побольше мучного и сладкого. Тощаешь!

На массиве жилось невесело. Очередная комиссия нашла непорядки — по словам председателя этой комиссии, бритоголового, поглядывающего быстренько сквозь стекляшки пенсне человека: «Что-то вы тут, товарищи, заскромничали, стиль эпохи вами не уловлен, нет полета, стремлений, ощущения монументальности!»

Разговор происходил на собрании строителей и работников массива. Сидоров сидел в президиуме угрюмый, насупившийся, неприязненно улыбался, что-то записывал на листках блокнота. Сивчук крикнул из зала сипатым голосом:

— Колонны вам зандобились? Так эти колонны, знаете, почем за штуку ценятся?! В сапожках нонче колонна ходит!

Председательствующий зазвонил. Сивчуку аплодировали.

Инженер из комиссии говорил долго, нудно, жидким голосом. По его словам вышло, что, вместо того чтобы построить высокие залы ресторанный типа, в пищеблоке «занизили» высоту помещения, и залы, где происходит «приемка пищи», лишены «созвучной эпохе монументальности».

— Это черт знает что! — не сдержался Сидоров. — Мы же выиграли кубатуру для чайной и денег еще сэкономили.

— Товарищ, выбирайте выражения! — опять зазвонил председательствующий.

Антонинин комбинат тоже подвергся суровой критике. Выяснилось, что детям нужно гораздо больше воздуха, окон, балконов и что не предусмотрен солярий. Возмущена была также

комиссия отсутствием на массиве своего стадиона, плавательного бассейна и «ряда других объектов, свойственных поселку социалистического типа».

— Квартиры народу нужны, с бассейнами повременить можно! — крикнул Вишняков. — И стадионов у нас в городе вполне даже достаточно!

В зале поднялся шум. Молодежь считала, что стадион непременно нужен, старики орали, что хватит этих футболов. Впрочем, были и другие старики — любители матчей. Антонина сидела съездившись, обиженная и вконец расстроенная. Члены комиссии представлялись ей совершенными негодяями, убийцами, вредителями, а Сидоров — самым несчастным человеком в мире. На его месте она давно бы ушла, произнеся перед уходом что-либо значительное, выразительное и даже трагическое. Но он не уходил, и, более того, чем дальше заседали, тем он делался веселее и тем энергичнее записывал в своем истрепанном блокноте. Женя шепнула Антонине, что он им непременно «выдаст по первое число» и что этим заключительным заседанием, как ей кажется, на какое-то время вопрос будет исчерпан.

После второго перерыва Сидоров получил слово.

— Ну, комиссия, держись! — с восторгом прошипел Сема Щупак. — Держись, очкарик!

Сидоров не спеша подошел к трибуне, разложил листочки в том порядке, в котором была построена его речь, и заговорил, спокойно, сдержанно, очень просто, без всяких пышных слов и красивых оборотов.

— Вы, приезжие товарищи, — начал он, обращаясь к членам комиссии, — по всей вероятности, не успели узнать или, возможно, в спешке, что ли, своей ревизии не поинтересовались той беседой, которая предшествовала началу нашего строительства. Я был вызван покойным Сергеем Мироновичем Кировым и имел честь и счастье выслушать указания с а м о г о К и р о в а о том, как он представляет себе наш массив. Думаю, что устами товарища Кирова говорила партия, Центральный Комитет, советский народ, и, какие бы вы мне здесь поправки ни давали, как бы вы мне ни приказывали свернуть с пути, указанного товарищем Кировым, под каким бы вы соусом это ни сервировали, я и мои товарищи по строительству с этого пути не свернем никогда...

— Слыхала? — спросил Щупак у Антонины.

Легкий румянец выступил на скулах Сидорова, он помолчал, словно бы прислушиваясь к дыханию всего зала, вынул из кармана другой, маленький блокнотик и, полистав его, прочитал:

— «Ваш жилищный массив строить надо недорого, с необходимыми удобствами, но скромно, как бы для себя. Мы переселяем семью из одной комнаты в квартиру, в отдельную квартиру, что само по себе есть огромное достижение нашего советского строя. За квартиру трудящийся человек платит немного. Не половину и не две трети своего заработка, как в капиталистических странах. Но мы решительно не имеем права транжирить деньги на р о с к о ш ь...»

— В статьях Кирова нет такой фразы, — сказал председатель, — я знаком с работами Сергея Мироновича...

— Товарищ Киров не только писал статьи и произносил речи, — перебил его Сидоров. — Он был практическим работником, и то, что я прочитал сейчас, было сказано Сергеем Мироновичем мне. Мне и группе архитекторов, построивших наш массив.

— Подтверждаю! — яростно крикнул Сивчук. — Хотя я и не архитектор, но на этом совещании был.

— Правильно! — слегка улыбнулся Сидоров. — Леонтий Матвеевич присутствовал на совещании.

Он круто повернулся к президиуму, где сидели члены комиссии, и уже без тени улыбки, сурово спросил:

— Колоннад у нас нет? Монументальности не хватает? Стадион и бассейн не построили? И не построим! Больницу заложили на эти деньги и школу нынче открываем, и то и другое, правда, без гранита, мрамора, бронзы и колонн, но ничего с нами не поделаешь, мы эпоху ощущаем иначе, чем вы, товарищи ревизоры, и в свою правоту абсолютно верим. Более того: тот размах и та нескромность в строительстве зданий, приводимых вами в пример нам, серым, есть, на мой личный взгляд, безобразие! Я об этом не раз говорил публично и вам говорю не стесняясь. Мы тут изо всех сил каждую копейку экономим, мы не один бой выдержали по поводу ваших стадионов, бассейнов и всякого прочего, но никакие футбольные поклонники и болельщики, никакие пловцы и пловчихи не вынудят нас изменить нашу точку зрения и вместо больницы построить спортгородок, о котором тут толковалось. И залов «ресторанного типа» у нас не будет. Здесь столовые, молочные, буфеты, большая чайная, а с рестораном подождем. И ресторан, кстати, вовсе не объект, «свойственный поселку социалистического типа». Вы тут, дорогие товарищи, что-то немножечко напутали... Ну, а теперь перейдем к делу и займемся цифрами...

Он еще раз разложил листочки, взял в руку карандаш и, взглянув на часы, стал объяснять вещи, которые Антонине были не совсем понятны, но строителям дороги и важны...

Поздно вечером, дома, за чаем, Сидоров сказал, что нынешним заседанием дело, конечно, не ограничится.

— Быть драчке, и немалой! — сказал он весело. — Но я не сдамся. Бассейн! Мы пруд у себя организовали, а им бассейн...

Драка действительно была, Сидоров ездил в Москву, часто навещался в Смольный, писал докладные записки, подолгу по ночам задумчиво насвистывал. И занимался. Позже выяснилось, что он готовится в Промакадемию.

— Похоже, что выдержу, — похвастался он однажды Антонине. — Я, знаешь, старикашка довольно сообразительный и не без способностей.

— Как это вас хватает? — удивилась Антонина.

— Так же, как и тебя! — серьезно ответил он. — Кстати, подыскиваю я тебе, товарищ Скворцова Антонина Никодимовна, заместителя потолковее. Иначе не выдержишь.

Антонина испугалась.

— Это чтобы я ушла из комбината?

— Наоборот! Чтобы ты осталась. Иначе лопнешь. Я, между прочим, на редкость чуткий товарищ.

И у Жени, и у Антонины часто теперь бывали гости — студенты, врачи. Тогда ставился самовар, Поля делала винегрет из картошки и селедки, резалось много хлеба.

— Прожорливый у вас гость, — говаривал Сидоров, — даже противно!

Особенно часто Женя таскала к себе врачей, работающих на периферии, — все ее однокурсники, приезжающие в командировку, непременно приходили к ней и раз, и два, и три, многие ночевали в столовой на диване, решительно каждый «допрашивался с

пристрастием», как называл это Сидоров.

Каждый приезжающий подолгу и подробно рассказывал Жене о своей работе, о том, что там у него делается, каково живется. Женя внимательно слушала, много спрашивала сама и всегда, так казалось Антонине, делала из этих разговоров какие-то выводы.

И однажды сказала Сидорову:

— Послушай, Ваня! Я съездить думаю на год куда-нибудь.

— Куда же, например? — несколько рассеянно спросил Сидоров.

— На периферию.

— И зачем это?

— Интересно.

— Ну что ж, поезжай!

Он посидел еще немного в столовой, потом ушел к себе и, несмотря на то, что еще было рано, разделся и лег в постель.

— Расстроился, — сказала Женя, — вот, правда, какой человек! И заметь — ни слова. Теперь на сутки замолчит.

Действительно, Сидоров молчал до следующего вечера, а вечером держался так, будто Женин отъезд весной был уже делом решенным и стоящим. В этой семье решали сразу и наверняка. Ни одно решение ни разу еще не изменялось и никогда не подвергалось вторичному обсуждению.

— У нас все очень примитивно, — говаривала Женя. — Знаешь? Даже грустно иногда делается. Вот до чего мне хочется, чтобы Иван уговаривал: «Женечка, подожди годик-другой, потом вместе рука об руку...» Никогда! А попробуй я сейчас передумать — знаешь, на всю жизнь презирает.

И спрашивала:

— Твой Альтус тоже такой?

— Альтус удивительный!

— Ну еще бы!

На следующий день Антонина вернулась из института поздно — работала в лаборатории, потом было общекурсовое собрание, после собрания ей пришлось съездить в здравотдел и вновь вернуться в институтскую клинику к больной, которую она курировала. Уже подходя к парадному, она обнаружила, что забыла ключ, и сердито обругала себя за то, что придется будить Сидоровых или Полю.

Позвонила Антонина очень коротко и тихо, но Женя ей отворила мгновенно, — видимо, никто еще не ложился.

— Не спите?

— Нет. Ты что — из института?

— Ага.

— И нигде больше не была?

— В здравотделе была.

— А больше нигде?

— Ну тебя! — сказала Антонина. — Где же мне еще быть?

Женя подождала, пока Антонина разделась, и опять спросила:

— Ты совсем ничего не знаешь?

— Какая-то ты непонятная, — сказала Антонина. — Случилось что-нибудь?

— Да.

— Что? Алексей?

Женя закурила, осторожно подула на огонек спички и взглянула на Антонину.

— Пал Палыч повесился вчера ночью.

— Насмерть?! — воскликнула Антонина.

— Да. Умер. Только ты, пожалуйста, не терзайся, здесь ты не виновата.

Антонина молчала, сжав щеки ладонями.

Тихо скрипнула дверь, вошел Сидоров в шлепанцах, взъерошенный, со стаканом чаю в руке.

— Откуда вы это узнали?

— Поля туда нынче поехала за каким-то матрасником.

— Я туда сейчас поеду.

— Нет! — угрюмо сказал Сидоров.

— Почему?

— Потому что незачем.

— Но ведь я... я виновата!

— С чего это ты взяла? — глядя на Антонину исподлобья, спросил Сидоров. — У него вся жизнь не вышла, с самого начала не туда пошел, и ты в этой жизни только частность, одно из звеньев, тоже лопнувших. Рвалось все, за что ни брался, а рвалось потому, что главного, основного, решающего — никогда не было. Для него такой конец естествен.

— Удивительно вы просто рассуждаете! — воскликнула Антонина. — Человек решил себя убить, а вы...

— Ну и пусть! — с суровой усмешкой прервал ее Сидоров. — Пусть! Ты сейчас пойдешь своими категориями рассуждать, что он-де был неплохой и даже хороший человек, но меня этим, Антонина Никодимовна, не проймешь, потому что хорошим человеком он был для себя, а не для других. А люди в с в о ю п о л ь з у хорошие меня совершенно не интересуют. Ты уж меня прости, дорогуша!

Антонина вздрогнула:

— Ужасно! Повесился!

— Ужасно! — тихо согласилась Женя. — Кстати, недостача там какая-то у него в ресторане, на большую сумму. Ваня говорит, все равно бы арестовали. Двое были уже арестованы. Двое, да, Иван?

— Двое, — думая о своем, подтвердил Сидоров. — Да, в сущности, это значения не имеет...

Он ушел, Женя осталась с Антониной.

А утром пришло письмо с того света от Пал Палыча. Антонина долго не могла понять ни слова, тряслись руки. Письмо было пьяное, дикое и отчаянное, с ругательствами, не похожее на того Пал Палыча, каким она его помнила, — высокого, благообразного, в хорошем костюме, вежливого...

— Кончено с этим! — сказала Женя, прочтя письмо. — Все! Помнишь, как ты мне хорошо и точно рассказывала о том ощущении, которое не покидало тебя по пути в Батум: «Моя земля!» У него не было этого ощущения, он прожил всю жизнь только для самого себя, и ты ему была нужна не как ты — Тоня, а для него, только для него, и он погиб. Тут ничего не поделаешь...

К ранней весне на массиве уже работали механизированные прачечные, два душевых павильона, маленький ночной санаторий. На проточное озеро привезли на двух грузовиках лодки — была организована лодочная станция. Были и байдарки — пять штук. Еще не стаял снег, еще не разошлись весенние туманы и лед не прошел с Ладоги, а уже на озере красили деревянный павильон — филиал вишняковского пищеблока. Павильончик был уютный, спускался к самой воде террасами, с лодки можно было соскочить и «на короткую руку (как говорил Вишняков) сосисочки съесть, или яишенку, или даже шницелек — после гребли отлично проходит».

— С монументальностью слабовато! — говорил Сема Щупак Заксу. — Сюда бы пилястры или там мраморную колоннаду типа старика Нерона.

Насчет монументальности, грандиозности и созвучности не переставали острить.

В марте товарищеским судом судили рябого паренька Шуру Кривошеева. Зал был полон, народ гудел от негодования. Шура, выпивши водки с пивом, бессмысленно и глупо срубил две молодые березки в юном и милом парке массива. Судьи — Сивчук, Вишняков, Щупак и Антонина — вынесли решение необычайной мудрости: Шуру Кривошееву надлежало для искупления своей вины одному посадить двести молодых березок, по сто за каждое убитое дерево.

Отстроили до конца школы, полным ходом развернулись работы по строительству больницы. Все было скромное, «без фонтанов и исаакиевских соборов», как говорил Сидоров. И непрерывно, на субботах и воскресниках, сажали деревья — собственные, — так придумал Сема, и его идея очень привилась на массиве. Деревья принадлежали квартирам, поодиночке — жильцам, детям, пищеблоку, лодочной станции, комбинату, Егудкину, Сивчуку, Антонине...

В апреле трамвайную петлю провели к самому массиву, и Сидоров заставил управление городских железных дорог выстроить на петле добротный павильон для пассажиров.

На первомайской демонстрации Сидоров уже шел в колонне слушателей Промакадемии.

Антонина тоже была на демонстрации — пошла со школьниками, пионерами и октябрятами своего массива.

С утра, очень рано, она оделась во все белое, туго зачесала волосы и зашла на комбинат посмотреть на Федю, как он выглядит. Он уже был барабанщиком, и она купила ему такие точно синие, с белой полосочкой носки, как видела тогда на том курносом, круглоголовом мальчике.

Федя вышел к ней очень возбужденный, весь раскрасневшийся, сказал: «Подожди» — и опять исчез. У комбината стояли грузовики — огромные, разукрашенные, на них ребята должны были ехать на демонстрацию.

Она забралась в один грузовик с Федей, но он сидел впереди, у самой кабины шофера, а она осталась нарочно сзади, чтобы не стеснять его и только хоть издали видеть, каков он будет во время демонстрации.

День был какой-то переменчивый, не очень теплый, с особым ленинградским тревожным и будоражающим ветерком, но яркий, светлый и свежий, хотя порою облака и закрывали солнце. Ребят в грузовик налезло столько, что по крайней мере полчаса ушло на то, чтобы их хоть как-нибудь рассадить, все они сидели один на другом или свешивались по бортам, все пищали, дрались, а главное, шофер никак не решался двинуть машину: ребята просто посыпались бы вниз. Антонина растрепалась и охрипла, рассаживая всю эту ораву и уговаривая недовольных, — ей достались дошкольники, самый трудный народ. Наконец машина тронулась с места. Все ребята были с флагами, и все пели. Машины шли очень медленно по улицам, забитым демонстрантами. Играли оркестры, было слышно, как на Неве, очень далеко, у Зимнего, ухают пушки. Каждые несколько минут кто-нибудь из ребят требовал няню, няне приходилось стучать в стекло шоферу, машина останавливалась, задерживая движение, и няня бежала с очередным октябренок куда-нибудь во двор. Сзади бежали распорядители с красными повязками, и Антонина подолгу с ними объяснялась.

Только в первом часу дня машины подошли к площади. Барабанщики, во главе с Федей, стали в ряд. Она видела, как Федя оглянулся, отыскивая ее глазами, но от волнения так и не нашел.

— Федя! — крикнула она. — Серенький! Заяц! — Но он уже ничего не слышал.

Их машина была головной в колонне автомобилей с детьми этого района и при распределении на магистрали попала влево, к самой трибуне. На площади грузовик пошел медленнее, но потом немного быстрее. Антонина, до сих пор сидевшая, встала, чтобы увидеть Федю, и увидела, как он отчаянно вскинул голову, как поднялись палочки у всех барабанщиков и как Федя еще раз вскинул голову, командуя начало.

Тотчас же барабаны затрещали.

И в это мгновение она вспомнила тот, давешний, давний-давний день Первого мая, когда она стояла в комнате Пал Палыча, в фонаре, и смотрела, как идут люди, слушала музыку, голос громкоговорителя, песни, и была совсем посторонней, отдельной, чужой в этом весеннем, добром и счастливом празднике. «Боже мой, какая же я была тогда!» — со вздохом подумала Антонина и медленно усмехнулась — на ту себя, на ту, прошлую, постороннюю миру, в котором так давно следовало ей занять свое место.

Барабаны все трещали, и фанфары, сверкая раструбами на ярком солнце, пели — фанфары в детских, загорелых руках, а Антонина все вспоминала ту, прежнюю себя, и не могла поверить, что действительно так глупо, скучно и жалко прожила лучшие годы своей жизни.

— Ну, ничего, ничего! — почти вслух произнесла она. — Ничего, я догоню! Я уже, хоть понемножку, догоняю.

После демонстрации на комбинате был торжественный обед для старших детей, почему-то

не хватило мороженого, трое мальчишек подрались, Федя разревелся, Антонина попыталась достать дополнительно несколько банок консервированных фруктов, но не достала и внезапно почувствовала, что у нее нет сил.

Федя хныкал рядом, Хильда, делая круглые глаза, рассказывала Антонине про какие-то новые эмалированные тазы. Антонина вдруг резко сказала:

— Знаете что? Оставьте меня, пожалуйста, в покое...

Хильда изумленно на нее посмотрела, Антонина крикнула:

— Оставьте меня, оставьте, слышите?!

Домой она едва добрела.

— Что ты? — спросила Женя. И, взглядевшись в серое лицо Антонины, добавила: — Допрыгалась? Я же знала...

— А что ты мне можешь предложить взамен? — неприязненно спросила Антонина. — Бросить все, к чему я так долго и так непросто добиралась?

— Могу тебе предложить — ради праздника как следует выспаться.

На другой день Женя с Олечкой уезжала работать в Центрально-Черноземную область. Провожали ее, как подсчитал Щупак, сорок семь человек. Сидоров был очень серьезен, но старался шутить. Выходило это у него довольно плохо. В последнюю минуту Антонина всплакнула, да и у Жени на глазах появились слезы.

— Ну, — говорила она Антонине, — ну, помни, Тосик! Что за ерунда... Ну, смотри — на носу повисло. Ну, будет... Присматривай за Иваном. Подкорми его иной раз, а то он сам забудет. Ну, давай еще поцелуемся...

Дома Сидоров сказал Антонине:

— Теперь ты — хозяйка.

И заперся в своей комнате.

Ужинали они вдвоем. И Сидоров за весь вечер не сказал ни одного слова. Потом стали приходить письма от Жени. Она писала, что ей очень некогда, что у нее большая районная больница, дурно поставленная, все приходится перестраивать. Писала, что довольна, несмотря на всякие неприятности. Писала, что в своей клинике несколько оторвалась, стала специализироваться, а это еще рано. «И без того мне хватит, — писала она. — Вероятно, застряну здесь надолго, завела кое с кем бой и постараюсь довести его до конца».

И в каждом письме спрашивала про Сидорова — не хандрит ли, бреется ли, ест ли как следует? Потом он уехал к Жене в отпуск. Антонина проводила его, пришла домой и, почувствовав себя дурно, легла. Утром Поля позвала Хильду, а Хильда привела врача.

— Переутомление, голубушка, — сказал врач, — да и вообще... Очень советую вам подлечиться. Никуда не годитесь.

Хильда без ее ведома написала Жене, а та телеграфировала Альтусу. Он тотчас же прилетел на рейсовом самолете и через несколько дней сообщил Антонине, что почти окончательно перевелся в Ленинград.

Опустевшая было квартира Сидоровых вновь наполнилась людьми. Жил старый товарищ

Альтуса, неразговорчивый, угрюмый с виду, но добрейшей души человек — чекист Медведенко. Жил его шофер Тарасов. Внизу, у парадного, теперь часто, на радость Феде, стоял красивый «бьюик». В сидоровской столовой теперь постоянно кто-нибудь пил чай. Одни приезжали, другие уезжали. Шипел душ, шумела вода в ванне. Говорили по-армянски, по-таджикски, по-грузински. Обедать толком, несмотря на все увещевания Поля, гости не успевали, главной едой была колбаса, в лучшем случае Поля бегала с судками в пищеблок к Вишнякову. Непрестанно звонил телефон. Антонина поначалу пыталась регулировать весь этот поток гостей, друзей, знакомых, друзей знакомых, гостей друзей, знакомых гостей, потом махнула на все рукой — не было больше сил. Альтус, разобравшись во всем этом движении гостеприимных гостей, решил бежать на дачу.

— Кончено! — сказал он. — Тут и умереть недолго. Первого числа на дачу. Слышишь, Туся?

Она слабо улыбнулась и кивнула.

16. Вместе

Осмотрев усадьбу вдвоем с Тарасовым и как следует поторговавшись с хозяйкой-эстонкой, Альтус вручил ей задаток и уехал в город, но в тот же вечер вернулся, потребовал лампу и до утра пилил, строгал, что-то приколачивал и даже резал алмазом стекла. Хозяйка не спала и с удивлением слушала, как ее будущий жилец, приехавший в таком нарядном автомобиле, работает, точно заправский плотник. Утром, когда хозяйка с подойником шла к своей корове, Альтус и Тарасов завтракали на крыльце консервами и хлебом. В девять часов они уехали в город, но вечером великолепный автомобиль опять стоял у дачи, и опять Альтус и Тарасов красили и клеили обои, причем по голосам хозяйка никак не могла понять, кто из них начальник — шофер или пассажир. Командовал ремонтом Тарасов, Альтус же зачастую в чем-то даже робко оправдывался.

На заре третьих суток хозяйка не вытерпела и подошла к Альтусу. Он стоял на стремянке и большой малярной кистью белил потолок в коридорчике. Могучий шофер Тарасов спал в кухне, страшно храпя на кожаных подушках автомобиля.

— Доброго утра!

— Доброго утра! — отозвался Альтус.

— Может быть, вам было удобнее и проще нанять рабочих? — сказала старуха. — Или вы не верите, что хорошо сделают? Я бы могла вам рекомендовать надежных и честных здешних жителей.

Альтус сел на ступеньку лестницы, закурил, утер потное лицо.

— Спасибо, — сказал он, — но понимаете, какая штука, у меня денег совсем нет.

— У вас нет денег?

— Абсолютно!

— В таком автомобиле ездите, а денег нет?

— Представьте, нет!

— Но у вас, наверное, имеются казенные, специальные дачи? — спросила дотошная хозяйка.

— Вы могли бы получить дачу дешевле, чем у меня?

— Совершенно верно, — вежливо согласился Альтус, — но я несколько опоздал. К тому же есть люди, которые в этом еще больше нуждаются, чем я.

Хозяйка покачала головой и ушла, поджав губы.

Проснулся Тарасов, с ревом, устрашающе зевнул, потянулся.

— А здоровую мы эстетику развели! — сказал он, оглядывая комнаты. — Действительно, создали вам, товарищ начальник, семейное гнездышко...

Каждый вечер Альтус говорил Антонине, что у него работа, и уезжал с Тарасовым на всю ночь. Вдвоем они зашпаклевали стены, побелили потолки, оклеили комнаты новыми обоями, смастерили новое крыльцо, вкопали столбы для гамака и устроили под березой стол и скамейку. Хозяйка подозрительно косилась на все эти новшества, но осталась довольна работой и заявила, что раз жильцы сами капитально отремонтировали свое помещение, то она возьмет за сезон на семьдесят рублей меньше.

— Удивляюсь на ваше здоровье, — говорил Тарасов Альтусу, — страшно смотреть, как работаете, и днем следствия у вас, то-се... Я ведь, смотришь, посплю в машине.

Альтус посмеивался.

Через две недели дача выглядела новой.

Тарасов ходил по комнате, открывал и закрывал окна, пробовал ногтями краску, восторженно щелкал языком и говорил:

— Какая панорама развернулась, это ужас! Делов каких наделали, а? Даже самому не верится. Дворец. Верно? Ах, красота! Ну, теперь Антонину Никодимовну вполне можно везти.

В середине июля Альтус повез Антонину на дачу. Стоял иссушающе жаркий, тихий, безветренный день. Шоссе шло лесом. Антонина вдыхала горячий воздух сосен, щурилась от пыли, бившей в лицо, и крепко сжимала пальцами руку Альтуса. На полдороге лопнула правая задняя камера. Пока Альтус и сияющий Федя помогали шоферу менять колесо, Антонина вышла из машины и, пошатываясь от слабости, пошла в лес, но совсем ослабела и опустилась на низкий белый столбик у шоссе. Что-то легкое, тоненькое, как паутина, дрожало перед ее глазами. Гудели телеграфные провода. Тарасов стучал у автомобиля, и звонко смеялся Федя. Альтус, попыхивая трубкой, подошел к ней. Она посмотрела на него и улыбнулась. Он спросил, чему она улыбается, но она не смогла ответить и только слабо показала рукой на сосны, на шоссе, на бледно-голубое небо, на суetyащегося Федю.

— Что, хорошо?

— Хорошо, — ответила она и опять улыбнулась. — Правда, хорошо здесь, Леша?

Не отвечая, он помог ей подняться и дойти до автомобиля. Федя сидел рядом с Тарасовым и, сосредоточенно морща лоб, слушал, как Тарасов говорил о фазах. Но когда Антонина села, он не выдержал и, обернувшись к ней, крикнул:

— Мама, он сейчас сказал, что если бы у меня ноги доставали до педалей, то он бы меня учил машиной править. Правда, Тарасов?

— Правда.

Антонина тихо засмеялась и взяла Альтуса за руку. Он обернулся на ее пожатие и опять

спросил, хорошо ли ей.

— Так хорошо, — сказала она, — так хорошо...

И крепко зажмурилась.

На высоком песчаном мысу были построены только два дома: один поменьше, зеленого цвета, со стеклянным куполом — дача; другой побольше, некрашенный, с башенкой — спасательная станция. Вокруг плескалось и блестело на солнце огромное озеро. Возле дачи и станции росло несколько молодых берез и сосен. Дачный поселок расположился с другой стороны бухты на обрывистом берегу и выглядел угрюмо и скучно.

Когда тяжелый «бьюик» осторожно развернулся возле дачи и Антонина поднялась на невысокое, пахнущее свежим деревом крыльцо, ей казалось, что она слепнет — так блестело озеро.

— Море, — тихо сказала она и прислонилась к двери, чтобы не упасть. — Это море, Леша?

— Ну что ты, Туся! Ты же видела море. Это озеро.

Федя, вереща поросенком от приступа восторга, уже носился по песчаному берегу.

— Тут лодка есть, мама, — захлебываясь, кричал он, — тут даже моторные есть, Леша! Тарасов, тут даже катера! Леша, слышишь, настоящий полубот и яхты...

Он замолк, его полосатая футболка мелькнула за березами и скрылась.

— Пошел психовать, — заключил Тарасов.

Стало тихо. Только плескалось и шипело озеро, набегая на берег, да щелкал флаг на башенке спасательной станции.

Вошли в дом.

Вещи уже были привезены и расставлены накануне. Альтус заметно волновался, ему очень хотелось, чтобы Антонине понравилось то, что он сделал. Волноваться было незачем. Едва войдя, она зажмурилась, как давеча, потом снова открыла глаза и, поглаживая ладонями стенку, подоконник, скатерть, быстро и взволнованно заговорила:

— Леша, как хорошо... Как красиво, Леша... И все новое, белое... Ах, как хорошо... А чисто, чисто-то как...

— Сам, своими руками... — начал было Тарасов, но Альтус так ткнул его кулаком в бок, что он оборвал на полуслове и тотчас же пояснил: — Вещи сам расставлял...

— И с каким вкусом все, — говорила Антонина, — обои как подобраны...

Опираясь на Альтуса, она ходила из комнаты в комнату, зашла на кухню, познакомилась с хозяйкой, поговорила с ней и вдруг пожелала непременно и сейчас же подняться по узенькой лестнице в купол.

На лестнице было темно, пахло пылью и горячей краской. Альтус осторожно вел Антонину. Сверху из купола доносился свист Тарасова. Он взобрался первым и лежал на тюфяке, распаренный, веселый, довольный. Как только он ушел, Антонина заняла его место — легла на тюфяк и блаженно потянулась.

До сумерек они просидели в куполе, то молча, то разговаривая. Альтус курил и глядел на озеро. Без пояса и портупей, в сандалиях и галифе, с расстегнутым воротником френча,

загорелый и растрепанный, он выглядел иначе и лучше, чем в городе.

— И в стружках ты весь, и в паутине, — говорила Антонина. — Ну что это, Леша? Как маленький.

Ей доставляло удовольствие так ему выговаривать и, не торопясь, снимать пальцами с френча маленькие белые стружки и паутину.

— Вот еще здесь, — говорил он, щурясь, — видишь, на рукаве... Да ну, не здесь...

Внизу, набегая на песчаный берег, шипело и плескалось озеро. Чистым и звонким голосом кричал Федя. К вечеру стало ветрено, и стекла под мягкими ударами ветра с озера тихо и печально заныли.

Потом, когда совсем смерклось, Антонина сидела на крыльце, завернувшись в платок, и смотрела, как в серой воде плавают Альтус и Тарасов. Альтус плавал далеко от берега, его светлая голова едва виднелась, он что-то кричал Тарасову веселым и сильным голосом, а тот кудахтал, как курица, и, держась рукой за корму лодки, бултыхался на одном месте, в бухточке.

Федя, точно обезумев, летал от берега к матери и от матери опять к берегу.

— Мама, я тоже хочу! — вопил он, дергая Антонину за платок. — Ну, ведь не глубоко, на самом бережку, на самом бережку, слышишь, мама? Вон тут вот, с краю в бухточке, возле лодки, где Тарасов, и из бухточки не вылезу, честное слово. Да ты сама посуди — бухточка все равно как ванна... Мама, а мама?

Он весь дрожал от возбуждения, глаза его светились, как у волчонка, от него уже пахло смолой, лодками, озером...

Альтус в трусах, блестящий от воды, подошел к ней и, не спрашивая, поднял Федю на воздух, раздел его, посадил на широкое плечо и, насвистывая любимый свой марш, медленно пошел в воду. Сначала вода была ему до колен, потом до бедер, потом до груди... Федя все сидел на плече и, схватив Альтуса за волосы, восторженно верещал...

— Плыви! — вдруг крикнул Альтус и швырнул Федю в воду.

Антонина охнула и бросилась к берегу.

Никого не было видно — ни Альтуса, ни Феде.

Через минуту Альтус появился опять. Теперь он держал Федю рукою под грудь, и Федя громко бултыхал в воде руками и ногами.

— Ты с ума сошел, Леша! — кричала Антонина. — Сейчас же пусти его!

Тарасов прыгал на берегу на одной ноге, вытряхивая воду из уха.

Чай пили поздно на террасе при свечах. Федя жевал хлеб с маслом и, болтая под столом ногами, рассказывал:

— Это мы договорились так с Лешей, чтобы тебя напугать. Как будто он меня бросает, а я делаюсь утопленником. А Леша меня на самом деле держал за плечо. Ты небось не слушаешь, мама?

— Слушаю, не болтай, пожалуйста, ногами.

Антонина пила свежее, вечернего удоя молоко, разливала чай и делала бутерброды — и все

пугалась, что это сон.

«Леша, — порой про себя произносила она, — Лешенька».

Он чувствовал на себе ее взгляд, поворачивался к ней и спрашивал глазами. «Ничего, — глазами же отвечала она, — просто так».

Он спокойно жевал, спокойно протягивал ей свой подстаканник. Она наливала ему — как он любил, крепко, до черноты, и не клала сахару, он пил без сахару — горячий черный чай. В правой руке он держал подстаканник, пальцами левой легко и беззвучно выбивал по столу такты марша. Ей доставляло удовольствие смотреть на его пальцы и повторять про себя те слова, мотив которых он выстукивал, — это было похоже на сокровенный разговор двоих в большой комнате.

Иногда ею овладевало какое-то особое, почти истерическое состояние. Временами она поглядывала на него, произнося про себя, как заклинания, слова:

«Вот посмотришь на меня, посмотришь, посмотришь...»

И он смотрел.

В следующую минуту она начинала что-нибудь рассказывать с таким расчетом, чтобы он непременно вмешался.

И Альтус вмешивался.

Он просил у нее бутерброд с колбасой.

— С сыром, — говорила она и смотрела ему в глаза.

— Вот чудачка, — начинал он и вдруг соглашался и говорил, что действительно сыр вкуснее.

— Вкуснее, — кивала головой Антонина. Щеки ее горели, глаза светились, но бутерброд она протягивала с колбасой.

Альтус уже не удивлялся. Он понимал все.

— Психические, — недоумевал Тарасов.

Иногда она принималась загадывать: раскрывала наугад книжку и читала седьмую строку сверху слева:

«Не может быть сомнения, что, чем более учили человека, тем менее он должен был знать...»

И мучилась: фраза была непонятной.

Название тоже ничего не говорило: Бокль, «История цивилизации в Англии».

Вообще постоянно загадывала, кто первый встретится, мужчина или женщина; а если уже видела, что мужчина, то загадывала, сколько ему лет — до сорока или за сорок.

Загадывала на номера трамваев, на телефонные звонки, на часы: если еще нет семи часов, то да, если уже есть — нет.

И бледнела, если семи часов еще не было, или телефон звонил не так, или показывался не тот трамвай...

Выкурив после ужина папиросу, Тарасов уехал в город. Вдвоем они стояли на крыльце, пока он разворачивал машину, и долго смотрели вслед на красные огоньки сигналов.

По-прежнему шипело озеро.

Теперь в темноте казалось, что никакого озера нет, а что там просто кто-то дышит и переминается с ноги на ногу, большой и тяжелый, как слон.

На спасательной станции пробили склянки. Мертвые и злые, точно лопающиеся, звуки долго метались над озером. Антонине стало страшно. Она молча прижалась к Альтусу. Он обнял ее за плечи, и тотчас же она почувствовала на своем лбу его прохладную, сильную ладонь. До поздней ночи они ходили по берегу, по рощице, по пыльной дороге и целовались. Он обнимал ее за плечи и порою заглядывал ей в лицо.

— Что, — напряженно, шепотом спрашивала она, — что, Леша?

Он молчал.

— Я слепая, — говорила она и закрывала глаза. — Веди меня.

Он вел. Она крепко прижималась к нему. Под его шагами скрипел песок, ломался и похрустывал валежник. Ей казалось, что кто-то убегает от них — маленький и хитрый.

— Я засыпаю, Леша, — говорила она, — мне уже снится.

— Пора спать, — тихо сказал он. — Поздно.

— Рано, — возразила она.

Ей хотелось спорить, или смеяться, или даже плакать.

— Рано, рано, — опять сказала она, — совсем рано.

Альтус молчал. Она вдруг стиснула его руку возле локтя и, заглянув ему в лицо, попросила:

— Люби меня, Леша. Меня надо очень любить.

Он улыбнулся. Она жадно поцеловала его в губы и пошла вперед по дороге к поселку. Он догнал ее, взял за руку и потянул домой.

— Да ведь еще рано, — слабо упираясь, сказала она, — еще совсем рано. Давай еще походим, еще полчаса.

Ей уже не хотелось спорить. У нее кружилась голова от усталости и падало сердце от чувства власти над этим человеком.

— Леша, — вдруг потребовала она, — выстрели из револьвера.

— Зачем? — удивился он.

— Так, выстрели.

— Да для чего?

— Для меня.

— Я пистолет дома оставил, — виновато ответил он.

— Ну а если бы не оставил, то выстрелил бы?

— Ну, выстрелил...

— Вот и все, — счастливым голосом сказала Антонина. — Мне, понимаешь, нужно, чтобы ты меня слушался.

— Дурачок! — улыбнулся он.

Дома на террасе гудели мухи, пахло табаком и краской.

— И Федор к тебе сразу привык, — сказала Антонина. — Удивительно! Он ведь не очень-то привыкает.

— А чем я ему плох? — спокойно спросил Альтус. — Да и соображает парень — нам с ним жизнь жить, он ведь интересовался: ты совсем, Леша, с нами будешь жить теперь или не совсем?

Антонина слабо покраснела.

— А ты?

— Я ответил правду: совсем, только иногда в командировки буду ездить.

— А он?

— Рассердился маленько: это еще какие такие командировки? Живи здесь...

Она сбросила туфли, вздохнула, чему-то улыбнулась и легла рядом с сыном. Федя обнял ее за шею и тотчас же засопел. Антонина закрыла глаза, прислушалась к шагам Альтуса на террасе, собралась встать и не смогла. Она куда-то мчалась и совсем уж было уснула, но вспомнила, что платье заколото булавкой и Федя может наколоться, вынула булавку, вколола ее в стену, подумала про Альтуса и даже приподнялась, но теплый мрак окутал ее, она уронила голову на подушку, сказала себе что-то укоризненное и уснула.

С утра шел мелкий теплый дождик. Все небо затянуло. На спасательной станции тархтел мотор катера и молодой, свежий, полный голос пел:

Ах, я влюблен в глаза твои...

С озера полз туман.

Альтус брился у окна и не позволял Антонине вставать.

— А что мы есть будем? — лениво спрашивала она.

— Я сам приготовлю.

— Ты? Приготовишь? Воображаю.

Он поставил самовар, сварил яйца, накормил Федю и ее, подмел и убрал комнаты и похвастался:

— Поразительный человек некто Альтус. Золотые руки. Почему ты молчишь, Туся?

Надел шуршащий дождевик и, вытряхивая бумаги из портфеля, спросил:

— Сколько надо мяса для котлет? Кстати, как его берут — «котлетное мясо», так и называется? И что еще, кроме мяса, кладут в котлеты?

Сидя на кровати, она видела, как он прошел по двору, свернул на дорогу и исчез за деревьями. Пока Альтус путешествовал по лавкам, приехал Вишняков. На нем был смешной старинный пыльник с откидными рукавами и с капюшоном, за плечом рюкзак, в руке суковатая дубинка. Поздоровавшись, он отправился на озеро мыться.

Когда Альтус вернулся, Антонина и Вишняков играли в шашки.

— Здравия желаю, — сказал Вишняков, — вот приехал супругу вашу навестить. Как живете?

— Чего купил? — спросила Антонина. — Стряпуха!

И засмеялась. Ей было приятно, что Вишняков видит, как заботится о ней такой замечательный человек, как Альтус, как он ходит для нее на рынок и как конфузится, боясь, что купил дряни.

— Мяса купил, — говорил Альтус, — смотрите, плохое или хорошее?.. Луку купил...

Вишняков ткнул пальцем в мясо и сказал, что сойдет.

— А лук?

— Лук, батенька, как лук.

— Картошки купил. Сала купил свиного, — улыбаясь, говорил Альтус, — посмотрите, хорошее?

— Ничего.

— Петрушки купил, моркови. Клюквы.

— И клюквы! Хорошее дело! — сказал Вишняков. — Свиное сало тоже ничего. Лук! Исключительно диетические продукты, полезные для Антонины Никодимовны. Золотой вы человек, Алексей Владимирович, особенно как снабженец по санаторному питанию, — другого такого не найдешь!

Альтус сконфуженно молчал.

Вишняков закурил папироску, подвязал живот полотенцем и, захватив свой таинственный рюкзак, ушел в кухню. Антонина слышала, как по дороге он говорил Альтусу:

— А вы, Алексей Владимирович, дров расстарайтесь, да посуше. И побыстрее. Антонину Никодимовну нужно по расписанию кормить, час в час, минута в минуту. Дело нешуточное — поднять человека при помощи рационального питания. Или, может быть, вы в порошок верите, в микстуры и мази?

Альтус отвечал насмешливым, но довольным голосом. Он очень боялся кухни и был счастлив, что самому не придется готовить.

— Мы бы Полину могли привезти, — говорил он Вишнякову, — но, понимаете, она человек нервный, немного даже истеричный, а Тусе полный покой нужен...

— Леша! — позвала Антонина. — Алексей Владимирович!

Он вошел с колуном в руке.

— Я встану.

— Революция — «отказать»!

— Не могу я лежать, Лешенька. Вы работаете, а я... Ну зачем мне лежать-то? Какой толк?

— Лежи, лежи.

Пока Альтус колол дрова, прибежал Федя, схватил кусок хлеба и, жуя, рассказывал:

— Моторную лодку чиним. У нее мотор заело.

Заверещал и убежал.

Обедали в шестом часу.

Вишняков сидел в плетеном садовом кресле и резал ножом зеленый лук. Стол был накрыт красиво, умело, даже с роскошью.

— Оделась, непоседа, — проворчал Вишняков, — не могла полежать?

— Не могла.

— Ну, тогда садись на хозяйское место.

Она села, а Вишняков тем же ворчливым тоном рассказал, что сейчас есть не умеют вовсе, что как следует ели, пожалуй, в эпоху Возрождения, потом ели много, но без всякого понимания.

— А где Леша? — спросила Антонина.

— Или расстегай, — подняв нож острием кверху и сделав разбойничье лицо, сказал Вишняков, — ты небось настоящего расстегая и не нюхивала? Видела настоящие расстегаи или нет?

— Видела, — думая о другом, ответила Антонина.

— Врешь, наверное, — недоверчиво сказал Вишняков и, понюхав уксус, полил им лук. — Настоящий расстегай с вязигой, милочка моя, должен весь просвечивать, сияние от него должно исходить, подмигивать он должен, поняла?

Антонина сказала, что поняла. Вишняков понюхал горчицу, брезгливо оттопырил губы и ушел в кухню. Вернулся он вместе с Альтусом. Альтус был в нижней рубашке, красный от жара плиты и злой.

— Вишь, — сказал Вишняков, — полчаса возле очага простоял и шипит от злости, словно кобра. Садись, Алексей Владимирович, обедать будем.

— Он меня заставил какие-то штучки жарить, — сказал Альтус, — руки обожгло!

Прибежал Федя, и все сели за стол. Обед был грандиозный, непонятный, с таинственными соусами, с уймой перемен, с закусками, напитками, десертом и черным кофе. Вишняков ел очень мало, а если пробовал что-нибудь, то непременно с обиженным выражением лица и, попробовав, долго жевал губами. Глаза у него становились брезгливыми.

— Индейку бы я вам, товарищи, сготовил, — говорил он. — Едал индеек, Алексей Владимирович? Отличная птица... Или пельменей. Едал пельмени?

Когда пили кофе, к даче, под мелким дождичком, подъехал кофейного цвета автомобиль «газик».

— Тю, Лапшин! — удивился Альтус и пошел к дверям встречать гостя.

Лапшин был в кожаном пальто, в высоких хромовых сапогах. Утомленное лицо его со светлыми, как у Альтуса, глазами ничего не выражало, кроме усталости. От обеда он отказался, реглан не снял. Молча выпил стакан воды, коротко вздохнул и отправился с Альтусом «пройтись на озеро».

— Дождь же идет, — беспокойно сказала Антонина мужу. — Если вам надо поговорить, идите в другую комнату или на террасу.

— Ничего, не размокнем, — принужденно улыбаясь, ответил Лапшин. — Мы ненадолго.

И действительно, он уехал минут через двадцать.

Альтус вернулся домой, отпил глоток кофе, принялся набивать трубку. Антонина тревожно в него вглядывалась. Он молчал, словно был один в комнате. И Антонина знала — ничего не скажет, пока сам этого не пожелает.

Уложив Федю спать, она проводила Вишнякова до дачного поселка и, кутаясь в платок, быстро пошла домой. Идти надо было над водой — по узенькой, скользкой от дождя тропинке. В серой воде у берега отражались сосны. Далеко, за мелью, сонно двигался белый, острый парус яхты. Было сыро, ясно и тихо.

Под окном своей дачи она постояла и поглядела на Альтуса. Он сидел, откинувшись на спинку стула, с книгой в руке, но не читал, а думал. Волосы его золотились, лицо было суровым, собранным, напряженным. Потом, резким движением, он взял трубку и зажег спичку. Антонина обошла дом и открыла дверь.

— Туся? — не оглядываясь, спросил Альтус.

— Что случилось?

— Случилось?

Он обернулся. Лицо его выражало недоумение и боль.

— Да, случилось. Понимаешь ли... В Испании погиб Афанасий Петрович Устименко.

Антонина тихо ахнула и прислонилась спиной к дверному косяку.

— А Родион Мефодьевич?

— Не знаю. Кажется, еще жив.

— Значит... они... в Испании? — тихо спросила Антонина. — И ты тоже туда хотел ехать?

— Да, хотел, — кивнул он. — Но меня не пустили. Считается, что я инвалид.

Он зажег еще спичку, трубка все не закуривалась.

— Мы все одно поколение! — негромко сказал Альтус — И на кронштадтский лед ходили, и с Махно бились, и ярославский мятеж, и...

Махнув рукой, он замолчал, глядя мимо Антонины — сурово и жестко. Потом заговорил словно сам с собой:

— Вот Лапшин — в лаптях пришел к Дзержинскому за справедливостью. Афанасий покойный — сын харьковского не то грузчика, не то извозчика. Родион — матрос с «Авроры». Медведенко — студент Политехнического, один из первых сорока чекистов. А Лебедев погиб, Свислов убит, Михайловы оба — отец и сын — замучены у беляков в контрразведке, Миша Сургуладзе, Боков, теперь вот Афанасий... Досталось поколению...

Укоризненно покачал головой, наконец раскурил трубку и только теперь посмотрел Антонине в глаза.

— А что еще ждет нас?

— Но вы уже сделали! — робко и в то же время сильно сказала Антонина. — Главное вы уже сделали.

— Да, пожалуй! — задумчиво произнес Альтус. — Очень многое уже сделано.

Чай пили вдвоем. Трещали свечи. Сквозь стены террасы было слышно, как шипит и сонно бормочет озеро. Антонина зябла и куталась в платок. Альтус вышагивал из угла в угол, вспоминал прошлое, рассуждал о будущем. И часто спрашивал:

— Верно, Туся, я говорю, как ты считаешь?

А она молчала. Ей было все-таки страшно того, что она теперь равная, или почти равная, или своя в этой огромной, удивительной семье, где мертвые продолжают жить, а живые не боятся смерти ради дела, которому они служат.

Станет ли она совсем равной им?

Хватит ли у нее сил для этого?

Выдержит ли она все те испытания, которые ждут ее еще?

Эпилог

Восемнадцатого октября Альтус уезжал в длительную, по его словам, командировку, вначале в Москву, а оттуда «по назначению». «Отвальный» обед был устроен у Сидоровых. Собралась решительно вся старая компания, да еще Рая Зверева и два друга Алексея Владимировича — Медведенко и Лапшин. Было много детей: Федя, Олечка Сидорова, двое ребят Закса и Майя — дочь Раи Зверевой. У них был свой отдельный стол и своя наливка, сделанная из малинового варенья. Было и шампанское, изобретенное для данного случая Семей Щупаком, — он по желанию изготавливал шипучку из лимонной кислоты и соды с каким-то повидлом.

Стол взрослых удался на славу, но сам Вишняков ничего не ел и даже не садился, хотя делать ему было решительно нечего. Не достали желатина — повар чувствовал себя опозоренным и глядел на все подаваемые блюда с брезгливым, пренебрежительным выражением лица. На похвалы он не отвечал, только с особенным причмокиванием посасывал черную, дурно пахнущую сигару да поправлял живот, стянутый полотенцем.

Никто не изменился за миновавшие два года, только Женя пополнила да Сидоров стал носить галстуки. «Не хуже других! — говорил он, когда его спрашивали, как это произошло. — Не подчеркиваем свою внешность». И грозился, что купит себе еще фиолетовую фетровую шляпу. Сема Щупак остался совершенно прежним, разве что приобрел себе толстовку типа

«свободный художник» из вельвета и дважды успел провалиться в экономический институт. Это наложило на него своеобразный отпечаток некоторой томности. Теперь он собирался идти в техникум сценических искусств на клубно-инструкторское отделение.

Обед проходил весело, шумно и оживленно. Много выпили. Рая Зверева звонким голосом сказала речь о потерянной и возвращенной дружбе. Ее никто не слушал, но все кричали: «Правильно!» Громче всех кричали Сивчук и Егудкин. После обеда всем сделалось жарко, настужь отворили окна. День был сухой, прозрачный, ветреный, начало по-осеннему быстро смеркаться, и всем стало почему-то немного грустно, каждый что-то вспоминал, оживленные разговоры смолкли. Сивчук с Вишняковым на подоконнике играли в шашки. Сема вздыхал. Хильда предложила петь, но пение не удалось.

— А ну вас, — сказала Хильда, — совсем раскисли!

Внизу под окнами загудел автомобиль, и тотчас же Федя закричал:

— Леша, собирайся, за тобой машина пришла!

Наступило время прощаться. Все понимали, что провожать не нужно, довели Альтуса и Антонину только до автомобиля и вернулись назад, к Жене.

— Куда? — спросил Тарасов.

— Домой, мне чемодан нужно взять.

Они жили здесь же, на массиве, но в самом дальнем корпусе, возле пруда. Антонина не стала вылезать. Альтус быстро сбегал наверх и вернулся назад с чемоданом в одной руке и с охотничьим ружьем в другой. Пока он ходил, Антонина смотрела на холодную воду пруда, на оранжевый закат за Невой.

— Вот и все, — сказал Альтус, — поехали.

Тарасов, ловко перекидывая из-под руки баранку, развернул автомобиль, сильно выжал газ и беспечно засвистал. Машина неслась по розовому от лучей заката шоссе, мотор гудел успокоительно и глухо. Тарасов едва держал баранку одним пальцем.

— Ну, Туся? — спросил Альтус. Он часто у нее так спрашивал, и она никогда не знала, что ответить. Она взглянула на него. Он сидел, откинувшись в угол, глаза его мягко блестели в полумраке машины. Она оперлась рукою об его колено и быстро поцеловала в губы.

— Только ты, пожалуйста, осторожнее, — шепотом сказала она, — я твои повадки знаю. Вон даже Медведенко велел «не зарываться». Слышишь, Леша?

— Слышу.

— Отвечай тогда.

— Что же мне отвечать?

— Что не будешь.

— Ну, не буду, — сказал он улыбаясь.

— Ведь если тебе еще раз в живот попадут, — зашептала она, — то уж наверняка. Слышишь, Леша? Ну, почему ты улыбаешься, как тебе не стыдно!

— Ах, и дождь будет, — нараспев сказал Тарасов, — поглядите, товарищ начальник!

У вокзала Альтус простился с Тарасовым.

— Ну, счастливо, — говорил Тарасов, моргая, — счастливо, товарищ начальник! Уж вы позвольте, я назад Антонину Никодимовну доставлю. Что ж ей одной возвращаться. Да и дождик сейчас польет. А у меня делов никаких — в гараж ехать. Медведенко не велел за ним возвращаться.

— Ну ладно, — сказал Альтус, — спасибо.

До отхода поезда было еще одиннадцать минут. Альтус поставил чемодан в купе и вышел.

— Ну вот, — сказал он, крепко беря Антонину под руку, — пойдем еще пройдемся...

Они шли молча, поглядывая друг на друга, встречаясь глазами.

— Ты тут тоже, — сказал Альтус, — как его... ешь аккуратно.

— Да.

— И Медведенку к себе позови. Поставь ему чаю, пусть с Федором повозится.

— Да.

— Ну, ты умеешь, — сказал Альтус, — не мне тебя учить.

Помолчали.

— Знаешь, — улыбнулась Антонина, — мне кажется, я всю жизнь буду тебя провожать.

— Это плохо?

— Да. То есть нет. Может быть... — Она все еще улыбалась растерянно и пугливо. — Знаешь, — сказала она, — я очень хочу куда-нибудь поехать с тобой. Я уже немного устала от этого.

— И я, — сказал он. — Но ведь это еще даже не начало, Туся. Это еще перед началом, — он крепко стиснул ее руку. — Еще даже начало впереди. Еще все будет. Ведь ты еще только начала работать в полную свою мощь.

— Ты про меня как про паровоз сказал! — улыбнулась Антонина. — Или как про электрическую станцию.

— Ну, извини, но ведь это же правда?

— Да, правда. Правда, что даже начало впереди. И я ведь тоже так всегда думаю! И что все еще будет...

— Непременно!

— Но мне много лет, Леша. Очень много.

Он рассмеялся, и лицо его сделалось отчаянно озорным.

— Это вздор, это чистый вздор! — смеясь, говорил он. — Как же мне тогда жить, а? Если ты старуха, то кто же я?

— погоди! — попросила Антонина. — Не спеши. И скажи мне чистую, самую настоящую, единственную правду. Это опасно — куда ты едешь? И почему вдруг охотничье ружье? И ты

опять штатский, да?

Лицо Альтуса стало серьезным.

— Мы же договорились, что ты никогда не будешь про это спрашивать! — сказал он с мягкой укоризной в голосе. — Договорились, правда?

Она кивнула, глядя в его глаза.

— А насчет опасности, знаешь... — он помедлил. — Не заставляй меня врать. Кстати, помнишь, на днях ты рассказывала мне о докторрах-чумологах? Забыла? Вот, допусти на секунду: ты врач-эпидемиолог, тебя посылают на чуму, где не исключена возможность заражения и гибели, — как бы ты поступила? Смогла бы отказаться?

— Ну что ты! — испуганно отмахнулась Антонина.

— Вот видишь! А теперь представь себе, что мне предстоит... принять, что ли, участие, — напряженно сказал Альтус, — участие в... попытке предотвратить эпидемию... вроде чумы...

— Да, я понимаю, прости! — быстро сказала Антонина. — Прости меня, пожалуйста. Хорошо?

— Простил.

— Честное слово?

Они вернулись к его вагону.

— Я счастлива, — сказала она с глазами, полными слез, — я счастлива, Леша. Ну, давай поцелуемся.

Он поцеловал ее крепко, несколько раз.

— Иди, иди, — говорила она, — иди же, поезд сейчас тронется.

Альтус еще поцеловал ее в подбородок и пошел за медленно движущимся вагоном. Проводник отчаянно шипел и ругался. Она еще видела Альтуса плащ. Колеса все неистовее бились где-то глубоко. Наконец мигнул и скрылся красный сигнал последнего, международного вагона, и вдруг сразу сделалось просторно и тихо.

«Предотвратить чуму! — с внезапным ужасом подумала она. — Чуму. О чем он говорил?»

С бьющимся сердцем Антонина постояла немного, потом медленно вышла с вокзала и огляделась вокруг. На площади вспыхивали голубые искры трамвайных разрядов, по ступеням поднимались вереницей новые пассажиры, город гремел, пели разноголосые автомобильные гудки.

И сразу полился дождь.

Ей показалось в первую секунду, что она даже видит отдельные серебристые косые струйки.

Все побежали, заторопились, раздался смех, ее толкали.

Тарасов распахнул перед ней дверцу. Она села рядом с ним.

— Домой?

— Да, домой.

Автомобиль покойно объезжал внезапно заблестевшую от дождя площадь. А в асфальте, как в черном чистом зеркале, отражались молочные круглые фонари. Смотровое стекло заволакивала влага. Тарасов слегка приподнял его, и в автомобиле сразу стало шумно и сыро, но звуки были глухие — все покрывал ровный шелест дождя.

Теперь автомобиль вырвался на сверкающий Невский. Блистали витрины за частой сеткой дождя. Глянцевитые, мокрые трамваи оставались позади. Мотор спокойно, деловито урчал, скорость все нарастала. Потом машина миновала площадь и, шипя по крышам, взлетела на мост. Огромный город, весь в желтых теплых огнях, весь в колеблющихся отражениях, живой, как бы дышащий, строгий и величественный, раскинулся перед нею.

«Мой город! — подумала Антонина. — Мой город на моей земле!» Конец

Ленинград, 1932–1936—1958

Примечания

1

«Литературная газета», 25 января 1967.

2

Юрий Павлович Герман родился 4 апреля 1910 года.

3

«Курская правда», 2 февраля 1984.

4

Юрий Герман. Жизнь, характеры, конфликты. — «Вопросы литературы», 1966, № 8, с. 116.

5

См.: «Литературный современник», 1936 № 7, с. 233.

6

См.: Т.Хмельницкая. О «Наших знакомых» Ю.Германа. — «Литературный современник», 1936, № 10.

7

Как верно заметил Е. Добин, «об Альтусе Герман не смог бы в настоящее время написать роман, как об Антонине» («Литературный Ленинград», 5 июля 1936).

8

Юрий Герман. Жизнь, характеры, конфликты, с. 118.

9

Там же, с. 120.

10

Юрий Герман. Перед первой страницей. — «Вопросы литературы», 1963, № 5, с. 108–109.

11

Юрий Герман. Перед первой страницей, с.109.

12

Там же, с. 109.

13

Юрий Герман. Жизнь, характеры, конфликты, с. 121.

14

Здесь писатель использовал собственные воспоминания отроческих лет. «Город Унчанск — во многом Курск довоенных лет», — свидетельствовал Герман («Курская правда», 2 февраля 1964).

15

Создавая образ Николая Евгеньевича Богословского, рисуя его деятельность по устройству сельской больницы, Герман использовал черты характера и факты биографии реального лица — Николая Евгеньевича Слупского, главврача больницы в Сестрорецке. О нем Герман часто говорил в своих статьях и выступлениях; в 1961 году вышла документальная повесть «Здравствуйте, доктор!», где подробно рассказано о Слупском.

16

См. статью Германа «Дорогие руки» («Известия», 27 августа 1961).

17

«Комсомольская правда», 28 ноября 1964.

18

Юрий Герман. Жизнь, характеры, конфликты, с.125.

19

Профессор С.Я.Долецкий, известный детский хирург, послужил прототипом образа Вагаршака Саиняна, одного из героев последней части трилогии. Факты его биографии (они изложены Германом в статье «Центральный характер» — «Кадр», 11 июня 1964) легли в основу письма Ашхен Оганян. Г.А.Баиров — профессор, хирург; многое из его биографии вошло в трилогию.

20

«Звезда», 1969, № 5, с. 177.